В. ШУКШИН

2

В. ШУКШИН

В. ШУКШИН

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В 5 ТОМАХ

ТОМ 2

Екатеринбург
Издательство
«Уральский
рабочий»
1992

ББК 84Р7
Ш954

Составление
ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ
при участии
ВАДИМА ПАНЮТЫ

Художник
КОНСТАНТИН СУХАРЕВСКИЙ

Ш $\frac{4702010200 - 31}{«Книголюб» — «ВЕНДА» — «У. Р.» — 92}$ 03-92

© В.ШУКШИН, 1992
© Л.ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА,
составление, комментарии, 1992
© К. СУХАРЕВСКИЙ, худ. оформление, 1992

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ

РОМАН

ЧАСТЬ 1

ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ

Каждый год, в первую неделю великого поста, православная церковь на разные голоса кляла:

"Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кассиан, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум..."

Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах божьих рассказывали притихшим — нечто ужасное, дерзкое:

"...Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший..."

Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди

пойми душу — что там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за "презревшего час смертный"? Молчали.

"...Народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на сыны, и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, с наставники и зломышленники такового зла, с перво своими советники, его волею и злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!"

Такую-то — величально-смертную — грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, как московский топор изрубил его на площади, принародно.

1

Золотыми днями, в августе 1669 года, Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров.

Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию — позади. Разинцы приползли чуть живые; не они первые, не они последние "сбегали на Хволынь", но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за "зипуны" остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая — Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы "наторговали" у "косоглазых" саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек (без пленных). Надо теперь набраться сил — отдохнуть, наесться... И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на учуг митрополита астраханского Иосифа — побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было... А было — мало. Взяли также лодки, невода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на учуге разную церковную

утварь, иконы в дорогих окладах — чтоб в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам.

Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там — государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после — припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться... Да и почему отдавать-то?! Все добыто кровью, лишениями вон какими... И — все отдать?

2

...Круг шумел.

С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс.

— Ты что, в гости к куму собрался?! — кричали ему.— Как и то не кажный кум дармовшинников-то любит, другой угостит, чем ворота запирают.

— Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня — не ухват! — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю.— Сам могу кого хошь угостить.

— Он у нас казак ухватистый: как ухватит бабу за титьки, так кричит: "Чур на одного!" Ох и жадный же!

Кругом засмеялись.

— Кондрат, а Кондрат!..— Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом.— Ты чего это разоряешься, што воевода тебе не кум? Как это проверить?

— Проверить-то? — оживился Кондрат.— А давай вытянем твой язык: еслив он будет короче твово же носа,— воевода мне кум. Руби мне тада голову. Но я же не дурак, штоб голову свою занапраслину подставлять: я знаю, што язык у тебя три раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, еслив его подрубить с одной стороны, только до затылка...

— Будет зубоскалить! — Кондрата спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный.

— Браты! — начал он; вокруг притихли.— Горло драть — голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой: Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит.

А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальщиков-стрельцов собралось: новые пришли, и старых на нас держут. Тыщ с пять, а то и больше. Нас — тыща с небольшим. Да хворых вон сколь! Это — одно. Терки — там тоже стрельцы...

Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним — кто стоял, кто сидел — есаулы, сотники: Иван Черноярец, Ярослав Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно; казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось — не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил:

— Как сам-то думаешь, Федор?

— На Терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем без толку, не пройдем. А Терки, даст бог, возьмем, зазимуем... Есть куда приткнуться.

— Тьфу! — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь (руль).— Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был! Там не пройдем, здесь не пустют... А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили: "Идите, казачки, пошáрпайте нас!" Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу...

— Не путайся, Стырь,— жестко сказал серьезный есаул.

— Ты мне рот не затыкай! — обозлился и Стырь.

— Чего хочешь-то?

— Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил.

— Дак вить это — кому как, Стырь,— ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком.— Доведись до тебя, она те вовсе без надобности: ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся — шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а? — Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство.— А то болтают, што он у тя не простой, а вроде на ем шерсть...

— Язык — это што! — сказал Стырь и потянул саблю из ножен.— Я лучше тебе вот эту ляльку покажу...

— Хватит! — зыкнул Черноярец, первый есаул.— Кобели. Обои языкастые. Дело говорить, а они тут...

— Но у его все равно длинней,— ввернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.

— Говори, Федор,— велел Степан.— Говори, чего начал-то.

— К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы тут. А уж там...

— Добро-то куда там деваем?! — спросили громко.

— Перезимуем, а по весне...

— Не надо! — закричали многие.— Два года дома не были!

— Я уж забыл, как баба пахнет.

— Молоком, как...

Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.

— Сами вы бабы все тут! — сказал зло и горестно.

— К Яику пошли! — раздавались голоса.— Отымем Яик — с ногаями торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет.

— Домо-ой!! — орало множество. Шумно стало.

— Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?!

— Мы войско али — так себе?! Пробьемся! А не пробьемся — сгинем, невелика жаль. Мы первые, што ль?

— Не взять нам теперь Яика! — надрывался Федор.— Ослабли мы! Дай бог Терки одолеть!..— Но ему было не перекричать.

— Братцы! — На бочонок, рядом с Федором, взобрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак.— Пошлем к царю с топором и плахой — казни али милуй. Помилует! Ермака царь Иван миловал же...

— Царь помилует! Догонит да ишо раз помилует!

— А я думаю...

— Пробиваться!! — стояли упорные, вроде Стыря.— Какого тут дьявола думать! Дьяки думные нашлись...

Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого... То ли хотел запомнить, кто первый выскочил "с топором и плахой", какой умник.

— Батька, скажи ради Христа,— повернулся Иван Черноярец к Степану.— А то до вечера галдеть будем.

Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой крепкой походкой. Ноги — чуть враскорячку. Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана — надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.

Поутихли. Смолкли вовсе.

Степан подошел к бочонку... С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак.

— Стырь! — позвал Степан.— Иди ко мне. Любо слушать мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать.

Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка:

— Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать да гадать: ийтить нам на Дон али нет? — не видать бы нам Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стряхнулись — и пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака — бабы! Да то ли мы воевать разучились? То ли мясников-стрельцов испужались? Пошто сперло-то нас? Казаки...

— Хорошо говоришь,— похвалил Степан. Сшиб на бок бочонок, указал старику: — Ну-ка — с него, чтоб слышней было.

Стырь не понял.

— Как это?

— Лезь на бочонок, говори. Но так же складно.

— Неспособно... Зачем свалил-то?

— Спробуй так. Выйдет?

Стырь в неописуемых персидских шароварах, с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана...

— Говори,— велел тот. Непонятно, что он затеял.

— А я и говорю, пошто я не вижу здесь казаков? — сплошные какие-то...

Бочонок крутнулся; Стырь затанцевал на нем, замахал руками.

— Говори! — велел Степан, сам тоже улыбаясь.— Говори, старый!

— Да не могу!.. Он крутится, как эта... как жана виноватая...

— Вприсядку, Стырь! — кричали с круга.

— Не подкачай, ядреиа мать! Языком упирайся!..

Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка.

— Не можешь? — громко — нарочно громко — спросил Степан.

— Давай я поставлю его на попа...

— Вот, Стырь, ты и говорить мастак, а не можешь — не крепко под тобой. Я не хочу так...

Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него.

— Мне тоже домой охота! Только домой прийтить надо хозяевами, а не псами битыми.— Атаман говорил короткими,

лающими фразами — насколько хватало воздуха на раз: помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут — в манере держаться и говорить перед кругом — тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной, но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить.

— Чтоб не крутились мы на Дону, как Стырь на бочке. Надо пройтить, как есть — с оружием и добром. Пробиваться — сила невелика, браты, мало нас, пристали. Хворых много. А и пробьемся — не дадут больше подняться. Доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийтить надо целыми. Будем пока стоять здесь — отдохнем. Наедимся вволю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы... Здесь в ямах ее много. Дозору — глядеть!

Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали невода. Летело на землю дорогое персидское платье... Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры; подвешивали на треногах большие артельные котлы.

Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег, они разбрелись по острову, помогали казакам: собирали дрова, носили воду, разводили костры.

Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит.

Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил, и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать.

— С царем ругаться нам не с руки,— говорил он, стараясь не глядеть на есаулов.— Несдобруем. Куда!.. Вы подумайте своей головой!

— Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут?

— Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондырев к шаху за зипунами — пропустили. И мы так же: был грех, теперь смирные, домой хочем — вот и все.

— Не оказались бы они хитрей нас — пропустют, а в Астрахани побьют,— заметил осторожный, опытный Фрол Минаев.

— Не посмеют — Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит — станицу к царю пошлем: повинную голову меч не секет. Будем торчать как бельмо на глазу, силу, какая есть, сберегем. А сунемся — побьют.— Степан посмотрел на есаулов.— Понятно говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать.

Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока.

— Держать нас у себя за спиной — это только дурак додумается,— взялся опять за слово Степан.— Я не слыхал, что воеводы астраханские такие же лопоухие. А с князем Львовым у нас уговор: выручать друг дружку на случай беды...

— Откуда у вас дружба такая повелась? — с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с неожиданно синими ласковыми глазами.— Не побратим ли?

Он весь какой-то — вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках, но Степана любит, как бабу, ревнует, и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается — атамана затрясет неудержимая ярость,— Ларька тут как тут: готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.

Степан ответил не сразу, с неохотой... Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить... Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку.

— А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная? Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей?

— Как же он тебе теперь поможет?

Степан, как видно, и про это думал один.

— Будет петь в уши Прозоровскому: "Пропусти Стеньку, ну его к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь —

нам неспокойно". По-другому ему нельзя. Надо с им только как-нибудь стренуться...

— А ну-ка царь им велит? — допрашивал Ларька.— Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет?

— Мы с царем пока не цапались — зачем ему? И говорю вам: с Украйной у их плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал — кто посильней. Царь повыше нас сидит — на престоле, должен это видеть. Он и видит — не дурак, правда что...— Степан помолчал опять, посмотрел на Черноярца.— Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются да идут к нам — Волгой ли, через Терки ли — как способней. К гребенским тоже пошли — тоже пускай идут, кому охота. А как подвалют со всех сторон... я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот. Я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут — пусть шум будет: мы без шуму не собираемся. А шумом-то и этих,— Степан кивнул в сторону Астрахани,— припужнем: небось сговорчивей будут.

— К гребенским послал,— откликнулся Иван.

— Ну, добре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, сторожевых глянем.— Степан вышагнул из шатра. Надоело говорить. И говорить надоело, и в душу опять лезут, дергают.

— На кой черт столько митрополиту отвалил на учуге? — недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана.

— Надо,— коротко ответил тот, думая о чем-то своем. Помолчал и добавил: — Молиться за нас, грешных, будет.

— А ясырь-то зачем? — пытал Фрол.

— Хитрый ты, Фрол. А скупой. Церква, она как курва добрая: дашь ей — хороший, не дашь — сам хуже курвы станешь. С ей спорить — легче на коне по болоту ехать.

Степан остановился над затончиком, засмотрелся в ясную ласковую воду... Плюнул, пошел дальше. Бездействие томило самого атамана.

— Тоска, Фрол. Долго тут тоже не надо — прокиснем.

Некоторое время шли молчком.

Давно они дружили с Фролом, давно и странно. Нравилась Степану рассудительность Фрола, степенность его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборваться: Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело (лет пять тому назад Фрол заехал в церковь верхом на коне и спросил у людей: "Как на Киев проехать?"). Эта изобретательность

Фрола, от которой, случалось, сам Фрол жестоко страдал, тоже очень нравилась Степану. Фрол казался старше атамана, хоть они были годки. Степан нет-нет, а оглядывался на Фрола, слушал, но не показывал, что слушает, а иной раз зачем-то даже поперек шел — назло, что ли, только сам Степан не смог бы, наверно, объяснить (да он как-то и не думал об этом): зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол был хитрый, терпеливый. Сделает Степан наперекор ему, глянет — проверить — как? Фрол — как так и надо, молчит и делает, как велено, но чуял Степан, что делает больно другу, чуял, и поэтому иногда нарочно показывал всем, как они крепко дружат с Фролом.

В прибрежных кустах, неподалеку, послышались женские голоса, плеск воды — купались.

— Кто эт? — заинтересовался Фрол.

— Тише... Давай напужаем.— Степан чуть пригнулся, пошел сторожким, неслышным шагом. Крался всерьез, как на охоте, даже строго оглянулся на Фрола, чтоб и тот не шумел тоже.

— А-а...— догадался Фрол. И тоже пригнулся и старался ступать тихо.

Вот — налетел миг, атаман весь преобразился, собрался в крепкий комок... Тут он весь. И в бою он такой же. В такой миг он все видел и все понимал хорошо и ясно. Чуть вздрагивали ноздри его крупного прямого носа, и голос — спокойный — маленько слабел: говорил мало, дельно. Мгновенно соображал, решал сразу много — только б закипело дело, только б неслись, окружали, валили валом — только бы одолеть или спастись. Видно, то н были желанные мгновения, каких искала его беспокойная натура. Но и это еще не все. К сорока годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству, и думать он умел, и в людях вроде разбирался. Но — весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий,— в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь его, и раньше, и после — поступки и дела его — тому свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая душа на подлость и злость людскую, так Степана точно срывало с места. Прямо и просто решалось тогда: обидел — получи сам. Тогда-то он и

свирепел, бывал жесток. Но эту-то добрую, справедливую душу чуяли в нем люди, и тянулись к нему, и надеялись, потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому-то сказать, чтобы знали. И хоть порой томило Степана это повальное к нему влечение, он не мог отпихивать людей — тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились... И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам все почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь — куда его тащит, зачем? — и бросал: не то что не по силам, а... Тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай — тоже вытерпеть надо. Это-то как раз и не по силам — долго сидеть. Посидит-посидит, подумает — надо что-нибудь делать. Есть такие люди: не могут усидеть. Есть мужики: присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает, заоглядывался... Выйдет во двор — хоть кол надо пошатать, полешко расколоть. Такие неуемные.

Купалась дочь астаринского Мамед-хана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли — радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей.

Казаки подошли совсем близко... Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой; нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку.

Степан смеялся беззвучно; Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело шахини.

— Сладкая девка, в святителя мать,— промолвил он с нежностью.— Сердце обжигает, змея.

— Ну, одевай ее!..— сказал Степан няньке.— Или вон — в воду. Чего расшиперилась, как наседка!

Старуха не понимала; обе со страхом глядели на мужчин.

— В воду! — повторил Степан. Показал рукой.

Молодая и старая плюхнулись в воду по горло.

— Зря согнал,— пожалел Фрол.— Хоть поглядеть...

— Глазами сыт не будешь.

— Нехристи, а туда же — совестно.

— У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех.

— Такая наведет на грех... Ослепну, не гляди!

Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут.

— Что? — непонятно, с ухмылкой спросил Фрол.— Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил... Охота, поди, к тятьке-то? А?

Старуха нянька что-то сказала на своем языке сердито.

— Во-во,— "согласился" Фрол,— тятька-то ее — бяка: бросил доченьку — и драла...

— Будет тебе,— сказал Степан.— Купайтесь! Пошли.

Два дозорных казака на бугре, в камнях, тоже забыли про все на свете: резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, ожерелья, перстни... Даже шаль какая-то дивная лежала.

Игроки — старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток,— увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым.

— Сукины дети! — закричал над ними Степан.— В дозоре-то?

— Да кто ж это так делает, а?! — подал голос и Фрол.

Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону... Старик, понурив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове.

— Чей? — спросил Степан молодого.

— Федоров.

— Зовут?

— Макся.

— Знаешь, что за это бывает? В дозоре картежничать...

— Знаю.

— А пошто побежал? От меня, что ли, убежать хочешь?

— Простн, батька.

— Иди суда!

Казачок медлил.

— Ну я за тобой гоняться не буду, на кой ты мие нужен. Снимай штаны, старый, тебе придется ввалить, раз молодой убежал. Раз ему не совестно...

— Эхе-хе,— вздохнул старый и стал снимать штаны.— Смолоду бит не был, дак хоть на старости плеть узнаю. Не шибко старайся, Степан Тимофеич, а то у тебя рука-то...

Степан краем глаза наблюдал за молодым.

Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу.

— Напаскудил и в бег? — сказал Степан.— Плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил,— вложь ему, Микифор, полста горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся.

— Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец, чтоб старых людей не дурачил,— обрадовался Микифор.

— Обыграл? — полюбопытствовал Степан.

— Всего обчистил, стервец!

— Молодец! Не хлопай ушами тоже.

— Да он мухлюет, наверно! — воскликнул старый казак, как-то — и возмущаясь и жалуясь — сразу.

— Кто, я мухлюю?! возмутился и Макся.— Чего зря-то, дядя Микифор... Карта везучая шла. Я сам вчера Миньке Хохлачу чепь золотую продул — карта плохая шла.

— Ложись, ложись,— поторопил его старый.

Макся спустил штаны.

— А хоть и мухлюет — глядеть надо, на то глаза,— вмешался Фрол за-ради справедливости.

— За ими углядишь! Они вьются, как черти на огню... Зарок давал — не играть, нет, раззудил, бесенок...

Макся лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони.

Степан с Фролом направились к другим дозорам.

— Сам щитай — сколько: я только до двух десятков умею,— сказал Микифор.

— Я скажу "хватит", а ты не поверишь, скажешь, обманываю...— Макся отпустил ладонь — хотел было поговорить, даже и голову приподнял — тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул: — Сам-то не злись, сатана!

— Я по спине увижу, когда хватит,— сказал старый.— А это тебе — за "сатану" — от меня.— Старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще — с сердцем, вволю... Скоро натешился — раз семь огрел — и велел: — Надевай штаны, будем дальше играть. Но станешь опять мухлевать!..

— Да я с тобой вовсе играть не стану!

— Не станешь, опять ложись: все полста отдам те.

Макся скривился, зло сплюнул и присел бочком на камень — опять играть.

Степан с Фролом остановились на возвышении.

Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь.

Разноцветье, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня — все смахивало скорей на ярмарку, нежели на стоянку войска.

Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно:

— Нет, Фрол, с таким табором — не война, горе: рухлядь камнем на шее повиснет. Куда они гожи, такие?.. Только торговлишку и затевать.

— Вот и надо скорей сбыть ее.

— Куда? Кому?..

— Терки-то возьмем!

— Терки-то? — в раздумье, но с явным протестом повторил Степан. — А на кой они мне... Терки-то? Мне Дон надо.

По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались.

Вот усатый пожилой хохол, мастер молоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам:

— Шов мужик з поля, пидходе до своей хаты, зирк в викно, а у хати москаль... гм... цюлуе його жинку...

Хохол, правда, мастер: встал, "показал", как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно — и увидел... И все — сдержанно, не торопясь, с удовольствием.

— Да. Мужик мерщий у хату, а москаль примитыв мужика, да мерщий на покутя, вкрывся, сучий сын,— не бы то спыть. Мужик шасть у хату и баче, що москаль спыть, а жинка пораеця биля пички. "Хиба ж то я нычого й не бачив!" — кажэ мужик. "А що ты там бачив?" — пыта його жинка. "Як що, бисова дочка!" — "За що ты ласшься, вражий сыну?" — "Як за що, хиба ж я не бачив, як тоби москаль цюлував".— "Колы?" — "Як колы?!"

Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверно, эту историю.

А вот бандурист... Настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И так же неторопко, даже как будто нехотя — упросили — похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский "перс". Он и не поет, и не пляшет — это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухваткой, ужимками, "шагом" — все выверено. Это можно смот-

реть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно-складное:

Гуси-лебеди летели,
В чисто поле залетели,
В поле банюшку доспели.
Воробей дрова колол,
Таракан баню топил,
Мышка водушку носила,
Вошка парилася,
Пришумарилася.
Бела гнидка подхватила,
На рогожку повалила;
Тонку ножку подломила,—
Вошку вынесли...

А здесь свое, кровное — воинское: подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками — кто сколько раз перерубит. Здесь — другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, "вкусно" сечет хищная сталь сочные камышинки. И тут свой мастер. Дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает "ремесло" в совершенстве. Учит молодых.

— Торописся... Не торопись.

— Охота ишо разок достать.

— Достанешь, еслив не будешь блох ловить. Отпускай не на всю руку... Не на всю — а штоб она у тебя вкруг руки сама ходила, не от собак отбиваисся. Во — глянь...

Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда, вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченые зубы, приговаривает:

— От-тя, от-тя...

— Ну?..— скосоротился малолеток вроде Макси.

— Хрен гну! Вишь, у меня локоть-то не ходит.

— Зато удар слабый.

— А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А када крепость, тада на всю руку — и на себя. От-теньки!..— секир башка! Тут — вкладывай, сколь хватит силенки, и — маленько на себя, на себя...

Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, потные тела играют мускулами... Красиво.

Степан, спустившись с высотки, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкиев, Сукнин, Ларька Тимофеев...

— С камышом-то вы ловкие! Вы — друг с дружкой! — не выдержал Степан.

Перестали махать.

— Ну-ка, кто порезвей? — Атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он с тем резвачом смертно.— Нет, что ли, никого? Ну и казаки!.. Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши. Наши молодцы — кто больше съест, тот и молодец? Эх...— Атаман шутил. Но и всегда — и серьезно — учил: "Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит". Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ротозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря время, а постигают главное в их опасной жизни.— Ну, молодцы?.. Кто? Правда, охота.

Рубака-дед громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс.

— Што-то я не расслышал,— обратился он к молодым,— кто-то здесь, однако, выхваляется? А?

Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали.

— Я выхваляюсь! Я! — сказал Степан.

— Эге!.. Атаман? — удивился дед.— Легче шуткуй, батька. А то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, штоб пообтесали язык... А глядь — атаман. Ну, счастье твое — глаза ишо видют, а то б...

— А есть такие? Пообтешут?

— Имеются,— скромно ответил дед.— Могут.

— Да где ж?

— А вот же ж! Перед тобой. Ты не гляди, што у нас ишо молоко на губах не обсохло,— мы и воевать могем.

— Кто? Вот эти самые?

— Ага. Они самые.

Степан поморщился, бросил саблю в ножны.

— Ну, таких-то телят...

— Ойе! — сказал дед и поднял кверху палец.— То про нас, сынки! Он думает, мы только девок приступом брать умеем. Ничего не сделаешь, придется поучить атамана. Ну, мы легонько — на память. Смотрите не забывайтесь, хлопцы, все же атаман. Што ж ты саблюку запрятал, батька?..

Тут сверху от дозоров, зашумели:

— Струга́!

Это был гром среди ясного неба. Этого никто не ждал. Слишком уж покойно было вокруг, по-родному грело солнышко, и слишком уж мирно настроились казаки...

Лагерь притих. Смотрели вверх, в сторону дозорных. Не верилось.

— Откуда?!

— От Астрахани!

— Много?! — крикнул Черноярец.

Дозорные, видно, считали — не ответили.

— Много?! — закричали им с разных сторон.— Какого там?!..

— С тридцать! — поспешил крикнуть молодой дозорный, но его поправили:

— Полста! Большие!..

Есаулы повернулись к Степану. И все, кто был близко, смотрели теперь на него.

Степан смятенно думал.

Весь огромный лагерь замер.

— В гребь! — зло сказал Степан.

Вот — наступила ясность: надо уходить. Полста астраханских больших стругов со стрельцами — это много. Накроют.

— В гребь!! — покатилось от конца в конец лагеря; весь он зашевелился; замелькали, перемешались краски. Не страх охватил этих людей, а досада, что надо уходить. Очень уж нелепо.

3

Из единственного прохода в тучных камышах выгребались в большую воду.

— В гребь — не в гроб: можно постараться. Наляжь, братцы!

— Их ты!.. Рраз! Ма-рье в глаз!

— Уйдем не уйдем, а побежали шибко.

Скрипели уключины, шумно путался под веслами камыш, ломался, плескалась вода... Казаки, переговариваясь в стружках, перекрикиваясь, не скрывали злой досады и нелепости этого бега. Матерились негромко.

— Уйде-ом, куда денемся!

— Шшарбицы не успел хлебнуть,— сокрушался большой казак, налегая на весло.— Оно б веселей дело-то пошло.

— Ишь ты, на шшарбу-то — губа титькой.

— Не горюй, Кузьма! Всыпет вот воевода по одному месту — без шшарбы весело будет.

— А куда бежать-то будем? Опять к шаху? Он, поди-ка, осерчал на нас...

— Это пусть батька с им разговоры ведет... Они дружки.

— А пошто бежим-то? — громко спросил молодой казачок, всерьез озабоченный этим вопросом.

Рядом с ним засмеялись.

— А кто бежит, Федотушка? Мы рази бежим?

— А чего ж мы?..

Опять грохнули.

— Мы в догонялки играем, дурачок! С воеводой.

— Пошел ты! — обиделся казачок.— Ему дырку на боку вертют, а он хаханьки!

Головные струги вышли в открытое море. Было безветренно. Наладились в путь дальний, неведомый. А чтоб дружнее греблось, с переднего струга, где был Иван Черноярец, голосистый казак громко, привычно повел:

— Эхх!..

— Слушай! — скомандовал Черноярец.

Не великой там огонюшек горит...

Разом дружный удар веслами; почти легли вдоль бортов.

То-то в поле кипарисный гроб стоит...

Еще гребок. Все струги подстроились махать к головным.

Во гробу лежит удалый молодец,—

ведет голос; грустный смысл напева никого не печалит. Гребут умело, податливо: маленько все-таки отдохнули.

Во резвых ногах-то уж и чуден крест,
У буйной-то головы душа добрый конь.
Как и долго ли в ногах-то мне стоять,
Как и долго ли желты пески глотать?
Конь мой, конь, товарищ верный мой!..

Степан сидел на корме последнего струга. Мрачный. Часто оборачивался, смотрел назад.

Далеко сзади косым строем растянулись тяжелые струги астраханцев. Гребцы на них не так дружны — намахались от Астрахани.

Эх-х!..
Ты беги, мой конь, к моему двору,
Ты беги, конь мой, все не стежкою,
Ты не стежкою, не дорожкою;
Ты беги, мой конь, все тропинкою,
Ты тропинкою, все звериною...

— Бегим, диду?! — с нехорошей веселостью, громко спросил Степан деда, который учил молодых казаков владеть саблей.

— Бегим, батька! — откликнулся дед-рубака.— Ничего! Не казнись: бег не красен, да здоров.

Степан опять оглянулся, всматриваясь вдаль, прищурил по обыкновению левый глаз... Нет, погано на душе. Муторно.

Прибеги ж, конь, к моему ты ко двору.
Вдарь копытом у вереички.
Выдет, выдет к тебе старая вдова,
Вдова старая, родная мать моя...—

причитал голос на переднем струге.

— Бегим, в гробину их!.. Радуются — казаков гонют. А, Стырь? Смеется воевода! — мучился Степан, накаляя себя злобой. От дома почти, от родимой Волги — гонят куда-то!

Стырь, чутьем угадавший муки атамана, неопределенно качнул головой. Сказал:

— Тебе видней, батька. У меня — нос да язык, у тебя — голова.

Вдова старая, родная мать моя,
И про сына станет спрашивати:
Не убил, не утопил ли ты его?

Ты скажи: твой сын жениться захотел,
В чистом поле положил-то я его,
Обнимает поле чистое теперь...

Степан встал на корме... Посмотрел на свое войско. Потом опять оглянулся. Видно, в душе его шла мучительная борьба.

— Не догнать им,— успокоил дед-рубака.— Они намахались от Астрахани-то.

Степан промолчал. Сел.

— А не развернуться ли нам, батька?! — вдруг воскликнул воинственный Стырь, видя, что атаман и сам вроде склонен к бою.— Шибко уж в груде погано — не с руки казакам бегать.

— Батька! — поддержали Стыря с разных сторон.— Что ж мы сразу салазки смаазали?!

— Попытаем?!

Степан не сразу ответил. Ответил, обращаясь к одному Стырю: другим, кто близко сидел, не хотелось в глаза смотреть — тяжело. Но Стырю сказал нарочно громко, чтоб другие тоже слышали:

— Нет, Стырь, не хочу тебя здесь оставить.

— Наше дело, батька: где-нигде — оставаться.

— Не торопись.

— Дума твоя, Степан Тимофеич, дюже верная,— заговорил молчавший до того Федор Сукнин. Подождал, когда обратят на него внимание. — Отмотаться надо сперва от этих...— Показал глазами на астраханскую флотилию.— Потом уж судить. Бывало же: к царю с плахой ходили. Ермак ходил...

— Ермак не ходил,— возразил Степан.— Ходил Ивашка Кольцов.

— От его же!

— От его, да не сам,— упрямо сказал Степан.— Нам царя тешить нечем. И бегать к ему каждый раз за милостью — тоже невелика радость.

— Сам сказал даве...

— Я сказал!..— повысил голос Степан.— А ты лоб разлысил: готовый на карачках до Москвы ийтить! — Гнев Разина вскипал разом. И нехорош он бывал в те минуты: неотступным, цепенящим взором впивался в человека, бледнел и трудно находил слова... Мог не совладать с собой — случалось.

Он встал.

— На!.. Отнеси заодно мою пистоль! — Вырвал из-за пояса пистоль, бросил в лицо Федору; тот едва увернулся.— Бери Стеньку голой рукой! — Сорвался с места, прошел к носу, вернулся.— Шумни там: нет больше вольного Дона!

Пускай идут! Все боярство пускай идет — пускай мытарют нас!.. Казаки им будут сапоги лизать!

Федор сидел ни жив ни мертв: черт дернул вякнуть про царя! Знал же, побежали от царева войска,— не миновать грозы: над чьей-нибудь головой она громыхнет.

— Батька, чего ты взъелся на меня? Я хотел...

— В Москву захотел? Я посылаю: иди! А мы грамоту тебе сочиним: "Пошел-де от нас Федор с поклоном: мы теперь смирные. А в дар великому дому посылаем от себя... одну штуку в золотой оправе — казакам, мол, теперь ни к чему: перевелись. А вам-де сгодится: для умножения царского рода".

— Батька, тада и меня посылай,— сказал Стырь.— Я свой добавлю.

* * *

На переднем струге астраханской флотилии стояли, глядя вперед, князь Семен Львов, стрелецкие сотники, Никита Скрипицын.

— Уйдут,— сказал князь Семен негромко. Без особого, впрочем, выражения сказал — лиса, жадный, как черт, и хитрый.— Отдохнули, собаки!

— Куда ж они теперь денутся? — озадачило стрелецкого сотника.

— В Терки уйдут... Городок возьмут, тада их оттуда не выковырнешь. Перезимуют и Кумой на Дон уволокутся.

— А не то к шаху опять — воровать,— подали сзади голос.

— Им теперь не до шаха — домой пришли,— задумчиво сказал князь Семен.— У их от рухляди струги ломаются. А в Терки-то их отпускать не надо бы... Не надо бы. А, Микита?

— Не надо бы,— согласился простодушный Никита Скрипицын, служилый человек приказа Галицкой чети.

— Не надо бы,— повторил князь Семен, а сам в это время мучительно решал: как быть? Ясно, казаков теперь не догнать. Как быть? Выгнать их подальше в море и стать в устье Волги заслоном? Но тогда переговоры с Разиным поведутся через его голову — это не в интересах князя. Князю хотелось первым увидеться с Разиным, с тем он и напросился в поход: если удастся, то накрыть ослабевших казаков, отнять у них добро и под конвоем проводить в Астрахань, не удастся, то припереть где-нибудь, вступить самому с Разиным в переговоры, слупить с него побольше и без боя — что лучше —

доставить в Астрахань же. Но — в том и другом случае — хорошо попользоваться от казачьего добра. В прошлый раз, под видом глупой своей доверчивости, он пропустил Разина на Яик "торговать" и славно поживился от него. Разин сдуру хотел даже от него бумагу получить впрок, что вот-де князь Львов, второй воевода астраханский, принял от него, от походного атамана, от Степана Тимофеича... Князь Семен велел посыльщикам передать атаману: пусть не блажит! И велел еще сказать: уговор дороже денег, и никаких бумаг!

Так было в прошлый раз.

Теперь же так складывалось, что не взять с Разина — грех и глупость. У разбойников — правда что! — струги ломятся от добра всякого, а на руках у князя "прощальная" царская грамота: год назад царь Алексей Михайлович писал к Разину, что, если он уймется от разбоя и уйдет домой, на Дон, царь простит ему свои караваны, пущенные на Волге ко дну, простит стрельцов и десятников стрелецких, вздернутых на щегле, простит монахов, которым Степан Тимофеич сам, на бою ломал руки через колено. (Забыл Степан, рассуждая с Фролом Минаевым про церковь, забыл про этих монахов.) Князь Львов подсказал князю Прозоровскому, первому воеводе, воспользоваться этой грамоткой теперь и не заводить с донцами свары, ибо стрельцы в Астрахани ненадежны, а Разин богат и в славе: купит и соблазнит стрельцов.

— А ведь не угрести нам за ними,— молвил наконец князь Семен.— Нет, не угрести. Микита, бери кого-нибудь — догоняйте налегке. Отдай грамоту, только — упаси бог! — ничего не сули. Не надо. Пускай в Волгу зайдут — там способней разговаривать.

— Спросют ведь: как, что? Не поверют...

— В грамоте, мол, все писано: "Царь вам вины ваши отдает — идите". Все. С богом, Микита: пусть в Волгу зайдут, там видно будет.

Через некоторое время из-за переднего струга астраханцев вылетела резвая лодочка и замахала в сторону разинцев. С княжьего судна бухнула тяжелая пушка. Флотилия стала.

* * *

Степан, услышав пушечный выстрел, вскочил.

— Лодка! — крикнул рулевой.— Те стали, а лодка вдогон идет!

— Ну-ка, обожди! — велел Степан.— К нам ли?

— Послы, чай? — гадали казаки.

— К нам, что ли?! — крикнул Степан в нетерпении. Послы — это уже не бой. Не ему теперь, слабому, увешанному добром, как гирями, желать боя. Послы — это хорошо.— Ну-ка, кто поглазастей — гляди хорошенько!

Все смотрели на далекую лодочку.

— К нам! — заверили, кто поглазастей.— Прямиком суда машет. Легкая, без набоев.

Через минуту Степан уже распоряжался:

— Пальни, из какой громче! Сенька, дуй к Черноярцу — пускай кучней сплывутся. Сам пусть ко мне идет. Одеться всем!

В разинской флотилии начались приготовления к встрече с послами. Тявкнула пушка. Передние струги развернулись и шли к атаману. Казаки одевались: на каспийской вечерней воде зацвели самые неожиданные яркие краски. Заблестело у поясов драгоценное оружие — сабли, пистоли. У Степана на боку очутился золотой пернач, гнутый красавец пистоль.

— Веселей гляди! — слышался бодрый голос Степана.— Хворых назад!

Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизонта и стал медленно погружаться в воду. А в небе, в той стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный пожар.

Лодочка с послами все скользила и скользила по воде. Торопилась. Солнце было как раз между лодочкой и стругами Стеньки. И оно медленно катилось вниз. А лодочка все торопилась.

И вот солнце закатилось совсем; на воде остался широкий кровяной след. Лодочка заскользила по этому следу. Пересекла, подступила к атаманову стругу. Несколько рук протянулось с баграми — придержали лодочку. Послов подняли на высокий борт.

Тихо на море. Только чайки кружат и кричат ущемленными кошками.

Ровное, гладкое море. Скоро ночь. Покой.

— "...Чтоб шли вы с моря на Дон,— читал Никита Скрипицын Разину и его есаулам.— И чтоб вы, домой идучи, нигде никаких людей с собой не подговаривали. А которые люди и без вашего подговору учнут к вам приставать, и вы б их не принимали и за то опалы на себя не наводили..."

Степан покосился на есаулов. Есаулы внимательно слушали.

— "И чтоб вы за вины свои служили, и вины свои заслуживали..."

— Читай ладом! — обозлился Степан.— Задолбил одно: "служили да заслуживали"!

— Здесь так писано! — воскликнул Никита и показал Степану.

Тот оттолкнул грамоту.

— Чти!

— "А что взяли понизовых людей и животы многие, и то все б у вас взять и отдать в Астрахани..."

* * *

Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, продумывал простой и надежный план. Что разинцы остановились для переговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, не упустить бы момент.

Князь Семен беседовал с сотниками.

— Дума у меня такая, ребятушки,— тянул, по обыкновению, хитрый Львов.— Стеньке деваться некуда: шаху насолил, в Терках стрельцы, в Астрахани стрельцы... А на бой идти ему неохота. Ему домой надо — разгрузиться. Во-от... А как зайдут в Волгу — тут мы их запрем, отрежем от моря. Он сразу сговорчивый станет. В Волгу его зазвать, в Волгу... Отымем барахлишко, тогда уж и приведем в Астрахань. А?

* * *

Милостивая царская грамота прочитана.

Казаки думают. Послы ждут.

Степан ходил по стружку взад-вперед. У него созрел свой план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни грамоте, ни словам Львова (он решил, что грамота фальшивая), но в действиях астраханцев он уловил некую неуверенность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и расторопность.

— Иван! — позвал он Черноярца.

— Ну! — откликнулся тот.

— Так сделаем: мы в десять стругов останемся тут, ты в двенадцать, с ясырем, с бусáми, пойдешь в Волгу. А мы остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой подвох

затеяли — мы у их со спины окажемся. Взял? Ишь, они обмануть нас задумали...

— Ты хитрый, Стень... Степан Тимофеич,— заговорил Никита Скрипицын,— а и там не гольные дураки: там-то знают, вы не в двенадцать стругов шли, а в двадцать два. Сметют.

— Знамо, сметют. Иван, зайдете в Волгу, метай кого-нибудь в лодку — и к князю Львову. Скажете: вышел у нас здесь раздор: одни на милость пошли, другие со Стенькой в Терки отвалили. Послы с нами побудут. Окажется подвох — с их начнем: своими руками обоих задавлю. Подбирай людей, Иван. Поменьше бери — только гребцов. Ларька, Федор, Фрол — со мной. Расскажите казакам, чтобы все знали. Чтоб наизготовке были. Берегите послов. Айда!

Разинская флотилия пришла в движение.

Там и здесь вспыхивали факелы; казаки менялись местами. Двенадцать стругов отряжалось с Черноярцем, остальные должны были быть со Степаном — в засаде.

Никита Скрипицын затосковал. Посольство могло выйти ему боком. Потёмый князь Семен додумается: сообразит казакам ловушку. Тогда атаман исполнит слово — задавит, в этом можно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, что атаман сам хочет выставить его, Скрипицына, в качестве грамоты, но не фальшивой, как думал атаман про ту, что ему вычли, а истинной: если дать Скрипицыну удрать, то он и сообщит Львову, что казаки не верят и наладили свою ловушку. Это и надо было Степану: он упорно не хотел боя. Когда станет понятно, что казаки не дали себя обмануть, астраханцы должны будут открыть карты. Может, грамота и не фальшивая, черт ее разберет так-то.

— Пропали, Кузьма,— негромко сказал Скрипицын своему товарищу.

— Чую,— откликнулся тот.

— Что делать? Ну-ка, да там возьмут да кинутся на эти двенадцать стружков? Подумают, все прошли, и кинутся. Пресвятая богородица, отведи напасть. Пропадем...

— Перехитрил, черт дошлый!

— Обманешь их! С малых лет на воровстве. Черта вокруг пальца обведут.— Скрипицын невольно прислушивался к сборам казаков, прикидывая в уме, сколько они еще прособираются и сколько пройдет времени, пока казаки подойдут к Волге, а князь Львов отрежет их с моря,— успеет рассветать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымогательство, в том Скрипицын не сомневался — пойдет. Если бы

к тому времени хоть рассвело, хитрость казачья обнаружилась бы, и Львов опомнился бы...

— Чего Львов задумал-то? — спросил его Кузьма.

— Откуда мне знать? Ты знаешь?

— Я знаю... Вы там все шепчетесь-то, все выгадываете... Кинется он на этих, как думаешь?

Скрипицын помолчал и сказал зло и отчаянно:

— А то ты не знаешь!

Двенадцать стругов под командой Черноярца с множеством факелов двинулись в сторону Волги. Десять с Разиным осталось.

— Огни в воду! — донесся голос Разина.— В гребь! И тихо надо! Смочите колышки, весла...— Голос атамана приближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась уже на струге, где были послы, на корме.— В гребь! Но — тихо,— повторил он. Повернулся к рулевому.— Будешь держать за ими пока,— показал в сторону удаляющихся огоньков.— Остров замаячит, свалишь в левую руку. Стырь, иди ко мне, накажу вам одно дело важное,— позвал он.

Стырь прошел на корму.

— Как совсем стемнеет,— заговорил Степан на ухо старику,— я велю перевести послов на другой струг. Приставными пошлю вас с дедом. В ихной лодке. Надо, чтоб они утекли от нас. Дайте им...

— Как? — не понял Стырь. Он тоже говорил шепотом.

— Дайте им сбежать.

— А мы как? — все не мог понять Стырь.

— Не знаю. Можа, с собой возьмут.

— Хм... А можа, стукнут бабайкой да в воду?

— Не знаю. Иди скажи деду. Оборони бог, чтоб послы чего-нибудь зачуяли... Себя пожалеете, я вас не пожалею. Сделайте, чтоб убежали.

Стырь подумал. Встал. Он понял.

— Убегут. А на худой конец — дай чмокну тебя. Я хошь не шахова девка, а люблю тебя...— Поцеловались. Стырь еще сказал: — Батьке твоему поклон передам.

— Раньше время-то не умирай.

— А кто ведает? Они вон быки какие.

— Иди к деду, расскажи ему все,— поторопил Степан.

— Не поминай лихом, Тимофеич.

Степан некоторое время смотрел в темноту. Потом сказал гребцам:

— Не торопитесь. Поспеем. Гребите тише.

Долго плыли в полной тишине. Только чуть слышно вскнпала вода под веслами, шипела. Струги с Черноярцем были уже далеко; плясали, путались во тьме и качались длинные огоньки их факелов.

Слева замаячил остров, надвигался смутной длинной тенью.

— Остров, батька,— подали голос с носа струга.

— Вали влево. Как остров обогнем... Стырь! И ты, дед Любим! Проводите послов на последний струг, к Федору. А то они развесили тут ухи-то — много знать будут,— нарочно громко сказал Степан.— Уберите их отсудова!

— Пошли, голуби! — скомандовал Стырь.— Вязать будем, Любим?

— Шевелитесь! — прикрикнул Степан нетерпеливо.

— В лодке свяжем,— решил дед Любим.— Шагайте.

Гребцы притабанили струг; четверо с правого борта слезли в лодку. Молчали.

Струг тотчас отвалил влево, к острову, и сразу пропал в темноте, точно его не было. И задних не слышно пока, тоже тихо крадутся.

— Побудем здесь. Федор подойдет, мы ему шумнем,— сказал Стырь.— Давай-ка, браток, рученьки твои белые, я их ремешком схвачу.— Стырь склонился к Никите Скрипицыну.

Никита слегка ошалел от нежданного поворота, протянул было руки... Но его товарищ сгреб уже деда Любима и ломал под собой, затыкая ему рот. В то же мгновение и Стырь оказался на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты были для послов, туго стянули руки приставных. Послы схватились за весла и налегли на них; лодка очумело полетела в темноту.

— Мм!..— замычал Стырь и засучил ногами.

Никита склонился, покрепче затолкал подол кафтана ему в рот... Захватил в узластую лапу седую бороденку старика, пару раз крепко посунул его голову — туда-сюда — по днищу лодки.

— Будешь колотиться, дам веслом по башке и в воду,— сказал негромко и весело.

Стырь притих. Дед Любим тоже лежал смирно: видно, товарищ Никиты перестарался, помял Любима от души. Или

— прирожденный воин — Любим хитрил и, не в пример Стырю, не скреб понапрасну на свой хребет.

— Пресвятая матерь божья,— шептал набравшийся смертного страха Никита Скрипицын,— спаси-пронеси, свечей в храме наставлю. Пособи только, господи.

* * *

Князь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с высокого стружьего носа в сумрак ночи. Огоньки факелов на стругах Черноярца плясали поодаль, качались...

— Прошли, что ль? — ни черта не разберу...

— Прошли. Больше нету.

— Сколь нащитал-то?

— По огонькам — много... Они мельтешат как...

— Ну, сколь? Чертова голова...

— С двадцать,— неуверенно отвечал молодой стрелец.— А можа, боле. Они мельтешат, как... Можа, боле, не поймешь.

— Откуда их боле-то? Их сэстоль и есть. Во-от... Гаситека огни! Пошли. Зря не шумите. С богом! Пушкари — готовься. Как отрежем, так лодку к им: "Складай оружье — окруженные". Мы их седня прижмем... В Волге, там с ими поговорим покруче. Взвозятся, открываем пальбу... Но, я думаю, они умней — не взвозятся. Во-от. Топить-то их не надо бы... Не надо бы — у их добра много. Не топить! Так договоримся.

Князь Семен был доволен.

* * *

— Добре! Стой!— распорядился Иван Черноярец.— Так и есть — окружают, собаки: огни в воду пометали. Сучья порода... Ну-ка, кто? — до батьки! Отрезают с моря, мол. К воеводе я сам отправлюсь. Ах, вертучая душа: медом не корми, дай обмануть.— Забыл первый есаул, совсем как-то забыл, что сами они первые раскинули стрельцам сеть.— Батьке скажи, чтоб не торопился палить: можеть, я их счас припужну там. Можеть, миром решим, когда узнают. Спину-то они нам подставили, а не мы им...

— А затеется бой,— ты как же?

— Ну, как? Как есть... Не затеется, я их припужну счас. Давай лодку!

* * *

В астраханской флотилии произошло какое-то движение, послышались голоса... Похоже, кто-то прибыл, что ли.

— Какова дьявола там?! — зашипел князь Семен.— Оглоеды... Опупели?

Голоса приближались. Да, кто-то прибыл со стороны.

— Тиха! — прикрикнули с воеводского струга.

— Никита вернулся,— сказали с воды.— Ну-к, прими! Спусти конец... Да куда ты багром-то?! Дай конец!

— Никита? — изумился князь. Он так увлекся своими хитросплетениями, так с головой влез в азарт продуманной игры, что забыл про своих послов.— Давай суда его. А чего они? Чего, Никита?

— Беда, князь! — заговорил Никита, перевалившись через борт.— Слава те господи!.. успели. Фу!.. С того света.

— Что? Говори! — почти закричал воевода.

— Перехитрили нас, воевода. Ты их отрезал? С моря-то.

— Отрезал.

— А Стенька у нас за спиной! Слава те господи, успели. Я так и знал, что отрежешь. Налетели б счас на румяную...

— Как так? — раздраженно спросил князь.— А кто прошел?

— Сколь прошло-то?

— Двадцать нащитали...

— Двенадцать стругов! А десять, самых надежных, у нас за спиной. Разделились они — подвох зачуяли. Мы-то насилу головушки свои унесли. Двух казаков с собой прихватили. От этих не было никого? — Скрипицын кивнул в сторону разинцев с Черноярцем, которых воевода запирал в Волге.

Воевода помолчал.

— Рази ж они не все прошли?

— Скоро пришлют посыльщиков. Послухай, что плести будут! Скажут, раздор вышел: Стенька в десять стружков к Теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Ворье хитрое... Мы двоих прихватили — приставных к нам. Слава те господи! А уж про нас, князь, и не подумал? Стенька посулился самолично задавить нас...

— Во-от,— понял наконец воевода.— С вами рази чего сделаешь! — Обидно ему сделалось — так все ладно обдумал, так все сошлось в голове, и надо теперь все переиначивать, все ломать и снова собираться с мыслью и духом. Так резко различаются русские люди: там, где Разин, например, легко

и быстро нашелся и воодушевился, там Львов так же скоро уронил интерес к делу, им овладела досада. — А попробуем?! — вдруг вяло оживился он.— Их же меньше. Да мы теперь знаем про ихнюю хитрость. А?

Сразу ответили в несколько голосов:

— Что ты, Семен Иваныч!

— Нет, князь! Господь с тобой!..

— Они как кошки. Им только дай ночью бой затеять. Любезное дело... Они и месяц-то казачьим солнышком зовут.

Опять с воды послышались шум и голоса. Опять, похоже, пришлые.

— Кто?! — окликнули с воеводского струга.

— Есаул Иван Черноярец! К воеводе.

— Зови,— велел князь.— Запалите огонь.

Никита с Кузьмой отошли в сторонку — из светлого круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе.

"Теперь Стенька не даст, сколько мог дать, запри я его в Волге,— подумал князь Семен.— Воистину, казаки обычьем — собаки".

— Ну? — спросил князь строго.— С чем пожаловал?

— Челом бьем, боярин,— заговорил Иван.— Вины наши приносим великому государю...

— Вы все здесь? — нетерпеливо перебил князь.

— Нет. Атаман наш в десять стружков ушел к Теркам.

— Чего ж он ушел? Вины брать не хочет?

— Убоялся гнева царского...

— А вы не убоялись?

— Воля твоя... Царь нас миловал. Нам грамотку вычли.

— А не врешь ты? Ушел ли Стенька-то? — Теперь князь открыто злился; особенно обозлило вранье есаула, и то еще, что есаул при этом смотрит прямо и бесхитростно.— Ушел ваш атаман?! Или вы опять крутитесь, собаки?! Ушел атаман?

— Вот — божусь! — Иван, не моргнув глазом, перекрестился.

— Страмцы,— сказал князь брезгливо.— Никита!..

В круг света вошел Никита Скрипицын, внезапный и веселый.

— Здоров, есаул! Узнаешь?

Иван пригляделся к послу, узнал:

— А-а...— И поник головой, даже очень поник.

— Чего ж ты врешь, поганец?! — закричал князь.— Да ишо крест святой кладешь на себя!

— Не врали б мы, боярин, кабы вы первые злой умысел не затаили на нас,— поднял голову Иван.— Зачем с моря отсек? В царской милостивой грамоте нет того, чтоб нас окружить да побить, как собак.

— Кто вас побить собирался?

— Зачем же с моря путь заступили? Зачем было...

— Где атаман ваш? — спросил воевода.

— Там,— Иван кивнул в сторону моря.— За спиной у вас... Ты, воевода, будь с нами, как с ро́вней. А то обманываешь тоже, как детей малых. Даже обидно, ей-богу... И ты, служилый, ты же только грамоту нам читал: рази там так сказано! Кто же обманом служит!..

— Пошли к Стеньке! — заговорил князь.— Пускай ко мне идет без опаски: крест целовать будете. Пушки, которые взяли на Волге, в Яицком городке и в шаховой области, отдадите. Служилых астраханцев, царицынских, черноярских, яицких — отпустить в Астрахани. Струги и все припасы отдать на Царицыне. Посылай.

— Я сам пойду, чего посылать...

— Сам тут побудешь! — резко сказал воевода.— Посылай.

Иван подумал... Подошел к краю струга, свесился с борта, долго что-то говорил казаку, который приплыл с ним и сидел в лодке. Тот оттолкнулся от струга и исчез в темноте.

Воевода меж тем рассматривал стариков — Стыря и Любима, коих подвели к нему,— он велел. Вступил в разговор с ними.

— Куда черт понес — на край света? — с укоризной спросил князь.— Помирать скоро! Воины...

— Чего торопился, бояри? Поживи мно,— сказал Стырь участливо.— Али хворь какая? — Старики осмелели при ссауле: слышали, как тот говорил с воеводой — достойно. Особенно осмелел Стырь.

— Я про вас говорю, пужалы! — воскликнул князь.

— Чего он говорит? — спросил дед Любим Стыря.

Стырь заорал, что было силы на ухо Любиму:

— Помирать, говорит, надо!

— Пошто?! — тоже очень громко спросил дед Любим.

— Я не стал про то спрашивать!

— Э?!

— Я враз язык прикусил! Испужался!

— А-а! У меня тоже в брюхе чего-то забурчало. Тоже испужался!

Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. Потом понял.

— Не погляжу счас, что старые: стяну штаны и всыплю хорошенько!

— Чего он? — опять спросил дед Любим громко.

— Штаны снимать хочет! — как-то даже радостно орал Стырь.— Я боярскую ишо не видал?! А ты?

— Пошли с глаз! — крикнул воевода. И топнул ногой.

Он, может, и всыпал бы старикам тут же, не сходя с места, но дело его пошло вкось, надо теперь как-то его выравнивать — не злить, например, лишний раз Стеньку: за стариков тот, конечно, обозлился бы.

* * *

Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует воевода:

— Привесть к вере все войско. И чтоб шли мы в Астрахань, а пушки и знамена — все бы отдали. А струги и припас на Царицыне отдали б...

— Голых и неоружных отправить?! — воскликнул Фрол Минаев.— Во, образина!..

— Батька, давай подойдем скрытно, всучим ему щетины под кожу,— подсказал Ларька Тимофеев.— Чтоб он, гундосый, до самой Астрахани чесался.

— Гляди-ко!..— воскликнул Степан.— Какие у нас есаулы-то молодцы! А то уж совсем в Москву собиралися — милости просить. А царь-то, вишь, вперед догадался — грамотку выслал. Молодец! И есаулы молодцы, и царь молодец! — Степан воистину ликовал.

— Мы не напрашиваемся в молодцы,— обиделся Ларька.

— Славный царь! Дуй, Ларька, к воеводе. Перво-наперво скажи ему, что он — чурка с глазами: хотел казака обмануть. Потом насули ему с три короба... Крест поцалуй за нас. Чего хмурисся?

— Я не ходок по таким делам,— сказал Ларька.

— Кто же пойдет? Я, что ль?

— Вон Мишка Ярославов: и писать и плясать мастак. Пусть он.

— Я могу, конечно, сплясать, токмо не под воеводину дудку. Шпарь, Лазарь, не робь.— Мишка широко улыбнулся.

— Вместях пойдете,— решил Степан.— Молодец Ларька, надоумил. Собирайтесь.— Степан посерьезнел.— Гнитесь там перед им, хоть на карачках ползайте, а домой нам

попасть надо. Чего отдать, чего не отдать — это мы в Астрахани гадать будем: грамотка-то, видно, правдишная. Лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте.

Есаулы, Лазарь и Михаил, поднялись нехотя.

— Пушки, знамена, струги, припас — на то, мол, у нас в Астрахани круг будет, там обсудим,— наказывал Степан.

— Лучше уж счас прямо насулить,— посоветовал Фрол,— чтоб у их душа была спокойная. А в Астрахани стрельцов поглядим — какие они твердые, посадских людишек... Там-то способней разговоры вести.

— И то дело,— согласился Степан.— Сулите и пушки. Наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам пускай вперед нас идет. До самой Астрахани. А чтоб сердце воеводино помягче было, подберите рухлядишки шаховой — от меня, мол. Поболе! Намекните воеводе: пускай заклад наш помнит. А то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, ишо дары будут. Скажите: атаман все помнит — и добро и худо.

Так Разин прошел в Астрахань — без единого выстрела, не потеряв ни одного казака. То была победа немалая.

* * *

"Тишайший" в Москве топал ногами, мерцал темным глазом, торопил и гневался. Он сбирался на соколиную охоту, когда ему донесли с бумаги:

— "Разорил татарские учуги, пленил персидские торговые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань, Астрабат, Фарабат; и, произведя везде ужасные злодеяния, губил беспомощно мирных жителей. И побил персидский флот. И теперь пошел к Волге..."

— Объявился, злодей! — воскликнул царь.— Откуда пишут?

— Из Терков.

— Писать в Астрахань, к князю Ивану Прозоровскому: остановить! Оружье, припас, грабленое — все отнять! Воров расспросить, выговорить им вины ихние и раздать всех по стрелецким приказам! Собаки неспокойные!.. Они уж в охотку вошли — грабют и грабют. Всех по приказам!

Случившийся рядом окольничий Бутурлин напомнил:

— Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахань прощальную Стеньке. Понадеется князь Иван на ту грамоту...

— Ту грамоту изодрать! Год назад писана... Успеть надо, чтоб Стенька на Дон не уволокся. Успеть надо!.. Не мешкайте! Ах, злодей!.. Он эдак мне весь мир с шахом перебаламутит. Не пускать на Дон!

Царская грамота заторопилась в Астрахань — решать судьбу непокорного атамана.

А пока что атаман шел к Астрахани. Позади Львова князя.

И пока он шел к Астрахани, в Москве "тишайший" выезжал из Кремля на охоту.

Думные дворяне, стольники, бояре, сокольничьи, сокольники... Все пылает на них — все в дорогих одеждах, выдаваемых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках сокольников (перчатки у сокольников с золотой бахромой) и те с золотыми кольцами и шнурками на ногах.

Нет еще главного "охотника" — царя Алексея Михайловича, "рожденного и воспитанного в благочестии" (как он сказал о себе на суде Вселенских Патриархов).

Вот вышел и Он... В высокой собольей шапке, в девять рядов унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы и ожерелье — все из алмазов и драгоценных камней. Бояре и окольничьи с ним — в парчовых, бархатных и шелковых одеяниях.

Путь от Красного крыльца до кареты устлан красным сукном. Царь проследовал в карету... "Царева карета была весьма искусно сделана и обтянута красным бархатом. На верху оной было пять глав, из чистого золота сделанных". Одеяние кучеров и вся сбруя были также из бархата.

Поезд тронулся.

Впереди ехал "кроткий духом".

"Был он роста высокого, имел приятный вид. Стан его строен был, взор нежен, тело белое, щеки румяные, волосы белокурые. Он зело дороден".

"Характер его соответствовал сей пригожей наружности. Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он от

души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал ночью и молился до утра".

"Хотя он и был Монарх Самодержавный, но наказывал только по одной необходимости, и то с душевным прискорбием. Щадя жизнь своих подданных, он также никогда не корыстовался имуществом их. Любил помогать несчастным, и даже доставлял пособие ссылаемым в Сибирь. Удаленным в сию дикую страну, ино давал малые пенсионы, дабы они там совсем не пропали.

Волнение умов и внутренние неудовольствия побудили его учредить Тайный Приказ, коего действия были не всегда справедливы; а ужасное СЛОВО и ДЕЛО приводило в трепет самых невинных".

"Окинем теперь светлым взором те мудрые деяния царя Алексея Михайловича, коими он восстановил благосостояние подданных своих и даровал им новую жизнь".

"Против Июня 1662 г. случился в Москве бунт.

. Какой-то дворянин прибил в разных частях города к стенам и заборам пасквили, в коих остерегал народ, чтоб он не доверял боярам, ибо они, безбожники, стакнувшись с иноземцами, продадут Москву. Буйная чернь, узнав о сем, кинулась ко двору и произвели бы там изрядные злодеяния, если бы царь и бояре, предваренные о сем восстании, не уехали в село Коломенское.

Отчаянные преступники сии, числом до 10 000, кинулись в село Коломенское, окружили дворец и, требуя по списку бояр, угрожали сему зданию совершенным истреблением, если желание их не будет исполнено".

"Царь Алексей Михайлович, наученный прежде опытами, поступил в сем случае, как Монарху и следовало. Немецкие солдаты и стрельцы телохранительного корпуса явились внезапно на площади и начали действовать так удачно, что 4000 бунтовщиков легло на месте, а большая часть остальных, с предводителем их, были схвачены и закованы.

После сего возвратился царь в Москву и приказал провести следствие над преступниками. Большая часть из оных приняла достойную казнь, так что 2000 человек были четвертованы, колесованы и повешены. Остальным обрезали уши, означили каленым железом на левой щеке букву Б и сослали с семействами в Сибирь. Мальчикам от 12 и до 14 лет обрезали только одно ухо".

"Совершив сии важные действия, для успокоения Отечества нашего необходимо нужные, занялся царь Алексей Михайлович внутренним образованием государства. Издан

был новый Полицейский Устав, исполнителем коего определен был князь Македонский".

"Милосердие и человеколюбие были отличительными чертами души царевой..."

4

Утром, чуть свет, бабахнули пушки первого российского боевого корабля "Орел", стоявшего у астраханского Кремля...

С флотилии князя Львова ответили выстрелами же.

Разинцы, недолго думая, зарядили свои и тоже выстрелили.

Первыми плыли струги Львова, за ними, на расстоянии, правильным строем шли разинцы.

— Не понимай, мы кого встречайт: князь Льфоф или Стенька Расин? — спросил с улыбкой капитан корабля Бутлер воеводу Прозоровского (они были на борту "Орла").

Тот засмеялся:

— Обоих, капитан! Живы-здоровы — и то слава богу.— Он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что сделать: — Плыви к князю Семен Иванычу, скажешь: Стеньку проводить к Болде, к устью, пусть там стоит. Сам князь после того пускай ко мне идет. Наши стружки здесь поставить. И пускай он Стеньке скажет: чтоб казаков в городе не было! И наших к себе пусть не пускают. Никакой торговлишки не заводить!

— Винишко как? — подсказал бойкий пищик.

— Винишко?.. Тут, брат, ничего не поделаешь: найдутся торговцы. Скажешь князю, чтоб у Болды оставил наших стругов... пять — для пригляду. Понадежней стрельцов пускай подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами.

* * *

Разинские струги сгрудились в устье речки Болды (повыше Астрахани).

На носу атаманьего струга появился Разин.

— Гуляй, братцы! — крикнул он. И махнул рукой.

Не мало тысяча казаков сыпануло на берег. И пошло дело.

По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани — с посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных

купцов, послов и всякого рода "жонок". В треть цены, а то и меньше переходили из щедрых казачьих рук в торопливые, ловкие руки покупателей саженной ширины дороги, зендень, сафьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский (каракуль); узорочный золотой товар: кольца, серьги, бусы, цепи, сулеи, чаши...

Наступил тот момент, ради которого казак терпит голод, холод, заглядывает в глаза смерти...

Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и... с бабой.

Вот разохотился в торговлишке рослый, носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает. Орет:

— Я какой? Вона! — Показал свой рост.— А я на ем два раза укладываюсь. Глянь: раз! — Лег.— Замечай, вертихвостые, а то омману.— Вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги.— Два! Из-под самого шаха взял.

— Да рази ж на ем спят? — заметила одна.— Его весют!

— Шах-то с жонкой небось был? Согнал, что ль?

— Шах-то?.. Шах — он шах и есть: я ему одно, он другое: уросливый, кое-как уговорил...

Разворачиваются дороги, мнут в руках сафьян...

— Эття сафян? Карош?

— А ты что, оглазел?

— Эття скур сибка блеха — толсти...

— Это у тебя шкура толстая, харя! Могу обтесать!

— Посьто ругасся? Сяцем?

— Сяцем, сяцем... Затем! Затем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла, вот зачем.

Оборотистые астраханцы не забыли про "сиуху". Местами виночерпии орудуют прямо с возов. Появились первые "ласточки"... Прошелся для пробы завеселевший казачок:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?
Ох,
Я ползу, ползу
Ко боярскому двору,
К высокому терему...

Но есаулам строго-настрого велено смотреть: не теперь еще успокоиться, нет. Есаулы и без атамана понимали это.

Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам:

— За караулом глядеть крепко! А то учинят нам тут другой Монастырский Яр. Ни одной собаке нельзя верить. На думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три — пускай кружут. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов.

Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга — всем, что именуется ПРАЗДНИК, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все — и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать.

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?..

Назревал могучий загул. И это неизбежно, этого не остановить никому, никакому самому строгому, самому любимому атаману, самым его опытным есаулам.

* * *

В приказной палате в Кремле — верховная власть Астрахани: князь, боярин, воевода Иван Семеныч Прозоровский, князь, стольник, товарищ воеводы Семен Иванович Львов, князь, стольник, товарищ воеводы Михаил Семеныч Прозоровский (брат Ивана Семеныча), митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали-гадали.

— Что привел ты их — хорошо,— говорил князь Иван Семеныч, высокий дородный боярин с простодушным, открытым лицом.— А чего дале делать? Ты глянь, мы их даже тут унять не можем: наказывал же я не затеваться с торговлей!.. А вон что делается! А такие-то, оружные да с добром, на Дон уйдут?.. Что же будет?

— Дело наше малое, князь,— заметил Львов.— У нас царева грамота: спровадим их, и все на том.

— Грамота-то, она грамота... Рази ж в ей дело? Учнут они, воры, дорогой дурно творить — где была та грамота! С нас спрос: куда глядели? Потом хоть лоб расшиби — не

докажешь. Дума моя такая: отправить их на Дон неоружных. Перепись им учинить, припас весь побрать...

— Эка, князь! — в сердцах воскликнул митрополит, сухой длинный старик с трясущейся головой.— Размахался ты — все побрать! Не знаешь ты их, и не приведи господи! Разбойники! Анчихристы!.. Они весь город растаскают по бревнышку.

— Да ведь и мы не с голыми руками!

— Нет, князь, на стрельцов надежа плоха,— сказал Львов.— Шатнутся. А пушки бы и струги, если б отдали,— большое дело. Через Царицын бы бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут — не наша забота. И спрос не с нас.

— Что ж, Иван, так плохи стрельцы? — спросил воевода Красулина, стрелецкого голову.

— Хвастать нечем, Иван Семеныч,— признался тот.— Самое безвременье: этих отправлять надо, а сменщики — когда будут! А скажи этим, останьтесь: тотчас мятеж.

Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил:

— Да что же такое-то?.. Разбойники, воры, государевы ослухи!.. А мы с ими ничего поделать не можем. Стыд же головушке! Куры засмеют — с голодранцами не могли управиться! Дума моя такая: привести к вере божьей, отдать по росписям за приставы — до нового царева указа. Грамота — она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим, за приставами.

— Эх, князь, князь...— вздохнул митрополит.— Курям, говоришь, на смех? Меня вот как насмешил саблей один такой голодранец Заруцкого, так всю жизнь и смеюсь да головой трясу, вот как насмешил, страмец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как бесчестили!.. Это кара божья! Пронесет ее — и нам спасенье, и церкви несть сраму. А мы сами ее на свою голову хочем накликать.

— Что напужал тебя в малолетстве Заруцкий — это я понимаю,— сказал Иван Семеныч.— Да пойми же и ты, святой отец: мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо нам, что у его, у Стеньки, на уме? Он отойдет вон к Черному Яру да опять за свое примется. А с кого спрос? Скажут: тут были, не могли у их оружье отобрать?!

— Дело к зиме — не примется,— вставил Иван Красулин.

— До зимы ишо далеко, а ему долго и делать нечего: стренут караван да на дно. Только и делов.

— Да ведь и то верно,— заметил подьячий,— оставлять-то их тут неохота: зачнут стрельцов зманывать. А тогда совсем худо дело. Моя дума такая: спробовать уговорить их утихомириться, оружье покласть и расселяться, кто откуда пришел. Когда они в куче да оружные, лучше их не трогать. Надо спробовать уговорами...

— А к вере их, лиходеев, привесть! По книге. В храме господнем,— сказал митрополит.— И пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне разор учинили...— Митрополит достал из-под полы исписанный лист.— "В нонешнем, государь, году августа против семого числа приехали с моря на деловой мой митрополей учуг Басагу воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу, и икру, и клей, и вязигу — все без остатка пограбили и всякие учужные заводы медные и железные, и котлы, и топоры, и багры, и долота, и скобели, и напарьи, и буравы, и неводы, и струги, и лодки, и хлебные запасы все без остатка побрали. И, разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин с товарищи, покинули у нас же на учуге, в тайке заверчено, всякую церковную утварь и всякую рухлядь, и ясырь и, поехав с учуга, той всякой рухляди росписи не оставили.

Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего..."

Вошел стряпчий. Сказал:

— От казаков посыльщики.

— Вели,— сказал воевода.— Стой. Кто они?

— Два есаулами сказались, один казак.

— Вели. Ну-ка... построже с ими будем.

Вошли Иван Черноярец, Фрол Минаев, Стырь. Поклонились рядовым поклоном.

— От войскового атамана от Степана Тимофеича от Разина: есаулы Ивашка и Фрол да казак донской Стырь,— представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии; Стырь маленько навеселе, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец за-ради его длинного языка: случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолкнуть Стыря — тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять, Иван не дал.

— Я такого у вас войскового атамана не знаю,— сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков.— Корнея Яковлева знаю.

— Корней — то не наш атаман, у нас свой — Степан Тимофеич,— вылетел с языком Стырь.

— С каких это пор на Дону два войска повелось?

— Ты рази ничего не слыхал?! — воскликнул Стырь.— А мы уж на Хволынь сбегали!

Фрол дернул сзади старика.

— С чем пришли? — строго спросил старший Прозоровский.

— Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеич, даров сулится прислать...— начал Черноярец.

— Ну? — нетерпеливо прервал его Прозоровский.

— Велел передать: завтра сам будет.

— А чего ж не сегодни?

— Сегодни?..— Черноярец посмотрел на астраханцев.— Сегодня мы пришли уговор чинить: как астраханцы стретют его.

Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло.

— Как же он хочет, чтоб его стретили? — спросил воевода.

— Прапоры чтоб выкинули, пушки с раскатов стреляли...

— Ишо вот,— заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту,— надо б молебен отслужить, отче...

— Бешеный пес тебе отче! — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол.— Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих! Нечестивцы, чего удумали — молебен служить!..— Голова митрополита затряслась того пуще; старец был крут характером, прямодушен и скор на слово.— Это Стенька с молебном вас надоумил? Я прокляну его!..

— Они пьяные,— брезгливо сказал князь Михаил.

— У вас круг был? — спросил Львов.

— Нет.— Черноярец пожалел, что взял Стыря: с молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно.— Будет.

— Это вы своевольно затеяли?.. С молебном-то? — хотел понять митрополит.

— Пошто? Все войско хочет. Мы — христианы.

Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены.

— Идите в войско и скажите своему атаману: завтра пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурость никакую не затевал. А то такую стречу учиню, что до дома не очухаетесь.

5

Странно гулял Разин: то хмелея скоро, то — сколько ни пил — не пьянел. Только тяжелым становился его внимательный взгляд. Никому неведомые мысли занимали его; выпив, он отдавался им целиком, и тогда уж совсем никто не мог понять, о чем он думает, чего хочет, кого любит в эту минуту, кого нет. Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русские уважают сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата: есть кому одернуть, но и пожалеть и заступиться тоже есть кому. Люди чуяли постоянную о себе заботу Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин — сам человек, разносимый страстями,— пусть сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый тоской и болью души, но в глубине этой души есть жалость к людям, и живет-то она, эта душа, и болит-то — в судорожных движениях любви и справедливости, и нету в ней одной только голой гадкой страсти — насытиться человечьим унижением,— нет, эту душу любили. Разина любили; с ним было надежно. Ведь не умереть же страшно, страшно оглянуться — а никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы: всем не до того, все толкаются, рвут куски... Или — примется, умница и силач, выхваляться своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство... Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили.

"Застолица" человек в пятьсот восседала прямо на берегу, у стругов. Выстелили в длину нашестья (баики, лавки для гребцов) и уселись вдоль этого "стола", подобрав под себя ноги.

Разин сидел во главе. По бокам — есаулы, любимые деды, Иванка Поп (раострига), знатные пленники, среди которых и молодая полонянка, наложница Степана.

Далеко окрест летела вольная, душу трогающая песня донцов. Славная песня, и петь умели...

На восходе было сонца красного.
Не буйные ветры подымалися,
Не синее море всколыхалося,
Не фузеюшка в поле прогрянула,
Не люта змея в поле просвиснула...

Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все. А любил песню до слез. Особенно эту; казалось ему, что она — про названного брата его дорогого, атамана Серегу Кривого.

Она падала, пулька, не на землю,
Не на землю, пуля, и не на воду.
Она падала, пуля, в казачий круг.
На урочную-то на головушку,
Што да на первого есаулушку...

И совсем как стон, тяжкий и горький:

Попадала пулечка промеж бровей,
Што промеж бровей, промеж ясных очей:
Упал молодец коню на черну гриву...

Сидели некоторое время, подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало. Не грустно, а — редкая это, глубокая минута: вдруг озарится человеческое сердце духом ясным, нездешним — любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска по милой родине — и опечалится в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна.

Степан стряхнул оцепенение.

— Ну, сивые! Не клони головы!..— Он и сам чувствовал: ближе дом — больней сосет тоска. Сосет и гложет.— Перемогем! Теперь уж... рядом, чего вы?!

— Перемогем, батька!

— Наливай! — велел Степан.— Ну, осаденили разом!.. Аминь!

Выпили, утерли усы. Отлетела дорогая минута, но все равно хорошо, даже еще лучше — не грустно.

— Наливай! — опять велел Степан.

Еще налили по чарам. Раз та́к, так — та́к. Чего и грустить, правда-то. Свое дело сделали, славно сделали... Теперь и попировать не грех.

— Чтоб не гнулась сила казачья! — сказал громко Степан.— Чтоб не грызла стыдобушка братов наших в земле сырой. Аминь!

— Чарочка Христова, ты откуда?..

— Не спрашивай ее, Микола, она сама скажет.

— Кху!..

Выпили. Шумно сделалось, заговорили, задвигались...

— Наливай! — опять велел Степан. Он знал, как изъять эту светлую грусть из сердца.

Налили еще. Хорошо, елкина мать! Хорошо погулять — дом рядом.

— Чтоб стоял во веки веков вольный Дон! Разом!

— Любо, батька!

— Заводи! Веселую!

— Э-у-а!.. Ат-тя! — Громадина казачина Кондрат припечатал ладонь к доске... А петь не умел.

Грянули заводилы, умелые, давно слаженные в песне:

Ох, по рюмочке пьем,
Да по другой мы, братцы, ждем;
Как хозяин говорит:
За кого мы будем пить?..

— Ат-тя! — опять взыграла душа Кондрата, он дал по доске кулаком.— Чего бы исделать?

А хозяин говорит:
Ох, за тех мы будем пить,—
За военных молодцов,
За донских казаков.
Не в Казани, не в Рязани,
В славной Астрахани...

Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалось. Не у одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стало как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить — заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь.

В другом конце подняли другую песню, переорали:

А уж вы, гусельки мои, гусли звонкие,
Вы сыграйте-ка мне песню новую!
Как во полюшке, во полянушке
Там жила да была молодая вдова,
Ух-ха-а! Ух-х!..

— Батька, губи песню! — заорали со всех сторон.

Забеспокоилась, забеспокоилась тыща; большинство, особенно молодые, не пели — смотрели с нетерпением на атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел

замечать нетерпения молодых. Песня еще жила, еще могла окрепнуть.

Ох, вдовою жила — горе мыкала,
А как замуж пошла — слез прибавила;
Прожила вдова ровно тридцать лет,
Ровно тридцать лет, еще три года...

— Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко. А то зареву-у!..— Кондрат закрутил головой и опять трахнул по доске.— Заплачу-у!..

— Добре ли укусили, казаченьки?! — спросил атаман.

— Добре, батька! — гаркнули. И ждали чего-то еще. А батька все никак не замечал этого их нетерпения. Все не замечал.

— Не томи, батька,— сказал негромко Иван Черноярец,— а то правда заревут. Давай уж...

Степан усмехнулся, глянул на казаков... Его, как видно, самого подмывало. Он крепился. Он очень любил своих казаков, но раз он повел праздник, то и знал, когда отпустить вожжи.

— А добрая ли сиуха?

— Ох, добрая, батька!

— Наливай!

Теперь, кажется, близко ожидаемое. Выпили.

Степан поставил порожнюю чару, вытер усы... Полез вроде за трубкой... И вдруг резко встал, сорвал шапку и ударил ею об землю.

— Вали! — сказал с ожесточением.

Это было то, чего ждали.

Сильно прокатился над водой мощный радостный вскрик захмелевшей ватаги. Вскочили... Бандуристы, сколько их было, сели в ряд, дернули струны. И пошла, родная... Плясали все. Свистели, ревели, улюлюкали... Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка притопывал. Скалился по-доброму. Тоже дорогой миг: все жизни враз сплелись и сцепились в одну огромную жизнь, и она ворочается и горько дышит — радуется. Похоже на внезапный боевой наскок или на беззаботную женскую ласку.

Земля вздрагивала; чайки, кружившие у берега, шарахнули ввысь и в стороны, как от выстрелов.

А солнце опять уходило. И быстро надвигались сумерки. Запылали костры по берегу.

Праздник размахнулся вширь: не было теперь одного круга, завихренья праздника образовывались вокруг костров.

У одного большого костра к Степану волокли пленных, он их подталкивал в круг: они должны были плясать. Под казачью музыку. Они плясали. С казаками вперемешку. Казаки от всей души старались, показывая, как надо — по-казачьи. У толстого персидского купца никак не получалось вприсядку. Два казака схватили его за руки и сажали на землю и рывком поднимали. С купца — пот градом: он бы и рад сплясать, чтобы руки не выдернули, и старается, а не может.

— Давай, тезик! Шевелись!

Тезик (купец) тяжко и смешно (уж и рад, что хоть смешно) прыгает — только бы не зашиб невзначай этот дикий праздник, эта огромная лохматая жизнь, которая так размашисто и опасно радуется.

— Оп-па! Геть! Оп-па! Геть! Ах, гарно танцует, собачий сын!.. Ты глянь, ты глянь, что выделывает!..

Среди танцующих — и прекрасная княжна. И нянька ее следом за ней подпрыгивает: все должно плясать и подпрыгивать, раз на то пошло.

— Дюжей! — кричит Разин.— Жги! Чтоб земля чесалась...

К нему подтащили молодого князька, брата полонянки: он отказывался плясать и упирался. Степан глянул на него, показал на круг. Князек качнул головой и залопотал что-то на своем языке. Степан сгреб его за грудки и бросил в костер. Взметнулся вверх сноп искр... Князек пулей выскочил из огня и покатился по земле, гася загоревшуюся одежду. Погасил, вскочил на ноги.

— Танцуй! — крикнул Степан.— Я те, курва, пообзываюсь. Самого, как свинью, в костре зажарю. Танцуй!

Не теперь бы князю артачиться, не теперь бы... Да еще и ругаться начал... Тут многие понимали по-персидски.

— Ну? — ждал атаман.

Бандуристы приударили сильней. А князек стоял. Видно, молодая гордость его встрепенулась и восстала, видно, решил, пусть лучше убьют, чем унизят. Может, надеялся, что атаман все же не тронет его — из-за сестры. А может, вспомнил, что совсем недавно сам повелевал людьми, и плясали другие, когда он того хотел... Словом, уперся, и все. Темные глаза его горели гневом и обидой, губы дрожали; на лице отчаяние и упрямство, вместе. Но как ни упрям молодой князь, атаман упрямей его; да и не теперь тягаться с

атаманом в упрямстве: разве же допустит он, хмельной, перед лицом своих воинов, чтобы кто-нибудь его одолел в чем-то, в упрямстве в том же.

— Танцуй! — сказал Степан. Он въелся глазами в смуглое тонкое лицо князька. Тот опять заговорил что-то, размахивая руками. Степан потянул саблю... Из круга к атаману подскочила княжна, повисла на его руке. Персы схватили князька и втащили сами в круг. Степан откинул княжну и, следя за князем, велел: — Дюжей! Повесели глаза казацкие... Вот отец выкупит, там уж... сам заставляй других.

У одного из костров группа молодых и старых затеяли прыгать через огонь. И тут рев и гогот. Мочили водой только голову и бороду. Больше нигде. Пахло паленым.

"Бедный еж" набрел на эту группу... А был он вовсе пьян.

— Ммх!.. Скусно пахнет! — И "еж" стал снимать с себя кафтан.— Дай-ка я свой тоже подвялю.

Его прогнали. И он пошел, и опять запел:

Ох,
Бедный еж!..

А на все это, изумленно мигая, глядели с темного неба крупные звезды. И еще из темноты, из кустов, смотрели завистливые глаза караульных. Не все из них удержались: кое-кто сумел урвать малую малость — чарку-другую.

Иван Черноярец с сотниками обходил караулы... В одном месте, где должен был стоять караульный, случилась заминка. Караульный спал... Услышав, однако, шаги, он вскочил, но поздно. Короткая возня, хриплое дыхание, обрывки слов:

— Держи руку! Руку!.. Собака!..

— Дай ему по башке.

— Руку! Мх!.. Ыэк! — Тупой удар, должно быть, под дыхало: часовой перестал сопротивляться.— Я те покусаюсь! Вяжи, Семен. Суда другого поставь.

— Федька! — позвал сотник.— Становись. Руку укусил, змей. Долго теперь не заживет. Человечий укус долго не заживает. Собачий — и то скорей. Вот змей-то!.. Как жилу не повредил.

— Помочись на ее — заживет.

— Этот пускай лежит,— велел есаул.— Развяжешь, Федька,— гляди! При солнышке мы с им погутарим.

Группа с Черноярцем, шурша кустами, двинулась дальше. Пока войско гуляло, первый есаул покоя не знал.

К Степану пришло состояние, когда не хочется больше никого видеть. Он выпил еще чару и пошел к стругам — побыть одному. Он не опьянел, только в голове толчками качалось.

Его догнала персиянка. Сзади, поодаль, маячила ее нянька.

— Ну? — спросил Степан, не оборачиваясь: он узнал легкие шаги девушки.— Наплясалась?

Персиянка что-то сказала.

— Испужалась за брата-то? Чего он, дурак, заупрямился?

Она опять залопотала что-то — скоро-скоро, негромко, просительным нежным голоском.

Подошли к воде. Степан присел, ополоснул лицо... Потом стоял, задумавшись. Смотрел в вязкую темень.

Тихо плескались у ног волны; колготил за спиной пьяный лагерь; переговаривались на стругах караульные. Огни смоляных факелов на бортах отражались в черной воде, змеились и дрожали. Теплая ночь мягким брюхом лежала на земле, на воде, на огнях... Немного душно было; пахло рыбой и дымком.

Долго стоял Степан неподвижно. Казалось, он забыл обо всем на свете. Какие-то далекие, нездешние мысли опять овладели им. Он умел отдаваться думам, он иногда очень хотел быть один.

Персиянка притронулась к нему: она, видно, замерзла. Степан очнулся.

— Никак, озябла? Эх, котенок заморский,— ласково и с удивлением сказал он. Погладил княжну по голове. Развернул за плечо, подтолкнул: — Иди спать. А то и правда, свежо у воды-то.

Княжна радостно спросила что-то, показывая на свой струг.

— Иди, иди,— подтвердил Степан.— Иди.

Княжна всплеснула руками и побежала. Крикнула на бегу своей няньке; та откликнулась, тоже довольная.

Степан, глядя в ту сторону, куда убежала княжна, качнул головой.

— Вот и возьми с ее... В куклы тут играют, дуреха малая.— И подумал: "Отдам, хватит. А князька пусть выкупают: заломлю, как за полста жеребцов добрых".

Стал опять смотреть в темень... И вспомнилась почему-то другая ночь, далекая-далекая.

Тоже было начало осени... И тоже было тепло. Стенька с братом Иваном (Ивану было тогда лет шестнадцать, Стеньке

— десять) засиделись на берегу Дона с удочками, дождались — солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось идти домой. Сидели, слушали тишину. И наступил, видно, тот редкий, тоже и дорогой дар юности, который однажды переживают все в счастливую пору: сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост, и человечек ясно поймет: я есть в этом мире! И оттого, что все-таки не встаешь, а сидишь, крепко обняв колени,— только желанней и ближе вера: "Ничего, я еще это сделаю — встану". Это сильное чувство не забывается потом всю жизнь.

Братья сидели долго, молчали. Станица отходила ко сну. Вдруг они услышали неподалеку женские голоса — казачки пришли купаться. Они всегда купались, когда стемнеет. Блаженствовали одни. Разговаривали они негромко, но как-то сразу голоса их потревожили ночь, заполнили весь простор над водой. Слова слышались отчетливо, близко.

— Ох, вода-а, ну парна́я!.. Ох, хорошо-то!

— Ласкает... Господи, прямо ласкает. Правда, хорошо.

— Нюрашка, прыгай, какого ты?!.. Прыгай, Нюрашка!

— Нюрашка Сазонова,— сказал Иван Разин.— Слушай, какой счас визг подымут.

Он скинул одежду, залез в воду и неслышно поплыл. Стенька сразу же потерял его из виду. Потом Иван рассказывал, что он, невидимый и неслышимый, подплыл к каза́чкам, поднырнул и поймал какую-то за ногу. Стенька услышал, как тишину ночи прорезал страшенный, щемящий душу женский крик... Он сдуру побежал туда и стал звать брата. Он испугался. Стеньку узнали по голосу, и узнали, кто нырял — Ванька Разин. И схватил он не Нюрашку, а, как на грех, схватил казачку постарше, Феклу Миронову, и без того-то заполошную, а тут... Тут она выдала древний крик и сникла в воде. Ее вытащили на берег полуживую. Костька Миронов, муж Феклы, ночью же пошел к Тимофею Разе — требовать судилища над сорванцами. Тимофей принял было к сердцу упрек и укоры Константина, вознамерился учинить расправу сынам, как только они заявятся домой... но Константин разошелся в обиде и забрал высоко:

— Наплодили живодеров каких-то! Они эдак голову кому-нибудь открутют — шастают по ночам-то. Чего по ночам шастать?

— Еслив она у тебя припадошная, то теперь и купаться в реке не моги? — сдержанно спросил Тимофей.

— Купаться!.. Он же, гаденыш такой, под их нырял! Купаться... Купайся он себе, чего его под баб понесло нырять? Ясное дело: испужать хотел, страмец.

— А ты чего это к гаду пришел жалиться? Рази ж гад тебя может понять? Гаденыш-то — от гада.

— И то, смотрю,— гады. Вся порода гадская — на ножах ходите, живорезы.

— Зачем нож?.. С крыльца-то я и так сумею тебя спустить, без ножа,— вконец обозлился Тимофей.

Поругались.

На прощанье Костька пригрозил:

— Я сам с имя управлюсь! Я им ходули-то повыдергаю!

— Это — как выйдет,— сказал Тимофей.— Спробуй.

Костька пробовал. Не вышло. Не смог.

Костька Миронов погиб вместе с Иваном Разиным в польском походе. Память о том роковом походе была свежа, сколь ни утекло времени, ныла и кровоточила раной под сердцем. И теперь видел Степан... Мучился проклятым видением: брата Ивана, головщика (предводителя казачьего отряда, полковника), и его есаулов, связанных, ведут к суковатой сосне. Иван шагал твердо, кривил в усмешке рот: никто не верил, что казаков повесят, и сам Иван не верил. Весь проступок казаков был в том, что они — по осени — послали горделивого князя Долгорукого к такой-то матери, развернулись и пошли назад — домой: зимой казаки не воевали. Так было всегда. Так делали все атаманы, участвовавшие в походах с царевым войском. Так поступил и Разин Иван. Князь Долгорукий догнал мятежный отряд, разоружил... А головщика принародно, среди бела дня, повел давить. Это было невероятно, поэтому никто не верил. Иван сам влез на скамью, ему надели на шею веревку... Только тут стали догадываться: это не нарочно, не попугать, это — казнь. Долгорукий был здесь же... Иван в последний момент с тревогой глянул на князя, спросил: "Ты что, сука?" Князь махнул рукой, скамью выбили из-под ног Ивана. Так было... И теперь Степан, как закроет глаза, видит страшную муку брата: бьется он в петле, извивается всем телом. И Степан скорей куда-нибудь уходил с глаз долой, чтоб не видели и его муку, какая отражалась на его лице. Вот уж чего ни в жизнь, видно, не позабыть!

"Славный царь!.. Славные бояре... Долгорукие: махнул белой рученькой — и нет казака. Во как!"

Степан стиснул зубы и весь напрягся от боли: боль лизнула сердце. Чтобы успокоиться, трижды сказал себе, не

разжимая зубов: "Мгм, мгм, мгм", как если бы соглашался или уговаривал себя. И пошел в свой шатер на струге.

Долго еще гудел лагерь. Но все тише и тише становился этот гул, все глуше. Только самые крепкие головы не угорели вконец; там и здесь у затухающих костров торчали малые группы казаков, о чем-то невнятно беседующих. Храп стоял по всему берегу. Спали — где кто упал. Караульные оставались на местах и сменялись вовремя.

Вдруг среди ночи со стороны струг раздался отчаянный женский вскрик. Он повторился трижды. На стружке с шатром, где находилась молодая персиянка со своей нянькой, забегали. Громко всплеснула вода: кого-то не то сбросили, не то сам кто-то сорвался. И еще раз отчаянно закричала молодая женщина...

Степан проснулся, как от толчка. Вскочил, нашарил рукой саблю и, как был в чулках, шароварах и нательной рубахе, так выскочил из шатра.

— Там чего-то,— сказал караульный, вглядываясь во тьму.— Не разберешь... Кого-то, однако, пришшучили. Вроде бабенку...

Степан, минуя зыбкую сходню, махнул из стружка в воду, вышел на берег и побежал. Он знал, кого прищучили — его персиянку, он узнал ее голос.

К стружку пленниц бежал с другой стороны Иван Черноярец.

При их приближении мужская фигура на стружке метнулась к носу... Кто-то там, на носу стружка, помедлил, всматриваясь в ту сторону, откуда бежал Степан; должно быть, узнал его, прыгнул в воду и поплыл, сильно загребая руками. Когда вбежал на струг Иван, а чуть позже Степан, пловец был уже далеко.

У входа в шатер стояла персиянка, придерживала рукой разорванную на груди рубаху, плакала.

— Кто? — спросил Степан Черноярца. Его трясло.

— А дьявол его знает... темно,— ответил Иван. И незаметно сунул за пазуху пистоль.

— Дай пистоль,— сказал Степан.

— Нету.

Степан вырвал у него из-за пояса дротик и сильно метнул в далекого пловца. Дротик тонко просвистел и с коротким сочным звуком — вода точно сглотнула его — упал, не долетев. Пловец, слышно, наддал.

— Далеко,— сказал Иван, послушав всплески на реке.

Степан сгоряча начал было рвать с себя рубаху, Иван остановил:

— Ты что, сдурел? Он выплывет — и в кусты, а там его до второго Христа искать будешь. Он уж у берега почти...

Подошла сзади княжна, стала говорить что-то, показывать на борт. Потащила Степана к борту... Говорила быстро-быстро, так быстро, что Степан не понимал, хоть много знал по-персидски — мог бы в другое время понять.

— Чего? — не понимал он.— Кто там? Ты скажи мне, кто та-ам вон!..— Степан повернул ее лицом к реке, показал.— Там-то кто?!

— Ге!..— воскликнул Иван.— Старушку-то он, наверно, того — скинул! Он старуху туда? — спросил он княжну; та уставилась на него. Иван плюнул и пошел, в шатер.— Ну да! — крикнул оттуда. — Старушку то́рнул — нету.— Вышел из шатра, крикнул караульному на соседнем струге: — Ну-ка, кто там?!.. Спрыгни, пошарь старушку.

Караульный разболокся, прыгнул в воду. Некоторое время пыхтел, нырял, потом крикнул:

— Вот она!

— Живая? — спросил Иван.

— Кого тут!.. Он ее, видно, зашиб ишшо до этого — вся башка в крове, липкая.

Степан мучительно соображал, кто тот пловец. Кто же это?

— Фролка! — сказал он.— Вот кто.

— Минаев? — изумился Черноярец.— Господь с тобой, Степан!.. Да ты что?

— Ну-ка... как тебя? — перегнулся Степан через борт, где шарился караульный.

— Пашка Хоперский,— откликнулся тот.

— Дуй до Фрола Минаева. Позови суда. Скорей!

— А эту-то куда?

— Оттолкни — пусть домой плывет,— велел Черноярец.

Княжна, догадавшись о чем-то, забеспокоилась, тронула Черноярца и стала знаками показывать, чтоб старуху подняли.

— Иди отсуда! — зашипел тот и замахнулся.— Тебя бы туда надо... змею черную.— Ивану как кто на ухо шепнул — вдруг понял он: Степан прав в своей догадке.

Караульный побежал к есаульскому стругу.

— Потеряли есаула,— горько вздохнул Иван. Он теперь вовсе не сомневался, что это был Фрол Минаев, бабский угодник, падкий на эту сладость. И знал, что Фрол — от

атаманова гнева — двинет далеко теперь. Если совсем не скроется с глаз долой. Какую дурь спорол есаул!

— На дне морском найду гада,— сказал Степан.— Живому ему не быть.

Черноярцу до смерти жалко было Фрола. В таком загуле, конечно, что-нибудь, да должно случиться, но потерять такого есаула... Из-за кого! Было бы хоть из-за кого.

— Можеть, она его сама сблазнила,— сказал он.— Чего горячку-то пороть?

— Я видел, как он на ее смотрит.

— Прокидаемся так есаулами,— не отступал Иван.

— Срублю Фрола! — рявкнул Степан.— Сказал: срублю — срублю! Не встревай.

— Руби! — тоже повысил голос Иван.— А то у нас их шибко много, есаулов, девать некуда! Руби всех подряд, кто на ее глянет! И я глядел — у меня тоже глаза во лбу.

Степан уставился на него... Помолчал несколько и сказал просительно, но глубоко неукротимо:

— Не наводи на грех, Иван. Добром говорю...

— Черт бешеный,— негромко сказал Иван. И пошел со струга.

По дороге встретил посыльного: тот возвращался с есаульского струга. Иван остановил его, спросил обреченно:

— Ну?

— Нету Фрола,— сказал посыльный. И хотел бежать дальше — сказать атаману.

— Погоди,— остановил Иван. Подумал, но ничего не придумал, махнул рукой.— Тьфу!.. Иди.— Он хотел выдумать какой-нибудь увертливый ход, но тут же и понял, что все без толку: случилось то, что случилось, никуда от этого не уйдешь. Хорошо, хоть Фрол вовремя дал тягу — несдобровать бы ему этой же ночью.

Иван еще постоял... И пошел будить стариков: Стыря и расстригу. Что-то такое ему все-таки влетело в лоб.

Степан сидел в шатре, подогнув под себя ногу, когда вошли Стырь и Ивашка Поп. Они еще не проспались как следует; их покачивало. Но что им надо делать, они знали.

— На огонек, батька,— сказал притвора Поп, старик блудливый, трусоватый, но одаренный краснобай и гуляка.

— Сидай,— пригласил Степан.

— Эххе,— вздохнул Стырь.— Какой я сон видал, Тимофеич!..— И этот тоже пошел заходить издалека. Его не раз отсылали смирить атаманов гнев на милость. Иногда ему это удавалось. Степан любил старика (Стырь и отец Разина,

Тимофей, были земляки — из-под Воронежа), уважал старого воина, но поблажек никаких не давал, Стырь даже обижался. "Ты только об мертвых сокрушаисся! — брякнул ему один раз Стырь.— Что потом кости-то жалеть? Ты лучше меня живого приветь". Степан помрачнел на это, но ничего сразу не сказал. Потом уж, много позже, вроде мимоходом, спросил: "Ты со зла это? Или правда так думаешь?" А Стырь и думать забыл, не сразу и понял, о чем говорит атаман. "Да что мертвецов только жалею",— напомнил Степан. И пытливо смотрел в глаза старику. Стырь не растерялся, а кинулся далеко и туманно рассуждать, что он так, конечно, не думает, но порой ему кажется... Степан не дослушал, махнул с досадой: "Чего выворачиваться-то начал? Я тебя виню, что ли? Я же не виню". Но мысль эта — что он не жалеет товарищей, а жалеет, только когда их убьют,— эта колючая мысль застряла занозой, и Степан нет-нет, а невзначай пытал то одного, то другого. "Конешно, атаман у вас злой, никого не жалеет... Так, видно?" Нет, так не думали. Но, кто посмелей, не скрывали и того, как думают. Иван Черноярец, когда Степан допек его такими намеками, сказал напрямки: "Да пошто злой? Дурак бываешь, это правда, ты и сам про то знаешь, а злой... Не знаю. Не лезь ко мне, Степан, с такими делами, я тут тебе не помогу: не умею. Да и сам-то... не задумывайся шибко — злой, не злой... Какой есть". Нет, не понимал Иван, как это важно душе. Интересно бы с Фролом Минаевым поговорить, но тут Степан сам не давал себе ходу. Что-то тут останавливало. Может, то, что Степан постоянно чувствовал: не до конца искренен с ним Фрол, нараспашку здесь не будет, не выйдет... Что-то таил Фрол, завидовал, что ли, другу — его воинскому счастью, атаманству его,— что-то такое с неких пор постоянно стояло между ними. А теперь с этой княжной... Не знали старики, Поп со Стырем, никто не знал, только Степан знал: не тронет он Фрола. Именно потому и не тронет, что — непросто между ними. Другого тронул бы, а Фрола почему-то нельзя. А почему нельзя, это и Степан не понимал, не мог как-то понять, но только знал, что — нельзя из-за девки.

— Ну? — спросил Степан.— Сон, говоришь?

— Чудной такой сон!..— вскинулся было Стырь, но Степан осадил:

— Запомни: старухе расскажешь. Чего поднялись-то? Иван небось разбудил?

— Иван,— сознался Стырь.— Ты, Тимофеич, атаман добрый, а на Ивана хвоста не подымай. У нас таких есаулов — раз-два, и нету.

— А Фрол?..— спросил Степан.— Фрол добрый был есаул. Мне его жалко. Иван, он, знамо, добрый есаул, но Фрол... У Фрола ведь и голова была.

— А пошто — "был", батька? — спросил Ивашка Поп, ужасно наивничая.

— Какой хитрый явился! Глянь на его, Стырь... От такой черт заморочит голову, и правда дурнем исделаесся. Нету больше Фролки.— Степан как будто даже рад был сообщить старикам эту печальную новость. И еще он злорадствовал, что старики с Черноярцем вместе так просто и глупо повели эту игру "в уговоры", так беспомощно и бестолково. А то уж больно все умные да хитрые, прямо не подкопаешься ни под кого — такие все умные и хитрые.

— А где же он? — все простодушничал Поп.

— Пропал. Так мне его жалко!.. Ни за что пропал.

— Ну, можа, ишо не пропал?

— Пропал, пропал. Добрый был есаул.

Помолчали все трое. Степан представил, как мокрый Фрол лежит теперь где-то под кустом... Как он все же насмелился на такое дело, с княжной-то? Это удивляло Степана. То ли пьяный был в дымину, то ли взбесился вовсе! Как же он мог подумать, что ему это сойдет с рук? Ну, Фрол!.. Ну, погансц! Интересно, чего ты сейчас лежишь думаешь своей головой? Но вот что, пожалуй, не менее удивительно: когда давеча стали гадать, кто мог покуситься на княжну, о первом, о ком подумал Степан,— о Фроле. И это тоже удивляло, и безрассудство Фролкино удивляло. Он же осторожный человек. Что же с ним случилось?

— От я тебе одну сказку скажу,— заговорил Стырь.— Сказывал мне ее мой дед. Жил на свете один добрый человек...

Степан встал, начал ходить в раздумье.

— Посеял тот человек пашеницу... Да. Посеял и ждет. Пашеница растет. Да так податливо растет — любо глядеть. Выйдет человек вечером на межу, глянет — сердце петухом поет. Подходит страда...

— Я твою сказку знаю, дед,— прервал Степан.— Слушай, какую я тебе скажу.— Он трезво и серьезно посмотрел на стариков.

— А ну. Я люблю сказки. Больше всего — про чертей: отчаянные, мать их!.. А ну — сказку? — оживился Стырь.

— Жили на свете тоже добрые люди...

— Кхм. Так.

— Хорошо жили, вольно. Делали что хотели. А потом им сказали: "Больше вам воли нету". И стали их всяко теснить. И жизнь их... стала плохая.— Степан посмотрел на стариков, невольно усмехнулся, видя, как озадачил он их своей притчей.

— И вся сказка?

— Что этим людям делать? — весело и значительно спросил Степан.

— Кто тебе такую сказку сказал? — поинтересовался Стырь.

— Один человек... Я теперь вас спрашиваю: как им быть-то?

— Вот спроси того человека: он знает, как быть. Кто затевает такие сказки, тот и должон знать, как быть. Припрет, так отгадаешь, как быть. Мы вон с отцом с твоим доразу отгадали, когда прижало-то. А как тот человек советует?

— Хорошая сказка,— в раздумье молвил Поп.— Жалко, конца не знаешь.

— Вот думаю: какой бы ей конец приделать? Славный надо конец. А? — Степан вызывающе и с нахальной веселостью посмотрел опять на Стыря. С некоторых пор он изводил старика зловещей выдумкой: будто Стырь подговаривает атамана "поднять на нож" царевы города по Волге — Астрахань, Царицын, Самару... К этой шутейной выдумке относились по-разному. Стырь злился и скоморошничал в ответ: "Не Самару, а уж Москву тада!"Иван Черноярец недоумевал. Фрол Минаев внимательно приглядывался к Степану, когда тот затевал странную перебранку со стариком, Ларька Тимофеев хоть скалился, но тоже с интересом и серьезно взглядывал на атамана — этим казалось, что в этой опасной шутке есть — не шутка. Но никогда об этом не говорили — ни атаман, ни есаулы.— Что молчишь-то? — спросил Степан.— Надо ж сказке конец приделать?

— Делай,— откликнулся Стырь, чувствуя, что атаман вознамерился опять позубоскалить.— Какой я тебе советчик?

— Кто же мне советчик тада, еслив не ты? Да не Поп вон... Вы много видали, много думали...

— Нашел думных! — воскликнул Стырь.— Мы те надумаем... Я вот думаю: где бы нам теперь сиушки раздобыть? У тебя нету?

— Нету,— серьезно сказал Степан.— Чего приперлись? Фрола выручать? Рази так делают, как он?

— Он спьяну, батька. Сдурел,— осторожно повел было расстрига Поп.— Ударило в голову...

— Пускай молоко пьет, раз с вина дуреет,— отрезал Степан.

— Брось, Тимофеич,— серьезно сказал Стырь.— Серчай ты на меня, не серчай, скажу: не дело и ты ведешь. Где это видано, чтоб из-за бабы свары какой у мужиков не случалось? Это вечно так было! Отдать ее надо — от греха подальше. А за ее ишо и выкуп хороший дадут. За ее да за брата ейного надо...

— Ладно! — обозлился Степан.— Явились тут... апостолы. Сами пьяные ишо, проспитесь. Завтра в Астрахань поедем.

"Апостолы" замолкли. Иван Поп, тот и вовсе заспешил к выходу — подталкивал Стыря.

— Идите спать,— уже мягче сказал Степан.— А то... сны какие-то принялись тут рассказывать... Делать нечего.

Старики вышли из шатра, постояли и ощупью стали спускаться по сходне — одной гибкой доске, на которой в изредь набиты поперечные рейки.

— А ты, Иване, догадлив: голову за пазушку положил,— с сердцем сказал Стырь.— Чего же язык проглотил, когда я про девку-то заикнулся? То — "надо присоветовать ему", а то онемел сразу. И присоветовал бы — самое время.

— Боюся,— просто сказал расстрига.— Зачем, думаю, на свою руку топор ронять?

— Э-э... да ты из этих, правда-то, из думных?..— съехидничал Стырь.

Расстрига вздохнул. Помолчал и сказал с грустью:

— Был когда-то и во мне молодца клок — выдрали.

На берегу их ждал Иван Черноярец.

— Ну? — спросил есаул; он надеялся на стариков.

— Отойдет,— пообещал Стырь.— Весь в деда свово: тот, бывало, оглоблю схватит — дай бог ноги. Потом ничего — отходил. И у этого ухватки такие же. Вылитый дед Разя.

— Оглобля — куда ни шло,— заметил Черноярец.— Этот чего похуже хватает.

— Лют сердцем, правда. А вот Иван у их был — девка красная! Вот кого я любил! И этого люблю, но... боюся,— признался и Стырь.— Не поймешь никак, что у его на уме.

— Извести ее, что ли, гадину? — размышлял вслух есаул.— Насыпать ей чего-нибудь?..

— Не, Иван, то грех. Что ты! — чуть не в один голос сказали старики.

— С ей хуже грех! "Грех"... Мы из-за ее есаула вон потеряли — вот грех-то!

— Нет — грех страшенный: травить человека,— стояли на своем старики; особенно расстрига взволновался.— Грех это великий. Лучше так убить.

— Убей так-то! — воскликнул есаул.— На словах-то вы все храбрые...

— Посмотрим. Домой он ее, что ли, повезет? Там Алена без нас ей голову открутит. Где Фрол-то? — спросил Стырь.

— Вон, у огня сидит. Сушится. Как завтра-то быть? — Черноярец был в большом затруднении.— Ума не приложу.

— Пошли к Фролу,— сказал Поп.— Чего-нибудь придумаем.

— Что-то у меня голова какая-то стала?.. Забыл, чего-то хотел сказать тебе, Иван...— Стырь придержал есаула, потер ладошкой лоб.— Чего я хотел сказать-то?

— Ну? — недовольно сказал есаул.— Чего?

— А-а!.. Спомнил: пошли выпьем по чарочке! Прямо из головы вылетело. С вечера же ишо помнил...

— Чтой-то, Стырь, худой ты становисся,— заметил Черноярец.— Такие дела забываешь... Стареешь?

— Я? Нисколь. Кто тебе сказал?

— Стареешь.— Есаул любовно хлопнул старика по загривку.— Ты рази такой был? Я же помню...

— Старею, Ваня. Осталось мне выпить на этом свете всего... двадцать бочек вина.— Стырь сказал это с наигранной грустью, даже сморкнулся как-то печально.

— Сгоришь к черту.

— Не сгорю! — распрямился Стырь.— Я хоть и старый, да старого замеса, не вам чета. Случись я давеча заместо Фрола, у меня бы осечки не было. Вы только башкой берете, а мы, как яички,— со всех сторон круглые. Хоть поставь нас, хоть положь — мы все на боку. Так-то, паря.

— Что-то надо с ей делать,— опять вспомнил Черноярец княжну.— На Дону ей делать нечего. Куда?!

Он был не злой человек, Иван Черноярец, но святое воинство для него — истинно святое, на том он стоял, за то и любили его в войске и уважали.

Трое свернули от берега в сторону дальнего костра, возле которого сушился Фрол Минаев. С того берега его перевез в лодке Черноярец.

Где-то во тьме невнятно пели двое:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?..

"Бедный еж" нашел наконец родную душу.

ПРАЗДНИК, которого так ждали казаки, отшумел. И славно! Так и было всегда. А как же, если не так? Где есть одна крайность — немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и к жертве, там обязательно есть другая — прямо противоположная. Ведь и Разин не был бы Разин, если бы почему-то — по каким-то там важным военачальным соображениям — не благословил казаков на широкую гульбу. Никаких иных, самых что ни на есть важных соображений! Так русский человек отдыхает — весь, душой и телом. Завтра будут иные дела. Будет день — будет пища. Это на Руси давно сказали.

6

Утро занялось светлое.

После тяжкой угарной ночи распахнулась ширь вольная, чистая. Клубился туман.

Собиралось посольство в Астрахань.

Степан сидел на носу своего струга. С ним вместе на струге были: Иван Черноярец, Стырь, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, княжна. Княжна сидела нарядная и грустная. Степан тоже задумчив. Казаки помяты, хмуры с похмелья: Степан не дал опохмелиться, а упрашивать бесполезно — не даст, знали.

Иван Черноярец распоряжался сборами. Наряжалось двенадцать стругов. Хотели перво-наперво пустить астраханцам пыль в глаза: удивить богатством, дорогим оружием.

— Князька-то взяли?! — кричал Иван.— Как он там?

— Ничего! Харю ему маленько спортил батька вчера, а так ничего, веселый!

— Напяльте на его поболе. Пусть смеется, скажите! Прапоры взяли?! (Знамена.)

— Взяли... А сколь брать-то?

— Тимофеич, сколь прапоров брать? На каждый стружок?

Степан подумал.

— Десять.

— Десять! — крикнул Иван.— Поисправней выберите!

Двенадцать стругов пылали на воде живописным разноцветьем. Потягивал северный попутный ветерок; поставили паруса. Паруса были шелковые, на некоторых нашиты алые кресты. Снасти тоже из шелка. Двенадцать стружков, точно стая белогрудых лебедей, покачивались у берега, готовые отвалить.

К Степану подошел Стырь (казаки подослали).

— Что, Тимофеич, хотел я тебе сказать...— начал было он.

— Нет,— кратко ответствовал Степан.— Гребцам можно по чарке. Иван!..

— О!

— Гребцам по чарке! Больше никому!

— Добре! — Пасмурное настроение атамана тяготило Ивана, но он старался делать вид, что все хорошо. Ничего. Дело делается, чего еще? Первый есаул нарочно бодрил себя и других.

Гребцы оживились, услышав про чарку. Посмотрели на есаулов весело.

Стырь, печальный, пошел к своему месту. Оглянулся на атамана... Подсел к одному смуглому гребцу.

— Васька, ты помнишь, собачий сын, как я тебя тада выручил? — ласково спросил он.— Когда тебя к березе-то привязали...

— Помню, диду. А чарку не отдам.— Васька сплюнул за борт горькую слюну.— Я лучше ишо раз к березе стану...

— Пошто? Ты же как отурчик сидишь! А у меня калган счас треснет. Помру, наверно. Неужель тебе не жалко? А Васьк...

— У меня у самого...— заговорил было смуглый Васька, но Стырь притиснулся к нему ближе, чуть не обнял, и горячо зашептал, обдавая вонючим перегаром:

— Погоди-ка. Давай такой уговор: ты мне счас отдаешь свою вшивую чару, а дома поедем в Черкасск к Мирону Чорному — сватать за тебя его девку...

— Я про ту девку ни сном ни духом,— изумился Васька.— Я ее в глаза не видал. Ты что?

— Увидишь. Он мне кумом доводится, Мирон-то. А девка у его — не девка, клад. Кресница моя. Ну? А вино у Мирона — ты небось слышал?.. Ты спроси у любого тут: "Что за вино у Мирона?"— тебе скажут. Мы там будем три недели гулять...

В группе, где есаулы, шел негромкий разговор. Свои дела.

— Он где счас-то?

— В тальнике где-то, Иван сховал.

— Ну, он хучь добрался до ее?

— Не успел.

— Жалко. Страдать, дак хоть уж знать, за что.

— Иван подговаривает уморить ее как-нибудь...

— Как?.. Догадается ведь. Вперед надо было. Теперь — сразу к нам кинется. Нет, тут всем тада несдобровать.

— Мда-а... От сучка-то! Сгубила казака.

— Да он, Фрол-то, тоже... ни одну бабенку так не пропустит.

— Заглядывался он на ее, я давно замечал. А тут, видно, перебрал вчерась... Не утерпел.

Есаулы приняли близко к сердцу несчастье своего товарища. Жалко было Фрола. Люто возненавидели красавицу княжну. Только двое из них оставались спокойными, не принимали участия в пустом разговоре: Ларька Тимофеев и Федор Сукнин. Эти двое придумали, как избавиться от княжны. Придумал Ларька.

Этот казак с голубыми ласковыми глазами любил Степана особой любовью и предан атаману совсем не так, как преданы все, кто идет за ним, за его удачей. Он хотел, чтобы атаман — был атаман всецело, чтобы вокруг атамана все никло и трепетало, и тогда, за такого атамана, он, не задумываясь, положил бы голову. Тут он не знал удержу. И когда он видел, как Степана что-нибудь уклоняет с избранного пути, он искренне страдал. Он готов был изрубить человека, который нехорошо повлиял на атамана, готов был сам ползать на брюхе перед атаманом — чтоб все видели и чтоб все тоже ползали,— лишь бы величился любимый "вож" и благословлялось удачей его дело. Если он, к примеру, страшился гнева атамана, то редко-редко страшился на самом деле — больше показывал, что страшится. Он не боялся, он любил, и, если бы он когда-нибудь понял, что атаман совсем сбился с пути истинного, он лучше убил бы его ножом в спину, чем своими глазами видеть, как обожаемый идол поклонился и скоро упадет.

Сегодня утром Ларька открылся Федору: он придумал, как умертвить княжну. План был варварски прост и жесток: к княжне разрешалось входить ее брату, молодому гордому князьку, и он иногда — редко — заходил. Пусть он войдет к сестре в шатер и задушит ее подушкой. За это Ларька — клятвенное слово! — сам возьмется освободить его из неволи. Здесь — Астрахань, здесь легко спрятать князька, а уйдут

казаки, воеводы переправят его к отцу. Объяснение простое: князек отомстил атаману за обиду. У косоглазых так бывает.

Федор изумился такой простоте.

— Да задушит ли? Сестра ведь...

— Задушит, я говорил с им. Ночью через толмача говорил... Только боится, что обману, не выручу.

— А выручишь?

— Не знаю. Можа, выручу. Это — потом, надо сперва эту чернявочку задавить. Как думаешь? Надо ведь!..

— Давай,— после некоторого раздумья сказал Федор.

Так они порешили сегодня утром.

— А куда он ее счас-то повез? — продолжали негромко беседовать есаулы.— Зачем? Перед воеводами, что ли, выхвалиться?

— Черт его знает... Нарядил!

Посмотрели на княжну. Княжна грустила по няньке своей, которую решил этой ночью Фрол Минаев. Няньку так и не вытащили из воды — оттолкнули плыть.

Подошел Стырь. Судя по глазам, он уломал Ваську.

— Ну? — спросили его из есаульской группы.

— Не велел, казачки,— весело сказал Стырь.— Ни в какую. Всяко пробовал. Уж и так и эдак подкатывался... Нет! Ничего, потерпите, ребяты. А то правда — на такое дело едем.

— А ты где-то уж урвал! — с завистью сказал Мишка Ярославов.— Ишь как разговорился. Тут на свет белый глядеть исохота, а он ишо тараторит... Урвал?

— Урвал,— сознался Стырь.— Хлопец один должок отдал.

— Кто б мне тоже должок отдал! — вздохнул Мишка.

— Потерпите,— благодушно посоветовал Стырь.— Вот побываем у воеводы, потом уж разговеемся.

Тем временем Степан махнул рукой.

А минутой раньше он же, Степан, пока есаулы разговаривали между собой, велел сказать Ивану Черноярцу, чтоб он ссадил на берег молодого князька, которого тоже готовили с собой в посольство. Иван с недоумением поглядел с соседнего струга на Степана... Тот кивнул головой, подтверждая, что — да, ссади. Иван свел нарядного князя и отдал казакам, которые оставались. Зачем так сделал атаман, Иван не понял. И никто не понял. Потом уже, позже, многие догадались: чтоб князь не знал о горькой участи своей сестры и нигде бы не рассказывал, что ему довелось видеть.

Головной струг, а за ним остальные выплыли из Болды в Волгу. Сразу набрали хороший ход.

Степан сидел в той же позе, привалившись боком к борту, посасывал трубку. Изредка взглядывал на есаулов. Видел, что шушукаются. И уж знал, зна-ал, какие они там разгово ры ведут.

Княжна сидела одна. Она даже похудела за эту ночь. Есаулы все разговаривали. В сторону атамана не смотрели.

А Степан уже неотступно смотрел на них... И взгляд его стал нехороший — внимательный. Он вздохнул. И вдруг вскочил и, шагая через нашестья, быстро пошел к ним. Есаулы невольно поднялись навстречу. Лазарь Тимофеев потрогал саблю...

— Прячете Фрола! — тихо закричал Степан, хватая первого попавшегося за грудки. Им оказался Федор Сукнин. Степан толкнул его. Тот споткнулся сзади о нашестье, грохнулся.— В гробину вашу, в кровь!..— Еще один есаул полетел от сильного толчка, Мишка.— Жалко Фрола? А я вам кто?! Я атаман или затычка?! Мной помыкать можно?! Собаки!.. Шепчетесь тут?!

Двое успели выхватить сабли — вскочивший Федор и Ларька. Федор прямо пошел на Степана, Ларька оказался сбоку и тоже двинулся к атаману.

— А-а,— вдруг вовсе тихо, как-то даже радостно, сказал Степан, и в руке его сверкнул косой белый огонь.— Ну?..

Никто не заметил, как выхватил саблю подоспевший Иван Черноярец: увидели только, он махнул рукой... Тонкий, короткий звяк, и сабля Федора Сукнина перелетела через борт и булькнула в воду: Иван вышиб ее у Федора. И он же заслонил Федора и оказался перед Степаном. Федора оттолкнул дальше назад Мишка Ярославов, ибо Федор, очутившись без сабли, засуетился рукой у пояса, где пистоль.

— Миротворец,— тихо и вкрадчиво сказал Степан.— Ну?.. Спас атамана? Спас? — И шел на Ивана, страшный, белый; губы его покривились обидой, тряслись, он никак не мог ими улыбнуться.

— Уймись, шальной! — крикнул Иван.— Что ты делаешь?

— Ать! — Степан резко качнулся вбок... И Ларька чудом уцелел — увернулся. Все же концом сабли Степан черкнул по руке.— На-ка!..

В момент, когда Степан повернулся к Ларьке, Иван кинулся на Степана, растопырив руки,— хотел схватить. Степан с нечеловеческой быстротой нырнул ему под руку и

подставил ногу. Иван упал, но сабли не выронил, крутнулся лежа, поднял саблю, чтоб заслониться ею от неминучей смерти. Но сабля атамана уже взлетела над ним...

— Пропал, казаче! — крикнул Степан Черноярцу.

В этот момент грянул выстрел. Степан с силой всадил саблю в дно стружка на четверть от Ивановой головы. Только после этого повернулся на выстрел.

— Кто стрелил?

— Я,— сказал Иван Аверкиев.— Хотел...

— Куда метил? В руку?

— В саблю, батька. Святой крест, в саблю. Хотел выбить.

Степан сел на лавку, сплюнул за борт.

— Ну, повоевали, и будет.— Ядовитая, злая тоска, которая с утра ела сердце, схлынула. Легко стало.— Рассказывайте, чего вы тут шептались?

Случившееся произошло с такой быстротой, что не все сразу опомнились. Отовсюду, со всех стругов, на атамана во все глаза смотрели казаки. Атаман махнул им — гребите.

— Садись,— пригласил Степан есаулов. Он даже повеселел — так легко сделалось на душе.— Ларька, покажь руку. Как мы ее там?.. На атамана — с саблей! Бесстыдник.

— Что я, рубить, что ль, стал бы?

— Показывай руку. А что б ты стал? Причесывать?

— Плашмя бы достал — чтоб руку отсушить.

— Показывай рану. Я те отсушу... Нашелся!

Ларька, морщась от боли, стянул рукав кафтана, разорвал рубашку... Подошел к Степану. Тот оглядел рану. Рана была незначительная, даже до кости не достало.

— Память, Ларька: не крадься сбоку. Ходи теперь с зарубкой...

— Ты сдурел, Степан,— с упреком сказал Иван.— Так можно заикой сделаться. Чего взбесился-то?

— Ты хоть зараньше сказывай: буду пужать,— попросил Стырь.— А то я чуть в штаны не наделал.

— Будет про это,— сказал Степан. Помолчал... Посмотрел на реку, на безоблачное небо, промолвил, вроде как с сожалением: — Ясно-то как!.. Господи! Конец лету.— Глянул на есаулов, остался недоволен: — Ну, пошли глаза пялить! Вёдро, говорю, стоит! Стало быть, хорошо! И нечего глаза пялить...

Есаулы молчали. Таким они своего атамана еще не видели: на глазах двоился — то ужас внушал, то жалость.

Степан поднялся, пошел в нос струга. На ходу легко взял княжну, поднял и кинул в воду. Она даже не успела вскрикнуть. Степан прошел дальше, в самый нос, позвал:

— Идите ко мне!

Он сел, опять привалился боком к борту... Коротко глянул на воду, куда без крика ушла молодая княжна... В глазах на миг вскинулась боль и тоска, он отвернулся.

Есаулы подошли; кто присел, кто остался стоять. На атамана боялись смотреть. Теперь уж — только боялись: кому-то да эта княжна отольется слезами. Но кто знал, что он так ее маханет? Знай есаулы, чего он задумал, может, и воспротивились бы... Хотя вряд ли. Может, хоть ушли бы на это время. Как-то не так надо было, не на глазах же у всех... Было ли это обдумано заранее у Степана — вот так, на глазах у всех, кинуть княжну в воду? Нет, не было, он ночью решил, что княжну отдаст в Астрахани. Но после стычки с есаулами, где он вовсе не пугал, а мог по-настоящему хватить кого-нибудь, окажись перед ним не такие же ловкие, как он сам, после этой стычки разум его замутился, это был миг, он проходил мимо княжны, его точно обожгло всего — он наклонился, взял ее и бросил. Теперь он возьмется жалеть ее, тосковать, злиться станет...

— Ларька, чего насулили Львову? Перескажи,— велел Степан.

— Отдать прапоры, пушки...— стал пересказывать Ларька: это то, что они по научению атамана согласились отдать во время переговоров с князем Львовым у устья Волги.

— Сколь?

— Не уговаривались. Сказали, чижолые отдадим.

— Ну? Дальше.

— Ясырь. Струга морские, припас... Но припас и струга — в Царицыне. Служилых людишек, какие с нами, он говорит, отпустить...

— Как же мы без припасу останемся? — встрял Черноярец.

— Погоди. Ишо?

— Ишо: бить челом царю за вины. Без того, мол, не пустим на Дон: царь, мол, с их тоже спросит, зачем...

— Иван, сколько пушек у нас?

— Сорок две всех.

— Ишо чего, Ларька?

— Рухлядь, какую на бусах взяли...

— Ишо?

— Все вроде. Ну, к присяге станем — само собой.

— Мишка, списал, чего в дар везем?

— Списал,— живо откликнулся Ярославов.

— Ну-ка?

— Воеводе: бархат красный заморский — шесть бунтов, девять тюков сафьянов — в тюку по пять сафьянов, три килнма рытых, кутни с травами — четыре косяка, линты золотые — сорок аршин, недолиски — трн, снизки с яхонтом — две, дорожки с золотыми травками — тридцать аршин, кружева шемахинские с золотом и серебром — две стопы, чашки золотые — тринадцать, тридцать юфтей шемахинских — в четырех узлах. Этому воеводе везем, второму: сорок юфтей шемахинских — пять узлов, десять косяков кружев с золотом и серебром, две какие-то книги, ковер большой турецкий с шелком, три штуки бархату золотного, ишо сундук с книгами грецкими, восемь пар пистолей с озолотной оправой, пять косяков тафты струйчатой разных цветов, хрусталей — не счесть, шелк...

— Насобачился ты в этом деле! — удивился Степан.— Чешет, как поп обедню.

— Ишо списки есть...

— Будет.— Степан посмотрел на есаулов. Спросил: — Будет аль нет — глотки-то заткнуть? Али мало?

Есаулы промолчали: никто не знал этого. Только Черноярец высказал свое мнение:

— Выше ноздрей. Припас-то зачем посулились отдать?

— Федор,— позвал Степан,— посылал кого-нибудь, куда я велел?

— Семерых. Пятеро пришли, двое ишо в городе.

— Чего говорят?

— Ждут, говорят, казаков: охота на наше богатство глянуть.

— Ну? Это я без их знаю. Про стрельцов-то?

— Стрельцы-годовальщики домой собираются, ждут новых. Воевать с нами не склоняются. Про цареву милостивую грамоту к нам — знают, даже посадские знают.

Степан вытащил из-за себя небольшую кожаную сумку с тяжелым содержимым. Бросил Федору. В сумке звякнуло, когда Федор поймал ее.

— Дак как с припасом-то? — всерьез обеспокоился Черноярец, глядя на атамана и на есаулов.— Чего вы, на самом-то деле? Куда мы без припасу?!

— Быть бы беде, Ваня, да случились деньги на бедре. Федор, передай Красулину — на особицу, чтоб не видал никто. Я тоже думаю, хватит. А там поглядим, как они...

Покажем себя строго. Нос кверху шибко не драть, но и... телятами тоже не притворяйтесь: волки съедят. Смотрите за мной: я в таких делах бывал.

Бывал — есаулы знали. Молчали.

— Ну, рады теперь ваши душеньки? — вдруг зло спросил атаман. И зло и обиженно поглядел снизу на есаулов.— Довольные?.. Живодеры.

И на это ему никто ничего не сказал. Не то чтоб есаулы очень уж были довольны, но... теперь случилось. А раз уж случилось, то оно и к лучшему.

* * *

Народу высыпало на берег — видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками... Рады были. Счужу хоть порадоваться: вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся.

Казачьи струги ткнулись в камни. Казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход: казаки влились в этот проход яркой, цветастой рекой.

Степан шел в окружении есаулов, ничем особенным не выделяясь среди них: на нем было все есаульское. Только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него... Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть щурил глаза.

Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги.

— А не послать ли нам воеводу к такой-то матери? — спросил вдруг Черноярец.— Тимофеич? Ты глянь, что делается!..— Они шли рядом; Черноярец посмотрел на атамана.— А, Тимофеич? — Тимофеичем Черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, оборачивалось большой удачей.

Степан молчал. Вроде не слышал.

— Я, мол: не кланяться б нам теперь воеводе! Хозяева-то мы получаемся, не воеводы. Тимофеич!..

Степан еще больше сощурил глаза. Наверно, Степан был счастлив. Он был рад.

— Дай срок, Ваня,— сказал он негромко.— Не егозись пока. Можеть, пошлем, не теперь только. А охота послать-то? — Степан глянул на первого есаула и засмеялся.

Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто притерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором,

кому и стон-то в горло забили, все, с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются! Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресение; надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни самые что ни на есть тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира — чтобы любить, а не бояться.

С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами.

7

Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит.

— Знамо, он — подлец отпетый,— сказал митрополит,— но все же... крестили же его! Тут мы его лучше проймем.

Перед небольшим алтарем стоял длинный стол, за ним восседали: князь Иван Прозоровский, князь Михайло Прозоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, голова стрелецкий Иван Красулин, еще пять-шесть приказных — всего человек двенадцать-тринадцать.

— Э!..— сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку.— Я в Соловцах видал: вот так же на большой иконе рисовано. Кто же из вас Исус-то?

Разин, еще молодым человеком не раз ходивший послом к калмыкам — склонять тайшей против крымцев (при этом сперва надо было раззудить до визга давнюю злобу калмыков к Малому Ногаю, а уж через Малый Ногай направить эту злобу на Крым), бывший в "головщиках" крупных отрядов в войне с тем же Крымом, к тридцати годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки... Этот самый Разин, оказываясь перед лицом власть имущих (особенно когда видели казаки), такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось,— уж и не надо бы так. Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались: этак и до беды скоро. Наверно же многоопытный атаман понимал потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхлестами, но ничего не мог с собой сделать: как видел какого властителя (с Москвы на Дон присылаемых или своих, вроде Корнея), да еще важного, строгого, так его прямо как бес в

спину толкал: надо было обязательно уесть этого важного, строгого.

— Сперва лоб перекрестить надо, оголтеи! — строго сказал митрополит.— В конюшню зашли?!

Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие.

— Так: это дело сделали,— сказал Степан.— Теперь...

— Всю ватагу привел?! — крикнул вдруг первый воевода, покраснев.— Был тебе мой указ: не шляться казакам в город, стоять в устье Болды! Был или нет?

— Не шуми, воевода! — Резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки.— Ты боярин знатный, а все не выше царя. В его милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили, чего ты горло дерешь?

— Кто стрельцов в Яике побил? Кто посады пограбил, учуги позорил?.. "Никакого дурна"! — сказал митрополит тоже зло.

— Был грех, за то приносим вины наши государю. Вот вам бунчук мой — кладу.— Степан подошел и положил на стол перед воеводами символ власти своей.— А вот прапоры наши.— Он оглянулся... Десять казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол — тряпки на колышках.

Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.

— А вот дары наши малые,— продолжал он, не оглядываясь.

Опять казаки расступились... И тринадцать молодцов выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу. И отошли.

— Мишка! — позвал Степан.

Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы. Заважничал дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману.

— Списки — кому чего,— пояснил он.— Дары наши...

— Просим покорно принять их. И просим отпустить нас на Дон,— сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее.

За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек и что дары (черт бы побрал их, эти дары!) будут так обильны, тяжелы... Так захотелось разо-

брать эти тюки, отнести домой, размотать... Князь Львов мигнул приказным; один скоро куда-то ушел и принес и подставил атаману табурет. Степан сильно пнул его ногой. Табурет далеко отлетел.

— Спаси бог! — воскликнул атаман.— Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господарями, а ты табурет приволок, дура. Постою, ноги не отвалются. Слухаю вас, бояре!

Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд — в бубенцах и в ленточках — с обрыва вниз. "Прощенческого" спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже.

Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго:

— Про дела войсковые и прочия разговаривать будем малым числом. Не здесь.

Воеводы, дьяк и подьячий с городской стороны, Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михайло Ярославов, Федор Сукнин — с казачьей удалились в приказную палату толковать "про дела войсковые и прочия".

На переходе из церкви митрополита в приказную палату, в тесном коридорчике со сводчатым потолком, Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметят, приотстал. Нахмурился.

— Здоров, князюшка! — тихо сказал Степан.

— Ну? — недовольно буркнул тот, не глядя на атамана.

— Здоров, говорю.

— Ну, чего?

— Хочу тебе про уговор наш напомнить...

— Дьявол! — зашипел князь.— Чего тебе надо? Мало — прошел на Астрахань?

— Я неоружным на Дон не пойду,— серьезно заявил Степан.— Не доводите до греха. Уговаривай их... Я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду, так и знай.

— Знаю! Ивана Красулина подкупил?

— Бог с тобой! Как можно — голову стрелецкую! — притворно изумился атаман.— Где это видано!

— Дьявол ты, а не человек,— еще раз сказал князь.— Подлец, правда что.

— На море-то правда хотел побить меня? — миролюбиво спросил Степан.— Или — так, для отвода глаз? Небось,

если б вышло, и побил бы?.. Я думал, там Прозоровский был: грешным делом, струсил.

— Отойди от меня! — зло сказал князь.

Степан отошел. И больше к Львову не подходил и даже не смотрел в его сторону: он все сказал, а князь Львов все понял — это так и было.

* * *

Митрополит обратился к оставшимся казакам с речью, которую, видно, заготовил заранее. Историю он рассказал славную!

— Я скажу вам, а вы скажите своему атаману и всем начальным людям вашим и подумайте в войске, что я сказал. А скажу я вам притчу мудреную, а сердце ваше христолюбивое подскажет вам разгадку: можно ли забывать церкву господню! И как надо, помня господа бога, всегда думать про церкву его святую, ибо сказано: "Кесарево — кесарю, богово — богу".

Казаки поначалу с интересом слушали длинного сухого старика; говорил он складно и загадочно.

Митрополит начал:

— Заповедает раз господь бог двоим-троим ангелам: "О вы, мои ангелы, три небесных воеводы! Сойдите с неба на землю, поделайте гуслицы из сухого явору да подите по свету, будто пчела по цвету. От окна божьего — от востока солнечна, и пытайте все веры и все города по ряду: знает всякий о боге и божьем имени?" Сошли тогда ангелы, поделали гуслицы из сухого явору. Пошли потом по свету, будто пчела по цвету. От окна божьего — от востока солнечна, и пытают все веры и все города по ряду: знает всякий о боге и о божьем имени?

Казаки помаленьку заскучали: похоже, святой старик разбежался издалека — надолго. Часть их, кто стоял сзади, незаметно улизнули из церковки на волю.

— И вот пришли перед дворы богатого Хавана — а случилось то прямо в святое воскресенье — и стояли ангелы до полуденья. Тут болели они и ногами, и руками трудились белыми, от собак бороняючись. Вышла к ним Елена, госпожа знатная. Перед ней идут служаночки, и за ней служаночки. И вынесла Елена, госпожа знатная, обгорелый краюх хлеба, что месили в пятницу, в субботу в печь сажали, а в воскресенье вынули...

Вовсе поредела толпа казаков. Уж совсем мало слушали митрополита. Митрополит, видя это, заговорил без роздыха:

— Не дала его Елена, как бог милует, бросила его Елена башмаком с ноги правыя: "Вот вам, убогие! Какой это бог у вас, что прокормить не может своих слуг при себе, а шлет их ко мне? У меня мой бог на дому, сотворил мне мой бог дворы, свинцом крытые, и столы серебряны, много скота и имения..."

— Передохни, отче,— посоветовал Стырь.— Запалился.

— Тогда пошли ангелы. Повстречал их Степан, верный слуга Хавана. И говорят убогие: "Послушай-ка, брат Степан, удели, ради бога, чего-нибудь". А Степан им: "Послушайте, братья убогие, ничего нигде нет у меня, кроме одного ягненочка. Служил я у Хавана, служил полных девять лет, ничего-то он не дал мне, кроме одного ягненочка. Молоком побирался я и ягненка откармливал. Теперь мой ягненок самый лучший из всех овец. Будь здесь мой ягненочек, я бы вам отдал его теперь". Говорят ему ангелы: "Спасибо, брат Степан! Если то и на сердце, что на языке,— тотчас ягненок будет здеся". Обернулся Степан — ан идет ягненочек через поле, блеючи: он Степану радуется, будто своей матушке. Взял Степан ягненочка, поцеловал его три раза, потом дал убогому. "Вот, братья убогие, пусть на вашу долю пойдет. Вам на долю, а мне — заслуга перед богом!" — "Спасибо, брат Степан!" И ушли ангелы. И увели ягненочка. Когда пришли ангелы к престолу Христову, сказывают господу, как что было на земле. А господь знает то́ лучше, чем как они сказывают. И молвил им господь бог: "Слушайте-ка, ангелы, сойдите вы с неба на землю да идите ко двору богатого Хавана, на дворе ему сделайте болотное озеро; схватите Елену, повяжите на шею ей каменье студеное, привяжите к каменью нечестивых дьяволов, пусть ее возят по му́ке, как лодочку по морю". Вот такая притча,— закончил митрополит. И крепко потер сухими белыми руками голову, виски, чтоб унять тряску.— Ну, поняли хоть?

— Утопили? — спросил Стырь (перед митрополитом стоял он и еще несколько пожилых казаков).— Ай-яй!.. Это как же так?

— Карахтерный бог-то,— промолвил дед Любим, которого история с ягненочком растрогала.— А ягненочка небось зажарили?

Митрополит не знал: злиться ему или удивляться.

— Подумайте, подумайте, казаки, за что бог Елену-то наказал,— сказал терпеливо.— В чем молитва-то наша богу? Заслуга-то...

— В ягненочке? — догадался простодушный дед Любим.

— Да пошто в ягненочке-то?! — вышел из терпения митрополит.— Ягненочек — это здесь для притчи сказано. Вы вон добро-то спускаете где ни попадя — пропиваете, а ни один дьявол не догадался из вас церкви господней вклад сделать. Только бы брюхо уладить!.. А душу-то... о спасении-то надо подумать? Кому уж, как не вам, и подумать-то — совсем ведь от церкви отбились.

* * *

А в приказной палате дым коромыслом — торг. Степан не сдавал тона, взятого им сразу. Да его уж и сдавать теперь нельзя было — дело клонилось к казачьей выгоде.

— Двадцать две пушки,— уперся он.— Самые большие — с имя можно год взаперти сидеть. А нам остается двадцать.

— Для чего они вам?! — горячился старший Прозоровский.— Если вы на мир-то, на покой-то идете — для чего они вам?

— Э, князь!.. Не гулял ты на степу-приволье. А — крымцы, татарва? Мало ли! Найдутся и на нас лихие люди. Дойтить надо. А как дойдем, так пушечки эти вернем тотчас.

— Хитришь, атаман, — сказал молодой Прозоровский.— Эти двадцать две, они тяжелые: тебе их везти неохота, ты и отдаешь...

— Не хочете — не надо, мы довезем как-нибудь. Не пойму вас, бояре: то подвох от нас чуете, а отдаешь вам пушки — не берете...

— Не про то речь! — с досадой воскликнул старший Прозоровский.— "Не берете". Ты и отдай все, еслив ты без подвоха-то. А то же ведь ты все равно оружный уходишь.

— А вы чего же хочете? Чтоб я с одними баграми от вас ушел? Не бывать этому. Не повелось так, чтоб казаки неоружные шли. Казаки-то!.. Бог с вами, вы разумные люди: когда это было?

— Да ведь ты если б шел! Ты опять грабить начнешь.

— Куда? Нам теперь хватит на пять лет сытой жизни, даже останется. Солить его, что ли, добро-то?

— Ну а струги? — спросил младший Прозоровский.

— Как порешили: девять морских берите от нас, нам — струги полегче, а взамен морских — даете нам лодки.

— А ясырь? Сколько у вас их?

— Ясырь — нет. Мы за ясырь головы клали. Надо — пускай шах выкуп дает. Не обедняет. Понизовские, какие с

нами ходили... мы их не неволим: хочут, пусть идут, куда знают. За вины наши пошлем к великому государю станицу — челом бить. Вот Ларька с Мишкой поедут. А теперь — не обессудь, боярин: мы пошли гулять. Я с утра не давал казакам, теперь самая пора: глотки повысыхали, окатить надо. Пушки свезем, струги приведем, князька этого — тоже берите. Его привезут вам. Даром берите, ну его к черту: пока дождесся выкупа за его, он с тоски околеет.

— А сестра его? С ним же и сестра его?..

— Сестры его... нету,— не дослушав воеводу, сказал Степан.— Ушла.

— Как ушла? — опешил воевода.— Куда ушла?

— Не знаю. Далеко.— Степан поднялся и вышел из палаты, не оглянувшись. Дальше он стал бы бестолково злиться, и было бы хуже. Только и оставалось — уйти.

Астраханцы удивились, ничего не поняли.

— Как так? Что он?..

— Где девка-то? — спросил Прозоровский у есаулов.

Есаулы пожали плечами: они тоже не знали, куда она ушла.

— Отдавать не хочет,— понял дьяк.— Сколько вас в Москву поедет? Двое, что ли?

— Шестером,— ответил Иван Черноярец.— Ну, мы тоже пошли. Правда, головы лопаются... Вчерась потанцевали маленько, игры всякие... а похмелиться утром батька не дал. Зарублю, говорит, кто пьяный на глаза воеводам покажется! А голова... Говорю вот, а там все отдает. Не обессудьте нас. Рады бы ишо с вами поговорить, да... какие мы теперь говоруны! Ишо повидаемся!

Есаулы вышли.

Власти остались сидеть. Долго молчали.

— Тц...— вздохнул старший Прозоровский.— Нехорошо у меня на совести, неладно. Ушел, сукин сын, из рук ушел, как налим. Ох, спросют нас, спросют: "А чего вы-то сделали?" А ничего: как он пришел с моря, так и ушел. Отдал, что себе в тягость,— и ушел. Всей и строгости нашей, что молебен отказались служить. Ведь вот как дело-то повернулось.

— Хитер, вор...— вздохнул Иван Красулин. В кармане у Ивана покоился — тянул книзу — тяжелый мешочек: тайный дар Степана.

— Не та беда, что хитер, беда наша, что — умен. Хитрых-то у нас у самих много, умных мало. Чует мое сердце, спомним мы ишо этот разговор, спомним... Это вам

не Ивашка Кондырев. Не Ермак даже. Этот — похлеще будет, побашковитей.

— Ну уж, Иван Семеныч... отыскал умницу! — воскликнул князь Семен.— Прямо уж — головой в омут: перемог разбойник умом! Чего уж так?

— Да ведь оружным опять уходит! "Чего так..." Так!

— Ну и уходи он! Они сроду оружные ходют, как теперь? Не нами заведено, не нам отменять. У нас царева грамота на руках — при чем тут его башковитость?

— Знамо, не без головы,— вздохнул стрелецкий начальник,— я согласный с тобой, Иван Семеныч. Но то и худо-то, что не дурак. Не дурак, да и не сотню, не две ведет за собой, а тыщу с лишком — тут и нам тоже не оплошать бы, помоги, господи. Увел бы он их поскорей отсудова — вся забота теперь: лишь бы миновать беду.

— Да ведь и я-то про то! — рассердился старший Прозоровский.— Только забота-то моя дальше вашей смотрит: не было бы у его завтра — пять, а то и поболе тыщ-то. Вот заботушка-то! Ведь он оружный, да при таком богатстве...

— Укажи тада, чего делать? — тоже недобро спросил князь Львов.

— А вот и не знаю. Знал бы — указал. То-то и оно, что не знаю. Все верно, указ довели... А душа болит. Вещует. Неладно поступили, неладно. Разумом — вроде так, а совесть не чиста, хоть ты убей меня.

— Выше царя не станешь, Иван. Указ довели — чего же?.. Все. Ну ладно,— стал размышлять Львов,— захотели мы поотнять у них все: оружье, припас, добро... А кто отнимать-то станет? Стрельцы? Да они вон вместе с имя гуляют, стрельцы-то, вино ихное пьют наши стрельцы... А и найдется сколько-то надежных, так посадские не дадут. Не видишь, что ли, что делается? Не тут, не с нами, он башковитый, а вон где, в городе: он уж все разузнал там, оттого и смелый такой. Нету у нас силы — унять его, нету. А он... что же, он, знамо, не дурак: понял это. Да тут и ума большого не надо, чтобы это понять.

— Оно — так,— согласился Прозоровский.— Так-то оно так...

8

Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный.

С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми... Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо. Где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают.

— Сево? Сяцем так? — возмущались татары.— Конька — ма-ла-десь, сево зубым смотрис?

— Сево, сево... Вот те и сево! Нисево!

— Ая-яй!.. Касяк — понимать надо конь! Такой конька — ма-ла-десь!

Изучались копыта, глаза, уши коней, груди... Даже зачем-то под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика.

— Кузьма, ну-к прыгни на его: сразу не переломится, до Царицына можно смело бежать. Подержи-ка, севокалка!

— А спина-то сбитая! Воду, что ль, возил на ем?

— Сево?

— Вот! Как же ее под седло? Спина-то!..

— Потниська, потниська...

— Пошел ты!.. Хитрый Митрий нашелся — "потниська". Я лучше на тебе доеду, без потничка. Дурней себя нашел...

Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так: они тоже нужны — струги везти на Дон. Кони, вот радость-то долгожданная!

— Ну-к, вон того карего!.. Пробежи кто-нибудь! — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями, забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут — вчерашние мужики, любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови.

Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину... Расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети... Тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику.

— Пойдет,— говорил Степан.— А, дед?

Дед Любим отвечал не сразу, с толком — дело это знал.

— Зад маленько заносит... Вишь? Не годится.— Дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрят, привередничал сверх меры.

— Сойдет, ничего. Мы все не годимся, а на свете живем. Нам много надо. Берем! — решал Степан.

— Бери. Чего же тада спрашивать? — обижался дед.

Степан в то утро был в добром настроении. Улыбался.

— Не обижайся, Любим. Я знаю, ты разбираисся. Только — как же ты не поймешь-то? — нам много надо. Всех надо, сколь тут есть. А смотрины эти... я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж...

Окружали следующего коняку. И опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки, и шуметь, и спорить.

— Води́! Бегом! — орали.— Как?! Дед!..

— Ну, эдак-то моя тешша бегала, даже резвей! Ноги-то навыверт. Эх, ноги-то, ноги-то — навыверт!

— У кого навыверт? У тешши? Рази у ей навыверт были? Ты что, Любим?

— Тю, это я с твоей спутал! Это у твоей навыверт-то были, чего я?.. А у моей, царство ей небесное, ровные были ножки...

К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку.

— Воевода плывет, Тимофеич. К нам, похоже.

— К нам?

— Вон! Суда рулит... А куда больше-то?

— Найди Мишку Ярославова,— быстро велел Степан.— Стой-ка! — Он всмотрелся в большой струг, махавший от Астрахани.— Нет, воевода. Чего у их там стряслось? А?

— Шут их знает.

— Не от царя ли чего?.. Ну-ка, Мишку.

Мишка скоро оказался тут.

— Написал тайше? — спросил Степан.

— Написал.

— Все там указал?

— Все, как же. Как велел, так и написал.

Степан взял бумагу, а Мишка тем временем привел татарина. Судя по всему, старшего.

— На,— сказал Степан, передавая ему лист.— Отдашь тайше. В руки! Будет так: завидишь, перехватить могут,— сожги, а не то — съешь. Никому больше, кроме тайши!

— Понял.— Татарин прекрасно владел русским языком.— Отдам в руки тайше. А попадусь — съем. Я ел, ничего.

— Бежи скоро! Старайся лучше не попадаться. За коней мы исправно заплатим, никого не обидим, скажи там.

— Понял, батька-атаман.

— От тайши мне ответ привезешь. Здесь не захватишь — мы уйдем скоро,— бежи на Дон.— Степан вынул кошелек, отдал татарину.— Приедешь, ишо дам. Пошли гостя стренем, братцы: воеводу.

Атаман с есаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы.

— Зачем? — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струг.— Львов, сам Прозоровский, ишо кто-то... Зачем, а?

— Не грамота ли какая пришла? — высказал тревожную мысль Мишка Ярославов.— Неужто в Москве хватились?

— Мы б знали,— сказал Федор.— Иван Красулин прислал бы сказать. Нет, так чего-то... Может, ишо порядиться — мало взяли. Если б чего такое, Иван бы прислал сказать.

— Ты передал ему? — спросил Степан.— Деньги-то.

— А как же.

— Он чего?

— Кто, Иван?

— Ну.

— Радый. Будет слать нарочного все время. Говорит: из тех годовальщиков, которых ждут, у его есть тоже надежные.

— Добре. Чего же тада воевода пожаловал, овечий хвост? Зови ко мне.— Степан свернул к своему стругу, недоумевая и тревожась. Неужели царь хватился? Хватился да новую грамоту двинул... Но тогда почему один храбрец воевода пожаловал? Нет, непохоже, что от царя чего приехало. Ему и донести-то небось не успели еще. Нет, что-то другое. Что? — Князька отвезли воеводе? — спросил на ходу есаулов.

— Вчерась.

— Зачем же он пожаловал? Не возьму в толк.

Воевода пожаловал по той причине, что крепко, ему казалось, продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли: облапошил их атаман, как детей малых.

— Здоров, атаман! — бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана. Опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится — так уходить!

— Здорово, бояре! Сидайте,— пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей: Прозоровского (старшего), Львова, подьячего Алексеева.

— Экая шуба у тебя, братец! — воскликнул вдруг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра.— Богатая шуба. В Персии вроде и холодов-то больших нету — откуда ж такая добрая шуба? Небось ишо на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашенская шуба-то...

— С чем пожаловали, бояре? — спросил жестковато Степан.— Не хотите ли сиухи? А то я велю...

— Нет.— Прозоровский посерьезнел.— Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит...

— Чего ж вам надо ишо? — перебил атаман. Он понял: ничего от царя нет — сами воеводы скут ему петельку потуже.

— Ясырь надо отдать. Пушки все надо отдать. Товары...— те, какие боем у персов взяли,— это ваше, бог с ими, а которые на Волге-то взяли?.. Те надо отдать, они грабленые. Надо отдать, атаман. Там же ведь и царево добро...

— Все отдать! — воскликнул Степан.— Меня не надо в придачу?

— А ишо: перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней,— непреклонно и с силой договорил Прозоровский.

Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра — как если бы ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойней было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился.

— Пушки — я сказал: пришлем. Ясырь у нас — на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отда́ст наших братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили — не собрать. Списывать нас — что это за чудеса? Ни на Яике, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю.— Степан присел на лежак.— Не велось такого, с чего вы удумали?

— Не велось, теперь поведется.

— Пошли со мной! — вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу.— Чего мы одни гадаем: поведется, не поведется...

— Куда? Ты что? Эй!..

— Спросим у казаков: дадут они себя списывать?

— Брось дурить! — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке.— Слышь!..

— Не дело, атаман,— встрял и князь Львов.— К чему это?

Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе:

— Зови всех суда! Всех!

— Ошалел, змей полосатый,— негромко сказал Прозоровский.— Не робейте — запужать хочет. Пошли, счас надо построже...

Воевода и подьячий тоже вышли из шатра.

Степан стоял у борта струга; на бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям: этого волка по загривку не погладишь — оскалился, того гляди, хватит клыками.

— Для чего всех-то зовешь? — все больше нервничал Прозоровский.— Чего ты затеял-то?

— Спросим...— тихо, остервенело и обещающе сказал атаман.— А то молотим тут...

— Мы тебя спрашиваем, а не их!

— Чего меня спрашивать? Вы меня знаете... Писать-то их хочете? Их и спрашивайте.

— А ты вели. Ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают...

— Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им — на походе, войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно.

Меж тем казаки с торгов хлынули все на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли.

— Братцы! — крикнул Степан.— Тут бояры пришли — списывать нас! Говорят, обычай такой повелся: донских и яицких казаков всех поголовно списывать! Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить: слыхали вы такое?!

Вся толпа на берегу будто вздохнула единым вольным вздохом:

— Нет!

— Говори сам,— велел Степан Прозоровскому.— Ну?..

Прозоровский, не без чувства отчаяния и решимости, выступил вперед:

— Казаки! Не шумите! Надо это для того...

— Нет!! — опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле, никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки — перепись.

— Да вы не орите! Надо это... Ти-ха!!

— Нет!!!

Прозоровский повернулся и ушел в шатер, злой.

— Скоморошничаешь, атаман! — строго сказал он вошедшему следом Степану.— Ни к чему тебе с нами раздор чинить, не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет!

— Не пужай, боярин, я и так от страха трясусь весь,— сказал Степан.— Слыхал: брата мово, Ивана, боярин Долгорукий удавил. Вот я как спомню про это да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего.— Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу.

— К чему эт ты? — спросил Прозоровский.— При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умней его — не лезь на рожон, а то и тебе несдобровать.

— Не пужай, ишо раз говорю.

— Я не пужаю! Ты сам посуди: пошлете вы станицу к царю, а царь спросит: "А как теперь? Опять они за старое?" Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили... Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?

— В милостивой царской грамоте не указано, чтоб пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас да казаков списывать и теснить.

— Грамота-то когда писана! Год назад писана.

— А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому... Но я слыхал — тот же, дай ему бог здоровья.

На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их; и впрямь, такого еще не знали на Дону — перепись: сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли и оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу: сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев: прямо как к стене припирали средь бела дня — и мерзко, и деваться некуда.

— Уйми ты их! — попросил князь Львов.— Чего расшумелись-то?

— Они, не ровен час, за сабли бы не взялись,— сказал Степан.— Могут. Тада и мне не остановить. Останови-ка!..

— Ну что, телиться-то будем? — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других.— Как уговоримся-то?

— Кому время пришло — с богом,— миролюбиво сказал Степан.— Мне рано телиться: я ишо не мычал.

— Ну дак замычишь! — Прозоровский поднялся.— Слово клятвенное даю: замычишь. Раз добром не хочешь...

Степан впился в него глазами... Долго молчал. С трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал:

— Буду помнить, боярин... клятву твою. Не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнют. Один раз вот так и я клялся — теперь будем помнить: ты и я.

Разговор принимал нехороший оборот... И очень уж шумели казаки: на нервы действовали. Самая пора — уйти от греха.

Воеводы пошли из шатра... Прозоровский шел последним, замешкался у выхода — что-то как будто вспомнил... Остановился.

— Не люблю уходить с тяжелым сердцем... Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то?

Степан молчал. Смотрел на воеводу. А тому опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым.

— Ах, добрая шуба! — сказал он.— Пропьешь ведь! А?

Степан молчал.

— А жалко... Жалко такую шубу пропивать, добрая шуба. Сколько б ты за ее хотел?

Степан молчал.

— Хорошо дам... Все равно же она тебе за так досталась. А?

Степан молчал.

— Зря окрысился-то на меня,— сказал Прозоровский и нахмурился.— Про дела-то твои в Москву я писать буду. А я могу всяко повернуть. Так-то, атаман... Должен понимать.

Степан молчал.

— Ну, шуба!..— опять молвил воевода, подходя и трогая шубу.— Ласковая шуба... Только — один черт — загуляешь ты ее на Дону. Загуляешь ведь?

— Бери себе,— сказал Степан.

Кое-то как дождался князь этих слов! Его даже стала сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его — недогадливость, скорей всего.

— Ну — куда с добром! Только я счас не понесу ее, а вечерком пришлю. Ага, так-то лучше — чтоб не глазели. А то пойдут глазеть! Греха потом не оберешь...

— Я сам пришлю.

— Ну и вот, и хорошо. И хорошо, Степан...— Воевода даже растрогался, у него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят — вооруженные, с припасом, богатые. И никакой острастки на дорогу он им не задал, а забота его — вся-то — страх перед царем, а страх снимался милостивой

царской грамотой. Откровенно говоря, хоть он и пугал вчера своих помощников возможными выходками казаков, сам в них не верил: казаки устали, добра у них невпроворот — пить им теперь, заливаться. А мысль эта: что Стенька — не просто разбойная душа, что это умный, сильный, матерый волк,— мысль эта влетела вчера и вылетела вчера же, вечером, когда разбирали дома дорогие Стенькины подарки. "На кой ляд,— думал воевода,— ему теперь разбойничать, когда это-то добро не пропить за пять лет".— Только, Степан...— Прозоровский прижал руку к груди.— Христом-богом прошу тебя: не вели казакам в город шляться. Они всех людишек у меня засмущают. Ведь они вот счас всосутся пить, войдут в охотку, а ушли вы — они на бобах. А похмельный человек, сам знаешь, ни работник, ни служака. Да ишо злые будут, как псы, сладу с имя не будет.

— Не заботься, боярин. Иди спокойно.

Прозоровский ушел.

Степан, оставшись один, стал ходить по шатру. Думал. Он когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал: "Мгм, мгм".

— Будет тебе шуба, боярин,— сказал он. И остановился.— Будет тебе шуба... свинья ненасытная.

* * *

Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков, слегка хмельные, направлялись к Кремлю; впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую выклянчил воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом:

У ворот трава росла,
У ворот шелковая!

Триста человек дружно гаркнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Пока шел "голубь", гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко запел:

Кто ту травушку топтал,
Кто топтал шелко́вую?

И снова разом крикнули триста:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал:

Воеводушка топтал,
Свет Иван Семенович!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

В вечернем стоялом воздухе вольно и как-то диковато разносилась странная, развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицы. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой.

Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. Старался погромче... Пели и все громко, самозабвенно.

Он искал перепелов,
Молодых утятошек!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Посадские потянулись за казаками: кто ожидая большого скандала, кто — выпивки.

А нашел он нашу шубу!
Шубу нашу, шубыньку!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше:

Перепелку на тарелку,
Шубыньку на рученьку!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Лица казаков торжественны, серьезны. И Разии тоже вполне старателен и серьезен.

Шуба величаво плывет над толпой.

Шубыньку на рученьку,
Душечку, на правую!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Несколько казаков отстали, поясняют посадским:

— Шуба батьки Степан Тимофеича замуж выходит. За воеводу. Шибко уж приглянулась она ему... В ногах валялся — выпрашивал. Ну, батька отдает. Он добрый...

— Не горюйте: в надежных руках будет,— понимали посадские.

— Да мы не горюем! Но проводить надо хорошо — по-доброму, чтоб им жить-поживать с воеводой в согласии, чтоб согревала она воеводу, как воевода замерзнет.

Полежи-ка, шубынька,
У дружка у милого!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
У сердца ретивого,
У Иван Семеныча!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Толпа идет нешибко; шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она "шевелила руками".

Ты лежишь, как душечка,
Все лежишь, как кунычка!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Друг ты моя, шубынька,
Радость моя, шубынька!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Ты меня состарила,
Без ума оставила!

Тут особенно громко, "с выражением" рявкнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Без ума, без разума,
Без великой памяти!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Посадские дивились: так складно, дружно получалось у казаков — и все про шубу, про шубыньку, да про ихнего воеводу, Ивана Семеныча. Не слыхали раньше такой песни. Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков: ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали "голубя", спевались. Слова им дал скоморох Семка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный.

— Ие-э-эх!..— заголосил напоследок Семка, сильно вытянув жилистую шею.— Все разом:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

* * *

В покоях воеводы сидели: сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети — старший, Борис, шестнадцати лет, и младший, тоже Борис, восьми лет, брат воеводы Михайло Семеныч. Слушали с большим неудовольствием.

Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал:

— Один впереде идет — запевала, а их, чай, с полтыщи — сзади орут "голубя".

— Тьфу! — Иван Семеныч заходил раздраженно по горнице.— Вот страмцы-то! Ну не гады ли подколодные!..

— Ты уж позарился на шубу! — с укором сказала Прасковья Федоровна.— На кой бы уж она?..

— Думал я, что они такой свистопляс учинят?! Ворье проклятое. Ну не гады ли!..

— Это кто же у их такой голосистый — запевает-то? — спросил Михайло Семеныч.

Ярыга знал и это:

— Скоморох. Днями сверху откуда-то пришли. Трое: татарин малой, старик да этот. На голове пляшет, на пузе...

— Ты приметь его,— велел Михайло.— Уйдут казаки, он у меня спляшет.

— Я так смекаю: они с имя уйдут,— ответствовал вездесущий ярыга.— Приголубили их казаки... С имя ушлепают.

— Стало быть, теперь возьмем,— сказал Михайло Семеныч.— Укажи его, когда суда явются.

— Укажу. Я его харю приметил.

— Сам ихный там же? — спросил воевода, скривившись как от боли зубной.— Стенька-то?

— Стенька? Там. Со всеми вместе орет, старается.

— Стыд головушке! — вздохнула Прасковья Федоровна.— Людишки зубоскалить пойдут. Прямо уж околел ты без этой шубы! Глаз не кажи теперь...

— Иди-ка отсудова, мать! — воскликнул воевода сердито.— Не твое это бабье дело. Иди к митрополиту, детей туда же возьми. Идите.

Прасковья Федоровна ушла и увела детей.

— Ах, поганец! — сокрушался воевода.— Что учинил, разбойник!.. Голову с плеч долой снял. Ну, я с тобой поговорю, кобель. Ты гляди, чего выдумал!.. И подумать нельзя было.

В горницу заглянула усатая голова:

— Казаки!

Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо, изготовились встретить гостей сурово.

Казаки молча шли по двору Кремля. Увидав воеводу, остановились. Стырь и дед Любим, в окружении шести казаков с саблями наголо, вынесли на руках дорогую шубу.

— Атаман наш Степан Тимофеич жалует тебе, боярин, шубу со свово плеча.— Положили шубу на перила крыльца.— На.

— Вон!!! — закричал воевода и затопал ногами.— Прочь!.. Воры, разбойники! Где первый ваш вор и разбойник?! Он с вами? Чего он прячется, еслив такой смельчак? Чего же он такой?!

— Какой? — спросил Стырь.— Ты про кого, батюшка?

— Кого вы атаманом зовете?!

— Степан Тимофеича... Кого же нам больше атаманом звать? Степан Тимофеича.

Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые, мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек.

— Он больше не атаман вам! — кричал воевода.— Поганец он, вор!.. Он сложил свою власть! Бунчук его — вот он! — Воевода показал всем бунчук Разина.— Какой он вам

атаман?! Идите по домам, не гневите больше великого государя, коли он вас миловал. Не слухайтесь больше Стеньки! Он — дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!..

Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз, в землю. Слегка кивал головой.

— Замычал? — сказал он негромко себе.— Подожди, белугой закричишь, сукин сын.

— Пошли отсуда,— тронул его Иван Черноярец.— Он тут несет чего ни попадя... А эти слушают. Пошли.

— Подожди, дай наслушаюсь досыта. Можеть, когда спомнить доведется. Ты запоминай тоже. Ишь, как поет!..

— Царь-государь милостив, но и у его сердце лопнет, не дожидайтесь этого! — говорил громко воевода.— Хуже будет! Не гневите царя-батюшку и бога всевышнего, не слушайтесь больше атамана: пропадете с им! Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет! Зачем он оружие не отдает?! Чего затевает?!

— Пошли,— сказал Степан.— Уводи их, а то правда...

Казаки вышли из Кремля. Шубу оставили воеводе.

За воротами, в толпе, к скомороху Семке присоседился ярыга. Заговорил с ухмылкой, с восхищением:

— Эт ты на голове-то пляшешь?

— Я. Я ишо на пузе могу,— похвастался Семка.

— Пошли со мной?.. Дворовым людишкам охота глянуть.

Семка колебнулся, подумал...

— Денег дадут,— заторопил ярыга.— Чего? Ну?..

— Нас трое...— Семке не хотелось и от казаков отстать, и охота было показать свое искусство, где просят.

— Зови и их. Где они?

Семка крикнул старика с бандурой и татарчонка, маленького, проворного, смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским. Больше — по городам. И вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь.

— Пошли! — торопил ярыга.— Накормют, денюжку дадут...

Скоморохи с ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания.

— А я один разок видал вас, чуть не сдурел со смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос: "Тоже хочем!" — Ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Семке.— Я говорю: "Денюжку дадите? Они за денюжку пляшут". Они все в один голос: "Дадим!"

— Девки есть? — спросил Семка.

— Девки? — удивился ярыга; он никак не ждал от хилого, доброго Семки такого вопроса.— А для че тебе?

— Девки смеяться любют.

— Есть, есть! Полно. Счас посмеемся!..

За казаками на посаде увязались посадские, стрельцы, бойкие бабенки... Казаки ласково щупали астраханок, те визжали, били казаков по рукам, смеялись: ждали гульбы и подарков. Казаки сулили и то и другое... И третье сулили.

И как пришли к стружкам, тут и всё: торговлишка открылась, виночерпии тут как тут, праздник опять готов раскинуться, море человеческое закачалось, заходило волнами...

Степан смотрел со стороны на знакомую картину... Пожевал ус: картина явно не пришлась ему по душе. Велел есаулам сесть на коней и ускакал с ними сухопутьем к Болде, в лагерь.

А казаки подсаживали бабенок на струги. На струги же закатывали бочонки с вином, вносили караваи хлеба, солонину в туесах, вязанки копченой, вяленой рыбы... Кого не грызут завтрашние заботы, тот сегодня живет через край. А тут еще такая редкая, дорогая радость — бабы. Тут уж — кривись, атаман, не кривись — не твое дело. Да и не заметили, что он кривится-то,— не туда смотрели.

9

Степан заторопил события.

Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил есаулов. Собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться.

— Сколько коней закупили, Иван? — к Черноярцу. Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Есаулы знали эту его привычку.

— Сто двадцать. А сбруи на полста.

— Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу.

— Они посулились сами...

— Некогда ждать! Солнце встанет, роса очи выест. Пошли пять стружков. И пускай не скупятся. Федор, в Царицын кто поехал? Послал?

— Минька Запорожец,— откликнулся Федор Сукнин.

— Велел передки закупить?

— Велел.

— На Дон ушли? — опять к Черноярцу.

— Ушли. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин...

— Послать к Ваське, к Алешке. Давно ведь велел! Чего ждете?

— В Москву-то будем посылать? — спросил Иван Черноярец.

— Пошлем,— сказал Степан.— Из Царицына. Вот ишо: у воронежцев закупим леса, сплавив плотами... Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери полста, которые с топорами в ладах, и чуть свет дуй. Скажи воронежцам: долю ихную — за свинец и за порох — везем. Свяжите с десять плотов — и вниз. Там, наспроть устья Кагальника, между Ведерниковской и Кагальницкой, островок есть — Прорва. Там стоять будем. Поделайте засеки, землянки — сколь успеете. Еслив кто из казаков уйдет домой хоть на день, хоть на два,— тебе, Иван... всем вам головы не сносить. Мы не зимовые казаки, а войско. Сам буду отпускать на побывку — за порукой. Иван...— Степан в упор посмотрел на Черноярца.— Где Фрол?

Иван увел глаза в сторону.

— А я откуда знаю! Что я, бегаю за им?

— Где Фрол? — повторил вопрос Степан.— Куда вы его спрятали? Чего в глаза-то не смотришь?

Иван уперся:

— Не знаю, где он. Никто его не прятал...

Некоторое время все молчали.

— Не трону я его,— негромко сказал Степан.— Пускай вылазит.— И повысил голос.— Дело делать или по кустам хорониться? Нашли время!..

— Батька, хлопец до тебя,— сказал подошедший казак.

— Какой хлопец?

— Трое шутовых давеч было... шубу-то когда провожали...

— Ну?

— Одии, малой, прибег счас из Астрахани: заманули их ярыги воеводины — мстятся за шубу. А этот вывернулся как-то...

— Позови.

Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза. Рассказал:

— Семку и дедушку... бичишшем... Мы думали: спляшем им, денег дадут... Семка соблазнил — девок шибко любит. Сколько уж раз, дурака, били!.. Спаси их, батюшка-атаман!

А то их совсем заколотют там. Спаси, батюшка, ради Христа истинного...

— Не реви,— сказал Степан.— Позови Фрола, Иван. Скажи, хуже будет, еслив счас не вылезет. Не плачь, сынок, поможем. Давай Фрола!

Иван отошел к кустам дальним, громко позвал:

— Фрол!

Фрол откликнулся, но не вылез пока. Они стали переговариваться с Иваном. Иван, как видно, принялся его уговаривать вылезти. Фрол колебался...

— Били? — спросил Степан татарчонка.

— Бичом. Дедушке бороду жгли... Семку огнем тоже мучают. Батюшка-атаман, пособи им... родненький...

— За шубу? Так и говорят — за шубу?

— За шубу. Семке посулились язык срезать...

— А ты как же убег?

— Они мне раза два по затылку отвесили и забыли. Семку шибко уж мучают... Батюшка, ради Христа истинного...

— Вы откуда? — Видно, как изо всех сил крепился Степан, чтоб самому не закричать тут от жалости и злобы.

— Теперь — из Казани. А были — везде. В Москве были...

Фрол вылез наконец из кустов... Подошли. Фрол остановился в нескольких шагах от Степана — на всякий случай.

— Загостился ты там,— сказал Степан.— Поглянулось?

— Прямо рай! — в тон ему ответил Фрол.— Ишо бы гостевал, но заела проклятая мошкара — житья от ее нету, от...

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Теперь так: бери с двадцать казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские людей грызут. Отбейте.— Степан подтолкнул татарчонка к Фролу.

— Как? Боем прямо? — удивился Фрол.

— Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были!.. Слышал?!

— Батька, дай я с имя поеду,— попросился Иван Черноярец.— Я больше там знаю...

— Ты здесь нужон. С богом, Фрол. Спробуй не привези скоморохов — опять в кусты побежишь.— Степан отвернулся.

Фрол пошел отбирать казаков с собой.

— Федор, поедешь к воронежцам не ране, чем придем в Царицын.— Степан помолчал: все ли сказал, что хотел, не забыл ли чего... Но видно было — другое уже целиком овладело им.— Сучий ублюдок!..— вырвалось вдруг у него. Он вскочил.— Людей мучить?! Скорей!.. Фрол! Где он?..

Отряд Фрола был уже на конях.

— Фрол!.. Руби их там, в гробину их! — кричал атаман.— Кроши подряд!..— Его начало трясти.— Лизоблюды, твари поганые! Невинных-то людей?!

С ним бывало: жгучее чувство ненависти враз одолевало, на глазах закипали слезы; он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил.

— Отворяй им жилы, Фрол, цеди кровь поганую!.. Сметай с земли! Это что за люди?!— Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой, сник. Стоявшие рядом с ним молчали.— Кто породил такую гадость? Собаки!.. Руби, Фрол!.. Не давай жить...— негромко, с хрипом проговорил еще атаман и вовсе опустил голову, больше не мог даже говорить.

— Он уехал, батька,— сказал Иван Черноярец.— Счас там будут, не рви сердце.

Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь.

Оставшиеся долго и тягостно молчали.

— А ведь это болесть у его,— вздохнул пожилой казак.— Вишь, всего выворачивает. Маленько ишо — и припадок шибанет. Моего кума — так же вот: как начнет подкидывать...

— Он после Ивана так, после брата,— сказал Стырь.— Раньше с им не было. А после Ивана ослабнул: шибко горевал. Болесть не болесть, а сердце надорванное...

— Никакая не болесть,— заспорили со стариками.— С горя так не бывает... Горе проходит.

— С чего же он так?

— Жалосливый.

— Ну, с жалости тоже не хворают. И мне жалко, да я же не реву.

— Да ты-то!.. С жалости-то как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого... У другого — болит. У меня вон Микишка-то, сын-то,— вспомнил Стырь,— когда помер? — годов с двадцать. А я его все во сне вижу. Проснусь — аж в груде застынет от горя, как, скажи, вчерась его схоронил. Вот те и проходит — не проходит. А он брата-то вон как тоже любил... Да на глазах задавили — какое тут сердце надо иметь — камень? Он и надорвал его.

— А ты-то был в тем походе? Видал?

— Видал.— Стырь помолчал и еще раз сказал: — Видал. Не приведи господи и видать такое: самых отборных, головку самую...

— А вы чего глядели?

— А чего ты сделаешь? Окружили со всех сторон — чего сделаешь? Рыпнись — перебили бы всех, и с концами.

— Дед, скажи,— заговорил про свою догадку один казак средних лет,— ты батьку лучше знаешь: ничего он не затевает... такого?..

— Какого? — вскинулся Стырь.

— Ну... на бояр, можеть, двинуть?.. К чему он, правда, силу-то копит? На кой она ему так-то?

— Это ты сам его спроси, он про такие дела со мной не советуется. Никуда он не собирается двигать... С чего ты взял?

— А силу-то копит...

— Сила завсегда нужна. Кому она мешала, сила?

— Ну, не такую же... Слыхал, по домам — за порукой только? Это уж — войско прямо.

Ларька Тимофеев, бывший тут, сощурил в усмешке девичьи глаза.

— Ну а доведись на бояр стрепенуться?..— спросил он.— Как вы тада?

Вопрос несколько ошеломил казаков. Так прямо еще не спрашивали.

— На бояр?.. Дак это ж — и на царя?

— Ну — на царя...— Синие глаза жестокого есаула так и светились насмешливым, опасным блеском.— Чем он хуже других?

— Да он-то не хуже...— трезво заговорил Стырь.— Нам бы не оплошать: у нас сила, а у его — втрое силы.

— Наша сила ишо не вся тут,— гнул свое Ларька.— Она вся на Дону. Туда нонче из Руси нашугало темные тыщи — голод там... Вот сила-то! А куда ее? Зря, что ль, ей пропадать? Оружьишко с нами...

— Нет, Лазарь, не дело говоришь.— Стырь решительно покачал головой.— Не дело, парень. Еслив уж силу девать некуда, вон — Азов на то... Чего же мы на своих-то попрем?

Глаза Ларькины утратили озорство и веселье... Он помолчал и сказал непонятно:

— Своих нашел... Братов нашел. Вон они, свои-то, чего вытворяют: невиновных людей огнем жгут, свои.

Все промолчали на это.

Иван с Федором нашли атамана в кустах тальника, у воды.

Степан лежал в траве лицом вниз. Долго лежал так. Сел... Рядом — Иван и Федор. Он не слышал, как они подошли.

Степан выглядел измученным, усталым.

— Принеси вина, Федор,— попросил негромко.

Федор ушел.

— Как перевернуло-то тебя!..— сказал Иван, присаживаясь рядом.— Чего уж так? Так — сердце лопнет когда-нибудь, и все.

— Руки-ноги отвалились, как жернов поднял...— тихо сказал Степан.— Аж внутре трясется все.

— Я и говорю: надорвешься когда-нибудь. Чего уж так?

— Не знаю, как тебе... Людей, каких на Руси мучают,— как, скажи, у меня на глазах мучают,— с глубоким и нечаянным откровением сказал Степан.— Не могу! Прямо как железку каленую вот суда суют.— Показал под сердце.— Да кто мучает-то!.. Тварь, об которую саблю жалко поганить. Невиновных людей!.. Ну за что они их? И нашли кого — калек слабых...

— Ладно, скрепись. Счас Фрол привезет их. Лоб расшибет, привезет: ему теперь любой ценой вину надо загладить.

Федор принес вина в большой чаше. Степан приложился, долго с жадностью пил, проливая на колени. Оторвался, вздохнул... Подал чашу Ивану:

— На.

Иван тоже приложился. Отнял, посмотрел на Федора...

— Пей, я там маленько прихватил,— сказал тот.

— Сегодня в большой загул не пускайте,— сказал Степан.— Ишо не знаем, чего там Фрол наделает. Надо сбираться да уходить: больше ждать нечего.— Он опустил голову, помолчал и еще раз сказал негромко, окрепшим голосом: — Нечего больше ждать, ребяты.

* * *

Фрол ворвался в нижний ярус угловой, Крымской, башни, когда там уже никого из палачей не было. На земляном полу лежали истерзанные скоморохи. Семка был без памяти, старик еще шевелился и слабо постанывал.

Наружную охрану — двух стрельцов — казаки втолкнули с собой в башню и велели им не трепыхаться.

— Живые аль нет? — спросил Фрол, склонившись над стариком.

— Живые-то живые,— шепотом сказал старик.— Никудышные только... Изувечили.

Фрол склонился еще ближе, вгляделся в несчастного старика.

— Как они вас!.. Мама родимая!

— Семке язык вовсе срезали...

— Да что ты! — удивился Фрол. Подошел к Семке, разжал его окровавленный рот.— Правда. Ну, натешились они тут!..

В дверь с улицы заглянул казак:

— Увидали! Бегут суда от приказов. Живей!..

— Берите обоих. Шевелитесь! — Фрол быстро подошел к стрельцам: — Вы что же это? А? Гады вы ползучие, над живыми-то людями так изгаляться...

— А чего? Мы не били. Мы глядели только... Да подержали, когда язык...

Фрол ахнул стрельца по морде. Тот отлетел в угол, ударился головой и сник.

— Чтоб не глядел, курва такая!..

Второй стрелец кинулся было к выходу, но его оттуда легко отбросил дюжий Кондрат.

Казаки, трое, выбежали из башни, вскочили на коней. Всего их здесь было пятеро; остальные ждали за стеной Кремля, снаружи.

Скоморохи были уже на седлах у казаков. При белом свете на них вовсе страшно было глядеть: истерзали их чудовищно, свирепо. Даже у видавших виды казаков сердца сжались болью.

От приказных построек, под уклон к башне, бежали люди. Передние легко узнались: стрельцы с ружьями. И бежало их много, с пятнадцать.

Кондрат, выскочив из башни, глянул в сторону бегущих, потом на Фрола... Обеспокоился, но к коню не торопился.

— Фрол, успею... Дай?

Фрол мгновение колебался... Кивнул согласно:

— Мигом! По разу окрести, хватит.

Кондрат бегом вернулся в башню; тотчас оттуда раздались истошные крики и два-три мягких, вязнущих удара саблей. Крики оборвались почти одновременно.

Тем временем стрельцы были совсем близко. Некоторые остановились, прикладываясь к ружьям.

— Кондрат! — громко позвал Фрол.

Казаки вынули сабли, тронули коней, чтоб не стоять на месте под пулями. Кондрата все не было.

Раздались два выстрела. Потом третий...

Кондрат выскочил из башни, засовывая на бегу в карман какие-то мелкие штуки.

— Что ты там? — зашипел Фрол.— Сдох, что ли?!

— Пошурудил в карманах у их...— Кондрат никак не мог попасть ногой в стремя: татарская кобылка, не приученная к выстрелам, испугалась. Дико косила глазом и прядала вбок.

— Тр!.. Той!..— гудел Кондрат, прыгая на одной ноге.— Чего ты, дурочка, испужалась-то?..

Еще трое бегущих приостановились, припали на колено... Казаки закрутились на месте, дергая поводья. Кони всхрапывали, сучили ногами, норовили дать вдыбки.

— Прыгай! — заорал Фрол.— Твою мать-то!..

Кондрат упал брюхом в седло... Подстегнули коней... Еще три выстрела прогремели почти одновременно. Под одним из казаков конь скакнул вбок и стал падать. Казак бросил его и прыгнул на ходу к Фролу, который для того несколько придержал свою лошадь.

Вылетели через Никольские ворота... И весь отряд Фрола на добром скаку скрылся в улочке, что вела от Кремля наискосок к Волге. Остался в воздухе только слабый следок пыли, да недолго слышался дробный стремительный бег коней.

Стрельцов было человек восемь. В числе первых подбежал к башне Иван Красулин, голова стрелецкий. Сунулся в башню...

Некоторое время его не было. Потом он вышел. Подавленно молчал. С силой потер ладошкой лоб.

Подбежали другие... По виду Красулина догадались, что тут случилось.

— Казаки?

— Должно... Кто же больше?

— Они, больше некому. Раз скоморохов взяли, то они. Не татарва же... Казачье дело.

— Вот чего,— заговорил Красулин,— скоморохов взяли — это не скроешь теперь, а вот стражных срубили — то надо замести как-нибудь. Надо чего-то выдумать.

— Срубили?! — узнавали вновь подбегающие.

— Вон лежат... За скоморохов можно перетерпеть, а за этих — не приведи господи: всем будет. Еслив кто из вас донесет тайком, и тому несдобровать: я всех тут знаю.

— Совсем срубили-то? — Двое вошли в башню... И тотчас вышли.— Да... Напополам развалили.

— Чего делать-то? — вслух думал Иван.— Самих ведь срубют... Ишо и умысел потайной присобачут: нарошно, мол, попустили. И так воевода окрысился давеч: "С ворами гуляете!"

— В воду, чего!.. Чего тут больше выдумаешь? Ушли — и все тут. С казаками ушли, мол. Кто проверит?

— Знамо, им теперь — где-нигде... все то же. Тут не грех и об себе подумать. Да ить как скоро управились!

— Как? Все-то как думаете? — спросил Красулин.

— В воду — и подальше,— согласились все.

* * *

С астраханской стороны Болды послышался конский топот, голоса. Свистнули.

На этой стороне от костров отделилось несколько фигур; пошли к воде. Было уже совсем темно.

— Ты, Фрол?! — спросил отсюда голос Ивана Черноярца.

— Мы! — откликнулся Фрол.— Переплавляйте!

Два стружка отвалили от берега.

На той стороне заводили коней в воду, пускали вплавь одних. Фырканье коней, плеск воды, голоса людей звучно отдавались ночной рекой. Ночи стояли тихие.

Стружки ткнулись в берег... Фрол прыгнул в передний.

— Ну как? — спросил его Черноярец.— Привез?

— Везем... Старик кончился дорогой. А парню язык срезали. Живой пока, но... худой тоже.

— Ох?.. Успели.— Иван сокрушенно прицокнул.

— Куда старика-то? — спросили есаулов с берега.

— Заноси! — велел Иван.— Завтра схороним. Вот твари дак твари!.. И за што ухайдакали? Ни за што.

Занесли на струг тело старика и полуживого Семку, поплыли.

— Уходить надо,— сказал Фрол.— Мы там двух стрельцов срубили... Всполохнуться могут.

— Каких стрельцов? Приставу?

— Ну.

— Про старика-то да про язык — не надо, промолчите,— посоветовал Иван.— А то его опять корежило давеча. Пусть хоть отойдет. Как со стрельцами-то вышло?

— Так... вышло: не стерпели. Кондрат вон раскроил. Как не сказать, говоришь? Про старика-то?..

— Не надо.

— А спросит?

— Привезли, мол... Шибко, мол, избитые — пусть отдыхаются маленько. Потом уж скажем. Сам потом скажу.

— Уходить надо, Иван. Какого дьявола дожидаться? Пока у их терпленье лопнет? Дождемся...

— С конями он затеялся... Посулились татары ишо пригнать.

— Да мы их на Царицыне приторгуем, у едисанов! А нет, на Дон пригонют.

— Вот будешь счас с им говорить, скажи так. Надо, конешно, уходить.

10

Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за заволжской степи... И земля, и вода, все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду; плескались задумчиво волны. Но уже — там и тут — в зеленую ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле...

Разинская флотилия шла под парусами и на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь на небе, то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в полторы сотни лошадей. Там был Иван Черноярец.

Степан был на переднем струге. Лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны — не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни: много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь — собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо — не будет пустых слов. От пустых слов — своих и чужих — атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и без толку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил, и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить — надо: ждут. А ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда, вечно ждут. В Фарабате, у персов, договорились между собой распотрошить город: сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий

момент, Степан повернет на голове шапку... Торговлишка шла, казаки посматривали на атамана... Подходящий момент давно наступил — персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется... Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул.

Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство; от умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Мончака, и калмыки помогут донцам тряхнуть Малый Ногай; ждали, что он, удачливый, прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут "зипуны" у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь: мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути — разведать о настроении татар перед походом. Там, у татар, томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар — это уж потом — Степану удалось вскинуть Алену с дитем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали — он видел, понимал — ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин... Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан, обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов... Он даже не знал — как это так жить без этого? Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе — от этого хорошо было: было чего желать впереди. Иной раз он так думал: порубят где-нибудь на бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки... И сам же ловил себя: никогда ведь так не будет: порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время — особенно как возвращались из Персии, с

моря,— неотступно гвоздила его одна мысль: не начать ли большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: "Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали: чтоб ни одна гадина эту черту не заступала". Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу... Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету... Но он стоит в глазах: смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уж не отпускала Степана, эта мысль, она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман... Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место; Степан, как услышал их, удивился: почему он сам-то не додумался до этого! Ведь это просто, и это — верно; разок тряхануть, втемяшить всем: был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный — во веки веков. Чтоб даже одна мысль — как-нибудь потеснить казаков, — чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его — то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать... В Астрахани в этот раз почудилось, что — пора, надо немедля открываться... Душа ходуном ходила, разум мутился... Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай: есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми, сильными казаками: бери Астрахань! Бери и двигай вверх по Волге! Но крепкой ночной думой остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой, опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со Стырем выдумал, вникал в души близких... Понял: нет, рано. Это еще не сила, что у него, сила — на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет — с Дона выдачи нет,— готовы уж и выдавать, чтобы не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо: пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это — тем скорей прильнет к ним эта мысль — о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился — как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь. Надо, чтоб и все тоже не сомне-

вались. Казаки ждут от него, сами не знают, чего ждут, надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного, но охотники будут. Куда они денутся! Дай время, дай, господи, ума и терпение — все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями, не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы, не малолеток же, не слабоумный какой... Зря, что ли, все это? Не зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли выдалась такая минута. Когда-то она еще случится? Вспомнил Степан Алену, жену, ухмыльнулся... То все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась, откуда стать взялась, хозяйский выгляд обрела, нотку в голосе обрела... Милая баба, родная стала, даже не думалось, что такой родной станет. И Афонька полюбился, пасынок, полукровок... Смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним. За делами, за гульбой да за думами как-то не до них было, а вспомнил вот — и понял, что стосковался. И невольно опять ухмыльнулся: не знал за собой такого. Ну ладно: пусть. И все-то, наверно, так, все стосковались, только помалкивают. Хорошо, хоть есть по кому тосковать, а то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука — даже когда не держит — чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся, а — покачивает, покачивает — конский скок в крови гудит... Ни речки, ни леска, ни бугорка просто так нету — и не надо, а в голове все: где лучше укрыться, где речку перемахнуть... Окликнут нежданно, дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цапнула. Где было про жену, про семью думать. Так уж влез в это воинство, так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной — никак. А вот — случилась и жена, и семья... Маленько даже смешно, но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне — быть, это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть. Бояре... не сегодня и не вчера накипела к ним ненависть, давно. Одна мысль об этих владыках жгла как огнем, бесила. Какую власть, какую волю на земле взяли! И не перечь им! И не прогневи!.. Только и спасение мужику что — в бег, как от зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами бегают по лесам и прячутся. Собаки!..

Вдруг на стругах зашумели со всех сторон:

— Конные! Догоняют!..

— Эке! К нам?!..

— Война, хлопцы! Воевода очухался...

Степан вскочил...

Краем высокого берега конных разинцев догоняли с полсотни каких-то конников. Шли резво; в воздухе за ними оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли без опаски, без оглядки, кучно и прямиком. Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники.

Никто не понимал, что это могло значить, кто это.

— К берегу! — велел Степан.

Струги свалили влево, устремились к берегу.

Конники — те, что догоняли, и разинцы — сошлись.

Но никакой свалки или стычки там не случилось; вместе, те и другие, двинулись к месту, куда подгребали стружки.

Степан, приложив ладонь ко лбу, всматривался.

— Царь передумал,— гадали казаки.— Милость отнял: видно, из Астрахани, с новой грамотой.

— Не, то воевода горилки послал. За шубу...

— Федька, чего такое? — спросил Степан Сукнина.— Как думаешь? Можеть, татары?

— Нет, на татар не похожи... Нет.

— Кто же?

— Даже подумать на кого, не знаю,— размышлял Федор.— Думал, едисаны,— нет, русские. А, похоже, стрельцы!

— Стрельцы, верно,— узнали и еще некоторые.

— Они...

Конные на берегу — большинство — спешились, а двое поскакали как раз к месту, где ткнулся в берег атаманский струг. Спешились тоже и начали спускаться с высокого крутого обрыва вниз, к атаману.

Степан выпрыгнул из струга... Теперь видно было: спускались сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник.

— Чего? — нетерпеливо крикнул Степан, когда еще сотники не слезли к берегу.

— Провожатые! — пояснил Ефим, кивнув на стрелецкого сотника.— Воевода отрядил полусотню до Паншина с нами.

— Зачем? — спросил Степан стрельца.

— Здоров, атаман! — приветствовал тот, почему-то весело глядя на Степана. Подошел и подал руку.

— Здоров, коли не шутейно. Коней поразмять? Или как?..— Степан пожал протянутую руку.

— Прогуляться с вами до Паншина.— Сотник отвечал смело.

Степану поглянулась его смелость и веселость.

— Далеко. Не боитесь? — невольно тоже попал он на веселую ноту.— Или храбрые такие?

Сотник засмеялся:

— Мы смирные...

— Мясники смирные. Я знаю.— Степан нахмурился, пресекая балагурство.— Зачем явились-то?

— Велено нам провожать вас,— серьезно заговорил сотник.— Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с собой и не манили на Дон людишек разных. И... всякое. Едет с нами жилец Леонтий Плохово. А провожал нас Иван Красулин...— Сотник замолчал, значительно поглядел на Степана... Глянул искоса, опасливо на казачьего сотника и опять на Степана: опять со значением, тайный смысл которого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и веселился-то, что знал некую общую с атаманом тайну.

Степан понял.

— Ефим, иди попроведай своих на стружке,— велел он своему сотнику, при котором стрелец опасался говорить.

Ефим пошел к казакам на струг.

— Ну?..— спросил Степан.

— Велел передать голова наш, что все как и было, а стрельцов этих он сам подобрал — хорошие люди: едем для отвода глаз.

— А ты хороший? — усмехнулся Степан. Ему положительно нравился веселый, словоохотливый стрелец.

— А я над хорошими — хороший. Леонтий едет только до Царицына, я аж до Паншина. Там велено мне пушки взять...

— Ишо чего велено? — насторожился Степан.

— Грамоту везем Андрею Унковскому: чтоб вино для вас в царицынских кружалах в два раза в цене завысить. Тоже и в Черном Яру...

— Дай суда ее,— кратко сказал Степан.

— Кого?

— Грамоту.

— Она у Леонтия...

— Иди скажи Ивану Черноярцу, чтоб он скинул мне ту грамоту сверху. Вместе с Леонтием.— Степан не на шутку обозлился: воевода аж до Царицына протянул свои руки.

— Не надо. Вы на Царицыне — сами себе хозяева. У Андрея под началом полторы калеки,— резонно говорил

стрелецкий сотник.— А разгуливаться вам там ни к чему: смена наша где-нибудь под Самарой. Так велел сказать Иван.

Степан с минуту думал.

— Хороший, говоришь? — спросил он и хлопнул сотника по плечу.— Добре! Чара за мной... В Царицыне, по дорогой цене. Идите. Ефим!..

— Ге, батька! — Сотник Скула прыгнул со струга и шел к атаману.

— Скажешь Ивану: Черный Яр минуем.

— Добре.

— Стрельцов не обижайте... Они хорошие, пусть идут с нами.

— Когда спят? Или — проснутся, тоже хорошие? А то я знал одного москаля: спит — ангел господний, а проснется — черт с рогами. Так мы что́ сделали: взяли...

— Из виду нас не теряйте,— прервал атаман болтливого казака.— В степь поглядывайте.

— Добре, батька. И так не зеваем.

Сотники полезли вверх.

Флотилия снова начала выгребать на середину реки.

Больно ужалила Степана эта ядовитая весть о том, что в Царицыне завысят для казаков цену на вино; и то еще заело, что зачем-то понадобилось конвоировать их, как пленников. Сгоряча опять пожалел, что не затеял свару в Астрахани прямо... Но унял себя с этим. Зато опять глубоко и весь ухнул в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, охватило нетерпение, он даже встал и оглядел своих — на стругах и конных. Хоть впору теперь начинай, нет больше терпения, нет сил держать себя. Понимал — нельзя, рано еще, надо собраться с силой, надо подкараулить случай, если уж дать, то дать смертельно... Но душа-то, душа-то, что с ней делать, с этой душой!..— мучился Степан. "Ну, змеи ползучие, владыки!.. Навладычите вы у меня, я вас самих на карачки поставлю".

11

Купеческий струг вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разинцам, что те даже развеселились.

— Здорово, гостенька! — крикнул Степан, улыбаясь.— Лапушка!.. Стосковался я без тебя! Давай-ка суда, родной мой!

На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. Поняли и сидели тихо. Плыли навстречу — их легонько подносило самих.

На стружке были: гребцов двенадцать человек, сам купец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев казаков: с кем ему никак нельзя было встречаться, с теми как раз и встретился.

Стружок зацепили баграми, придержали.

— Откуда бог несет? — спросил Степан.— Куда?

— Саратовец, Макар Ильин,— отвечал купец.— В Астрахань... Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость! Товару у нас — кот наплакал, а мне — петля. Отпусти, право!..— Купец и правда не из дородных и важных: поджарый, русоголовый, в карих умных глазах — не то что испуг — грусть и просьба.— Отпусти, атаман!..

— Ишь ты!..— сказал Степан.— А чем ты краше других? За что тебя отпустить?

— А так, ни за что. Мы слыхали: ты добрый.

— А вы, молодцы, куда путь держите? — обратился Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника.— И откуда?

— Я везу в Астрахань государевы грамоты! — несколько торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжественно. Сотник был молодой, статный собой, много думал дорогой про разбойников, про Стеньку Разина, который, он знал, опять объявился на Волге... И он решил показать ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам атаман, должно быть, воображает.

— Дай-ка мне их,— попросил Степан.— Гумажки-то.

— Не могу.— Сотник гордо качнул головой.

— А ты перемоги... Дай! — настойчиво сказал Степан.

— Не могу... Я в ответе перед государем.

— Счас возьмем, батька.— Кондрат спрыгнул в купеческий струг. Подошел к сотнику.— Вынь грамотки.

И вдруг сотник — никто не ждал такого — выхватил пистоль... Кондрат качнулся, уклоняясь, и не успел: сотник выстрелил, пуля попала Кондрату в плечо. Сотник вырвал саблю и крикнул не своим голосом:

— Греби! Петро, стреляй в разбойников!..

Двое-трое гребцов взялись было сдуру за весла... А один, который был позади, вырвал из гнезда уключину и дал ею по голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле; он

схватился за голову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлетела милая жизнь... Даже и не покрасовался молодец-сотник на земле, а, видно, любил покрасоваться — очень уж глупо погиб, красиво.

Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего струга.

Еще двое казаков спрыгнули в купеческий струг. Один подошел к Кондрату, другой начал обыскивать сотника.

— В сапоге,— подсказал стрелец.— Гумаги-то.

— Кто с нами пойдет?! — вдруг громко спросил Степан.— Служить верой, добывать волю у бояр-кровопивцев!

Это впервые так объявил атаман. Он сам не ждал, что так — в лоб — прямо и скажет. А сказалось, и легче стало — просто и легко стало. Он видел, как замерли и притихли казаки, как очумело уставился на него Стырь, как Ларька Тимофеев, прикусив ус, замер тоже, глядя на атамана, а в двух его синих озерках заиграл ясный свет... Видел Степан, как ошарашил всех своим открытым призывом: кого нехорошо удивил, кого испугал, кого обрадовал... Он все это схватил разом, в короткий миг, точно ему удалось вскинуться вверх и все увидеть.

— Кто с нами?! — повторил Степан.— Мы поднялись дать всем волю!..— Знал ли он в эту минуту, что теперь ему удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь некуда.— Кто?! — еще раз спросил Степан громко и жестко.— Чего онемели-то?! Языки проглотили?

— Я! — откликнулся гребец, угостивший уключиной сотника: ему тоже пятиться некуда было теперь.

Еще двое крикнули:

— Мы! С Федором вот... двое.

— А не пойдем, чего будет? — спросил один хитроумный.

— Этого я, братец, не знаю,— сказал Степан,— много грешил — ад, мало — рай. Но, поглядеть в твои глаза, тебе прямая дорога в ад. А ты куда собрался?

— Я-то? Да я было в другое место хотел...

Разинцы засмеялись: оцепенение, охватившее их, проходило. Задвигались, загалдели... Обсуждали новость, какую вывалил атаман: оказывается, они войной идут! На бояр!.. Вот это новость так новость! Всем новостям новость. Теперь, задним умом, понимали, почему так упорно не отдавал атаман пушки и припас, почему на Дону по домам не распустит...

— А чего ты меня в ад-то запятить хошь? — не унимался дотошный гребец.— Я в рай собрался.

— В ра-ай? — удивился Степан.— Не-ет, братец, я хоть не поп, а истинно говорю тебе: в ад. Так что — погуляй пока на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал.— У Степана на душе было легко: эта ноша проклятая — постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая,— сброшена.

— Так чего же тада пытать? Я с вами!

Казаки опять одобрительно засмеялись.

— А стрельцы как? — спросил Степан.— Куда собрались?

— Оно ведь это... как сказать?..— замялись стрельцы.

— Так и сказать. Прямо.

— Вроде государю служим...

— Боярам вы служите, не государю! Кровососам! — Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радостно.— Думайте скорей, мы торопимся. Дорогое вино пить торопимся в Царицыне. Слыхали, казаки: воевода велел в Царицыне цену на вино в два раза поднять! — сообщил всем Разин.— Вот до чего додумались, собаки!.. Ну, стрельцы?.. Долго вас ждать?! А то терпение лопнет, не ведите к тому.

— Когда так — и мы,— сказал один, постарше.

Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, изодрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги: даже при первом Романове, когда донцам жилось куда вольготнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на кругу казачьем, как последние худые бабенки: то прекратить "промыслы" над татарами и турками, чтобы не злить хана и султана, то — чинить всякий вред тем же татарам, ибо хан опять наслал на Русь силу и лихоимствует. Казаки научились отсылать приказные бумаги — и с увещеваниями, и с угрозами — матерно, далеко, а "держали реку Дон" сами, по своему разумению. Но с тех пор много изменилось, бумаги московского Посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе.

— Вот так их!..— сказал Степан.— Рыбам читать.

На берегу конные явно заинтересовались событием на воде. Остановились, выстрелили, чтоб привлечь к себе внимание.

— Пальните кто-нибудь,— велел Степан.— Все хорошо.

Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким берегом и умерли далеко. Конные разинцы успокоились.

Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз из товаров купца, поднесли к борту и спустили в воду между стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то ли от уключины сразу кончился — никто не поинтересовался.

— Легкая смерть,— сказал один гребец. И перекрестился. Еще несколько человек сняли шапки и перекрестились.

Степан махнул рукой — дальше, вверх по Волге.

— В гребь! Заворачивайте свою лоханку. Не тужи, Макар Ильин!.. В Царицыне отпустим. Стрельцы, идите-ка ко мне! Погутарю с вами... Чего там на Москве слыхать?

В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто: никого не пропустили, чтобы в Астрахани не знали, как идут и что делают казаки дорогой, и не всполошились бы. Но казаки уже открыто говорили, что скоро "мир закачается". На батюшку Степана Тимофеича смотрели — почти все, вся громада — с любовью: опять ждали. Сам батюшка (так его величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с донцами) хотел одного теперь: скорей проведать, что делается на Дону — много ли правда, как слышно было, сбежалось туда с Руси народу и как тот народ встретит его, особенно холопы. Нетерпение охватило атамана великое; всю мощь души обратил он, чтоб сдерживаться пока, и едва справлялся, а то и не справлялся.

12

В Царицын разинцы пришли первого октября. Дни попрежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней дорогой лаской.

Высадились ниже города; одновременно подошли конные Ивана Черноярца. Сошлись на берегу.

— Где Леонтий? — сразу спросил Степан Черноярца. Он еле сдерживал себя от ярости. Черноярец решил маленько поослабить накал атамана, но сам видел, что — бесполезно.

— Вперед уехал...— сказал он.— А ты чего такой?

— Змеи ползучие! — Степан смотрел в сторону города.— Зашуршали?.. Оставь половину у стружков, остальные пусть в город идут. Пусть гуляют! Собери есаулов, айда со мной. В кружало — дорогое вино пить. Это ж надо, чего удумали!

— Степан... можеть, оно и к лучшему: не разгуливаться бы...— заговорил было Черноярец.

— Вот...— Степан опять посмотрел в сторону города — пристально, как будто смотрел в лицо ненавистному человеку.— Ты у меня разживесся на казачьи денюжки, гад ползучий. Я тебе дорого заплачу!.. Гуляй, Иван!

Казаки опередили своего атамана: когда он появился в городе, там было оживленно, разбродно и шумно.

Шли серединой улицы — "головка" войска: Разин с есаулами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно.

Направлялись в кружало.

В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, разжигая себя, а больше атамана:

— Притесняют, батька!..

— Ровно с козлов шкуру дерут...

— Где это видно — такую цену ломить! Они чего?..

— Кто велел? — рявкнул Степан. И навел на целовальника страшный — немигающий — взор. Тот сделался, как плат, белый.

— Воевода... Помилуй, батюшка. Я не советовал им, не послухали... Воевода велел.— Целовальник упал на колени перед атаманом и казаками.

— Воевода? — Рябое лицо Разина, окаменелое, изнутри — из глаз — излучало гнев и готовность.

— Воевода. Батюшка, вели мне живому остаться. Рази я от себя?!.. Я не советовал... Ну-к ведь — воевода! Им велено мне и отчет на Москву писать, в Большой приход: как я брал с вас...

— Сукин он сын, ваш воевода! — закричали опять казаки.— Батька, он уж давно притесняет нас. Которые, наша братва, приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в Большой приход, а в карман свой большой...

— Это Унковский-то? — вспомнил пожилой казак-картежник.— Так то ж он у меня отнял пару коней, сани и хомут. Я его дюже хорошо знаю, Унковского. Грабитель первый...

— А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Добрая была пистоль, азовская,— припомнил еще один.

— Вышибай бочки! — велел Степан.— Где воевода?! Я его зарежу пойду. Где он теперь?

— На подворье своем,— подсказали царицынцы, которые с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, смотрели и волновались.

...Степан скоро шел впереди своих есаулов, придерживая на боку саблю. Посадские, кто посмелее, увязались за казаками — смотреть, как будут резать воеводу Унковского. Странное и страшное это было шествие — шли молча, лица ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой: так идут травить злого, опасного зверя, который давно объявился в окрестности, но все не было смельчаков взять его. И вот смельчаки нашлись и теперь идут.

На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам воевода попрятались, уведомленные об опасности. Унковский не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам с подворья не ушел, а спрятался в горнице.

— Где он?! — закричал Степан, расхлобыстнув дверь прихожей избы.— Где Унковский?!

Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы: заперта. Изнутри.

— Тут он, батька! Заперся.

Степан раз-другой попробовал дверь плечом — не поддалась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме... Мешали друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы тяжелые, наружные обиты дощатым железом, горничная, дубовая,— медными полосами.

— Игнаха, тудыт твою!..— орали.— Ты мне ребра-то выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?!

— Я на тебя, а ты давай на дверь.

— О, курва-то! Да воевода-то не за ребрами же у меня! Чего ты, дурак, ребра-то мои жмешь?

— А кто тя разберет тут в мялке-то: можеть, ты...

— Вали! Ра-азом!

Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского железа.

— Открой! — крикнул Степан.— Все одно ты не уйдешь от меня! Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель!.. За коней, за сани, за хомут!..

— За пищаль! — подсказывали сзади.

— Открой!

Унковский в горнице молился "закоптелышам" (темным от свечной копоти иконам). Губы трясуче шевелились; пышная борода вздрагивала на груди, на шитой гарусом полотняной рубахе.

Сверху, с божницы, на него бесстрастно смотрели святые.

— Неси бревно! — скомандовал за дверью Степан.

— Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя,— в который раз зашептал Унковский.— Вот

поганцы-то!.. Решат ведь, правда, решат — взбесились. Да будет воля твоя, господи!..

В дверь снаружи крепко ударили бревном; дверь затрещала, подалась... Еще удар. Унковский бестолково забегал по горнице...

— Добуду я седня высокой воеводиной крови! — кричал Степан.— За налоги твои!..

Еще саданули в дверь тяжко, с хряском.

— За поборы твои! Грабитель... За лихоимство ваше!..

Унковский подбежал к окну, перекрестился и махнул вниз, в огород. Упал, вскочил, и, прихрамывая, побежал, пригибаясь.

Еще удар в дверь... И группа казаков со Степаном вломились в горницу.

— Где он?!..— кинулись искать. Где искали, а где и — между делом — брали, что под руку попадет.

Воеводы не было. Не могли понять, куда он девался.

— Утек! — сказал Федор Сукнин. Показал на окно.— Брось ты его, Степан... Вино и так вон — даром пьют, чего теперь с его взять?

— Ну уж не-ет!.. Он у меня живой не уйдет.— Степан, с ним есаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из горницы.

— Пропал воевода,— сказал Федор Сукнин.— Найдет ведь...

— Воевода-то — пес с им,— заметил Иван Черноярец. Они вдвоем остались в горнице.— Нам худо будет: опять ему шлея под хвост попала.:. с кручи понес. Надо б хоть на Дон прийтить, людишками обрасти. Чего уж так взъелся-то?

— Теперь — один ответ,— махнул рукой Федор.

— Не ответа боюсь, а — мало пока нас. Рано он затеял...

— Васька с Алешкой придут...

— Где они, Васька-то с Алешкой? Докричись их!

— Будут люди, Иван! Не скули... Только крякнуть да денюжкой брякнуть. Дай на Дону объявиться — все будет. А Степан счас уймется. Воевода — дурак, сам свару затеял с вином с этим...

— Не сам: от Прозоровского указ привезли.

— Ну и пусть хлебают теперь. Совсем сдурели: цену на вино завысить! Они что?.. Это и — раздевать средь бела дня станут, а тут все молчи?

— Хотели, видно, от греха отвести...

— Отвели... Да надо, Иван, и начинать: чего томиться-то?

— Да не время! — раздраженно воскликнул Иван.

— Да пошто не время-то?! — тоже горячо и громко спросил Федор.— Пошто?! Самое время и есть: какое тебе ишо время? Теперь уж — сказано, скрытничать нечего. Вот тем и шумнем к себе, что здесь повоюем. Я думаю, он к этому и гнет. И хорошо делает.

Степан ворвался с оравой в церковь.

Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя крест.

— Свят, свят, свят... Вы куда? Вы чего?..

— Где Унковский? — громко зазвучал под сводами церкви голос Степана.— Где ты его прячешь, мерин гривастый?!

— Нету его тут, окситесь, ради Христа!.. Никого тут нету! — Поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он насмерть перепугался.

Казаки разбежались по церкви в поисках воеводы.

Степан подступил к попу:

— Где Унковский?

— Не знаю я... Нету здесь. Стал бы я его прятать, на кой ляд он мне нужен! У меня у самого с Унковским раздор...

— Врешь! — Степан сгреб попа за длинные волосы, мотнул их на кулак, занес саблю.— Говори! Или гриве твоей конец!..

Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и заорал благим и дурашливым, как показалось Степану, голосом:

— Матерь пресвятая! Богородица!.. Ты глянь вниз: что они тут учинили, охальники! В храме-то!..

Степан удивленно уставился на попа:

— Ты никак пьяный, отче?

— Отпусти власья! — Поп дернулся, но Степан крепко держал гриву.— Илья-пророк! — пуще прежнего заблажил поп.— Пусти на Стеньку Разина стрелу каленую!.. Пошли две! Ну, Стенька!..— Поп зло и обещающе глянул на Степана, смолк и стал ждать.

Степан крепче замотал на кулак волосы попа.

— Пусть больше шлет! — Его увлекла эта поповская игра в стрелы: охота стало понять, правда, что ли, он верит в них?

— Илья,— дюжину!!! — густо, со всей силой заорал поп.

— А-а... Ну? Где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужаешь... Только пужать умеете! Все пужают, кому не лень!..— Степан тоже обозлился на попа и не заметил, как крепче того крутнул его "власья".

— Илюха!.. Пусти, Стенька, распро...— Поп загнул такой складный мат, какому позавидовал бы любой подвы-

пивший донец.— Пусти, страмец!.. А то прокляну тут же, в храме!..

Казаки бросили искать воеводу, обступили атамана с попом.

Степан отпустил попа.

— Чего ж твой Илюха? Ни одной не пустил...

— Откуда я знаю? Не сразу и бывает все, не торопись... И не гневи бога зазря, и сам не пужай — никто тебя не боится.

— А чего заблажил-то так?

— Заблажишь... Саблю поднял, чертяка,— я же не пужало бессловесное. А ты бы не заорал?

— Был воевода?

— Нет.

— Куда же он побежал? Куда ему, окромя церкви, бежать? Был?

— Нет, святой истинный крест, не был. Сказал бы...

Степан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл, еще кого-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным ему казался этот начальственный сговор воевод насчет вина. Гляди-ка, просто-то как: велел один другому, и все, и уж тут рады стараться — до резни доведут, а будут исполнять.

На улице перед Степаном упала на колени старуха.

— Батюшка-атаман, пошто они его под замки взяли? Пошумел в кружале, так и сажать за то? Как же молодцу не пошуметь!..

— Кто пошумел?

— Сын мой, Ванька. Пошумел пьяный, и как теперь?.. Всех бы и сажали.— Старуха плакала, но и сердилась вместе.

— В тюрьму посадили? — спросил Степан; старуха навела его на дельную мысль.

— В тюрьму. Да ишо клепают: государя лаял... Не лаял он! Он у меня смирный — будет он государя лаять!

— Кажи дорогу,— велел Степан, не слушая больше старуху. "Надо дело делать, а не бегать зря,— устыдил он себя.— И не заполошничать самому... с этим воеводой".

Он поостыл и действовать стал разумно и непреклонно: он умел — в минуту нужную — скомкать себя, как бороду в кулаке, так, что даже не верилось, что это он только что ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог вдруг как бы вовсе отрезветь и так вскинуть глаза, так посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие есаулы, когда случался вселенский загул, старались упоить его до сшибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но

такому-то ему, как видно, больше и верили: знали, что он — ни в удаче, ни в погибели — не забудется, не ослабнет, не занесется так, что никого не видать... Какую, однако, надо нечеловеческую силу, чтобы вот так — ни на миг — не выпускать никого из-под своей воли и внимания, чтобы разом и думать и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не показать смятения душевного... Конечно же, она вполне человеческая, эта его сила, просто был он прирожденный вожак, достаточно умный и сильный.

Как ни обозлился Степан на воевод, а справился, понял, что "надо дело делать". Прежде чем казаки уйдут на Дон, надо, чтоб те же воеводы натерпелись от него страха и чтоб все люди это видели. Надо бы и кровь боярскую пролить... Он бы и пролил, если бы Унковский не спрятался. Надо, чтоб теперь пошла молва: на бояр тоже есть сила. Есть рука, готовая покарать их — за их поборы, за жадность, за чванство, за то, что они, собаки, хозяйничают на Руси... И за то, кстати, что казаки у Четырех Бугров ударились от них в бегство, и за это тоже. Надо оставить их тут в испуге, пусть спят и видят грозного атамана. Теперь — с этого раза — пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон — унять его, пусть попробуют, как это у них получится...

Тем временем подошли к тюрьме.

С дверей посбивали замки. Колодники сыпанули из сырых мерзких клетей своих... Обрадовались несказанно. Их было человек сорок.

— Воля — дело доброе! — громко сказал им Степан.— Но ее же не дают, как алтын побирушке. За ее надо горло боярам рвать! Они не перестанут вас мучить. Вы вот попрыгаете теперь козлами и разойдетесь по домам... Завтра я уйду, вас опять приведут суда на веревочке и запрут. Идите в войско мое!.. Пока изменников и кровопивцев-бояр не выведем, не будет вам вольного житья! Вас душить будут и в тюрьмах держать! Ступайте к казакам моим!

* * *

— Негоже, Степан Тимофеич. Ай, негоже!.. Был уговор: никого с собой не подбивать, на Дон не зманывать... А что чинишь? — так говорил утром астраханский жилец Леонтий Плохово. Говорить он старался с укором, но по-доброму, отечески.

Степан Тимофеич, слушая его, смотрел на реку. (Они сидели на корме атаманова струга.) Вроде слушал, а вроде не слушал — не поймешь. Астраханец решил уж высказать все.

— С тюрьмы выпустил, а там гольные воры...

Степан сплюнул в воду, спросил:

— А ты кто?

— Как это? — опешил Леонтий.

— Кто?

— Жилец... Леонтий Плохово. Направлен доглядывать за вами...

— А хошь, станешь — не жилец? — спросил спокойно Степан.

— А кто же? — все не мог уразуметь жилец.

— Покойник! Грамотки возишь?! — Степан встал над Леонтием.— Воеводам наушничаешь! Собачий сын!.. Утоплю!

Леонтий побледнел: понял, что обманулся мирным видом атамана.

— Где Унковского спрятали?! — спросил Степан.

— Не знаю, батька. Не распаляй ты сердце свое, ради Христа, плюнь с высокой горы на воеводу...— Леонтий утратил отеческий тон, заговорил резонно, с умом.— На кой он теперь тебе, Унковский? Иди себе с богом на Дон...

На берегу возникло какое-то оживление. Кто-то, какие-то люди подскакали к лагерю на конях, какая-то станица. Похоже, искали атамана: им показывали на струг, где сидели Степан с Леонтием.

— Кто там? — спросил Степан ближних казаков.

— Ногайцы... К которым посылали с Астрахани.

— Давай их,— велел Степан.

На струг взошли два татарина и несколько казаков.

— Карасе носевал, бачка! — приветствовал татарин, видно, старший в ногайской станице.

— Хорошо, хорошо,— сказал Степан.— От мурзы?

— Мурса... Мурса каварила...

Степан покосился иа Леонтия, сказал что-то татарину по-татарски. Тот удивленно посмотрел на атамана. Степан кивнул и еще сказал что-то. Татарин заговорил на родном языке:

— Велел сказать мурза, что он помнит Степана Разина еще с той поры, когда он послом приходил с казаками в их землю. Знает мурза про походы Степана, желает ему здоровья...

— Говори дело! — сказал Степан по-татарски. (Дальше они все время говорили по-татарски.) — Читал он письмо наше?

— Читал.

— Ну?.. Сам писал?

— Нет, велел говорить.

— Ну и говори.

— Пять тысяч верных татар...— Татарин растопырил пятерню.— Пять...

— Вижу, не пяль.

— Найдут атамана, где он скажет. Зимой — нет. Летом.

— Весной. Не летом, весной! Как Волга пройдет.

Татарин подумал.

— Весной?..

— Весной.

— Ага, весной. Я так скажу.

— На Дону бывал? — спросил Степан.— Дорогу найдешь туда?

Татарин закивал головой.

— Были, были...

Степан заговорил негромко:

— Скажи мурзе: по весне подымусь. Куда пойду — не знаю. Зачем пойду — знаю. Он тоже знает. Пусть к весне готовит своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово его будет твердым, как... вот эта сабля вот.— Степан отстегнул дорогую саблю и отдал татарину.— Пусть помнит меня. Я дружбу тоже помню.

— Карасе,— по-русски сказал татарин.

— Как ехали? — спросил Степан. Тоже по-русски.

— Той сторона.— Татарин показал на левый, луговой берег.

— Переплывали на конях?

— Кони, кони.

— Где?

— Там! Вольгым савернул — так...

— Где островов много?

Татарин закивал.

— Ладно. Микишка! — позвал Степан казака.— Передай Черноярцу: татар накормить, напоить... рухляди надавать и отправить.

— Опять ведь нехорошо делаешь, атаман,— забылся и сказал с укором Леонтий.— Татарву на кой-то с собой подбиваешь. А уговор был...

— Ты по-татарски знаешь? — живо спросил Степан.

— Знать-то я не знаю, да не слепой — вижу... Сговаривались же! А то не видать...

— Отчаянный ты, жилец. Зараз все и увидал! Чего ж ты воеводе астраханскому скажешь? Как?

— Так ведь как чего?.. Чего видал, то и сказать надо, на то я и послан.— Астраханец чего-то вдруг осмелел.— Не врать же мне?

— Да много ль ты видал-то?! Пропьянствовал небось с моими же казаками... Вон глаза-то красные.— Степан ловко опять отвел жильца от опасений.— Чего глаза-то красные? Много ты такими глазами увидишь...

Леонтий заерепенился:

— Купца Макара Ильина с собой завернул, стрельцов сманил, сотника в воду посадил... Сидельцев с собой подбиваешь. Волгой никому не даешь проходу... С татарвой сговор чинится... Много, атаман,— твердо и недобро закончил Леонтий.

— Много, жилец. Так не пойдет. Поубавить надо. Ну-ка, кто там?! Протяжку жильцу! — кликнул атаман.

К Леонтию бросились четыре казака, повалили и стали связывать руки и ноги. Леонтий сопротивлялся, но тщетно. К связанным рукам и ногам его привязали веревки — два длинных свободных конца.

— Степан Тимофеич!.. Батька!..— кричал жилец, барахтаясь под казаками. А потом и барахтаться перестал, то просил, то угрожал: — Ну, батька!..

— Я не батька тебе! Тебе воевода батька!.. Наушник. Кидай! — велел Степан.

Леонтия кинули в воду, завели одну веревку через корму на другой борт, протянули жильца под стругом, вытащили.

— Много ль ты видал, жилец? — спросил Степан.

— Почесть ничего не видал, атаман. Сотника и стрельцов не видал... Где мне их видать? — я берегом ехал. Далеко же!..

— Татар видал?

— Их все видали — царицынцы-то. Не я, другие передадут...

— Кидай,— велел Степан.

Леонтия опять бултыхнули в воду. Протянули под стругом... Леонтий на этот раз изрядно хлебнул воды, долго откашливался.

— Видал татар? — спросил Степан.

— Каких татар? — удивился жилец. Да так искренне удивился, что Степан и казаки засмеялись.

— У меня ногайцы были... Не видал, что ль?

— Никаких ногайцев не видал. Ты откуда взял?

— Где же ты был, сукин сын, что татар не видал? Кидай!

Степан хоть не зло потешался, но со стороны эта "протяжка", видно, кое-кого покоробила... Фрола Минаева, например,— скосоротился и отвернулся. Степан краем глаза уловил это. Уловить уловил, но и осердился на своих тоже. Всю ночь со стрельцами вместе прогуляли, а теперь им жалко Леонтия!

Леонтия в третий раз протянули под стругом. Вытащили.

— Были татары? — спросил Степан.

— Были... видал.— Жилец на этот раз долго приходил в себя, откашливался, плевался и жалобно смотрел на атамана.

— Чего они были? Как скажешь?

— Коней сговаривались пригнать. Батька... хватит, я все сообразил,— взмолился Леонтий.— Смилуйся, ради Христа!.. Чего же я ее... хлебаю и хлебаю?.. Поумнел уж я.

— Добре. Хватит так хватит.

Леонтия развязали.

— Скажи Унковскому: еслив он будет вперед казакам налоги чинить, живому ему от меня не быть. За коней, за сани и за пищаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст деньги: я оставлю трех казаков. И пусть только хоть один волос упадет с ихной головы...

— Скажу, батька... Он отдаст. Казаки тоже будут в сохранности... — Леонтий готов был сулить все подряд.— Отдаст...

— Пусть спробует не отдать. Сам после того бежи в Астрахань. Скажешь: ушли казаки. Шли мирно, никого с собой дорогой не подбивали. Скоро не придут. Не скажешь так, быть тебе в Волге. Мы стренемся. Чуешь, жилец?

— Чую, батька: донести туда, знамо, донесут, но не теперь, не я пока... Так?

— Пошел. С богом!

Леонтий, с молитвой в душе господу богу, поскорей убрался от свирепого атамана.

У Степана же все не выходило из головы, как скосоротился на "протяжку" Фрол Минаев... Как-то это больно застряло, затревожило.

"Чего косоротиться-то? — думал он, желая все понять до конца, трезво.— Раз война, чего же косоротиться? Или — сама война поперек горла?"

Он пристально оглядел казаков... Его пока не тормошили, не спрашивали ни о чем,— сборами занимался Черноярец,— и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или

не война? Или — пошумели, покричали — да по домам? До другого раза, как охота придет?.. Степан все глядел на казаков, все хотел понять: как они в глубине души думают? Спроси вот — зашумят: война! А ведь это не на раз наскочить, это долго, тяжко... Понимают они? Фрол, тот понимает, вот Фрол-то как раз понимает... "Поговорить с Фролом? — шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил ее, эту мысль.— Нет. Тары-бары разводить тут... Нет! Даже и думать нечего про это, тут Фрол не советчик. А можеть, я ответа опасаюсь за ихные жизни? — скребся глубже в себя Степан Тимофеич, батька, справедливый человек.— Можеть, это и страшит-то? Заведу как в темный лес... Соблазнить-то легко... А как польется потом кровушка, как взвоют да как кинутся жалеть да печалиться, что соблазнились... И все потом на одну голову, на мою... Вот где горе-то! Никуда ведь не убежишь потом от этого горя, не скроешься, как Фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не захочешь. Ну, Стенька, думай... Думай, Разя! Зиамо дело, такой порох поджечь — только искру обронить: все пыхнет — война! А с кем война-то, с кем!.. Ведь не персы, свои: тоже головы сшибать умеют. Думай, Разя, думай: тут бежать некуда будет..." Степан даже пошевелился от этих своих растревоженных дум. На миг почудилось ему, что он вроде заглянул в темный сырой колодец — холодом пахнуло, даже содрогнулся... Откинулся на локоть и долго смотрел на солнце. "Пил много последние дни, ослаб,— вдруг ясно понял он свою слабость.— Поубавиться надо". И — чтобы не заглядывать больше в этот жуткий колодец — встряхнул себя, сгреб в кулак и больше не давал сползти в тягучие тягостные думы, а то и вовсе ослабнешь с ними, засосет, как в трясину.

— Иван, все сделано? — спросил Степан Черноярца.

— Все, батька. Надо трогаться...

— Стрельцы где?

— Какие?

— Те... с жильцом которые пришли, полусотня.

— Они там, у балочки. А зачем?

— Коня. И найдите Семку-скомороха. Все, Иван, пятиться некуда: или пополам, или вдребезги. Подымай; трогайтесь, я догоню вас.

Иван понял только одно: что хоть уж не сейчас же Москву-то воевать. Матернулся в душе на атамана: завьется как ошпаренный!.. Иди догадайся, чего опять?

Через пять минут Степан во весь опор летел на коне в лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка-скоморох (Резаный, прозвали его казаки). Он тоже ничего не понимал пока, не совсем оклемался после истязаний в страшной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой.

Подскакав к лагерю, Степан остановил коня.

— Стрельцы! — громко, напористо, короткими фразами заговорил он.— Мы уходим. На Дон. Вам велено назад. Что ж, пойдете? — Степан спрыгнул на землю.— К воеводе опять пойдете?! Опять служить псам?! Они будут душить невиновных, казнить всяко, кровь человеческую пить... а вы им служить?! — Степан больше и больше распалялся.— Семка, расскажи, какой воевода! Покажи, чего они с людями невиновными делают!..

Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот, и издал гортанный звук, и замотал головой горько. И даже заплакал от обиды и слабости.

— Слыхали?! Вот они, воеводы!.. Им, в гробину их мать, не служить надо, а ноги-руки рубить и в воду сажать. Кто дал им такую волю? Долго терпеть будем?! Где взять такое терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да всех разом — к солнышку ближе. Вони много будет, разок перенесем, ничего... Заживем на Руси вольно! Идите со мной. Мститься будем за братов наших, за все лиходейство боярское. Жить не могу, как подумаю: какие-то свиньи помыкают нами. Рубить!!! — Степан почувствовал близость нежеланного, опаляющего сердце страшного гнева, сам осадил себя. Помолчал и сказал негромко:— Пушки не отдам. Струги и припас не отдам. Идите ко мне! Кто не пойдет — догоню дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет вам воля!.. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную жизнь, бояр и всех приказных гадов ползучих выведем. За то и смерть принять легко — бог с ей! А так жить больше не дам. Сами захочете — не дам! Вот... Все. Ставлю над вами вашего же сотника — пойдем на Дон пока. Там перезимуем, соберемся с силой... Там, слышно, много всяких обиженных набралось — мы их всех приветим. Заживем, ребятушки, вольно! — Степан повеселел глазами, даже посмотрел на стрельцов и на их сотника радостно.— Рази ж неохота вам пожить так? Когда вы так жили?

13

Осенней сухой степью в междуречье двигалось войско Разина. Последние медленные, горячие версты... Родная пыль щекочет ноздри. Скоро — родина. Впрочем, у большин-

ства тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь — самарские, вятские, московские, котельнические, новгородские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские — отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где лучше — нож в руки да в лес — подальше от непосильного тягла, от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь — беглые. Но так уж повелось, что поначалу верховодят и тон задают донцы (отцы которых тоже вятские да самарские), поются донские песни и ждется и вспоминается вслух, с любовью — ДОН ИВАНОВИЧ... Придет время, и для беглых, живы будут, домом станет тоже Дон Иванович... А пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых сердцу, родимых изб и... другое — кому что. И щемит душа: самая это мучительная, самая неотступная любовь в человеке — память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, но уже в других — в детях.

Однако все рады поскорей закончить тяжелый, опасный поход на край света. Кончился он — и слава богу! — надо и отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться вволю. А там уж — как судьба да как атаман скажет.

На тележных передках, связанных попарно оглоблями, везли струги; пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и хворые казаки — на телегах. Пленные шли пешком. Только несколько — знатные — качались с тюками добра на верблюдах: их берегли, чтобы потом повыгодней обменять на казаков, томившихся в плену у шаха.

Разин в окружении есаулов и сотников ехал несколько в стороне от войска. Верхами. Степан опустил голову на грудь и, кажется, даже вздремнул.

Сзади наехал Иван Черноярец. Отозвал Степана несколько в сторону...

— Стрельцы ушли,— сказал он негромко, чтобы никто больше не слышал; он вообще не одобрил эту затею со стрельцами — не верил и не мог понять, как это они, царские воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на войне только такая смертная полоса и есть — тут или там,— это как-то еще не дошло до Ивана, он думал, что это пока еще слова, горячка атамана.

— Как ушли? — переспросил Степан, больше — от растерянности. Он понял, "как ушли" — сбежали. Не поверили, не захотели идти с ним — так и уходят.

— Ушли... Не все, с двадцать. С сотником. Я посылал Мишку Докучаева — не угнался. Верст с пять, говорит, гнал, не мог настигнуть, ушли. Поздно хватились.

— Сотник увел.— Степан в раздумье с прищуром посмотрел вдаль, в степь, что уходила к Волге.— Змей ласковый.

Нехорошо, Ваня: рано от нас уходить стали — другим пример поганый. Чего это они? Я же ведь упреждал...

— Сотник смутил, ты ж говоришь. Он мне сразу не поглянулся, этот сотник: все на улыбочке, на шуточке...

— Ага, сотник. Позови-ка мне Фрола. Сам здесь будешь. Стерегись татарвы. За остальными стрельцами глаз держи.

— Догнать хошь? — удивился Иван.— Ты что? Где их теперь догнать!

— Надо. Змей вертучий! — еще раз в сердцах молвил Степан и опять посмотрел далеко в степь.— Мы им перережем путь-дорожку: берегом кинулись, не иначе. Надо догнать, Ваня. А то эдак от наших слов никакого толку не будет. Я же говорил им!.. Скличь мне полусотню доброхотов негромко.

Полусотня охотников подобралась скоро; выбрались из длинного походного ряда, Степан коротко сказал, в чем дело. И устремились степью в сторону Волги.

Долго скакали молча, в мах... Поглядывали вперед.

Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце наладилось у них с затылка, все скакали и скакали... Казачьи кони с утра не намаялись, несли ладно, податливо.

— Вон! — показал Фрол.

Фрол, внимательный, умный, в последние дни понял: Степан — всерьез, обдуманно — повел войну. Никакая это не дурь, не заполошь его. Слухи с Дона и особенно с Руси — что там мужиков вконец замордовали тяглом и волокитами, что они то и дело попадают в кабалу монастырскую и к поместникам, и "в безвыходные крепи", что бояре обирают их и "выхода" им теперь совсем нету — подтолкнули падкого и слабого до жалости атамана на страшный и гибельный путь. Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, что когда поиесут "батюшке" со всех сторон горе да жалобы, "батюшка", сильный, богатый, кинется заступаться за всех, пойдет мстить боярству. Голи, проходимцев всяких найдется теперь много, от них и на Дону, слышно, житья нет... "Скоро они соберутся под высокую руку батюшки,— ехидно думал Фрол,— да Русь, недовольная, голодная, прослышав про такие дела, еще подвалит своих — всем жрать надо, хошь не хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь — и нет остановки на этом смертном пути, да и не такой человек Степан, чтобы одуматься и остановиться. Сперва поведет, потом самого поведут впереди... Да и не одумается он ни в жизнь, ему того только и надо — орать на бою да верховодить",— так думал Фрол. Еще он понял, пока гнались за стрельцами, что его, Фрола, Степан взял в этот догон нарочно: замарать стрелецкой кровью. Раз война, раз клич, чтоб сбирались, то и нужна первая кровь, и она прольется.

— Вон! — показал Фрол.

Степан кивнул: он сам тоже увидел стрельцов. Подстегнули коней.

Далекие всадники обнаружили погоню... Там произошло замешательство... Как видно, посовещались накоротке.

— Вплавь кинутся! — крикнул Фрол. Много понимая, он много и старался, чтобы Степан не догадался про его черные и грустные мысли: иначе Фролу несдобровать будет.

Степан несогласно качнул головой.

— Там коней не свести. Маленько подальше — можно, туда побегут. Во-он! — Степан показал рукой.— Держим туда, на распадок. А чтоб назад не кинулись, пошли с пятнадцать с той стороны, отрежь.

И правда, далекие всадники, после короткого сбоя, устремились вперед, к распадку: там можно было съехать к воде и попытаться спастись вплавь.

Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони... Летели ошметья пены. Трое казаков отстали: кони под ними не выдержали бешеной скачки, запалились.

Ближе и ближе стрельцы... Кони под ними рвут силы в другой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже прыгнуть с коней — те заспотыкались и стали падать. Из-за двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторону, никто из разинцев не остановился — далеко не убегут теперь.

Лицо Степана спокойно. Только взгляд, остановившийся, выдавал то нетерпение, какое овладело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился... Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибало к губам, Степан встряхивал головой и коротко, хищно — так выглядело — скалился и неотступно смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный... И страшен он всякому врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском особенным — простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба прорубь с реки — не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей: в какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно также — как-то это само собой понятно — глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса, они будут так же смотреть и так же и примут смерть — прямо и просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его, остановившихся, останавливается одно только желание: достать, догнать, успеть.

Вот уж двадцать, пятнадцать саженей отделяют разинцев от стрельцов... Те оглядываются. Лица искажены томлением и мукой.

Все ближе и ближе казаки... Смерть хрипит и екает за спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бежит рядом, взглядывает черными дырами глаз в живые лица. Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня и с криком загремел с обрыва.

Настигли. Разинцы стали обходить стрельцов, прижимая к берегу, к круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, обнажили сабли...

Стрельцы сбились с маха... Сотник тоже вырвал саблю. Еще три стрельца приготовились подороже отдать жизнь. Остальные, опустив головы, ждали смерти или милости.

— Брось саблю! — велел Степан сотнику.

Молодой красивый сотник подумал... и спрятал саблю в ножны.

— Смилуйся, батька,— сказал тихо.— Грех попутал.

— Слазь с коней.

— Смилуйся, батька! Верой служить будем...

— Верой вам теперь не смочь: дорогу на побег знаете. Я говорил вам... Слазьте.

Стрельцы послезали с коней, сбились в кучу. Один кинулся было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак.

Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут... на дела человеческие.

— Говорил вам!! — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость.— Собаки!.. Доносить побежали!

Стрельцов окружили кольцом... И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, воздетые в мольбе, никли, как плети, перерубленные...

Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с обрыва.

— Говорил вам,— горько, с укором сказал Степан, глядя с обрыва вниз.— Нет, побежали!

Казаки вываживали коней, обтирали их пучками сухой травы. Потом спустились вниз по распадку к воде. Напоить коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не опоить с перегона.

Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь.

Солнце клонилось к западу; тень от высокого правого берега легла далеко на воду, и вода тут была темная. Зато дальше и вода, и далекий низкий берег — все тихо пламенело в желтых лучах прощального солнышка. Разница эта — здесь

и там порождала раздумья. Ясно ли думалось или грустно — кому как. Кто как смотрел. Кто смотрел дальше, на светлое, кто — поближе, в тень... Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы — одинаково. Так уж не одинаково устроены... Могут же одни в близости смертного часа окаменеть и ждать, другие — кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь. Да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть.

Подошел Фрол Минаев, присел. Тоже долго смотрел на воду... Отходили казаки от смерти стрелецкой, противились, не хотели ее холодного мерзкого касания, нарочно налаживались думать, что — вот... земля, солнышко светит, хорошо на земле, хорошо. Ну, а что случилось-то? Но — случилось, случилось, чего не могли понять: за что порубили людей? Ни в бою, ни в набеге... Зачем же это надо было?

— Зачем Леонтия-то отпустил? — спросил Фрол первое, что пришло в голову. И он рубил, и ему, может быть, больше других было не по себе.

— Отпустил,— нехотя сказал Степан, отрываясь от дум.— А чего?

— Зря.— Фрол жалел, что заговорил: не знал, что говорить больше.

— Пошто?

— Раззвонит там... В Астрахани-то.

— Теперь скрытничать нечего. Но иное дело, Фрол: один зазвонит или... Да уж и то — пора. Теперь: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Как думаешь? — Степан спокойно и пристально посмотрел на Фрола сбоку.

— Я-то? — Фрол смотрел на реку.

— Ты. Не виляй только, а то знаю я тебя, вертучего.

— Еслив по правде...— Фрол помолчал, подыскивая слова.

— По правде, Фрол, по правде. Говори, не бойся: на правду не обижусь — это же не бабу делить.

— Я не боюсь. Немыслимое затеваешь, Степан. Не знаю уж: скажет тебе кто как, нет, а от меня... услышь, можеть, сгодится подумать...

— Ну?

— Никто такое не учинял. Ты раскинь головой.

— Мы первые будем.

— А зачем тебе? Зачем, скажи на милость?

— Гадов повывесть на Руси, все ихные гумаги подрать, приказы погромить — люди отдохнут. Что, рази плохое дело?

Фрол молчал.

— Подумать только,— продолжал Степан,— сидят псы на Москве, а кусают — аж вон где! Нигде спасу нет! Теперь на Дон руки протянули — отдавай беглецов...

— На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?

— Да мне мать его в душу — кто он! Еслив у его, змея ползучего, только на уме, как захомутать людей, да сесть им на загривок, какой он мне к дьяволу царь?! Знать я его не хочу, такого доброго. И бояр его вонючих... тоже не хочу! Нет силы терпеть! Кровососы... Ты гляди, какой они верх на Руси забирают! Какую силу взяли!.. Стон же стоит кругом, грабют хуже нашего. Одними судами да волокитой вконец изведут людей. Да поборами. Хуже татар стали! А то ты не знаешь...

— А чего у тебя за всех душа болит?

Степан долго молчал. Только повернулся, хотел сказать что-то, но раздался крик:

— Татары! Тю!.. Век не видались, в господа бога мать!

И сразу над головами казаков свистнули стрелы и с коротким чмокающим звуком ушли в воду.

— За бугор! — крикнул Фрол, вскакивая.

Казаки послушно кинулись было к ближнему бугру.

— На коней! — остановил Степан. Первым вскочил на коня, заплясал на месте, поджидая других.— Экая дура, Фрол! Век там сидеть, за бугром-то? Скорей!.. Выследили, собаки. Так и знал...

Стрелы сыпались густо. Три-четыре угодили в казаков, те, страшно ругаясь, выдергивали их.

— Закрывайся чем попало! — кричал Степан.— Потниками, кичимами!.. Крутись ужами!

Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сидя на конях, пускали стрелы.

— Эдисаны, твари поганые.

— Шевелись! — торопил Степан.— А то им подмога прискачет. Коней тоже прикрывайте!..

Стрелы, долетавшие до казаков, убойную силу теряли, но ранили больно. Много уж казаков со стоном и матерной бранью выдергивали друг у друга легкие татарские гостинцы. Всхрапывали и шарахались кони... Наконец все были в седлах.

— В россыпь!.. В мах! — коротко, спокойно скомандовал Степан.— Пошли!..

Казаки понеслись по отлогому распадку вверх.

— К кустам жмись! — кричал атаман. Он летел несколько впереди, опустив поводья, левой рукой прикрывая себя и морду коня потником из-под седла, в правой сабля.

Эдисанцы подпустили казаков совсем близко, потом повернули коней и поскакали в степь. Казаки сгоряча увлек-

лись было за татарами, но Степан не велел. Он знал их повадку: утомить на степи погоню, измотать и подвести ее, ошалелую в гонке, под засаду... Наверняка где-нибудь сидел, поджидая, сильный отряд татар.

На Степана чего-то нашел веселый стих.

— Фрол, ты, никак, захворал? То в кусты тебя тянет, то за бугор... Не понос ли уж? Зачем за бугор-то велел?

Фролу неловко было за свой суматошный выкрик; что-то нервничать он стал последнее время, правда. Он молчал.

— Спуститесь за стрелецкими конями, пригоните,— велел атаман.— Да потрусим помаленьку к нашим, а то, чего доброго...— Он не досказал, но было и так ясно: эдисанцы, усилившись, могли вернуться. У них старая вражда с донцами.

Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не успели второпях взять.

— Чего ты меня пытал, Фрол? — серьезно спросил Степан, подъехав к Минаеву.

Фрол нахмурился, как бы вспоминая... Больше он не хотел говорить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, может и теперь уже, тот спросит: "А ты как? Со мной?" И будет тогда Фролу вовсе нехорошо.

— Когда это? — спросил Фрол.

— Даве у воды. Татары как раз помешали.

Фрол не вспомнил.

— Забыл с этими татарами... Из башки вылетело.

14

Подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев громко, внятно вычитывал воеводам:

— "Вы пропустили воровских казаков мимо города Астрахани и поставили их в Болдинском устье, выше города; вы их не расспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских казаков из Астрахани; и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины их против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать их всех по московским стрелецким приказам..."

— Ты глянь! — изумился старший Прозоровский.— Легко-то как! Взять да призвать!.. Да привести — только и делов!

— Мда-а!..

— Ну, дальше как?

— "И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтоб они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз; все струги взять на государев деловой двор, всех пленников и пограбленные на бусах товары отдать шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею".

— Ай да грамотка! — опять воскликнул Прозоровский.— Ты в Москву писал, отче?

Все поглядели на митрополита.

Митрополит обиделся.

— Я про учуг доносил. Свою писанину я вам всю здесь вычел...

— Кто же про купца-то да про бусы-то расписал? Не сорока же ему на хвосте принесла.

Теперь посмотрели на подьячего.

— Кто ни писал, теперь знают,— сказал подьячий Алексеев.— Надо думать, какой ответ править. На меня не клепайте, я не лиходей себе, на свою голову кары искать. Нашлись...

— Теперь — думай не думай — сокол на волюшке. А что мы поделать могли? — волновался Прозоровский.

— Так и писать надо,— подсказал подьячий.— Полон тот без окупу и дары взять у казаков силою никак было не можно, не смели — боялись, чтоб казаки снова шатости к воровству не учинили и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие.

— Ах ты горе мое, горюшко! — застонал воевода.— Чуяло мое сердце: не уймется он, злодей, не уймется. Его, дьявола, по глазам видать было. Ну-ка, покличьте суда немца Видероса... Может, хоть немецкая харя маленько устрашит злодея — пошлем к Стеньке. Снарядите стрельцов с им — и с богом. Хоть перед государем малое оправдание будет. Пусть немец скажет: получена, мол, гумага от царя — царь все знает теперь, велит тебе, Стенька, поганец, уняться с разбоем.

— Стрельцов-то порубили, а!..— тихо, с жалостью воскликнул старый митрополит.— Что же он себе думает, злодей?

— С ногайцами сговаривается...

— Большой разбой затевает,— сказал Алексеев.— Надо все, все государю отписать, все без утайки... Пушки не отдал, казаков не распускает, всех с собой подбирает, воронежцам на припас отдал и снова их в долю берет, за новый... Куда наметился с такой силой?

* * *

Видерос и с ним восемь стрельцов, все о двуконь, гнали день и ночь из Астрахани в междуречье. Догнали Разина на Дону. Капитан с ходу изложил атаману свои соображения по поводу опасности, которой он, Разин, продолжая своевольничать, подвергает себя и своих товарищей. Высокий князь (царь) может разгневаться — будет плохо. Неужели умный атаман не понимает этого?

Степан уставился на немца, долго молчал... Он не понимал, почему — немец?

— Все? — спросил он, больше изумленный, чем встревоженный.

— Если ты последофать сфой некороши самисли, то будет потребофать фосфращать фсе подданый царя, а ф слючай сопротифлений, нет болше царская милость и нет пощада. Надо пить очшень разумный шеловэк...

Разговор случился в присутствии есаулов и нескольких сотников, которые наблюдали за переправой.

Войско Разина переправлялось на правый берег Дона. Пушки сплавляли на саликах (узких, в пять-шесть бревен, плотах), конные переплывали, стоя на лошадях.

Степан, заговоривший сперва спокойно, скоро утратил спокойствие и, чем дальше, тем больше распалялся. Разозлила опять бумага, и в придачу к ней — тупой казенный немец.

— Как ты явился ко мне, образина? — спросил он.

— На конь,— ответил немец.— Калеп!

— Ты не подумал, что оставишь здесь голову? А ну, покажь твою храбрость!..— Степан выхватил саблю и занес над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками.— Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок, такой мне позор советовать: чтоб я предал товарищей моих! Это где так делают?! Кто тебя научил так думать, прихвостень воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтоб не молотил больше...— Степан вложил саблю в ножны.

Капитан молчал.

— Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ держать! Ступай, гнида... милую тебя. Придешь, откуда послали, скажи: дул я вилюжками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя. И скажи господину своему: я с

ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает. И накажу его за дерзость. Скажи всем князьям: я князь от роду вольный, и все воеводы мне в подметки не годятся. Пускай помнют. А забудут, я приду — напомнить.— Степан резко отвернулся и пошел прочь.— Ларька, проводи немца в степь,— сказал на ходу Ларьке Тимофееву.

Капитану подвели коня... Он вдел трясущуюся ногу в стремя, сел в седло. Иван Черноярец огрел его коня саблей в ножнах. Конь прыгнул и понес; капитан чудом не вылетел из седла. Казаки засмеялись.

— Смех смехом,— сказал раздумчиво Фрол Минаев, когда немец ускакал,— а царю-то уж донесли. Про все. Так что... посмеемся, да задумаемся.

Иван Черноярец внимательно посмотрел на него.

— Ты к чему?

— Ни к чему! Сразу — "к чему". Так — думаю. Нашим-то, Ларьке-то с Мишкой, несдобровать будет в Москве, когда поедут: они царю одно, а тот уж все знает.

— Экие тебя думы нехорошие одолели,— засмеялся Иван.— Пойдем-ка выпьем. Мы теперь — дома.

— Дома, так теперь и думать не надо?

— Думать — это надо голову крепкую, а моя едва винишко дюжит, и то кружится... Пошли! Не обмирай раньше время, что будет, то и будь.

— Иди пей.— Фрол стегнул плетью подпрыгнувший к его ногам легкий ком перекати-поля.— Тоже, вишь, думать не хочет: катается туда-суда. Но этой голове хоть не больно...— Фрол еще разок стегнул ветвистый шар и пнул его — катиться дальше.— А наши, Ваня, так закружутся, что и... отлетят вовсе. Не ерепенься шибко-то, тут наскоком немного возьмешь... да храбростью. Тут и подумать не грех.

— Ну-ка, ну-ка,— всерьез заинтересовался Иван, взял Фрола за руку, повел в сторонку, подальше от других.— Чего это ты такое носишь? Скажи мне...

Фрол охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на жесткую колючую травку.

— Ну? — спросил Иван.

— Не дело он затевает,— сразу сказал Фрол.— Не токмо не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужель ты-то не понимаешь?

— Не понимаешь...— повторил задумчиво Иван.— Можеть, и понимаешь, да... А чего ты советуешь?

— Давайте сберемся вместях — прижмем его к стенке: пускай выложит, чего задумал...

— Да он и так выкладывает, чего прижимать-то?

— Он не все говорит! Как он думает царя одолеть, какой силой? Говорил он тебе? Вон с этими,— Фрол кинул на ту сторону Дона,— которые рот разинули — ждут не дождутся, как пожрать до попить даром? Они? Они побегут сломя голову, как только им из Москвы пальцем погрозят. На кого же надежа-то?

Иван молчал.

— "Гадов повывесть" — это легко сказать. С кем ты их повыведешь?

— Ну, и чего ты надумал? — спросил Иван.

— Ничего! Чего я-то надумаю? Давай спросим его: чего он надумал? Чего он разошелся — обрадовался, персов тряхнул? Не он первый тряхнул... Все на Москву и метились после того? Кто это?

— Васька Ус вон... ходил же к Москве.

— Васька, как пришел туда, так и ушел, не ушел, а — на крыльях летел... Васька. Грозить он шел, Васька-то? Он хлеба просить шел...

— Ну, это уж там как вышло бы,— нехотя возразил Иван.— Так уж вышло. А повернись дело другим боком, не просить бы стал, а так взял. Я, Фрол, одно не пойму: ты страху нагоняешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда тебя смутные думы одолели?

Фрол помолчал несколько... И сказал с обидой, сердито:

— Да идите вы, господи!.. Идите, куда душа велит, кто вас держит-то. Но уж... смотреть на вас да большие глаза делать от дива великого — какие вы смелые,— это уж вы тоже... силком не заставляйте, пошли вы к такой-то матери.

— А чего ты осердился-то? — просто сказал Иван.— Мне правда понять охота: по робости ты или...

— По робости, по робости.

— Ну-у... зря осердился-то.

— Да чего тут сердиться? — Фрол рéзко крутнулся на месте — к Ивану.— На баранов рази обижаются, когда они дуром прут? Их бичами стараются направить...

Да нет, ты с бичами-то погоди маленько, погоди,— ощетинился Иван.— Бич, он тоже об двух концах...

— Да мне жалко вас! — чуть не закричал Фрол.— Усеете головами своими степь вон за Волгой, и все. Чего больше-то?

— Ну, и усеем! Хоть за дело...

— Какое дело? Не перевариваю дураков!.. Долбит одно: за дело, за дело... За какое за дело-то? За какое?

— Боярство унять...

— Тьфу!..— Фрол встал, постоял — хотел, видно, что-то еще сказать, но невтерпеж стало с дубоватым Иваном — ушел, широко отмеряя шаги.

Иван еще посидел маленько... Поогляделся на переправу... И встал тоже и пошел заниматься привычными войсковыми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости.

* * *

— А вот скажи, Семка,— говорил Степан с Семкой-скоморохом, глядя на родимую реку и на облепивших ее казаков,— ты же много бывал по монастырям разным...

Семка покивал головой — много.

— Был я в Соловцах,— продолжал Степан, будто с неким слабым изумлением вслушиваясь в себя; в голове еще не утих скрип колесный, еще теплая пыль в горле чувствовалась, а через все это, через разноголосицу и скрип, через пыль и пот конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, через все пробился в груди, под сердцем, живой родничок — и звенит, и щекочет: не поймешь, что такое хочет вспомнить душа, но что-то дорогое, родное... Дом, что ли, рядом, оттого вещует сердце.— И там, в Соловцах, видал я одну икону Божьей матери с дитем,— рассказывал Степан.— Перед этой иконой все на колени опускаются, и я опустился... Гляжу на ее, она — смеется. Правда! Не совсем смеется, а улыбается, в глазу такая усмешка. Вроде горько ей, а вот перемогла себя и думает: "Ничего". Такая непонятная икона! Больше всех мне поглянулась. Я до-олго стоял возле... смотрю и смотрю, и все охота смотреть. Сам тоже думаю: "Ничего!" Как это так? Рази так можно? Не по-божьи как-то...

Семка подумал и пожал плечами неопределенно.

Степан поглядел на него... Но он и не надеялся на ответ — он с собой рассуждал. И мысль его то хватала в края далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как ястреб в степном небе,— все над тем же местом...

— Нет, Семка,— сказал он вдруг иным тоном, доверчиво,— не ее страшусь, гундосую, не смерть... Страшусь укора вашего: ну-ка, да всем придется сложить головы?.. А? —

Степан опять посмотрел на калеку, в его невинные глаза, и жалость прищемила сердце. Он отвернулся. Помолчал и сказал тихо: — Не знаю... Не знаю, Семка, не знаю. И посоветоваться не с кем. Уж и посоветовался бы,— не с кем, вот беда. Потянут кто куда... Нет, лучше уж не соваться: разнесут на клочки своими советами, сам себя не соберешь потом. Ничего, Семка! Не робей! Даст бог, не пропадем.

* * *

Между тем Ларька с Мишкой Ярославовым и еще с тремя казаками "провожали в степь" капитана Видероса. Немец, оглядываясь на конвой, заметно нервничал и тосковал в недобром предчувствии. Он понимал, что за ним следуют неспроста, не мог только догадаться: что задумали казаки?

Отъехали далеко...

Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, спешиться. Те послушно это сделали.

— Вы не так пришли к атаману,— сказал Ларька.— Слыхали, он вам сказал: "Я родом выше всех высоких князей". Слыхали? — Глаза Ларькины излучали веселость, точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху.

— Слыхали.— Стрельцы тоже затревожились, уловив в глазах есаула недоброе: веселость-то веселость, но какая-то... с прищуром.

— Так кто же так подступается, как вы? — Ларька оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней.

— А как надо? — спросили стрельцы.

— На карачках. Надо, не доходя двадцать сажен, пасть на карачки и полозть. Давайте-ка спробуем. Научимся, вернемся до атамана и покажем, как мы умеем. А то заявились!.. Стыд головушке. Давайте-ка пообвыкнем сперва, потом уж... Ну!

Стрельцы с капитаном отошли на двадцать саженей, пали на четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и капитан возмутился. Он встал.

— Ихь...— показал на себя пальцем,— исьпольняет посоль. Никогда, ни ф какой страна посоль... Посоль — это пошотный шеловэк...

— Мишка, посоли ему плетью одно место, чтоб он знал, какой бывает посол,— сказал Ларька; веселость играла в его синих глазах.

— Я хочет объяснять правил, какой есть каждый страна! — воскликнул капитан.— Правил заключается...

— Объясни ему, Мишка.

— Можеть, ему лучше вытяжку сделать? — спросил здоровенный Мишка.— А? — И пошел к капитану.

Стрельцы в ужасе поглядели на капитана: вытяжка — это когда вытягивают детородный орган. Это — смерть. Или, если не хотят смерти,— обидное, горькое увечье на всю жизнь. Это, кроме прочего, нечеловеческая мука.

Ларька подумал.

— Детишки есть? — спросил немца.

Тот не понял.

— Детишки, мол, детишки есть? Маленькие немцы...

— Смотри,— показал Мишка,— вот так: а-а-а...— Показал, как нянчат.— У тебя есть дома?

— Нет,— понял немец.— У меня есть... нефест.

Казаки, а за ними и стрельцы засмеялись.

— Ладно,— сказал Ларька.— Невесту жалко: ждет его дурака, а он явится... с погремушкой в кармане. В куклы с им тада играть? Вложь плети, он и так поумнеет. Без плети, видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как тебя грамоте учили?

Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустился на четвереньки и пополз к Ларьке, который изображал высокородного князя-атамана. За ним поползли стрельцы, не очень гнушаясь такой учебой.

Подползли.

— Ну? — спросил Ларька.— Как надо сказать?

Стрельцы и капитан не знали, что надо сказать.

— Ишо разок,— велел Ларька.

— Подскажи ты нам, ради Христа,— взмолились стрельцы.— А то же мы так полный день будем ползать!

— Надо сказать: прости нас, грешных, батюшка-атаман, мы с первого раза не догадались, как к тебе подступиться. Ну-ка. Ничего, уже выходит!.. Говорить ишо научимся ладом...

Стрельцы и капитан завелись снова "на подступ". И так три раза они подступались к "атаману" и просили простить. Наконец Ларька сказал:

— Ну вот: теперь хорошо. Теперь научились. Теперь как ишо доведется когда-нибудь говорить с атаманом, будете так делать. Ехайте.

— Фарфар! — тихонько воскликнул капитан, садясь на коня.— О, фарфар!..

— Чего ты там? — услышал Ларька.

— Я с конь беседофать...

...В тот же день Ларька, Мишка и с ним еще пять казаков поехали в Москву "с топором и плахой" — челом бить царю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после самовольных набегов на турок или персов, так решил сделать и Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой всячины, но пусть уже в этом ворохе будет и казачий поклон, так рассудил атаман.

15

По известному казачьему обычаю Разин заложил на Дону, на острове, земляной городок — Кагальник. Островок тот был в три версты длиной, неширокий.

И стало на Дону два атамана: в Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике — Степан Тимофеич, батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь— в великой неловкости своей — больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег... Многих пригнал голод. Но кто способен убежать, тот способен к риску, в том всегда живет способность к мести, ее можно обнажить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью. И конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения... Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один: развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякий русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему... И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, то тут его гадания кончились: он решил. Он успокоился и знал, что делать: надо эту силу отладить и наострить. И потом двинуть.

Зажил разинский городок. Копали землянки (неглубокие, в три-четыре бревна над землей, с полотими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду), рубили засеки по краям острова стены (в край берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу, с легким наклоном наружу, изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами, и изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал в сажень шириной), в стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя; саженях в пятнадцати-двадцати друг от друга, вдоль засеки возводились раскаты (возвышения) и на них укрепля-

лись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузниц: ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульские, московские, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупносеяным песком.

Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведать своих, отвезти гостинцев и тут же вертались — здесь веселей и привольней.

К острову то и дело причаливали большие лодки — верхних по Дону, воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей: шла торговлишка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега — просили переправить. Эти — при оружии: донцы и сечевики. Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так: охотников было много, нашелся и вожак.

* * *

Землянка Разина повыше других, пошире...

Внутри стены увешаны персидскими коврами, на полу тоже ковры. По стенам — оружие: сабли, пистоли, ножи. Большой стол, скамьи вдоль стен, широкая кровать, печь. Свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, забранные слюдяными решетками.

У хозяина гости. У хозяина пир.

Степан — в красном углу. По бокам все те же — Стырь, дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, сотники, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о прибытии казаков, первой приехала в Кагальник из Черкасска. Она очень любила Степана.

На столе жареное мясо, горячие лепешки, печеные на углях, солонина, рыба... Много вина.

Хозяин и гости слегка уже хмельные. Гул стоит в землянке.

— Братва! Казаки!..— надрывался Иван Черноярец.— Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу!..

Поутихли малость: чего у него там с душой такое?..

— За самый любезный!..— Иван дал себе волю — выпрягся скорей других. Его понимали: на походе держал себя казак в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали.— С такими-то боями я б на край света дошёл...— Иван широко улыбался, ибо затаил неожиданность с этим "боем" и собирался ту неожиданность брякнуть. Она его самого веселила.

— Какой же это, Иван? — спросил Степан.

— А какой мы без кровушки-то отыграли... В Астрахани! Как нас бог пронес, ума не приложу. Ни одного казака не потеряли... Это надо суметь. За тот самый бой!— Иван с пьяной угрозой оглядел всех, приглашая с собой выпить.— Ну?!

— Был бы калган на плечах,— заметил Стырь.— Чего не пройтить?

— Батька, поклон тебе в ножки!..— вконец растрогался Иван.— Спаси бог! Пьем!

— За бой так за бой,— сказал Степан просто.— Не всегда будет так — без кровушки. Кресная, иди пригуби с нами.

— Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то будет? Вас вон сколь...

— Наедимся, руки ишо целые, чего нас кормить? Иди, мне охота с тобой выпить.

Матрена, сухая, подвижная старуха, вытерла о передник руки, протиснулась к Степану.

— Давай, кресничек! — Приняла чарку.— С благополучным вас прибытием, казаки! Слава господу! А кто не вернулся — царство небесное, земля пухом лежать. Дай бог, чтоб и всегда так было — с добром да удачей.

Выпили. Помолчали, вспомнив тех, кому не довелось дожить до этих хороших дней.

— Как там, в Черкасском, Матрена Ивановна? — поинтересовался Федор Сукнин.— Ждут нас аль нет? Чего Корней, кум твой, подумывает?

— Корней, он чего?.. Он притих. Его не враз поймешь: посапливает да на ус мотает.

— Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на тебя. Ты-то все знаешь. Али от нас таисся?

Повернулись к Матрене, ждали... Стало совсем тихо. Конечно, охота знать, как думают и как говорят в Черкасском войсковой атаман и старши́на. Может, старуха чего и знает...

— Не таюсь, чего мне от вас таиться. Корней вам теперь не друг и не товарищ: вы царя нагневили, а он с им ругаться не будет. Он ждет, чего вам выйдет за Волгу да за Яик... За все. А то вы Корнея не знаете! Он за это время не изменился.

Степан слушал умную старуху, понимал, что она говорит правду: с Корнеем их еще столкнет злая судьба, и, наверное, скоро.

— Ну а как нам худо будет, неуж на нас попрет? — пытал Федор, большой любитель поговорить со стариками.

— Попрет,— ясно сказала прямая старуха.

— Попрет,— согласились казаки.— Корней-то? Попрет, тут даже гадать нечего.

— А старшина как?

— Чего старши́на?

— Как промеж себя говорят?

— И старши́на ждет. Ждут, какой конец будет.

— Конца не будет, кресная,— сказал Степан.— Нету пока.

— А вы поменьше про это,— посоветовала старуха.— Нету — и нету, а говорить не надо. Не загадывайте.

— Шила в мешке не утаишь, старая,— снисходительно сказал Стырь, опять весь разнаряженный и говорливый.— А то не узнают! — Стырь даже и на побывку домой не шел от войска — откладывал.

— Тебе-то не токмо шила не утаить... Сиди уж. Ты со своим носом впереди шила везде просунесся...

— Старуха моя живая? Ни с кем там не снюхалась без меня?

— Живая, ждет не дождется. Степан...— Матрена строго глянула на крестника.— Это кака же така там девка-то у тебя была?

Степан хотел отмахнуться от мелкого разговора, нахмурился даже, чтоб сразу пресечь еще вопросы.

— Какая девка?

— У тебя девка была...

— Будет тебе, кресная! С девкой какой-то привязалась...

— Шахова девка, чего глаза-то прячешь? — не унималась Матрена.— Ну, приедет Алена... Ты послал ли за ей?

— Послал, послал.— Степан не рад был, что и подал старухе.

— Кого послал?

— Ваньку Болдыря. Ты... про девку-то — не надо,— вовсе строго посоветовал Степан.

— А то не скажут ей! Лапти плетешь, а концов хоронить не умеешь.

— Ну, скажут — скажут. Как они там? Фролка?..

— Бог милует. Фролка с сотней к калмыкам бегали, скотины пригнали. Афонька большенький становится... Спрашивает все: "Скоро тятька приедет?"

— Глянь-ка!.. Неродной, а душонкой прильнул,— подивился Федор.— Тоже тоскует.

— Какой он там был-то!.. Кгда мы, Тимофеич, на татар-то бегали, Алену-то отбили? — заговорил дед Любим.

— Год Афоньке было,— неохотно ответил Степан. Он не любил вспоминать про тот бой с татарами, и как отбил он красивую Алену... В том бою он только про Алену и думал — совестно вспоминать. Афоньку же, пасынка, очень полюбил — за нежное, доверчивое сердце.

— Ах, славно мы тада сбегали!..— пустился в воспоминания дед Любим.— Мы, помню, забылись маленько, распалились — полосуем их почем зря, только калганы летят... А их за речкой, в леске,— видимо-невидимо. А эти-то нас туда заманывают. Половина наших уж перемахнули речку — она мелкая, а половина ишо здесь. И тут Иван Тимофеич, покойничек, царство небесное, как рявкнет: "Назад!" Мы опомнились... А из лесочка-то их туча сыпанула. А я смотрю: Стеньки-то нету со мной. Все рядом был — мне Иван велел доглядывать за тобой, Тимофеич, дурной ты какой-то тот раз был,— все видел тебя, а тут как скрозь землю провалился. Может, за речкой? Смотрю — и там нету. Ну, думаю, будет мне от Ивана. "Иван! — кричу.— Где Стенька-то?" Тот аж с лица сменился... Глядим, наш Стенька летит во весь мах — в одной руке баба, в другой дите. А за ним... не дай соврать, Тимофеич, без малого добрая сотня скачет. Тут заварилась каша...

Степан налил себе чару.

— Хватит молоть, дед. Наливайте.

— Там к старухе моей никто не подсыпался? — опять спросил подвыпивший Стырь у Матрены.— Чего молчишь-то?

За столом засмеялись; гулянка стала опять набирать ширь и волю, чтобы потом выплеснуться отсюда, из тесноты.

— А то ведь я чикаться с ей не буду: враз голову отверну на рукомойник. У меня разговор короткий...

— У тебя, дедка, все коротко, только нос... это...— повел было свою любимую тему большой Кондрат. Левая рука его покоилась пока в петельке из сыромятного ремешка, перекинутого через шею.

— Цыть! — резво осадил его Стырь.— У тебя зато: грудь нараспашку, а язык на плечо. Замолкни здесь с носом, поганец.

— Клюку она на тебя наготовила, твоя старуха... Ждет,— сказала Матрена на расспросы Стыря.

— Ей уж шепнули, наверно, как ты с шахинями-то там... А? Греховодник ты, Стырь!.. Никак уняться не может! Откуль только силы берутся!

В землянку вошел казак, протиснулся к атаману.

— Батька, москали-торговцы пришли. Просют вниз пустить.

— Не пускать,— сразу сказал Степан.— Куда плывут, в Черкасской?

— Туда. Говорят...

— Не пускать. Пусть здесь торгуют. Поборов никаких — торговать по совести, а на низ не пускать ни одну душу. Вперед делать так же. Не обижать никого.

Казак вышел.

— Не крутенько ли, батька? — спросил Федор.— Домовитые лай подымут... Без хлеба ведь останутся.

— Нет,— еще раз сказал Степан.— Федор, чего об Алешке и об Ваське слыхать?

— Алешка сдуру в Терки попер, думал, мы туда выйдем, кто-то, говорят, сказал ему так...

— Это знаю. Послал к нему?

— Послал. Ермил Кривонос побег. Васька где-то на Руси, никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а домовитые его на войну повернули...

— Пошли в розыск. Подходют людишки? — Степан — и спросил это, и не спросил — сказал, чтоб взвеселить лишний раз себя и других.

— За четыре дня полтораста человек. Но — голь несусветная. Прокормим ли всех? Можеть, поумериться до весны...

— Казаки есть сегодня? — Степан ревниво следил, сколько подходит казаков, своих, с Дона, и с Сечи.

— Мало. Больше с Руси. Еслив так пойдут, то... Прокормить же всех надо.— Так повелось, что Федор Сукнин ведал кормежкой войска, и у него об своем и болела душа.

— Всех одевать, оружать, поить и кормить. За караулом смотреть. Прокормим, всех прокормим. Делайте, как велю.

— Сделать-то мы сделаем... А чего... до весны-то пока бы...

— Наливай! — сбил Черноярец Федора.— Разговорился...

— Ваня... ты, еслив опьянел...

— Ты меня напои сперва! Опьянел... Нет!

— А не сыграть ли нам песню, сынки?! — воскликнул Стырь.

— Любо! — поддержали со всех сторон.— Теперь дома.

— Заводи! — смешно распорядился опять Иван и саданул кулаком по столу. Сивуха прямо на глазах меняла человека: вместо спокойного, разумного казака, каким знали Ивана, сидел какой-то крикливый, задиристый дурак. Оттого, может, и не пил Иван часто, что знал за собой этот грех и тяготился им.

— Чего расшумелся-то? — урезонил Степан верного есаула; атаман, пока не случался пьян, брезговал пьяными, не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только споить труднее.— А где ж Фрол Минаев? — вспомнил вдруг Степан.— Где, я его не вижу?.. А? — Он посмотрел на всех... и понял. И уж досказал — так, чтобы досказать, раз начал: — Я же не велел пока в Черкасской ходить... Никому же не велел!

С минуту, наверно, было тихо. Степан еще раз посмотрел на всех с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова

заговорил. И заговорил опять — с запоздалой горечью, не зло.

— Чего ж не сказали? Молчат... Говорите!

И опять никто не решился ему ответить. А надо-то всего было сказать: ушел Фрол. Совсем ушел. Предал.

— Ну? Похоже, поминки получились? По Фролке...

— Погулять охота было, Тимофеич,— честно сказал Стырь.— При такой погоде... без грому.

— И погуляем! Чего нам не погулять? Одна тварь уползла — невелика утеря. Он давно это задумал, я чуял. Давай.

Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана измена умного есаула. Он с трудом пересиливал эту боль.

— Ну свижусь я с тобой, Фрол,— сказал он негромко, себе.— Свижусь, Фрол. Давайте, браты!.. Давай песню, Стырь. С Фролом все: он свою песню спел. Пошла душа по рукам... Давай, Стырь, заводи.

Нет, не так давно задумал Фрол Минаев измену, а после того разговора, как порубили стрельцов и сидели на берегу Волги: с этого момента он знал, что уйдет. Тогда понял Фрол, что Степан теперь не остановится — пролилась дорогая и опасная кровь. И понял еще Фрол, что Степан захотел пролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надобности — чтобы положить конец своим сомнениям и чтобы казаки тоже замарались красным вином страшенной гульбы. Вот тогда твердо решил Фрол уйти. Это было недавно.

* * *

В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка.

С острова, с засеки, окликнули сторожевые.

— Свои,— отозвался мужской голос с лодки.— Ивашка Болдырь. Батьке гостей привез.

— А-а... Давайте, ждет. С прибытием, Алена!

Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, нательной рубахе... Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя: не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро... Нет, все там тихо, спокойно. Даже непонятно: такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие — чем-чем, а робостью Фрол не грешил,— ну? А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль второпях обшаривала всех, кто попадался в памяти... Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь — такие лягут, лягут безропотно многие и многие... А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая темная сила — это притом

не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит — это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться? Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово — "бояре". Но когда сам же он хотел вдуматься — бояре ли? — понимал: тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил — "бояре", и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила.

Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО.

За дверью, на улице, послышались шаги, голоса...

Степан сел, опустил ноги на пол... Уставился на дверь.

Вошли Фрол Разин, Алена и десятилетний Афонька.

— Ну вот,— сказал Степан со скрытой радостью.— Заждался вас. Что долго-то там?

Алена припала к мужу, обняла за шею... Степан поднялся, тоже поприобнял жену, похлопывал ее по спине и говорил:

— Ну вот... Ну здорово. Ну?.. Сразу — плакать. Чего?

Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила:

— Прилетел, родной ты мой. Думала уж, пропал там — нет и нету... Все глазыньки свои проглядела.

— Ну!.. Пропасть — это тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздороваюсь. Будет, Алена.

Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели.

— Год нету, другой нету — пожнви-ка так... Совсем от дому отбился, — говорила Алена как будто заготовленные слова — так складно, к месту они получались.

— Будет тебе...

— Другие хоть к зиме приходют, а тут... Молилась уж, молила матушку пресвятую богородицу, чтоб целый пришел...

— Афонька, здорово, сынок. Иди ко мне,— позвал Степан, с легким усилием отстраняя Алену.— Иди скорей.

Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуев решительно уклонился.

— Вот так! — похвалил Степан.— Так, казаче.— Посадил его на кровать.

Поздоровался с братом за руку.

— Ты, никак, ишо вырос, Фрол?

— Да где? — Рослый, усатый Фрол мало походил на старшего брата — красивее был и статнее.— А ты седеть начал.

— А жена-то где твоя? — полюбопытствовал Степан.

— Да там пока...

— Чего? Не поехала, что ль?

— Да... потом. Чего седеть-то начал?

— Ну, рассказывайте, какие дела? Кто первый? Афонька?..

Афонька все улыбался.

— Ты что это, разговаривать разучился? А? — Степан тоже улыбался; на душе было хорошо, только скорей бы ушла эта первая бестолковая минута.

— Пошто? — спросил Афонька.— Умею.

— Отвык. Скажи, сынок: ишо бы два года шлялся там, так совсем бы забыли,— встряла опять Алена.

— Не-ет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи, матерю скорей забу...— Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та с укоризной покачала головой.

— Э-эх!.. То-то и оно. Седеть-то начал, а все не образумился, все как кобель молодой...

Фрол засмеялся.

— Ну пойду,— сказал он.— Завтра погутарим.

— Погодь! — остановил Степан.— Давайте пропустим со стречей-то. Я тут маленько запасся... Упрятал от своих глотов. Ален, собери-ка на скорую руку.

Алена принялась накрывать на стол.

— Где тут у тебя чего?

— Там... разберись сама. Садись, Фрол, рассказывай.

— Порассказали!..— все хотела ворчать Алена.— В глаза людям глядеть совестно. Сквозь землю готова провалиться... Тьфу! Да ишо — черная! Хоть бы уж...

— Будет, Алена,— миролюбиво сказал Степан.— Нашла об чем гутарить. Рассказывай, Фрол.

Фрол — не охотник до войны, до всяких сговоров, хитростей военных. Не в разинскую породу. Он — материн сын, Черток: покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над Фролом, меньшим своим... Помирала, просила мужа и старших сынов: "Не маните вы его с собой, ради Христа, не берите на войну. Пускай хоть он от ее спасется, от проклятой".

— Чего рассказывать-то? — Фрол сел на кровать. Он правда не знал, что Степану интересно и нужно знать.

— Корнея когда видал?

— Вчерась.

— Ну? — насторожился Степан.

— Он хотел сам приехать... Приедет на днях. Велел сказать: как от его к тебе казак будет, чтоб сплыл ты с тем казаком ниже куда-нибудь для разговору. Не хочет, чтоб его на острове видели.

— Лиса хитрая. Не дождется. Как казаки там?

— Ро́ссказней про тебя!..— со смехом воскликнул Фрол.

— Хоть уши затыкай! — вставила Алена.

— Ко мне собираются? — допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желания — допросить его самого.

— Собираются. Много. Не знают только, чего у тебя на уме.

— Не надо и знать пока.

— Правда, что ль, половина шаховых городов погромил?

— Маленько потрясли,— уклончиво ответил Степан.— А домовитые как?

— Молчат.

— От царя никого не было?

— Нет.

— Ну, садись. Садись, братуха!.. Вот и выпьем вместях — давно думал. Алена, как у тебя?

— Садитесь.— Алена доставала из корзины, которую привезла с собой: домашнее печенье, яйца, варенец...— Хотела больше взять, да этот Иван, как коршун, похватал, как были...

— Молодец,— похвалил Степан.— Нечего там сидеть... у врагов.

— Какие же там враги? — изумилась Алена.

Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата. Младенец! Мать-то не зря просила: не воин. Жалко будет, если убьют... Грех на душу возьмешь с таким.

— Ну — будут враги: дело наживное. Ах, Афонька!.. Штуку-то я тебе какую привез! Ах, штука!..— Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости.— Царь-город. Во, брат, какие бывают! На, играй!

Алена оглядела избушку: должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек, какие подарки. Так уж... спасительно устроена русская баба: она может подняться до прощения даже и тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет — бессознательно, не хитря — какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство... Она пощадит оскорбителя и пощадит себя.

Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно.

— Потом, Алена. Подай нам сперва.

— Кресная у тебя? — спросил Фрол.

— Здесь.

— Не мог удержать. Говорю: пришлет он кого-нибудь, куда ты одна! Нет — пойду. Так ушла.

— Она молодец. Ну?.. С приездом вас. И нас. Со стречей.

— С радостью нас,— сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась: не видывала такой красивой.

Фрол ушел поздно; он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву?

Алена разобрала постель... Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света.

Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены, встал...

— Ты чего? — спросила Алена.— Ни свет ни заря...

— Спи,— сказал Степан. Присел, погладил теплую, со сна особенно хорошую Алену.— Пойду к казакам.

— Господи!.. Хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки! Спят ишо все...

— Побуду, побуду. Спи. Мне надо.

Степан надел шаровары, сапоги... Накинул кафтан и вышел из землянки.

Городок спал. Только часовые ходили вдоль засеки да чей-то одинокий костер сиротливо трепыхался у одной из землянок.

Степан подошел ближе к костру... Два в дым пьяных казака, обнявшись, беседовали.

— Ты мне ее покажь... Покажь, ладно?

— Ладно.
— Не забудь только, ладно? Покажь, не забудь...
— Кого?
— Эту-то...
— А-а. Не, она для нас — тьфу!
— Кто?
— Эта-то, Манька-то.
— Какая Манька?
— Ну, эта-то!
— А-а. А мы ее обломаем...
— Кого?
— Ну, эту-то...

Степан постоял, послушал, усмехнулся и пошел дальше.

Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она, не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди... Опять — в суете, в словах — явится важность людей, но вот сейчас-то, когда такой покой,— так это все неважно, вся эта суета, слова... Даже смешно.

Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со Стырем: эти двое постоянно ругались, но и постоянно — молча — дружили, всегда жили вместе.

Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой. Спросил встревоженно:

— Что?

— Ничего, погутарить пришел.

Степан глянул на спящего Стыря, присел на лежак к Ивану.

— Вчерась я сон чудной видал, Ваня: как вроде мы с отцом торгуем у татарина коня игренева. Хороший конь!.. А татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак — ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает: "Прыгай-де на коня и скачи". У меня душа заиграла... Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть... Хотел прыгнуть, да вспомнил: "А как же отец-то тут?!" И проснулся.

— Было когда-нибудь так? — спросил Иван, превозмогая похмельную боль в теле: весь день хворать будет Иван.

— С отцом — нет, с браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить, мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул...

Ивану еще и жалко, что недоспал. Зевнул.

— Ты чего пришел-то: сон рассказать?

Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз.

— Утро ясное,— сказал он вдруг.— Не в такое бы утро помирать. А? — И глянул на есаула пытливо и весело.

— О!..— удивился Иван.— Куда тебя уклонило. Это мне сегодня про смерть-то надо... Перестарался вчерась... дурак.

— Вот чего...— Степан сплюнул горьковатую слюну.— Прибери трех казаков побашковитей — пошлем к Никону, патриарху. Он в Ферапонтовом монастыре сидит: их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону...

— Какой из попа вояка! — удивился Иван.

— Не вояка надобен — патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет. А ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Можеть, качнется — он злой на царя. Пускай скажут: мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет...

— Приберу, есть такие.

— Пошли их потом ко мне: научу, как говорить. Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие. Могут врюхаться — слова бы не вымолвили ни с какой пытки.

— Есть такие.

— Ишо пошлем в Запороги — к Ивану Серику. Туда с письмом надо, пускай на кругу вычтут, всем.

— Тада уж и к Петру Дорошенке...

— К Дорошенке? Подумать надо... Хитрый он, крутится, как у́ж на огне... Посмотрим, у меня на его надежи нет. Еслив надо свою выгоду справить — справит, не задумается. Серко, тот надежный...

— Тимофеич, пошли меня к патриарху,— сказал вдруг Стырь, поднимаясь со своего лежака.— Я сумею, вот те крест, сумею. Ишо как сумею-то!

— Ты не спишь, старый?

— Нет. Пошлешь?

— Пошто загорелось-то?

— Охота патриарха глянуть... Мне один бегун рассказывал про Никона: эт-то тебе не...

— Чего в ем? — поп и поп.

— Самый высокий поп!.. Много я всякого повидал, а такого не доводилось. Пошли. Я с им про веру погутарю. Он вишь чего затеял-то?..

— Опасно ведь... схватить могут: Никона стерегут. А схватют, милости не жди: закатуют. Охота на дыбе дни кончать? Они вон какие хорошие, дни-то. Выйди, глянь-ка — сердце радуется.

— Ну кому-то и на дыбе надо кончать... Я пожил. И дней повидал всяких А Никон бы нам... как сгодился

склоню! У меня тоже к вере подвох есть.

— Охота — иди. По пути проведайте про Ларьку с Мишкой — где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было. Я виноватый...

Замолчали. Долго молчали.

— Досыпайте,— сказал Степан. Поднялся и пошел из землянки.

— Думы одолели нашего атамана,— сказал Иван.

— Думы...— откликнулся Стырь.— Думы — они и есть думы.

— И тебя одолели? — Иван сидел пасмурный, гадал: удастся ему еще заснуть или подниматься тоже да идти по делам.— Чего тебя-то одолели?

— Меня-то чего? Меня не так уж... А охота мне, Ванятка, патриарха глянуть — прям душа заиграла...

— Да зачем он тебе?

— А дьявол его знает, охота глянуть, и все. По спине его охота похлопать: "Ну что, мол, владыка?" У его, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь мно-ого знает, Ваня... Ох, я бы с им погутарил!

— Гляди ты! — зачесалось. Спи пока, а то у меня голова, как кадушка рассохлая, разваливается. Лишка взял вчера. Ничего хоть не болтал сдуру?

— Нет. Все же схожу я к патриарху, Иван. Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно... праведное дело. Прям как по обету схожу.

— Спи пока. Дай маленько очухаюсь... Можеть, сосну ишо.

Степан ушел на берег реки, сел.

Солнце выкатилось в чистое небо... Первые лучи его ударили в вербы; по острову вспыхнули большие желтые костры.

Далеко отсюда думы Степана... Может, в Ферапонтовом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве... Думы одолели атамана, правда. И охота додумать их да вздохнуть бы легко... Еще в Черкасске думы — вовсе рядом, а тут темень полная, не знаешь, чего ждать.

Сзади к нему неслышно подкрался Афонька и крикнул над ухом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум... Аж вздрогнул.

— Ах ты, черноглазик!.. Напужал.— Степан показал место рядом: — Садись. Чего рано так?

— Я завсегда так,— сказал Афонька, улыбаясь.

— Не спится?

— Выспался.

— Мать чего делает?

— Поись варит.

— Мгм. Ты сны умеешь отгадывать?

Афонька выкатил на отчима черные свои, прекрасные маслины:

— Сны?

— Ну? Бабка не учила?

— Нет. А ты сон, что ль, видал?

— Видал. Будто мы с отцом моим поехали коня торговать, поглянулся нам обоим один конь, отец мне мигает: "Прыгай и скачи". Я уж и хотел прыгнуть, да подумал: "Ну, уеду, а как же он тут?" И проснулся. Даже жалко, что проснулся,— надо бы доглядеть...

— Не купили?

— Не купили... Да, вишь, я и не знаю, как дальше-то... Вот втемяшился этот сон — хожу и все думаю...

— Спроси бабку Говоруху.

— Да бабку-то... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон непростой, чую. Думаю так: вот скочим мы на коней — умахали. А как же вы тут?

— Мы? — не понял Афонька.— Кто?..

— Ну, вы... Ты вот, матеря твоя, бабка — да много! — Степан посмотрел на мальчика, тронул его воробьиное колено, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки.— Чижолую я тебе загадку загадал — не по росту. Иди скажи матери: иду. Поедим сядем.

Афонька убежал.

Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу... Место встречи осторожный Корней выберет сам — подальше от людских глаз.

Корнею за шестьдесят, он еще силен, но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит: "Побаливат". Нигде у него не побаливает: хитер и скрытен... Слово не молвит в простоте: трижды перевернет его в матерой голове, обдумает — скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно тянет, кажется, кто не знает: такая манера. Манеру его Степан видел в бою: куда медлительность девается, вялость: как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта затаенность, скрытность — это Степан давно невзлюбил в крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоумевал: "Как другой человек!.. Чего ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то?" Корней на это говорил негромко: "От тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человека сидят: один дурак круглый, другой — добрый казак, умница. Я когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю, но так, чтоб умный не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не только в тебе; я желаю иметь дело с дураками. С умными —

редко, по надобности". Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать, но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла.

Встретятся они так:

— Ну, здоров, кресник,— миролюбиво скажет Корней, а сам, пока подойдет вяло и скажет, успеет цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку.— Как походил? Говорят, с удачей?

— С удачей.

— Слава богу!

— Чего на остров-то не приехал? — не выдержит и спросит Степан.— От кого крадисся-то? Уж и на Дону у себя не хозяин...

— Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал... Чего бы тоже?

Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходил у них — добрый-то, по душе-то... Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался — за строптивость, за гордость глупую, несусветную, за самовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременными участниками всех походов, часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход, и походный атаман (тогда еще головщик) Корней Яковлев, из уважения к есаулу Тимофею Разе и чтоб быть с казаками покороче (казаки очень любили Разю), напросился к нему в кумовья — так породнились Разины с домовитым Корнеем. Строптивости и самовольства у Разиных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось: Разя и сыновья его, Иван и подросший Степан, ревниво оберегали свою независимость, не важничали, слыли, особенно Иван, за башковитых казаков. Степан, довольно рано для своих лет, заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил напоказ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок: один не мог поступиться своим высоким положением — снизойти до панибратства с оголтелым, удачливым Стенькой, другой — другому это высокое положение крестного отца как раз было в тягость. В последнее время, когда Корней повел дело к тому, чтобы чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестника в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых,— надо было, во-первых, отправить их побольше с кем угодно и куда угодно, хоть "за

липунами" со Стенькой; во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона: Корней чувствовал себя лучше, сколько хотел юлил и изворачивался с этими беглыми,— надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, то есть вроде и не выдавать, но и с царем и с боярством не хотелось портить отношений, то есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно; теперь, с приходом Стеньки, будет много трудней. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами, не знал только — не мог и подумать о том — радует он Корнея, что скликает всех неприкаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать...

— Худое затеваешь, Степан,— скажет, наверно, Корней,— страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли?

— А я тебе про свою затею не говорил,— заранее знал, как скажет Степан.— С чего ты взял?

— Вижу. Слышу. Казаков не распускаешь...

— А ну крымцы нападут? Или турки?.. Держу... не лежачего же татарам брать.

— Как же теперь, два войска держать?

— На ваше войско надежа худая. Никудышное войско. Вовсе не войско...

— Хитри-ишь, Стенька!.. Всегда было доброе, теперь — на, худое. Другое у тебя на уме: опять на Волгу метишь. На города, слыхал... Сломишь голову, Степан, по-свойски тебе говорю, жалеючи. Поверь мне, старому: два раза судьбу не пытают...

— Да я, можеть, ни разу ишо не пытал ее...

— Батюшки мои!.. Как разохотился-то! Ну, спытай, спытай... глядишь, и наш теля волка слопает, можеть, угораздит.— У Корнея глаза глубокие, и глядит весело и ехидно... Тут где-нибудь заорет на него Степан, в недобрые его глаза:

— Дон продаешь!.. Собака! Сам продавайся с потрохами, а Дон я тебе не дам! Не для того здесь казачья кровушка лилась, не вами воля добыта, не вам ее продавать за царевы подарки! Вот тебе моя голова: отдашь ее с последним беглецом, но раньше ни одного с Дона не выдашь! Я сказал, а ты думай.

Думает Корней, сидя в Черкасске, конечно, думает. И давно уж додумался, как теперь вести дело: не мешать Стеньке в сборах, больше того, всяко зудить его на поход — в этом спасение Дону. Тут Стеньку не одолеть, его одолеют там где-нибудь, под Царыцыном, там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан: всячески отговаривать от похода и грозить. На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно: он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель.

16

Было еще одно утро. И одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал,— странная ночь. Лунная, вся переполненная белым, негреющим светом... Но — позже.

Было утро. Была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг — воздух, небо, земля,— все вспыхнет вдруг тихим синим светом, короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный, белый — рассвет. И вечером бывает такая пора — предсумеречная. Такой же короткий, драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо и грустно.

Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать.

Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик.

Афонька тихо выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо:

— Чего рано так?

— Поспал... Хватит. А ты?

— Смотри,— показал Степан,— сине. Это синяя птица слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит. А там и солнышко выйдет.

Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце... Даже привстал.

— Ой? — недоверчиво сказал он.

— Отчего же сине?

— А как зовут ее?

— Так и зовут — синяя птица.

— Обманываешь ты меня.

— Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица не простая...

— А какая?

— Волшебная.— Степан оглянулся назад, на спящую Алену. Сбавил голос.— Прилетает она два раза на дню — утром и вечером. И вот тут надо не зевать... Надо, как она прилетела, распушила свой хвост, успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел — и замри: больше чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась — пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит, тогда снова загадывай. Но опять — только одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать — сбудется, не сумеешь — не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило...

— А чего хотел?

— Ну... разное. А рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была...

— Она померла?

— Померла. Здесь померла... а схоронили на ее родине — она просила перед смертью... Под Воронежем, в деревне. Отец возил да брат Иван. А я не поехал: не люблю хоронить.

— Сидит еще.— Афонька кивнул на оконце.— Птица-то.

— Сидит...

— Пойдем глянем?

Степан качнул головой:

— Ее не увидишь.

— Она же сидит!

— Сидит. А не увидишь... И не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уж нету — улетела. Вот, брат, какая птица. Чего бы ты хотел попросить у ей?

Афонька подумал... И сказал честно:

— Не знаю.

— Ну тогда лучше не проси. Вся-то трудность: и знаешь, чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-нибудь, про другое. А уж когда не знаешь-то!.. Лучше и не просить. Слушать не станет.

— Рази трудно про одно думать?

— Трудно. Спробуй как-нибудь. В этом все дело — трудно. Не знаю уж почему, а трудно.

За оконцем синева заметно разбавилась.

— Улетела? — спросил Афонька.

Степан кивнул головой.

Посидели немного в молчании.

— Пойдем на реку. Умоемся,— сказал Степан.

Потом был день. День прошел обычно, как шли теперь дни: окапывались, строились, рубили засеки, ковали оружие... За всем надо было приглядеть, где подсказать, где похвалить, где поругать.

На острове — будни.

А вечером Степан опять был у воды. Сидел возле кустов, на тропке, строгал ножом досточку.

Солнце садилось за рекой, за степью. Красное колесо коснулось ровной линии горизонта и как бы замерло... Сзади, в кустах, взбесились птицы — подняли такой свист, писк, такой начался шорох в кустах, что и не верилось, что это всего лишь крохотные живые комочки шныряют в кустах. "Что-то, наверно, для них это значит — когда солнышко садится,— подумал Степан.— Жалко, наверно".

Солнце медленно погружалось за степью — можно даже глазом заметить, как оно уходит все глубже, глубже. Невысокий обрыв того берега реки обозначился черным. Зато вся

степь, от реки и до солнца, далекие курганы и близкий кустарничек, все высветилось ласковым желтым светом, как горенка, где горит мытый, скобленый и еще раз мытый сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть после беспощадного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от скверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе — шагать по ней и шагать из конца в конец,— своя она, мы же родились тут. И даже ложиться в нее не так уж страшно. Свет этот, мягкий, теплый, доступен, наверно, и покойным в земле.

Что-то такое — похожее — успел подумать Степан, заглядевшись на уходящее солнце. А уж легкая тень упала на степь. Курганы погасли и темными силуэтами стали в ночь часовыми. Река потемнела... Чувствовалось, как вода без натуги, не тревожа берегов, тихо двигает громаду свою по скользкому ложу. От воды веяло холодком.

Много ли времени так прошло, Степан забылся. Вдруг сбоку откуда-то в тишину и успокоенность молодой ночи грянул свет — обильный, мертвый. Несколько отодвинулся тот берег, спина реки заблестела холодной сталью. И степь тоже тускло и далеко заблестела, и курганы отчужденно замаячили вдали... И неуютно сделалось на земле — голо как-то. И все случилось так скоро, просто — взошла луна. Черт ее знает, наверно, нужна она в небе, раз она есть, но нехороший, недобрый свет посылает она на землю.

Покой и тишина укутали было землю, а свет этот все потревожил: слышно стало, как всплескивают волны, в кустах беспрерывно кто-то возился, укладываясь спать, что ли, или кто-то не мог теперь заснуть, из-за этого нахального света... Мелкий, беспрерывный, нудный металлический звон доносился со степи и сзади, и с боков.

Степан с сожалением очнулся от забытья, стал невольно слушать шорохи, вздохи, звон. Потом он услышал легкие шаги по берегу... Кто-то шел сюда. На ходу кто-то задевал кусты, ветви чутко отзывались легким-легким стуком и шуршанием. Кто-то остановился, постоял и снова двинулся. Степан подумал, что это Афонька ищет его, но ближе понял, шаг не Афоньки — тяжелее. Но и не мужской.

"Алена,— догадался Степан.— Потеряла. Дуреха..."

И, как с ним бывало, ни с того ни с сего явилось озорное желание напугать. Он бесшумно соскользнул вниз, к воде, затаился.

Шаги зашелестели над самой головой... Степан громко, отчетливо сказал:

— Я вот пошляюсь ночами, пошляюсь.

Шаги оборвались... Алена тихо ойкнула. схватилась за грудь и попятилась назад.

— Кто эт?

— Не пужайся.— Степан полез наверх, на тропу. Хохотнул.

— Да ты что, Степан? — спросила обиженно Алена. Она все еще держала руки на груди.— С ума спятил? Ноги отнялись прямо...

— Садись,— пригласил Степан. И хлопнул рядом с собой ладонью.— Не татарин выскочил, не голову снял.

— Господи, господи...— все не могла прийти в себя Алена.— А я вижу — темнеет что-то у воды, думала — коряга.

— А чего вот вы, я заметил,— серьезно заговорил Степан,— как пужаетесь, так за титьки сразу хватаетесь? Даже голышом. Дороже всего вам это место, что ли? А?

Алена присела рядышком.

— Где эт ты так на голых-то нагляделся, что уж... все знаешь: чего они вперед прикрывают...

— Будет тебе,— миролюбиво сказал Степан.

— Вечно уколоть надо...

— Будет. Перестань.— Степан привлек к себе теплую родную Алену, подержал ее голову у своей груди: ревность еще не умерла в женщине. Зря он, конечно, вылетел с этими голыми: не надо сейчас досадовать друг на друга, неохота.— Куда шла-то?

— К тебе.— Алена отмякла.— Мне Афонька сказал, где вы завсегда сидите...

Степан устроил свою голову на колени жене, стал смотреть снизу на ее лицо и на далекие жирные звезды.

— Ну?.. А чего? Потеряла, что ль?

— Степа,— вдруг перешла на шепот Алена,— я вот седня тоже загадала желание...— Она стала гладить теплой ладошкой его лицо. И хоть Степан обычно как-нибудь незаметно, чтоб не обидеть, высвобождался от этих поглаживаний, сейчас ему и этого неохота было делать — пусть гладит.— Дождалась вечером, когда слетит та птица, про какую ты Афоньке утром сказывал, и стала думать только одно...

— Чего же? Ты не спала утром-то?

— Нет, слышала. Задумала я так: давай мы с тобой счас прямо сплывем в Черкасск?

— Зачем? — Степан приподнял голову.

— Полегче челночек... до света там будем.

— Да зачем?

— Не знаю, Степа... Захотелось мне пройти с тобой по тем местам, где мы тогда хаживали. Днем-то тебе туда нету пути...— Алена сказала это с нескрываемой грустью.— Хоть

ночью... Ночь-то вон какая! Степушка, милый, поедем, а? Шибко охота мне... Ублажи ты бабу глупую. Я, вишь, и разоделась вон... Ты не заметил.

Степан сел.

Правда, на Алене был дорогой наряд, только что не свадебный.

— Поедем? По улице нашей пройдем, возле дома постоим, возле ворот... Степушка...

Степан услышал в голосе жены нотку глубокую, искреннюю... Подивился, но не стал лезть в душу с расспросами, а только спросил:

— А загадала-то крепко?

— Ни... чтоб я про чего-нибудь другое подумала — ни капельки! Только сидела и думала: "По улице пройдем, у ворот постоим". Больше ничего.— Алена сказала это с силой, убежденно и с правдой неподдельной.

— Раз такое дело, поплыли! — легко согласился Степан. И вскочил.— Готова?

— Готова. И лодочку даже приметила...

— Где?

— Вон там. Славная лодочка... Легкая!

Через какие-нибудь пять минут легкая лодочка летела по реке вниз. Гребец сильно загребал, дробил веслами в золотую мелочь, в кружочки и завитки светлый след луны.

— Намахаюсь...— сказал Степан.

— Ничего! — ободрила Алена.

Еще некоторое время греб Степан. Потом бросил весла, прислушался. И сказал, довольный:

— А-а! Погодь, Алена... черт ими не махал.

И направил лодочку к степному берегу.

— Степа!..— испугалась Алена.

— Дурную ты мыслю посоветовала мне,— сказал Степан.— И я тоже — согласился.

Лодочка ткнулась в берег. Степан выпрыгнул на сухое, сказал:

— Посиди пока, я скоро.

И исчез. С воды из-за берега не видно было, куда он пошел. Только через некоторое время услышала Алена его глуховатый, густой голос: "Трр, стой!" И поняла: коней ловит Степан. На острове коням не хватало корма, и казаки на ночь переплывали с ними на степной берег, и кони кормились там под присмотром двух-трех казаков. Но караульных казаков что-то не слышно было — не окликнули. Спят, наверно.

Скоро на берегу раздался дробный топот пары лошадей. Конские морды и голова Степана показались над обрывом.

— Вылазь. Задерни лодочку, чтоб не снесло.

Алена выпрыгнула из лодки, задернула ее подальше к обрыву, с трудом вскарабкалась на яр, невысокий, но отвесный.

Степан осматривал степь. Караульных не видно, огонька нигде нет.

— Спят, окаянные. Садись-ка... жди, я пробегу по берегу,— сказал Степан.

— Да кто тут, поди!..— заикнулась было Алена, но Степан уже подстегнул своего коня и скакал вдоль берега назад.

Алена села на конскую теплую спину, подумала о наряде своем, но махнула рукой — дьявол с ним, с нарядом. Важно, что желание ее исполняется.

Степан отъехал довольно далеко, остановился, громко крикнул:

— Эгей!.. Кто тут?!

Никто ему не откликнулся. Только по воде, слышно, прокатилось:"у-у-у!"

Степан вернулся. Сердитый.

— Степа, да шут с имя, с караульными!..— начала было Алена, но Степан не дал ей говорить.

— Хватит! — И, помолчав, отходчиво уже сказал: — Ну, едем или нет?

— Едем.

"Во разыгралась баба! — думал Степан, поглядывая сбоку на жену; Алена ладно сидела на коне, и если б не блестели под луной ее голые коленки, то и не сразу угадаешь: казак скачет или казачка.— До чего же разные они! Но — разные-то они разные, а у всех в башке — только любовь одна, больше — шаром покати — ничего".

Не знал Степан свою жену, плохо знал. Не только одна любовь была в голове у Алены. И любовь, конечно, но не одна только любовь. Не знал он, что Алена за день до этого посылала верного казака к Корнею Яковлеву, и тот передал ей с казаком же: "Пусть приезжают... Пусть она его как-нибудь зазовет ко мне,— можеть, и уговорим как-нибудь. Попробуем хоть".

Когда Алена уезжала к Степану в Кагальник, был у них с Корнеем разговор: все силы положить, а не допустить, чтобы голь донская, а особенно расейские головорезы подбили доброго атамана на грех и резню. Батюшку-атамана, заступника, ждали, не скрывали этого. И конечно, как он придет, говорили между собой Корней и Алена, первые к нему пробьются голодранцы, и уж они постараются — напоют в уши. Атаман добр до глупости, готов всех приветить, а они — рванина, сволочь — кинутся с жалобами.

— Наше, наше с тобой, Алена, первое дело — не допустить беды,— говорил Корней, вроде бы искренне озабоченный.— Перед богом и царем ответ держать будем, Аленушка. Ты к ему ближе всех, с тебя и спрос потом особый. Спрос, он ведь какой спрос: кровь прольется, а грех — на твою неповинную душу падет: могла удержать, а не удержала. Вот он и спрос весь. Для чего он казаков не хочет распускать? Чего задумал? Мир-то стоит до рати, а рать — до мира. Ох, Алена...

— Да как его удержать-то? Как? Иль ты не знаешь его? — вся трепетала Алена, пугалась.

— Знаю. А вот как удержать — не знаю. И посоветовать — не знаю как. Знаю только: быть беде. Для чего он войско не хочет распускать? На кого держит?.. Ты разузнай хоть это.

Но только прав был и Степан: жила в Алене огромная, всепожирающая любовь, и не будь ее, этой любви, никакому Корнею, будь он трижды опытный и хитрый, не подействовать бы на нее: Алена хотела удержать Степана возле себя, для себя, для счастливой, спокойной жизни. Ради этого она и не на такой сговор пошла бы. И когда сегодня решила она узвать Степана в Черкасск, то в ней правда родилось такое неодолимое желание: "Пройтись по улице, постоять у ворот". Желание это все росло и росло и выросло в нетерпеливую страсть, она временами стала забывать, зачем везет мужа в Черкасск, к кому. К себе она везла его, к себе — к молодой, любящей. В ту давнюю дивную пору везла и его, и себя, когда она, вырученная с дитем из ненавистного плена, ждала у тех самых ворот, у вереи, своего спасителя и мужа, которого боготворила, целовала следы ног его. Ждала из похода или с пирушки, хмельного, ждала и обмирала от любви и страха — как бы с ним не приключилась беда какая. Дурной он в хмелю, а на походе о себе не думает. Туда везла его теперь Алена, в ту желанную пору: не забыл же он все на свете с этими походами проклятыми, с войной. А забыл, то пусть вспомнит. А Корней... Корней свое дело сделает — он умный. Так и надо: со всех сторон надо обложить неугомонного атамана, чтоб он, куда ни повернулся, везде бы видел: он любим, он в почете, в славе... Чего же еще? Он будет войсковым атаманом — кто еще? Он богат... Неужели давать голодранцам сбить его на путь дурной, гибельный.

Луна поднялась над степью и висела странно близко: у Степана раз-другой возникло тоже странное желание: повернуть к ней коня и скакать, скакать — до хрипа конского, до беспамятства — и хлестнуть ее плеткой, луну. Он засмеялся. Алена посмотрела на мужа:

— Чего ты, Степушка?

— Поглядеть на нас с тобой этой ночью со стороны — два ушкуйника: лодку бросили, взяли коней и при ночном солнышке — в городок, воровать. А ниво того смешней — баба научила-то!

— Своровала б я теперь одного человека,— серьезно сказала Алена.— Своровала да спрятала подальше... Вот бы своровала-то!

Степан не понял.

— Кого?

— Казака одного... Стеньку Разина.

* * *

В Черкасск прискакали к третьим петухам. Оставили коней за городком, на берегу.

— Ну? — спросил Степан.— Куда? — И сам, глядя на спящий, знакомый до боли, чужой теперь городок, ощутил редкое волнение. Жаль чего-то стало: не то времени прожитого, не то... Грустно как-то сделалось.— Пошли. Я лаз знаю — ни один черт не увидит и не услышит...

Зашли со степной стороны городка, там стена местами изрядно прохудилась, пролезли, где на животе, где на карачках,— очутились в городке. Алена вышла вперед и повела теперь сама: свернула налево, перешли низинку, сырую, заросшую лопухами, вышли на улицу... Дорога, пыль на дороге, тускло серебрилась под луной, нигде ни души. И даже собаки почему-то молчали.

— Куда ты? — спросил Степан.

— Шагай,— велела Алена.

Алена тоже испытывала щемящее чувство грусти, любви... И вела ее все та же любовь, за которую, она понимала, пришла пора вступиться, которую надо отбить любой ценой. Про Корнея она пока не думала; она думала, что сейчас они войдут в церковь и там... повенчаются.

Когда Степан отбил у татар Алену и сделал ее своей женой, повели дело к тому, чтоб венчаться. Но батюшка черкасский запротивился:

— Венчать не стану. Она крещеная? Она же не помнит.

Алена не знала, была она крещеной или нет: в плен ее увезли маленькой. Попу со всех сторон говорили, что — как же иначе? — крещеная. Она же русская! Поп уперся: не буду венчать! Такой был упрямый поп.

— А ну-ка да некрещеная, тогда — грех, грех страшенный. Где хочете узнавайте: грех.

Мать Степана со слезами молила батюшку, Алена убивалась. Тимофей Разя тоже говорил с попом:

— Как же ты так — не поймешь: баба к своим попала, к русским, а ты... Она и так там намучилась, ее пригреть надо, а ты...

— Нет,— твердо стоял на своем поп.

— Ну, возьми да окрести, раз такое дело.

— Нельзя. Мы же не знаем,— можеть, они ее там в свою веру обернули.

— Она же говорит!..

— Ну, говорит!.. Охота у своих жить, вот и говорит. Она наговорит.

— Ну, змей ползучий, гляди! — в сердцах сказал тогда Степан попу.— Я те припомню.

Но поп тот помер, с новым разговор этот не затеяли — время прошло. И остались Алена со Степаном невенчанные. Но если Степан и вовсе забыл про это, а в последние годы у него вообще круто переменился взгляд на попов, то Алена все думала, что вот — не венчаны.

Подошли к церкви...

— Ну? — спросил Степан.

— Пойдем.— Алена шла впереди.

— Куда?

— Пойдем в церкву.

— Она ж закрыта!

— Там замок, он без ключа... Дерни покрепче, он откроется. Пойдем, Степа.

— Да зачем? — не понимал Степан, поднимаясь, однако, по ступеням к широким дверям церковным.— Чего там делать-то?

— Побожимся. Дадим клятву нерушимую перед Божьей Матерью, что никогда-никогда не забудем друг про дружку. Вечно будем любить и помнить... Степан, ты же согласился делать седня, как я прошу. Ради Христа, Степа...

"Блажит баба,— подумал Степан.— Шлея попала".

— Дергай,— велела Алена.

Степан без усилия разомкнул большой ржавый замок... Они вошли в церковь. Из верхних узких окон лился лунный свет, светлыми мечами рассекая темную, жутковатую пустоту храма. Один такой луч падал на иконостас, на икону Божьей Матери с Иисусом на руках. Алена вдруг подавленно вскрикнула и пала на колени перед высветленной иконой. Степан невольно вздрогнул от ее вскрика.

— Становись на колени, Степушка! — громким шепотом, сама не своя, заговорила Алена.— Светится, матушка! Вся светится. Говори за мной: матушка, царица небесная!.. Степа, стань на колени, ради Христа! Ради меня... Ради всех...

Степан опустился на колени, изумляясь, как неистово может заблажить баба.

— Говори: матушка, царица небесная...

— Я в уме буду.

— Не надо в уме. Говори за мной: матушка, царица небесная, как ты любишь своего дитятку, так и я буду...

— Алена! — воспротивился Степан.— Все клятвы эти у меня в голове. Я их знаю... Помню.

— Степа, говори...— Алена заплакала.— Как ты любишь своего дитятку, так я буду любить близких своих, никогда их не забуду...

— Я и так не забуду! — разозлился Степан. И встал.— Не реви! Кликуша какая-то... Чего ты седня?

— Поклянись, Степушка, поклянись, поклянись! Она нам поможет, матушка...

— Клянусь,— сказал Степан.— Чего с тобой делается-то?

— Не забуду родину свою, не забуду близких своих...

— Куда я, к туркам, что ль, побегу? Чего ты седня?

— Жену свою не забуду и не брошу. Не променяю ни на кого...

— Не променяю. Какой толк менять-то вас? Встань, не дури, Алена...

И тут чей-то голос, увеличенный пустотой церковной, громко спросил сзади:

— Это кто по ночам в церкви ходит?

Алена, в экстазе молитвенном, не узнала тот голос, шлепнулась от страха на четвереньки. Степан узнал — то был Корней Яковлев, крестный отец его. То ли он случайно — не спалось — увидел двери церкви раскрытыми (он жил напротив церкви, через площадь), то ли нарочно караулил редкого гостя... По голосу — не похоже, что со сна.

Степан поднял Алену с пола. Успокоил.

— Господи, матушки...— едва опомнилась Алена.— Чуть ума не решилась.

— Здоров, Степан! — приветствовал Корней Степана.— Чего же ночью-то, а не днем?

— А ночь вишь какая — светло...

— Ну, пойдем в гости?

— Нет, в гости я к тебе не ходок,— отрезал Степан. Не зло, впрочем, сказал, однако твердо.— Говорить хошь? Давай тут. Есть чего говорить-то?

— Э-э, мало ли! Столько время прошло...

— Степа, чего же зайти-то не хошь? — встряла Алена, сообразив, что теперь самый раз отговорить Степанушку от дурных мыслей.

— Помолчи! — велел ей Степан. Он стал догадываться, что свидание с Корнеем — подстроено.— Чего хотел спросить, кресный?

— Хотел спросить... Может, зайдешь все же? Чего мы здесь, как... — Корней хотел сказать "воры", но вовремя спохватился: Степана кое-кто как раз и величал "вором".— Как враги лютые,— досказал Корней.— Дом-то рядом. Да и твой дом — тут же. Хоть к тебе пойдем.

— Пойдем, Степушка, пойдем,— взмолилась Алена. Но ее не слышали, не до нее.

— Мой дом не тут, Корней...

— Где же? В Кагальнике?

— В чистом поле. Дом большой, крыша высокая... Жильцов много.

— Кого-кого — голи всегда хватало. Чем тут хвастаться...

— Чего спросить-то хотел?

— Спросить хотел... Больше устеречь хотел, чем спросить... Неладное затеваешь, Степан. Вижу. Но спрашивать — чего затеваешь — не стану. Не скажешь. Но три раза все же спрошу тебя. А ты ответь.

— Ну?

— Ты к царю послал станицу челом бить?

— Послал.

— Погоди, это не спрос, это я знаю. Больше знаю: помилует тебя царь...

— Снюхались? С царем-то... Небось посылал уж к ему?

— Нет, догадываюсь. Снюхаться мы с им всегда успеем — я служу ему, Степушка. И ты служишь... Ты его хлеб ешь.

— Ну. Дальше.

— Я становлюсь старый. Мне скоро дороже покой будет, чем знатность всякая. Кто войсковым станет? После меня

— Найдете. Свято место пусто не бывает.

— Ты станешь. Хошь, так сделаем: я раньше время пошлю к царю... попрошу сложить с меня войскового...

— Ну-у, кресный! — искренне удивился Степан.— Что эт тебя так допекло? Атаманствуй на здоровье.

— То меня допекло,— не выдержал Корней отеческого тона,— что еслив ты, кобель, забунтуесся, то и нам всем головы не сносить. Вот то и допекло.

— Так и говори. А то — знатность ему надоела.

— Я отдам тебе, отдам все!.. Бери. Дай дожить спокойно. Дай голову в могилу с собой унесть. Жалко мне ее — на колу-то будет сушиться. Все тебе отдам!..

— Не хочу. Мне ничего от тебя не надо. А что надо — сам возьму. Только — не надо.

— Другое, что хотел спросить тебя...

— Спрашивай.

— Ты знаешь, еслив ты подымесся против воли царя, он нас хлебного припаса лишит. Весь Дон. Знаешь? Ты же на голод нас обрекешь... Он уж и теперь не шлет вон!

— Врешь! Лукавишь, старый. Вас он припаса не лишит. Он боится, как бы я тот хлеб не перехватил выше, оттого и не шлет вам пока. Я это не сделаю. Если хошь говорить по правде, говори, не лукавь. Не делай из меня недоумка.

— Недоумка из тебя никто не делает... Не сделать. Но не великим умом грешат, Степан, грешат волей. С недоумком я бы не разговаривал тут.

— Какой ишо спрос?

— Куда хошь ийти по весне?

— Этого я... не только тебе или царю, а самому господу богу не скажу. Все?

— Все. Ты знаешь, на што ты идешь?

— Знаю.

— Знаешь. Не маленький. Только не знаешь ты, что сгубишь все наши вольности донские... Не тобой тоже они добывались, не твоими голодранцами. Ты же, в угоду этим голодранцам, все прахом пустишь, за что отцы наши, и твой отец, головы свои клали. Подумай сперва. Крепко подумай! Бежит с Руси мужик — ему хоть есть куда бежать, на Дон. Еслив он не душегубец прирожденный, не пропойца, мы завсегда его приветим, ты знаешь. Ты же сделаешь так, что мужику некуда будет голову приклонить. Лишат нас вольностей...

— То-то, я гляжу, приветили вы тут голодранцев-то! То-то приветили, приласкали — рожи воротите. На отцов наших не кивай — не тебе равняться с ими. Они-то как раз привечали. А вы — прихвостни царские стали. Мужика у тебя скоро из-под носа брать будут, вертать поместнику... Ты не увидишь. Ты пальцем не пошевелишь. А то и сам свяжешь да отвезешь. Ты весь жиром затек, кабан! — Голос Степана окреп и зазвучал недобро, немирно.— Пришел отговаривать!.. Соблазнять пришел, как девку глупую,— гостинцев дам! Неужель ты верил, что у меня слюни потекут от твоих посулов? Да мне твое атаманство даром не надо! А про вольности... не моги даже вякать! А то я тебе на язык наступлю. Это их вон,— показал на Алену,— собьешь с толку... Сбил уж. Но я-то все же казак, кресный. Не дите же я малое. Я думал, ты пошире невод заведешь... Можеть, думаю, он куда-нибудь на калмык поманит, лиса... А он пужать явился. Дай дорогу! — Степан шагнул прямо на войскового. Тот посторонился.

Степан вышел из церкви и направился не к лазу, через какой они проникли в городок, а к воротам — на караульного.

— Кто?! — окликнули его сонно.

— Свои,— сказал Степан.

Над степью занималось утро.

17

В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. Трое. Патриарх внимательно выслушал их... Велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю:

— Ты — царь, ты не хочешь сломить гордыню свою. Не передо мной, перед богом-вседержителем. Ты забыл: он тебя возвысил к себе, но он тебя и низвергнет...

В палату заглянул черный дьякон Мардарей:

— Чего с казаками делать?

— Накормили?

— Накормили.

— Вывесть за ворота и отправить с богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи.

Мардарей исчез.

— Низвергнет,— подсказал писец.— Дальше?

— Истинно говорю тебе: учинится пир кровавый в твоем государстве, ибо некому просить бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет: человеки насытятся мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтоб господь бог услыхал наши молитвы, уберег Русь...— Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать... Потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке.

Он не послал то письмо царю. Раздумал.

— Жирно будет,— сказал.— Переживешь... Лупоглазый.

ЧАСТЬ 2

МСТИТЕСЬ, БРАТЬЯ!

1

Писали к великому государю.

Из Астрахани боярин и воевода князь Иван Семенович Прозоровский с товарищами:

"Посылали де они из Астрахани на Дон до Черкасского казачья городка едисанского улусного татарина Юмашка Келимбетова тайным обычаем и велели ему про Стеньку Разина и про товарищев его разведать подлинно: в котором городке учнет он, Стенька, жить, и товарищи ево с ним ли, Стенькою, станут зимовать или от него пойдут врознь; и примут ли ево на Дону старшины или учнут писать к великому государю о указе, и какие меж ними ссылки будут. И декабря в 9 день татарин Юмашка, приехав в Астрахань, в распросе сказал: "Съехал де он Стеньку Разина с товарищи на Царицыне и жил с ним с неделю, а с Царицына де ехал он с ним, Стенькою, вместе до Пятиизбского казачья городка. И Стенька де с товарищи из Пятиизбского городка поехал вниз Доном рекою стругами и пришел де в Кагальницкий городок и жил в том городке 6 дней. И обыскал де он, Стенька, ниже того городка с версту остров, и на том острову зделали земляные избы... А ево де, Стенькины, казаки живут все вместе, и никово де он, Стенька, товарищев своих от себя не отпускает, держит их у себя в крепи".

С Царицына воевода Андрей Унковский писал:

"Приезжали з Дону на Царицыи донские казаки 2 человека и сказывали, что Стенька Разин с товарищи меж

Кагальника и Ведерникова зделали городок земляной. И послал де он, Стенька, в донской в Черкасской городок по жену свою да по брата своего Фролка з женою ж, а сам де он, Стенька, хочет ехать в войско не со многими людьми. А казаков де своих, которых тутошних прежних донских жильцов, отпускает в казачьи городки для свиданья родителей своих на срочные дни за крепкими поруками. А из запорожских де городов Черкасы и из донских городов казаки, которые голутвенные люди, к нему, Стеньке с товарищи, идут беспрестанно, а он де, Стенька, их осуждает и уговаривает всячески. А всех де казаков ныне у него 2700 человек, и приказывал он казакам беспрестанно, чтоб они были готовы. А какая у него мысль, про то и ево казаки немногие ведают, и никоторыми де мерами у них, воровских казаков, мысли доведатца не мочно. Да ему же де сказывали сотник стрелецкий Микита Урывков и иные служилые люди, которые были в калмыках, что на Дону и на Хопре во многих городах казаки, которые одинакие и голутвенные люди, Стеньке с товарыщи гораздо рады, что они пришли на Дон. И говорят казаки, что на весну однолично Стенька Разин пойдет на воровство, и они де, донские и хоперские казаки, с ним пойдут многие. А которые де старожилые домовые казаки, те де о том гораздо тужат".

От царя и великого князя Алексея Михайловича писали:

"К атаманам и казакам и всему войску Донскому:

Ведомо великому государю учинилось, что Стенька Разин с товарыщи стоит в вашем казачьем верхнем городке Кагальнике. И которые де из наших великого государя украинных городов торговые всякие люди ездят к вам на Дон со всякими запасы, и тех де торговых людей он с теми запасы задерживает у себя, а в Нижней Черкасской городок к вам их не пропускает.

И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вам бы, атаманам и казакам, проведати всякими мерами: которые всяких чинов торговые люди ездят к вам на Дон из наших великого государя украинных городов со всякими запасы и с товаром, и им от Стеньки Разина нет ли какова утеснения, и с ворами ссылку о чем чинит ли и з Дона итти не помышляет ли. И как наше великого государя жалованье и хлебные запасы посланы будут к вам на Дон, порухи какие он, Стенька, не учинит ли. Да что о том проведаете, и вам бы о том о всем отписать к нам, великому государю, подлинно вскоре з жильцом з Герасимом Евдокимовым, который

послан к вам с сего нашего великого государя грамотою. А наше великого государя жалованье по вашему челобитью, деньги, и сукна, и зелье, и свинец, и хлебные запасы, и вино, послано к вам на Дон будет с станичники вашими без умоленья".

Воронежскому воеводе Василью Епифаиовичу Уварову писали:

"Ведомо нам, великому государю учинилось, что многие боярские и всяких чинов людей холопи, бегая с Москвы и из городов, приставают к донским станичникам и уходят разными дорогами на Дон.

И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, а донские станичники учнут приезжать на Воронеж, и ты б велел у них боярских и всяких чинов людей холопей осматривать. И буде сверх их, донских казаков, объявитца беглые холопи или иные какие люди, и ты б у них тех людей велел имать и распрашивал накрепко, хто откуда бежал, и тех беглых людей у донских станичников велел имать и сажал в тюрьму и писал к нам, великому государю. Да и Воронежском уезде в наших великого государя дворцовых волостях и всяких чинов людей в селах и в деревнях велел заказ учинить крепкий: буде где какие люди объявятся без проезжих, конные и пешие, и тех бы людей отнюдь нигде не пропускали, а приводили бы их к тебе в съезжую избу. И ты б тех людей по тому ж, распрашивая, сажал в тюрьму и писал к нам, великому государю, а отписки велел подавать в Посольском приказе".

Наказная память жильцу Герасиму Евдокимову:

"А приехав на Дон к атаманам и казакам, велети про себя сказати, чтоб ему дали место, где ему постоять, и приказати к ним, атаманам и казакам, чтоб они были все в зборе. Да как они соберутся, и ему, Герасиму, итти к ним, атаманам и казакам, в круг и вслед в круг атаманам и казакам поклонитись рядовым поклоном.

А после того атаманов и казаков спросити о здоровье, а молыть: — Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных

и северных отчич и дедич и наследник и государь и обладатель, велел вас, атаманов и казаков, спросити о здоровье; да после того подать атаманам и казакам великого государя грамоту.

Да ему же, Герасиму, будучи на Дону, проведати всякими мерами подлинно: где ныне Стенька Разин, и с ним атаманы и казаки в совете ль или не в совете, и ссылка меж ими есть ли; и к тому Стеньке казаки, к ево злому умыслу, на всякое воровство не приставают ли...

Да как ево, Герасима, з Дону отпустят, и ему, взяв у атаманов и казаков отписку, ехать к Москве наскоро. А едучи ему дорогою на Дон и з Дону назад, от Стеньки Разина быть опасну, чтоб ево на дороге великого государя с грамотою где у себя не задержали.

А приехав к Москве, явитись ему и атаманов и казаков отписку подать в Посольском приказе".

2

Между тем пришла желанная весна...

Шумит в Черкасске казачий круг: выбирается станица в Москву с жильцом Герасимом Евдокимовым. В Москву собрался жилец, домой... А теперь допивал чаи и меды в атаманском доме.

И тут в круг вошел Степан Тимофеевич Разин. Это был гость нежданный. Явился он раньше своего войска, которое сплывало стругами вниз по Дону в Черкасск.

— Куда станицу выбираете? — спросил Степан громко, резко.

— Отпускаем с жильцом Герасимом к великому государю,— отвечал Корней, явно растерявшись при виде грозного своего крестника.

— От кого он приехал?

— От государя...

— Позвать суда Герасима! — велел Степан.— Счас узнаете, от кого он приехал.— И, оглядев притихших казаков черкасских, повысил голос: — Всех проходимцев боярских стали примать?!

Герасима уже волокли голутвенные... Жилец перетрусил и заметно утратил начальный вид.

— От кого ты приехал, сучий сын: от государя али от бояр? — спросил его Степан.

— Приехал я от великого государя Алексея Михайловича с его государевою грамотой,— отвечал Герасим торопливо и сунулся за пазуху, достал цветастую грамоту.— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и северных отчич и дедич наследник и государь и обладатель, велел всех вас, атаманов и казаков, спросить о здоровье...

— Врешь! — загремел Степан.— Не от царя ты приехал, а лазутчиком к нам!

— Да вот же грамота-то!.. За печатями...

— От бояр ты приехал, пес! — Степан подступил к жильцу, выхватил у него грамоту, разодрал, бросил под ноги себе, втоптал в грязь. И еще харкнул на нее.

Круг удивленно загудел: такого в Черкасске не бывало.

Жилец вдруг почувствовал прилив посольской храбрости.

— Как ты смел, разбойник!..

Степан развернулся и дал послу по морде; тот отлетел в ноги к разинцам, которые вышли теперь вперед, оттеснив домовитых. Голутвенные взяли жильца в пиночья.

— В воду его! — крикнул Степан.

Корней кинулся было защищать Герасима, но его отбросили прочь. Посла поволокли к Дону.

— Степан, что ты делаешь?! — закричал Корней.— Останови!..

— И ты того захотел?! Гляди!

— Я велю тебе! — попытался подействовать Корней угрозой.— Кто тут войсковой атаман? Ты или я?! Останови их!

— Владей своим войском, коли ты атаман, а я буду своим. В воду жильца!

— Степан... сынок... головы всем поснесут, что ты делаешь! Останови! — просил Корней: за кого, за кого, а за жильца-то в Москве спросят, и не со Стеньки же спросят!

Степан двинулся прочь с круга.

— Степка, ведь это — война! Ты понимаешь, дурак? — крикнул вслед ему Корней.

— Война, кресный. Война,— ответил Степан.

Жильцу Евдокимову связали руки, наклали за пазуху камней, раскачали и кинули в воду. Жилец громко кричал — грозил карой небесной. Грозил царем...

Степан появился на берегу.

— Не нашли Фролку? — спросил он окружавших его казаков.

— Нет, схоронился. Или уехал куда. Нигде нету.

— Пускай передадут ему,— говорил на ходу Степан,— вылазь, мол, Фролка, ишо раз отпускает тебе вины твои атаман. Пускай вылезет, не трону. Вон наши гребут... Скажите: круг будет. Корнея и старшину продажную гнать. Наш будет круг!

Степан с братом Фролом, в окружении есаулов и сотников, вышел к тому месту Дона, где приставала его флотилия во главе с Иваном Черноярцем.

Подгреб к берегу головной струг... Иван выпрыгнул и пошел навстречу атаману.

— Как пришли? — спросил Степан.

— Бог миловал — все в добром здравии. Всех, с ногаями,— три тыщи и семьсот.— Иван выглядел празднично: дождался похода.

— Добре. Из стружков не выгружайся... Выволоки, какие текут, просмолите. Сгони всех плотников Черкасскова — делайте новые, сколь успеете.

— Корнея видал?

— Видал. Скажи казакам, круг будет. Мои как?

— Вон,— показал Иван,— все в целости.

С одного из причалившик стругов сходили бабка Матрена и Алена с Афонькой.

— Позвать?

— Потом. Пускай домой идут. Пошли на круг. Иван, Федор, идите-ка ко мне, погутарим.

Перед каждым кругом Степан говорил с "башковитыми" — первыми своими помощниками: атаман не то что наказывал, как надо им говорить на кругу, но и не скрывал, чего он ждет от круга, какого решения,— советовал, куда гнуть.

Собрался круг голутвенных. Ни Корнея Яковлева, ни старшины, ни домовитых здесь нет. Только — свои.

Степан, дождавшись теплых дней, двинул события; он понимал: силу, какую он теперь собрал, надо устремить, застой и промедление пагубны для дела и его атаманства.

Степан опять сидел несколько в стороне, на бугре.

В круг вышел Иван Черноярец.

— Казаки! Пришла пора выступать нам. Куда? Моя дума: под Азов! Попытаем ишо раз... Как?! Любо?! — Так уговорились с атаманом: объявить на выбор все возможные пути.— Азов, ребяты?! — еще крикнул Черноярец. И даже зачем-то рукой показал в сторону Азова.

Круг промолчал. Черноярец — это еще не "башка".

Иван отошел в сторону, к Степану. Степан мельком глянул на него и опять принялся постегивать плеткой сапог. Он слушал круг.

Вышел Федор Сукнин.

— Моя дума: на калмык! — громко сказал он.

Круг молчал.

— На калмык, браты! — еще раз призвал Федор.

И опять круг ответил молчанием. Федор тоже судьбу войска за хохолок не держит.

Федор удалился, не выказав огорчения.

Смотрели на Степана. Вот в чьей руке судьба...

— Батька, какая твоя дума?! — крикнули.— Скажи!

Степан медлил. Степану надо накалить обстановку.

— Скажи, батька,— орали.— Больше никого слухать не станем! Скажи сам!..

Степан поднялся на бугре. Помолчал... Оглядел всех.

— Дума моя: пора нам повидаться с бояры! — сказал он крепко и просто. Помолчал, оглядел всех и еще сказал: — А?

— Любо!! — ухнул круг. Ждали этого.

— Постоять бы нам теперь всем и изменников на Руси повывесть, и черным людям дать волю!

— Любо, батька! — радостно ревела громада. Давно ждали этого: всю зиму потихоньку глодали эти мысли — про изменников бояр, теперь орали открыто, потому и радовались.

— Как йтить? — спросил Степан.

Тут начался разнобой. Это кровно касалось всех тут.

— Волгой! — кричали донцы.— Дорога знамая!

— Доном! Прямиком, мимо Танбова! — звали пришлые.— Нам эта дорога тоже знамая.

Шум поднялся невообразимый. Там и здесь поталкивали уже друг друга в грудки. Это вопрос коренной — как идти. Как идти, так и воевать, донцы, кто поумнее, понимали это; беглые мужики хороши в родных своих местах, там один драный молодец будет стоить трех: там он и счет короткий сведет с боярином, и дорогу покажет верную, и с собой подговорит не дружка, так кума, не кума, так свояка... Донцам же дорога Волга, и Степану тоже, но надо теперь перекричать пришлых, не одни они теперь.

— Мимо Танбова — мы там весь хлеб по селам пожрем! Чем Дон питаться будет? Откуда привезут?! У нас тут детишки остаются,— надрывался казак, обращаясь к пришлым.

— Зато — наша родная дорога! — стояли пришлые.

— Нам Волга такая же родная!

— Кто к нам на Волге пристанет?! Мордва косопузая?!

— Хошь и мордва! Не люди, што ль? Не одна мордва, а и татарин, и калмык пристанет! — гнули свое казаки.

— А чего с имя делать?! — орали пришлые.

— А с тобой чего делать? Ты сам гол как сокол пришел. Тебя приняли?! А ты теперь рожу от мордвы воротишь! На Волгу, братцы! Там — раздолье!

— Пойдем пока до Паншина. Там ишо разок сгадаем,— сказал Степан.— Туда Васька Ус посулился прийтить. Вместях сгадаем. Все.

В круг протиснулись посыльные от городка Черкасска во главе с попом. Люди все пожилые, степенные. Стеньку знали, знали щедрость его.

— До тебя, атаман.

— Ну?

— Покарал нас господь бог,— начал поп,— погорели храмы наши... Видишь?

— Вижу,— сказал Степан.

— Ты богат теперя... на богомолье в Соловки к Зосиме ходил...

Степан нахмурился:

— Ну? Дальше?

— Дай на храмы.

— Шиш! — резко сказал Степан.— Кто Москве на казаков наушничает?! Кто перед боярами стелится?! Вы, кабаны жирные! Вы рожи наедаете на царевых подачках! Сгинь с глаз, жеребец! Лучше свиньям бросить, чем вам отдать! Первые доносить на меня поползете... Небось уж послали, змеи склизкие. Знаю вас, попов... У царя просите. А то — на меня же ему жалитесь и у меня же на храмы просите. Прочь с глаз долой!

Поп не ждал такого.

— Охальник! Курвин сын! Я по-христиански к тебе...

— Лизоблюд царский, у меня вспоможенья просишь, а выйди неудача у нас — первый проклинать кинешься. Тоже по-христиански?

Вперед вышел пожилой казак из домовитых:

— Степан... вот я не поп, а тоже прошу: помоги церквы возвесть. Как же православным без их?

— А для чего церквы? Венчать, что ли? Да не все ли равно: пусть станут парой возле ракитова куста, попляшут — вот и повенчались. Я так венчался, а живу же — громом ие убило.

— Нехристь! — воскликнул поп гневно.— Уж не твоим ли богомерзким наущением церквы-то погорели?

Степан вперился в попа:

— Сгинь с глаз, сказал! А то счас у меня хлебнешь водицы!.. Захребетник вонючий. По-христиански он... Ну-ка, скажи мне по-христиански: за что Никона на Москве свалили? Не за то ли, что хотел укорот навести боярству? А?

Поп ничего не сказал на это, повернулся и ушел.

* * *

— Всех, всех разнес,— выговаривала бабка Матрена крестнику.— Ну, Корнея — ляд с им, обойдется. А жильца-то зачем в воду посадил? Попа-то зачем бесчестил?..

— Всех их с Дона вышибу,— без всякой угрозы, устало пообещал Степан. Он на короткое время остался без людей, дома.

— Страшно, Степан,— сказала Алена.— Что же будет-то?

— Воля.

— Убивать, что ли, за волю эту проклятую?

— Убивать. Без крови ее не дают. Не я так завел, нечего и всех упокойников на меня вешать. Много будет. Дай вина, Алена.

— Оттого и пьешь-то — совесть мучает,— с сердцем сказала набожная Алена.— Говорят люди-то: замучает чужая кровь. Вот она и мучает тебя. Мучает!

— Цыть!.. Баба. Не лезь, куда не зовут. Бояр небось не мучает... Ишо раз говорю: не зовут — не лезь.

— Зовут! Как зовут-то! — Алена взбунтовалась. Здесь, в Черкасске, ее подогрели.— Проходу от людей нет! Говорят: на чужбине неверных бил и дома своих же, христьян, бьет. Какую тебе ишо волю надо?! Ты и так вольный...

В другое время Степан отпугнул бы жену окриком, может, жогнул бы разок сгоряча плеткой, которую постоянно носил на руке и забывал иногда снять дома. Но — чувствовал: забудь люди страх, многие бы заговорили, как Алена. А то и обидней — умнее. Это удивляло Степана, злило... И он заговорил, стараясь хранить спокойствие:

— Я — вольный казак... Но куда я деваю свои вольные глаза, чтоб не видеть голодных и раздетых, бездомных... Их на Руси — пруд пруди. Я, можеть, жалость потерял, но совесть-то я не потерял! Не уронил я ее с коня в чистом

поле!.. Жалко?! В гробину их!..— Степан побелел, до хруста в пальцах сжал рукоять плетки.— Сгинь с глаз, дура!

Алена пошла было, но Степан вскочил, загородил ей дорогу, близко наклонился к ее лицу:

— А им не жалко!.. Брата Ивана... твари подколодные...— Спазма сдавила Степану горло; на глазах показались слезы. Но он говорил: — Где же у их-то жалость? Где? Они мне рот землей забили, чтоб я не докричался до ее, до ихней жалости. Чтоб у меня даже крик или молитва какая из горла не вышла — не хочут они тревожить свою совесть. Нет уж, оставили живого — пускай на себя и пеняют. Не буду я теперь проклинать зря. И молиться не буду — казнить буду! Иди послушай, чего пришлые про бояр говорят: скоты! Хуже скотов! Только человечьего мяса не едят. А кровь пьют. А попы... Тьфу! Благостники! Скоты!.. Кого же вы тут за кровь-то совестите? Кого-о?!

Матрена налила в чашу вина, подала Степану:

— Остынь, ради бога, остынь... ажник помушнел.

Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долго молчал, потом опять заговорил — тихо, устало:

— Бесстыдники-то вы: дармоедами беглецов обзываете... Я знаю, кто тебе поет в уши... Своих, говорят? Нет, не свои они мне. Мне — кто обижен, тот свой. Змеи брюхатые мне не свои. Умел бы я как-нибудь иншо с имя говорить — говорил бы. Не умею. Осталось — рубить. Рубить умею. Попытайте вы, богомольцы, своими молитвами укорот им навести! А они скоро всю Русь сожрут! Попытайте, а я погляжу, как они от ваших молитв добрыми сделаются. Плевать они хотели на ваши молитвы!

Степан замолчал. Налил еще вина, выпил, опустил голову на руки, закрыл глаза... Уставал он от таких разговоров очень. Избегал их всячески, но они случались.

Женщины оставили его одного.

Но только они вышли, нагрянули гости: Иван Черноярец, Федор Сухнин... А с ними — Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, все семеро, что ходили в Москву к царю бить челом в Кремле за вины казачьи. Только теперь, увидев их, живых-здоровых, понял Степан, как дороги они ему, верные его товарищи, и как глупо, что он отпустил их в Москву: могли там остаться гнить заживо в царевых подвалах, а то и вовсе сгинуть.

— Тю! — воскликнул Степан радостно.— Ото — гости так гости! Хорошие вы мои...

Вся станица перецеловалась с атаманом.

— Ото гостеньки!..— повторял Степан.— Да как же? Когда вы? — Он был рад без ума. Чуть не плакал от радости. Все время, пока Ларьки с товарищами не было, болела совесть: зря послал в Москву.— Откуда теперь-то?

— А прямо с дороги.

— Алена! — стол: гулять будем. Где она? — суетился Степан.— Ну, ребятушки!.. Радый я за вас. Слава те господи! А видали войско?.. А? — Степан засмеялся.— Закачается мир! Садитесь, садитесь...

Алена вошла, с неудовольствием посмотрела на ораву и принялась накрывать на стол. Опять — гульба.

— Что царь, жив-здоров? Отпустил вас?.. Или как? — расспрашивал Степан.

— Нас с караулом в Астрахань везли, а мы по путе ушли. Зачем нам, думаем, в Астрахань-то?.. Батька на Дону теперь.

— Охрана как же?

— Коней, оружью у их отняли, а их пешком пустили...— Ларька тоже улыбался, довольный.

— Славно. Что ж царь? Видали его?

— Нет, с боярами в приказе погутарили...

— Не ждут нас на Москву?

— Нет. Они тада не знали толком, где мы есть-то — на Дону или на Волге...

— Добре, пускай пока чешутся. Завтра выступим. А эт кто же? — Степан увидел Федьку Шелудяка.

— Федор... По путе с нами увязался. Бывалый человек, на Москве, в приказе, бича пробовал.

— Из каких? — спросил Степан, приглядываясь к поджарому, смуглому Федьке.

— Калмык. Крещеный,— сказал Федька.

— Каково дерут на Москве?

— Славно дерут! Спомнишь — на душе хорошо. Умеют.

— За что же?

— Погуляли с ребятами... Поместника своего в Волгу посадили. Долго в бегах были. А на Москве, с пытки, за поместника не признался. Беглый, сказал. А родство соврал...

— Как же это вы? И не жалко вам его, поместника-то?

У Шелудяка глаза округлились от удивления: он слышал про Стеньку Разина совсем другое — что тот тоже не жалует поместников.

Степан засмеялся, засмеялись и есаулы.

— Алена, как у тебя? — спросил Степан.

— Садитесь.

* * *

Крепко спит хмельной атаман. И не чует, как хлопочут над ним два родных человека: крестная мать и жена.

Алена, положив на колени руки, глядит не наглядится на такого близкого ей и далекого, родного, любимого и страшного человека.

Матрена привычно готовится творить заговор.

— Господи, господи,— вздохнула Алена.— И люблю его, и боюся. Страшный он.

— Будя тебе, глупая! Какой он страшный — казак и казак.

— Про што думает?.. Никогда не знала.

— Нечего и знать нам...— Матрена склонилась над Степаном, зашептала скороговоркой: — Заговариваю я свово ненаглядного дитятку Степана, над чашею брачною, над свежею водою, над платом венчальным, над свечою обручальною.— Провела несколько раз влажной ладонью по лбу Степана; тот пошевелился, но не проснулся.— Умываю я своего дитятку во чистое личико, утираю платом венчальным его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты красные...— Отерла платком лицо. Степан опять не проснулся.

— Погинет он, чует мое сердце,— с ужасом сказала Алена.

— Цыть! — строго сказала Матрена.— Освечаю свечою обручальною его становой кафтан, его шапку соболиную, его подпоясь узорчатую, его сапожки сафьяновые, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую...

Алена тихонько заплакала. Матрена глянула на нее, покачала головой и продолжала:

— Будь ты, мое дитятко, цел, невредим: от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачнова бойца, от ратоборца, от дерева русскова и заморскова, от полена длиннова, недлиннова, четвертиннова, от бабьих зарок, от хитрой немочи, от железа, от уклада, от меди красной, зеленой, от серебра, от золота, от птичьева пера, от неверных людей: ногайских, немецких, мордвы, татар, башкирцев, калмык, бухарцев, турченинов, якутов, черемисов, вотяков, китайских людей.

Бойцам тебя не одолеть, ратным оружием не побивать, рогатиною и копьем не колоть, топором и бердышом не сечь, обухом тебя бить не убить, ножом не уязвить, старожилым людям в обман не вводить; молодым парням ничем не вредить, а быть тебе перед ними соколом, а им — дроздами.

А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким — в нощи и в полуночи, в часу и в получасье, в пути и дороженьке, во сне и наяву — сбережен от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от сгоренья.

А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.

Заговариваю я, раба, Степана Тимофеича, ратного человека, на войну идущего, этим моим крепким заговором. Чур, слову конец, моему делу венец.

Алена упала головой на подушку, завыла в голос:

— Ох, да не отдала б я его, не пустила б...

— Поплачь, поплачь,— посоветовала Матрена,— зато легше будет. Шибко только не ори — пускай поспит.

— Ох, да на кого же ты нас покидаешь-то?.. Да и что же тебе не живется дома-то? Да и уж так уж горько ли тебе с нами? Да родимый ты мо-ой!..— с болью неподдельной выла Алена.

Степан поднял голову, некоторое время тупо смотрел на жену... Сообразил, что это прощаются с ним.

— Ну, мать твою... Отпевают уж,— сказал недовольно.

Уронил голову, попросил:

— Перестань.

3

Шли стругами вверх по Дону. И конники — берегом.

Всех обуяла хмельная радость. Безгранична была вера в новый поход, в счастье атамана, в удачу его.

Весна работала на земле. Могучая, веселая сила ее сулила скорое тепло, жизнь.

Степан ехал берегом.

В последние дни он приблизил к себе Федьку Шелудяка. Нравился ему этот, совершенно лишенный страха и совести выкрест, калмык родом, отпетая голова, ночной работничек. Был он и правда редкий человек — по изворотливости, изобретательности ума, необыкновенной выносливости и терпению.

Федька ехал рядом со Степаном, дремал в седле: накануне крепко выпили, он не проспался. Опохмелиться атаман никому не дал. И сам тоже не опохмелился.

Степан чуть приотстал... И вдруг со всей силой огрел Федькиного коня плетью. Конь прыгнул, Федька чудом усидел в седле, как, скажи, прирос к коню, только голова болтанулась.

Степан засмеялся. Похвалил:

— Молодец.

— Э-э, батька!.. Меня с седла да с бабы только смерть сташшит,— похвалился Федька.

— Ну? — не поверил Степан.

— Ей-богу!

— А хошь, вышибу? На спор...

— Хочу. Поспать. Дай поспать, потом вышибешь.

Степан опять засмеялся, покачал головой:

— Иди в стружок отоспись.

Федька подстегнул коня и поскакал, веселый, к берегу.

Сзади атамана тронул подъехавший казак, сказал негромко:

— Батька, там беда у нас...

— Что? — встрепенулся Степан; улыбку его как ветром сдуло.

— Иван Черноярец казака срубил.

— Как? — Степан ошалело смотрел на казака, не мог понять.

— Совсем — напрочь, голова отлетела.

Степан резко дернул повод, разворачивая коня... Но увидел, что сам Иван едет к нему в окружении сотников и казаков. Вид у Ивана убитый.

Степан подождал, когда они подъедут, сказал коротко:

— Ехай за мной.— Подстегнул коня и поскакал в степь, в сторону от войска.

Иван поспевал за ним. Молчали.

Далеко отъехали... Степан осадил коня, подождал Ивана.

— Как вышло? — сразу спросил он есаула.

— Пьяные они... Полезли друг на дружку, до сабель дошло. Я унять хотел, он — на меня... Казак-то добрый.— Иван зачем-то глянул на свою правую руку, точно боялся увидеть на ней кровь казака.

— Кто?

— Макар Заика, хоперец.

— Ну?

— Ну и рубнул... Сам не знаю, как вышло. Не хотел.— Иван хмурился, не мог поднять головы.

Степан помолчал.

— А чего такой весь? — вдруг остервенело спросил он.

— Какой? — не понял Иван.

— Тебе не есаулом счас с таким видом, а назем выгребать из стайки! Впору слезьми реветь!..

— Жаль казака... Не хотел ведь. Чего ж мне, веселиться теперь?

— Ты эту жаль позабудь! Рубнул — рубнул, ну и все. А сопли распускать перед войском — это я тебе не дам. Ты — вож! Случись завтре: достанет меня стрелец какой-нибудь, кто все в руки возьмет? Кто, еслив есаулы мои хуже курей снулых? Надо про это думать или нет? Жалко? Ночь придет — пожалей. Один.

Помолчали.

— И мне жалко. В другое время я б тебя живого вместе с убитым закопал,— досказал Степан.— За казака.

Иван вздохнул:

— В другое время... В другое время я б сам поостерегся с саблей — черт подтолкнул. Казак-то добрый... я его знал хорошо. А тут как збесился: глаза красные, никого не видит... ажник жуть берет. Я уж с им и так и эдак — не слышит ничего и не видит. Ну, вот... и вышло.

— Вперед за пьянством гляди хорошенько. Ни капли, ни росинки маковой на походе! Ехай с глаз долой и не показывайся такой. И казакам не кажись. Очухайся один где-нибудь.

Иван поскакал назад, Степан — в голову конницы.

Обеспокоенные событием, его ждали Федор Сукнин, Ларька, Стырь, дед Любим. Убийство воина-казака своим же казаком — дело редкостное. Боялись за Ивана: если же атаман некстати припомнит войсковой закон, есаул может поплатиться за казака головой. Случалось, хоронили в одной могиле обоих казаков — убитого и убийцу его, живого, при этом вовсе не разбирались, почему и как случилось убийство.

Степан налетел на есаулов:

— Был приказ: на походе в рот не брать?! Был или не был?

— Был,— откликнулся за всех Федор.

— Куда смотрите?! До дури уж допиваются!..

Молчание.

— Ивана не виню, рубнул верно. Вперед сам рубить буду и вам велю. Всем скажите! Пускай на себя пеняют.

Есаулы украдкой облегченно вздохнули — пронесло с Иваном.

— Макара схоронить по чести,— велел атаман.— И крест поставить.

* * *

На виду Паншина городка стали лагерем. Стояли двое суток, поджидая, когда подойдет со своими Чертоус; уговорились через посыльных встретиться здесь.

На третий день к вечеру на горизонте показались конные Васьки Уса.

Василий Родионович Ус (Чертоус) был к тому времени пожилым, понаторевшим военачальником, прошел две войны, поход под Москву... Поход был, правда, неудачный и горький — от Москвы казаки бежали, бросая по дороге приставших к ним мужиков, но неудача не сломила Василия, не остудила его страсть к войне и походам. Был он еще силен, горд, московский поход забыл.

Степану сказали про конных. Он вышел из шатра, тоже смотрел из-под руки. Он, пожалуй, волновался: охота было склонить славного Ваську с собой.

— Кто больше у его? — спросил у казаков.

— Больше из Вышнева Чира,— стал пояснять казак, ездивший нарочным к Василию,— голутьба. Запорожцы есть — с войны с им...

— Ты ездил к нему? — спросил Степан казака.

— Я.

— Как он?

— Ничо... Погляжу, говорит. Что, мол, за атаман, погляжу.

— Казаков принять хорошо,— велел Степан. И замолчал. Ждал. Должно свершиться важное: Ус поставит под верховную команду Разина свои казачьи отряды. Или — не поставит: Ус казак силен, молва про него на Дону добрая... Степан его не знал (дом Уса в Раздорах, да и там он бывает раз в год по обещанию — вечно в походах); его хорошо знал Сергей Кривой, дружок Уса. Сергей-то и рассказывал Степану про Василия. Сергей же сказал, что Ус — казак вовсе не глупый, но быковатый: заупрямится — с места не сдвинешь, но если изловчиться и захомутать его, — будет пахать.

Василий подъехал к группе Степана, остановился... Некоторое время спокойно, чуть насмешливо рассматривал казаков.

— Здорово, казаки-атаманы!

— Здорово! — ответили разинцы.

— Кто ж Стенька-то из вас?

Степан смолчал. Повернулся, пошел в шатер. Через некоторое время от него вышел Стырь и торжественно объявил:

— Атаман просит зайтить!

Василий, несколько огорошенный таким приемом, спешился, пошел в шатер. С ним вместе пошел еще один человек, не казачьего вида. Казаки — разинцы и пришлые, Уса, — молча смотрели на шатер: никто не ждал, что славные атаманы повстречаются так... странно.

— Чтой-то неласково ты меня стречаешь,— сказал Василий с усмешкой.— Аль видом я не вышел? Аль обиделся, что сразу в тебе атамана не узнал? Ты-то знаешь ли меня?

— Я тебя знаю,— успокоил Степан честолюбивого Уса, внимательно к нему приглядываясь.— Кто тебя не знает!

Поздоровались за руки.

— Сидай,— пригласил Степан.

— Дак мне чего своим-то сказать? Смутил ты меня, парень...

— Сказать, чтоб на постой разбивались. Эка, смутился!

Василий выглянул из шатра... И вернулся.

— Они у меня умные — сами сметили. Ты чего такой, Степушка? А?

— Какой?

— Какой-то — все приглядываисся ко мне... А слава шумит, что ты простецкий, погулять любишь... Врут? Тебе годов-то сколь?

— Сколь есть, все мои. Это кто? — Степан посмотрел на товарища Уса.

— Это мой думный дьяк, Матвей Иванов. Из мужиков... Башка! Завсегда при мне... Я его зову — думный дьяк.

— Пускай он пока там подумает.— Степан кивнул.— За шатром. Один. А мы погутарим...

— Я не помешаю,— скромно, с каким-то неожиданным внутренним достоинством сказал Матвей. Был он, в сравнении со своим атаманом, далеко не богатырского вида, среднего роста, костлявый, с морщинистым лицом, на котором сразу обращали на себя внимание глаза — умные, все понимающие, с грустной усмешкой. И Степан тоже невольно на короткий миг засмотрелся в эти глаза...

— Свой человек,— сказал Ус.— Говори при ем смело.

— Добре, нам таких надо. Дай-ка нам с атаманом погутарить,— настоял Степан.— Выйди.

Матвей вышел.

— Слыхал, чего я надумал? — прямо спросил Степан.

— Слыхал,— не сразу ответил Ус. — На Москву ийтить? Слыхал. Могу дорогу показать... Передний заднему доро́га.

— Это по какой ты бежал-то? Плохая дорога. Мы другую найдем — надежней.

— Лихой атаман! — с притворным восхищением воскликнул Ус.— Уж и побегать не даст. А меня дед учил: не умеешь бегать, не ходи на войну. Бывает, Степа. Что горяч ты — это хорошо, а вот еслив горяч, да с дуринкой,— это плохо. Не ходи тада на Москву — там таких с колокольни вниз головой спускают.

Степан улыбнулся криво и недобро.

— Крепко тебя там припужнули...

— Что ты! Шибко уж колокольня-то та высокая. Не видал?

— Видал. Высокая.

— Какую ж ты дорогу себе выбрал? — спросил Ус.— Или — наугад, по-вятски?

— Это как же — по-вятски? — не понял Степан.

— Наугад! И говорится — наугад.

Степан внимательно посмотрел на простодушного Василия Родионыча.

— Наугад — не знаю, не ходил. Я люблю — наудачу.

А в лагере в это время налаживались другие отношения — там не о чем было спорить. Там все ясно.

Казаки Уса и разинцы, в отличие от вождей своих, скоро нашли общий язык — простой, без колючих зазубрин.

Обнаруживались старые знакомцы, вспоминались былые походы... Задымили костры. Гостей готовились принять славно, как и велел атаман.

Разинцы еще раньше принарядились — пускали пыль в глаза пришлым, кобенились — как же!

Стырь собрал вокруг себя целую ораву, показывает, как он "ходил" на Москву к царю.

— Он о так сидит на троне... Мишка, сядь.

— Да иди ты,— отказался Мишка, молодой казак.

— Где кум мой? — вспомнил Стырь.— Он тоже видал царя — покажет.

Дед Любим напялил на голову вывернутую наизнанку шапку, воссел на три положенных друг на друга седла. Сделал скучающее лицо... Стал важный и придурковатый.

— Ну, где там эти казаки-то?! — спросил.— Давайте их сюда, я с имя погутарю.

— Не так! — воскликнул Стырь.— Давай: ты из бани пришел.

— А-а!.. Добре.— Дед Любим стал отчаянно чесаться.— В баньку нешто сходить?..

— Да ты уж пришел! — заорали зрители.

— А-а!.. Ну-к... Эй! Бояры!.. Кварту сиухи мне: после бани выпью.

Поднесли "царю" сиухи. Он выпил.

— Ишшо.

— Будя.

— Ты что, горилки царю пожалел, сукин сын?! Ты должон на коленках передо мной ползать. Давай горилки! — Дед изобразил капризное "царское" величие.— Хочу кварту горилки! Хочу кварту горилки!..— Больше было похоже на то, как капризничает злой ребенок, а не царь.

Ему подали еще. Дед выпил, смачно крякнул. Плюнул.

— Ах, хороша!.. Ну где там казаки-то?

В круг неторопливо вошел Стырь, тоже черт знает в чем — в каком-то непонятном балахоне. Тоже необыкновенно важный.

— Здоров, казак! — приветствовал его "царь".— Ты чего от в моем царстве шатаисся? Чего ты тут пронюхываешь у мсия?

— Прикажи мне тоже дать снухи,— подсказал Стырь.

— Э-э!..— загудели зрители.— Вы тут упьетесь, пока покажете.

— Так надо,— сказал Стырь.— Перво-наперво вина подают.

— Правда,— поддержал дед Любим.— Эй, бояры, где вы там, прихвостни? Дать казаку вина заморскыва.

Стырю подали чару вина. Он выпил.

— Ишшо. Я с дальней дороги — пристал.

— Дать ему! — велел "царь".

— Шевелись! — прикрикнул на "бояр"Стырь.— Царь велит!

Подали еще чару. Стырь выпил.

— Как доехал, казаченька? — ласково спросил "царь".

— Добре.

— А чего ты шатаисся по моему царству, мы желаем знать?

Стырь громко высморкался из одной ноздри, потом из другой. Стал полный дурак.

— Чего жалеете знать?..

Нелегко матерому Чертоусу смирить гордое сердце — сразу стать под начало более молодого, своенравного Стеньки. Но велико и обаяние Разина, жестокое обаяние. Когда Степан хотел настоять на своем, он не искал слово помягче, он гвоздил словом. Он не скрывал раздражения. И это-то странным образом успокаивало людей: кто гневается, тот прав. Кто верит в себя, тот прав.

Не пощадил Степан старого казака: припомнил ему его паническое бегство от Москвы. Было так:— Ус с ватагой военных охотников пошли на Москву просить, чтобы их употребили по назначению — они хотели воевать. Пошли, как на войну,— просить войны. Дорогой к ним пристали мужики. Эти, в глубине души, вовсе не так поняли поход на Москву — не просить пошли войны, а пошли воевать. Москва тоже поняла этот поход как наступление и выслала навстречу сильный отряд под командой Борятинского. Казаки бежали. Пешие мужики не могли убежать. Их убивали.

Это и припомнил Степан. Он говорил резко:

— Ты там мужиков бросил! Псу Борятинскому отдал неоружных людей на растерзанье... Вот как ты там хорошо ходил, той дорогой! И туда же опять зовешь?.. Бесстыдник.

— Тьфу!.. Дурак упорный! — Ус тоже злился.— Не приведи господи, но случится где-нибудь тебе в отступ ийтить — вот этой самой рукой,— Ус показал огромную ручищу,— подойду и по роже дам. А чего мне было делать? Заодно с мужиками ложиться? Это уж ты сам — наберешь мордвы-то, да чувашей, да ногайцев своих — с ими и подставляй лоб, кому хошь, хошь Борятинскому, хошь Долгорукому... Какой! Шибко уж памятливый — на чужую беду.

— Не лезь тада с советом, еслив свою беду не помнишь.

— Иван Болотников не дурней тебя был, а не поперся на Волгу.

— Вона! Спомнил...

— А чего же его забывать, добрый был вож... Дай бог побольше таких.

— Зато и пропал твой Иван.

— Пропал, да не за то. Вас ведь чего на Волгу-то тянет: один раз вышло там, вот и давай ншо... А с Волги тоже дорога на побег есть — Ермакова.— Ус поднялся, выглянул из шатра, позвал: — Матвей! Зайди к нам. Вот послушай, Степан, мужика — дошлый. Послушай, послушай, с лица не опадешь. Я его частенько слушаю.

Вошел Матвей.

— Там казачки́-то... это... расходиться начинают,— сказал он и посмотрел на Степана.— Или — ничего, пускай?

— Гулять, что ль? Как же им не погулять? Не с татарвой стретились.

— Хорошее дело,— согласился Матвей.— Я к тому, что — размахнутся они счас широконько: знакомцев полно стрелось. А у вас тут, можеть, чего другое задумалось.

— У нас тут раскосяк вышел,— сказал Ус.— Не хочет Степан Тимофеич городками да весями ийтить, хочет — Волгой.

— Ну, я тебе то и говорил,— спокойно сказал Матвей.— Говорил я тебе: Степан Тимофеич будет склонять на Волгу.

— Да вот и растолкуйте вы мне, я в ум не возьму: пошто?

Степан с интересом слушал непонятный ему разговор. Мужик Матвей показался ему в самом деле умным. Очень понравилась его манера говорить: спокойно, негромко... На своем не настаивает, нет, но свое скажет. Глаза его понравились: грустные, умные, но и насмешливые. Интересный мужик.

— Раз: кто такой Степан Тимофеич? — стал рассуждать Матвей, адресуясь к Усу.— Донской казак. Правда, корнями-то он — самый что ни на есть расейский, но он забыл про то...

— Какой я расейский? Ты чего?

— Отец-то расейский. Воронежский. Мы так слыхали...

— Ну.

— Вот. Стало быть, есть ты донской казак, Степан Тимофеич. Как и ты, Василий Родионыч. Живется вам на Дону вольготно, поместники вас не гнут, шкур не снимают, жен, дочерей ваших не берут по ночам с постели — для услады себе. Вот... Спасибо великое вам, хоть привечаете у себя нашего брата. Да ведь и то — вся Расея на Дон не сбежит. А вы, как есть донские казаки, про свой Дон только и печалитесь. Поприжал вас маленько царь, вы — на дыбошки: не трожь вольного Дона! А то и невдомек: несдобровать

и вашему вольному Дону. Он вот поуправится с мужиками да за вас примется. Уж поднялись, так подымайте за собой всю Расею. Вы на ногу легкие... Наш мужик пока раскачается, язви его в душу, да пока побежит себе кол выламывать — тут его сорок раз пристукнут. Ему бы — за кем-нибудь, он пойдет. А вы — эвон какие!.. За вами только и ходить. За кем же?

— Ты к чему это? — спросил Степан.

— Доном ийтить надо, Степан Тимофеич. Через Воронеж, Танбов, Тулу, Серпухов... Там мужика да посадских, черного люда,— густо. Вы под Москву-то пока дойдете — ба-альшое войско подведете. А Волгой — пошли с полтыщи с есаулами да с грамотками,— пускай подымаются да подваливают с той стороны. А там, глядишь, Новгород, да Ярославль, да Пошехонь с Вологдой из лесу вылезут — оно веселей дело-то будет. На Волге, знамо, хорошо — вольно. Опять же, погулять — где? На Волге. Там душу отвесть можно. А тут бы в самый раз: весь народишко раззудить!..— Матвей заволновался, глаза его заблестели.— Ты скажи ему, да погромче — прикрикни: пошли! Сиднем засиделись, дьяволы! Волосьем заросли!.. По лесам-то с кистенем — черт вас когда ослобонит там, и детишков ваших. Они вон подрастают да следом за вами — в Петушки, купцов поджидать. Эх!..

— Ты чего ж, Матвей: на царя наметился? — спросил Степан, усмешливо прищурившись.— Ведь мы эдак, как ты советуешь-то,— все царство расейское вверх тормашками?..

— Пошто на царя?

Степан засмеялся:

— Напужался?.. Ну, так: вы — гости мои дорогие, я вас послушал, и будет. Пойдем Волгой.

— Пеняй на себя, Степан! — воскликнул Ус.— Баран самовольный. Силу собрал, а... Экий дурень! Пропадешь!

— Будешь со мной? — в упор спросил Степан.

— Куда ж я денусь?.. Ты тут теперь — царь и бог: не привязанный, а вижжать окол тебя буду.— Ус встал во весь огромный рост, хлопнул себя по бокам руками.— Золотая голова, а дурню досталась. Пошто уперся-то?

— Неохота сказывать.

— Это твоя первая большая промашка, Степан Тимофеич,— негромко, задумчиво и грустно сказал Матвей.— Дай бог, чтоб последняя. Ах, жаль какая!.. И ничего не сделаешь, правда.

4

В Черкасске домовитые казаки и старши́на крепко задумались. За поход Стеньки они могли жестоко поплатиться, они понимали. Царь слал грамоты, царь требовал разузнать и обезопасить Разина — беспокоился. Но черт его обезопасит, Разина, если он пришел и сел, как в крепости, в своем Кагальнике, казаков не распустил... Иди обезопась его! Он сам кого хочешь обезопасит, да так, что — с головой вместе. Ждали весны: весной будет ясно, куда он пойдет. Может, теперь до турок попытаются добраться, тогда — с богом: там и лягут. Может, с калмыками или с крымцами сцепятся, тоже не страшно, даже хорошо: израсходуют силу в наскоках и утихнут. Старались еще зимой как-нибудь выведать, куда они подымутся по весне. Не могли выведать. Стенька грозил всем, а на кого точил потаенный нож, про то молчал. Даже пьяный не проговаривался. Гадали всяко — и так, и этак... Думали и так: не на Москву ли правда нацелился? Ждали весны. И вот подтвердились ужасные догадки: Разин пошел на Москву.

Особенно опечалились Корней Яковлев и Михайло Самаренин, войсковые атаманы. Корнею легко удавалась эта печальная игра; в душе он был доволен событиями.

Корней Яковлев, излишне грустный, как будто переболевший за эти дни, стукнулся в дверь дома Минаева Фрола. Из дома не откликнулись.

— Я, Фрол! — сказал Корней негромко.

Звякнул внутри засов. Фрол открыл дверь. Прошли молча в горницу.

В горнице сидел Михайло Самаренин. На столе вино, закуска... Домашних Фрола никого нету — услал, чтоб поговорить без помех.

— Дожили: середь бела дня — под запором,— сказал Самаренин, крупный казачина с красным обветренным лицом.

— Дожили,— вздохнул Корней, присаживаясь к столу.— Налей, Фрол.

— Долго он не нагуляет,— успокоил Фрол, наливая войсковому большую чарку.— Это ему не шахова земля — голову враз открутют. А то уж шибко скаковитые стали.

— Ему-то открутют — дьявол с ей, об ей давно уж топор тоскует. У меня об своей душа болит.— Корней выпил, крякнул, пососал ус...— Свою жалко, вот беда.

— Чего слышно? — спросил Михайло, искренне озабоченный.

— Стал у Паншина, Ваську ждет. Ты говоришь — открутют... У его уж счас — тыщ с пять, да тот приведет... Возьми их! Сами открутют кому хошь. Беда, братцы мои, атаманы, беда. Больше беда могет быть...— Корней оглянулся на дверь горницы.

— Никого нету,— сказал Фрол.

— Письма перехватили от гетмана да от Серика к Стеньке.

У Фрола и Михайлы вытянулись лица.

— Чего пишут?

— Дорошенко не склонился, а Серик, козел чубатый, спрашивает, где бы, в каком урочище им сойтиться. Казак тот, с письмами, разлысил лоб в Черкасской — не знал, что Стенька ушел, мы вытряхнули того казачка... Во куда невод завел!

— Верно, собирался он писать к Серку и к Дорошенке,— сказал Фрол.— В Астрахани собирался. Эт-то хужее дело...

— Вот какая моя дума: надо спробовать повернуть Стеньку на крымцев. Поедешь ты, Фрол. Скажешь...

— Ты что?! — испугался Фрол.

— Не тронет он тебя. Полный раздор с нами чинить ему тоже не с руки: он не дурак — оставлять за спиной обиженных. А поедешь ты от всех нас. Возьмешь письмо Петра Дорошенко. Сериково письмо я в печь бросил. Ехать надо сразу — успеть до Васьки. Надо, надо, ребяты... Надо хоть показать: чего-то да делали мы тут, а то совсем уж... смотрим только. Спросют ведь!

— Не мне бы... Не поверит он мне.

— Тебе-то как раз и поверит,— сказал Михайло.— Тут ведь — не только письмо передать, а поговорить с им...

— Слышно, мол, стало: крымцы грозят походом. Они правда-то не налетели бы, узнают наши поганые дела,— сказал еще Корней.— Не приведи господи: вовсе не отбиться будет.

— Эх, не мне бы! Подумайте. Не боюсь, а — будет ли толк? Побаиваюсь, конечно, но... постановим, поеду. Только подумайте: мне ли? — Фрол тревожно и вопросительно смотрел на атаманов.

— Тебе, ты с им в дружках ходил. Сулился же он не тронуть тебя. Поговори душевно... Хоть бы он, черт бешеный, на Крым повернул. Подтолкнуть бы его, пока он один-то... Ты, Михайло, собирайся в Москву: надо и об своих головах подумать. Все скажешь, как есть: ничего, мол, не

могли поделать. Прибери себе казаков — и с богом. Без огласки.

Все трое посидели в молчании.

— Он когда на Москву-то задумал, где? — спросил Корней Фрола.

— А черт его знает! Его рази поймешь? Думаю, как Астрахань прошли оттуда, он окреп. Те губошлепы-то пропустили... Он и вошел в охотку. Царя, говорит, за бороду отдеру разок...

— Разок надо бы,— неожиданно сказал Корней.— Не худо бы... Только шумом городка не срубить. Славный он казак, Стенька... Жалко мне его. Пропадет.

— Тут, как ты говоришь, самая пора себя пожалеть,— заметил Самаренин.— А то выходит: он ногой в стремя, а мы — головой в пень.

* * *

Поздно вечером Фрол Минаев и с ним два казака выехали вдогон Разину. Побежали сразу резво. Фрол доверился судьбе... На всякий случай надо, конечно, держать ухо востро, но в глубине души он не верил, что Степан поднимет на него руку. Напротив, может, именно он, Фрол, отведет беду с Дона. В Крым или на калмыков Фрол и сам бы еще разок сходил со Степаном... Но не на царя. От этого похода, кроме беды, ждать нечего. Может, и удастся отговорить Стеньку... Жалко его, правда.

Фрол родился и вырос в станице Зимовейской, где родился и Степан, вместе они ходили на богомолье в Соловки... И тогда-то, в переход с Дона на Москву, случился со Степаном большой и позорный грех, про который до сих пор знали только они двое — Степан и Фрол. Было им по двадцать шесть лет, но Степан шел в Соловки второй раз. Ехали с ними все больше старые казаки, израненные в сражениях, много грабившие на веку — ехали замаливать грехи. Молодые, вроде Стеньки и Фрола, ходили в Соловки то ли по обету, как ходил Стенька в первый раз (обещал умирающему отцу сходить помолиться казачьему святому Зосиме), то ли по настоянию здравых еще, обычно пожилых родичей, желавших своим родным помощи божьей и судьбы милостивой. А заодно и за них бы, стариков, отдать поклон... То ли молодые сами, своей волей просили на кругу разрешения сходить в далекий монастырь — не сиделось дома, охота было

посмотреть мир большой, это поощрялось, круг решал отпускать.

В тот раз Стенька ехал своей волей. Фрола послал на богомолье дед его, Авдей Минаев, который на старости лет сильно ударился в бога, но сам был уже не ходок, и потому в Соловки поехал внук Фрол. Не без удовольствия, надо сказать.

Неподалеку от Воронежа, в деревне, остановились на постой. Остановились у крепкого старика; дом у старика большой, на отшибе, ближе к лесу. Дед по вековой традиции своего рода бортничал (собирал дикий мед), у него всегда останавливались казаки с Дона: где мед, там медовуха, где медовуха, там казаки. Да и старик был очень свойский: если не разбойник, то с душой разбойника: немногословный, верный слову, на первом месте — товарищ, потом все. В прошлый раз Стенька со станицей останавливался у него же. Но с тех пор в доме старика случились изменения: убило лесиной его сына, Мотьку. Осталась со стариком невестка, чернобровая Аганя, баба огромная, красивая и приветливая. Казаки сразу смекнули, что Аганя тут — и за хозяйку, и за жену сильного старика (старухи у него давно не было), но вида не подали.

Выпили. Аганя тоже выпила; молодая ядреная кровь заиграла в ней, она безо всякого стеснения заглядывалась на молодых казаков, похохатывала... Часто взглядывала на Стеньку. А тот еще с прошлого раза запомнил Аганю, но тогда слишком был молод, стеснялся, и у Агани был муж. Теперь Стенька осмелел... И так они откровенно засматривались друг на друга, что всем стало как-то не по себе. Один только старик-лесовик, хозяин, как будто ничего не замечал, помалкивал, пил. Старший в станице, Ермил Пузанов, вызвал Стеньку на улицу, предупредил:

— Не надо, Стенька, не обижай старика. Оно и опасно: старик-то... такой: пришьет ночью, пикнуть не успеешь.

— Ладно,— ответил Стенька.— Я не малолеток.

— Гляди! — еще сказал Ермил серьезно.— Не было бы беды.

— Ладно.

Ночь прошла спокойно. Но Стенька, видно, успел перемолвиться с Аганей, о чем-то они договорились... Утром Стенька сказался больным.

— Чего такое? — спросил Ермил.

— Поясница чего-то... разломило всего. Полежать надо.

Казаки переглянулись между собой.

— Пускай полежит,— молвил могучий старик хозяин.— Я его травкой здесь отхожу. Я знаю, что это за болесть.

Фрол, улучив минуту, сунулся к Стеньке:

— Чего ты задумал?

— Молчи.

— Отравит он тебя, Стенька... Или пришибет ночью. Поедем.

— Молчи,— опять сказал Стенька.

Казаки уехали.

Стенька догнал их через два дня... Много не распространялся. Сказал только:

— Полегчало. Прошла спина...

— Как лечил-то? — заулыбались казаки.— Втирал? Али как?

— Это — кто кому втирал, надо спросить. Оборотистый казак, Стенька... Старик-то ничего? Облапошили?

— Они ушли,— непонятно сказал Степан.— Вместе: и старик, и...

— Куда? — удивились казаки.

— Совсем. В лес куда-то. Старик заприметил чего-то и... ушел. И Аганьку увел с собой. Вместе ушли.

— Э-э... Ну да: что он, смотреть будет? Знамо, уведет пока — от греха подальше.

— Ну вот, взял согнал людей... Жили, никому не мешали, нет, явился... король-королевич. Надо было!

Поругали Стеньку. И поехали дальше.

Стенька, однако, долго был сам не свой: молчал, думал о чем-то, как видно, тревожном. Казаки его же и отговаривать принялись от печальных мыслей:

— Чего ж теперь? Старик не пропадет — весь лес его. А ее увести надо, конешно: когда-нникогда она взбесится.

— Не горюй, Стенька. А, видать, присохло сердчишко-то? Эх, ты...

Только в монастыре догадались казаки, что у Стеньки на душе какая-то мгла: старики так не молились за все свои грехи, как взялся молить бога Степан — коленопреклонно, неистово.

Фрол опять было к Стеньке:

— Чего с тобой? Где уж так нагрешил-то? Лоб разобьешь...

— Молчи,— только и сказал тогда Степан:

А на обратном пути, проезжая опять ту деревню, Степан отстал с Фролом и показал неприметный бугорок в лесу...

— Вон они лежат, Аганька со своим стариком.

У Фрола глаза полезли на лоб.

— Убил?!

— Сперва поманила, дура, потом орать начала... Старик где-то подслушивал. Прибежал с топором. Можеть, уговорились раньше... Сами, наверно, убить хотели.

— Зачем?

— Не знаю.— Степан слегка все-таки щадил свою совесть.— Я так подумал. Повисла на руке... а этот с топором. Пришлось обоих...

— Бабу-то!.. Как же, Стенька?

— Ну, как?! — обозлился Степан.— Как мужика, так и бабу.

Бабу зарубить — большой грех. Можно зашибить кулаком, утопить... Но срубить саблей — грех. Как ребенка приспать. Оттого и мучился Степан, и молился, и злился. До сей поры об этом никто не знал, только Фрол. Тем тяжелей была Степану его измена. Грех молодости может всплыть и навредить.

В раннюю рань к лагерю разинцев подскакали трое конных; караульный спросил, кто такие.

— Аль не узнал, Кондрат? — откликнулся один с коня.

— Тю!.. Фрол?

— Где батька?

— А вон в шатре.

Фрол тронул коня... Трое вершных стали осторожно пробираться между спящими, направляясь к шатру.

Кондрат постоял, посмотрел вслед им... И вдруг его резнуло какое-то недоброе предчувствие.

— Фрол! — окликнул он.— А ну, погодь.

— Чего? — Фрол остановился, подождал Кондрата.

— Ты зачем до батьки?

— Письмо ему. С Украйны, от Дорошенки.

— Покажь.

— Да ты что, бог с тобой! Кондрат!..

— Покажь,— заупрямился Кондрат.

Фрол достал письмо, подал Кондрату. Тот взял его и пошел в шатер.

— Скажи: мне надо с им погутарить! — сказал Фрол.

— Скажу.

Кондрат вошел в шатер.

И почти сразу из шатра вышел Степан — босиком, в шароварах, взлохмаченный и припухший со сна и с тяжкого хмеля.

— Здорово, Фрол.

— Здорово, Степан.

— Чего не заходишь?

Смотрели друг на друга внимательно, напряженно.

— Письмо. От Петра Дорошенки.

— Ты заходи! Заходи — выпьем хоть... А то, вишь, я какой?

Фрол, умный, дальновидный Фрол, мучительно колебался.

— Не склоняется Петро...

Степан понимал, что́ происходит с Фролом, какие собаки рвут его сердце — Фрол боится, и боится показать, что боится, и хочет, правда, поговорить, и все-таки боится.

— Да шут с им, с Петром. Я и не надеялся шибко-то, ты же знаешь, — непринужденно сказал Степан.— Заходи, погутарим.

Фрол незаметно, как ему казалось, зыркнул глазами по сторонам: лагерь спал.

Степан отметил этот его настороженный волчий огляд.

— Я от Серка жду. От Ивана. Заходи,— еще сказал Степан и пошел в шатер. Шел нарочито беспечным шагом. Рознял вход, вошел в шатер. Не оглянулся.

Фрол остался на коне.

— Пронька,— тихо сказал он молодому казаку,— иди передом.

Пронька не понял. Смотрел на есаула.

— Иди! — сдавленным от волнения и злости голосом сказал Фрол.— А я погляжу...

Пронька слез с коня, пошел в шатер. Фрол остался на коне, стерег глазами вход.

Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал: заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему с перначом в руке. Обнаружив хитрость друга-врага, замер на мгновение... Выронил пернач. Но было поздно...

Фрол разворачивал коня.

— Погоди, Фрол! — громко вскрикнул Степан.— Фрол!..

Фрол ударил коня плетью... Казак, который оставался на коне, тоже развернулся... Выбежавшнй на крик атамана Кондрат приложился было к ружью...

— Не надо,— сказал Степан. Подбежал к свободному коню, прыгнул.

И началась гонка.

...Вылетели из пределов лагеря, ударились в степь.

Конь под Степаном оказался молодой; помаленьку расстояние между двумя впереди и третьим сзади стало сокращаться. Видя это, казак Фрола отвалил в сторону — от беды.

— Фрол!.. Я же неоружный! — крикнул Степан.

Фрол оглянулся и подстегнул коня.

— Придержи, Фрол!.. Я погутарю с тобой! — еще крикнул Степан.

Фрол нахлестывал коня.

— В гробину твою! — выругался Степан.— Не уйдешь. Достану.

И тут случилось то, чего никак не ждал Степан: молодой конь его споткнулся. Степан перелетел через голову коня, ударился о землю...

Удар выхлестнул Степана из сознания. Впрочем, не то: пропало сознание происходящего здесь, сейчас, но пришло другое... Голову, как колоколом, накрыл оглушительный звон. Степан понял, что он лежит и что ему не встать. И он увидел, как к нему идет его старший брат Иван. Подошел, склонился... Что-то спросил. Степан не слышал: все еще был сильный звон в голове. "Я не слышу тебя", — сказал Степан и своего голоса тоже не услышал. Иван что-то говорил ему, улыбался... Звон в голове поубавился.

— Братка,— сказал Степан,— ты как здесь? Тебя ж повесили.

— Ну и что? — спросил Иван, улыбаясь.

— Выходит, я к тебе попал? Зашиб меня конь-то?

— Ну!.. Тебя зашибить не так легко. Давай-ка будем подыматься...

— Не могу, сил нету.

— Эка! — все улыбался Иван.— Чтой-то раскис ты, брат мой любый. Ну-ка, держись мне за шею... Держись крепче!

Степан обнял брата за шею и стал с трудом подниматься. Брат помогал ему.

— Во-от,— говорил он ласково,— вот и подымемся...

— Как же ты пришел-то ко мне? — все не понимал Степан.— Тебя же повесили. Я же сам видал...

— Будет тебе: повесили, повесили! — рассердился Иван.— Стой вот! Стоишь?

— Стою.

— Смотри... Стой крепче!

— Ты мне скажи чего-нибудь. А то уйдешь...

Иван засмеялся.

— Держись знай. Не падай...— И ушел.

А Степан остался стоять... Его придерживал под руки Фрол Минаев. Степан долго смотрел ему в глаза. Не верилось, что это Фрол вернулся. Фрол выдержал близкий, замутненный болью взгляд атамана. Даже улыбнулся.

— Живой? Я уж думал, зашиб он тебя.

— А где?..— хрипловато начал было Степан. И замолчал. Он хотел спросить: "А где брат Иван?" — Ты как здесь?

— Сядь,— велел Фрол.— Посиди — ослабел...

Степан бережно, с помощью Фрола, сел на сырую землю. Фрол сел рядом.

Ослабел атаман, правда. Сознание подплывало; степь перед глазами вдруг вспучивалась и качалась. Тошнило. И звон в ушах опять закипал, и молоточки били в голову так больно, что надо было зажмуриваться.

Фрол вынул из-за пояса дротик, вырыл у ног ямку, взял сильными пальцами со дна ее горсть земли, посырее, подал Степану:

— На, поприкладывай ко лбу — она холодная, может, легче станет.

Степан приложил горсть земли ко лбу... Земля пахла погребом и травой. Молодой зеленой травкой. Степан уткнулся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в голове вроде прояснилось. И боль вроде потухла. И даже какая-то далекая, забытая радость шевельнулась под сердцем — живой, жив. Согрела радость.

— Пахнет,— сказал Степан.— Ишь ты...

Фрол взял тоже горстку земли, понюхал.

— Корешками гнилыми.

— Травкой,— поправил Степан.

Фрол еще понюхал, бросил землю, вытер ладонь об штанину.

— Можеть, травкой,— согласился.

Степан еще раз уткнулся в пахучую холодную землю, глубоко, со стоном вздохнул и повторил не то из упрямства, не то с каким-то скрытым значением:

— Травкой пахнет, травкой.— Помолчал.— Тебя все на гниль тянет, а пахнет — травкой. Не спорь со мной.

Фрол с удивлением посмотрел на Степана. Ничего не сказал. Подобрал с земли дротик, сунул за пояс, под правую руку.

— Фрол,— заговорил Степан уже в полном сознании, напирая, по обыкновению, на слова,— ты не побоялся вернуться, не побойся сказать прямо: почему отвалил от меня?

— Ты хоть очухайся сперва... Потом уж за дела берись. Небось круги ишю в глазах-то.

— Я очухался. Не веришь в мою затею?

— А какая твоя затея? Я не знаю...

— Знаешь. Не хитри. Не веришь?

Фрол помолчал.

— В затею твою я верю,— сказал он.— Только затея-то твоя землей вот пахнет.— Он опять взял горстку земли, помял в пальцах.— Можеть, она и травкой пахнет, но я туда завсегда успею. Торопиться не буду.— Фрол ссыпал землю в ямку.— Еслив можешь меня без злости послушать, послушай...

— Валяй. Не буду злиться.

— Наберись терпения — послушай. Из твоих оглоедов тебе этого никто не скажет.

— Скоро же ты отрекся от нас! — удивился Степан.— Уж и — оглоеды!

— Ну... отрекся не отрекся — мне с вами не по дороге. Вот, слушай. Ты же умный, Степан, как ты башкой своей не можешь понять: не одолеть тебе целый народ, Русь.

— Народ со мной пойдет: не сладко ему на Руси-то.

— Да не пойдет он с тобой! — Фрол искренне взволновался.— Дура ты сырая!.. Ты оглянись — кто за тобой идет-то! Рванина — пограбить да погулять, и вся радость. Куда ты с имя? Под Танбовом завязнешь... Худо-бедно им с царем да с поместником — все же они на земле там сидят...

— Они не сидят на земле. Они на карачках стоят.

— Даже и на карачках, а все потревожить надо — на войну гнать. С какой такой радости мужик на войну побежит? Ты по этим гонисся, какие с тобой? Этим терять нечего, они уж все потеряли. А те... Нет, Степан, не пойдут. Ты им — журавля в небе, а им — синица в руке дороже. За журавля-то, можеть, голову сложить надо, а синица — в руке, кошь и маленькая. Все же он ее держит. Ведь ты как ему будешь говорить, мужику: "Выпускай синицу, журавля добудем!" Это надо твоим словам уж так верить, так верить... Отцу родному так не верют, как тебе надо верить, чтоб выпустить ту синицу. Откуда они возьмут эту веру? Ведь это ж надо, чтоб они семьи свои побросали, детишек, жен, матерей... И за тобой бы пошли. Не пойдут!

— Так... Все сказал?

— Ну, считай, все. Я могу день говорить — все про то же: не пойдут за тобой.

— А на меня пойдут?

— На тебя пойдут. Поднимут их — пойдут.

— За царя пойдут, а со мной — нет. Чем же им царь дороже?

— Он им не дороже, а... как тебе сказать, не знаю... Не дороже, а привыкли они так, что ли, хрен их знает. Ты им — непонятно кто, атаман, а там — царь. Они с материным молоком всосали: царя надо слушаться. Кто им, когда это им говорили, что надо слушаться — атамана? Это казаки про то знают, а мужик, он знает — царя.

Степан сердито сплюнул.

— Можеть, ты бы и говорил целый день, Фрол... Можеть, я бы тебя и слушал — вроде говоришь человеческие слова, но сам-то ты, Фрол, подневольная душа. Это ты с молоком всосал — нельзя на царя подняться. Ты ишо на руках у матери сидел, а уж вольным не был. И такие же у тебя мысли, хоть они кажутся верными. Они — верные, но они подневольные. А других ты не знаешь. Чего же я буду выколачивать их из тебя, еслив их нету? На кой черт я гоняюсь-то за тобой?

— Не знаю, чего ты гоняисся.

— Я других с собой подбиваю — вольных людей. Ты думаешь, их нету на Руси, а я думаю — есть. Вот тут наша с тобой развилка. Хорошо, что честно все сказал: я теперь буду спокойный. Теперь я тебя не трону: нет на тебя зла. И не страшись ты теперь меня... Вы мне — не опасные. Встретисся на бою — зарублю, как собаку. А так — живи. Не пойму я только, Фрол: чем же уж тебе жизнь так мила, что ты ее, как невесту дорогую, берегешь и жалеешь? Поганая ведь такая жизнь! Чего ее беречь, суку, еслив она то и дело раньше смерти от страха обмирает? Чего уж так жалко бросать? С бабой спать сладко? Жрать, что ли, любишь? Чего так вцепился-то? Не было тебя... И не будет. А народился — и давай трястись: как бы не сгинуть! Тьфу!.. Ну — сгинешь, чего тут изменится-то?

— Степан, ты молодым богу верил...

— Не верил я ему никогда!

— Врешь! Я видал, как ты в Соловках лбом колотился. Даже я меньше верил...

— Ну, можеть, верил. Ну и что?

— Я не знаю, чем тебе жизнь твоя так опостылела, но грех ведь других-то на убой манить. О себе только думаешь,

а на других тебе... Иди вон в Дон кидайся, еслив жить надоело. На кой же других-то подбивать? Не мудрено голову сломить, Степан, мудрено приставить. Я хоть тоже не шибко верую, но тут уж дурак поймет — грех. Перед людями грех — заведешь и погубишь. Перед людями, не перед богом, перед теми самыми, какие пойдут за тобой...

— Такие, как ты, не пойдут.

— Пойдут — ты умеешь заманить. У тебя... чары, как у ведьмы,— ийтить за тобой легко, даже вроде радостно. Я вон насилу вывернулся... отрезвел. Знамо, это все оттого, что самому тебе недорога жизнь. Я понимаю. Это такая сладкая отрава, хуже вина. Я же тоже не бегал ни от татар, ни от турка, ни от шаховых людей... Но там я как-то... свою корысть, что ли, знал или... Да нет, тоже не то говорю — я не жадный. Но ведь там-то не боялся я, ты же знаешь...

— Там... Я знаю: там — это как собаки: перегрызлись и разбежались. Там ума большого не надо.

— Но там же тоже убивают. Ты говоришь: я больше всего смерти страшусь...

— Можеть, не страшисся. Только тебе — за рухлядь какую-нибудь не жалко жизнь отдать, а за волю — жалко, тебе кажется, за волю — это псу под хвост. Вот я и говорю — подневольный ты. По-другому ты думать не будешь, и зря я тут с тобой время трачу. А мне, еслив ты меня спросишь, всего на свете воля дороже.— Степан прямо посмотрел в глаза Фролу.— Веришь, нет: мне за людей совестно, что они измывательство над собой терпют. То жалко их, а то — прямо избил бы всех в кровь, дураков. Вот. Сгинь с глаз моих, Фрол: опять тебя ненавидеть стал. Сгинь! Раз уж сказал, не трону — не трону. Но — уходи.

Фрол поднялся, пошел к коню.

Степан тоже встал.

— Гады вы ползучие! — крикнул Степан.— Я тебе душу открыл тут... Дурак я! Ехай! Ублажай свою жизнь-дорогушу! Поганка.— Степана шатнуло от слабости... Он опустил голову, стиснул зубы и стал смотреть вниз, в землю.

Фрол вскочил на коня, крутнулся...

Прикинул, опасаться нечего — конь Степана далеко, сказал спокойно:

— От поганки слышу. Иди к своим любезным свистунам, они ждут не дождутся. На тем свете свидимся, только я туда попозже явлюсь.

Степан посмотрел на есаула... И все-таки не нашел бы он сейчас в себе желания убить его, даже если бы догнал и

совладал безоружный с оружным,— не было желания. Странно, что не было, но так.

Фрол развернулся и поскакал прочь.

Степан пошел к своему молодому коню. Меринок виновато вскинул голову, скосил опасливый глаз, переступил ногами...

— Не бойся, дурашка,— ласково заговорил Степан.— Не бойся.

Почуяв доброе в голосе человека, конь остался стоять. Степан обнял его, поцеловал в лоб, в шею, в глаза, бесконечно добрые, терпеливые.

— Прости меня... Прости, ради Христа.— За что, Степан не знал, только хотелось у кого-нибудь просить прощения.

Конь дергал головой, стриг ушами.

— Прости!..— сказал еще Степан.

Потом шли рядом — конь и человек. Голова к голове. Долго шли, медленно шли, точно выходили на берег из мутной, вязкой воды.

Солнце вставало над землей. Молодой светлый день шагал им навстречу, легко раскидывая по степи дорогие зеленые ковры.

5

Сразу, как Степан ускакал за Фролом, Кондрат разбудил Ивана Черноярца, и тот, плохо соображая, что к чему, не седлая коня, погнал вслед атаману. С ним увязалось еще десятка два казаков — те и подавно не знали, куда надо, зачем? Успели понять только: где-то в степи атаман. Один. Однако степь — большая: не нашли атамана. Вернулись.

Встретились недалеко от лагеря.

— Эк вас повскакало! — насмешливо воскликнул Степан.— На одного-то Фрола?

— Ушел, что ли? — спросил Иван.

— Ушел.

— А чего он приезжал-то?

— Письмо привез от Петра Дорошенки. Поехали вычтем... поганое письмо.

— Ты... уж читал, что ль? Как знаешь, что поганое?

— Я Петра знаю, не письмо. Петра самого знаю. Да другое Фрол бы и не привез. Он привез как раз такое... поганое... С коня я упал, Ваня,— неожиданно признался Степан. Им овладело какое-то странное хорошее чувство —

легко сделалось на душе, легко, даже смешно было сказать, что — вот, такое дело: упал с коня.— Первый раз в жизни.

В шатре атамана сидел Стырь, вертел в руках письмо гетмана. Он не умел читать. Увидев атамана, поднялся навстречу ему с письмом.

— Слыхал, от Дорошенки... Как он там? К нам не склоняется?

Степан взял письмо, вчитался... Молча изодрал его, бросил на землю. Постоял, глядя вниз, вздохнул со стоном, горько и начал вдруг стегать плетью клочки письма. Стегал и скрипел зубами. Все молчали.

Степан отвел душу, прошел к лежаку, сел. Долго тоже молчал. Легкость враз ушла, точно опять в воду столкнули, в зеленую, вязкую, и он весь ухнул.

— Царем пужает Петро,— сказал он.— Ты хотел знать, Стырь, как там Петро Дорошенко?

— Я. Да всем охота...

— Вот, царем пужает. Зря, мол, поднялись — не надо... страшно, говорит. Не советует. Вот, знай, еслив охота.

— Напужал бабу...— заговорил было Стырь, но атаман сбил его, не дал говорить.

— Ой, храбрый какой!..— Он прищурил глаз на деда.— Гляньте-ка на него — царя не боится! А я вот боюсь! Что?

— Ничего. Надо было дома сидеть, раз боисся.— Стырь не хотел видеть, что Степан накипает мутью, не хотел показать, что его страшит гнев атамана,— иногда это помогало остановить грозу.

— Вон как! — воскликнул Степан.— Ну, ну?

— А как же? Кто боится, тот остался да дома посиживает. Фрол вон... не поперся же с нами, потому как рассудил: лучше ее дома дождаться, чем на стороне искать...

Степан уставился на Стыря.

Василий Ус впервые воочию наблюдал "хворь" атамана Разина — начало ее. Ему было интересно. Он слышал об этой странности Стеньки еще раньше.

— Боюсь! — рявкнул Степан.— Вот и говорю: боюсь! Какой ишо выискался!.. Еслив ты не боисся, так и все теперь не боись? И где ты вырос такой! Тебя никогда, что ли, не пужали маленького букой?

— Я б сам кого хошь напужал,— искренне сказал Стырь.— Страшненький был с малолетства, соплями исходил...

— Вот потому и спасенный ты человек от страха. А нас всех бабки глупые запужали с малых лет букой, мы и

трясемся всю жизнь. И Петро вон пужает — гляди, мол! Сам, видно, тоже трясется... А царь — радешенек: боятся все! Сиди себе, побалтывай ножками. Ни заботушки...— Степан рывком вскочил с лежака, заходил туда-сюда по шатру. Широкое лицо его исказилось от боли и злости.— А чего?! Хэх!.. Дай вина, Иван! — почти крикнул. Остановился, ожидая, что будет — одолеет его злость или он одолеет ее. Он хотел одолеть, не хотел никуда убегать, кататься по земле... Он стиснул зубы и ждал.— Иван!..— с мольбой проговорил он, не разжимая зубов.— За смертью посылать!.. Несут, что ль?

— Несут, несут.

Степан выпил при общем молчании... Сел опять на лежак. Дышал тяжело, смотрел вниз... Ждал. И все ждали. Похоже, он все-таки переломил себя — не будет по земле кататься. Он поднял голову, нашел глазами Матвея Иванова.

— Ты вот, Матвей, на царя зовешь... А ведь он крутенек, царь-то. Он вон в Коломенском лет пять назад сразу десять тыщ положил... москалей своих. Да потом ишо две тыщи колесовал и повесил. Малолеткам уши резал...

— Не всем,— встрял Матвей.— Поменьше которым — от двенадцати до четырнадцати годов — только по одному уху срезал. Зачем же напраслину возводишь?

— Ну, на то и милость царская! А ты на царя зовешь...

— Кого я на царя зову?! — воскликнул Матвей.

— Зове-ешь, не отпирайся. Нас с Родионычем подбиваешь. А война — дело худое, Матвей. Зачем же нас на грех толкаешь? Замордовали? Так царя попросить можно, а не ходить на него с войной. Тоже, додумался! Вот и пойдем просить. Скажем: бояре твои вконец замордовали мужика. Поступись. Хошь поглядеть, как мы просить будем?

— Как это? — не понял умный Матвей.

— А так. Я просить буду, а Стырь вон — царя из себя скорчит. Он умеет. Стырь!.. Валяй на престол, я скоро приду с Дона просить тебя. Всех собери — пускай все глядят.

Стырь, большой охотник до всякого лицедейства, понял все с полуслова. Вышел из шатра.

— Выпьем на дорожку! — распорядился Степан.— Пойдем царя-батюшку просить. Вольности Дону пойдем просить... какие раньше были.

— С мужика начали, а вольности — Дону пойдем просить,— вставил опять Матвей.— Как же так?

— А вы поглядите, поприкиньте сперва... Потом уж — охотка не пройдет — сами шлепайте. А мы будем просить,

чтоб старши́ну нашу не покупал, она у нас вся продажная. Курва на курве сидит... Всем хорошо одеться! Все чтоб сияли, как бараньи лбы,— к царю идем! Эх и сходим же!..

Пошли одеваться в дорогие одежды. Противиться бесполезно. И опасно. Да и поглядеть интересно, как будут "просить царя". Черноярец скосоротился было, но промолчал, пошел тоже одеваться.

Стырь тем временем сооружал "престол". На этот раз он восседал на большой чумацкой арбе, устелив ее всю коврами и уставив кувшинами с вином. Весь лагерь собрался смотреть "прошение". Для "казаков с Дона" оставили неширокий проход; перед арбой — просторный круг.

Стырь, все приготовив, стал поглядывать в проход, проявляя суетливость и нетерпение.

— Казаков не видать?

— Нет пока.

— Чего они?.. Чухаются там! Пьют небось, кобели.

Но вот закричали:

— Казаки идут! Казаки идут!..

Стырь сел, скрестил по-татарски ноги. Подбоченился.

Разин шел впереди своей группы. Был он одет, как и все с ним "просители",— богато, глаза блестели жутковатым веселым блеском.

— С Дону? — вылетел первый с языком Стырь.

— Не прыгай! — велел Степан.— Он же — великий князь всея, всея... У его бабу патриарх благословил в мыленке, он и то важный остался. А ты прыгаешь, как блоха.— Разин положил свой пернач на землю.— Пришли мы к тебе, царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И просить тебя, оставь вольности Дону! Всегда так было! — Разин говорил громко — всем.— До тебя были вольности! А ты отбираешь!..

— Сиухи хошь? — спросил Стырь.— С дороги-то...

— Я воли прошу, а не сиухи!

— Какой тебе воли?! — вскинулся Стырь.— А хрен в зубы не надо? Воли он захотел!..

— Как же нам без воли?

— Какой тебе воли надо?

— Не вели мужиков имать да вертать с Дону опять поместникам...

— Хрен! — Стырь все торопился, все суетился и не хотел даже смотреть на казаков.

— Дай сказать-то! — обозлился Степан.— Да на меня гляди-то, на меня. Что ты, как коза брянская, все вверх смотришь? На меня!

— Ну.

— Не помыкай нами, еслив хлеб на Дон посылаешь...

— Так.

— Тюрем настроил, курва! Как чуть чего — так в тюрьму!

— Как ты сказал? Курва?

Степан упал на колени.

— Прости, князь великий! Вылетело...

— Срежу язык-то! Вылетело. Какие ишо жалобы на бояров?

— Пошто на одном месте пригвоздить хочешь мужика? — спросил Матвей Иванов.— Был хоть выход.

— Плетей! — велел Стырь, показав на Матвея.

"Приближенные царя" схватили Матвея и раза три всерьез жогнули плетью.

— Какие жалобы, казак? — повернулся Стырь опять к Степану. Степан все стоял перед ним на карачках, покорно ждал.

— Пошто — как войне быть на Дону или миру — мы не вольны сами решить? Мы хочем решать сами, как нам любо, а как нет.

Стырь молчал; он не знал, как огорошить с войной.

— Нас на войну шлешь!..— закричал с колен Разин.— Сам затеваешь, а нас шлешь! Куда хочешь, туда и шлешь, мы не смей пикнуть! Мы не слуги тебе! Не стрельцы!.. Курва ты великая, а не князь великий! — Степан поднялся в рост.

— Плетей! — тоже заорал Стырь. И тоже вскочил.

"Приближенные" бросились к Разину...

— Стой! — остановил их Стырь. И полез с арбы.— Я прокачусь на ем. На Дону, говорят, жеребцы славные — спробую.

Степан смиренно опустился опять на четвереньки.

— Седло! — распоряжался Стырь.— А то я ишо свою царскую собью...

На Разина накинули седло. Он молчал. Стырь сел на него.

— Ну-ка, прокати царя!..

— Куда, великий? Куда, князь всея, всея?..

— За волей... Где она? Я сам не знаю...

Разин громко заржал и поскакал по кругу.

— Э-эх! — орал Стырь.— За волей казакам поехали! Их-ха!

Степан опять заржал, да громко, умело.

— Ну, как воля, казак? Узнал волю?

— Нет ишо.— Степан остановился.— Слазь.

— Я ишо хочу...

— Слазь!

Стырь слез.

Степан опять упал на колени.

— Спасибо, царь-государь, теперь узнали мы до конца твою волю. Спасибо! Спасибо! Спасибо! — Степан трижды стукнулся лбом об землю.— Теперь отпусти нас на Дон — погуляем мы за твою волюшку. Отпускай нас.

— Отпускаю. Меня возьмите с собой на Дон — я тоже погуляю с вами.

— Шиш! Гуляй, братцы! Царь показал, какая будет его воля! Запивай ее, чтоб с души не воротило!..

И загуляли нешуточно. Весь день "запивали волю цареву", усердствовали. Усердствовал и сам атаман. Пил, обнимал Семку Резаного, Матвея Иванова, плакал... Потом свалился и уснул.

— Ну, хоть так,— сказал Иван Черноярец.— Выспится хоть... Бери за руки, за ноги — унесем спать. Кончай гульбу! Федор, Ларька, кто там?.. Вали по рядам, бейте кувшины. Батька велел, мол!

Матвей Иванов, когда Степана раздели и уложили на лежак, остановился над ним, долго всматривался в бледное рябое лицо атамана.

— Вот вам и грозный атаман! Весь вышел. Эх, дите ты, дите... И нагневался, и наигрался, и напился — все сразу.

— Ты, на всякий случай, не лезь-ка ему под горячую руку, этому дитю,— посоветовал Иван.— А то она у его... скорая: глазом не успеешь моргнуть.

— Может,— согласился Матвей. И пошел из шатра.— Пойтить другого заступника поискать... Тоже где-нибудь землю бодает.

— Кого это? — спросил Черноярец.

— Василья Родионыча мово.

6

К Волге вышли глядя на ночь. (В версте выше Царицына.)

Начали спускать на воду струги и лодки. Удобное место спуска указал бежавший из Царицына посадский человек

Степан Дружинкин. Он же советовал атаманам, Разину и Усу:

— Вы теперича так: один кто-нибудь рекой пусть сплывет, другой — конями, берегом... И потихоньку и окружите город-то. Утром они проснутся, голубки, а они окруженные, ахах...— Дружинкин не мог скрыть радости, охватившей его.— Стены, вороты — они, конечно, крепкие. Да надолго ли! Кто их держать-то шибко будет?..

— Воеводой кто сидит? — спросил Степан.— Андрей?

— Тимофей Тургенев. На своих стрельцов, какие в городе, у его надежа плохая, он сверху других ждет. Да когда они будут-то! Они пока без признака...

— Много ждет?

— С тыщу, говорят. С Иваном Лопатиным идут. Надо бы, конечно, до их в городок-то войтить. Ах, славно было бы, Степан ты наш Тимофеич, надежа ты наша!.. Отмстились бы мы тада!..

— Родионыч, поплывешь со стругами,— велел Степан.— Я с конными и с пешими. Шуму никакого не делай. Придешь, станешь, пошли мне сказать.

— Ладно,— сказал Ус. И пошел к месту, где сволакивали на воду струги. Все же тяготило его подначальное положение, не привык он так. Однако — терпел.

Когда стало совсем темно, двинулись без шума к Царицыну водой и сушей.

Утром, проснувшись, царицынцы действительно обнаружили, что они надежно окружены с суши и с воды.

Воевода Тимофей Тургенев и с ним человек десять стрельцов (голова и сотники, да прислуга, да племянник, да несколько человек жильцов) смотрели с городской деревянной стены, как располагается вдоль стен лагерь Разина.

— Сколь так на глаз? — спросил воевода у головы.

— Тыщ с семь, а то и боле.

Воевода вздохнул.

— Неделю не продержимся... Пропали наши головушки!

В городе гудел набат.

Степан, Ус, Федька Шелудяк, Сукнин, Черноярец, Ларька Тимофеев, Фрол Разин, Матвей Иванов — эти внизу тоже оценивали обстановку.

— Ну? — спросил Степан.— Какие думы, атаманы?

— Брать,— сказал Шелудяк,— чего на его любоваться-то.

— Брать?.. Брать-то брать, а как?

— Приступом! Навяжем лестниц, дождем ночки — и с Исусом Христом!..

— Исус что, мастак города брать? — спросил Ус.

— А как же! Он наверху — ему все видать,— отрезал занозистый Шелудяк.

— Хватит зубатиться,— оборвал Степан.— Родионыч, Иван, какие думы?

— Подождать пока,— сказал Иван Черноярец.— Надо как-нибудь в сговор с жильцами войтить.

— Умное слово,— поддержал Матвей Иванов.— Стены стенами, да ведь и их оборонять-то надобно. А есть ли у них там такая охота? Оборонять-то. А и есть, так...

Подъехал казак, доложил:

— Царицынцы, пятеро, желают Степана Тимофеича видать.

— Давай их.

Подошли пять человек посадских с Царицына.

— Как же вышли? — спросил Степан.

— А мы до вас ишо... Вчерась днем, вроде рыбачить уплыли, да и остались... Нас Стенька Дружинкин упредил. Поговорить к тебе пришли, атаман.

— Ну, давайте.

Стырь с оравой зубоскалов переругивался с царицынскими стрельцами. Те скучились на стене, подальше от начальных людей, с большим интересом разглядывали разинцев.

— Что, мясники, тоскливо небось торчать там? Хошь, загадку загадаю? — спросил Стырь.— Отгадаешь, будешь умница.

— Загадай, старый, загадай,— откликнулись со стены.

Сидит утка на плоту,
Хвалится казаку:
Никто нимо меня не пройдет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица!

— Отгадаешь, свою судьбу узнаешь.

— То, дед, не загадка. Вот я тебе загадаю:

Идут лесом,
Поют куролесом,
Несут деревянный пирог
С мясом.

— Стрельца несут хоронить! — отгадал Стырь.

Казаки заржали.

Стырь разохотился:

— А вот — отгадай. Отгадаешь, узнаешь мою тайную про тебя думу.

Поймал я коровку
В темных лесах;
Повел я коровку
Нимо Лобкова,
Нимо Бровкова,
Нимо Глазкова,
Нимо Носкова,
Нимо Щечкова,
Нимо Ушкова,
Нимо Роткова,
Нимо Губкова,
Нимо Ускова,
Нцмо Бородкова,
Нимо Шейкова,
Нимо Грудкова,
Нимо Ручкова,
Нимо Плечикова;
Привел я коровку
На Ноготково,
Тут я коровку-то
И убил.

Кто будет?

— Скажите в городе,— наказывал Степан пятерым царицынцам,— войско, какое сверху ждут, идет, чтоб всех царицынцев изрубить. А я пришел, чтоб отстоять город. Воевода ваш — изменник, он сговорился со стрельцами... Он боится, что вы ко мне шатнетесь, и хочет вас всех истребить, для того и стрельцов ждет: у их тайный уговор, мы от их гонца перехватили с письмом.

Пятеро поклонились.

— Передадим, батюшка, все как есть. И про воеводу скажем.

— Скажите. Пусть дураками не будут. Не меня надо бояться, а воеводу. Чего меня-то бояться? Я — свой... чего я сделаю?

Пятеро ушли.

Степан позвал Уса:

— Родионыч!..

Ус подошел.

— Останисся здесь. Стой, зря не рыпайся. Я поеду едисан тряхну. За ими должок один есть... И скота пригоню: можа, долго стоять доведется, жрать нечего. Гулять не давай. Не прохлаждайтесь. Караул все время держи. Иван, Федька Шелудяк со мной поедут. А в городе, смотри, чтоб не знали, что я отъехал. Караул держи строго.

— Не долго там.

— Скоро. Они в один перегон отсюда, я знаю где.

Ночью Степан во главе отряда человек в триста, конные, тихо отбыл в направлении большого стойбища едисанских татар. Должок не должок — у атамана с ними дела давние,— а жрать скоро нечего, правда; надо думать об этом.

На другое утро в лагерь к Усу явилась делегация от жителей города. Двое из тех, что вчера были. Всех — девять человек.

— Батька-атаман, вели выходить из города воду брать. У нас детишки там... Какой запаслись, вышла, а они просют. Скотина ревет голодная, пастись надо выгонять...

— А чего ко мне-то пришли? — спросил Ус.

— К кому же больше?

— А как вышли?

— Воевода выпустил под залог — у нас там детишки... А выпустил, чтоб с тобой уговориться — по воду ходить. Детишки там, батька-атаман.

— Скажите воеводе, чтоб отпер город. А заартачится, возьмите да сами замки сбейте. Мы вам худа не сделаем.

— Не велит, поди. Воевода-то...

— А вы — колом его по башке, он сговорчивый станет. С воеводами только так и надо разговаривать — они тада все враз понимают.

— Мы уж и то кумекаем там... По совести, для того и пришли-то — разузнать хорошенько,— признался старший.— Вы уж не подведите тада. Мы там слушок пустили:

стрельцы-то, мол, на нас идут, ну — задумались... Вы уж тоже тут не оплошайте...

— Идите и делайте свое дело. Мы свое сделаем.

— Народишко-то, по правде сказать, к вам приклониться желает. А чего же Степана Тимофеича не видать? Где он?

— Он на стружках,— ответил Федор Сукнин.

Жители ушли, еще попросив напоследок, что "вы уж тут... это...".

— Всех есаулов ко мне! — распорядился Ус.— Быть наготове. Начинайте шевелиться — вроде готовимся к приступу: пусть они стрельцов своих на стены загонют. Пусть сами тоже суда глядят, а не назад. Двигайте пушки, заряжайтесь... Шевелись, ребятушки! Глядишь, даром городок возьмем!

Задвигался лагерь. Пошли орать бестолково и двигаться и с тревогой смотрели на стену. Таскали туда-сюда пушки, махали прапорами... И с надеждой смотрели на стену и на въезжие ворота. На стене ладились к бою стрельцы.

Ждал Ус с есаулами: они стояли возле коней, чуть в стороне от угрожающего гвалта. Василий Родноныч то ли вздыхал тихо, то ли тихо матерился, глядя на тяжелые въезжие ворота.

Долго ждали.

Вдруг за воротами возникла возня, послышались крики... Дважды или трижды выстрелили. Потом зазвучали тяжкие лязгающие удары железа по железу — похоже, сбивали кувалдой замки. Шум и крики за стеной усилились; выстрелы — далеко и близко — захлопали чаще. Но кувалда била и била в затворы.

Казаки с воем бросились к воротам. Перед носом у них ворота распахнулись...

Казаки ворвались в город.

Царицынцы встречали казаков, как братьев, обнимались, чмокались, тут же зазывали в гости. Помнили еще то гостеванье казаков, осеннее. Тогда поглянулось — хорошо погуляли, походили по улицам вольно, гордо... Люди это долго помнят.

Казачье войско прогрянуло по главной улице города и растекалось теперь по переулкам... Кое-где в домах уже вскрикивал и смеялся Праздник.

Ус сидел в приказной избе, распоряжался, перетряхивая судьбы горожан и служивых людей.

Ему доложили:

— Воевода с племянником, прислуга его, трое жильцов да восемь стрельцов заперлись в башне городской стены.

— Стеречь их там дороже глаз,— велел Ус.— Скоро пойдем к ним.

— Поп до тебя, Василий Родионыч,— снова вошел в избу казак.

— Чего ему? — удивился Ус.

— Не сказывает. Атаману, говорит, скажу.

— Давай.

В избу вошел тот самый поп, у которого Степан грозился в храме отрезать космы. Вошел — широкий, гулкий.

— Как зовут? — спросил Ус.— Чего ты до меня?

— Где же атаман-то? — громыхнул поп, как в бочку.

— Я атаман. Что, оглазел? — обиделся Ус.

— Ты, можа, и атаман, только мне надобно наиглавного, Разю,— высокомерно сказал поп.

— Зачем?

— Хочу послужить православному воинству во славу свободного Исуса Христа.

— Молодец! — сердечно похвалил его Ус.— Поп, а смикитил. Как зовут?

— Авраам. А ты кто?

— Ктокало,— ответил Ус со смехом.— Пойдем пить.

7

Вылазка Разина к едисанским татарам была успешной.

Назад казаки гнали перед собой вскачь огромное стадо коров, овец, малолеток лошадей.

Рев и гул разносились далеко вокруг. Казаки орали... Очумелые от бешеной гонки животные шарахались в стороны, кидались на всадников. Свистели бичи. Клубилась пыль.

Степан с Федькой и с Иваном ехали несколько в стороне. Запыленные — ни глаз, ни рожи.

К ним подскакали нарочные из Царицына... Что-то сказали Степану. Тот радостно сверкнул зубами и во весь опор понесся вперед, к Царицыну. За ним увязался Федька Шелудяк. Иван Черноярец остался с табуном.

Ликующий, праздничный звон колоколов всех церквей города оглушил Разина. Это случилось как-то само собой — высыпали встречать атамана.

Народ и казаки стояли вдоль улицы, которой он шел. Стояли без шапок; ближние кланялись в пояс.

Навстречу атаману от приказной избы двинулась толпа горожан — с хлебом-солью. Во главе — отец Авраам.

Степан, хоть весь был грязный, шел степенно, гордо глядя перед собой: первый царев город на его мятежном пути стал на колени. Славно!

Отец Авраам низко поклонился.

— Здорово, отче! — узнал его Степан.— Как Микола поживает? Ах, мерин ты, мерин...— Степан засмеялся.— Ишь, важный какой!..

Поп, видно, заготовил что сказать, но сбился от таких неуместных слов атамана. Обозлился.

— Поживает... Ты чего зубы-то скалишь?

— Где воевода? — спросил Степан.

Степану поднесли в это время хлеб-соль. На каравае стояла чара с водкой, солонка. Он выпил чару, крякнул, отломил от каравая, обмакнул в солонку, заел. Вытер ладошкой усы и бороду.

— Где воевода? — опять спросил он.

— В башне заперся.

— Много с им?

— С двадцать.

— А Васька где?.. Я не вижу его.

— Васька...— Ларька Тимофеев показал рукой: — До сшибачки.— И еще он сказал весело: — Стрельцы поклали оружье. Мы их пока всех в церкву заперли.

— Пошли воеводу брать,— распорядился Степан.— Нечего ему там сидеть, его место в Волге, а не в башне. Все бы в башнях-то отсиживались! Хитрый Митрий.

Двинулись к городской стене, к башне, где закрылся воевода со своими людьми.

Появилось откуда-то бревно. С ходу ударили тем бревном в тяжелую дверь... Сверху, из бойниц башни, засверкали огоньки, затрещали ружья и пистоли. Несколько человек упало, остальные, бросив бревно, отбежали назад.

— Неси ишо бревно! — приказал Степан.— Делайте крышку.

Приволокли большое бревно и стали сооружать над ним — на стойках — двускатный навес (крышку) из толстых плах. Крышку потом обили потниками (войлоком) в несколько рядов, потники хорошо смочили водой. Таран был готов.

— Изменники государевы!..— кричали из башни.— Он ведь узнает, государь-то, все узнает! Мы послали к царю-то, послали!

— Это вы изменники! — кричали осаждающие царицынцы.— Государь на то вас поставил, чтоб нас мучить? Царь-то за нас душой изболел, батюшка. Ему самому, сердешному, от вас житья нету! Марью Ильинишну извели, голубушку! Царевичей извели!.. От такие же вот живоглоты.— Тургенев был прислан из Москвы недавно, но успел опротиветь царицынцам.

— Все на колу будете! — кричали осажденные.— С ворами вместе! Бога побойтесь, бога!..

— Кого послушали?! Стеньку, первого вора и разбойника! — крикнул сам воевода Тургенев.— Одумайтесь, вам говорят!

Степан смотрел на башню, щурился. Ему поднесли еще чару. Он выпил, бросил чару, засучил рукава. Глянул на башню... Махнул рукой, подскочил к бревну...

Таран подняли, разбежались, ударили в ворота. Кованая дверь погнулась. Еще ударили, еще...

Сверху стреляли, бросали смоляные факелы, но осаждающих надежно прикрывал навес. Бревном били и били.

Дверь раз за разом подавалась больше. И наконец совсем слетела с петель и рухнула внутрь башни. Федька Шелудяк с Ларькой Тимофеевым ворвались туда, за ними остальные.

Короткая стрельба, крики, возня... И все кончено. Успокоились.

Воеводу с племянником, приказных, жильцов и верных стрельцов вывели из башни. Подвели всех к Степану.

— Ты кричал "вор"? — спросил Степан.

Тимофей Тургенев гордо и зло приосанился.

— Я с тобой, разбойником, говорить не желаю! А вы изменники!..— крикнул он, обращаясь к стрельцам и горожанам.— Куда смотрите?! К вору склонились!.. Он дурачит вас, этот ваш батюшка. Вот ему, в мерзкую его рожу! — Тимофей плюнул в атамана. Плевок угодил на полу атаманова кафтана. Воеводу сшибли с ног и принялись бить. Степан подошел к нему, подставил полу с плевком. Он был бледный и говорил тихо:

— Слизывай языком.

Воевода еще плюнул.

Степан пнул его в лицо. Но бить другим не дал. Постоял, жуткий, над поверженным воеводой... Наступил сапогом ему на лицо — больше не знал, как унять гнев. Вынул саблю... но раздумал. Сказал осевшим голосом:

— В воду. Всех!

Воеводу подняли... Он плохо держался на ногах. Его поддержали.

Накинули каждому петлю на шею и потянули к Волге.

— Бегом! — крикнул Степан. Чуть пробежал вслед понурому шествию и остановился. Саблю еще держал в руке.— Бего-ом!

Приговоренных стали подкалывать сзади пиками. Они побежали. И так скрылись в улице за народом. Народ молча смотрел на все. Да, видно, Тимофей Тургенев за свое короткое воеводство успел насолить царицынцам. Вообще поняли люди: отныне будет так — бить будут бояр. Знать, это царю так угодно. Иначе даже и сам Стенька Разин не решился бы на такое.

Только один нашелся из всех — с жалостью и смелостью: отец Авраам.

— Батька-атаман,— сказал отец Авраам,— не велел бы мальчонку-то топить. Малой.

— Не твое дело, поп. Молчи,— сказал Степан.

Подошел Матвей Иванов. Тоже:

— А правда, Степан Тимофеич... Парнишку-то не надо бы...

— Молчи,— и ему велел Степан.— Где Родионыч?

— Дрыхнет Родионыч, где...

— Смотри лучше за атаманом своим. Зачем много пить дал?! Я не велел.

— А то вы послушаете! — горько воскликнул Матвей.— Не велел... А он взял да велел!

— Пошли гумаги приказные драть,— позвал Степан всех.

— Ох, Степан, Степан... Атаман! — дрогнувшим голосом вскрикнул вдруг Матвей.— Послушай меня, милый...

— Ну? — резко обернулся Степан. И нахмурился.

— Отпусти мальца. Христом-богом молю, отпусти.— У Матвея в ясных серых глазах стояли слезы.— Отпусти невинную душу!..

Степан так же резко отвернулся и ушагал к приказной избе. За ним — его окружение.

Воеводу и всех, кто был с ним, загнали в воду, кого по грудь, кого по пояс — кололи пиками. Два казака так всадили свои пики, что не могли вытащить, дергали, ругались.

— Ты глянь! — как в чурбак какой...

— И эта завязла. Тьфу!..

Тела убитых сносило водой. Две пики так и остались торчать — бросили их. Некоторое время пики еще плыли

стоймя. Чуть покачиваясь. И уходили все глубже. Потом исчезли под водой вовсе.

С берега на страшную эту картину смотрели потрясенные царицынцы. Многих, наверно, подавила, оглушила жестокая расправа. Молчали. Неужели же царь велел так? Что же будет?

...На площадь, перед приказной избой, сносили деловые бумаги приказа, сваливали в кучу. Образовался большой ворох.

— Все? — спросил Степан.

— Все.

— Поджигай.

Казак склонился к бумагам, высек кресалом огонь, поболтал трутом, чтоб он занялся огнем... И поднес жадный огонек к бумагам.

Скоро на площади горел большой веселый костер.

Степан задумчиво смотрел на огонь.

— Волга закрыта,— сказал он, ни к кому не обращаясь, раздумчиво.— Ключ в кармане... Куда сундук девать?

— Чего? — спросил Фролка, брат.

Степан не ответил.

8

— Волга закрыта,— сказал Степан.— Две дороги теперь: вверх и вниз. Думайте. Не торопитесь, крепко думайте.

Сидели в приказной избе. Вся "головка" разинского войска, и еще прибавились Пронька Шумливый, донской казак, да "воронежский сын боярский" Ивашка Кузьмин.

— Как ни решим,— чтоб не забыть потом: город укрепить надежно,— добавил Степан.— Вверх ли, вниз ли пойдем,— он теперь наш. Своих людишек посадим — править.

— Ийтить надо вверх,— сказал Ус.

На него посмотрели — ждали, что он объяснит, почему вверх. А он молчал, спокойно, несколько снисходительно смотрел на всех.

— Ты чего это с двух раз говорить принимаисся? — спросил Степан.— Пошто вверх, растолкуй.

— А пошто вниз? Тебя опять в шахову область тянет? — сразу почему-то ощетинился Ус.

— Пошел ты к курвиной матери с шахом вместе! — обозлился Степан.— Не проспался, так иди проспись.

— А на кой вниз? — не сдавался Ус. То ли он на ссору напрашивался.— Чего там делать?

— Там Астрахань!.. Ты к чужой жене ходил когда-нибудь?

— Случалось... Помоложе был, кобелил.— Ус коротко хохотнул.

— А не случалось так: ты к ей, а сзади — муж с топором? Нет? — Степан внимательно смотрел в глаза атамана, хотел понять: всерьез тот хочет ссоры или так кобенится?

— Так — нет; живой пока.

— Так будет, если мы Астрахань за спиной оставим.

— Ты-то вниз, что ли, наметил?

— Я не говорил. Я думаю. И вы тоже думайте. А то я один за всех отдувайся!..— Степан опять вдруг чего-то разозлился.— Я б тоже так-то: помахал саблей да — гулять. Милое дело! Нет, орелики, думать будете! — Степан крепко постучал согнутым указательным пальцем.— Тут вам не шахова область, это правда. Я слухаю. Но ишо раз говорю вам: думайте башкой, а то нам их тут скоро снесут, еслив думать не будем.

— Слава те господи,— с искренней радостью молвил Матвей Иванов,— умные слова слышу.

Все повернулись к нему.

— Ну, Степан Тимофеевич, тада уж скажу, раз велишь: только это про твою дурость будет...

Степан сощурился и даже рот приоткрыл.

— Атаманы-казаки,— несколько торжественно начал Матвей,— подиялись мы на святое дело: ослобождать от бояров Русь. Славушка про тебя, Степан, бежит добрая. Заступник ты народу. Зачем же ты злости своей укорот не делаешь? Чем виноватый парнишка давеча, что ты его тоже в воду посадил? А воеводу бил!.. На тебя же глядеть страшно было, а тебя любить надо.

— Он харкнул на меня!

— И — хорошо, и ладно. А ты этот харчок-то возьми да покажи всем: вот, мол, они, воеводушки: так уж привыкли плевать на нас, что и перед смертью утерпеть не может — надо харкнуть. Его тада сам народ разорвет. Ему, народу-то, тоже за тебя заступиться охота. А ты не даешь, все сам: ты и суд, ты и расправа. Это и есть твоя дурость, про какую я хотел сказать.

— Лапоть,— презрительно сказал Степан.— А ишо жалисся, что вас притесняют, жен ваших уводют. Да у тебя не только жену уведут, а самого... такого-то...

— Ну вот... А велишь говорить. А чуть не по тебе — так и лапоть. А все же послушай, атаман, послушай. Не все сапогу ходить по суху...

— Я не про то спрашивал. Черт тебя!.. Чего он молотит тут? — Степан поглядел на всех, словно ища поддержки. И к Матвею: — Я рази про то спрашивал?

— Так ведь еслив думать, то без спросу надо. Как есть...

— Ты, Матвей, самый тут умный, я погляжу. Все не так, все не по тебе,— заметил Ларька Тимофеев, и в глазах его замерцал ясный голубой свет вражды.

— Прямо деваться некуда от его ума да советов! — поддержал Ларьку Федор Сукнин.— Как скажет-скажет, так хошь с глаз долой уходи...

— Да ведь это про нас, про рязанских, сказано: для поговорки до Москвы шел,— отшутился Матвей. И посерьезнел.— Я ишо хочу сказать, Степан Тимофеич: ты ладно сказал — "думайте", а сам-то, сам-то не думаешь! Как тебя сгребет за кишки, так ты кидаисся куда попало.

Степан как будто только этих слов его и ждал: уставился на Матвея... С трудом разлепил губы, сведенные злой судорогой.

— Ну, на такую-то бойкую вшу у нас ноготь найдется,— сказал он и потянул из-за пояса пистоль.— Раз уж все мы такие дурные тут, так и спрос с нас такой же...

Ус, как и все, впрочем, обнаружил возможную скорую беду тогда только, когда Степан поднял над столом руку с пистолем... Ус, при своей кажущейся неуклюжести, стремительно привстал и ударил по руке с пистолем снизу. Грохнул выстрел: пуля угодила в иконостас, в икону Божьей Матери. В лицо ей.

Матвея выдернули из-за стола, толкнули к дверям...

Степан выхватил нож, коротко, резко взмахнул рукой... Нож пролетел через всю избу и всадился глубоко в дверь — Матвей успел захлопнуть ее за собой.

Степан повернулся к Усу... Тот раньше еще положил руку на пистоль.

Долго смотрели друг на друга.

В избе все молчали, и такая это была тягостная тишина, мучительная.

Степан смотрел не страшно, не угрожающе, скорей — пытливо, вопросительно.

Ус ждал. Тоже довольно спокойно, мирно.

— Еслив вы счас подымете руки друг на дружку, я выйду и скажу казакам, что никакого похода не будет: атаманы их

обманули,— сказал Иван Черноярец.— Вот. Думайте тоже, пока есть время.

Степан первый отвернулся...

Некоторое время еще молчал, словно вспоминая что-то, потом спросил Ивана спокойно:

— С чего ты взял, что мы руки друг на дружку подымем?

— К слову пришлось... Чтоб худа не вышло.

— Я слухаю вас. Куда ийтить? — спросил всех Степан.

— Вверх,— твердо сказал Ларька.

— Пошто? — пытал Степан.

— Вниз пойдем, у нас, один черт, за спиной тот самый муж с топором окажется — стрельцы-то где-то в дороге. Идут.

— И в Астрахани стрельцы.

— В Астрахани нас знают. Там Иван Красулин. Там посадские — все за нас... Оттуда с топором не нагрянут.

— Мы ишо про этих ничего не знаем,— заспорил с Ларькой Сукнин.— Может, и эти к нам склонются, верхние-то, с Лопатиным-то.

Разговор пошел вяло, принужденно. Казаков теперь, когда беда прошумела мимо, занимала... простреленная Божья Мать. Нет-нет да оглядывались на нее. Чудилось в этом какое-то недоброе знамение. Это томило хуже беды.

Степан понял настроение казаков. Но пока молчал. Ему интересно стало: одолеют сами казаки этот страх за спиной или он их будет гнуть и не освободит. Он слушал.

— Худо, что мы про их не знаем, худо, что и они про нас тоже не знают. А идут-то они из Москвы да из Казани вон. А там про нас доброе слово не скажут,— говорил Иван.

— Где-нигде, а столкнуться доведется,— настаивал Ларька; он один не обращал внимания на простреленную икону.

— Оно — так...— нехотя согласился Федор Сукнин.

— Так-то оно так,— вздохнул Стырь — так, чтоб только что-нибудь вякнуть.— Не везде только надо самим на рога переть. А то оно... это... к добру тоже не приведет.

— Вниз пойдем, у нас войско прирастет, вверх — не ручаюсь,— подал голос Прон Шумливый, казак, выученный разинцами из царицынской тюрьмы — сидел там за воровство.

— Оно — так...— сказал опять Черноярец.

— Сдохли! — воскликнул огорченный атаман. И передразнил есаулов: — "Оно — так", "Оно — та-ак".— Помолчал и, повернувшись, заговорил спокойней: — Мой это грех — я стрелил. Я же не метил в лоб ей, нечаянно вышло... Что же

теперь — и будем сидеть, как сычи? Закоптелыша прострелил!..— Голос Степана окреп.— А как звонить начнут на всю Русь — проклинать? Куда побежите? Эх, други мои, советники...— Степан оглядел "советников", вздохнул: то ли правда никто из них не внушал ему счастливой веры, то ли притворился, что одни только горькие и опасные думы пришли вдруг ему в голову, когда он внимательно посмотрел на сподвижников своих.

— Непривычно, Степан, оттого и... боязно,— захотел объяснить Иван Черноярец свое и других состояние.— Не каждый же день ты их простреливаешь, эти... закоптелыши.

— Ты куда собрался, Иван? — перебил в нетерпении атаман.— Куда пошел?

Иван в простодушии не понял вопроса. Молчал. Смотрел на Степана. И Степан смотрел на него. Ждал. Очень хотелось ему, чтоб Иван сказал: "На Русь пошел, на бояр", и тогда бы Степан на это ахнул бы чем-то сильным, веским — он, видно, заготовил чем.

— А?

— Не пойму тебя,— признался Иван.— Никуда пока не пошел, сидим вот гадаем — куда.

— На бояр, батька! — выскочил сообразительный Стырь. Он сидел в углу, как раз под простреленной Божьей Матерью.— На Русь!

— А-а! Вон вы куда!..— с готовностью повернулся к нему Степан.— А что же там, на Руси-то, нехристи?

— Крещеные, так же...

— Так какого ж вы дьявола? Нечаянно прострелил икону, у их уж коленки затряслись. А еслив они, бояры-то, возьмут да крестный ход перед нашим войском учинят? А они учинят — бог-то ихный. Возьмут да с иконами вперед вышлют? Что же мы?..

— Как это — бог ихный? — не понял Стырь.

— А чей? Твой, что ли?

— Наш тоже... Исус-то.

— Бог-то, он, можеть, и наш, да попы — ихные. А за кого попы, за того и бог. А то ты не знаешь, старый человек! Не насмотрелся за свою жизнь?.. Вот я и спрашиваю: возьмут они и выйдут встречь нам с иконами? Как тада?

Есаулы молчали. Положение, в какое поставил атаман казачье войско, нелегкое. Непонятно, как тогда? Не было вроде такого. Что-то не помнили казаки, чтобы когда-нибудь...

— Не было так никогда,— сказал Иван.

— Не было? — ожесточался Степан.— Будет! Это легко сделать, это не воевать. Вот — вынесли. Как мы тада, я спрашиваю? Ну?

— Давайте дело говорить! — уклонился было Ларька Тимофеев.— Про иконы какие-то затеяли...

— Это дело! — сердито сказал Степан. И кулаком пристукнул в столешницу.— Я спрашиваю: как быть, еслив бояры и попы...

— А кто нас ведет?! — тоже вдруг обозлился Ларька.— Стенька Разин, я слыхал? Вот я и спрашиваю Стеньку: как нам тада быть, Стенька?

— Ты не вали все на меня. Я вас спрашиваю! И велю отвечать: как быть?

Вдруг дверь открылась, и вошел Матвей Иванов.

Все оглянулись... Опешили: никто не ждал такого.

Матвей с необъяснимой смелостью прямо шел к столу и смотрел на атамана. Как-то даже насмешливо смотрел.

— Загадки загадываешь, атаман, а ответ не знаешь. А заговорил ты про самое главное... Вот слушайте, как быть.— Матвей серьезно оглядел всех. С особенным значением поглядел на атамана. Вообще, кажется, Матвею нравилось учить. Так нравилось, что он страх забыл.— Тут вас, казаки-атаманы, могут легко поймать. Вышлют на вас баб, да стариков, да мужиков глупых с иконами... Да и даже пусть не вышлют, а наперед накликают на вас хулу божью: и выйдет, что вы — враги человеческие, а ведет вас сам сатана под видом Стеньки Разина... А идете вы — всех бить и резать. Вот где беда-то! Тут вам и конец. С войском воевать можно, войско можно одолеть, народа не одолеешь. Татарин — не этот татарин, а тот, старинный,— он посильней вас был, а застрял: с народом пошла война. Гиблое дело.

— Какой же ответ? На загадку-то... Ты знаешь? — спросил Стырь, крайне заинтересованный.

— Знаю. Оттого и зашел... Можеть, батька и убьет меня после, но уж не подсказать вам — это будет мой грех. Скажу, потом делайте как знаете. Ответ такой, казаки-атаманы: надо вам вперед попов и бояр рассказать мужику: идете вы делать божье дело. Как Христос учил? Скорей верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Вот весь и сказ: поднялись на богатых, а бедных идем заслонить от притеснителев... Вот. Нас, мол, можеть, сам господь бог послал.

— Это мы без тебя знаем, как говорить,— сказал Ларька ехидно.— Монах нашелся...

— Вы знаете, надо, чтоб мужик тоже знал. Вот это я и хотел сказать.

— Все? — спросил Степан, странно глядя на Матвея, не то удивляясь на этого человека, не то любуясь весело.

— Все. Запомните, что сказал. А то вам плохо будет.

— Спаси бог! Как можно не запомнить... Теперь я сделаю, чего не сумел давеча.— Страшно сдвинув брови, Степан потянул из-за пояса пистоль... Ус мгновенно развернулся и ногой загреб табурет под Степаном. Табурет вылетел; Степан упал. И, сидя на полу, направил пистоль на Уса...

Ус побелел. Но ни один мускул не дрогнул на его добром лице. Он смотрел на Степана. Выхватить свой пистоль он все равно не успел бы... И он ждал. На его могучей, изрезанной морщинами шее вспухала толчками толстая синевато-багровая жила, точно вскрикивала о жизни.

Степан поднялся... Сунул пистоль за пояс.

— Там же пули нет,— сказал неохотно.— Уставились... Поиграть нельзя с дураками.— Видно, ему самому противной стала эта "игра" — надоело: все утро сегодня он то и дело хватается и хватается за пистоль. Сам как дурак сделался.— Поплыли дальше.— Степан поднял табурет, сел, поглядел на дверь...

Матвея в приказной избе уже не было. И никто о нем больше не напомнил, не сказал ничего. Утро какое-то кособокое вышло; утро-то какое — победное, а все чем-то да омрачается.

— Дальше так дальше,— беспечным голосом сказал Ларька.

— Куда плывем-то?

— Только одно хочу вам сказать, и запомните: все, что тут счас сказал Матвей,— это истинная правда.— Степан помолчал, чтоб как следует вникли в его слова.— Мне только обидно, казаки-атаманы, что мужицкая голова оказалась умней... ваших.— Не сказал "наших", сказал — "ваших".— А я от вас добивался... Это наука вам.— Степан подумал и все-таки добавил: — И мне тоже. Давайте корень копать... Ишо один наказ: мы на войне, ребятушки, и нечего кажный раз по сторонам оглядываться — то пришибли кого сгоряча, то... в иконку попали. Да как же без этого? На войне-то!.. Вы што?

9

Два казака на небольшой верткой лодочке гребли изо всех сил вниз по течению. Видно, старались держать ближе к берегу — к кустам. Переговаривались сторожко.

— Сколь нащитал?

— Триста набрал в голову и сбился. С тыщу будет. Двенадцать пушек.

— Смело́ они... развалились, как так и надо.

— Не знают, потому и смело.

— Хоть бы стереглись маленько...

— Не пуганные ни разу.

— Оно и мы-то — ждем, что ли, их? Я слыхал, они ишо где-то из-под Казани только-только выворотились... А они — вот они, голуби, пузы уж тут греют.

— Где теперь батька-то?

— В приказе небось? А где, поди?.. Там.

— Будет дело... Откуда, думаешь: с Москвы?

— С Москвы, должно. С казанскими вместе. Эх, разгуляться-та-а! Аж слюни текут. Накрыть можно... как кутят ситом.

— Даст бог, накроем.

Совет кончился; атаманы, есаулы расходились из приказной избы.

— Иван, огляди стены,— велел Степан.— Возьми Проньку с собой — ему тут головой оставаться. Подбирай вожжи, Прон: людей зря не обижай, не самовольничай — кругом все решайте...

Ус ушел со Степаном.

— Калган не болит? — спросил Ус просто.

— Нет.

— А то пойдем, у меня четверть доброго вина есть. У воеводы в погребе нашли. Ха-арошее винцо!

Степан думал о другом.

— Где счас Матвей твой? — спросил он.

— Тебе зачем? — насторожился большой Ус.

— Надо повидать его... Не бойся, худа не сделаю.

— Со мной он вместе. Смотри, Степан... тронешь его — меня тронешь. А меня за всю жизнь никто ни разу не мог тронуть. Не нашлось такого.

Степан с усмешкой посмотрел на Уса:

— А князь Борятинский-то... Ты как та девка: ночевала — и забыла, с кем.

Ус замолк — обиделся. Был он как ребенок, этот Ус: зла вовсе не помнил, а обидеться мог зазря... Матвей про него сказал: "Пушка деревянная — только пужать ей".

— Не дуйся, я не по злобе. Бегать и я умею, Вася. Хорошо бы — не бегать. Так бы суметь...

— Зачем Матвея-то надо?

— Глянется мне этот мужик твой. Умный. Ты береги его.

— Глянется, а сам стукнуть хотел... Первый-то раз.

— Попужать хотел и первый раз. Видно, натерпелся он за жизнь всякой всячины... А? Из таких — умные получаются. Где ты его взял-то?

— Все там же! — Ус весело и вызывающе посмотрел на Степана.— Как из-под Москвы бежали, там и подобрал. Пристал к нам... а бросать жалко стало. Натерпелся он, верно, много. Где только не бывал! А говорит не все... Даже не знаю откуда. Рязанский, наверно... Не спрашивал.

— Умный мужик, верно. Пойдем мировую с им выпьем. Из Рязани он.

— Откуда ты знаешь?

— Да он сам сказал давеча. Да и по выговору слышно.

— Ну, мировую? — совсем повеселел Ус.

— Мировую, чего нам с тобой, лаяться, что ль?

— Это дело другое, я не люблю лаяться. Не отставай тада от меня, а я поддам ходу. Как зачую, где вино, так меня не удержишь: как мельница ногами работаю.

Матвей, увидев Степана, встал со скамьи... Усмехнулся горько. Но не особенно испугался. Сказал:

— Так...

— Сиди, я тебе не боярин.— Степан посадил Матвея, сел напротив.— Мировую хочу с тобой выпить.

Матвей качнул головой:

— А я уж богу душу отдавать собрался. Ну, мировую так мировую. Лучше мировую, чем панихидную. Так ведь? — Матвей засмеялся один, атаманы не засмеялись.

— Не сказал ты свое слово: как лучше ийтить-то — вверх, вниз? — спросил Степан, внимательно и серьезно вглядываясь в лицо крайне интересного ему человека.

— Ты сам знаешь не хуже меня. Вниз.— Матвей тоже прямо глянул в глаза атаману.— Еслив это правда война, то — вниз.

— Вниз.— Степан все глядел на Матвея.— Ишь ты!..

Матвей усмехнулся и с особенным любопытством посмотрел на атамана.

— Не боюсь я тебя, грозный атаман,— заявил он спокойно и даже весело.

— Давеча же убить тебя мог,— серьезно сказал Степан.

— Мог,— согласился Матвей.— Можа, и убьешь когда-нибудь. А все равно не боюсь.

— Как так?

— Люблю тебя.

— Хм...

— Одно время шибко я бога кинулся любить... Чего только над собой не делал! — казнил себя всяко, голодом морил... даже на горбатой женился... Ну — полюбил, вроде спокой на душе, молюсь. Пожил маленько — нет, не могу: обман гольный. Отстал. Ну, и больше уж — на кого же надеяться? Все. А с богом никак не могу — не могу его всего в башку взять, не дано. Душа-то, слышу, мертвая у меня...

— А чего хочешь-то? — надеесся-то. Чего надо-то?

— Хочу-то?..— Матвей помолчал.— Сам не знаю. Жалко людей, Степан Тимофеич, эх, жалко! Уж и не знаю, откуда она такая жалость. Самого-то — в чем душа держится, соплей перешибить можно, а вот кинулся весь белый свет жалеть. Да ведь только бы жалел! Ну и иди в монастырь вон — жалей на здоровье, молись. А то ведь руки чешутся тоже — тоже бы кому в зубы сунуть. Злюсь тоже. Прямо мука, истинный Христос. И не уйдешь от их никуда, от людей-то, и на их глядеть — сердце разрывается: горе горькое воет. Он вон, царь-то, церквы размахнулся строить — а што?.. А мужику все тесней да тесней, уж и выбор-то стал: или поместнику в ярмо, или монастырю — вот и все, весь наш выход стал.

— Хм... к богу хочет поближе — с церквами-то.

— Теперь стал я на людей надеяться, Степан. На тебя вот...— Матвей, как бы спохватившись, что сказал лишка, смолк.

— Эт ты с любовью ко мне вылетел... я знаю зачем,— жестко сказал Степан.

— Зачем? — искренне спросил Матвей.

— Чтоб наперед не страшиться меня. Сказал: "люблю" — у меня рука не подымется больше...

— Ты что, палач что ль, что тебе надо обязательно поднять на меня руку?

— Не говори поперек.

— Ишь ты какой!..

Пришел из сеней Ус с четвертью вина.

— Ты перспрятал? — спросил он Матвея.— Насилу нашел.

— Спросил бы... Я теперь и сам выпить не прочь. Мировая у нас с атаманом.

— Ты все-таки не выскакивай лишний раз с языком,— еще посоветовал Степан.— А то... Сам потом горевать буду, да поздно. Не знаешь меня...

— Я все про тебя знаю, Степан.

Только налили по чарке — вбежал казак (один из тех, что плыли в лодке):

— Батька, стрельцы!

— Где? — повскакали все.

— На острове, в семи верстах отсель... С тыщу, нам показалось. Про нас не ведают, греются на солнышке, пузы выставили... Мы с Ермилом неводишко хотели забросить подальше от городка, подплываем, а их та-ам...

— Где, какой остров-то?

— Денежный зовут. В семи верстах, вверх.

— С тыщу?..

— С тыщу. Двенадцать пушек. Про нас — ни сном ни духом: валяются на травке, костры жгут...

— Счас они у нас поваляются. Это же те, каких из Казани ждут. Ая-яй! Зови всех ко мне! Счас мы их стренем. Только — никому пока ни слова про стрельцов! Никакого шума! Ая-яй! — Степан как на ежа наступил: засуетился по избе, забегал.— Ая-яй!.. А мы прохлаждаемся тут, вины распиваем. Ну, мало нас били! Ведь вот как могли накрыть! Нет, мало, мало били ишо...

Бой со стрельцами был предрешен.

Степан со стругами отплыл на луговую сторону. Нагорной стороной (правым берегом) пошла конница во главе с Усом. На стенах города остались Черноярец и Шелудяк. С пушкарями.

Стрельцы действительно не знали о пребывании разинцев в Царицыне. И горько поплатились за свою беспечность.

Они готовились славно и мирно пополдничать, как вдруг с двух сторон на них посыпались пули — с правого берега (островок, где стояли, был недалеко от крутояра) и с воды, со стругов.

Стрельцы кинулись на свои суда. Степан дал им сесть. Но так, чтоб они не поняли, что их заманивают в ловушку: как будто это само собой вышло...

Перед боем Степан быстро и точно рассказал, что делать каждому. И предсказал, как поведут себя стрельцы, застигнутые врасплох. Он говорил:

— Родионыч, бери две тыщи конных, пойдешь горой. Я переплыву к луговой стороне, подойду к им промеж островов поближе, учиню стрельбу. Как услышишь, что я начал, выезжай на яр и пали. Они на стружки кинутся — сплывать. Я им дам — сядут. Федор, Фролка... Ларька, передайте, кто с нами поплывет: чтоб вперед моего стружка не выгребали. Пусть мясники сядут, пусть думают, что избежали участь свою. Почнут к городу выгребать — я им дам. Баграми не цепляться, на пуле держать. Федька, Иван...

— Какой Федька-то?

— Шелудяк. И ты, Иван: на стене будете с пушкарями. Подплывут на ядро — палите. На низ вздумают утекать, ты их стречай, Прон. Все в голову взяли?

— Все.

— С богом!

...Стрельцы выгребались к городу, полагая, что там воевода. Налегали изо всех сил на весла — скорей под спасительные пушки царицынских городских стен.

Сзади, на расстоянии выстрела, следовал Степан, поджимал их к берегу. С берега сыпали пулями казаки Уса.

Это был не бой даже, а избиение. Пули так густо сыпались на головы бедных стрельцов, что они почти и не пытались завязать бой. Спасение, по их мнению, было в городе, они рвались туда.

И когда им казалось, что — все, конец бойне, тут она началась. Самая свирепая.

Со стен города грянули пушки. Началась мясорубка. Пули и ядра сыпались теперь со всех сторон.

Стрельцы бросили грести, заметались на стругах. Некоторые кидались вплавь... Но и там смерть настигала их. Разгулялась она в тот день над их головами во всю свою губительную силу.

Стрельцы закричали о пощаде. Немногих, кто был ближе к стругам разинцев и отбивался после криков о милости, стрельцы застрелили сами.

От флотилии Степана отделился один стружок, выгреб на простор, чтоб его с берега и со стен видно было; казак поддел на багор кафтан и замахал им. Это был сигнал к отбою.

Стрельба прекратилась.

Все случилось скоро.

Стрельцы сошли на берег, сгрудились в кучу.

Подплыл Разин, съехал с обрыва Ус.

— Что, жарко было?! — громко спросил Степан, спрыгнув со струга и направляясь к пленным.

— Не приведи господи!

— Так жарко, что уж и вода не спасала.

— За Разиным поехали?!.. Вот я и есть — Разин. Кто хочет послужить богу, государю и мне, отходи вон к тому камню.

— Все послужим!

— Всех мне не надо. Голова, сотники, пятидесятники, десятники — эти пускай вот суда выйдут, ко мне ближе: я с ими погутарю.

Десятка полтора человек отделились от толпы стрельцов... Подошли ближе.

— Все? — спросил Степан.— Всех показывайте, а то потом всем хуже будет.

Еще вытолкнули сами стрельцы нескольких.

— Кто голова?

— Я голова,— отозвался высокий, статный голова.

— Что ж ты, в гробину тебя?!.. Кто так воюет! Ты бы ишо растелешился там, на острове-то! К куму на блины поехал, собачий сын? Дура сырая... Войско перед тобой али — так себе?! Всех в воду!

Казаки бросились вязать стрелецкое начальство.

К Степану подошли несколько стрельцов с просьбой:

— Атаман... одного помилуй, добрый был на походе...

— Кто?

— Полуголова Федор Якшин. Не обижал нас. Помилуй, жалко...

— Развязать Федора! — распорядился Степан. И, не видя еще, кто этот Федор Якшин, крикнул — всем: — Просют за тебя, Федор!

Почуяв возможность спасения, несколько человек — десятник и пятидесятники — упали на колени, взмолились:

— Атаман, смилуйся! Братцы, смилуйтесь!..

Степан молчал. Стрельцы тоже молчали.

— Братцы, я рази вам плохой был?

— Смилуйся, атаман! Братцы!..

Степан молчал. Молчали и стрельцы.

— Атаман, верой и правдой служить будем! Смилуйся.

К Степану пробрался Матвей Иванов. Заговорил, глядя на него:

— Степан Тимофеич...

— Цыть! Баба,— оборвал его Степан.— Я войско набираю, а не изменников себе. Счас все хорошими скажутся, потом нож в спину воткнут. Не суйся.

Твердость Разина в боевом деле, какой была непреклонной, непреклонной и оставалась. Ничто не могло здесь свихнуть его напряженную душу, даже жалость к людям,— он стискивал зубы и делал, что считал нужным делать.

Больше никого начальных не помиловали.

— Стрельцов рассовать по стружкам,— сказал Степан своим есаулам.— Гребцами. У нас никого не задело?

Есаулы промолчали. Иван Черноярец отвернулся.

— Кого? — спросил Степан, сменившись в лице.

— Дедку... Стыря. И ишо восьмерых,— сказал Иван.

— Совсем? Дедку-то...

— Совсем.

— Эх, дед...— тихо, с досадой сказал Степан. И болезненно сморщился. И долго молчал, опустив голову.— Сколь стрельцов уходили? — спросил.

Никто этого не знал — не считали.

— Позовите полуголову Федора.

Полуголова Федор Якшин до конца не верил в свое освобождение. Когда позвали его, он, только что видевший смерть своих товарищей-начальников, молча кивнул головой стрельцам и пошел к атаману.

— Сколь вас всех было? — спросил тот.

— Тыща. С нами.

Степан посмотрел на оставшихся в живых стрельцов.

— Сколь здесь на глаз?

Заспорили.

— Пятьсот.

— Откуда?.. С триста, не боле.

— Эк, какой ты — триста! Три сотни?.. Шесть!

— На баране шерсть.

— Пятьсот,— сходились многие.— Пятьсот уходили, не мене.

Полуголова Федор, толковый мужик, поглядел на своих стрельцов.

— Не знаю, сколь вам надо,— сказал он грустно,— но, думаю, наших легло... с триста. С начальными.

— Мало,— сказал Степан.

Не поняли — чего мало?

— Кого мало? — переспросил Иван.

— Хочу деду поминки справить. Добрые поминки!

— Триста душ отлетело — это добрые поминки.

— Мало! — зло и упрямо повторил Степан. И пошел прочь от казаков по берегу. Оглянулся, сказал: — Иван, позови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Резанова.— И продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и сумрачно думал.

Через некоторое время пришли те, кого он звал: Иван Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, скоморох Семка.

Степан сел сам, пригласил всех:

— Сидайте. Прон, в Камышине бывал?

— Бывал.

— Воеводу тамошнего знаешь? Нет, так он тебя знает?

— Откуда!

Степан подумал... Побил черенком плети по носку сапога.

— Ивашка, боярский сын...— сказал он и пристально посмотрел на боярского сына.— Бывал в Камышине?

— Как же! — поспешил с ответом перебежчик, боярский сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на отца и на родню, взял и перекинулся к разинцам, и, кажется, уже жалел об этом — особенно после избиения царицынцев. Но делать нечего... Единственное, наверно, что можно сделать, уйти опять к своим. Только... и гордость противится, и... как теперь поглядят свои-то?— Бывал. Много раз.

— Воевода тебя знает?

— Знает.

— Хорошо знает? Голос твой узнает?

— Как же!

— Добре. Приберете из войска, которые не в казачьем платье... Поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, Ивашка, попросисся. Но с тобой будет мало, с дюжину — по торговому делу. Слышно, мол, Стенька где-то шатается — боязно. Вон скомороху, мол, язык срезали. Пустют. Там подбейте воротную стражу... или побейте, как хочете: откройте ороты. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. Как вороты откроются, не зевай, вали.

— Еслив откроются...

— Откроются. Силы у их там мало, я знаю, лишних людишек всегда примут. Ишо порадуются. Я так-то Яик-городок брал. К утру чтоб Камышина на свете не было. Выжечь все дотла, золу смести в Волгу. До тех пор я Стыря земле не

предам. Все взяли? Людишек с добром и со скотом... в степь выгоните. Зря не бейте — они по деревням разойдутся. Приказных и стрелецких — в воду. А городка такого — Камышина — пускай не станет, пускай тоже не торчит у нас за спиной. Взяли?

— Взяли.

— С богом. Иван, подбери людей. Сам здесь останься. Станут наши пытать: куда, чего — не трепитесь много. К калмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка...— Степан поглядел на боярского сына.— Еслив какая поганая дума придет в голову,— лучше сам на копье прыгай: на том свете достану. Лютую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из головы. Идите.

Казаки ушли.

Степан остался сидеть. Смотрел вверх по Волге. Долго сидел так. Сказал негромко:

— Будет вам панихида. Большая. Вой будет и горе вам.

...Ночью сидели в приказной избе: Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили.

Горели свечи, и пахло, как в церкви.

В красном углу, под образами, сидел... мертвый Стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное. При оружии. Умыт.

Пили молча. Наливали и пили. И молчали... Шибко грустными тоже не были. Просто сидели и молчали.

Дед Любим сидел ближе всех к покойнику. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый.

Колебались огненные языки свечей. Скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать.

Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы — не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное: кап-кап, кап-кап...

Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек рукомойника. Перестало капать.

Степан посмотрел на дедушку Стыря и вдруг негромко запел:

Ох, матушка, не могу,
Родимая, не могу...

Песню знали; Стырь частенько певал ее, это была его любимая.

Подхватили. Тоже негромко, глуховато:

Не могу, не могу, не могу,
могу, могу!

Снова повел Степан. Он не пел, проговаривал. Выходило душевно. И делал он это серьезно. Не грустно.

Сял комарик на ногу,
Сял комарик на ногу...

Все:

На ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!
Ой, ноженьку отдавил,
Ой, ноженьку отдавил,
Отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!
Подай, мати, косаря,
Подай, мати, косаря,
Косаря, косаря, косаря,
саря, саря!
Рубить, казнить комара,
Рубить, казнить комара,
Комара, комара, комара,
мара, мара!
Отлетела голова,
Отлетела голова,
голова, голова, голова,
лова, лова!

Налили, выпили. Опять замолчали.

За окнами стало отбеливать; язычки свечей поблекли — отцвели.

Вошел казак, возвестил весело:

— Со стены сказывают: горит!

Степан налил казаку большую чару вина, подал. И даже приобнял казака.

— На-ка... за добрую весть. Пошли глядеть.

Камышин сгорел. Весь.

* * *

При солнышке поднялись в поход. Степан опять торопился.

Раскатился разнобойный залп из ружей и пистолей...

Постояли над свежими могилками казаков, убитых в бою со стрельцами. Совсем еще свежей была могилка Стыря.

— Простите,— сказал Степан холмикам с крестами.

Постояли, надели шапки и пошли.

С высокого яра далеко открывался вид на Волгу. Струги уже выгребали на середину реки; нагорной стороной готовилась двинуть конница Шелудяка.

— С богом,— сказал Степан. И махнул шапкой.

Войско двинулось вниз по Волге. На Астрахань.

10

Долго бы еще не знали в Астрахани, что творится вверху по Волге, если бы случай не привел к ним промышленника Павла Дубенского, муромца родом.

Тот плыл по Волге на легком стружке, распевал песенки. В десяти верстах от Царицына повстречал стрельцов из отряда Лопатина (разбитого под Царицыном), которые чудом уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенскому все. Тот, видно, не раз ходил Волгою, места хорошо знал. Переволокся на Ахтубу, у Бузуна снова выгреб в Волгу и достиг Астрахани. И там все поведал.

Начальные люди астраханские взялись за головы.

Воеводы, митрополит, приказные, военные-иностранцы сидели в приказной палате, не знали, как теперь быть.

— Говорите, как думаете,— велел Прозоровский.— Рассусоливать некогда. Дорассусоливались! Ведь мы-ы,— посту-

чал он пальцем по столу,— мы, вот здесь вот, благословили Стеньку на такой разбой. Говорите теперь!

Но многим хотелось более ясно представить себе надвигающуюся беду, расспрашивали Дубенского.

— Как же ты-то проплыл? — спросил князь Львов.

— Ахтубой. Там переволокся, а тут, у Бузуна, вышел. Я Волгой-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему небесное, всю ее, матушку, вдоль и поперек...

— Сколько ж у его силы?

— Те, стрельцы-то, сказывали: тыщ с пять. Но не ручались. А рыбаки, я их тоже стренул,— пятнадцать, мол. А на Царицыне атаманом Пронька Шумливый. Завели в городе казачий уклад: десятников поставили, дела кругом решают. А эти, посадские...

— Те, эти... Не мог ладом узнать! — разозлился воевода.

— Ты плыл, Камышин-то стоял ишо? — спросил Львов.

— Стоял. А потом уж посадские сказали: спалили. Чего мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то гневаться?

Митрополит перекрестился.

— Вот она и пришла, матушка...

— Кто? — не понял младший Прозоровский.

— Беда. При нас начиналась и до нас и дошла.

— Советуйте,— велел воевода.— Как их, подлецов, изменников, к долгу теперь обратить? Как унять?

— Зло сталь очшень большой,— заговорил Давид Бутлер, корабельный капитан.— Начшальник Стенька не может удерживать долго флясть...

— Пошто так?

— Са ним следовать простой шеловек, тольпа — это очшень легкомысленный... мм... как у вас?..— Капитан показал руками вокруг себя — нечто низменное, вызывающее у него лично брезгливость.— Как это?

— Сброд? Сволочь? — подсказал Прозоровский.

— Сволечшь!.. Там нет ферность, фоинский искусств... Дисциплин! Скоро, очшень скоро там есть — пополам, много. Фофилон! Только не давайт фольнени сдесь, город. Строго! М-м!

— Жди, когда у его там пополам будет! — воскликнул подьячий Алексеев.— Свои-то, наши-то сволочи, того гляди зубы оскалют. На бочке с порохом сидим.

Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно кивнул головой. Да воевода и сам знал о ненадежности стрельцов.

— Что правда, то правда,— вздохнул стрелецкий голова.

— Надо напасть на воров в ихнем же стане! — заключил молодой Прозоровский.— Будем готовиться, наших хоть делом займем. А пока готовиться будем, приберем человек четыреста получше да татар сэстоль же — пусть сходют вверх проведают. А здесь собрать надо людей со всех мест, оружить их... Сколь стрельцов-то у нас?

— Всего войска — двенадцать тыщ,— ответствовал Иван Красулин.

Боярин Прозоровский хлопнул себя по ляжкам.

— А еслив у его, вора,— пятнадцать!

— Не числом бьют, Иван Семеныч,— заметил в сердцах митрополит.— Крепостью. Сразу принялись воров щитать — сколько? Вот те раз! Ишо ничем ничего, а мы уж готовы — сварились.

— Где она, крепость-то? Стрельцы?.. Они все к воровству склонные. Они вон жалованье требуют, стрельцы-то. Вот и вся крепость. Щитать принялись... Будешь щитать, если вся и надежда — за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то... проть кого она обернется, крепость-то?

— Подвесть их под присягу...

— Они жалованье требуют! А не под присягу...— Воевода злился.— Одной присягой не навоюешь.

— Вот вся наша крепость: надо платить,— сказал подьячий.— Надо платить. Тада хоть какая-то надежда будет.

— Подвесть под присягу! — еще раз сказал митрополит.— Острастку сделать!..— Он тоже был в сильнейшем раздражении.— А караул кричать — это мы напоследок сделаем. Соберемся с голосами и рявкнем. Можешь, даже Стеньку тем испужаем...

Астраханцы растерялись.

11

Разинцы шли ходко, днем и ночью, без остановок. Для этого вперед, на один конский переход, под сильной охраной высылались кони, кормились, и на них, отдохнувших, пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы везти казаков дальше. Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили сотники, есаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вино везли с собой, много.

Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого.

Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура — силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь — царь, то злился и негодовал: как это — люди могут быть подневольными, но при этом — живут, смеются, рожают детей... То он вдруг перестал понимать смерть — человека нету. Как это? Совсем? Что, Стырь так и будет лежать теперь на высоком берегу Волги? Вечно. Для чего же все было? Для чего он жил? Смерть... Да что это, что?

— Степушка,— посмеялся Матвей,— покойников-то на земле больше, чем живых.

— Хреновина выходит, Матвей: одни черви и живут на земле? А мы для чего? Для прокорма ихнего?

— Выходит, так.

— Тьфу!.. Аж тошно. А чего ты мне про бога-то плел? Я забыл... Ну-ка, расскажи толком... Я, знаешь, иконку одну видал в Соловцах — Божья Мать, я ее всю понял, всю в башку взял. Не знаю, как тебе сказать,— понял. Сидит хорошая, душевная христьянка... как моя мать. Я на ее залюбовался, по теперь ее помню. Ну?.. Стало быть, верю я?

— Это не то, Степан Тимофеич.

— Что же? А ты как хотел верить?

Матвей пристроил шагать своего конька к шагу разинского.

— Полюбить я его хотел, бога-то... Не мог — не дано: весь, видно, грехами изъеден, как лесина трухлявая, где же тут полюбить, чем?.. А любви нет, нету и веры, один обман. Я вон на горбатой-то оженился — и что? Ни себе радости, ни... И ей тоже мука. А ведь тоже — хотел полюбить. Вот-де никто не любит, а я буду. Душу ее буду любить...

— Ну, и как? — со смехом спросил Степан.

— Не мог. Кажилился, кажилился — нет, нету моих сил на то, сбежал. Все бросил — и куда глаза глядят. Там и бросать-то... бобыль я. Нет, брат, душу не обманешь.

Они приотстали от других, никто не мешал разговаривать. И не странно им было — на высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними,— вести этот

углубленный разговор. Но Степану было интересно, и Матвею интересно.

— Ну, а как с богом-то? — хотел понять Степан.

— Тоже не мог полюбить. Ведь полюби я, я бы и знал, как жить,— а не могу. Думы черные в голову лезут. Думаю: да сам он боярин добрый, бог-то. Любит, чтоб перед им только стелились. А он поглядит: помочь тебе али нет. Он ишо подумает. От таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие! Рази так можно?

— А царя за что не жалуешь?

— Что? — Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал — собирался с мыслью.

— Царя-то за что не любишь? Глухой, что ль?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— А мне интересно, как ты скажешь...

— Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые.

— А ты не хитрый?

— Чего ты заладил: "а ты," "а ты"?.. Дятел. Я тебя спрашиваю!

— Ты тоже хитрый, Степан. Можешь, так и надо.

— Где это я хитрый?

— Да с царем с тем же... Не жалуешь и ты его, а как надо людей с собой подбить, говоришь: я за царя! Хэх!.. За царя. За волю уж, Степан, прямо, не кривить бы душой. Ну, опять же — не знаю. Тебе видней. Погано только. Как-то все... вроде и доброе дело люди собрались делать, а без обмана — никак! Что за черт за житуха такая. У нас, что ль, у одних так, у русских? Ты вот татарей знаешь, калмыков — у их-то так жа?

— Как я их знаю!..— в раздумье, не сразу откликнулся Степан.

Степану неохота было говорить про это: велика это штука — людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за волю, за царя — тоже за волю, но пусть будет за царя, лишь бы смелей шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж... там уж не их забота. За волю-то не шибко вон подымаются, мужики-то: на бояр да за царя... Так уж невтерпеж им — перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы: зачем это людям надо?

— Такой же ведь человек — баба родила,— стал думать вслух Степан.— Поито же так повелось? — посадили одного и давай перед ним на карачках ползать. Во!.. С ума, что ль, посходили? Зачем это? Царь. Что царь? Ну и что?

— Дьявол знает! Боятся. А тому уж — вроде так и надо, вроде уж он — не он и до ветру не под себя ходит. Так и повелось... А небось перелобанить хорошо поленом, так и ноги протянет, как я, к примеру...

Степан глядел вперед — как будто не слушал.

Матвей смолк.

— Ну? — спросил Степан.

— Что?

— Перелобанить, говоришь?

— Пример это я тебе!.. Такой же человек, мол, тоже туда же дорога — к червям, а вот вишь, что делается...

— Мгм... Да ишо еслив пример-то выбрать почижельше — осиновый. А?

Засмеялись.

— А что Никон? — спросил вдруг Степан с искренним и давним интересом.— Глянется мне этот поп! Хватило же духу с царем полаяться... А? Как думаешь про его?

— Ну и что?

— Как же?.. Молодец! А к нам не склонился, хрен старый. Тоже, видать, хитрый.

— Зачем ему? У его своя смета... Им, как двум медведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан: один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы ишо царя додумался с собой подговаривать...

— Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю: Никон со мной идет. А?

— Зачем это? — удивился Матвей.

— Так... Народ повалит, мужики. Патриарх... самый высокий поп, как Стырь говорил. Мужики смелей пойдут.

Матвей молчал.

— Что молчишь?

— Делай как знаешь...

— А ты как думаешь?

— Опять ведь за нож схватисся?

— Да нет!.. Что я, живодер, что ли?

— Дурость это — с Никоном-то. "Народ повалит". Эх, как знаешь ты народ-то! Так прямо кинулись к тебе мужики — узнали: Никон идет. Тьфу! Поднялся волю с народом добывать, а народу-то и не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил, дай ему ишо попа высокого. Ну и дурак... Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это.

— Цыть! Заговорил!..— Степан уставился на Матвея строгим взглядом.— Много! Ворох сразу вывалил... Умник.

Матвей, недолго думая, подстегнул меринка, и отъехал вперед, и скрылся в рядах конников.

Степан обогнал всех, свернул в сторону с дороги, остановился. Подождал, когда подъедут есаулы.

— Дед! — окликнул он деда Любима. Когда Любим подъехал, спросил: — Есть у тебя хлопец проворный?

— У меня все проворные.— Дед Любим привстал в стременах, кого-то стал высматривать среди конных.— Зачем тебе? Могу всех кликнуть: сам выбирай — все молодцы добрые.

К ним подвернули есаулы, скучились.

— Мне всех не надо. А одного найди — в Астрахань поедет, к Ивашке Красулину.

— Гумагу? — догадался Любим.

— Никаких гумаг. Взять все в память, и до поры пускай все умрет.

Мимо шла и шла конница. Со Степаном здоровались; он кивал головой, влюбленно всматривался в своих казаков.

— Здоров, батька!

— По чарочке б, Степан Тимофеич!.. Глотки — того, дерет... Пыль бы сполоснуть!

Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он увидел кого-то.

— Макся Федоров!

Молодой казак (тот игрок в карты) придержал коня.

— Я?

— Ты. Ехай суда.

Макся подъехал. Степан улыбнулся растерянности парня.

— Чего же не здоровайся? Не узнал, что ли? Я вот тебя узнал.

— Здоров, батька.

— Здоров, сынок. Как, в картишки стариков обыгрываешь?

— Нет! — выпалил Макся. И покраснел.

Степан и есаулы засмеялись.

— Чего ты отпираться-то кинулся? Старика обыграть — это суметь надо. Они хитрые.— Степан спрыгнул с коня.— Иди-ка суда.

Макся тоже спешился и отошел с атаманом в сторону. Тот долго ему что-то втолковывал. Макся кивал головой. Потом Степан приобнял парня, поцеловал и отпустил.

Макся, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, вскочил на коня и с места взял в мах.

Конница все шла.

Степан тоже сел на коня, тронул его тихим шагом. Есаулы за ним.

Степан вдруг обернулся, позвал:

— Иван, найди Матвея Иванова. Пошли ко мне.

Есаулы переглянулись... Не нравился им этот Матвей Иванов — баба какая-то, да еще и говорун. Иван послал казака найти Матвея, но сам подъехал к Степану, чуть потеснил его коня вбок.

— Степан... казаки наказали выговорить тебе...

— Ну. Слухаю.

— Этот Матвей... он, видно, хороший мужик, но ты уж прямо милуисся с им на виду войска. Обида берет казаков...

— А тебя берет?

— А?

— Тебе, говорю, тоже обидно, что я гутарю с мужиком?! Что вы седня, оглохли, что ль, все?

— Да гутарь на здоровье! Уведи в шатер, там и гутарьте... Только гляди, не стал бы он с толку сбивать...

— С какого?

— Ну... мало ли у их чего на уме. Кто их знает, этих мужиков. А он вон какой говорун!

— Ты прямо, как за девкой, за мной доглядываешь.— Степан усмехнулся.— Смешной ты, Иван... Не бойся, он меня с толку не собьет.

— Я так-то не боюсь...

— И не обижайтесь. Ума-разума атаман наберется — кому от этого хуже? Всем лучше будет.

— От его — ума-разума? — удивился Иван.— Господи...

— От его. Не гляди, что неказистый, все смекает. Ты, Ваня, таких не отталкивай от себя. У его вон в чем душа держится — а она болит за всех, умная душа. Не обижайте его.

— Никто его не обижает.

— Мне отец рассказывал про деда, отца своего... Здоров был, пошуметь любил, Стырь знал его. Кому хошь бока наломает, а калеку какого-нибудь домой приведет, накормит, напоит и с собой спать положит. Мне всех уботик да бездомных тоже жалко... Да ишо когда бьют их...

— Кто его бьет?

— Я не про Матвея. А и про его! Бьют таких, Иван! Не слышим мы — стон стоит по деревням да по городам. И такие же, русские... курвы: ни стыда, ни жалости — бьют. Как маленько посильней да царю угодный, так норовит, змея

такая, мужику на шею. Мы сдуру в Персию поперли — вот кому надо кровя-то пускать, своим! Я два раза проехал — посмотрел... Да там не... Тьфу! Не буду! Не буду!.. Тьфу! Говори мне чего-нибудь... про войско. Высыпаются казаки?

— Меняемся, как же.

— Шагу не сбавляй, но отоспаться давай. Корми тоже хорошо. Надо в Астрахань свежими прийти. Пить, гляди, не давай.

— Гляжу.

— В Астрахани, даст бог, разговеемся. Ну, оставь одного. Пусть Матвей-то смелей подъедет... шумнул я тут на его. Пусть не боится. Да и вы не коситесь — уревновали, дураки. Побольше б нам таких в войско — с головой да душой,— умней бы дело-то пошло. Позови-ка.

— Ладно.

Матвей нашел атамана, когда солнышко уже село. На просторную степь за Волгой легла тень. Светло поблескивала широкая полоса реки. Мир и покой чудился на земле. Не звать бы никого, не тревожить бы на этой земле. А что делать? Любить же надо на этой земле... Звезды в небе считать. Почему же на душе все время тревожно, больно даже?

— Звал, Тимофеич?

— Звал.— Степан сидел на яру, обняв руками колени. Сзади стоял конь, недоуменно фыркал и легонько тянул повод.— Хотел договорить давешное, да расхотел. Ты говоришь: кинулся было бога любить... А я любил, Матвей.

— Неужто? — искренне изумился Матвей.

— Любил. Молился... Только молился, а сам думал: не поверит он мне. Я никакой не сиротка, не золотушный... Подумает: просит, а сам небось про баб думает али как погулять... Он же ведь все там знает.

— А чего просил-то? Молился-то?

— Чтоб отец живой из похода пришел, чтоб казаки одолели... Много — совестно споминать. Маленький был, молился, чтоб мать не хворала,— жалко было. Да мало ли!..

— Не любил ты его, Степан. Так не любят: молится и тут же думает — не поверит бог. Сам ты ему не верил.

— Как же! Плакал даже! Большой уж был и то плакал...

— Это... душа у тебя такая — жалосливая. Когда верют, так уж верют, а ты с им, как с кумом: в думы его тайные полез. Нешто про бога можно знать, чего он думает? Нет, еслив верить, так уж ложись пластом и обмирай. Они так, кто верит-то.

— Ну, не знаю... Я верил.

— Чего ж бросил?

— Я, можеть, и не бросил вовсе-то... Попов шибко не люблю. За то не люблю, оглоедов, что одно на уме: лишь бы нажраться!.. Ну ты подумай — и все! Лучше уж ты убивай на большой дороге, чем обманывать-то. А то — и богу врет, и людям. Не жалко таких нисколь... Грех убивать! Грех. Но куски-то собирать — за обман-то, за притворство-то — да ить это хуже грех! Чем же они не побирушки? А глянь, важность какая!.. Чего-то он знает. А чего знает, кабан? Как брюхо набить — вот все знатье. Про бога он знает?

— Дерьма много... Правда. А татаре говорят про своего бога: поймешь себя, поймешь бога. Можеть, мы себя не понимаем? А кинулись вон кого понимать...

— Так чего же он терпит там! Все силы небесные в кулаке держит, а на земле — бестолочь несусветная. Эти лоботрясы с молитвами, а тут — кто кого сгреб, тот того и... Куда ж он смотрит? Нет уж, тут н понимать нечего: не то чего-то... Не так. Кто же людям поможет-то? Царь?

— Ну, это не его дело! Себя только ублажает сидит там. Иной раз думаю: да хоть пожалей ты людишек своих!.. Нет, никак, ни-как! Не видит, что ли?.. Не знает ли...

— Вот...— Степан долго смотрел в заволжскую даль. Сказал негромко: — Вишь, хорошо как. Живешь — не замечаешь. А хорошо.

— Хорошо,— согласился Матвей.— Костерок бы счас над речкой... Лежать бы — считать звезды.

Степан засмеялся:

— Ты прямо мою думку подслушал... Поваляться б? Эх, поваляться б!.. Матвей, хочу спросить тебя, да неловко: чего эт ты с горбатой-то надумал? Правда, что ль, блажь нашла или, можеть, на богатство поманило, а теперь сознаться совестно? А?

— Не надо про это,— не сразу ответил Матвей.— Не надо, Степан. — И стал грустный.

Что-то очень тут болело у мужика, а не говорил. Сказал только:

— Я рассказывал тебе... Ты не веришь.

12

Макся попался в Астрахани. Его узнали на улице. Вернее, узнал он. Пропажу свою узнал. Когда осенью были в Астрахани, пропал у Макси красавец нож с позлаченной рукоятью. Редкий нож, искусной работы. Макся горевал тогда по ножу, как по человеку. А тут — шел он по улице,

глядь, навстречу ему — его нож: блестит на пузе у какого-то купца, сияет, как кричит.

— Где нож взял? — сразу спросил Макся купца.

— А тебе какая забота? Где б ни взял...

У Макси — ни пистоля, ни сабли при себе, он в драной одежонке... Но прикинул парень астраханца на глаз — можно одолеть. Не дать только ему опомниться... А пока он так прикидывал да глянул туда-сюда по улице, астраханец, зачуяв недоброе, заблажил. Макся — наутек, но подбежали люди, схватили его. И тогда-то некая молодая бабенка — без злого умысла даже, просто так — вылетела с языком:

— Ой, да от Стеньки он! Я его видала, когда Стенька-то был... Со Стенькой он был. Я ишо подумала тада: какие глаза парню достались...

У Макси и впрямь глаза девичьи: карие, ласковые... И вот они-то врезались в память глупой бабе.

Повели Максю в пыточный подвал. Вздернули на дыбу... Макся уперся, запечатал окровавленные уста. Как ни бились над ним, как ни мучили — молчал. Меняли бичи, поливали изодранную до костей спину рассолом — молчал. Бился на соломе, орал, потом стонал только, но ни слова не сказал. Даже не врал во спасение. Молчал. Так наказал атаман — на случай беды: молчать, что бы ни делали, как ни били.

Устали заплечные, и пищик, и подьячий, мастер и любитель допроса. Вошли старший Прозоровский с Иваном Красулиным.

— Ну как? — спросил воевода.

— Молчит, дьяволенок. Из сил выбились...

— Да ну? Гляди-ко...

— Как язык проглотил.

— Ну, не отжевал же он его, правда.

— Сбудется! У этого ворья все сбудется.

Воевода зашел с лица Максе.

— Ух, как они тебя-а!.. Однако, перестарались. Зря, не надо так-то. Ну-ка снимите его, мы поговорим. Эк дорвались, черти! — Голос у воеводы отеческий, а глаза красные — от бессонницы последних ночей, от досады и слабости. Этой ночью пил со стрелецкими начальными людьми, много хвалился, грозил Стеньке Разину. Теперь стыдно и мерзко.

Максю сняли с дыбы. Рук и ног не развязали, положили на лавку. Воевода подсел к нему. Прокашлялся.

— К кому послали-то? Кто?

Макся молчал.

— Ну?.. К кому шел-то? — Воеводе душно было в подвале. И почему-то страшно. Подвал темный, низкий, круглый — исхода нет, жизнь загибается здесь концами в простой, жуткий круг: ни докричаться отсюда, ни спрятать голову в угол, отовсюду виден ты сам себе, и ясно видно — конец.

— Ну?.. Чего сказать-то велели? Кому?

Макся повел глазами на воеводу, на Красулина, на своих палачей... Отвернулся.

Воевода подумал. И так же отечески ласково попросил:

— Ну-ка, погрейте его железкой — небось сговорчивей станет. А то уж прямо такие упорные все, спасу нет. Такие все верные да преданные... Заблажишь, голубок... страмец сопливый. Погуляешь у меня с атаманами...

Палач накалил на огне железный прут и стал водить им по спине жертвы.

— К кому послали-то? — спрашивал воевода.— Зачем? Мм?

Макся выл, бился на лавке. Палач отнял прут, положил в огонь накалить снова, а горку рыжих углей поддул мехом, она воссияла и схватилась сверху бегучим синеньким огоньком. В подвале пахло паленым и псиной.

— Кто послал-то? Стенька? Вот он как жалеет вас, батюшка-то ваш. Сам там пьет-гуляет, а вас посылает на муки. А вы терпите! К кому послали-то? Мм?!

Макся молчал. Воевода мигнул палачу. Тот взял прут и опять подошел к лежащему Максе.

— Последний раз спрашиваю! — стал терять терпение воевода: его тянуло поскорей выйти на воздух, на волю; тошнило.— К кому шел? Мм?

Макся молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. Не нужно ему все это было, безразлично — мир опрокидывался назад, в кровавую блевотину. Еще только боль доставала его из того мира — остро втыкалась в живое сердце.

Палач повел прутом по спине. Прут влипал в мясо...

Макся опять закричал.

Воевода встал, еще раз надсадно прокашлялся от копоти и вони.

— Пеняй на себя, парень. Я тебе помочь хотел.

— Чего делать-то? — спросил подьячий.

— Повесить змееныша!.. На виду! На страх всем.

* * *

Двадцать пятого мая, в троицын день, с молебствиями, с колокольным звоном, с напутствиями удач и счастья провожали астраханский флот под началом князя Львова навстречу Разину.

Посадский торговый и работный люд огромной толпой стоял на берегу, смотрел на проводы. Ликований не было.

Здесь же, на берегу, была заготовлена виселица.

Ударили пушки со стен.

К виселице поднесли Максю, накинули петлю на шею и вздернули еле живого.

Макся был так истерзан на пытках, что смотреть на него без сострадания никто не мог. В толпе астраханцев возник неодобрительный гул. Стрельцы на стругах и в лодках отвернулись от ужасного зрелища.

Воевода запоздало понял свою ошибку, велел снять труп. Махнул князю, чтоб отплывали,— чтоб хоть прощальным гамом и напутственной стрельбой из пушек сбить и спутать зловещее настроение толпы.

Флот отвалил от берега, растянулся по реке. Стреляли пушки со стен Белого города.

Воевода с военными иностранцами, которые оставались в городе, направились к Кремлю.

Гул и ропот в толпе не утихли, когда приблизился воевода с окружением, напротив, стал определенно угрожающим.

Послышались отдельные выкрики:

— Негоже учинил воевода: в святую троицу человека казнили!!

— А им-то что?! — вторили другие.— Собаки!

Младший Прозоровский приостановился было, чтобы узнать, кто это посмел голос возвысить, но старший брат дернул его за рукав, показал глазами — идти вперед и помалкивать.

— Виселицу-то для кого оставили?! — осмелели в толпе.

— Вишь, Стеньку ждут! Дождетесь... Близко!

— Он придет, наведет суд! Он вам наведет суд и расправу!

— Сволочи! — громко сказал Михайло Прозоровский.— Как заговорили!

— Иди, вроде не слышишь,— велел воевода.— Даст бог, управимся с ворами, всех крикунов найдем.

— Прижали хвосты-то! — орали.— Он придет, Стенька-то, придет! Он вам распорет брюхо-то! Он вам перемоет кишки!

— Узю их!..

— Сволочи,— горько возмущался Михайло Прозоровский.

Так было в городе Астрахани.

13

А так было на Волге, пониже Черного Яра, тремя днями позже.

Разинцы со стругов заметили двух всадников на луговой стороне (левый берег). Всадники махали руками, явно привлекая к себе внимание.

Стали гадать:

— Похоже, татаре: кони татарские.

— Они... Татаре!

— Чего-то машут. Сказать, видно, хотят. Батька, вели сплавать!

Степан всматривался со струга в далекий берег.

— Ну-ка, кто-нибудь сплавайте,— велел.

Стружок полегче отвалил от флотилии, замахали веслами к левому берегу. Вся флотилия прижалась к правому, бросали якоря, шумнули своим конным, чтоб стали тоже.

Степан сошел на берег, крикнул вверх, на крутояр, где торчали конские и людские головы:

— Федька!..

Через некоторое время наверху показалась голова Федьки Шелудяка.

— Батька, звал? — крикнул он.

— Будь наготове! — сказал ему Иван Черноярец (Степан в это время переобувался — промочил ноги, когда сходил со струга).— Татаре неспроста прибежали. Никого там не видно? На твоей стороне?

— Нет.

— Смотрите!

— Не зевали чтоб,— подсказал Степан.— Им видней там... Слышь, Федька!

— Ай?!

— Не зевайте!

— Смотрим! А кто там? Татар гости плюхат?

Казаки засмеялись: Шелудяк иногда смешно коверкал слова.

Стружок между тем махал от левого берега. А те два всадника скоро поскакали в степь.

Разинцы поутихли... Ждали. Догадывались: неспроста прибегали татары, неспроста. Атаман постоянно сообщается с ними, но и он озадачен.

— Идут, думаешь? — спросил Черноярец.— Прозоровский идет?.. А? Тимофеич?

— Иван...— с некоторым раздражением сказал Степан,— я столько же знаю, сколь ты. Подождем.

Стружок приближался медленно, очень медленно. Или так казалось. Казалось, что он никогда не подгребет к этому берегу, застрял.

Степана и других охватило нетерпение.

— Ну?! — крикнул Иван.— Умерли, что ль?!

На стружке молчали. Гребли, старались скорей. Стало понятно: везут важную весть, потому важничают и хранят молчание до поры: не выскакивают с оправданием, что — стараются.

Наконец когда стало мелко, со стружка прыгнул казак и побрел к атаману, высоко подняв в руке какую-то бумагу.

— Татаре!.. Говорят: тыщ с пять стрельцов и астраханцев верстах в трех отсудова. Это мурза шлет.— Казак вышел на берег, подал Степану лист.— Тыщ с пять, сами видали, говорят: стругами, хорошо оруженные.

Степан передал лист Мишке Ярославову (татарскую писанину знал только он один), сам принялся расспрашивать казака:

— Водой только? Конных они, можеть, не углядели? Яром едут где-нибудь?..

— Конных нет, говорят. Водой. Держутся ближе к высокому берегу.

— Этой... большой дуры нет с ими? — спросил Степан, в нетерпении поглядывая на Мишку.

— Какой дуры?

— Корабль, они называют... "Орел".

— Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был.

— Мурза пишет,— начал Мишка, глядя в лист,— были у его от Ивана Красулина... Три тыщи с лишком стреч нам идет. С князем Львовым. Иван велел передать, чтоб ты не горевал: стрельцы меж собой сговорились перекинуться. Начальных людей иноземных, и своих тоже, побьют, как с тобой свидются. Чтоб ты только не кинулся на их сдуру...

Они для того на переднем струге какого-нибудь своево несогласнова или иноземца на щеглу кверху ногами вздену. Так чтоб знал: стрельцы служут тебе. Сам он, Иван-то, остается в Астрахани, и это, мол, к лучшему: как-никак, а город брать надо. А в городе ишо остались, мол, приготовились сидеть. Пишет... какого-то молодого казака на троицу истерзали и повесили. Не Максю ли?

— Это он пишет "не Максю ли"?

— Да нет, это я говорю... Макся, наверно, попался.

— А там все?

— Все. Дальше — поклоны всем...

Степан постоял в раздумье... Поднялся выше, на камни, громко сказал всем, кто мог слышать:

— Казаки!.. Там,— указал рукой вниз по Волге,— стрельцы! Их три с лишним тыщи. Но они люди умные, они головы свои зазря подставлять не будут. Так они велят передать. А станет, что обманывают, то и нам бы в дураках не оказаться: как я начну, так и вы начинайте. А раньше меня не надо. Я напередке буду. Федька!..

— Слухаю, батька! Я все слухаю.

— Как увидишь струга, обходи их берегом со спины. Мы тоже этого берега держаться станем. Без меня не стреляй!.. Счас к тебе Иван придет.— Степан повернулся к Черноярцу: — Иван, иди к им, а то они не разберутся там... Сам знай: можеть, с воеводиной стороны и пальнут раз-другой, ты все равно терпи. А как уж увидишь — бой, тада вали. Мы их изловчимся как-нибудь к берегу прижать. С богом! — Степан показал рукой вниз.— Там стрельцы. Не бойтесь, ребятушки: они сами нас боятся!

Еще раз судьба сводила атамана с князем Львовым. Удивительно, с каким умом, осторожно держался Львов: всё высылают и высылают его первым встречать Разина и всё никак не поймут, что неудачи этих высылок — если не целиком, то изрядно — суть продуманная, злая месть позорно битого князя Львова Алексею Романову, царю. А бит был князь по указу царя перед приказом тверским — за непомерные поборы (нажиток), за несправедливость и лиходейство... Был бит и обречен во вторые воеводы в окраинные города, за что и мстил. В державе налаживалась жизнь сложная: умели не только пихаться локтями, пробиваясь к дворцовой кормушке, а и умели, в свалке, укусить хозяина — за пинок и обиду. И при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостом. Это искусство постигали многие. Постигалось вообще многое. "Тишайший" много стро-

ил, собирал, заводил, усмирял... Придет энергичный сын, и станет — империя; однако все или почти все — много — было готово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи — равнение миллионов на фигуру заведомо среднюю, унылую, которая не только не есть личность, но и не хочет быть ею, из чувства самосохранения,— с одной стороны, и невероятное, необъяснимое почти возникновение — в том же общественном климате — личности или даже целого созвездия личностей ярких, неповторимых — с другой стороны, ведь все это, некоторым образом, было уже на Руси при Алексее Михайловиче, но только еще миллионы не совсем подравнялись, а сам Алексей Михайлович явно не дотянул до великана. Но бородатую, разопревшую в бане лесовую Русь покачнул все-таки Алексей Михайлович, а свалили ее, кажется, Стенька Разин и потом, совсем — Петр Великий.

Князь Семен всматривался из-под руки вперед.

— А что,— недовольно обратился он к начальным помощникам своим,— иноземные молодцы поотстали? — Князь все смотрел вверх по реке.— А?

— Вон они. Куда им торопиться?

— Давайте-ка их наперед,— велел князь.— А то они в городе покричать любют, а тут их не доискаться. Давайте. Скоро и Степан Тимофеич пожалует. Всыпет он нам седня, батюшка. Всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то шибко уж горячие — выскочили. Стены есть, пушки есть, нет, дай вперед выскочить, дай... А вот и он. Вот они!..— вдруг воскликнул он захолонувшим голосом. Он показывал рукой вперед.

Из-за острова стремительно вывернулись головные струги Разина и с ходу врезались в астраханские ряды. За первыми наплывали остальные и заруливали с боков, а иные, проворные, легкие, успели заплыть сзади. С астраханских стругов увидели, что и на берегу — конные — забежали им со спины. И все деловито, скоро, спокойно — как в гости ввалились, да прямо в горницу, в передний угол.

— Вот как воевать-то надо,— тихо сказал князь Львов, бледный.— Пропали. Вот теперь-то уж пропали.

— Здравствуйте, братья! — зазвучал голос Степана; он стоял на носу своего струга и обращался к стрельцам.— Мстите теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и турка!.. Я пришел дать вам волю!

— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеич! — заорали стрельцы и астраханцы.— Рады видеть тебя живым-невредимым!

Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кинулись вязать своих начальников. Сотники и дворяне, оказавшие хоть малейшее сопротивление, полетели в воду.

— Вы мне дети и братья! — подстегивал расправу Разин.— Вы будете богаты, как мы. Мне нужна ваша верность и храбрость. Остальное возьмем вместе! Не бойтесь расплаты! Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказать бояр! Не все вам спины-то гнуть!.. Вы теперь — вольные казаки!

"Вольные казаки" вязали дворянских, купеческих сынов, отказавшихся от сопротивления, а также всех иноземцев — вели на суд ата́мана. Суд был короткий — в воду. Только князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, правда, казаков, но так спросил, что поняли: не хочет атаман смерти князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струг атамана.

— Здоров, князюшка! Дал бог, свиделись. Чего такой невеселый? — спросил Степан.

— Пошто?.. Вон как весело! — Князь Семен горько усмехнулся.— Чересчур даже... Пир горой!

— Что Прозоровский сам не пошел? Опять тебя выслал...

— За стенами надежней.

— Не знаю. Я так не думаю. Много ль за стенами осталось?

— Есть...

— Будут со мной биться? Как думаешь?

Князь помолчал.

— Мне то неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у тебя свои старатели там... Они знают. Много с тобой в Царицыне бились?

— Есть,— согласился Степан.— Есть, князь. Куда я без их? Я без их как без рук. Максю закатовали? Астрахань мне ответит... Ответит! Прозоровского за ноги повешу. Не веришь?

— Как не верю?! Верю. Вон они... тоже верют, бедняги.— Князь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым вязали за спиной руки, набивали им за пазуху камней и пихали в воду. Дворяне, купцы и иноземные начальники сопротивлялись, не хотели в воду, кричали, плакали, кто помоложе... Князь отвернулся.— Как не верить, не хочешь, да поверишь.

— Что, князь? — спросил Степан.— Страшно?

— Мне что же страшно?.. Тебе за все ответ держать, не мне. Мне их жалко... Как ты решился на такое? — Князь открыто посмотрел на Степана.— Ведь это бунт, Стенька. Да бунт-то какой — невиданный. Как же это можно? Неужель ты не думаешь?

— Жалко тебе их? — переспросил жестко Степан, кивнув на астраханские струги, с которых летели в воду начальные люди.

Князь Семен помолчал и вдруг сам спросил сердито:

— Как мне тебе ответить: "Нет, не жалко"?

— Вот,— кивнул Степан.— Тебе своих жалко, мне — своих. Сколь тут? — капля в море. Рази вы столько извели, без крова оставили, по миру пустили... А ты говоришь, как решился. Вы-то решились.

— Кто мы-то?

— Вы. Вы хуже Мамая... хуже турка! Вы плачете, а мне кажется, волки воют.

Князь Семен посмотрел на атамана... и ничего не сказал. Но, помолчав, все же решился еще возразить:

— Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, а вам-то... грех. Чего вам не хватало-то?

— Со мной не одни казаки, что, не видишь? У меня тут всяких...

— Вы затеяли-то.

— Затеяли-то вы, князь. Не бежали б они к нам да не рассказывали, как вы их там... Собаки! — сорвался Степан на крик.— Стоит тут рот разевает: "вы", "вы-ы"... А вы?! Вон где ваше место! — Степан показал.— На дне! Тоже туда захотел? Жалость свою пялит стоит... У вас ее сроду не было.

Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни спрашивать.

Когда расправились с ненавистными, сошли все на берег... Конные тоже послезали с коней. Раскинулись лагерем и держали совет. И круг решил: "Приступать Астрахань".

14

Рано утром, когда еще митрополит служил заутреню, прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы.

— Что вы?

— Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистенских ворот, и незадолго до света было нам чудо: отворилось небо, и на город просыпались искры, как из печки. Много!..

— Сие видение извещает, что изольется на нас фиял гнева божия,— сказал митрополит. И поспешил к воеводе. В решающие и опасные минуты жизни трезвый старик верил больше сильному и умному — здесь, на земле. Беда только, что Прозоровский-то — и не сильный, и не умный — сыромятина, митрополит понимал это, но больше идти некуда.

— Беда,— вздохнул воевода, выслушав рассказ митрополита о чуде.— Господи, на тебя одного надежа. Укрепи город.

Вошел подьячий Алексеев.

— Слыхал чудо-то? — спросил его воевода.

Алексеев глянул на Прозоровского и покривился:

— Это чудо — не чудо. Вон чудо-то, на дворе. Вот это так чудо!

— Чего там? Кто? — вскинулся воевода.

— Стрельцы.

— Денег просют?

— Просют ли?!.. Так не просют. За горло берут!

— Святой отец, я соберу, сколь могу, остальное добавь ты. Иначе несдобровать нам.— Воевода растерянно и с досадой смотрел на митрополита.— Давайте спасаться.

— Сколь надо-то? — спросил тот.

— Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицкому не поскупиться — для ихнего же живота.

— Шестьсот рублев найду,— сказал митрополит.— Тыщи с две монастырь даст. Ты вперед дать хочешь? Надо дать.

— Надо, отец, ничего больше не выдумаешь. Как ни крути, а все — надо. А то сами возьмут. Чем остановим? Львова, как на грех, нету. Куда они задевались-то? Не беда ли с ими какая? Царица небесная, матушка!.. Тоску смертную чую. Говорил тада: не пускать Стеньку оружного! Нет, пустили...

— Да кто пустил-то? — обозлился Алексеев.— Все вместе и пустили. Пошли теперь друг на дружку валить...

— Платить, платить стрельцам,— отчаянно и горько говорил Прозоровский.— Сколь есть, все отдать. Все! Не жадовать. Одни раз пожадовали...

— Только ты перед стрельцами-то не кажи такую спешку — с платой-то,— посоветовал митрополит.— Степенней будь, не суетися.

— Степенней... С голым-то задом много настепенничаешь.

...Стрельцы большой толпой стояли на площади пред приказной палатой. Кричали:

— Где воевода?! Пускай к нам выходит!

— Что нам служить без денег!

— Служить — ладно! На убой идти накладно.

— У нас ни денег, ни запасов нету, пропадать, что ли?!

— Пускай дает жалованье!

Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы промолчали на приветствие.

— До этой самой поры, дети мои,— заговорил воевода,— казны великого государя ко мне не прислано...

— Пропадать, что ли?!

— Но я вам дам своего, сколь могу! Дастся вам из сокровищниц митрополита; Троицкий монастырь тоже поможет. Только уж вы не попустите взять нас богоотступнику и изменнику. Не давайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть, постойте доблестно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за святую соборную и апостольскую церкву,— и будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет!

Хмурые, непроницаемо чужие лица стрельцов. Нет, это не опора в беде смертной, нет. Нечего и тешить себя понапрасну.

Воевода, митрополит, иностранцы-офицеры понимали это.

— Косподин... Иван Семьеновичш,— заговорил Бутлер от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце.— Мы просит восфращать наш сфобода, который нам дан, когда мы пришель к этот берег. Мы толжен сполнять тругой прикасаний царский фелишество... Мы будет ехать Персия.

— Пошел ты к дьяволу,— негромко сказал воевода.— Утекать собрался? — И повернулся к Бутлеру: — Подождать надо, капитан! Служба царю теперь здесь будет. Здеся! Вот. Успеете в Персию.

— Почшему? Мы толшен Персия...

— Вот тут будет и Персия, и Турция, и... черт с рогами. Нельзя нас оставлять. Нельзя! Нехорошо это! Не по-божески!

— Быть беде,— сам себе сказал митрополит.— Крысы побежали. Ну, держись, Астрахань! Это вам не Заруцкий, это сам сатана идет. Пресвятая Матерь Божья, укрепи хоть этих людишек, дай силы, царица небесная, матушка. Надо стоять!

Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход вокруг всего Белогорода. Вышло торжественно и печально; все понимали: беда неминуча, старались с душой.

Впереди несли икону Божьей Матери; прекрасный лик Матери, прижавшей к себе младенца, вселял в души людей святой ужас далекой казни на горе́.

Обходили кругом стену.

Всякий раз, как шествие доходило до ворот, свершалось молебствие.

Прозоровский с военными осматривали городские укрепления. Обошли также стены, осмотрели пушки, развели по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, с бердышами, с рогатинами, расставили пушкарей, затинщиков при затинных пищалях; при всех воротах поставили воротников. Чтобы пресечь всякое сообщение города с внешним миром, велели завалить все ворота кирпичом.

На стенах толклись не только стрельцы, пушкари и затинщики, а и посадские тоже — кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или копьем, а иные с камнями. Наносили вороха дров, наливали в большие котлы воду — чтобы потом, во время штурма, кипятить ее и из котлов прямо лить сверху на штурмующих.

Однако большого оживления не́заметно; с тревогой и с большим интересом посматривают со стены вдаль.

— Только не боитесь, ребятушки! — подбадривал воевода.— Ничего они с нами не сделают. Посидим, самое большое, с недельку. А там войско подойдет: гонцы наши теперь к Москве подъежжают...

— А где ж князь Семен-то? — спрашивали воеводу.— Какие вести-то от его?

— Князь Семен... Он придет! Гонцов на Москву мы надежных послали, резвых — скоро добегут. Постойте, детушки, за царя и церкву святую, не дайте своровать вору — царь и господь не оставют вас.

* * *

Войско Разина стало на урочище Жареные Бугры — в ночь изготовились штурмовать Астрахань.

А уж и кралась ночь, темнело.

Степан был спокоен, весел даже, странен... Костров не велел зажигать, ходил впотьмах с есаулами среди казаков и стрельцов, негромко говорил:

— Ну, ну... Страшновато, ребяты. Кому ишо страшно?

Из тьмы откликались — весело тоже, негромко:

— Да ну уж, батька!.. Чего?

— А стены-то? Чего... Подушками, что ль, оттуда кидаться будут? Это вы... не храбритесь пока: можно гриб съисть.

— Бог даст, батька!..

— Бог даст, ребятушки, бог даст... Оно и обмирать загодя негоже, правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем. Так?

То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а хотелось самому подать голос, и только, послушать, как станут откликаться, но очень вовремя он затеял этот обход, очень это вышло хорошо, нужно. Голос у Степана грубый, сильный, а когда он не орет, не злится, голос его — родной, милый даже... Он вроде все подсмеивается, но слышно, что — любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос, вся душа его в нем — большая, сильная. Где душа с перевивом, там голос непростой, плетеный, там тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто.

— Ну, все готово? — спросил Степан есаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра; снизу, из мокрой долины, тянуло сыростью; мирно квакала лягушня.

— Готово.

— Ночка-то подгодила...— Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца. И стал рассказывать свой замысел.

Говорили все тихо, спокойно.

— Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинской протокой, Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем в Черепаху...

— Углядеть ее, Черепаху-то,— сказал Иван.

— Пошли вперед, кто знает... он нам мигнет огоньком.

— Ну?

— Из Черепахи мы с Иваном заплывем в Кривущу, там не промажем, там я знаю, и мы окажемся с полуденной стороны городка: нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как подступите к стене, то молчите пока. А как услышите наш "нечай", валите с шумом. Где-нибудь да перемахнем... Раньше нас только не лезьте: надо со всех сторон оглушить. С богом, ребяты! Возьмем городок, вот увидите.

15

Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские: казаки пошли на приступ.

— Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно! — громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказными.— Дерзайте! — повторял воевода, облекаясь в панцирь.— Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать, доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет, в надежде на бога, получить блага и наслаждения со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь и в это время, не склоняясь на прельщения богоотступника Стеньки Разина...

Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали; вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом.

— Дерзайте, дети! — повторял воевода.

— Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота, даже и до смерти,— как-то очень уж спокойно откликнулся голова стрелецкий Иван Красулин.

— Куда он ударил, разбойник? — спросил его воевода.

— На Вознесенские вороты.

— Туда, детушки! Дерзайте!

Трубили трубы к бою, звонили колокола; там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма.

— И ночь-то выбрали воровскую. Ни зги не видать... Жгите хоть смолье, что ли! — велел воевода.

— Смолья! — подхватили во тьме разные голоса.

У Вознесенких ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами; лестницы отталкивали со стены рогатинами.

— Да суда ли он ударил-то?! — крикнул Михайло Прозоровский брату.— Обманули ведь нас! Да растудыт твою!..— Младший Прозоровский чуть не плакал.— Обманули! Обманули ведь нас!..

— А куда же? Куда ударил? — растерялся старший Прозоровский.

— А там что за шум?!

— Где?! — тоже закричал зло первый воевода.

— Да там-то, там-то вон!.. Эх!.. Как детей малых!..

Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский,— в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братание.

Один упрямый пушкарь — то ли не разобравшись, что к чему, то ли из преданности тупой — гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремились несколько стрельцов, и пушка смолкла: пушкаря прикончили возле пушки.

— В город, братцы! — кричали весело.— Вали!

— Любо эдак-то городки брать! Хх-эх!..

— А где батька-то? В городе?

— На месте батька! Вали!..

Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену, на них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями, они все лезли. Лестницы не успевали отпихивать.

Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка (ее "голос" знали все), и со всех сторон послышалось заполошное:

— Ясак! Ясак! — То был крик о пощаде, кричали астраханцы.

Город сдавался.

— Обманули! — заплакал молодой Прозоровский.— Там уж пустили их! А здесь глаза отводют. Эх!..

— Сдаю город! — громко закричал стрелецкий голова Красулин.— Давай, как говорили!..

Это был не крик отчаяния, а — так все и поняли — сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки и обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним.

— Стойте, ребятушки! — кричал воевода.— Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками: за то получите милость от великого государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечные блага вместе с Христовыми мучениками!..

В это время сзади подбежали первые казаки. И началось избиение, жестокое, при огнях.

Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо.

Дворяне и приказные одни бросились наутек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно: наседали и казаки и стрельцы. И стали еще прыгать сверху, со стены, казаки Уса: они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная и полосовались саблями.

— В Кремль! — велел воевода.— В Кремль пробивайтесь!

Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин, голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами.

На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных, дворян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше.

В суматохе не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение — Кремль, туда и пятились, отбиваясь наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы: в Кремле можно было запереться.

Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя — потный, всклокоченный, скорый. Прихрамывал: прострелили на южной стене ногу, мякоть.

— В Кремль! — тоже велел он.— Скорей, пока там не заперлись! Иван, останься — добей этих. В Кремль! К утру надо весь городок взять. Не остывайте!

И повел большую часть казаков к Кремлю.

Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожары никто не думал. Сопротивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга, не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то всхлипывая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей.

...Воеводу положили на ковер в соборной церкви в Кремле. Он стонал.

Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в дверях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков.

Прибежал митрополит. Склонился над воеводой, заплакал...

— Причаститься бы,— с трудом сказал воевода.— Все, святой отец. Одолел вор... Кара. Причасти... умираю. Скажи государю: стоял... Причасти, ради Христа!..

— Причащу, причащу, батюшка ты мой,— плакал митрополит.— Не вор одолел, изменники одолели. За грехи наши наказывает нас господь. За прегрешения наши...

Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие начальники, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, дрожавшие за свою честь... Сгрудились все у иконы Пресвятой Богородицы, молились. Стон, причет, слезы заполнили весь храм под купол; в пустой гулкой темени — высоко и жутко — вскрикивали, бормотали голоса.

Дверной проем храма, кроме дубовой двери, заделывался еще железной решеткой. Храбрый Фрол стоял у входа с ножом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал казаков и Стеньку Разина.

Еще прибежали несколько дворян — последние. Закрылись, навесили на крюки тяжелую решетку... Последних вбежавших спрашивали:

— Вошли?

— Где они?

— Вошли... Через Житный и Пречистенские вороты. Пречистенские вырубили. Все посадские к вору перекинулись, стрельцы изменили... Город горит. Светопреставленье!..

В дверь (деревянную) забарабанили снаружи. Потом начали бить чем-то тяжелым, наверно, бревном. Дверь затрещала и рухнула. Теперь сдерживала только решетка. Через решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали стрелять. Остро запахло пороховой гарью.

Ужас смертный охватил осажденных. Молились. Выли. Крик рвался из церкви, как огонь. В церковь неистово ломились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от встречных выстрелов; трое казаков упало.

Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом обрушилась внутрь храма на каменный пол.

Фрола Дуру изрубили на месте.

Воеводу подняли, вынесли на улицу и положили на земле под колокольней. Дворян, купцов, стрельцов — всех, кроме детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и сажали рядком под колокольню же.

— Тут подождите пока,— говорили им. Никого не били, особенно даже и не злобились.

— А что с нами делать будут? — спросили, кто посмелей, из горестного ряда под колокольней. Но и кто спросил, и кто молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, знали, догадывались, что с ними сделают.

— Ждите,— опять сказали им.

— А что сделают-то? — извязался один купец с темными выпученными глазами.

— Ждите! Прилип как банный лист... Блинами кормить будут.

Ждали Степана.

Светало. Бой утихал. Только в отдельных местах города слышались еще стрельба и крики.

С восходом солнца в Кремле появился Степан. Хромая, скоро прошел к колокольне, остановился над лежащим воеводой... Степан был грязный, без шапки, кафтан в нескольких местах прожжен, испачкан известкой и кровью. Злой, возбужденный; глаза льдисто блестят, смотрят пристально, с большим интересом.

Суд не сулил пощады.

— Здоров, боярин! — сказал Степан, сказал не злорадствуя, как если бы ему было все равно, кто перед ним... Или — очень уж некогда атаману — ждут важные дела, не до воеводы; запомнил Степан, как поносил и лаял его воевода здесь же, на этом дворе, прошлой осенью.

Прозоровский глянул на него снизу, стиснул зубы от боли, гнева и бессилия и отвернулся.

— Тебе передавали, что я приду? — спросил Степан.— Я пришел. Как поживает шуба моя?

Из храма вышел митрополит... Увидев атамана, пошел к нему.

— Атаман, пожалей ранетого...

— Убрать! — велел Степан, глянув коротко на митрополита.

Митрополита взяли под руки и повели опять в храм.

— Разбойники! — закричал митрополит.— Как смеете касаться меня?!.. Анчихристы! Прочь руки!..

— Иди, отче, не блажи. Не до тебя.

— Прочь руки! — кричал крутой старик и хотел даже оттолкнуть от себя молодых и здоровых, но не смог. В дверях ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа стали два казака.

— Принесите боярину шубу,— велел Степан.— Ему холодно. Знобит боярина. Нашу шубу — даровую от войска, не спутайте.

Доброхоты из приказных побежали за шубой.

Большая толпа астраханцев затаив дыхание следила за атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, суд беспощадный. Вот он — воевода всесильный, поверженный, не страшный больше... Да прольется кровь! Да захлеб-

нется он ею, собака, и пусть треснут его глаза — от ужаса, что такая пришла смерть: на виду у всех.

И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миг задумался: как решить судьбу ненавистного воеводы, за то ненавистного, что жрал в этой жизни сладко, спал мягко, повелевал и не заботился.

Принесли шубу. Ту самую, что выклянчил воевода у Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль с шубой надо было доиграть тоже при всех — последнее представление, и конец.

— Стань, боярин...— Степан помог Прозоровскому подняться.— От так... От какие мы хорошие, послушные. Болит? Болит брюхо у нашего боярина. Это кто же ширнул нашему боярину в брюхо-то? Ая-яй!.. Надевай-ка, боярин, шубу.— Степан с помощью казаков силой напялил на Прозоровского шубу.— Вот какие мы нарядные стали! Вот славно!.. Ну-ка, пойдем со мной, боярин. Пойдем мы с тобой высоко-высоко! Ну-ка, ножкой — раз!.. Пошли! Пошли мы с боярином, пошли, пошли... Высоко пойдем!

Степан повел Прозоровского на колокольню. Странно: атаман никогда не изобретал смерти врагам, а тут затеял непростое что-то, представление какое-то.

Огромная толпа в тишине следила — медленно поднимала глаза выше, выше, выше...

Степан и воевода показались наверху, где колокола. Постояли немного, глядя вниз, на народ. И снизу тоже смотрели на них...

Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спросил что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно — брезгливо, показалось снизу,— мотнул головой. Степан резко качнулся и толкнул плечом воеводу вниз.

Воевода грянулся на камни площади и не копнулся. В шубе. Только из кармана шубы выкатилась серебряная денежка и, подскакивая на камнях, с легким звоном покатилась... Прокатилась, подпрыгнула последний раз, звякнула и успокоилась — легла и стала смотреть светлым круглым оком в синее небо.

Степан пошел вниз.

Начался короткий суд над "лучшими" людьми города — дворянами, купцами, стрелецкими начальниками, приказными кляузниками... Тут — никаких изобретательств. Степан шел вдоль ряда сидящих, спрашивал:

— Кто?

— Тарасов Лука, подьячий приказу...

Степан делал жест рукой — рубить. Следовавшие за ним исполнительные казаки рубили тут же.

— Кто?

— Сукманов Иван Семенов, гостем во граде... Из Москвы...

Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом:

— Кхэк!

— Кто?

— Не скажу, вор, душегубец, раз...

— Ы-ык! Молодой, а жиру!.. Боров.

— Кто?

— Подневольный, батюшка. Крестьянин, с Самары, с приказу, с гумагами послан...

Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под колокольней, не пропускали ни одного слова.

— Врет! — крикнули из толпы, когда заговорил самарец.— С Самары, только не крестьянин, а с приказа, и суда и приказ прислан... Лиходей!

— Кхэк!..— махнул казак, голова самарского приказного со стуком, с жутким коротким стуком, точно уронили деревянную посудину с квасом, упала к ногам самарца.

Некоторых Степан узнавал.

— А-а, подьячий! А зовут как, забыл...

— Алексей Алексеев, батюшка...

— За ребро, на крюк.

— Батюшка!.. Атаман, богу вечно молить буду, и за детей твоих... Сжалься, батюшка! Можеть, и тебя когда за нас помилуют...

Подьячего уволокли к стене.

— Где хоронить, батька? — спросили Степана.

— В монастыре. Всех в одну братскую.

— И воеводу?

— Всех. По-божески — с панихидой. Жены и дети... пусть схоронют и отпоют в церкви. Баб в городе не трогать.— Степан строго поглядел на казаков, еще раз сказал: — Сильничать баб не велю! Только — полюбовно.

На площадь перед приказной палатой сносили всякого рода "дела", списки, выписи, грамоты... Еще один суд — над бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно.

— Вали!.. В гробину их!..— Степан успел хватить "зелена вина"; он не переоделся с ночи, ни минуты еще не имел покоя, ни разу не присел, но сила его, казалось, только теперь начала кидать его, поднимать, раскручивать во все стороны. Он не мог сладить с ней. — Все?

— Все, батька!

— Запаляй!

Костер празднично запылал; и мерещилось в этом веселом огне — конец всякому бессовестному житью, всякому надругательству и чванству — и начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают.

— Звони! — заорал Степан.— Во все колокола!.. Весело, чтоб плясать можно. Бего-ом! Все плясать будем!

Зазвонили с одной колокольни, с другой, с третьей... Скоро все звонницы Кремля и Белого города названивали нечто небывало веселое, шальное, громоздкое. Пугающие удары "музыки," срываясь с высоты, гулко сшибались, рушились на людей, вызывая странный зуд в душе: охота было сделать несуразное, дерзкое, охота прыгать, орать... и драться.

Степан сорвал шапку, хлопнул оземь и первый пошел вокруг костра. То был пляс и не пляс — что-то вызывающе-дикое, нагое: так выламываются из круга и плюют на все.

— Ходи! — заорал он.— Тю!.. Ох, плясала да пристала, сяла на скамеечку. Ненароком придавила свою канареечку! Не сбавляй!.. Вколачивай!

К атаману подстраивались сзади казаки и тоже плясали: притопывали, приседали, свистели, ухали по-бабьи... Наладился развеселый древний круг. Подбегали из толпы астраханцы, кто посмелей, тоже плясали, тоже чесалось.

Черными испуганными птицами кружили в воздухе обгоревшие клочки бумаг; звонили вовсю колокола; плясали казаки и астраханцы, разжигали себя больше и больше.

— Ходи! — кричал Степан. Сам он "ходил" серьезно, вколачивая ногой... Странная торжественность была на его лице — какая-то болезненная, точно он после мучительного долгого заточения глядел на солнце.— Накаляй!.. Вколачивай — тут бояры ходили... Тут и спляшем!

Плясали: Ус, Мишка Ярославов, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, дед Любим, Семка Резаный, татарчонок, Шелудик, Фрол Разин, Кондрат — все. Свистели, орали.

Видно, жила в крови этих людей, горела языческая искорка — то был, конечно, праздник: сожжение отвратительного, ненавистного, злого идола — бумаг. Люди радовались.

Степан увидел в толпе Матвея Иванова, поманил рукой к себе. Матвей подошел. Степан втолкнул его в круг:

— Ходи!.. Покажь ухватку, Рязань. Мешком солнышко ловили, блинами тюрьму конопатили... Ходи, Рязань!

Матвей с удовольствием пошел, смешно семеня ногами, и подпрыгивая, и взмахивая руками. Огрызнулся со смехом:

— Гляди, батька, а то я про донцов... тоже знаю!

Костер догорал.

Догадливый Иван Красулин катил на круг бочку с вином.

— Эге!.. Добре,— похвалил Степан.— Выпьем, казаченьки!

Улюлюкающий, свистящий, бесовский круг распался.

Выбили в бочке дно; подходили, черпали чем попало — пили.

Астраханцы завистливо ухмылялись.

— Всем вина! — велел Степан.— Что ж стоите? А ну — в подвалы! Все забирайте! У воеводы, у митрополита — у всех! Дуваньте поровну, не обижайте друг дружку! Кого обидют, мне сказывайте! Баб не трогать!

— Дай дороги, черти дремучие! — раздался вдруг чей-то звонкий, веселый голос. Народ расступился, но все еще никого не видно.— Шире грязь, назем плывет! — звенел тот же голос, а никого нет. И вдруг увидели: по узкому проходу, образовавшемуся в толпе, прыгает, опираяясь руками о землю, человек. Веселый молодой парень, крепкий, красивый, с глазами ясного цвета. Ноги есть, но высохшие, маленькие, а прыгает ловко, податливо, скорей пешего. Астраханцы знали шумного калеку, почтительно и со смехом расступались. Тот подпрыгал к Разину, смело посмотрел снизу и смело заговорил:

— Атаман!.. Рассуди меня, батюшка, с митрополитом.

— Ты кто? — спросил Степан.

— Алешка Сокол. Богомаз. С митрополитом у нас раздор...

— Так. Что ж митрополит?

— Иконки мои не берет! — Алешка стал доставать из-за пазухи иконки с ладонь величиной, достал несколько...

Степан взял одну, посмотрел.

— Ну?..

— Не велит покупать у меня! — воскликнул Алешка.

— Пошто?

— А спроси его? Кто там? — Алешка показал снизу на иконку, которую Степан держал в руках.

— Где? — не понял Степан.

— На иконке-то?

— Тут?.. Не знаю.

— Исус! Вот. Так он говорит: нехороший Исус!

— Чем же он нехороший? Исус как Исус... Похожий, я видал таких.

— Во! Он, говорит, недобрый у тебя, злой. Где же он злой?! Вели ему, батюшка, покупать у меня. Мне исть нечего.

Матвей взял у Алешки иконку, тоже стал разглядывать. Усмехнулся.

— Чего ты? — спросил его Степан.

— Ничего...— Матвей качнул головой, опять усмехнулся и сказал непонятно: — Ай да митрополит! Злой, говорит?

— Как тебе Исус? — спросил Степан, недовольный, что Матвей не говорит прямо.

— Хороший Исус. Он такой и есть. Я б тоже такого намазал, если б умел,— сказал Матвей, возвращая богомазу иконку.— Строгий Исус. Привередничает митрополит...

Степану показалось, что это большая и горькая обида, которую нанесли калеке. Опять от мстительного чувства вспухли и натянулись все его жилы.

— Где митрополит? — спросил он.

— В храме.

— Пошли, Алешка, к ему. Счас он нам ответит, чем ему твой Исус не глянется.

Они пошли. Степан скоро пошагал своим тяжелым, хромающим шагом, чуть не побежал, но спохватился и сбавил. Алешка прыгал рядом.... Торопился. Рассыпал иконки, остановился, стал наскоро подбирать их и совать за пазуху. И все что-то рассказывал атаману — звенел его чистый, юношеский голос. Степан ждал и взглядывал в нетерпении на храм.

К ним подошел Матвей; он тоже вознамерился пойти с атаманом.

— Ты, мол, обиженный, потому мажешь его такого! — рассказывал Алешка.— А я говорю: да ты что? Без ума, что ли, бьесся? Что это я на него обиженный? Он, что ли, ноги мне отнял?

— Степан Тимофеич, возьми меня с собой,— попросил Матвей.— Мне охота послухать, чего митрополит станет говорить.

— Пошли,— разрешил Степан.

Алешка собрал иконки.

Пошли втроем. Вошли в храм.

Митрополит молился перед иконой Божьей Матери. На коленях. Увидев грозного атамана, вдруг поднялся с колен, поднял руку, как для проклятия...

— Анчихрист!.. Душегубец! Земля не примет тебя, врага господня! Смерти не предаст...— Митрополит, длинный, седой и суровый, сам внушал трепет и почтение.

— Молчи, козел! Пошто иконки Алешкины не велишь брать? — спросил Степан, меряясь со старцем гневным взглядом.

— Какие иконки? — Митрополит посмотрел на Алешку.

— Алешкины иконки! — повысил голос Степан.

— Мои иконки! — смело тоже заорал Алешка.

— Ах, ябеда ты убогая! — воскликнул изумленный митрополит.— К кому пошел жалиться-то? К анчихристу! Он сам его растоптал, бога-то... А ты к ему же и жалиться! Ты вглядись: анчихрист! Вглядись! — Старик прямо показал на Разина.— Вглядись: огонь-то в глазах... свет-то в глазах — зеленый! — Митрополит все показывал на Степана и говорил громко, почти кричал.— Разуй его — там копытья!..

— Отвечай! — Степан подступил к митрополиту.— Чем плохой Исус? Скажи нам, чем плохой? — Степан тоже закричал, невольно защищаясь, сбивая старца с высоты, которую тот обрел вдруг с этим "анчихристом" и рукой своей устрашающей.

— Охальник! На кого голос высишь?! — сказал Иосиф.— Есть ли крест на тебе? Есть ли крест?

Степан болезненно сморщился, резко крутнулся и пошел от митрополита. Сел на табурет и смотрел оттуда пристально, неотступно. Он растерялся.

— Чем плохой Исус, святой отче? — спросил Матвей.— Ты не гневайся, а скажи толком.

Митрополит опять возвысил торжественно голос:

— Господь бог милосердный отдал сына своего на смерть и муки... Злой он у тебя! — вдруг как-то даже с визгом, резко сказал он Алешке.— И не ходи, и не жалься. Не дам бога хулить! Исус учил добру и вере. А этот кому верит? — Митрополит выхватил у Алешки иконку и ткнул ею ему в лицо.— Этому впору нож в руки да воровать на Волгу. С им вон,— Иосиф показал на Степана.— Живо сговорятся...

Степан вскочил и пошел из храма.

— Ну, зря ты так, святой отец,— сказал Матвей.— Смерти, что ль, хочешь себе?

— Рука не подымется у злодея...

— У тебя язык подымается, подымется и рука. Чего разошелся-то?

— Да вот ведь... во грех ввел! — Митрополит в сердцах ударил Алешку иконкой по голове и повернулся к Богороди-

це: — Господи, прости меня, раба грешного, прости меня, матушка Богородица... Заступись, Пресвятая Дева, образумь разбойников!

Алешка почесал голову; он тоже сник и испугался.

— Злой... А сам-то не злой?

— Выведите из терпения!..

Тут в храм стремительно вошел Степан... Вел с собой Семку Резаного.

— Кого тут добру учили? — запально спросил он, опять подступая к митрополиту.— Кто тут милосердный? Ты? Ну-ка глянь суда! — Сгреб митрополита за грудки и подтащил к Семке.— Открой рот, Семка. Гляди!.. Гляди, сучий сын! Где так делают?! Можеть, у тебя в палатах? Ну, милосердный козел?! — Степан крепко встряхнул Иосифа.— Всю Русь на карачки поставили с вашими молитвами, в гробину вас, в три господа бога мать!.. Мужику голос подать не моги — вы тут как тут, рясы вонючие! Молись Алешкиному Исусу! — Степан выхватил из-за пояса пистоль.— Молись! Алешка, подставь ему свово Исуса.

Алешка подпрыгал к митрополиту, прислонил перед ним иконку к стене.

— Молись, убью! — Степан поднял пистоль.

Митрополит плюнул на иконку.

— Убивай, злодей, мучитель!.. Казни, пес смердящий! Будь ты проклят!

Степана передернуло от этих слов. Он стиснул зубы... Побелел.

Матвей упал перед ним на колени...

— Батька, не стреляй! Не искусись... Он хитрый, он нарошно хочет, чтоб народ отпугнуть от нас. Он старик, ему и так помирать скоро... он хочет муку принять! Не убивай, Степан, не убивай! Не убивай!

— Сука продажная,— усталым, чуть охрипшим голосом сказал Степан, засовывая пистоль за пояс.— Июда. Правду тебе сказал Никон: Июда ты! Сапоги царю лижешь... Не богу ты раб, царю! — Степана опять охватило бешенство, он не знал, что делать, куда деваться с ним.

Иосиф усердно клал перед Богородицей земные поклоны, шептал молитву, на атамана не смотрел.

Степан с томлением великим оглянулся кругом... Посмотрел на митрополита, еще оглянулся... Вдруг подбежал к иконостасу, вышиб икону Божьей Матери и закричал на митрополита, как в бою:

— Не ври, собака! Не врите!.. Если б знал бога, рази б ты обидел калеку?

— Батька, не надо так...— ахнул Алешка.

— Бей, коли, руби все,— смиренно сказал Иосиф.— Дурак ты, дурак заблудший... Что ты делаешь? Не ее ты ударил! — Он показал на икону.— Свою мать ударил, пес.

Степан вырвал саблю, подбежал к иконостасу, несколько раз рубанул сплеча витые золоченые столбики, но сам, видно, ужаснулся... постоял, тяжело дыша, глянул оторопело на саблю, точно не зная, куда девать ее...

— Господи, прости его! — громко молился митрополит.— Господи, прости!.. Не ведает он, что творит. Прости, господи.

— Ух, хитрый старик! — вырвалось у Матвея.

— Батька, не надо! — Алешка заплакал, глядя на атамана.— Страшно, батька...

— Прости ему, господи, поднявшему руку, не ведает он...— Митрополит смотрел вверх, на распятие, и крестился беспрестанно.

Степан бросил саблю в ножны, вышел из храма.

— Кто породил его, этого изверга! — горестно воскликнул митрополит, глядя вслед атаману.— Не могла она его приспать грудного в постеле!..

— Цыть! — закричал вдруг Матвей.— Ворона... Туда же — с проклятием! Поверни его на себя, проклятие свое, бесстыдник. Приспешник... Руки коротки — проклинать! На себя оглянись... Никона-то вы как?.. А небось языки не отсохли — живы-здоровы, попрошайки.

Степан шагал мрачный через размахнувшийся вширь гулевой праздник. На всей площади Кремля стояли бочки с вином. Казаки и астраханцы вовсю гуляли. Увидев атамана, заорали со всех сторон:

— Будь здоров, батюшка наш, Степан Тимофеич!

— Дай тебе бог много лет жить и здравствовать, заступник наш!

— Слава батюшке Степану!

— Слава вольному Дону!

— С нами чару, батька?

— Гуляйте,— сказал Степан. И вошел в приказную палату.

Там на столе, застеленном дорогим ковром, лежал мертвый Иван Черноярец. Ивана убили в ночном бою.

Никого в палате не было.

Степан тяжело опустился на табурет в изголовье Ивана.

— Вот, Ваня...— сказал. И задумался, глядя в окно. Даже сюда, в каменные покои, доплескивался шумный праздник.

Долго сидел так атаман — вроде прислушивался к празднику, а ничего не слышал.

Скрипнула дверь... Вошел Семка Резаный.

— Что, Семка? — спросил Степан.— Не гуляется?

Семка промычал что-то.

— Мне тоже не гуляется,— сказал Степан.— Даже пить не могу. Город взяли, а радости... нету, не могу нисколь в душе наскрести. Вот как бывает.

И опять долго молчал. Потом спросил:

— Ты богу веришь, Семка?

Семка утвердительно кивнул головой.

— А веришь, что мы затеяли доброе дело? Вишь, поп-то шумит... бога топчем... Рази мы бога обижаем? У меня на бога злости нету. Бога топчем... Да пошто же? Как это? Как это мы бога топчем? Ты не думаешь так?

Семка покачал головой, что — нет, не думает. Но его беспокоило что-то другое — то, с чем он пришел. Он стал мычать, показывать: показывал крест, делал страшное лицо, стал даже на колени... Степан не понимал. Семка поднялся и смотрел на него беспомощно.

— Не пойму... Ну-ка ишо,— попросил Степан.

Семка показал бороду, митру на голове — и на храм, откуда он пришел, где и узнал важное, ужасное.

— Митрополит?

Семка закивал, замычал утвердительно. И все продолжал объяснять, что митрополит что-то сделает.

— Говорит? Ну... Чего митрополит-то? Чего он, козел? Лается там небось? Пускай...

Семка показал на Степана.

— Про меня? Так. Ругается? Ну и черт с им!

Семка упал на колени, занес над головой крест.

— Крестом зашибет меня?

— Ммэ... э-э...— Семка отрицательно затряс головой. И продолжал объяснять: что-то страшное сделают со Степаном — митрополит сделает.

— А-а!.. Проклянут? В церквах проклянут?

Семка закивал утвердительно. И вопросительно, с тревогой уставился на Степана.

— Понял, Семка: проклянут на Руси. Ну и... проклянут. Не беда. А Ивана тебе жалко?

Семка показал, что жалко. Очень... Посмотрел на Ивана.

— Сижу вот, могу поверить: неужели Ивана тоже нету со мной? Он мне брат был. Он был хороший... Жалко.— Степан помолчал.— Выведем всех бояр, Семка, тада легко нам будет, легко. Царь заартачится — царя под зад, своего найдем. Люди хоть отдохнут. Везде на Руси казачество заведем. Так-то... Это по-божески будет. Ты жениться не хошь?

Семка удивился и показал: нет.

— А то б женили... Любую красавицу боярскую повенчаю с тобой. Приглядишь, скажи мне — свадьбу сыграем. Ступай позови Федора Сукнина.

Семка ушел.

Степан встал, начал ходить по палате. Остановился над покойником. Долго вглядывался в неподвижное лицо друга. Потрогал зачем-то его лоб... Поправил на груди руку, сказал тихо, как последнее сокровенное напутствие:

— Спи спокойно, Ваня. Они за то будут кровью плакать.

Пришел Сукнин.

— Ступай к митрополиту в палаты, возьми старшего сына Прозоровского, Бориса, и приведи ко мне. Они там с матерью.

Сукнин пошел было исполнять.

— Стой,— еще сказал Степан.— Возьми и другого сына, младшего, и обоих повесь за ноги на стене.

— Другой-то совсем малой... Не надо, можеть.

— Я кому сказал! — рявкнул Степан. Но посмотрел на Федора — в глазах не злоба, а мольба и слезы стоят. И сказал негромко и непреклонно: — Надо.

Сукнин ушел.

Вошел Фрол Разин.

— Там Васька разошелся... Про тебя в кружале орет что попало.

— Что орет?

— Он-де Астрахань взял, а не ты. И Царицын он взял.

Степан горько сморщился, как от полыни; прихрамывая, скоро прошел к окну, посмотрел, вернулся... помолчал.

— Пень,— сказал он.— Здорово пьяный?

— Еле на ногах...

— Кто с им? — Степан сел в деревянное кресло.

— Все его... Хохлачи, танбовцы. Чуток Ивана Красулина не срубил. Тот хотел ему укорот навести...

Степан вскочил, стремительно пошел из палаты.

— Пойдем. Счас он у меня Могилев возьмет.

Но в палату, навстречу ему, тоже решительно и скоро вошел Ларька Тимофеев, втолкнул Степана обратно в покои... Свирепо уставился атаману в глаза.

— Еслив ты думаешь,— заговорил Ларька, раздувая ноздри,— что ты один только в ответе за нас, то мы так не думаем. Настрогал иконок?!

Степан растерянно, не успев еще заслониться гневом, как щитом, смотрел на есаула.

— Ты что, сдурел, Ларька? спросил он.

— Я не сдурел! Это ты сдурел!.. Иконы кинулся рубить. А митрополит их всем показывает. Зовет церкву показывает... Заместо праздника-то... горе вышло: испужались все, дай бог ноги — из церквы. На нас глядеть боятся...

До Степана теперь только дошло, как неожиданно и точно ударил митрополит: ведь он же сейчас нагонит на людей страху, отвернет их, многих... О, проклятый, мудрый старик! Вот это — дал так дал.

Степан сел опять в кресло. Посмотрел на Ларьку, на брата Фрола... Качнул головой.

— Что делать, ребята? Не подумал я... Что дела говорите? — заторопил он.

— Закрыть церкву,— подсказал Фрол.

— Как закрыть? — не понял Ларька.

— Закрыть вовсе... не пускать туда никого.

— А? — вскинулся с надеждой Степан.

— Нет... видели уж,— возразил Ларька.— Так хуже.

— А как? — чуть не в один голос спросили Степан и Фрол.— Как же? — еще спросил Степан.— Разбегутся ведь, правда.

— Сам не знаю. Выдь на крыльцо, скажи: "Сгоряча, мол, я..."

Ну,— неодобрительно сказал Степан.— Это что ж... Знамо, что сгоряча, но ведь — иконы! А там — мужичье: послушать послушают, а ночью все равно тайком утянутся. Где Матвей? Ну-ка, Фрол, найди Матвея.

— Э-э! — воскликнул Ларька.— Давай так: я мигом найду монаха какого-нибудь, научу его, он выйдет и всем скажет: "Там, мол, митрополит иконы порушенные показывает: мол, Стенька изрубил их — не верьте — митрополит сам заставил меня изрубить их, а свалить на Стеньку". А?

Братья Разины, изумленные стремительным вывертом бессовестного Ларьки, молча смотрели на него. Есаул мыслил, как в ненавистный дом крался: знал, где ступить не-

слышно, как пристукнуть хозяина и где вымахнуть, на случай беды,— все знал.

— Где ты такого монаха найдешь? — спросил Степан первое, что пришло в голову; Ларька часто его удивлял.

— Господи!.. Найду. Что, монахи жить, что ли, не хочут? Все жить хочут.

— Иди,— сказал Степан.— Иди, останови митрополита вредного. Промахнулся я с им.

— А ты потом выйдешь и устыдишь митрополита принародно. Скажи: "Ай-яй-яй, старый человек, а такую напраслину на меня..."

— Нет,— возразил Степан,— я не пойду. Сам устыди его хорошенько. А батька, скажи всем, пьяный лежит. Нет, не пьяный, а... куда-то ушел с казаками. Найди, найди скорей монаха, надавай ему всякой всячины — пусть разгласит всем, что иконы рубил. Хорошая у тебя голова, Ларька. Не пьешь, вот она и думает хорошо. Молодец. Ай, как я оплошал!..

Трезвый Ларька, а с ним и Фрол пошли улаживать дело.

Ларька смолоду как-то чуть не насмерть отравился "сиухой" и с тех пор не мог пить. Казнился из-за этого — стыд убивал, но никакая сила не могла заставить его проглотить хоть глоток вина: пробовал — тут же все вылетало обратно, потом был скрежет зубовный и страдание. Так и жил — мерином среди жеребцов донских. Может, оттого и злобился лишний раз.

— Мы с Федькой Шелудяком будем стыдить митрополита,— сказал оборотистый есаул Фролу,— а пока монаха пошукаем... Нет, давай-ка так сделаем,— приостановился Ларька,— вы с Федькой Сукниным народу суда назовите побольше — вести, мол, важные, а я монаха приведу. Потом уж митрополита выташшим...

— Матвея тоже возьмите с собой,— посоветовал Фрол,— пусть тоже пристыдит его. Мужичьими словами... он умеет.

— Да пошел он... ваш Матвей — без его управимся.

...Уса Степан не нашел в кружалах: собутыльники Уса, прослышав, что его ищет гневный атаман, заблаговременно увели куда-то совсем пьяного Василия.

На берегу Волги казаки и стрельцы, приставшие к казакам, дуваиили добро астраханских бояр. Степан пошел туда, проверил, что делят справедливо, набрал с собой голи астра-

ханской и повел селить в дома побитых начальных людей и купцов. Скоро за атаманом увязался весь почти посад астраханский... Многие наизготовке несли с собой скарб малый — чтоб немедля и вселяться в хоромы.

Сперва ходили по домам убитых у Черного Яра, потом пошли в дома убитых в эту ночь и в утро, но народу за атаманом прибывало... Степан вышел на главную улицу — от Волги к Белому городу — и пошел подряд по большим домам: селил бедноту и рвань.

Почти в каждом доме ни хозяина, ни взрослых сыновей не оказывалось — прятались. Остальных домочадцев и слуг выгоняли на улицу... Везде были слезы, вой. Никого не трогали — атаман не велел. Давали забрать пожитки... И в каждом доме справляли новоселье с новыми хозяевами. И в каждом доме — поминки по Ивану Черноярцу.

К концу дня Степан захмелел крепко. Вспомнил Уса, сгребся, пошел опять искать его. К тому времени с ним были трезвые только Матвей Иванов, Федор Сукнин и брат Фрол. Степан то лютовал и грозился утопить Ваську, то плакал и звал Ивана Черноярца... В первый раз, когда Матвей увидел, как плачет Степан, у него волосы встали дыбом. Это было страшно... Видел он Степана в жуткие минуты, но как-то знал — по глазам — это еще не предел, не безумство. Вот — наступил предел. Вот горе породило безумство. В глазах атамана, ничего не видящих, криком кричала одна только боль.

Оказались возле Кремля, Степан пошел в приказную палату, где лежал Иван. Упал в ноги покойного друга и завыл... И запричитал, как баба:

— Ваня, да чем же я тебя так обидел, друг ты мой милый?! Зачем ты туда? О-ох! Больно, Ваня, тоска-а! Не могу! Не могу-у!...

Степан надолго умолк, только тихо, сквозь стиснутые зубы стонал и качал головой, уткнувшись лицом в ладони. Потом резко встал и начал поднимать Ивана со смертного ложа.

— Вставай, Ваня! Ну их к... Пошли гулять.

Иван с разбитой головой повис на руках Степана...

А Степан все хотел посадить его на столе, чтобы он сидел, как Стырь сидел в царицынском приказе.

— Гулять будем! Тошно мне без тебя...— повторял он.

— Степан, родной ты мой, — взмолился Матвей.— Степушка!.. Мертвец он, Иван-то, куда ты его? Положь. Не

надо. Убитый он, очнись ты, ради Христа истинного, чего ты тормошишь-то его: убили его.

Вот тут-то сделалось страшно Матвею. Степан глянул на него... И Матвей оторопел на него глянули безумные глаза, іакомые, дорогие слез, но безумные.

— Кто убил? — спросил тихо Степан. Он все держал тело в руках.

— В бою убили...— Матвей попятился к двери.— Ночью...

— Кто? Он со мной был все время.

— Опомнись, Степан,— сказал Федор.— Ну, убили... Рази узнаешь теперь? Возле ворот кремлевских... стрельнули. Иван, царство небесное, завсегда вперед других лоб подставлял. Со стены стрельнули. И не с тобой он был, а с дедкой Любимом вон, спроси Любима, он видал... Мы уж в городе были, а у ворот отбивались ишо.

Степан долго стоял с телом руках, что-то с трудом, мучительно постигая. Горестно постиг, прижал к груди окровавленную голову друга, поцеловал в глаза.

— Убили,— сказал он.— Отпевать надо. А не обмыли ишо...

— Да положь ты его...— опять заговорил было Матвей, но Федор свирепо глянул на него, дал знак: пусть отпевает! Пусть лучше возится с покойным, чем иное что. Вся Астрахань сейчас — пороховая бочка, не хватает, чтоб Степан бросил в нее головню: взлетит к чертовой матери весь город — на помин души Ивана Черноярца. Стоит только появиться Разину улице сказать слово.

— Отпевать надо,— поспешил исправить свою оплошность Матвей.— А как же? Надо отпевать — он христианин.

— Надо,— сказал и Фрол Разин.

Степан понес тело в храм.

— Зовите митрополита,— велел он.

Митрополита искали, но не нашли. Стыдили-таки его, принародно стыдили — Ларька Шелудяк — за "подлог". У митрополита глаза полезли на лоб... Особенно его поразило, что нашелся монах, уличивший его во лжи. После того он исчез куда-то — должно быть, спрятался.

Отпевал Ивашка Поп, расстрига.

Потом поминали всех убиенных...

16

Утром Степана разбудил Матвей.

— Степан, а Степан!..— толкал он атамана.— Подни-мись-ка!

— А? — Степан разлепил веки: незнакомое какое-то жилье, сумрачно, только еще светало.— Чего?

— Вставать пора.

— Кто тут?

— Подымись, мол. Я это, Матвей.

Степан приподнял тяжелую хмельную голову, огляделся вокруг. С ним рядом лежала женщина, блаженно щурила сонные глаза. Молодая, гладкая и наглая.

— Ты кто такая? — спросил ее Степан.

— Жонка твоя.— Баба засмеялась.

— Тю!..— Степан отвернулся.

— Иди-ка ты отсудова! — сердито сказал Матвей бабе.— Развалилась... дура сытая. Обрадовалась.

— Степан, застрель его,— сказала баба.

— Иди,— велел Степан, не глядя на "жонку".

Баба выпростала из-под одеяла крепкое, нагулянное тело, сладко, со стоном потянулась... И опять радостно засмеялась.

— Ох, ноченька!.. Как только и выдюжила.

— Иди, сказали! — прикрикнул Матвей.— Бесстыжая... Урвала ночку — тем и будь довольная.

— На, поцалуй мою ногу.— Баба протянула Матвею ногу.

— Тьфу!..— Матвей выругался, он редко ругался.

Степан толкнул бабу с кровати.

Баба притворно ойкнула, взяла одежонку и ушла куда-то через сводчатый проем в каменной стене.

Степан спустил ноги с кровати, потрогал голову.

— Помнишь что-нибудь? — спросил Матвей.

— Найди вина чару.— Степан тоскливо поискал глазами по нарядной, с высокими узкими окнами белой палате.— Мы где?

Матвей достал из кармана темную плоскую бутыль, подал.

— В палатах воеводиных.

Степан отпил с жадностью, вздохнул облегченно:

— Ху!..— Посидел, свесив голову.

— Степан, так нельзя...— Матвей изготовился говорить долго и внушительно.— Эдак мы не только до Москвы, а куда подальше сыграем — в гробину, как ты говоришь. Когда...

— Где Васька? — спросил Степан.

— Где Васька?.. Кто его знает? Сидит где-нибудь так же вот — похмеляется. Ты помнишь, что было-то?

Степан поморщился:

— Не гнуси, Матвей. Тошно.

— Будет тошно! С Васькой вам разойтиться надо, пока до беды не дошло. Вместе вам ее не миновать. Оставь его тут атаманом — куда с добром! И — уходить надо, Степан. Уходить, уходить. Ты человек войсковой — неужель ты не понимаешь? Сопьются же все с круга!.. Нечего нам тут делать больше! Теперь мужа с топором — нету. За спиной-то...

— Понимаешь, понимаешь... А не дать погулять — это тоже обида. Вот и не знаю, какая беда больше: дать погулять или не дать погулять. С твое-то и я понимаю, Матвей, а дальше... никак не придумаю: как лучше?

— Сморите маленько. Да сам-то поменьше пей. Дуреешь ты — жалко же. И страшно делается, Степан. Страшно, ей-богу.

— Опять учить пришел? — недовольно сказал Степан.

Матвей на этот раз почему-то не испугался.

— Маленько надо. Царем, вишь, мужицким собираисся стать — вот и слушай: я мужик, стану тебе подсказывать — где не так.— Матвей усмехнулся.— Мне, стало быть, и подсказать можно, где не так делаешь: не боярам же тада подсказывать...

— Каким царем? — удивился Степан.— Ты что?

— Вчерась кричал. Пьяный.— Матвей опять усмехнулся.— А знаешь, какой мужику царь нужен?

— Какой? — не сразу спросил Степан.

— Никакой.

— Так не бывает.

— А еслив не бывает, тада уж такой, какой бы не мешал мужикам. И чтоб не обдирал наголо. Вот какого надо. Тут и вся воля мужицкая: не мешайте ему землю пахать. Да ребятишек ростить. Все другое он сам сделает: свои песни выдумает, свои сказки, свою совесть, указы свои... Скажи так мужику, он пойдет за тобой до самого конца. И не бросит. Дальше твоих казаков пойдет. И не надо его патриархом сманывать — что он вроде с тобой идет...

Степан заинтересовался:

— Вон как!.. А вот здесь у тебя промашка, хоть ты и умный: он, мужик твой...

— Да пошто же он мой-то?

— Чей же?

— Твой тоже. Чего ты от его отрекаесся?

— Хрен с им, чей он! Он своего поместника изведет и подумает: хватит, теперь я вольный. А невдомек дураку: завтра другого пришлют. А еслив он будет знать, что с им патриарх поднялся да царевич...

— Какой царевич? — удивился Матвей.

— Алексей Алексеич.

— Он же помер!

— Кто тебе сказал? — Степан пытливо глядел на рязанца, точно проверяя на нем эту неслыханную весть.

— Да помер он! — заволновался было Матвей.

— Врут. Он живой... Царь с боярами допекли его, он ушел от их. Он живой.

Матвей внимательно посмотрел на Степана. Понял.

— Во-он ты куда. Ушел?

— Ушел.

— И к тебе пришел?

— И ко мне пришел. А к кому больше?

— Знамо дело, больше некуда. Про Гришку Отрепьева слыхал?

— Про Гришку? — Степан вдруг задумался, точно пораженный какой-то сильной, нечаянной мыслью.— Слыхал про Гришку, слыхал... Как бабу-то зовут?

— Какую?

— Жонку-то мою...

Матвей засмеялся:

— Ариной.

— Ариша! — позвал Степан.

Арина вошла, одетая в дорогие одежды.

— Чево, залетка моя? Чево, любушка...

— Тьфу! — обозлился Степан.— Перестань! Сходи передай казакам: пускай найдут Мишку Ярославова. Чтоб бегом ко мне!

Арина скорчила Матвею рожу и ушла.

Степан надел штаны, чулки. Заходил по палате.

— А бог какой мужику нужен? — спросил через свои думы.

— Бог?..— Теперь и Матвей задумался, хотел сказать серьезно, а серьезно, вплотную никогда так не думал — какой мужику бог нужен.

— Ну? — не сразу переспросил Степан; из всех разговоров с умным мужиком он не понял: верует тот богу или нет.

— Да вот думаю. Какой-то, знаешь... чтоб мне перед им на карачках не ползать. Свойский. Чтоб я с им — по-соседски, как ты вон рассказывал. Был у меня в деревне сосед... Старик. Вот такого бы. Так живой, говоришь, царевич?

— Что ж старик? — Степан не хотел больше про царевича.

— Старик мудрой... Тот говорил: я сам себе бог.

— Ишь ты!

— Славный старик. Помер, царство небесное. Такого я б не боялся. А ишо — понимал бы я его хоть. Того вон,— Матвей посмотрел на божницу,— не понимаю. Всю жись меня им пугают, а за что? — не пойму. Ты вон страшный, но я хоть понимаю: так уж человек себя любит, что поперек не скажи — убьет.

Степан остановился перед Матвеем, но тот опередил его неожиданным вопросом:

— А меня-то правда любишь? — спросил.

— Как это? — опешил Степан.

— Вчерась говорил, что жить без меня не можешь.— Матвей искренне засмеялся.— Ох, Степан, Степан... смешной ты. Не всегда, правда, смешной. Да как же царевич-то уцелел, а?

— Я его про бога, он мне про царевича. С царевичем дело простое: поведем на Москву, спросим отца и бояр: чего там у их?.. Ты богу веруешь?

— Про бога, Тимофеич... не надо — боюся. Думать даже боюся. Вишь, тут как: залезешь в душу-то, по правдишному-то, а там и говорить нечего — черным-черно. Вовсе жуть возьмет.

Вошел Мишка Ярославов.

— Здорово ночевал, батька! — Сам Мишка не светлей атамана с утра; только, видно, разбудили, опухший.

— Здорово. Садись пиши.— Степан недовольно посмотрел на есаула.— Тоже красавец... Не просвистеть бы нам, ссаул, с этой сиухой последний умишко.

— Чего писать-то? — Мишка не глядел на атамана, а на Матвея украдкой, зло зыркнул: овца рязанская, успел наябедничать.— С утра писать...

— Чего говорить буду, то и пиши. Сумеешь хоть?..

Мишка нашел в воеводиных палатах бумагу, чернила, перо... Подсел к столу, склонил набок пудовую голову... Еще раз презрительно глянул на Матвея.

— Давай.

— Брат! — стал говорить Степан, прохаживаясь по горнице.— Ты сам понимаешь... Нет, погоди, не так...

— Это кому ты? — спросил Матвей.

— Шаху персицкому. Брат! Бог, который, ты сам знаешь, управляет государями не так, как целым миром, этой ночью посоветовал мне хорошее дело. Я тебя крепко полюбил. Надо нам с тобой соединиться против притеснителей...

— Погоди маленько,— сказал Мишка.— Загнал. Притеснителей... Дальше?

Матвей изумленно и почтительно смотрел на атамана и слушал.

— Я прикинул в уме: кто больше мне в дружки годится? Никто. Только ты. Я посылаю к тебе моих послов и говорю: давай учиним дружбу. Я думаю, у тебя хватит ума, и ты не откажесся от такого выгодного моего предлога. Заране знаю, ты с великой охотой согласисся со мной, я называю тебя другом, на которого надеюсь. У меня бесчисленное войско и столько же богатства всякого, но есть нуждишка в боевых припасах. А также в прочих припасах, кормить войско. У тебя всяких припасов много...

— Погодь, батька. Много... Так?

— У тебя припасов много, даже лишка есть, я знаю. Удели часть своему другу, я заплачу тебе. Я не думаю, чтоб тебе отсоветовали прислать это мне. Но если так получится, то знай: скоро увидишь меня с войском в своей земле: я приду и возьму открытой силой, еслив ты по дурости не захочешь дать добровольно. А войска у меня — двести тыщ.— Степан подмигнул Матвею.

— Так,— сказал Мишка.— Думаешь, клюнет?

— Так что выбирай: или ты мне друг, или я приду и повешу тебя. Печать есть у нас?

— Своей нету. Я воеводину прихватил тут... На всякий случай: добрая печать.

— Притисни воеводину. Пора свою заиметь.

— Заимеем, дай срок.— Мишка хлопнул воеводиной печатью в лист, полюбовался на свою писанину и на красавицу печать.

— Собери сегодня всех пищиков астраханских: писать письма в городки и веси,— велел Степан, подавая есаулу плоскую темную склянку.— Много надо! Разошлем во все стороны.

— Разошлем,— сказал Мишка, принимая из рук атамана бутылицу. А ему показал лист.— Чисто указ государев!

— Доброе дело,— похвалил Матвей мысль атамана,— про письма-то: он давно талдычил про них.

— К шаху сегодня послать. Скажи Федору: пускай приберет трех казаков...— Степан взял у Мишки бутылицу с "сиухой", допил остатки.

— Когда же вверх-то пойдем? — спросил Матвей.

— Пойдем, Матвей. Погуляем да пойдем. Наберись терпения. Дай маленько делу завязаться... Пускай про нас шире узнают, народишко-то, пускай ждут по дороге, чтоб нам не ждать. Пускай и письмишки походют по свету... Надо было раньше с имя додуматься: с зимы прямо двигать. Вот где надо, так ни одного дьявола с советом нет! — Степан отпил еще из бутылки.— Интересно, говоришь, как уцелел царевич? — спросил он легко и весело.

— Шибко интересно. Как это он, сердешный...

— О, это цельная сказка, Матвей. Разное с им приключалось... Я тебе как-нибудь порасскажу.

ЧАСТЬ 3

КАЗАНЬ

1

А в Москву писали и писали...

Думный дьяк читал царю и его ближайшему окружению обширное донесение, составленное по сведениям, полученным из района восстания:

— "...Великому государю изменили, того вора Стеньку в город пустили. И вор Стенька Разин боярина и воеводу князя Ивана Семеныча Прозоровского бросил с раскату.[1] А которые татаровя были под твоею, великого государя, высокою рукою, и те татаровя тебе, великому государю, изменили и откочевали к нему, вору, к Стеньке. А двух сынов боярских он, Стенька, на городской стене повесил за ноги, и висели они на стене сутки. И одного боярского большого сына, сняв со стены, связав, бросил с раскату ж, а другого боярского меньшого сына, по упрошению матери его, сняв со стены и положа на лубок, отвезли к матери в монастырь. А иных астраханских начальных людей, и дворян, и детей боярских и тезеков всех, и которые с ним, Стенькою, в осаде дрались, побил. И в церквах божьих образы окладные порубил, и великого государя денежную казну всю поимал, и всякие дела в приказах пожег с бесовскою пляскою, и животы боярские и всяких чинов начальных людей в том городе Кремле все пограбил же. И аманатов из Астрахани отпустил

---

1 Раскатом в XVII веке называли, очевидно, всякое сооружение, которое практически служило еще и целям обзорной высоты: башни крепостных стен, лобные места, колокольни.— *Прим. автора.*

по кочевьям их, и тюрьмы распустил. А боярская жена и всяких начальных людей жены все живы, никого тех жен он, Стенька, не бил.

А был он, Стенька, в Астрахани недели с две и пошел на Царицын Волгою. И после себя оставил он, Стенька, в Астрахани товарищев своих, воровских казаков, с десятка по два человека; а с ними, воровскими казаками, оставил в Астрахани начальным человеком товарища своего Ваську Уса.

А стольник и воевода князь Семен Львов ныне в Астрахани жив. А как ему, вору Стеньке, астраханская высылка на Волге сдалась, и он, вор Стенька, учиня круг, и в кругу говорил: любо ль вам, атаманы-молодцы, простить воеводу князя Семена Львова? И они, воровские казаки, в кругу кричали, что простить его им любо.

А из Астрахани он, вор Стенька, до Царицына шел Волгою две недели.

И пришел он, вор Стенька, на Царицын, послал от себя на Дон воровских казаков с братом своим Фролкою — всех человек с 500 с деньгами и со всякими грабежными животами, да с ними восемь пушек. И у него, у вора Стеньки, на Царицыне были круги многие.

А с Царицына он, вор Стенька, пошел под Саратов. А конных людей у него, Стеньки, нет ни одного человека, потому что которые конные люди у него, Стеньки, были, и у них лошади у всех попадали.

А стружки у него, Стеньки, небольшие, человек по десяти, и в большем человек по двадцати в стружке, а иные в лодках человек по пяти. А которых невольных людей с посадов и стругов неволею к себе он, Стенька, имал, и у тех всех людей ружья нет.

А богу он, вор Стенька, не молится и пьет безобразно, и блуд творит, и всяких людей рубит без милости своими руками. И говорит и бранит московских стрельцов и называет их мясниками: вы-де, мясники, слушаете бояр, а я-де вам чем не боярин? От него, Стеньки, всем воровским казакам учинен заказ крепкой, что уходцев был от них на Русь не было. А где кого от него, Стеньки, беглеца догонят, и они б тех беглецов, имая на воде, метали в воду, а на сухом берегу рубили, чтоб никто про него, Стеньку, на Русь вести не подал.

А из Саратова к нему прибегают саратовцы человека по два и по три почасту и говорят ему, чтоб он шел к ним под Саратов не мешкав, а саратовцы городские люди город Сара-

тов ему, Стеньке, сдадут, только-де в Саратове крепится саратовский воевода".

Дьяк кончил вычитывать. Однако было у него в руках что-то еще...

— Что? — спросил царь.

— Письмо воровское... Он, поганец какой: и чтоб весть про его не шла, и тут же людишек сзывает.

— Ну? — велел царь.

Дьяк стал читать:

— "Грамота от Степана Тимофеича от Разина.

Пишет вам Степан Тимофеич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да и Степану Тимофеичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки како промысел станут чинить, и вам бы итить к ним в совет, и кабальныя, и опальния шли бы в полк моим закам".

Долго молчали царедворцы.

Беда.

Царь тоже писал.

Другой дьяк басовитым голосом вычитывал на Постельном крыльце московским служилым людям Указ царя:

— "И мы, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, велел вам сказать, что Московское государство во жребии и во обороне пресвятые владычицы нашея Богородицы и всегда над всякими неприятели победу приемлет по господе бозе молитвами ея. А ныне великий государь, и все наше Московское государство той же надежде, и его господе бозе несумненную надежду имеем на руководительницу нашу Пресвятую Богородицу. И указали быть на нашей государевой службе боярину нашему и воеводам князю Юрью Алексеевичу Долгорукову да стольнику князю Константину Щербатову.

А за те ваши службы наша государева милость и жалованье будет вам свыше прежнего. А буде, забыв господа бога и православную христианскую веру и наше великого государя крестное целование, против того врага божия отступника от веры православной и губителя невинных православных христиан Стеньки Разина на нашу великого государя службу тотчас не поедут и учнут жить в домах своих, и по нашему великого государя Указу у тех людей поместья их и вотчины укажем мы, великий государь, имать бесповоротно и отда-

вать челобитчикам, которые будут на службе. А буде, которые всяких чинов служилые люди с нашей великого государя службы збегут, и тем быть казненым смертью безо всякой пощады. И вам бы одноконечно ехать со всею службою, не мешкая, и нам, великому государю, служить, и за свои службы нашу великого государя милость получить. Все!"

Нет, не зря Степан Тимофеич так люто ненавидел бумаги: вот "заговорили" они, и угроза зримая уже собиралась на него. Там, на Волге, надо орать, рубить головы, брать города, проливать кровь... Здесь, в Москве, надо умело и вовремя поспешить с бумагами — и поднимется сила, которая выйдет и согнет силу тех, на Волге... Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг; бумага, как змея, обрела парализующую силу. Указы. Грамоты. Списки... О, как страшны они! Если вообразить, что те бумаги, которые жег Разин на площади в Астрахани, кричали голосами, стонали, бормотали проклятья, молили пощады себе, то эти, московские, восстали жестоко мстить, но "говорили" спокойно, со знанием дела. Ничто так не страшно было на Руси, как госпожа Бумага. Одних она делала сильными, других — слабыми, беспомощными.

Степан, когда жег бумаги в Астрахани, воскликнул в упоении безмятежном:

— Вот так я сожгу все дела наверху, у государя!

Помоги тебе господи, Степан! Помоги тебе удача, искусство твое воинское. Приведи ты саблей своей острой обездоленных, забитых, многострадальных к счастью, к воле. Дай им волю!

2

Саратов сдался без боя. Степан велел утопить тамошнего воеводу Кузьму Лутохина. Умертвили также всех дворян и приказных. Имения их передуванили. В городе введено было казацкое устройство; атаманом поставлен сотник Гришка Савельев.

Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше — на Самару.

В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед.

Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялись мордва, чуваши... Теперь уже тридцать тысяч шло под знаменем Степана Разина. Полыхала вся средняя Волга. Горели усадьбы поместников, бояр. Имущество их, казна городов, товары купцов — все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего.

...Остановились на короткий привал — сварить горячего хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро; без коней уставали: большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести — против течения.

— Загнал батька.

— Куда он торопится-то? — переговаривались гребцы.— То ли до снега на Москву поспеть хочет?

— Оно не мешало б...

— По мне — и в Саратове можно б зазимовать. Я там бабенку нашел... мх! — сладкая. Жалко, мало там постояли.

Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Боляева — от мордвы.

С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька — они разложились было писать "прелестные" письма, какие они десятками, чуть ли ие сотнями писали теперь и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг, во главе с Разиным, очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей — письма ихние или другое что, — люди шли, и это радовало.

Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру... Опять он не пил, был собран, скор на решения. Похудел за последние стремительные дни.

— Чего вы там разложилися? — спросил Мишку и Ваську.

— Письмишки — на матушку Русь...

— Апосля писать будете. Васька, выдь,— велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя — за умение скоро и хорошо писать.

Васька вышел, ничуть не обидевшись.

— Вот чего... Объявляю,— заявил Степан как свое окончательное решение. Речь шла о том: объявлять войску и народу, что с разинцами идут "патриарх" и "царевич Алексей" или еще подождать.

Степан...— заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману,— дай слово молвить: еслив ты...

— Молчи! — повысил голос Степан.— Я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? — Он стал против Федора.

— Зря не даешь ему говорить,— сказал Федор с укором.— Он...

— Я тебя спрашиваю! Тебе велю: говори, как сам думаешь.

— Какого черта зовешь тогда! — рассердился Федор.— Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда

— Не прячься за других. А то наловчились: чуть чего, так сразу язык в... Говори!

— Что это, курице голову отрубить?.. "Говори". С бабой в постеле я ишо, можеть, поговорю. И то — мало. Не умею, не уродился таким. А думаю я с Матвеем одинаково: на кой они нам черт сдались? Собаке пятая нога. У нас и так вон уж сколь — тридцать тыщ. Кого дурачить-то? И то ишо крепко заметь в думах: от Никона-то, правда, отшатнулось много народу... Хуже наделаем со своими хитростями.

— Говорить не умеет! А наговорил с три короба. Тридцать тыщ — это мало. Надо тридцать по тридцать. Там пойдут города — не чета Царицыну Саратову.— Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнение; он думал и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли бы в его думах, но никак не просил о том. Сам с собой он порешил, что пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим "патриархом": от Никона на Руси, слышно, отреклось много, не наделать бы себе хуже, правда.

— Они же идут! Они же не... это... не то что — стало их тридцать, и все, и больше нету. Две недели назад у нас и пятнадцати не было,— стоял на своем Федор.

— Как ты, Ларька? — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним.

Ларька подумал.

— Да меня тоже воротит от их. На кой?..— сказал он искренне.

— Ни черта не понимают! — горестно воскликнул Степан.— Иди воюй с такими. Один голову ломаешь тут — ни совета разумного, ни шиша... Сяли на шею и ножки свесили.

— Чего не понимаем? — изумился Федор.— Во!.. Не понимают его.

Степан напористо — не в первый раз — стал всем объяснять:

— Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появются, стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница?..

— Ты меньше кричи везде, что не хошь царем быть, вот и не будут так думать,— посоветовал Матвей.

— Как думать не будут? — не понял Степан.

— Что царем хошь сесть. А то кричишь, а все наоборот думают: царем сесть задумал. Это уж так человек заквашен: ему одно, он — другое.

— Пошел ты!..— отмахнулся Степан.

— Я-то пойду, а вот ты с этими своими далеко ли уйдешь. Мало ишо народ обманывали! Нет!.. И этому дай обмануть. А как обман раскроется?

— Для его же выгоды обман-то, дура! Не мне это надо!

— А все-то как? И все-то — для его выгоды. А чего так уж страшисся-то, еслив и подумают, что царем? Ну — царем.

— Какой я царь? — Степан, и это истинная правда, даже и втайне не думал: быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то Великим...

— Ишо какой царь-то! Только самовольный шибко... Ну, слушаться за то будут. Был бы с народом добрый — будешь и царь хороший. Не великого ума дело: сиди высоко да плюй далеко.— Всегда, как разговор заходил про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело.

— Вон как! — воскликнул Степан.— Легко у тебя вышло. Ажник правда посидеть охота. Плеваться-то научусь, дальше других насобачусь...

— Тут важно ишо — метко,— заметил Ларька.

Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана.

— А ведь думка есть, Степан, нас-то не обманывай. Скажи: придержать ее хошь до поры до время, ту думку. Ну и не объявляй пока. Какое нам дело — кем ты там станешь?

— Вам нет дела, другим есть.— Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком.

— Кому же? — пытал Матвей.

— Есть...

— Кому?

— Стрельцам, с какими нам ишо доведется столкнуться. Им есть дело: то ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала.

— Да пусть будут! — воскликнул Ларька.— Мы что, с рожи, что ль, опадем? Объявляй.— Атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей.

— Не то дело, что будут,— упрямился Матвей.— Царевич-то помер — вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать! Эка!.. Сумеют, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся?

— Надо сперва явиться туда,— резонно заметил Степан.— На Москве уж явился, скорый какой.

— Ну... а ты дай мне так подумать: вот — явились. А там и стар и млад, все знают: царевич давно в земле. А мы — вот они: пых, с царевичем. Кто же мы такие будем?

Степан не хотел так далеко думать.

— До Москвы ишо дойтить надо,— повторил он.— А там видно будет. Будет день — будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляю. Как думаешь, Асан? — напоследок еще весело спросил он татарина.

— Как знаешь, батька,— отвечал татарский мурза.— Объявляй: наша рожа не станет худая.— Асан засмеялся.

— Матвей?..— Степан все же хотел пронять мужика, хотел, чтоб тот склонился перед его правдой.

— Объявляй... что я могу сделать? Знаю только, что дурость.— Матвей и склонился, но горестно и безнадежно, не в силах он ничего никому доказать тут.

Казаки — рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана,— заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было (он вышел, когда стали приходить казаки).

Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся... Вошел Степан, а с ним... царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон — огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой.

Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на "царевича" и "патриарха" с большим интересом.

— Вот, молодцы, сподобил нас бог — гостей наслал,— заговорил Степан.— Этой ночью пришли к нам царевич

Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Ходили слухи, что царевич помер,— это боярская выдумка, он живой, вот он. Невмоготу ему стало у царя, ушел от суровостей отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за него. Надо вывести бояр на чистую воду... А заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают... даже им вон... Вон кому даже!..— Степану не удавалось говорить легко и просто, он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков, сердился и хотел скорей договорить, что надо.— Все. Это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь... Ишо хотел сказать...— Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость свою улыбкой, несколько насильственной, — теперь дело наше надежное, ребяты. Сами знайте и всем говорите: ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С богом.

Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядываясь на "царевича" и "патриарха". Некоторые глазастые, заметили, что одеяние "патриарха" очень что-то напоминает рясу митрополита астраханского, но промолчали.

Когда вышли все, Степан сел, велел садиться "патриарху" и "царевичу":

— Садись, патриарх. И ты, царевич... Сидайте. Выпьем теперь... за почин доброго дела. За удачу нашу.

Есаулы потеснились за столом, посадили с собой старика и смуглого юношу-"царевича" — поближе к атаману.

— Налей, Мишка,— велел Степан, сам тоже не без любопытства приглядываясь к "высоким гостям".

Мишка Ярославов налил чары, поднес первым "патриарху" и "царевичу". Усмехнулся.

— Ты пьешь ли? — спросил он юношу.

— Давай,— сказал тот. И покраснел. И посмотрел вопросительно на атамана. Тот сделал вид, что не заметил растерянности "царевича".

"Патриарх" хлопнул чару и крякнул. И оглядел всех, святой и довольный.

— Кхух!.. Ровно ангел по душе прошел босиком. Ласковое винцо,— похвалил он.

Казаки рассмеялись. Неизвестно, как "царевич", а "патриарх" явно был мужик свойский.

— Приходилось, когда владыкой-то был? Небось заморское пивал? — поинтересовался Ларька Тимофеев весело.

— Дак а можно ли?.. Патриарху-то? — спросил Матвей не одного только "патриарха", а и всех.

Казаки за столом покосились в сторону "патриарха".

Старик прищурил умные глаза; слова Матвея пропустил мимо ушей, а Ларьке ответил:

— Пивали, пивали... Ну-к, милок, поднеси-к ишо одну — за церкву православную.— Выпил и опять крякнул.— От так ее! Кхэх!.. Ну, Степан Тимофеич, чего дальше? Располагай нас...

Степан с усмешкой наблюдал за всеми; он был доволен. Сказал:

— На струги пойдем. Тебе, владыка, черный струг, тебе, царевич, красный. Вот и будете там. Будьте как дома, ни об чем не заботьтесь.

В шатер заглянули любопытные, войти не посмели, но с интересом великим оглядели двух знатных гостей атамана.

— Пошло уж,— сказал Степан.— Можно ийтить. Пошли! Никон, давай передом шагай. Ты самый важный тут...

Вышли из шатра втроем — Степан, "царевич" и "патриарх", направились к берегу, где приготовлены были два стружка с шатрами — один покрыт черным бархатом, другой — красным. У обоих стружков — стража нарядная.

Степан, на виду всего войска, что-то рассказывал гостям своим, показывал на войско... Шагал сбоку "патриарха" — вперед заходить не смел. Громадина "патриарх" ступал важно, кивал головой.

Со всех сторон на них глядели казаки, мужики, посадские, стрельцы. Все тут были: русские, хохлы, запорожцы, мордва, татары, чуваши. Глядели, дивились. Никому не доводилось видеть патриарха и царевича, да еще обоих сразу.

Степан проводил гостей до стружков, поклонился. Гости взошли на стружки и скрылись в шатрах.

Степан махнул войску рукой — по стругам.

3

А к царю шли, ехали, плыли бумаги. Рассказывали.

"...Стоит де он под Самарою, а самареня своровали, Самару ему, вору, здали. И хочет он, вор Стенька Разин, быть кончее под Синбирск на Семен день (1 сентября) и того часу хочет приступить к Синбирску всеми силами, чтоб ему,

вору, Сибирск взять до приходу в Сибирск кравчего и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми.

И только, государь, замешкаются твои, великого государя, полки, чаять от него, вора, над Синбирском великой беды, потому что в Синбирску, государь, в рубленом городе, один колодезь, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверти аршина. А кравчей и воевода князь Петр Семенович Урусов из Казани и окольничей князь Юрья Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Синбирск августа по 27-е число не бывали. А от синбирян, государь, в воровской приход чаять спасения большаго, смотря на низовые городы, что низовые городы ему, вору, здаютца..."

Царь встал и в раздражении крайнем стукнул палкой об пол.

— Я, чай, нагулялся уж Стенька?! — гневно воскликнул он.— Пора и остановить молодца. Что же такое деется-то!

4

Стенька еще не нагулялся.

Еще "обмывали" город — Самару.

...Праздник разгорелся к вечеру. На берегу. Повыше Самары. Гулял весь огромный лагерь. Жарились на кострах целые бараны и молодые телята-одногодки. Сивуху из молодой ржи, мед и пиво расходовали вольно; сидели прямо у бочек... Впереди, дальше, трудно будет — Степан знал, потому дал погулять. Хотели немного, а разошлись во всю матушку, раскачали опять теплые воздухи, загудели.

Степан, изрядно уже пьяный, сидел возле своего шатра, близко у воды, расхлыстанный, тяжелый, опасный, пел негромко. По левую руку его — "царевич", по правую — "патриарх". "Патриарх" тоже уже хорош; но пить, видно, он может много.

Степан пел опять свою дорогую, любимую дедушки Стыря:

Ох, матушка, не могу,
Родимая, не могу!..

Все, кто сидел рядом, вразнобой подтянули:

Не могу, не могу, не могу,
могу, могу!
Ох, не могу, не могу, не могу,
могу, могу!
Сял комарик на ногу,
Сял комарик на ногу!

Опять недружно, нескладно забубнили: "у-у, у-у!.."

На ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!
Ох, на ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!

Степан вдруг разозлился на эту унылую нескладицу, встал, и заорал, и показал, чтоб и все тоже орали.

Ой, ноженьку отдавил,
Ой, ноженьку отдавил!

И все встали и заорали:

Отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!
Ох, отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!

Крик распрямил людей; засверкали глаза, набрякли жилы на шеях... Песня набирала силу; теперь уж она сама хватала людей, толкала, таскала, ожесточала. Ее подхватывали дальше по берегу, у бочек,— весь берег грозно зрычал в синеву сумрака.

"Патриарх" выскочил вдруг на круг и пошел с приплясом, норовил попасть ногой в песню.

Подай, мати, косаря,
Подай, мати, косаря.

Еще с десяток у шатра не вытерпели, ринулись со свистом "отрывать от хвоста грудинку". Угар зеленый, буйство и сила сдвинули души, смяли.

Косаря, косаря, косаря,
саря, саря!
Ох, косаря, косаря, косаря,
саря, саря!

"Патриарх" пошел отчубучивать вприсядку, легко кидал огромное тело свое вверх-вниз, вверх-вниз... Трудно было поверить, что старик почти.

Никто ее не заметил, старуху кликушу. Откуда она взялась? Услышали сперва — завыла слышней запева атаманского:

— Ох, да радимы-ый ты наш, сокол ясны-ый!.. Да как же тебе весело гуляется-то!.. Да на вольной-то во-олюшке. Да праздничек ли у тя какой, поминаньице ли-и?..

Причет старухи — дикий, замогильный — подкосил песню. Опешили. Смотрели на старуху. Она шла к Степану, глядела на него немигающими ясными глазами, жуткая в ранних сумерках, шла и причитала:

— Ох, да не знаешь ты беду свою лютую, не ведаешь. Да не чует-то ее сердечушко твое доброе! Ох-х... Ох, пошто жа ты, Степушка!.. Да пошто жа ты, родимый наш!.. Да ты пошто жа так снарядился-то? А не глядишь и не оглянешься!.. Ох, да не свещует тебе сердечушко твое ласковое! И не подскажет-то тебе господь-батюшка — вить надел-то ты да все черное!..

Степан не робкого десятка человек, но и он оторопел, как попятился.

— Ты кто? Откуда?..

— Кликуша! Кликуша самарская! — узнали старуху.— Мы ее знаем — шатается по дворам, воет: не в себе маленько...

— Тьфу, мать твою!..

— Ох, да родимый ты наш...— опять завыла было кликуша и протянула к атаману сухие руки.

— Да уберите вы ее! — заорал Степан.

Старуху подхватили и повели прочь.

— Ох, да ненаглядное ты наше солнышко! — еще пыталась голосить старуха. Ей заткнули рот шапкой.

Степан сел, задумался... Потом встряхнул головой, сказал громко, остервенело:

— Врешь, старая, мой ворон ишо не кружил! — Посмотрел на казаков.— Не клони головы, ребятушки! Наливай! Отпевать умельцы найдутся, сперва пусть угробют.

Налили. Выпили.

Помаленьку праздник стал было опять налаживаться... И тут-то нанесло еще одного неурочного. Это уж как знак какой-то небесный, рок.

Зашумели от берега.

— Куприян! Кипрюшка!.. Тю!..

— Как ты?!

— Гляди! — живой. А мы не чаяли...

— Кто там? — спросил Степан.

— Кипрюшка Солнцев, до шаха с письмом-то ездил. А пошто один, Куприян? Где же Илюшка, Федька?

— Какие вести? — тормошили Куприяна.

Куприян Солнцев, казак под тридцать, радостный, захмелевший от радости, пробрался к атаману.

— Здоров, батька!

— Ну?..— спросил Степан.

— Один я... Как есть. Господи, не верится, что вижу вас... Как сон.

— Что так? — опять негромко спросил Степан. Его почему-то коробила шумная радость Куприяна.— А товаришши твои?..

— Срубил моих товаришшев шах. Собакам бросил...

Степан стиснул зубы.

— А ты как же?

— А отпустил. Велел сказать тебе...

— Не торопись!..— зло оборвал Степан.— Захлебываисся прямо! — Степана кольнуло в сердце предчувствие, что Куприяи выворотит тут сейчас такие новости, от которых тошно станет.— Чего велел? Кто?

— Велел сказать шах...

— Через Астрахань ехал? — опять сбил его атаман.

— Через Астрахань, как же.— Куприян никак не мог понять, отчего атаман такой неприветливый. И никто рядом не понимал, что такое с атаманом.

Атаман же страшился дурных вестей — и от шаха, и об астраханских делах. И страшился, и хотел их знать.

— Что там? В Астрахани?..

— Ус плохой — хворь какая-то накинулась: гниет. С Федькой Шелудяком лаются... Федька князя Львова загубил, Васька злобится на его из-за этого...

— Как это он?..— поразился Степан.— Как?

— Удавили.

— Я не велел! — закричал Степан.— Круг решал!.. Он нужон был! Зачем они самовольничают!.. Да что же мне с вами?!..

— Не знаю. А шах велел сказать: придет с войском и скормит тебя свинь...

Коротко и нежданно хлопнул выстрел. Куприян схватился за сердце и повалился казакам в руки.

— Ох, батька, не...— и смолк Куприян.

Степан сунул пистоль за пояс. Отвернулся. Стало тихо.

— Врет шах! Мы к ему ишо наведаемся...— Степан с трудом пересиливал себя. В глазах — дикая боль.— Наливай! — велел он.

Трудно было бы теперь наладиться празднику. Нет, теперь уж ему не наладиться вовсе: от этого выстрела все точно оглохли. Куприян, безвинный казак, еще теплый лежит, а тут — наливай! Наливай сам да пей, если в горло полезет.

— Наливай! — Степан хотел крикнуть, а вышло, что он сморщился и попросил. Но и на просьбу эту никак не откликнулись. Нет, есть что-то, что выше всякой власти человеческой и выше атаманской просьбы.

Степан вдруг дал кулаком по колену:

— Нет, в гробину их!.. Нет! Гуляй, браты! — Но руки его прыгали уже. Он искал глазами место, как выйти...

Федор Сукнин подхватил его и повел в сторону. К шатру. Степан послушно шел с ним. Ларька Тимофеев налил чару, предложил всем:

— Наливайте! А то... хуже так. Веселись! Чего теперь?

— Ну, Лазарь!.. Плясать ишо позови.

— Ну а чего теперь? Ну — на помин души Куприяновой,— Ларька выпил, бросил чарку: даже и ему было нехорошо, тошно. Он только сказал: — Никто не виноватый... Пристал атаман, задергался... Рази же хотел он?

От места, где только что соскользнул из жизни человек, потихоньку, молча стали расходиться. Осталось трое или четверо, негромко говорили, где схоронить тело.

Из-за кручи береговой вылезла краем луна; на реке и на обоих берегах внизу все утонуло во мрак и задумчивость.

Степан лежал у шатра лицом вниз. Сукнин сидел поодаль на седле.

Подошел Ларька, остановился...

— Господи, господи, господи-и! — стонал Степан. И скреб землю, и озирался.— Одолел меня дьявол, Ларька. Одолел, гад: рукой моей водит. За что казака сгубил?!.. За что-о!

Ларька стоял над атаманом, жестоко молчал. Ларвке до смерти жалко было казака Куприяна Солнцева. И он хотел,

чтоб атаман мучился сейчас, измучился бы до последней нестерпимой боли.

— А вы?!..— вскочил вдруг Степан на колени.— Рядом были — не могли остановить! Чего каждый раз ждете? Чего ждете? Хороши только потом выговаривать!..

Ларька молчал. И Сукнин молчал.

— Чего молчите?! — заорал Степан.— Пошто не остановили?!

— Останови! — воскликнул Сукнин.— Никто глазом не успел моргнуть.

— Моя бы воля,— негромко и тоже зло заговорил Ларька,— да не узнай никто: срубил бы я тебе башку счас... за Куприяна. И рука бы не дрогнула.

Сукнин оторопел... Даже встал с седла, на котором сидел.

Степан вскочил на ноги... Не то он вдруг — в короткое это время — решился на что-то, не то — вот-вот — на что-то страшное с радостью готов решиться. Не гнев, а догадка какая-то озарила атамана. Он пошел к есаулу. Ларька попятился от него... Федор на всякий случай зашел сбоку. Но атаман вовсе не угрожал.

— Ларька,— как в бреду, с мольбой искренней, торопливо заговорил Степан,— рубни. Милый!.. Пойдем? — Он схватил есаула за руку, повлек за собой.— Пойдем. Федор, пойдем тоже.— Он и Федора тоже схватил крепко за руку. Он тащил их к воде.— Братцы, срубите — и в воду, к чертовой матери. Никто не узнает. Не могу больше: грех замучает. Змеи сосать будут — не помру. Срубите! Срубите!! Богом молю, срубите!.. Милые мои... помогите. Не могу больше. Тяжело.

Степан у воды упал на колени, опустил голову.

— Подальше оттолкните потом,— посоветовал.— А то прибьет волной...— Верил он, что ли, что други его верные, любимые его товарищи снесут ему голову? Хотел верить? Или хотел показать, что верит? Он сам не понимал... Душа болела. Очень болела душа. Он правда хотел смерти. Вот и не пил последнее время... Нет, не вино это, не вино изъело душу. Что вино сильному человеку! Он видел, он догадывался: дело, которое он взгромоздил на крови, часто невинной, дело — только отвернешься — рушится. Рассыпается прахом. Ничего прочного за спиной. Астраханские дела, о которых сгоряча — при всех! — донес несчастный Куприян, это — малая капля, переполнившая обильную горькую чашу. В Царицыне тоже не лучше: Прон Шумливый самоуправствует хуже боярина. На Дону, кто приходит оттуда, сказывают:

ненадежно. Плохо. Затаились... Такой войны, какую раскачал Степан, там не хотели даже те, кто поначалу молча благословлял на нее. Там испугались. Так — на пиру вселенском, в громе труб — чуткое сердце атамана слышало сбой и смятение. Это тяжело. О, это тяжело чувствовать. Он скрывал боль от других, но от себя-то ее не скроешь.

— Уймись, Степан,— миролюбиво сказал Ларька.— Чего теперь?

Федор тронул Ларьку за руку, показал: молчи.

Степан плакал, стоя на коленях, отвернувшись лицом к Волге.

— Дайте один побуду,— попросил он тихо.

Есаулы пошли к шатру. Но из виду атамана не упускали. Он все сидит, оперся локтями на колени, чуть покачивается взад-вперед.

— Старуха... выбила из колеи,— сказал Сукнин.

— Не старуха... Наш недогляд, Федор: надо было перехватить Куприяна, научить, как говорить. А то и вовсе не пускать, завтра бы рассказал.

— Куприян, конешно... Но старуха! У меня давеча у самого волосья на голове зашевелились, когда она завыла. Откуда вывернулась, блажная?

— Васька-то что же, помирает?

— Видно... Вот ишо змею на груде отогрели,— Шелудяк, дармоед косоглазый,— жестоко сказал Сукнин.— Он там воду мутит. Васька ослаб, он верх взял.

— Зачем они Львова-то решили?

— Спроси! Шелудяк все.

Тихо говорили между собой у шатра есаулы. И поглядывали в сторону берега: там все сидел атаман и все тихо покачивался, покачивался, как будто молился богу своему — могучему, древнему — Волге. Иногда он бормотал что-то и тихо, мучительно стонал.

Луна поднялась выше над крутояром; середина реки обильно блестела; у берега, в черноте, шлепались в вымоины медленные волны, шипели, отползая, кипели... И кто-то большой, невидимый осторожно вздыхал.

Позже Степан взошел в небольшую лодку тут же, неподалеку, прилег на сухую камышовую подстилку и заснул, убаюканный прибрежной волной. И приснился ему отчетливый красивый сон.

Стоит будто он на высокой-высокой горе, на макушке, а снизу к нему хочет идти молодая персидская княжна, но никак не может взобраться, скользит и падает. И плачет.

Степану слышно. Ему жалко княжну, так жалко, что впору самому заплакать. А потом княжна — ни с того ни с сего — стала плясать под музыку. Да так легко, неистово... как бабочка в цветах затрепыхалась, аж в глазах зарябило. "Что она? — удивился Степан.— Так же запалиться можно". Хотел крикнуть, чтоб унялась, а не может крикнуть. И не может сдвинуться с места... И тут увидел, что к княжне сбоку крадется Фрол Минаев, хитрый, сторожкий Фрол,— хочет зарубить княжну. А княжна зашлась в пляске, ничего не видит и не слышит — пляшет. У Степана от боли и от жалости заломило сердце. "Фрол!" — закричал он. Но крик не вышел из горла — вышел стон. Степана охватило отчаяние... "Срубит, срубит он ее. Фро-ол!.." Фрол махнул саблей, и трепыхание прекратилось. Княжна исчезла. И земля в том месте вспотела кровью. Степан закрыл лицо и тихо закричал от горя, заплакал... И проснулся.

Над ним стоял Ларька Тимофеев, тряс его.

— Степан!.. Батька... чего ты?

— Ну? — сказал Степан.— Что?

— Чего стонешь-то?

Степан сел. Горе стояло комом в горле... Даже больно. Степан опустил руку за борт, зачерпнул воды, донес, сколько мог, ополоснул лицо. Вздохнул.

— Приснилось, что ль, чего? — спросил Ларька.

— Приснилось...

Как-то странно ясно было вокруг. Степан поднял голову... Прямо над ним висела — пялилась в глаза — большая красная луна. Нехороший, нездоровый, теплый свет ее стекал на воду; местами, где в воде отражались облака, казалось, натекли целые лывы красного.

— Душно, Ларька... Тебе ничего?

— Да нет, я спал, пока ты не застонал...

— Застонал?

— Ну. Что за сон такой?

— Не знаю... дурной сон. Не помню. Выпил лишнее. Ты чего тут?

— Спал здесь...

Степан вспомнил вчерашнее... казака Куприяна... Опустил голову и коротко простонал.

— Выпить, можеть?..— посоветовал Ларька.

— Нет. Ларька... тебе не страшно? — спросил Степан.

— О! — удивился Ларька.

— Нет, не так говорю: не тяжко? Душно как-то... А?

— Да иет... С чего? — не понимал Ларька.

— Ладно... Так я — хватил вчера, лишка, правда.

— Похмелись!

— Иди спать, Ларька... Дай побыть одному.

Ларька, успокоенный мирным тоном атамана, пошел досыпать в шатер.

Все спали; огромная, светлая, красная ночь неслышно текла и стекала куда-то в мир чужой, необъятный — прочь с земли.

Рано утром, едва забрезжил рассвет, Степан был на ногах.

Лагерь еще спал крепким сном. Весь берег был сплошь усеян спящими. Только там и здесь торчали караульные. Да у самой воды, в стороне от лагеря, спиной к нему неподвижно сидел одинокий человек; можно было подумать, что он спит так — сидя. И хоть это было не близко, Степан узнал того человека и через весь лагерь направился к нему.

Это был Матвей Иванов. Он не спал. Увидев Степана, он вздохнул, показал глазами на лагерь и сказал так, будто он сидел вот и только что об том думал:

— Вот они, вояки твои... Набежи полсотни стрельцов — к обеду всех вырубют. С отдыхом. Не добудиться никаким караульным...

Степан остановился и смотрел на воду.

— Уймись, Степан,— заговорил Матвей почти требовательно, но с неподдельной горечью в голосе.— Уймись, ради Христа, с пьянкой! Что ты делаешь? Ты вот собрал их — тридцать-то тыщ — да всех их в один пригожий день и решишь. Грех-то какой!.. И чего ты опять сорвался-то? Неужель тебе не жалко их, Степушка? — У Матвея на глазах показались слезы.— Надежа ты наша, заступник наш, батюшка,— пропадаем ведь мы. Подведи-ка под Синбирск эдакую-то похмельную ораву — что будет-то? Перебьют, как баранов! Пошто ты такой стал? Зачем казака убил вчерась? — Матвей вытер кулаком слезы.— Радовался, сердешный,— от шаха ушел. Пришел!.. Степушка!.. Ты что же, верить, что ль, перестал? Что с тобой такое?

— Молчи! — глухо сказал Степан, не оборачиваясь.

— Не буду я молчать! Руби ты меня тут, казни — не буду. Не твое только одного это дело. Русь-матушка, она всем дорога. А люди-то!.. Они избенки бросили, ребятишек

голодных оставили, жизни свои рады отдать — насулил ты им...

— Молчи, Матвей!

— Насулил ты им — спасешь от бояр да дворян, волю дашь — зря? Возьмись за дело, Степан. Там — Синбирск! Это не Саратов, не Самара. Там Милославский крепко сидит. И, сказывают, Борятинский и Урусов на подходе. А нам бы Синбирск-то до Борятинского взять. Можно ли тут пиры пировать? Есть ли когда? Не на Дону ведь ты! И не в Персии. Это — Русь... Тут и шею сломить могут. Гони от себя пьянчуг разных!.. Или дай мне волю — я их вот этими своими руками душить буду, оглоедов, хоть и не злой я человек. Погубители!.. Одна у их думка — напиться. А что мы кровушкой своей напиться можем — это им не в заботу. Возьмись, Степан, за гужи, возьмись. Я знаю — тяжко, ты не конь. Но как же теперь? Сделал добро — не кайся, это старая поговорка, Степан, она не зря живет, не зря ее помнют. Только добро и помнют-то на земле, больше ничего. Не качайся, Степан, не слабни... Милый, дорогой человек... как ишо просить тебя? Хошь, на колени перед тобой стану!..

Степан повернулся и пошел к лагерю. Отошел далеко, остановился и свистнул так, что чайки с воды снялись.

— Господи, дай ему ума и покоя,— с неожиданной верой сказал Матвей, глядя на любимого атамана.

Лагерь стал подниматься. Зашевелился.

Степан пошел было к шатру, но вдруг остановился и посмотрел в сторону Матвея... Постоял, посмотрел и быстро пошел к нему.

Матвей ждал.

— Вот тебе и каюк пришел, Матвей,— сказал он сам себе негромко.

— Ты вот не боисся учить меня,— издали еще заговорил Степан,— не побоись сказать и всю правду. Соврешь — будешь в Волге.— Остановился перед Матвеем, некоторое время смотрел в глаза ему.— Я повел их! — Показал рукой назад, на лагерь.— Я! Но воля-то всем нужна!.. Всем?!

— Всем.

— А случись грех какой под Синбирском или где — побьют: кому эти слезы отольются? Стеньке?! Стенька — вор, злодей, погубитель — к мятежу склонил!

— Ты спрашиваешь только или уж суд повел?

— Не виляй хвостом!

— Всем отольются, Степан. А тебе в первую голову. Только не пужайся ты этого — горе будет, а не укор.

— На чью душу вина ляжет?

— На твою. Только вины-то опять нету — горе будет. А горе да злосчастье нам не впервой. Такое-то горе — не горе, Степан, жить собаками век свой — вот горе-то. И то ишо не горе — прожил бы, да помер — дети наши тоже на собачью жись обрекаются. А у детей свои дети будут — и они тоже. Вот горе-то!.. Какая ж тут твоя вина? Это счастье наше, что выискался ты такой — повел. И веди, и не думай худо. Только сам-то не шатайся. Нету ведь у нас никого боле — ты нам и царь, и бог. И начало. И вож. Авось, бог даст, и выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все же уж, поди, ночь-то?

— Ну и не жальтесь тада. А то попреков потом не оберешься. Знаю: все потом кинутся виноватого искать.

— Да никто и не жалится! Я, мол, воеводы со всех сторон идут... И какая же тут вина твоя, коли псов спустили? Да и царь... Да нет, какая же вина?! Тут стяжки в руки — да помоги, господи, пробиться. Только с умом пробиваться-то, умеючи, вот я про што. А ты — умеешь, вот и просим тебя: не робей сам-то, сам-то впереде не шатайся, а мы уж — за тобой. Мы за тобой тоже храбрые.

— Не пропадем! — резко сказал Степан, будто осадил тайные свои, тревожные думы.

— Неохота, батька. Ох, неохота.

— Вот... Сделаем так: седня не пойдем. Соберемся с духом. Подождем Мишку Осипова с людишками.— Степан помолчал.— Гулевать подождем, верно. Соберемся с духом, укрепимся.

Матвей, чтоб не спугнуть настроение атамана, серьезное, доброе, молчал.

— Соберемся с духом,— еще раз сказал Степан. Посмотрел на Матвея, усмехнулся: — Чего ты лаешься на меня?

— Я молюсь на тебя! Молю бога, чтоб он дал тебе ума-разума, укрепил тебя... Ты глянь, сколько ты за собой ведешь!..

— Ну, загнусел...

— Ладно, буду молчать.

...В то утро приехал с Дона Фрол Разин. Степан очень ему обрадовался. Посылал он его на Дон с большим делом: распустить перед казаками такой райский хвост, чтоб они руки заломили бы от восторга и удивления и все бы — ну, не все, многие — пошли бы к Степану, под его драные, вольные знамена. Послал он с братом пушки, много казны государевой — приказов: астраханского, черноярского, цари-

цынского, камышинского, саратовского, самарского. Велел раззадорить донцов золотом и кликнуть охотников.

— Ну, расскажи, расскажи. Как там?

— Мишка Самаренин в Москву уехал со станицей...

Степан враз помрачнел, понимающе кивнул головой:

— Доносить. Эх, казаки, казаки...— Сплюнул, долго сидел, смотрел под ноги. Изумляла его эта чудовищная способность людей — бегать к кому-то жаловаться, доносить, искренне, горько изумляла.— Куда же мы так припляшем? А? — Степан посмотрел на брата, на Ларьку, на Матвея.— Казаки?

Ответил Матвей:

— Туда и припляшете, куда мы приплясали: посадили супостатов на шею и таскаемся с имя как с писаной торбой. Они оттого и косятся-то на вас: вы у их как бельмо на глазу: тянутся к вам, бегут... Они мужика привязывают, вы отвязываете — им и не глянется.

— Мужики — ладно: они испокон веку в неволе, казаки-то зачем сами в ярмо лезут? Этого — колом вбивай мне в голову — не могу в толк взять.

— Корней говорит...— начал было Фрол.

— Постой,— сказал Степан.— Ну их всех... Корнея, мурнея... гадов ползучих. Злиться начну. У нас седня — праздник. Без вина! Седня пусть отдохнет душа. Там будет... нелегко.— Степан показал глазами вверх по Волге.— Мойтесь, стирайтесь, ешьте вволю, валяйтесь на траве... А я в баню поеду. В деревню. Кто со мной?

Изъявили желание тоже помыться в бане Ларька, Матвей, Фрол, дед Любим, Федор Сукнин. Взяли еще с собой "царевича" и "патриарха".

"Патриарх" хворал с похмелья, поэтому за баню чуть не бухнулся принародно в ноги атаману.

— Батюшка, как в воду глядел!.. Надо! Баслови тя бог! Баня — вторая мать наша. А я уж загоревал было. Вот надоумил тя господь с баней, вот надоумил!..— "Патриарх" радовался, как ребенок. Собирался.— Экая светлая головушка у тя, батька атаман. Эх, сварганим баньку!..

* * *

Потом, когда сплывали вниз по Волге, до деревни, Степан беседовал с "патриархом".

— Сколько же ты, отче, осадить можешь за раз? Ведро?

— Пива или вина?

— Ну, пива.

— Ведро могу.

— Вот так утроба! Патриаршая.

— Сам-то я из мужиков, родом-то. Пока патриархом-то не сделался, горя помыкал. По базарам ходил — дивил народ честной. Ты спроси, чем дивил!

— Чем же?

— Было у меня заведено так: выпивал как раз ведро медовухи, мосло́м заедал...

— Как мосло́м?

— А зубами его... только хруст стоит. В мелкие крошки его — и глотал. Ничего. Потом об голову — вот так вот — ломал оглоблю и как вроде в зубах ковырял ей...

— Оглоблей-то?

— понарошке, для смеха. Знамо, в рот она не полезет.

— А был ли женат когда?

— Пробовал — не выдюживали. Сбегали. Я не сержусь — чижало, конешно.

— Ты родом-то откуда?

— А вот почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там деревня была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то. Мы, вишь, коноплю ро́стили да поместнику свозили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мяли, теребили... Ну, веревки вили, канаты. Тем и жили. И поместник тем же жил. Он ее в Москву отвозил, веревку-то, там продавал. А тут, на Покров, случилось — погорели мы. Да так погорели, что ни одной избы целой не осталось. И поместник наш сгорел. Ну, поместник-то собрал, чего ишо осталось, да уехал. Больше, мол, с коноплей затеваться у вас не буду. А нам тоже — чего ждать? Голодной смерти? Разошлись по свету, куда глаза глядят. Мне-то что? — подпоясался да пошел. А с семьями-то горе-то. Ажник в Сибирь двинулись которые. Там небось пропали, сердешные... У меня брат ушел... двое детишков, ни слуху ни духу.

— Ну, и пошел ты по базарам? — интересно было Степану.

— И пошел... По Волге шастал — люблю Волгу.

— А потом?..— любопытствовал дальше Степан, но вспомнил и осекся: ему полагалось знать, как дальше сложилась судьба "патриарха"— высокая судьба.— Твоих земляков нет в войске? Не стречал? — спросил он.

— Нет, не стречал.

— Стренешь, отверни рожу — не знаешь. Так лучше будет.

— Они, видно, далеко разошлись. В Сибирь-то много собиралось. Прослышали: земли там вольные...

Степан перестал расспрашивать, задумался.

Сибирь для Разина — это Ермак, его спасительный путь, туда он ушел от петли. Иногда и ему приходила мысль о Сибири, но додумать до конца эту мысль он ни разу не додумал: далеко она где-то, Сибирь-то. Ермака взяли за горло, он потому и двинул в Сибирь, Степан сам пока держал за горло...

...Баня стояла прямо на берегу Волги. "Патриарх" захотел сам истопить ее. Возликовал, воспрянул духом... Даже лицом просиял неистребимый волгарь.

— Я с хмелю завсегда сам топил — умею. Уху сварить да баньку исполнить — это, милок, уметь надо. Бабы не умеют.

— Валяй,— благодушно сказал Степан. И сам ушел на берег к воде. Охота было побыть одному... Вклинились в думы — Ермак, Сибирь... и охота стало додумать про все это, и про себя.

Денек набежал серенький, теплый, задумчивый. С реки наносило сырой дух... Гнильцой пахло и рыбой.

Степан поднял палку поровней и пошел вдоль берега. Шел и сталкивал гнилушки в воду. И думал. Редкие дни выпадали Степану вот такие — безлюдные, покойные, у воды. Он очень любил реку. Мог подолгу сидеть или ходить... Иногда, когда никто не видел, мастерил маленькие стружки и пускал по воде плыть. Для этого обстругивал ножом досточки, врезал в них мачточки, на мачточки — паруса из бересты и отправлял в путь. И следил, как они плывут.

Степан думал в тот грустный, милый день так.

Почему не вышло у Ивана Болотникова? Близко ведь был... Васька Ус — славный казак, жалко, что хворь какая-то накинулась, но Васька — пень: он заботится, той или не той дорогой идти. Не тут собака зарыта. Вот рассказали: некий старик на Москве во всеуслышанье заявил, что видел у Стеньки царевича Алексея Алексеевича, что Стенька ведет его на Москву — посадить на престол заместо отца, который вовсе сник перед боярами. Старика взяли в бичи: какого царевича видел? "Живого, истинного царевича".— "И что ж

ты, коль придет Стенька к Москве?" — "Выйду стречать хлебом-солью". Старика удавили. Вот если б все так-то! Всех не удавишь. Все бы так, всем миром — стали бы насмерть... Только как их всех-то поднять? Не поднять. Идут... Одни идут, другие смотрят, что из этого выйдет. И эти-то, тыщи-то,— сегодня с тобой, завтра по домам разошлись. У Ивана потому и не вышло, что не поднялись все. Как по песку шел: шел, шел, а следов нет. И у меня так: из Астрахани ушел, а хоть снова туда поворачивай — не опора уж она, бросовый город. И Царицын, и Самара... Пока идешь, все с тобой, все ладно, прошел — как век тебя там не было. Так-то челночить без конца можно. Надо Москву брать. Надо брать Москву. Слабого царя вниз головой на стене повесить — чтоб все видели. Тогда пятиться некуда будет. А до Москвы надо пробиваться, как улицей, — с казаками. Эти мужицкие тыщи — это для шума, для грозы. Вся Русь не подымется, а тыщи эти пускай подваливают — шуму хоть много, и то ладно. Фрол привел с собой казаков, Степан думал, что он приведет больше, но на Дону — раскоряка, испугались: испугал, как это ни странно, как ни глупо, размах войны. Надо после Симбирска опять на Дон послать... Как воодушевить дураков?

Так думая, далеко ушел Степан по берегу. Версты две. И деревню прошел, и шел потихоньку дальше, пока его не нагнал "патриарх". Закричал издали:

— Батька!.. Эй! Мы уж хватились тебя! Пойдем-ка первый жарок словим. Отменная вышла банька!

— Скоро ты управился,— сказал Степан, вернувшись и подходя к "патриарху".— Ну, пошли, пошли.

— Я везде скорый! И устали сроду не знал, ей-богу. За трех коней ворочал,— похвалился "патриарх".

— Ну?

— Не вру! Вот те крест.— Громадина "патриарх" сотворил на себя святой знак.— Один раз пошел на спор с поместником нашим: выдюжу за трех коней или нет.

— Как это?

— А вишь, коноплю-то, до того как в мялки пустить, ее сперва на кругу конями топчут: самую свежую-то, крепкую-то — кострыгу выламывают. Разложут на кругу — от так от высотой,— "патриарх" показал рукой от земли,— связывают трех коней, и стоит посередке парнишка и погоняет их. Они и ходют по кругу, мнут копытьями-то, ломают кострыгу... Так одну закладку до полдня, а то и больше топчут. Переворачивают аккуратно, чтоб не спутать, и толкут дальше. Я

говорю поместнику: "Давай я тебе тоже до обеда всю закладку отомну. А ты мне за это — полведра сиухи и полотна на штаны и рубаху".— "Давай,— говорит.— Выдюжишь?" — "Это,— говорю, — не твоя забота. Ты лучше готовь сиуху и холста на одежу". Но был у меня, правда, ишо один уговор с поместником: вокруг будут стоять молодые бабенки и прихлопывать мне, подпевать. какой-нибудь дед с дудкой. "Ладно",— говорит.

Выстрогал я себе деревянные колодки на ноги, обул их на онучки... Дед Кудряш, мы его за лысину так звали, заиграл мне под пляску, а девки и бабы подпевать стали да в ладошки прихлопывать. И пошел я — в колодках-то этих — по конопле плясака давать. Эх!.. Да с присвистом, с песенками разными... Девки ухи затыкают, а самим послушать охота, а то я их не знаю. И поместник тут же стоит, хохочет. Солнышко уж высоко поднялось, а я все наплясываю. "Может,— говорит,— сиухи маленько?" — поместник-то. "Нет, мол, уговора такого не было". А мне сиуху-то жалко: выпьешь, а она враз вся потом выйдет. Думаю, я ее лучше вечерком в холодке оглушу. Пляшу. С меня пот градом... Рубаху скинул, пляшу. Передохнул, пока коноплю переворачивали, и опять. Так до обеда всю ее перемял. Даже маленько раньше.

Степан задумчиво слушал "патриарха". Под конец рассказа невпопад сказал:

— Ну... Можеть, и так... А?

"Патриарх", сообразив, что атаману не до его рассказов, а какие-то вредные думы одолели, тяжко хлопнул его по спине:

— Не кручинься, атаман. Вон как все ладно! А ты нос повесил. Чего?

— Так, отче... Ничего.— Степан помолчал... Поглядел на "патриарха", усмехнулся: — Смешно ты кормился... на базарах-то. Надо же додуматься!

Баню "патриарх" накалил так, что дышать было больно — обжигало рот.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Степан, выпячиваясь задом из бани. В предбанник.— Мы окочуримся тут к черту. Как она ишо не спыхнула?..

— Ну, пережди маленько,— посоветовал старый богатырь. Пусть он отмякнет, жар-то, а то правда, горло дерет. Счас отмякнет! Он надел шапку, рукавицы и полез на карачках полку — О-о!.. Драться начал! Ишь, гнет, ишь, гнет!..

Степан присел пока на порожек предбанника.

— Доберись до каменки, там сбоку кадушка с водой, зачерпни ковш — кинь на каменку! — крикнул "патриарх".

Степан нашарил кадушку, ковш около нее, зачерпнул полный ковш и плесканул на каменку. Каменка зло — с шипом, с треском — изрыгнула смертоносный жар. Степан выскочил опять из бани.

— Оставь дверь открытой! — заорал совсем теперь невидимый за паром "патриарх". И принялся там хлестать себя веником. Кряхтел, мычал, охал, ухал блаженно.— Вся скверна выйдет! Весь новый стану, еслив кожа не полопается!.. От-тана! От-тана! О-о!..

— Помрешь! — крикнул Степан.— Сердце треснет!

"Патриарх" слез с полка́, лег на полу — голова на пороге.

— Вот, батюшка атаман, так и выгоняют из себя всю нечистую силу. Это меня двуперстники научили, старцы. Бывал я у их в Керженце... Глянутся они мне, только не пьют.

— Сам-то к какой больше склоняесся: к старой, к новой? — спросил Степан.— Чего старцы-то говорят? Шибко клянут Никона?

— Клянут...— неопределенно как-то сказал старик.— Они много-то не говорят про это. А себя соблюдают шибко. О-о, тут они...

— А к какой сам-то ближе? Тоже к старой?

— К старой не могу — змия люблю зеленого. К новой... Я, по правде, не шибко разбираюсь: из-за чего у их там раскол-то вышел? Христос — один — для тех и для этих. А чего тада? В Христа я сам верую.

— А крестисся как?

— А никак. В уме. "Осподи, баслови" — и все. Христос так и учил: больше не надо. Не ошибесся. И тебе так советую.

Помолчали.

— Отче, ну-ка скажи мне,— заговорил Степан,— вот сял и на Москве царем. Ну... поднатужься, прикинь — так вышло. Сял. А тебя сделал правда патриархом...

"Патриарх" смотрел снизу удивленными глазами.

— Ну, и чего мы с тобой будем делать? — спросил он.

— Это я спрашиваю: чего будем делать?

"Патриарх" задумался. Усмехнулся. Покачал головой:

— Как я ни дуйся, а патриархом... Ты что, батька? Я скорей... Да нет, как я ни кажилься, а такой думы не одолеть.

— Да ну,— обозлился Степан,— не совсем же уж ты в сук-то вырос! Ну, подумай шутейно: стали мы — я царем, ты патриархом. Что делать станем?

— Хм... Править станем.

— Как?

— По совести.

— Да ведь и все вроде — по совести. И бояры вон — тоже по совести, говорят.

— Они говорят, а мы б делали. Я уж не знаю, какой ба из меня патриарх вышел, никакой, но из тебя, батька, царь выйдет. Это я тебе могу заране сказать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю... Я мужика знаю, сам мужик, знаю, какой нам царь нужен.

— Какой же?

— А мужицкий.

— Ну, заладил: мужицкий, мужицкий... Я сам знаю, что не боярский. А какой он, мужицкий-то?

— Да тут все и сказано: мужицкий. Чего тут гадать?

— Не ответил. Знаю, погулять мы с тобой сумеем, только там и для других дел башка нужна.

— А ты что, дурак, что ль? У тебя тоже башка на плечах, да ишо какая! Ты бедных привечаешь — уже полцаря есть. Судишь по правде — вот и весь царь. А будешь не такой заполошный, тебе цены не будет! Вся Русь тебе в ножки поклонится. На руках носить будем. Народ тебя и так любит... Нет, у тебя выйдет. А патриарха ты себе найдешь, не дури со мной... Куда! — "Патриарх" усмехнулся.— Не надо, батюшка...

— Чего так? — улыбнулся и Степан.

— Не надо,— уперся "патриарх".

— Ну, отец, и колода же ты: лег поперек дороги — ни туда ни суда. Пошто, я спрашиваю?

— Да какой же я патриарх — выпить люблю. Ты меня тада главным каким-нибудь над питейными делами поставь, это по мне. Всех целовальников в кулак зажму!.. Шибко народ надувают, черти. Я б их тоже извел всех — заодно с боярами. Полезешь париться-то? Теперь уж не так гнет. А то выстынет — какое тада...

— Обожду пока. Не сдюжу. Лезь, парься.

"Патриарх" опять полез на полок.

— Кинь, батька!

Степан поддал еще парку, вышел в предбанник... И тут прибежали сказать:

— Батька, там из-под Синбирска люди прибегли...

— Ну? Что там? — всполошился Степан.

— Борятинский идет от Казани. В городке, слышно, не склоняются к сдаче... Велели тебя звать.

— Кто послал-то?

— Мишка Ярославов.

— А Мишка Осипов не пришел?

— Нету.

— Не шуми много — про Борятинского-то. Молчи. Приведи коня...— Степан второпях одевался. Крикнул вслед казаку: — Есаулам скажи, чтоб за мной гнали! Может, коней тут найдут... Не мешкайте!

Казак подвел коня, Степан вскочил на него и уехал. Остальные — немногие коней нашли, опять в лодках — устремились тоже в лагерь. В баньке не успели помыться. "Патриарх" очень сокрушался, что атаман так и не попарился. Банька была отменная, "царская".

5

Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску.

Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил в боевой порядок и сразу повел в наступление на царево войско. День клонился к вечеру — медлить нельзя: к утру, если пережидать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь.

Борятинский велел подпустить разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней — на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению.

Бой был упорный.

Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих.

Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше и действовали они напористее, смелее.

Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары, мордва воевали своим излюбленным способом — наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше крепко, не подается, они рассыпались и

откатывались. Ларька, Федор и другие есаулы и сотники опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших есаулов. Есаулы ругались до хрипа, собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах... В этом бою погиб Федор Сукнин.

Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше: упорней были и искусней в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики: Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску.

Борятинский медленно отступал.

Степан был в гуще сражения. Он отвлекался, только чтобы присмотреть, что делается с боков — у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон.

Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось.

Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие... Стеной стоял глухой слитный гул, только вырывались отдельные звучные крики: матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем.

— Не валите дуром!..— кричал Степан Матвею.— Слышишь?!

— Ой, батька! Слышу!

— Прибери поздоровей с жердями-то — ставь в голову! А из-за их — кто с топорами да с вилами — пускай из-за их выскакивают. Рубнулись — и за жерди! А жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут! Взял?

— Взял, батька!.. Не слухают только они меня.

— Перелобань одного-другого — будут слухать!

— Батька! — закричали от казаков.— Давай к нам! У нас веселея!..

Дед Любим был с молодыми.

— Минька!.. Минька, паршивец! — кричал он.— Не забывайся! Оглянись — кто сзади-то?! Эй!..

— Чую, диду!

— Ванька!.. Отойди, замотай руку!

— Счас!.. Маленько натешусь.

— Не забывайтесь, чертяки! Гляди на батьку вон!.. Сердце радуется.

Так учил дед Любим своих питомцев. И показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся... Стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это. Стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад, к своим.

— Ларька! — крикнул Степан.— Дед!..

С десяток стрельцов кинулись к нему. Ударили тупым концом копья в руку. Один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину.

Ларька услышал крик атамана, пробился с полусотней к нему. И поспел. Застрелил стрельца над ним. Полусотня оттеснила стрельцов дальше.

Степан поднялся — злой, помятый, подобрал саблю.

— Чего вы там?! — заорал.— Атаману ноги на шее завязывают, а они чешутся!..

— Стерегись маленько! — тоже сердито крикнул Ларька.— Хорошо — услыхал... Не лезь в кучу! Куда лезешь-то?

— Что мордва твоя? — спросил Степан.

— Клюем! Наскочим — опять собираю... Текут, как вода из ладошки. Веселимся... а толку нет. Но хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели!..

— Ммх!.. Войско. Не сварить нам с имя каши, Ларька. Побудь с казаками, сам пойду туда.

Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбежали от самой кипени свальной драки — чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их.

Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков.

— В гробину вас!.. В душу!..— орал Степан.— Куда?! — Двух-трех окрестил кулаком по голове.— Стой! Стой, а то сам бить буду!..

Инородцы и мужики остановились.

Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять:

— Счас наскочим — первые пускай молотют, сколь есть духу. Пристали — распадайся, дай другим... А сами пока нарядись, у кого есть чего, передохни. Те пристали — распадись, дай этим. Чтоб на переду всегда свежие были. И не богать у меня! Казаков назад поставлю, велю рубить! Кого боитесь-то?! Мясников? Они только в рядах мастаки — топорами туши разделывать! А здесь они сами боятся вас.

Ну-ка!.. Не отставай!.. Узю мясников!.. С жердями, с жердями-то — вперед, выставляй их! Тесней, тесней!..

Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке бежали опять шумно и весело.

— Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь! — крикнул Степан.— Скажите нашим, чтоб распались!.. А мы долбанем с бегу.

Наскочили. Заварилась каша... Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли...

А уже вечерело. И совсем стало плохо различать, где свои, где чужие.

— Круши! — орал Степан.— Вперед не суйся — ровней! А то от своих попадет.

— Ровней, ребятки! — покрикивал дед Любим.— Ровней, милые! Тут как с бабой: не петушись, тада толк будет!

Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая, на бугорок. Ему помогли стащить сапог.

Подошел потный и окровавленный Ларька.

— Куда?.. В ногу? — спросил он.

— В ногу опять. А ты чего в крове?

— Шибко?

— Нет...— Степан поворочал ногой.— Кость целая. Ты-то чего? Зацепили?

— Федора убили. Сукнина.— Ларька плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы.— Я целый... зубы только... И то целые, однако.

— Ох, мать ты моя-то!.. Совсем есаулов не остается,— с горечью горькой сказал Степан.— Вынесли хоть?

— Вынесли.

— Берегитесь сами-то! — повысил голос Степан.— Куда вас-то тоже черт несет! С кем останусь-то? — все поляжете...

— Хватит, что ль? Не видно уж стало...— Ларька всматривался в темную шевелящуюся громаду дерущихся людей.

— Погодь. Пускай он отойдет подальше... С горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет.

— Отходит уж. А то — впотьмах-то — своих начнем глушить. Стрельцы плотней держутся, а мы своих начнем... Горка и так за нами.

— Ну, вели униматься. Хватит. Казаков много легло?

— Да нет, думаю... Задело многих. Нет, три зуба все же выбили! — Ларька сплюнул.— Хорошие зубы-то были.

— Матвей живой? — спросил Степан.

— Видел, живой был. Он ничего, не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает... Но помогает собирать.

— Хоть так,— нерадостно сказал Степан.— Иди унимай потихоньку.

Ларька ушел.

Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов. Но постепенно затихала.

На совет к атаману собрались есаулы.

— Борятинский отходит к Тетюшам.

— Добре. Городок надо брать,— заговорил Степан.— Пока подойдут Урусов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо. Иначе хана́ нам тут с мужиками... Взять городок, всеми правдами и неправдами. Борятинский больше не сунется.

— Обождать бы, батька. А ну — хитрит Борятинский? — усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет.

— Не хитрит. Знает теперь: одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже: пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, а не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?

— Были! — откликнулись из группы есаулов.— Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут.

— Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку — подожгем. Лестницы вяжите... Не давайте людям охлаждаться. Там отдышемся. Взять надо городок! Возьмем — сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань — Федька Шелудяк приведет своих, на Дону ишо разок кликнем... Тада и вылезть можно. Но городок надо взять!

6

Наступила ночь.

В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и с вала по ним выстрелили холостыми зарядами; разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно: посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись.

Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки (на случай, если Борятинский надумает вернуться и помешать штурму), остальных бросил

на стены городка, которые хоть тоже деревянные, но и прочней, и выше посадских.

Начался штурм.

Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами... Несколько раз в городке вспыхивали пожары. Симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена. Осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам... В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарева огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих.

Разин сам дважды лазил на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз... Ступил уже на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный, атаман как будто обо что запнулся, поослабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв... Тоскливо стало, тошно, ничего не надо.

Ларька и на этот раз выхватил его из беды.

Рану наскоро перевязали. Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов.

Урон разинцы несли огромный.

— Городок надо взять! — твердил исступленно Степан.

Беспрерывно гремели пушки; светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и ту́ры (пучки соломы с сухой драниной внутри). Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья... Гул не обрывался и не слабел.

Под стены городка подвозили возы сена, зажигали. Со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей.

— Ларька, береги казаков! — кричал Разин.— Посылай вперед мужиков на стену.

— Всех сшибают! — отозвался Ларька.— Очертенели, гады. Не взять нам его...

— Надо взять!

К Степану привели переметчика из города.

— Ну? — спросил Степан.— Чего?

— Хочут струги ваши отбить... Чтоб вы без стругов остались...— Переметчик показал на городок: — Там уговариваются...

— А?! — переспросил Степан: не то не расслышал, не то не поверил.

— Хочут струги отбить!! — повторил перебежчик.— Вылазкой!.. С той стороны, с реки!

Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся...

— Ларька! Мишка! Кто есть?!..

— Мишку убили! — откликнулся подбежавший сотник.— Чего, батька?

— К стружкам! — велел ему Степан.— Бери сотню, и к стружкам! Бегом! Отплывите на середку... Не отдавай стружки! Не отдавай!.. Ради бога, стружки!..

В это время со спины разинцев, от Свияги-реки, послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись; мужики, те всецело были озабочены стеной.

— Обошли, батька! Долгорукий с Урусовым идут!.. А эти из городка счас выйдут! Окружут!.. Беда, батька!..

— Ларька! — закричал Степан.

— Здесь, батька! — Ларька вмиг очутился рядом.

— Собери казаков... Не ори только. К Волге — в стружки. Без гама! Останови сотню — я послал отогнать стружки: не отгоняйте, садитесь в их. Выходите не все сразу... И тихо. Тихо!

— Чую, батька,— сказал смекалистый Ларька.

— Найдите Матвея,— велел Степан.

Матвея скоро нашли. Тот как прибежал с пожара: в саже, местами опален...

— Стойте здесь, Матвей,— сказал Степан.— Я пойду с казаками стретить пришлых... Слышишь, Урусов с Долгоруким подошли. Ждали-то когда их, а они — вот они, собаки.

— Как же, Степан?! Ты что?! — оторопел Матвей.— Какой там тебе Урусов — они ночью не сунутся... Это Мишка Осипов пришел.

— Стой здесь! — Степан был бледен и слабо держался на ногах. Но говорил твердо. И неотступно смотрел на Матвея.

Матвей понял, что их оставляют одних.

— Степан... Батька!.. Это Мишка Осипов!..

— Молчи! — Степан толкнул Матвея.— Откуда у Мишки пушки да ружья?.. Ты слышишь?!..

— Мужики!!! — заполошно заорал Матвей и бросился было к стене, к мужикам, но Ларька догнал его, сшиб с ног хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу.

На стену всё лезли и лезли... Но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не слабели.

Скоро казаков никого почти у стены не было.

Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им и сбить с толку, завел от Свияги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, осажденные и стрельцы увидели, что перед ними — только мужики с оглоблями да с теплыми пушками, из которых нечем было стрелять.

7

Матвей очнулся в струге.

Светало.

Сотни четыре казаков молча, изо всех сил гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей, сидел, склонив голову и прикрыв глаза; голова его чуть качалась взад-вперед от гребков.

Матвей огляделся... И все вспомнил. И все понял. И заплакал. Тихо, всхлипами...

— Не скули,— сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы.

— Ссади меня,— попросил Матвей.

— Я ссажу тебя!.. На дно вон.— Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея.

— Ссади, Степан,— плакал тот и просил.

— Молчи,— устало сказал Степан.

Матвей умолк.

И все тоже молчали.

— Придем в Самару — станем на ноги,— сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь.— Через две недели нас опять много тыщ станет... Не травите себя.— Степану было тяжко и совестно говорить, он говорил через великую муку и боль.

— Сколько их там легло-о! — как-то с подвывом протянул Матвей.— Сколько их полегло, сердешных!.. Господи, господи-и... Как жить-то теперь?.. Ка-ак?

— Ихняя кровь отольется,— сказал Степан.

— Кому?! — закричал ему в лицо Матвей.

— Скоро отольется... Не казнись — так вышло.

— Да кому?! Кому она отольется?! Пролилась она, а не отольется! Рекой пролилась... в Волгу! — Матвей плакал.— Понадеялись на молодцов-атаманов... Поверили! Эх!.. Заступники...

— Молчи!

— Не буду я молчать! Не буду!.. Будьте вы прокляты!

Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея:

— Молчи, собака!

Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея... Сглотнул слюну.

— Кто виноватый, Матвей? — спросил тихо.

— Ты, Степан. Ты виноватый, ты.

Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею.

— Кто виноватый?

— Ты!

Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею.

— Ты говорил: я не буду виноватый...

— Зачем мы бежим?! Их там режут, колют счас, как баранов!.. Зачем бросил их! Ваське пенял, что он мужиков бросил... Сам бросил! Бросил!.. Воины, мать вашу!..

Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица. Сел на лавку. Степан сел рядом с ним.

— Они пока одолели нас, Матвей,— с мольбой заговорил атаман.— Дай с силами собраться... Кто сказал тебе, что конец? Что ты? Счас прибежим в Самару, соберемся... Нет, это не конец. Что ты! Верь мне...

— Все изверилось у меня, вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там!.. Милые...

— Больше будет. Астраханцы придут... Васька с Федькой, самарцы, царицынцы... На Дон пошлем. Алешку Протокина найдем. К Ивану Серку напишем...— Степан говорил как будто сам с собой. Как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал — много потерял крови, рана болела.

— Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любют. А тебя сбили... Не пойдут теперь.

— Врешь!

— Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под нещастной звездой ты родился.— Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу.— Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь... И

обожглись. Да и сам ты сорвался теперь, а сгореть — это скоро. Один след и останется... яркый.

— Вымойся,— велел Степан.— И не каркай.

— Спробуй. Приди в Самару — там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верют. Не могли мы погибнуть по-доброму — со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет! Не я каркаю, Степан, над нами над всеми каркают... Подыми голову-то, оглядись: они уж свет заслонили — каркают.

8

Стали выше Самары.

Степан послал Ларьку с казаками в город — проведать. Сам ушел подальше от стругов, сел на берегу.

Это было то самое место, где совсем недавно последний раз пировало его войско. Еще всюду видны были следы стоянки лагеря, еще зола кострищ не потемнела, не развеял ее ветер степной.

Мрачно и пристально смотрел Степан на могучую реку.

Вдали на воде показались какие-то странные высокие предметы. Они приближались. Когда они подплыли ближе, Степан догадался, что́ это... И страх объял его мужественную душу.

Это были плоты с виселицами. На каждом плоту торчмя укреплено бревно с большой крестовиной наверху. И на этих крестовинах гроздьями — по двадцать-тридцать — висели трупы. Плотов было много. И плыли они медленно и торжественно.

Степан не отрываясь смотрел на них.

Подошел Матвей, тоже сел. И тоже стал смотреть на плоты. Лица обоих были бледны, в глазах — боль. Долго смотрели.

— Считай,— тихо сказал Степан.— За каждую здесь — пятерых вешать буду. Клянусь. Теперь — клянусь, другой раз клянусь. Господи, услышь меня, дай подняться, дай ишо раз подняться...

Матвей грустно, согласно вроде, кивнул головой.

— Когда ты, бабушка, ворожить стала? Когда хлеба не стало.

— Нет уж... теперь я не так буду.

— Будешь, будешь.

— Ты знай считай! Я в долгу аккуратный.— Дрогнувший было голос Степана вновь обрел крепость.

— Кого же считать?! — тихо и горько воскликнул Матвей.— Вся Русь тут.— Он помолчал и повернулся к атаману: — Только не на Дону наше спасение, Степан. Нет, не на Дону.

— Где же?

— Там.— Матвей показал на плоты.— Там, откуда они плывут. Может, там наше спасение, больше нигде.

Подскакал на коне Ларька.

— Не пускает Самара,— спрыгнув с коня, сказал он.

— Как?! — Степан вскочил.— Как? Ты что?

— Закрылись...

— Взять!!! Раскатать по бревну, спалить дотла!.. Зачем ты уехал оттуда? На распыл всю Самару!.. Поедем туда. Счас навяжу вот таких же плотов, и вперед этих по воде пустим.— Степан кинулся было к лодке.

Матвей молчал. Смотрел на плоты. Ларька тоже не двинулся с места.

— Поедем Самару брать! — крикнул Степан. И остановился.

— С кем возьмешь-то? — спросил Ларька.— Взять. Перевернулось там все... Побили наших...

Степан растерянно оглянулся кругом... На воду. И опустил голову. Сказал тихо:

— Самара... А-а!.. Пока обойдем. Потом вернемся.

* * *

Уже только сотни две казаков скакали верхами приволжской степью. Скакали молча. Впереди Разин, Ларька Тимофеев, дед Любим, несколько сотников. Полторы сотни казаков на резвых татарских конях Степан послал в Астрахань — подымать в поход всех, кто там остался. Если потребуется — если там спились с круга и забыли войну — жестоко карать и гнать силой. А полсотни конных стрельцов ушли ночью со стоянки — сбежали. Догонять не стали — не догонишь.

Все понимали беду... Беда стояла в глазах у всех. Ничего впереди не ждали, но еще жались друг к другу... Да и не все жались-то: стрельцы уходили ночами. А кто оставался, с атаманом во главе, скакали и скакали, точно была еще одна надежда — уйти от беды, отъехать.

Еще город на пути — Саратов.

Степан опять послал Ларьку. И опять ждал...

Вернулся Ларька, сказал:

— Не открыли.

— В Царицын,— велел Степан.— Там Пронька. Саратов потом сожгем. И Самару!.. И Синбирск! Все выжгем! — Он крутнулся на месте, стал хватать ртом воздух.— Всех на карачки поставлю, кровь цедить буду!.. Не меня!..— Он сорвал шапку, с силой бросил ее к ногам.— Не меня змей сосать будет! Сам змей буду — сто лет кровь лить буду!.. Клянусь!.. Вот — клятву несу! — Степан брякнулся на колени, дрожащими пальцами хотел захватить горсть земли.

Ларька и Матвей подняли его за руки. Он уронил голову на грудь, долго стоял так. Вздохнул глубоко, посмотрел на товарищей своих — в глазах слезы. Он их не устыдился. Сказал тихо:

— В Царицын.

— Плохой ты, батька... Отдохнуть бы,— с жалостью сказал Матвей.

— Там отдохнем. Там нет изменников.

— Есть, Степан. Там будет так же. Не тешь себя...

— Откуда они узнают нашу беду? — с ужасом почти спросил Степан. — Ведь и едем скоро...

— Э-э... Вороны каркают — смерть чуют.

* * *

Теперь уж полторы сотни скакало осенней сухой степью.

Степан, правда, очень плох, ослаб очень.

На перегоне, вечерней порой, у него закружилась голова, он, теряя память, упал с коня.

И в тот-то момент, когда он летел с коня, раздался в ушах опять знакомый звон... И, утратив вовсе сознание, увидел Степан на короткое время: Москва... В ясный-ясный голубой день — престольная, праздничная. Что же это за праздник такой?

Звон колокольный и гул... Сотни колоколов гудят. Все звонницы Москвы, все сорок сороков шлют небесам могучую, благодарную песнь за добрые и славные дела, ниспосланные на землю справедливой вселенской силой.

Народ ликует. Да что же за праздник?

Москва встречает атамана Стеньку Разина.

Едет Стенька на белом коне, в окружении любимых атаманов и есаулов. А сзади — все его войско.

Со Степаном: Сергей Кривой, Иван Черноярец, Стырь, дед Любим, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, брат Фрол, Федор Сукнин, Федор Шелудяк, Василий Ус, маленький сын Афонька, Прон Шумливый — все, все. Все нарядные и веселые.

Народ московский приветствует батюшку атамана, кланяется. Степан тоже кланяется с коня, улыбается. Натерпелись люди...

Так хорошо видел Степан: проехали кривыми улочками Москвы... И улочки-то знакомые! Выехали на Красную площадь. Проехали мимо лобного места, направляясь к Спасским воротам. Степан слез с коня и вошел в Кремль. Вот те и Кремль — Кремль как Кремль... А вот и палаты царские.

В царских палатах — царь и бояре.

Степан вошел, как он вошел когда-то в домашнюю церковку митрополита астраханского: с ватагой, хозяйским шагом.

— На карачки! — велел боярам.— Все! Разом!..

Бояре разом, послушно стали на карачки; на сердце у атамана отлегло. Он, не останавливаясь, прошел к трону, где восседал царь, взял его за бороду и сдернул с трона. И долго возил по каменным белым плитам, приговаривая:

— Вот тебе, великый! Вот как мы его, великого! Вот он у нас какой, великый!.. Где он, великый-то? — затычки делать из таких великых, бочки затыкать. Дурь наша великая сидит тут... расселась.— Степан пнул напоследок царя, распрямился, посмотрел на него сверху.— Вот он и весь... великый... Тьфу!

Потом он примерился сесть на трон... Посидел маленько — не поглянулось, делать нечего.

— Стырь! — позвал он любимого старика.

— Тут, батька!

— Иди садись. В царя игрывал — садись: всех выше теперь будешь.

— А чего я там буду?.. Негоже соколу на воронье место.

— Иди, не упирайся, старый!

— Да что я там?! Дерьма-то — царем. Я и не хотел сроду... Я так — зубоскалил. Неохота мне там... Да и чего делать-то?

— Сидеть! Не робей, тут мягко, хорошо.

Стырь подошел, тоже пнул лежачего царя, взобрался на трон.

— Кварту сиухи! — велел он.— А чего с боярами будем делать, батька?

— Всех повесить и — вниз по Волге. Всех! — закричал Степан.

9

Очнулся Степан в незнакомом курене. Лежит он на широкой лежанке с перевязанной головой. Никого нет рядом, хотел оглядеться — голову повернуть больно. Хотел позвать кого-нибудь... и застонал.

К нему подошел Матвей Иванов.

— Ну, слава те господи! С того света...

— Где мы? — спросил Степан.

— На Дону на твоем родимом.— Матвей присел на лежанку.— Ну силы у тебя!.. На трех коней. Господи, господи... вернул человека... Слава тебе господи!

— Ну? — спросил Степан, требовательно глядя на Матвея.— Долго я так?..

— Э-э!.. Я поседел, наверно. Долго.— Матвей оглянулся на дверь и заговорил, понизив голос, как если бы он таился кого-то: — А Волга-то, Степушка, горит. Горит, родимая! Там уж, сказывают, не тридцать, а триста тыщ поднялось. Во как! А атаманушка тут — без войска. А они там, милые, без атамана. Я опять бога любить стал: молил его, чтоб вернул тебя. Вот — послушал. Ах, хорошо, Степушка!.. Славно! А то они понаставили там своих атаманов: много и без толку. Широко разлилось-то, а мелко.

— А ты чего так — вроде крадисся от кого?

— На Дон тебя будут звать...— Матвей опять оглянулся на дверь.— Жена тут твоя, да Любим, да брат с Ларькой наезжают...

— Они где?

— В Кагальнике сидят. Хотели тебя туда такого, мы с дедкой не дали. Отстал от тебя Дон — н плюнь на его. Ишо выдадут. На Волгу, батька!.. Собери всех там в кучу — зашатается Москва. Вишь, говорил я тебе: там спасение. Не верил ты все мужику-то, а он вон как поднялся!.. Э-э, теперь его нелегко сбороть. Теперь он долго не уймется... раз уж кол выломил.

— А на Доиу что?

— Корней твой одолел. Кагальник-то хотели боем взять — не дались. Бери счас всех оттуда — и...

— Много в Кагальнике? — допрашивал Степан.

— С три сотни.

— А в Астрахани?

— Васька помер, царство небесное. Митрополита убили, знаешь. Зря. И ты с церквой зря ругался — проклянут они тебя: грозятся. Это промашка твоя. Дон-то все... расши-

перился — я так и знал. Но мужик, он... Слушай, Степан, пока тебе другого не насказали: мужик теперь в силе. Не гляди, што его колотют, он сам обозлел...

Вошел дед Любим.

— Мать пресвятая!..

— Пришел попроведать нас с того света,— сказал счастливый Матвей.— Вот как бывает — не чаяли, не гадали.

— Что на Дону, дед? — спросил и Любима Степан.

— Плохо, атаман. Корней да Мишка Самаренин верх взяли. Кто и хотел ворохнуться — присмирели. А они взяли да ишо слух пустили, Корней-то: срубили тебя...

— Степушка,— не унимался со своей радостью Матвей,— вот теперь скажу тебе... Ишо когда от Синбирска бежали, думал, на тебя глядючи, но плохой ты был — не стал уж говорить. Ты про Исуса-то знаешь?

— Ну? Как это?.. Знаю.

— Как он сгинул-то, знаешь? Рассказывал, поди, поп?.. Хорошо знал: ему же там — гибель, в Ирусалиме-то, а шел туда. Я досе не могу понять: зачем же идти-то было туда, еслив наперед все знаешь? Неужто так можно? А глядел на тебя и думал: можно. Вы что, в смерть не верите, что ли? Ну, тот — сын божий, он знал, что воскреснет... А ты-то? То ли вы думаете: любют вас все,— стало, никакого конца не будет. Так, что ли? Ясно видит: сгинет — нет, идет. Или уж и жить, что ли, неохота становится — наступает пора. Прет на свою гибель, удержу нет. Мне это охота понять. А сам не могу. Обдумай теперь все, хорошо обдумай... Я тебе не зря это рассказал, с Христом-то.

Степан хотел вдуматься в слова Матвея, но сложно это, трудно, не теперь. Еще слабость великая в теле... Еще кулак не сожмешь туго — такая слабость. Он прикрыл глаза и долго лежал, пытаясь припомнить, как все случилось с ним... Правда, что ли, в стычке какой рубнули? Или — как?

— А казаки что? — опять спросил он Любима.

— А казаки что?! Я ж и говорю: нет тебя — они в разные стороны. Корней владычит...

— И наплевать на их! — с силой сказал Матвей.

Дед Любим посмотрел на него с усмешкой, пожаловался Степану:

— Загрыз меня тут совсем. Я уж не рад стал, что и казак-то.

Степан встал было с лежака, но его шатнуло вбок. Он сел опять, потрогал голову.

— Лежи уж!.. Куда ты? — сказал Матвей.

Но Степан привыкал к новому состоянию. Силы потихоньку возвращались к нему.

— Когда Ларька с Фролом приедут? — спросил.

— Седня пожалуют,— ответил Любим.

— Алена с имя?

— Алена здесь. Счас покличу.— Матвей вышел из куреня.

— Правда на Волге-то?..— спросил Степан старика.— Или прибавляет?

Дед Любим подумал.

— Не знаю, как тебе сказать. Поднялось много. С Осиповым, с Васькой Федоровым, Харитонов — эти вроде войском держутся, остальные — кто в лес, кто куда... Разлилось широко, а мелко, это он верно говорит. Туда зовет?

Степан опять в волнении встал. И устоял.

— Глубоко будет. Корнея с Мишкой надо убить. Это мой промах: я их жить оставил. Завтра... Мы где?

— В Качалинском.

— Завтра в Кагальник поедем. Вот вам и конец! — воскликнул Степан, неведомо к кому обращаясь.— Начало только, а вы — конец!

В душу Степана наливалась сила, а с силой вместе — вера. Раз он поднялся, то какой же это конец! Муть в голове и слабость пройдет, живая радость загудела в крови, уже он начал всего себя хорошо слышать и чувствовать.

— Окрепни сперва. Не торопись,— посоветовал Любим.

— Окрепну.

— Конешно, появись ты теперь на Волге...

— Надо с казаками появиться.

— Казаки-то...

Вбежала Алена.

— Родимый ты мой!.. Степушка!..— Повисла на шее мужа.— Да царица ты небесная, матушка-а!..

— Ну, ну, только не выть,— предупредил Степан.

Дед Любим поднялся, сказал сам себе:

— Пойду приму сиухи. Во здравие. Можеть, принесть кварту?

— Не надо,— отказался Степан.

Любим ушел. Пошел искать Матвея, чтобы с ним выпить. Знал, что Матвей пить не станет — не пьет, но про Исуса доскажет. За время долгой болезни атамана, выхаживая его, старый казак сдружился с умным Матвеем, любил его рассказы.

Обо всем успели поговорить Степан с женой. Осталось главное: что делать дальше? Алена знала, что делать,— ей подсказал Корней Яковлев. Она тайком виделась с ним.

— Степушка, родимый, согласися. Пошто ты его врагом-то зовешь? Он вон как об тебе печалится...

— Дура! — Степан встал с кровати, заходил по куреню. Алена осталась сидеть.— Ах, дура!.. Приголубили ее. Он — лиса, я его знаю. Чего он говорит?

— Поедем, говорит, с им вместе, он повинится царю — царь помилует. Было так — винились...

— Зачем же он с войной на Кагальник приходил?

— Они тебя опять сбивать станут, смутьяны... Он хотел их переимать, твоих...

— Тьфу!..— Степан долго ходил туда-сюда в сильном раздражении. — И ты мне говоришь такое!

— Кто же тебе говорить будет? Смутьяны твои? Они ждут не дождутся, когда ты на ноги станешь. Им опять уж не терпится, руки чешутся — скорей воевать надо, чтоб их черт побрал. Согласись, Степушка!.. Съезди к царю, склони голову, хватит уж тебе. Слава богу, живой остался. Молебен царице небесной отслужим да и станем жить как все добрые люди. Чего тебе надо ишо? Всю голь не пригреешь — ее на Руси много.

— Сам он к царю ездил? После Мишки-то...

— Иван Аверкиев с казаками. В двенадцать. А царь, слышно, заслал их в Холмогоры — не верит. Раз, мол, присылали, а толку...

— Собака,— с сердцем сказал Степан, думая о своем.— Помутил Дон. Я его живого сожгу!.. И всю старшину, всех домовитых!.. Не говори мне больше такие слова, не зли — я ишо слабый. К Корнею я приду в гости. Я к им приду! Пусть зараньше в Москву бегут.

Алена заплакала:

— Не обманывает он тебя, Степушка!.. Поверь ты. Не с одной мной говорил, с Матреной тоже, с Фролом...

— Он знает, с кем говорить.

— Он говорил: Ермака миловал царь, тебя тоже помилует. Расскажешь ему на Москве, какие обиды тебя на грех такой толкнули... Он сам с тобой поедет. Не лиходей он тебе, не чужой...

— Хватит. Вытри слезы. Афонька как?

— Ничо. С бабкой Матреной там... Она прихворнула. Повинись, Степушка, родной мой...

— Тут кони есть? — спросил Степан.

— Есть.

— Покличь деда с Матвеем. Сама тоже собирайся.

— Слабый ты ишо. Куда?

— Иди покличь. Не сердись на меня, но... с такими разговорами больше не лезь.

— Господи, господи!..— горько воскликнула Алена.— Не видать мне, видно, счастья, на роду, видно, проклятая...— Она заплакала.

— Что ж ты воешь-то, Алена! Радоваться надо — поднялся, а ты воешь.

— Я бы радовалась, если б ты унялся теперь. А то заране сердце обмирает. Уймись, Степан... Корней не лиходей тебе.

— Уймусь. Как ни одного боярина на Руси не станет, так уймусь. Потерпи маленько. Иди покличь деда. И не реви...

Пришли дед с Матвеем. У деда покраснел нос.

— Степан, ты послушай-ка про Исуса-то... — начал было Любим, но Степан не дал ему.

— Завтра в Кагальник поедем,— сказал он.— Собирайтесь.

Но в Кагальник они приехали только через неделю: пять дней еще Степан отлеживался.

10

В Кагальник прибыли, когда уж день стал гаснуть.

Казаки — триста самых отпетых и преданных — встретили атамана с радостью великой, неподдельной.

— Батька! Со здравием тебя!..— орали.

— Поднялся! Мы Зосиму молили тут...

— Здоров, батюшка!

Высыпали из землянок, окружили атамана, здоровались. Степан тоже улыбался, оглядывал всех... Похоже, можно начинать все сначала. Никакой тут беды нет, она тут не ночевала.

"Матвей, Матвей... не знаешь ты казаков,— думал он.— Мужик, он, может, и обозлился, и махает там оглоблей, на Волге-то, но где ты таких соколов беззаветных найдешь, таких ловкачей вертких, где еще есть такие головушки буйные?.."

Степан подавал всем руку, а кого и обнимал.

— Здорово, братцы! Как вы тут?

— Заждались тебя!

— Ну, добре. Радый и я вас всех видеть... Слава богу! Все хорошо будет.

Вышли навстречу атаману Ларька, сотники, брат Фрол...

— Слыхал? Корней-то с Мишкой войной на нас приходили! — издали еще весело известил Ларька.

— Что ж ты радуисся? — спросил Степан, отдавая коня в чьи-то руки.— Горевать надо... Или — как? — Поздоровались с есаулом, с сотниками, с братом.

— Клали мы на их — горевать,— откликнулся Ларька.

Степан устал за дорогу. Прошли в землянку.

Матрена, слабая и счастливая, приподнялась на лежаке.

— Прилетел, сокол... Долетели мои молитвы.

Степан неумело приласкал старуху.

— Что эт ты? Завалилась-то?

— Вот — завалилась, дура старая...

Афонька давно уже ждал, когда его заметит отчим.

— Афонька!.. Ух, какой большой стал! Здоров! — Поднял мальчика, потискал.— Вот гостинцев, брат, у меня на этот раз нету — не обессудь. Самого, вишь, угостили... насилу отдухался.

Не терпелось Степану начать разговор деловой — главный.

— Ларька, говори: какие дела? Как Корнея приняли?

— Ничего... Хорошо. Больше зарекся, видать,— нету.

— Много с им приходило?

— Четыре сотни. К царю они послали. Ивана Аверкиева...

— Вот тут ему и конец, старому. Я его миловал сдуру... А он додумался — бояр на Дон звать. Чего тут без меня делали?

— В Астрахань послали, к Серку писали, к ногаям...

— Казаки как?

— На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, что провинились перед царем...

— Через три дня пойдем в Черкасск. Передохну вот...

— Братцы мои, люди добрые,— заговорил Матвей, молитвенно сложа на груди руки,— опять ведь вы не то думаете. Опять вас Дон затянул. Ведь война-то идет! Ведь горит Волга-то!.. Ведь там враг-то наш — на Волге! А вы опять про Корнея свово: послал он к царю, не послал он к царю... Зачем в Черкасск ехать?

— Запел! — с нескрываемой злостью сказал Ларька.— Чего ты суесся в чужие дела?

— Какие же они мне чужие?! Мужики-то на плотах — разве они мне чужие?

Тяжелое это было воспоминание — мужики на плотах. Не по себе стало казакам: и тяжело, и больно.

— Помолчи, Матвей! — с досадой сказал Степан.— Не забыл я тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело сделать. Чего мы явимся туда в три сотни! Ни себе, ни людям...

— Пошто так?

— Дон поднять надо. Думаешь, правда остыли казаки? Раззудить некому... Вот и раззудим. Тогда уж и на Волгу явимся. Но не в триста же!

— Опять за свой Дон!.. Да там триста тыщ поднялось!..— Матвей искренне не мог понять атамана и казаков: что за сила держит их тут, когда на Волге война идет? Не мог он этого понять, страдал.— Триста тыщ, Степан!..

Горе Матвея было настоящее, казаки это видели.

— Знаю я их, эти триста тыщ! Седни триста, завтра — ни одного,— как можно мягче, но и стараясь, чтоб правда тоже бы дошла до Матвея, сказал Степан.— И как воюют твои мужики, тоже видали...

— Опять за свое! — воскликнул Матвей.— Вот глухарито!.. Да вы вон какие искусники, а все же побежали-то вы, а не...

— Выдь с куреня! — приказал Ларька, свирепо глядя на Матвея.

— Выдь сам! — неожиданно повысил голос Матвей.— Атаман нашелся. Степан... да рази ж ты не понимаешь, куда тебе счас надо? Ведь что выходит-то: ты без войска, войско без тебя. Да заявись ты туда — что будет-то! Все долгорукие да борятинские навострят лыжи. Одумайся, Степан...

— Мне нечего одумываться! — совсем тоже зло отрезал Степан.— Чего ты меня, как дите малое, уговариваешь. Нет войска без казаков! Иди сам воюй с мужиками с одними.

— Эхх!..— только и сказал Матвей.

— Все конные? — вернулся Степан к прерванному разговору.

— Почесть все.

— Три дня на уклад. Пойдем в гости к Корнею. Матвей... как тебе растолковать... К мужикам явиться, надо... радость им привезть. Одно дело — я один другое — я с казаками. Все ихное войско без казаков — не войско. Сам подумай! А мне надо ишо тут одну зловредную голову с плеч срубить — надежней за свою будет. Мой промах, я и выправлю.

* * *

Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька.

— Спишь? — спросил он тихо.

— Нет,— откликнулся Матвей и сел на лежанке.— Какой тут сон... Тут вся душа скоро кровью истекет. Горе, Лазарь, какое горе... не понимаете вы, никак вы не поймете, где вам теперь быть надо. Да вразуми вас господь!.. Вы же с малолетства на войнах — как вы не поймете-то? А?

— Собирайся, пойдем: батька зовет,— сказал Ларька.

Матвей удивился и обеспокоился:

— Опять худо ему?

— Нет, погутарить хочет... Пошли.

— Чего это?.. Ночью-то?

— Не знаю.— Ларька нервничал, и Матвей уловил это. Он вздул с помощью кресала малый огонек и внимательно посмотрел на есаула... И страшная догадка поразила его. Но еще не верилось, еще противились разум и сердце.

— Ты что, Ларька?..

— Что? — Ларька злился и хуже нервничал.— Пошли, ворят!

— Зачем я ему понадобился ночью?

— Не знаю.— Ларька упорно смотрел на крохотный огонек, а не на Матвея.

— Не надо, Лазарь... Грех-то какой берешь на душу. Я лучше так уйду...

— Одевайся! — крикнул Ларька.

— Не шуми. Приготовлюсь по-людски... Эхх...

Матвей встал с лежанки, прошел со свечкой в угол, молча склонился к сундучку, который повсюду возил с собой. Достал из него свежую полотняную рубаху, надел... Опять склонился к сундучку. Там — кое-какое барахлишко: пара нижнего холстяного белья, иконка, фуганок, стамеска, молоток — он был плотник. Это все, что он оставлял на земле. Он перебирал руками свое имущество... Не мог подняться с колен.

— Ну! — позвал Ларька.

Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инструменты. Плечи его вздрагивали. Он плакал.

— Пошли.— Матвей вытер слезы, встал с колен...— Прости вас господь! — сказал он с волнением.— Обманули людей... Может, и не хотели того. Но мно-ого на вас невинной крови...— Он повернулся было к Ларьке, но тот сильно толкнул его к выходу.

— Шагай!

Утром Ларька сказал Степану:

— Этой ночью... Матвей утек.

Как? — поразился Степан.— Куда утек?

— Утек. Кинулись — нигде нету. К мужикам, видно, своим — на Волгу. Куда звал, туда и утизенил.

Степан пристально посмотрел на верного есаула... И все понял. И так больно стало, так нестерпимо больно, как бывает больно от невозвратимой дорогой утраты.

— Гад ты подколодный,— сказал он, помолчав, негромко.— Ох, какой же ты гад... Мешал он тебе?

— Мешал,— твердо сказал Ларька.— Умный шибко!.. Чего ни сделаешь, все не так, все не по его...

— А мы с тобой?! — закричал Степан, белея.— Мы всегда с тобой умные?!

— Ну, и... так тоже... к такой-то матери все, все дела, все на свете! — Ларька прямо и свирепо смотрел на атамана.— Кончай и меня тогда, раз он тебе милее нас. Мне с им тоже не ходить. Меня всего тряской трясти начинает, как он только поглядит,— опять не так делаем. Живи и оглядывайся на его!..

— Тряской его трясет...— Степан долго, мрачно молчал, глядя в пол. И сказал с грустью: — Нет у меня есаулов... Один остался, и тот живодер. А выхода... тоже нет. Погансц! Уйди с глаз долой!

Ларька ушел.

11

Через два дня три с лишним сотни казаков во главе с Разиным скакали правым берегом Дона — вниз, к Черкасску. В "гости" к Корнею.

Опять — движение, кони, казаки, оружие... Резковатый, пахучий дух вольной степи. И не кружится голова от слабости. И крепка рука. И близок враг — свой, "родной", знакомый. И близко уж время, когда враг этот посмотрит в мольбе и злобе предсмертной...

Ну, что же это, как не начало?

Но, может, это после хвори осталась тревога на душе? Никак не поймешь: отчего она? Все же ведь хорошо. Все хорошо. Но какая-то есть в душе неуютность, что-то тревожит и тревожит все время. Оглянется Степан на казаков — и шевельнется в груди тревога, прямо как страх. И никак от этой тревоги не избавишься — не обгонишь ее на коне, не оставишь позади. Что за тревога такая?

Черкасск закрылся.

Заплясали на конях под стенами.

— В три господа бога мать! — ругался Степан. Но сделать уже ничего не сделаешь — слишком малы силы, чтобы

пробовать взять хорошо укрепленный теперь городок приступом.

Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе.

— Скажи, Ларька: мы никакого худа не сделаем. Надо же нам повидаться! Что они, с ума посходили? Своих не пускают...

Ларька подъезжал близко к стене, переговаривался. И привозил ответ:

— Нет.

— Скажи,— накалялся Степан,— еслив они будут супротивничать, мы весь городок на распыл пустим! Всех в Дон посажу! А Корнея на крюк за ребро повешу. Живого закопаю! Пусть они там не слухают его, он первый изменник казакам, он продает их боярам. Рази же они совсем одурели, что не понимают!

Ларька подъезжал опять к стене и опять толковал с казаками, которые были на стене. И привозил ответ:

— Нет. Ишо сулятся стрельбу открыть. Одолел Корней.

— Скажи,— велел в последний раз Степан,— мы ишо придем. Мы придем! Плохо им будет! Кровью плакать будут на лукавые слова Корнеевы. Скажи: они все уж там проданы с потрохами! И еслив хоть одна курва в штанах назовет там себя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут. Пусть над имя дети малые смеются.— Степан устал.— И дети ихные проданы. Скажи: все они там, с Корнеем в голове, прокляты от нас. Еслив их давить всех придут, мы не придем заступиться. Мы им теперь не заступники.

Ехали обратно. Не радовала степь вольная, не тревожил сердце родной, знакомый с детства милый простор.

Нет, это, кажется, конец. Это тоска смертная, а не тревога.

12

Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Протокин затерялся где-то в степях Малого Ногая.

Степан бросился в верховые станицы поднимать казаков, заметался, как раненый волк в облаве. Стремительность опять набрали нечеловеческую, меняли запаленных коней.

Станица за станицей, хутор за хутором...

По обыкновению Степан велел созывать казаков на майдан и держал короткую речь:

— Атаманы-молодцы! Вольный Дон, где отцы наши кровь проливали и в этой самой земле лежат, его теперь наша старшина с Корнеем Яковлевым и Мишкой Самарениным продают: называют суда бояр. Так что лишают нас вольно-

стей, какие нам при отцах и дедах наших были! Нам бы теперь не стерпеть такого позора и всем стать заодно! Нам бы теперь своей казачьей славы и храбрости не утратить и помочь нашим русским и другим братам, которых бьют на Волге. А кто пойдет на попятный, пускай скажет здесь прямо и пускай потом на себя пеняет!

Таких не было, которые бы заявили "прямо" о своем нежелании поддержать разинцев и помочь "русским и другим братам" на Волге, но к утру многих казаков не оказывалось в станице.

Степан зверел.

— Где другие?! — орал он тем десяти-пятнадцати, которые являлись поутру на майдан.— Где кони ваши?! Пошто неоружные?!

Угрюмое молчание было ответом.

Уводили глаза в сторону...

— Ну, казаки!.. Наплачетесь. Ох, наплачетесь! — недобро сулил Разин.

...В другом месте Степан откровенно соблазнял:

— Атаманы-молодцы! Охотники вольные!.. Кто хочет погулять с нами по чисту полю, красно походить, сладко попить, на добрых конях поездить — пошли со мной! Силы со мной — видимо-невидимо: она на Волге, там ждут нас! Ну, молодцы!.. Не забыли же вы, как вольные казаки живут. Стрепенитесь!

Поутру — то же: десять-двенадцать молодых казаков, два-три деда, которые слышали про атамана "много доброго". И все. А никогда не говорил атаман так много, цветасто — аж самого коробило. Но он больше не знал, как всколыхнуть мертвую воду; гладь ее, незыблемость ее — ужасала.

Тоска овладела Степаном. Он не умел ее скрывать.

Однажды у них с Ларькой вышел такой разговор. Они были одни в курене. Степан выпил вина, сплюнул, сказал прямо и просто:

— Не пьется, Ларька. Мутно на душе. Конец это.

— Какой конец? Ты что? — удивился Ларька; может, притворился, что удивлен,— даже и это противно знать: все врут теперь или нет?

— Конец... Смерть чую.

— Брось! Пошли в Астрахань... Уймем там усобицу ихную. Можеть, в Персию опять двинем...— Ларька вроде говорил искренне.

— Нет, туда теперь путь заказан. Там два псаря сразу обложут: царь с шахом. Они теперь спелися.

— Ну, на Волгу пошли! — Нет, Ларька еще предан душой. Но это не радует, а только гнетет: где другие, где они, с преданными душами-то?

— С кем? Сколь нас!..

— Сколь есть... Мужиками обрастем: вошкаются же они там...

— Мужики — это камень на шею. Когда-нибудь да он утянет на дно. Вся надежа на Дон была... Вот он — Дон! — Степан надолго задумался. Потом с силой пристукнул кулаком в столешницу.— На кой я Корнея жить оставил?! Где голова была!.. Рази ж не знал я его? Знал — не станет он тут прохлаждаться: всех путами спутал, а концы... Москва держит. Не седня-завтра суда бояры с войском явются.

Ларька выпил. Помолчал и сказал:

— Не вышло, видно, у Ивана. Пропал где-то.

— Про кого ты? — не понял Степан.

— Ванька Томилин... Посылал я его в Черкасск Корнея известить. Пропал, видно, казак. Можеть, перекинулся...

— Когда же?

— До того ишо, как нам к Черкасску ходить. Ни слуху ни духу... У меня зельишко было, мордвин один дал: с ноготка насыпать в рюмку... А можеть, мордвин надул.

— Пропал. Корнея кто обведет, тот сам дня не проживет.

— Пропал... Можеть, не сумел. Но там... чего там, поди, суметь-то!

— Можеть, изменил. За кого теперь можно заручиться? Надо было нам раньше думать, Ларька. Как я-то?! Где голова была!

— Нет. Я его знаю, Ваньку... Чего-то, видно, не вышло.

— Ну, пропал.

— Пропал. Жалко, казак добрый,— вздохнул Ларька.

Степан надолго замолк.

* * *

В одной станице, в курене богатого казака, вышел с хозяином спор.

— Пропало твое дело, Степан Тимофеич,— заявил хозяин напрямки.— Не пойдут больше за тобой.

— Пошто? — спросил Степан.

— Пропало... Не пойдут больше.

— Откуда ты взял?! — хотел серьезно понять Степан.— Как это: я вам говорю — не пропало, а вы — пропало. Я лучше знаю или вы?

— Видим... не слепые. За тобой кто шел-то? Голутьба наша да москали, которых голод суда согнал. Увел ты их, слава богу, рассеяя по городам, сгубил которых — теперь все, не обижайся. Не пойдут больше за тобой. И не мани, и не сули горы златые... Смешно даже слушать-то. Не зови никого и сам уймись. Хватит.

— А ты, к примеру, пошто послужить не хошь?

— Кому? — Казак прищурил глаза в усмешке.— В разбойниках не хаживал, не привел господь бог... С царем мне делить нечего — мы с им одной веры. Он меня поит-кормит, одевает...

— А мужиков...— Степан уже пристально смотрел на казака.— Братов таких же, русских, одной с тобой веры — бьют их... У тебя рази душа не болит?

— Нет. Сами они на свой хребет наскребли. И ты, Степан, не жилец на свете. От тебя смертью пахнет.

Степан и Ларька уставились на казака.

— Смертью пахнет,— пояснил тот.— Как вроде травой лежалой. Я чую, когда от человека так пахнет. Значит, не жилец.

— А от тебя не пахнет? — спросил Степан.

— От себя не учуешь. А вот у нас в станице — кто бы ни помирал — я наперед знаю. Подойдешь — даже лихотит, до того воняет. Скажешь человеку — не верит, пройдет время, глядишь: отдал богу душу. Или на войне срубют, или своей смертью помрет. Я — такой. Меня даже боятся. А от тебя счас крепко несет. Срубют тебя, Степан, на бою. Оно бы и лучше — збаламутил ты всех... Царя лаешь, а царь-то заботится об нас. А счас вот — по твоей милости — без хлебушка сидим. Мы за тебя в ответе оказались. А на кой ты нам? Мы с царем одной веры, ишо раз тебе говорю.

Степан впился немигающим взглядом в казака, одаренного таким странным даром: чуять чужую смерть.

Ларька встал и вышел из куреня, чтоб ничего больше не видеть. Слышал, как Степан сказал казаку:

— Поганая ваша вера, раз она такая...

Больше Ларька не слышал.

Через некоторое время Степан вышел во двор, вытер саблю пучком пакли... Садясь на коня, велел казакам:

— Спалить.

— Не надо бы — у себя-то...— неуверенно сказал Ларька.— Так вовсе никого не подымем.

— Спалить! — крикнул Степан. Стегнул коня и погнал прочь.

Лазарь догнал атамана на выезде из станицы, подравнял своего коня к скоку разинского жеребца, чуть сзади.

— Спалили? — спросил Разин, не оглянувшись.

— Нет,— коротко отозвался Ларька.

Степан оглянулся... Не то что удивился такому непослушанию, а интересно: это бунт, что ли?

— Я же велел...

— Со зла велел. После сам пожалеешь.

Если это не бунт, то и не ватажный угар, когда слова атамана, как искру живую, рвет и носит большой ветер, и куда она упадет, искорка, там горит. Нет, это не гулевой пожар, это похмелье в пасмурное утро, горькое, пустое и мерзкое.

"Это — конец. Конец. Конец". Степан понимал.

Он молча скакал... И захотелось вдруг еще и вот что понять: ну, есть страх? Злость? Боль? Жалость?.. Нет, одно какое-то жгучее нетерпение: уж скорей бы, скорей бы какой-то конец. Какой ни на есть! Надоело. Тошно. Он и сам не верил теперь, что можно поднять Дон. Нет, прав был Матвей Иванов, царство небесное: на лечеиом коне далеко не ездят. "Битый я — вот отгадка всему. Кто же пойдет за мной, какой дурак! Я б сам первый не пошел..."

Ларька как будто подслушал его мысли. Позвал:

— Степан!

— Ну? — Атаман не обернулся.

— Придержи!.. Погутарим.

Степан перевел жеребца с рыси на шаг, но и опять не обернулся.

— Не подымется Дон, Степан...— заговорил Ларька, оглянувшись на казаков, но те были далеко.— Знаешь, чего мы делаем, мотаемся по станицам? Слабость свою всем в глаза пялим. Когда волка ранют, он, дурак, заместо того чтоб перебрести ручеек да отлежаться где-ннбудь в закутке, зализать рану, он заместо этого старается уйти подальше — кровь теряет н след за собой волокет. Так и мы.

— Мы же не уходим.— Степану интересно стало, как думает есаул про все эти дела.

— Мы хуже: на глазах мечемся.

— Все так же думают или один ты... такой умник?

— Все. Не показывают только. Тут дураку все понятно, не надо даже умником быть. У тебя голова, а у нас что, корчаги заместо голов?

Степан оглянулся на есаула:

— Чего ж ты советуешь? — Еще сбавил ход жеребцу.— Нет, так: скажи, пошто Дон больше не подымется?

— Степа, мы ж казаки с тобой. Чего греха таить — и ты знаешь, и я знаю: за щастливым атаманом — это мы с радостью великой, хоть на край света... хаживали! И за тобой шли. А теперь ты... запнулся. Тут уж — прости, батюшка атаман,— погожу. Отсижусь пока дома. Ненавижу эту поганую жилку, но сам такой... Никуда не денесся. Вот тебе мой ответ. Плохой ответ, но... какой есть.

— Я не ответ спрашиваю, а совет.

— Совет?.. Тут я пока... дай подумать.— Ларька замолчал.

И Степан молчал.

— Ну, раз спрашиваешь,— заговорил Ларька,— то я скажу... Пойдем в Запороги? Нас там с радостью примут. Вот мой совет добрый. Никуда больше не надо — ни в Астрахань, ни... Там хуже нашего. И на Волге нечего делать: у их там теперь свои атаманы... Там теперь ихняя война пошла.

— Битые-то придем в Запороги?..

— А они что, сроду битые не были? Им тоже попадало.

— Ларька!..— с грустью и изумлением воскликнул атаман.— Послухал бы ты счас со стороны себя, бесстыдник! Братов наших, товарищей верных в землю поклали, а сами наутек? Эк, есаул... Плачет по тебе моя пуля за такой совет, но... не судья я вам больше. Скажу только, как нам теперь быть: разделим с братами нашими ихную участь. А еслив у тебя эта твоя поганая жилка раньше времени затрепыкалась — отваливай.

Теперь молчал Ларька.

— Что молчишь?

— Нечего сказать, вот и молчу. Это как же ты мне советуешь отвалить-то — ночью? Тайком?

— Ты видишь, как отваливают. Тайком.

— До такого я пока не дошел.

— А не дошел, не советуй всякую дурость.

Некоторое время ехали молча.

Отдохнувшие кони сами собой перешли в рысь. Казаки отпустили их. День был нежаркий. Степь, еще не спаленная огневым солнцем, нежилась, зеленая, в ласковых лучах; кони всласть распинали ее сильными ногами.

— Знаешь, чего хочу? — спросил Степан после долгого молчания.

Ларька, оскорбленный и пристыженный, хотел уклониться от разговора. Буркнул:

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Хочу спокоя. Упасть бы в траву... и глядеть в небо. Всю жизнь, как дурак, хочу полежать в траве, цельный день, без всякой заботы... Скрывал только... Но ни разу так и не полежал.

Ларька удивленно посмотрел на Степана. Не думал он, что неукротимый атаман, способный доводить в походах себя и других до исступления... больше всего на свете хотел бы лежать на травке и смотреть в небо. Он не поверил Степану. Он переиначил желанный покой этот на свой лад:

— Скоро будет нам спокой. Только опасаюсь, что головы наши... будут в сторонке от нас. Одны только головушки и будут смотреть в небо. А? — Ларька невесело засмеялся.

Степан улыбнулся тоже.

— Воронье...— сказал он непонятно.

— А?

— Воронье, мол... глаза выклюют — не посмотришь. Нечем смотреть-то будет.

На этом перегоне их догнал верховой.

— За вами не угоняйся. То там, сказывают, видали, то тут...

— Говори дело! — нетерпеливо велел Степан.

Казак исподлобья зыркнул глазами на войско атамана, до смешного малое... Разные ходили слухи: то говорили, со Стенькой много, то — мало. Теперь видно: плохо дело атамана, хуже не бывает. И казак не сумел скрыть своего изумления; на его усатом лице промелькнуло что-то вроде ухмылки.

— Ты что? — спросил Ларька, обеспокоенный запинкой казака и его пытливым взглядом. Он и усмешку казака не проглядел.

— Корней в Кагальник нагрянул.— Казак спокойно посмотрел в глаза Степану.

Степан, Ларька, сотники молча ждали, что еще скажет гонец. Казака этого никто не знал.

— Ну? — не выдержал Степан.— С войском?

— С войском.

— Сколь? Да рожай ты!..— заругался Степан.— Тянуть, что ль, из тебя?

— Сот семь, можа, восемь... Сказывает, грамоту тебе от царя привез.

— Какую грамоту?

— Больше молчит. Велел только сказать: милостивая грамота.

Степан долго не думал:

— В Кагальник!

— Степан... я не поеду,— заявил Ларька.

— Как так? — Степан крутнулся в седле, вперился глазами в есаула — в лицо его, в переносицу.— Как ты сказал?

— Подвох это. Какая милостивая грамота! Ты что?

Степан качнул удивленно головой:

— Рази я для того еду, что в грамоту ту верю? Ларька... что ты, бог с тобой! Ты уж вовсе меня за недоумка принимаешь. Грамота, видно, есть, только не милостивая. С какого черта она милостивой-то будет? Мы ему Сибирь не отвоевали...

Теперь Ларька удивился:

— Для чего же? Не возьму, для чего к им йтить?

— Придем — все разом решим. Раз они сами вылезли — нам грех уклоняться. Не могу больше... Ты видишь — зря

мотаемся. Сам же укорял: без толку мотаемся... Поехали — крест поставим и не будем мотаться.

— В триста-то казаков на семьсот! Нет, Степан... ты вояка добрый, но там тоже... не турки, а такие же казаки. Ничего нам не сделать. Какой крест?

— Помрем по-людски...

— Мне ишо рано.— Ларька решительно изготовился в душе; страх он одолел, но все же заговорил громче — чтоб другие слышали.

— Вон ка-ак? — протянул Степан; такого он не ждал.

— А как?.. С тобой на верную гибель? — спросил Ларька.— Зачем?

— Последний раз говорю: едешь? — Степан не угрожал, но никто бы и не поручился, что он сейчас не всадит Ларьке пулю в лоб. Было тихо.

— Нет. Зачем? Я не понимаю: зачем? — Ларька оглянулся на казаков... И опять к Степану: — Зачем, батька?

Степан долго смотрел в глаза верному есаулу. Ларька выдержал взгляд атамана.

Степан отвернулся, некоторое время еще молчал. Потом обратился ко всем:

— Казаки! Вы слыхали: в Кагальник пришел с войском Корней Яковлев. Их больше. Их много. Кто хочет ийтить со мной — пошли, кто хочет с Ларькой остаться — я не неволю. Обиды тоже не таю. Вы были верные мои други, за то вам поклон мой.— Степан поклонился.— Разделитесь и попрощайтесь. Даст бог — свидимся, а нет — не поминайте лихом.— Степан подъехал к Ларьке, обнял его — поцеловались.

— Не помни зла, батька,— сказал Ларька, перемогая слезы.— Не знаю... у тебя своя думка... я не знаю...

— Не тужи. Погуляй за меня. Видно, правду мне казак говорил... близко мой конец.

Ларька не совладал со слезами, заплакал, больно сморщился и ладошкой сердито шаркнул по глазам.

— Прости, батька... Не обессудь.

— Добре... Вы простите тоже.

Степан развернул коня и, не оглядываясь, поскакал в степь. Он слышал топот за собой, но не оглядывался, крепился. Потом оглянулся... Не больше полусотни скакало за ним. Степан подстегнул коня и больше уже не оборачивался. И не давал коню передохнуть — торопился. Полусотня едва поспевала за ним — не у всех были добрые кони. Один раз сзади шумнули Степану, чтоб маленько сморил. Степан не оглянулся и не сбавил бег.

13

Трудно понять, какие чувства овладели Степаном, когда он узнал, что в Кагальнике сидит Корней Яковлев. Он действительно прямиком пошел к гибели. Он не мог не знать этого. И он шел. Вспомнились слова Матвея про Иисуса... Но вдумываться в них Степан не стал. Да и не понял он тогда, почему — Иисус? А теперь и вовсе не до того — разбираться в чувствах, в предчувствиях, в мыслях путаных... С каждым скоком коня все ближе, ближе, ближе те, кого атаман давно хотел видеть. Теперь — скоро уж — все будет ясно, скоро будет легко. Скоро, скоро уж станет легко. Степан волновался, тискал в руках тонкий ремешок повода... Господи, как охота скорей заглянуть в ненавистные, в глубокие, умные глаза Корнея, Фрола Минаева, Мишки Самаренина... Выстегать бы их вовсе, напрочь — плетью изо лба, чтоб вытекли грязным гноем. Но зачем-то надо было Степану еще раз увидеть эти глаза. Зачем? Не понимал тоже... Затем, может, что охота увидеть — какое в них будет торжество. Будет в них торжество-то? Как они глядеть-то будут?

* * *

К вечеру подъехали к Кагальнику.

Оставив полусотню на берегу Дона (таково было условие сидящих теперь в Кагальнике), он с тремя сотниками переплыл, стоя на конях, на остров. И пошел к своей землянке, где были теперь Корней и старшина — ублюдки, нечисть донская. Степан ничего вокруг не видел, не слышал. Он торопился, хоть изо всех сил не показывал этого, но прямо чуть не бежал.

У входа в землянку его и сотников хотели разоружить. Степан вытащил саблю — как если бы хотел отдать ее — и вдруг с силой замахнулся на караульных. Те отскочили.

И Степан вошел — стремительный, гордый, насмешливый. Вот он, желаниый миг желанного покоя. Враги в сборе — ждут. Теперь его слово. Ах, сладкий ты, сладкий, дорогой миг расплаты. Будет слово. Будет слово и дело. Усталая душа атамана взмыла вверх — ничего не хотела принять: ни тревоги, ни опасений.

Корней и старшина сидели за столом. Всего их было человек двенадцать-пятнадцать. Они слышали некий малый шум у входа, и многие держали руки с пистолями под столом. Выбежать на шум не решились — посовестились своих, да и знали, что со Стенькой здесь всего трое, и знали, что Стенька не затеет свару на улице — войдет сюда.

В землянке была Алена. Матрены, брата Фрола и Афоньки не было. Про Алену Степан не знал, что она здесь.

— Здорово, кресный! — приветствовал Степан Корнея.

— Здоров, сынок! — мирно, добрым голосом сказал Корней.

— Чего за пустым столом сидите? Алена!.. Али подать нечего? — Степан даже руками развел — так удивился.

— Есть, Степан, как же так нечего! — встрепенулась Алена, до слез обрадованная миром в землянке.

— Так давай! — Степан отстегнул саблю, бросил ее на лежанку. Пистоль оставил при себе. Сотники его сабель не отстегнули. На них покосились из-за стола, но смолчали.

Степан прошел на хозяйское место — в красный угол. Сел. Оглядел всех, будто хотел еще раз проверить и успокоиться, что все на месте.

Никто не понимал, что происходит. Даже Корней был озадачен, но вида тоже не показывал.

— Чего такие невеселые? — спросил Степан.— А? Сидят как буки... Фрол, чего надулся-то?

— А ты с чего развеселел? — подал голос Емельян Аверкиев, отец Ивана Аверкиева, того, который и теперь еще был где-то в Москве — наушничал царю и боярам на Стеньку.

— А чего мне? Дела веселые, вот и веселюсь.

— Оно видно, что веселые...

— Не рано ли, Степан? Веселиться-то?

— Ну а где ж твое войско, кресник? — спросил Корней.

— На берегу стоит.— Степан все не спускал дурашливого, веселого тона. Все поглядывал на старшину — будто наслаждался Он и наслаждался — видел теперь глаза всех: Фрола Минаева, Корнея, Мишки Самаренина, всех. И ни торжества в этих глазах, ничего — один испуг, даже смешно.

— Там полста только. Все, что ль? А я слыхал, у тебя многие тыщи. Врут? — Умный Корней догадался — подхватил беспечную игру.— От людя! — медом не корми, дай приврать. И все ведь добра атаману желают, не по злобе. А невдомек, дуракам, что такими-то слухами только хуже душу бередят атаману. И так-то не сладко, а тут...

— А у тебя сколь? — нетерпеливо прервал его Степан.— Семьсот, я слыхал? Вот — семьсот твоих да полста моих — это семьсот с полусотней. Вот это и есть пока наше войско. Пока сэстоль... Скоро будут многие тыщи. Говорят, а зря не скажут, кресный,— не отмахивайся. Про вас вовсе вон чего говорят: совсем уж, мол, боярам продались, беглецов отдают... все вольности отдают, даже и бояр с войском зовут, мол... Я тоже не шибко верю, но спросить тоже охота: так ли, нет ли? А? — Степан засмеялся.— Тоже врут небось?

Корней старательно разгладил левой ладошкой усы, промолчал на это.

Алена поставила на стол вино. Из всех тут, в землянке, одна может быть, Алена только и не понимала, не догадывалась, чем кончится это застолье.

— Разливай, дядя Емельян! — Степан хлопнул по плечу рядом сидящего пожилого, дородного Емельяна Аверкиева.— Вынь руку-то из-под стола, чего ты там? Уж не забыл ли на старости, как креститься надо? Лоб надо крестить-то, лоб, а ты... Грех ведь! Тьфу!

Дядя Емельян дернулся было с рукой... и смутился. Сказал с усмешечкой:

— Да ведь ты, Стенька... ложкой кормишь, а стеблем в глаз норовишь.

— Да что ты, Христос с тобой! — воскликнул Степан.— Я грамотку царскую приехал послушать, грамотку. А вы зачем звали? Мне сказали — грамотка у вас от царя...

Выручил всех Корней. Взял кувшин, разлил вино по чарам. Но опять вышла заминка — надо брать чары. Левой рукой — поганой рукой, не по-христиански. Опять не знали, что делать, сидели, кто ухмылялся в дурацком положении, кто хмурился... Упустить Стеньку из виду, хоть на короткое время занять руки — опасно: неизвестно, кому первому влетит между глаз Стенькина пуля, а сзади — еще трое с саблями и с пистолями.

Степан взял свою чару, поднял...

— Со свиданьем, казаки!

Старши́на сидел в нерешительности.

Степан выложил свой пистоль на стол.

Кладу — вот. Выкладывайте вы, не бойтесь. Или вы уж совсем отсырели, Черкасске сидючи? Нас ведь четверо только!

Казаки поклали пистоли на стол, рядом с собой, взяли чары.

— Я радый, что вы одумались и пришли ко мне,— сказал Степан.— Давно так надо было. Что в Черкасск меня не пустили, за то вам отпускаю вашу вину. Это дурость ваша, неразумность. Выпьем теперь за вольный Дон — чтоб стоял он и не шатался! Чтоб никогда он не знал изменников поганых!

Переглянулись...

Понесли пить...

Когда пили, Корней незаметно мигнул одному казаку. Тот встал и пошел было из землянки. Один из сотников Разина остановил его:

— Посиди.

— Ты с чем приехал, Степан? — прямо спросил Корней.

— Карать изменников! — Степан ногой двинул стол. Трое его сотников рубили уже старшину. Раздались выстрелы... В землянку вбежали. Степан застрелил одного и кинулся к сабле, пробиваясь через свалку кулаком, в котором был зажат пистоль.

— Степан!..— закричала Алена.— Они же подобру приехали!.. Степушка!..— Она повисла у него на шее. Этим воспользовались, ударилн чем-то тяжелым по голове. Удар, видно, пришелся по недавней ране. Степан упал.

И опять звон ошеломил голову. И ночь сомкнулась непроглядная, беспредельная, и Степан полетел в нее. Не чувствовал он, не слышал, как били, пинали, топтали распростертое тело его.

— Не до смерти, ребятушки!..— заполошно кричал Корней.— Не до смерти! Нам его живого надо!

...И опять, как сознание помутилось, увидел Степан:

Степь... Тишиину и теплынь мира прошили сверху, с неба, серебряные ниточки трелей. Покой. И он, Степан, безбородый еще, молодой казак, едет в Соловецкий монастырь помолиться святому Зосиме.

— Далеко ли, казак? — спросил его встречный старый крестьянин.

— В Соловки. Помолиться святому Зосиме, отец.

— Доброе дело, сынок. На-ка, поставь и за меня свечку.— Крестьянин достал из-за ошкура тряпицу, размотал ее, достал монетку, подал казаку.

— У меня есть, отец. Поставлю.

— Нельзя, сынок. То — ты поставишь, а это — от меня. На-ка. Ты — Зосиме, а от меня — Николе Угоднику поставь, это наш.

Степан взял монетку.

— Чего ж тебе попросить?

— Чего себе, то и мне. Они знают, чего нам надо.

— Они-то знают, да я-то не знаю,— засмеялся Степан.

Крестьянин тоже засмеялся:

— Знаешь! Как не знаешь. И мы знаем, и они знают.

Пропал старик, все смешалось и больно скрутилось в голове. Осталось одно мучительное желание: скорей доехать до речки какой-нибудь и вволю напиться воды... Но и это желание — уже нет его, опять только — больно. Господи, больно!.. Душа скорбит.

Но опять — через боль — вспомнилось, что ли, или кажется все это: пришел Степан в Соловецкий монастырь. И вошел в храм.

— Какой Зосима-то? — спросил у монаха.

— А вон!.. Что ж ты, идешь молиться и не знаешь кому. Из казаков?

— Из казаков.

— Вот Зосима.

Степан опустился на колени перед иконой святого. Перекрестился... И вдруг святой загремел на него со стены:

— Вор, изменник, крестопреступник, душегубец!.. Забыл ты святую соборную церковь и православную христианскую веру!..

Больно! Сердце рвется — противится ужасному суду, не хочет принять его. Ужас внушает он, этот суд, ужас и бесчестие. Лучше смерть, лучше не быть, и все.

Но смерти еще нет. Смерть щадит слабого — приходит сразу; сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость врагов.

14

Вот уж не бред и видения — а так и было: прокляли Степана на Руси. Все злое, мстительное, маленькое поднялось и открестилось от Стеньки Разина, разбойника, изменника, душегубца.

"Великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево воровству не пристали, побил, со единомышленники своими да будет проклят!.."— так читали. Вот она — бумага-то!..

Господи, господи!.. Кого клянут именем твоим здесь, на земле! Грянь ты оттуда силой праведной, силой страшной — покарай лживых. Уйми их, грех и подлость творят. Зловоние исторгают на прекрасной земле твоей. И голос тут не подай, и руку не подыми на слабых и обездоленных: с проклятиями ползут!.. С бумагами... С именем твоим... А старания-то все, клятвотворцев-то, вера-то вся: есть-пить сладко надо.

"...Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменявший, церковь святую возмутивший и обругавший..."

Слушали люди... Это — из века в век — слушают, слушают, слушают.

"И к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, ино работы отвергший..."

Как, однако!.. Как величаво лгут и как поспешно душат всякое живое движение души, а всего-то — чтоб набить брюхо. Тьфу!.. И этого хватает на целую жизнь. Оно бы и крюкай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали

— ублажали. Вот невмоготу-то, господи! Вот с души-то воротит, вот тошно-то.

"Новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец..."

Ну, что же уж тут... Ничего тут не сделаешь.

— Врете! — сильный душераздирающий голос женщины. Если бы его тоже слышать все.

Это кричала Алена-старица с костра. Ее жгли. Это — там, где еще горел бунт, где огонь его слабел, смертно чадил и гас в крови.

— Врете, изверги! Мучители!.. Это вас,— кричала Алена, объятая пламенем, в лицо царевым людям (стрельцам и воеводам, которые обступили костер со всех сторон),— не вы, мы вас проклинаем! Я, Алена-старица за всю Русь, за всех людей русских — проклинаю вас! Будьте вы трижды прокляты!!! — Она задохнулась дымом... И стало тихо.

15

Какая бывает на земле тишина! Непостижимая.

Отлогий берег Дона Низину еще с весны затопило водой, и она так и осталась там, образовав неширокий залив.

Ясную, как лазурь поднебесная, гладь залива не поморщит низовой теплый ветерок, не тронет упавший с дерева легкий лист; вербы стоят по колено в воде и смотрятся в нее светло и чисто.

Станица в две сотни казаков расположилась на берегу залива покормить коней. Везут в Москву Степа Разина с братом. Они еще в своих богатых одеждах; Степан скован по рукам и ногам тяжкой цепью. Фрол гремит цепью послабее, не такой увесистой.

— Доигрался — ишо никого из казаков не проклинали,— горестно сказал Корней крестнику.— Легко ли?

— Ну, так я тебя проклинаю,— молвил Степан спокойно.

— За что бы? Я на церкву руку не подымал, зря не изводил людей,— стараясь тоже говорить спокойно, сказал Корней.— Царю служу, я на то крест целовал. И отец мой служил... И твой тоже.

— Эх, Корней, кресный,— вздохнул Степан.— Вот закованный я по рукам-ногам, и не на пир ты меня везешь,— а жалко тебя.

— Вот как! — искренне изумился Корней.

— Жалко. Червем прожил. Помирать будешь, спомнишь меня. Спомнишь... Я ишо раньше к тебе не раз приду — мертвый.

Они сидели чуть в сторонке от других, ближе к воде; Степан привалился спиной к нетолстой молодой вербе с криулинкой, руки держал промеж ног, чтоб лишний раз не звякать цепью — этот звяк угнетал его.

— Ладно,— согласился Корней,— я — червем, ты — погулял...

— Не в гульбе дело,— оборвал Степан рассуждения войскового.— А то бы я не нашел, где погулять!

— Чего же ты хотел добиться? — спросил тогда Корней.

— Не поймешь.

— Где нам! Где нам за тобой угнаться. Мы люди малые...

— Змей ты ползучий, и поганый вдобавок,— сказал Степан негромко.— Подумай: рази ты человек? Да рази человек будет так, чтоб ему только одному хорошо было? Ты вот торгуешь Доном... Вольностями нашими. После тебя придут — тоже охота урвать кусок пожирней,— тоже к царю поползут... Больше-то чем возьмете? — Степан говорил без злобы, спокойно.— И вот такие лизоблюды... все отдадут. Вот беда-то. Пошто я тебя не пристукнул!.. Можетъ, другим бы неповадно было... Гады вы! Бог тебе ум дал, а ты измусолил его — по углам рассовал, всю жизнь, как собака, в глаза хозяину своему заглядывал. А доберись я до того хозяина — он бы сам завыл, как собака.

— Быть было ненастью, да дождь помешал. Смотри, как бы тебе не завыть там. Там умеют... сок жать.

— Не завою. Не порадую царя — не дождетесь.

— Стенька... Скажи напоследок: пошто войсковым не захотел стать? Я же тогда не обманывал тебя, правду говорил. Помнишь? В церкви-то...

— Помню.

— Пошто же?

— У человека душа есть, а рази важно ей — войсковой я или невойсковой. Она небось и не знает-то про эти слова. Был бы я товарищ верный, да была бы... Да был бы я вольный. Вот и все, я и спокойный.

— Ну и спокойный? Столько людей загубил...

— Не за себя губил, за обиженных.

— Фу-ты, какой заступник выискался!

— А кто же за их заступится? Ты? Тебе лишь бы доползти до кормушки... Эх, надо б мне тебя раздавить! Пожалел. Моя промашка, кресный. Каюсь.

— Корней Яковлич! Можно и в путь-дорогу! — шумнули от казаков, где их собралось покучней; которые уж и коней седлали, подпруги подтягивали.

— С богом! — Корней встал и пошел к своей лошади.

За разговором этим наблюдал со стороны Фрол Минаев. На время, пока Степана держали в Черкасске и потом везли

пленного, Фрол Минаев держался поодаль, наблюдал, но не подходил. А Степану было не до него. Степан, как пришел в память, все время был спокоен и задумчив. Иногда только подбадривал брата, павшего духом, улыбался и шутил с ним. На всех остальных смотрел с глубоким презрением.

Теперь, пока казаки ловили и седлали коней, Фрол Минаев подошел к Степану, присел рядом. Как когда-то, в степи, когда гнался атаман за другом-врагом, не догнал, упал с коня,— так же сидели теперь, только Степан был в железах. Оба, видно, вспомнили то свое сидение, глянули друг на друга, помолчали. Близко никого не было; Фрол заговорил:

— Степан...

— Ну? — Степан прищурился на Фрола... Долго смотрел, внимательно.— Что ж ни разу не подошел поговорить?

— А чего говорить? — наигрывая беспечность, но и принахмурившись, откликнулся Фрол.— Без разговоров все понятно. Чего говорить? Хотел я только спросить...

— Тебе — есть чего. Ты упреждал меня — твоя взяла. Вот и скажи, а не спрашивай. Посмейся хоть надо мной. Корней вон выговорил...

— Я не радуюсь, Степан,— искренне сказал Фрол.— Нет. Мне жалко тебя.

— Ну? — удивился Степан.— А кто это угостил меня сзади? В землянке-то?.. Не ты?

— Нет.

— Кто же?

— Не все равно тебе кто?

— Ну, все же.

— Мишка Самаренин.

— А-а. Я, грешным делом, на тебя подумал. Похоже на тебя...

— Степан...— раздумчиво, с глубоким, серьезным интересом повторил Фрол,— дурацкое дело — теперь спрашивать: к чему ты все это затеял?..

— Дурацкое,— согласился Степан.— Надоело. Я ж тебе говорил.

— Ладно, не буду. Скажи только: пошто так легко попался? Сам ведь полез... Знал же: конец там тебе, зачем же лез?

— Э, не так все легко, Фрол, как на словах у тебя. "Конец"... Перебей мы вас тада, в землянке... Не знаю. Не знаю, кто из нас какие слова говорил бы счас.

— Четверо-то — двенадцать?! Ты что?

— Не знаю, не знаю. Одно знаю: вовремя меня Мишка угостил по затылку. Не знаю, куда бы качнулись эти ваши

семьсот казаков. Выйди я тада из землянки цел-невредим — поднялась бы у кого рука на меня? А?

— Не знаю,— признался Фрол.— Как-то... не думал так.

— А я знаю. И ты знаешь: не поднялась бы. Опять хитришь. Все хитришь, Фрол... Ты все знаешь: они с вами, пока вы над имя. Убери-ка счас отсуда всю головку старшинскую... А? — Степан засмеялся.— Встал бы да и зыкнул, как бывало: братцы!..— Степан и в самом деле налег на голос, крикнул. Казаки, все как один, враз оглянулись. Кто успел поставить ногу в стремя, оглянулся, стоя на одной ноге, кто седлал лошадь, оглянулся с седлом в руках... Корней Яковлев шел к коню, от возгласа Степана, нежданного, аж споткнулся. Резко оглянулся... Не по-старчески скоро пошел, побежал почти к Степану, невольно сунулся правой рукой к поясу. И никто ничего не сказал, все молчали. Смотрели на Степана...

— А-а,— сказал Степан.— А ты говоришь.

Фрол Минаев махнул рукой Корнею, чтоб не спешил к пленнику, что пленник дурачится. Корней, не поворачивая головы, глянул туда-сюда по сторонам — не видел ли кто, как он чуть не бегом кинулся к скованному по рукам и ногам человеку и даже за пистоль схватился — проверил — и, повернувшись, пошел опять к коню, медленно.

— Змей заполошный,— сказал негромко, себе под нос.— Ажник ноги подсеклись.

Степана истинно развеселила эта всполошка казаков.

— Вот, Фрол... говорят: не выливай помоев, заготовь сперва чистой воды. Правда. Всяко бывает... И так бывает: поехали пир пировать, а пришлось бы горевать.

— Да нет, тебе теперь уж не пировать,— тихо сказал Фрол.

— Как знать...— тоже тихо, глядя на затон, молвил Степан.

— Знаю. Это-то знаю.

— Ну а чего ж ты ишо хочешь узнать, Фролушка? — спросил Степан ласково.— Чего тебе сказать, друг мой любый? — Он повернулся к Фролу.

— Зачем в Кагальник-то пришел? Неужель уйтить некуда было? Я прям ушам своим не поверил, когда сказали, что сидишь.

Степан ответил не сразу. И ответил неясно:

— Спотычка была у меня в жизни... Горькая одна спотычка.— Он посмотрел в далекую даль, и боль явственная проглянула из его глаз, так, что он даже зажмурился. И опять молчал долго. Открыл глаза, глянул на свои руки и ноги, качнул горестно головой.— Вот за то и получил... эти пары.— Тряхнул железами, они покорно звякнули.

— Какая спотычка? — Фролу и правда было интересно.— У тебя много спотычек было. Какая же самая... горькая?

— Это я тебе не скажу. Другу сказал бы... Но у меня их не осталось. Вот на том свете свижусь с ним — покаюсь. Повинюсь.

— Жалеешь, что не убил меня? На степи-то? — спросил еще Фрол.

— Нет,— честно сказал Степан.— Нет. Гнался — хотел убить, потом — нет. Не знаю... как-то расхотел. Я тебя ишо один раз мог убить... теплого, в постеле. Был я однова в Черкасске. Ночью. Ты даже не знаешь...

— Знаю, Корней говорил.

— А-а. Ну вот: мог зайти, приткнуть к лежаку... Не стал.

— Ну, а чего ты хотел-то, Степан? Прости меня... не думал спрашивать, а охота.— Фрол жалостливо смотрел на скованного давнего друга.— Я и тогда спрашивал, только не понял...

— Хотел дать людям волю, Фрол. Я не скрытничаю, всем говорил. И тебе говорил, ты только не захотел понять. Мог-то ты мог — не захотел.

— А чего из этого вышло? — Вот это, главное, и хотел — не спросить — сказать хотел Фрол.

— А чего вышло? Я дал волю,— убежденно сказал Степан.

— Как это?

— Дал волю... Берите!

— Ты сам в цепях! Волю он дал...

— Дал. Опять не поймешь?

— Не пойму.— Фрол все смотрел на повергнутого атамана с жалостью и пытливо.

— Фрол...— Степан вдруг резко повернулся к нему, один миг смотрел — присматривался, от волнения даже пошевелился и глотнул.— Друг... сбей железы. Пока подбегут — успеешь...— Степан торопился говорить, говорил негромко и неотступно смотрел на Фрола.— Спомни дружбу, Фрол... Мы их одолеем, они сами не полезут... Фрол... милый... вас же обманно зовут на Москву: вас тоже покарают там. Откинут вас, как бревешки обгорелые,— вы ж тоже возле огня лежали. На кой вы им теперь? Сбей, Фрол: улетим, только нас и видали. А? Они, эти-то, не сунутся, Фрол!.. Ослобони только руки — иди тада, возьми меня! Да они и не сунутся. Фрол, друг...— Степан все смотрел на Фрола... и плакал. Черт знает какая слабая минута одолела, но — плакал. Светлые капли падали с ресниц на щеки, на усы, а с усов, подрожав, срывались.— Век не забуду. Неужель тебе бояры московские дороже? Мы уедем... Куда позовешь, туда уедем. С нами опять сила большая будет!...

— Опять он за силу!..— Фрол явно растерялся от таких нежданных, напористых, из самого сердца идущих слов Степана.— На кой она тебе?

— Ну, так уедем,— на все соглашался Степан.— Возьмем сотни две охотников — и в Сибирь. Что же за радость тебе, что мне снесут голову? И вам позор, и Дону всему... на веки вечные. Неужель ты спокойно помрешь после этого?! Да и не выпустют вас теперь с Москвы — вы тоже опасные, раз со мной знались. А ты-то... в дружках ходил. Подумай-ка, ты ж не дурак. Чего ж мы... сами лезем туда? Фрол! Сбей — скочим на коней — мы их тут же развеем, они и не рыпнутся. Ра́зи не так, Фрол?

Может, мгновение какое-то Фрол колебался... Или так показалось Степану. Но только он еще раз с мольбой сказал:

— Фрол, друг... спаси: доживем вольными людями. Не страх меня убивает, а совестно так жизнь отдавать. Веришь, нет — заноя от стыда душа обмирает. Это ж — перед всем-то народом... Сам теперь жалкую, что поехал тада в Кагальник — стих накатил какой-то. Мы ишо стрепенемся, Фрол!

— Без ума, что ли, бьюся? — сказал Фрол, не глядя на Степана. Встал и пошел прочь грузным шагом.

Степан отвернулся... Резко тряхнул головой, скидывая с ресниц слезы. Сплюнул.

Казаки были уже все верхами. Подъехали сажать на коней Степана и Фрола, они сами не могли сесть из-за цепей.

— Другой раз в казаки крестют нас, брат,— сказал Степан брату.— Первый раз — когда отец малык... Я про себя-то не помню, а с тобой — помню: вокруг церкви отец водил: тоже подсаживал да держал. Теперь тоже — подсаживают и держут, чем не крестины! Вот. А ты закручинился. Казаку, когда его один-то раз в казаки крестили, и то пропасть нелегко, а нас — по другому разу. Не тужи, брат, не пропадем.

Фрол Минаев через день пути сказался хворым и вернулся в Черкасск. Многие поняли: не хочет видеть казни Степана в Москве. Не хочет и близко быть к тому месту, где прольется кровь атамана, бывшего друга его.

Понял это и Степан. Долго после того караулил минуту, когда брат Фрол окажется близко и их не услышат; скараулил, стал наказывать брату тихо, просительно:

— Фрол... потерпи, как пытать станут, пожалей меня... Не кричи, не кайся.

Брат Фрол молчал.

— Потерпи, Фрол,— просил Степан, стараясь найти слова добрые, ласковые.— Что теперь сделаешь? Разок перетерпим, зато ни одну собаку не порадуем. Хоть память... хоть лихом никто не помянет.

— Тебе хорошо — ты погулял вволю,— сказал Фрол.

— Ну!..— Степан не знал, что на это сказать.— Фролушка, милый ты мой, потерпи: закричишь, все дело смажешь. Ради Христа, прошу... Сам Христос вон какие муки вынес, ты же знаешь. Потерпи, Фрол. Подумай-ка, сколь народу придет смотреть нас!.. А мы вроде обманем их. У нас отец хорошо помер, брат Иван тоже... Ты вот не видал, как Ивана удавили, а я видал — хорошо помер, нам с тобой не совестно за их было. Не надо и нам радовать лиходеев, не надо, Фрол, пожалей меня. Я любил тебя, зря, можеть, затянул с собой, но... теперь чего про это — поздно. Теперь примем все сполна... бог с ей, с жизней. Ладно, Фрол?

Фрол подавленно молчал. Что он мог сказать? — он не знал, как там будет, сможет ли он вытерпеть все.

— Фрол Минаев, смотри, отвалил,— подвел к концу Степан свою просьбу.— Знаешь пошто? Не хочет на наши муки смотреть — совестно. Вишь, ждут — сломаемся. Не надо, брат. Думай все время про ихные усмешки поганые — легче терпеть будешь. Смотри на меня: как я, так и ты. Будем друг на дружку глядеть — не так будет... одиноко. Это хорошо, что нас вместе: оии нам, дураки, силы прибавляют.

Лет через десять после того юный Афонька Разин, пасынок Степана, выпив лишка, стал резко и опасно говорить — в присутствии войскового атамана,— что-де он еще "пустит кой-кому кровя" за отчима — отомстит... Все так и ахнули. Подумали: пропал Афонька, малолеток, дурачок. Но войсковой только глянул на казачка... И, помолчав, грустно промолвил:

— Пусть сперва молоко материно на губах обсохнет. Мститель. Не таких...— И не досказал войсковой. Смолк.

Войсковым тогда был Фрол Минаев.

16

И загудели опять все сорок сороков московских.

Разина ввозили в Москву.

Триста пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди.

Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман — руки, ноги и шея его были прикованы цепями к столбам и к перекладине виселицы

Одет он был в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За телегой, прикованный к ней за шею тоже цепью, шел Фрол Разин.

Телегу везли три одномастных (вороных) коня.

За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки во главе с Корнеем и Михайлой Самарениным.

Заключали небывалое шествие тоже стрельцы с ружьями, дулами книзу.

Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну какую-то большую думу, и она так занимала его, что не было ни желания, ни времени видеть, что творится вокруг.

Так ввезли их в Кремль и провели в Земской приказ.

И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать.

— Ну? — мрачно и торжественно молвил думный дьяк.— Рассказывай... Вор, душегубец. Как все затевал?.. С кем сговаривался?

— Пиши,— сказал Степан.— Возьми большой лист и пиши.

— Чего писать? — изготовился дьяк.

— Три буквы. Великие. И неси их скорей великому князю всея-всея.

— Не гневи их, братка! — взмолился Фрол.— К чему ты?

— Что ты! — притворно изумился Степан.— Мы же у царя!.. А с царями надо разговаривать кратко. А то они гневаются. Я знаю.

Братьев свели в подвал.

За первого принялись за Степана.

Подняли на дыбу: связали за спиной руки и свободным концом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, между ног просунули бревно, один конец которого закрепили. На другой, свободный, приподнятый над полом, сел один из палачей — тело вытянулось, руки вывернулись из суставов, мускулы на спине напряглись, вздулись.

Кнутовой мастер взял свое орудие, отошел назад, замахнул кнут обеими руками над головой за себя, подбежал, вскрикнул и резко, с вывертом опустил смоленый кнут на спину. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал напухать и сочиться кровью. Судорога прошла по телу Степана. Палач опять отошел несколько назад, опять подскочил и вскрикнул — и второй удар рассек кожу рядом с первым. Получилось, будто вырезали ремень из спины. Мастер знал свое дело. Третий, четвертый, пятый удар... Степан молчал. Уже кровь ручейками лилась со спины. Сыромятный конец ремня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач сменил кнут.

— Будешь говорить? — спрашивал дьяк после каждого удара.

Степан молчал.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый — свистящие, влипающие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило палача. Умелец он был известный и тут озлобился. Он сменил и второй кнут.

Фрол находился в том же подвале, в углу. Он не смотрел на брата. Слышал удары кнута, всякий раз вздрагивал и крестился. Но он не слышал, чтобы Степан издал хоть один звук.

Двадцать ударов насчитал подручный палача, сидевший на бревне.

— Двадцать. Боевой час,— сказал он.— Дальше... без толку: забьем, и все.

Степан был в забытьи, уронив голову на грудь. На спине не было живого места. Его сняли, окатили водой. Он глубоко вздохнул.

Подняли Фрола.

После трех-четырех ударов Фрол громко застонал.

— Терпи, брат,— серьезно, с тревогой сказал Степан.— Мы славно погуляли — надо потерпеть. Кнут не архангел, душу не вынет. Думай, что не больно. Больно, а ты думай: "А мне не больно". Что это? — блоха укусила, ей-богу! Они бить-то не умеют.

После двенадцати ударов Фрол потерял сознание. Его сняли, бросили на солому, окатили тоже водой.

Стали нажигать в жаровнях уголья. Нажгли, связали Степану руки спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали горячие уголья на железный лист и положили на них Степана спиной.

— О-о!..— воскликнул он.— От эт достает! А ну-ка, присядь-ка на бревно-то — чтоб до костей дошло... Так! Давненько в бане не был — кости прогрелись. О-о... так! Ах, сукины дети,— умеют, правда...

— Где золото зарыл? С кем списывался? — вопрошал дьяк.— Где письма? Откуда писали?..

— Погоди, дьяче, дай погреюсь в охотку! Ах, в гробину вас!.. В три господа бога мать, не знал вперед такой бани — погрел бы кой-кого... Славная баня!

Ничего не дала и эта пытка.

Два палача и сам дьяк принялись бить лежащего Степана по рукам и по ногам железными прутьями.

— Будешь говорить?! — заорал дьяк.

— Июды,— сказал Степан.— Бейте уж до конца...— Он и хотел уж, чтоб забили бы насмерть тут, в подвале,— чтобы только не выводили на народ такого... слабого.

— Где добро зарыл?

На это Степан молчал.

— Заговорил? — спросил царь.

— Заговорит, государь! — убежденно сказал думный дьяк, не тот, что был при пытке, а другой, который часто проведывал Разиных в подвале: он истинно веровал в кнут и огонь.— Покамест упорствует.

— Спросить, окромя прочего: о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил и какая шуба?

Писец быстро записывал вопросы царя.

— Как пошел на море, по какому случаю в Астрахань ясырь присылал? Кому? По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил? За что вселенских хотел побить, что они по правде низвергли Никона и что он к ним приказывал? И старец Сергей от Никона по зиме нынешней прошедшей приезжал ли? Как иттить на Синбирск, жену видал ли?

Степана привязали спиной к столбу, заклячили голову в кляпы, выбрили макушку и стали капать на голое место холодную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть.

Когда стали выбривать макушку, Степан слабым уж голосом сказал:

— Все думал... А в попы постригут — не думал. Я грабил, а вы меня — в попы...

Началось истязание водой.

— С крымцами списывался? — спрашивал дьяк.

Степан молчал.

Капают, капают, капают капли... Голова стянута железными обручами — ни пошевелить ею, ни уклониться от му́ки. Лицо Степана окаменело. Он закрыл глаза. А на голове куют и куют красную подкову; горит все внутри, глаза горят, сердце горит и пухнет... Да уж и остановилось бы оно, лопнуло! Господи, немо молил Степан, да пошли ты смерть!.. Ну, сколько же?.. Зачем уж так?

— Куда девал грабленое? Кого подсылал к Никону?

Волнами из тьмы плещет красный жар; голова колется от оглушительных ударов. Степан стал терять сознание.

— Чего велел сказать Никон? — еще услышал он, последнее.

...Вошел Степан в избу, сидит в избе старуха, качает дите. Поет. Степан стал слушать, прислонившись к косяку. Бабка пела:

Бай, бай, да побай,
Хоть сегодни помирай.
Помирай поскорей —

Хоронить веселей.
Тятька с работки
Гробок принесе,
Баушка у свечки рубашку сошье.
Матка у печки
Блинов напеке.
Бай, бай...
С села понесем
Да святых запоем.
Захороним, загребем
Да с могилы прочь пойдем.
Будем исть-поедать,
Даи Ваню поминать.
Ба-ай...

— Что ж ты ему такую... печальную поешь? — спросил Степан.

— Пошто печальную? — удивилась старуха.— Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка:

Спи, Ванюшка, спи, родной,
Вечный табе упокой:
Твоим ноженькам тепло,
И головушке...

— Хватит! — загремел в былую силу Степан.

...Он почти прошептал этот свой громовой вскрик. Мучители не расслышали, засуетились.

— Что ты? А? — склонился дьяк.

— Кто? — спросил Степан, вылавливая взглядом в горящей тьме лицо дьяка.

— Кого хотел сказать-то? — еще спросил тот.

— Вам? — Степан медленно повел глазами, посмотрел на палачей.— Ну-у... выставились... Вы рады всю Русь продать... Июды. Змеи склизкие. Не страшусь вас...

Его ударили железом каким-то по голове. Опять все покачнулось и стало валиться.

Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал:

— Тяжко... Помоги, братка, дай силы!

...И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачнулись, попятились... В подземелье загремел сильный голос:

— Кто смеет мучить братов моих?!

Вниз со ступенек сошел Иван Разин, склонился над Степаном.

— Братка!..— Степан открыл глаза — палачи на месте, смотрят вопросительно.

— За брата казненного мститься хотел? — спросил дьяк.— Так?

Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. Ни единого стона или вздоха не вырвалось больше из его уст. Господи, молил и молил он, пока помнил, да пошли ты мне смерти. Ну, что же так?.. Так уж и я не могу.

Царю доложили:

— Ничего больше не можно сделать. Все пробовали...

— Молчит?

— Молчит.

Царь гневно затопал ногами, закричал (Романовы все кричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь немецкая, они не кричали):

— Чего умеете? Чего умеете?! Ничего не умеете!

— Все пробовали, государь... Из мести уперся, вор. За поимку свою мстится. Дальше без толку — дух испустит.

— Ну, и... все, будет,— сказал царь.— Не волыньте.

17

Красная площадь битком набита. Яблоку негде упасть.

Показались братья Разины под усиленной охраной. Площадь замерла.

Степан шел впереди... За ночь он собрал остатки сил и теперь старался идти прямо и гордо глядел вперед. Больше у него ничего не оставалось в последней, смертной борьбе с врагами — стойкость и полное презрение к предстоящей последней муке и к смерти. То и другое он вполне презирал. Он был спокоен и хотел, чтобы все это видели. Его глубоко и больно заботило — как он примет смерть.

Сам, без помощи палачей, взошел он на высокий помост лобного места. Фролу помогли подняться.

Дьяк стал громко вычитывать приговор:

— "Вор и богоотступник, и изменник донской казак Стенька Разин!

В прошлом 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады, и иные многих промышленных лю-

дей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил".

Слушал люд московский затаив дыхание.

Слушал и не слушал Степан историю славных своих походов. Он помнил их без приговора. Спокойно его лицо и задумчиво. Он старался изо всех сил стоять прямо.

— "Ты ж, вор, и в шахове области многое воровство учинил. А на море шаховых торговых людей побивал и животы грабил, и городы шаховы поимал и разорил, и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую".

Степан посмотрел на царскую башню на Кремлевской стене...

Оттуда смотрел на него царь Алексей Михайлович.

— "А во 177-м году по посылке из Астрахани боярина и воевод князя Ивана Семеновича Прозоровского стольник и воевода князь Семен Львов и с ним великого государя ратные люди на взморье вас сошли и обступили и хотели побить. И ты, вор Стенька с товарыщи, видя над собой промысл великого государя ратных людей, прислал к нему, князь Семену, двух человек выборных казаков. И те казаки били челом великому государю от всего войска, штоб великий государь пожаловал, велел те вашн вины отдать. А вы за те свои вины ему, великому государю, обещались служить безо всякой измены и меж великим государем и шаховым величеством ссоры и заводов воровских никаких нигде не чинить и впредь для воровства на Волгу и на моря не ходить. И те казаки на том на всем за все войско крест целовали. А к великому государю к Москве прислали о том бить челом великому государю казаков Ларьку и Мишку, с товарыщи, знатно, обманом".

Вот когда во всю силушку заговорила бумага-то! Вот как она мстила теперь.

— "А во 178-м году ты ж, вор Стенька с товарыщи, забыв страх божий, отступя от святые соборные и апостольские церкви, будучи на Дону, и говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова, и на Дону церквей божиих ставить и никакова пения петь не велел, и священников з Дону збил, и велел венчаться около вербы. Ты ж, вор, пошел на Волгу..."

Волга... Не ведомо ей, что славный герой ее, которого она качала на волне своей, слушает сейчас в Москве последние в жизни слова себе.

— "Ты ж, вор Стенька, пришед под Царицын, говорил царицынским жителям и вместил воровскую лесть, бутто их, царицынских жителей, ратные великого государя люди идут сечь. А те ратные люди посланы были на Царицын им же на

оборону. И царицынские жители по твоей прелести своровали и город тебе задали. И ты, вор, воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду".

Слушал народ московский. Молчал.

— "Ты ж, вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с раскату бросил. И брата его князя Михаила, и дьяков, и дворян, и детей боярских, которые к твоему воровству не пристали, и купецких всяких чинов астраханских жителей, и приезжих торговых людей побил, а иных в воду пометал мучительски, и животы их пограбил".

Степан смотрел куда-то далеко-далеко.

— "А учиня такое кровопролитие, из Астрахани пришел к Царицыну, а с Царицына к Саратову, и саратовские жители тебе город здали по твоей воровской присылке. А как ты, вор, пришел на Саратов, и ты государеву денежную казну и хлеб и золотые, которые были на Саратове, и дворцового промыслу, все пограбил и воеводу Козьму Лутохина и детей боярских побил.

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарыщи под Синбирск пришел, с государевыми ратными людьми бился и к городу Синбирску приступал и многие пакости починил. И послал в разные города и места свою братью воров с воровскими прелестными письмами, и писал в воровских письмах, бутто сын великого государя нашего благоверный государь наш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с тобой идет.

Да ты ж, вор и богоотступник, вмещал всяким людям на прелесть, бутто с тобою Никон монах, и тем прельщал всяких людей. А Никон монах по указу великого государя по суду святейших вселенских патриарх и всего Освещенного престола послан на Белоозеро в Ферапонтов монастырь, и ныне в том монастыре.

А ныне по должности к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу службой и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всево войска и сами вы и с братом твоим с Фролкой поиманы и привезены к великому государю к Москве.

И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу за измену и ко всему Московскому государству на разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить злою смертью — четвертовать".

Все так же спокойно, гордо стоял Степан.

Палач взял его за руку... Степан оттолкнул палача, повернулся к храму Василия Блаженного, перекрестился.

Потом поклонился на три стороны народу (минуя Кремль с царем), трижды сказал громко, как мог:

— Прости!

К нему опять подступили... Степан хотел лечь сам, но двое подступивших почему-то решили, что его надо свалить; Степан, обозлившись, собрал остатки сил и оказал сопротивление. Возня была короткая, торопливая; молча сопели. Степана уронили спиной на два бруса — так, что один брус оказался под головой, другой — под ногами... В тишине тупо, коротко тяпнул топор — отпала правая рука по локоть. Степан не издал стона, только удивленно покосился на отрубленную руку. Палач опять взмахнул топором; железное лезвие хищно всплеснуло на горячем солнце белым огнем; смачный, с хрустом, стук — отвалилась левая нога по колено. И опять ни стона, ни вздоха громкого... Степан, смертно сцепив зубы, глядел в небо. Он был бледен, на лбу мелкой росой выступил пот.

Фрол, стоявший в трех шагах от брата, вдруг шагнул к краю помоста и закричал в сторону царя:

— Государево слово и дело!

— Молчи, собака! — жестко, крепко, как в недавние времена, когда надо было сломить чужую волю, сказал Степан. Глотнул слюну и еще сказал — тихо, с мольбой, торопливо: — Потерпи, Фрол... родной... Недолго.

Палач третий раз махнул топором...

Гулко, зевласто охнул колокол. Народ московский дрогнул. Вскрикнула какая-то баба...

Палач рубил еще дважды.

Еще и еще били в большой колокол. И зык его — густой, тяжкий — низко плыл над головами людей...

ПОВЕСТИ

ТАМ, ВДАЛИ

Петр Ивлев рано узнал, почем фунт лиха. Осиротел в один год сразу, когда не исполнилось и четырех лет. Отец от воспаления легких, мать спустя три месяца — не разродилась девочкой.

Мальчика взяла сперва бабушка, потом, когда бабушка умерла, приютила вдовая тетка.

Петр с грехом пополам дотянул до пяти классов и пошел работать в колхоз.

Шла война. В колхозе работали глубокие старики, бабы и молодняк-подростки. Трудное было время.

Поедет, бывало, Петька на мельницу зимой... А мешки, каждый — пятьдесят-шестьдесят килограммов. Навалят на спину такую матушку и неси. А нести надо вверх по сходне: ноги трясутся, в глазах — оранжевые круги. Сходня — три-четыре сшитых тесины, поперек — рейки набиты. Обледенеет эта сходня, замызгают, загладят ее ногами, поскользнешься — мешок так и припечатает тебя к ней. Лицо — в кровь. И не занюнишь — товарищи рядом и старик мельник большой насмешник. Петька сплевывал солоновато-вязкую красную слюну и матерился. Материться он был мастер: дружки хохотали, а мельник одобрял:

— Так, Петька, легше будет.

Или за горючим в город ездили. Тулупишко драный, пимы третью зиму одни — подшитые-переподшитые, никакого тепла в них. А мороз — под сорок — сорок пять, дышать больно. И ехать не двадцать, не тридцать километров, а шестьдесят с гаком. Окоченеет Петька, спрыгнет с саней и бежит километр-полтора, пока не упреет. Так до самого города: половину едет, половину бежит. И не простывали как-то!

Был он парень не бойкий, но и не робкий. Если дело доходило до драки,— что частенько случалось среди ребят в те годы,— спуску не давал, стоял до конца. И был очень упрямый: что задумает — сделает. Будет ходить, думать... Изведется весь, а своего добьется. Захотел купить черный шерстяной костюм — увидел в городе, в ларьке. Ночами снился проклятый костюм. А денег нет. Думал-думал — надумал: повез зерно молоть и один куль свалил бабке

Акулине. (Бабка самогоном промышляла.) Попались. Бабке — год "принудиловки", Петьку простили по молодости и за то, что безотказный работник. Придумал другую штуку: в свободные вечера (а то и ночи прихватит) стал вырубать корытца. Едет с сеном или порожнем откуда, выберет березку поровней, срубит, завезет домой. Обсочит ее, напилит чурбачков и вырубает корытца. Наделает — и на базар. Так раз пять съездил в город, купил костюм. Выпал свободный день, Петька надел костюм, слегка напустил брюки на хромовые сапоги (весна была), сдвинул фуражку на бочок — из-под козырька горсть мягких русых волос — и так прошелся по селу. И все. Больше ничего не требовалось — разок пройтись таким образом.

С девками не хороводился — не знал, о чем с ними говорить. Попробовал проводить одну с вечёрки — всю дорогу молчал. Измучился. Проклял себя и зарекся провожать. А девки между тем заглядывались на него: был он не по годам рослый, с крепким, сильным, всегда обветренным лицом; взгляд хоть несколько угрюмый, но прямой и твердый. Внимательный.

С парнями тоже не любил много колготиться. Любил бывать один. А в основном — работал, работал, работал. В страдную пору день-деньской, от зари до зари, на жнейке. Приезжал на стан весь серый от горячей пыли, в голове еще звенит и стрекочет машина... Поужинает со всеми вместе и уйдет спать куда-нибудь к ближайшей скирде. Перед сном сидел иногда, привалившись к теплой соломенной стене, слушал поздних перепелов, шорох мышей в соломе, глуховатый поскок спутанных коней. О чем думалось?.. Неясно как-то. Смутно. Хотелось попасть в какой-то большой светлый город — не в тот, куда он ездил за горючим, а в большой, красивый, который далеко... И чтоб сам он — нарядный, веселый — шел рядом с городской девушкой и рассказывал ей что-нибудь, а она бы смеялась. И была бы она образованная... Чтоб руки у нее были мягкие, и чтоб не ругала она судьбу. Где он такую видел?..

Кончилась война. Тетка вышла замуж за фронтовика-инвалида, а Петр уехал в тот город, куда ездил за горючим, поступил в "ремеслуху".

Окончив училище, столярничал. Потом — армия. Отслужил и остался работать, где служил,— в большом городе. В деревню не поехал.

Жил на квартире у одной пожилой женщины, вечерами ходил в кино, случалось — на танцы, но не танцевал, а стоял в сторонке или пил с ребятами пиво в буфете. Вот тут-то —

на танцах, на улице — встречались такие, какие мерещились давно в деревне: нарядные, нежные, беспечные. Рядом с ними были молодые люди, вежливые и веселые. Петр с удовольствием смотрел на них. Купил шикарный костюм, шляпу, зачастил в театр. Однажды в антракте, в буфете, подошел к одной такой. Она стояла в сторонке, ела мороженое.

— Не простудитесь? — спросил Петр участливо. И через силу улыбнулся.

Девушка удивленно посмотрела на него и отошла. Петр ушел в курилку и одну за другой подряд высадил три "беломорины".

"Как же подходить-то к ним?" — думал. Было стыдно за свою улыбку и за дурацкий вопрос. Девушка не нравилась ему, но захотелось попробовать познакомиться. И вот — не вышло. Не большая беда, что сейчас не вышло, стыдно только. А если бы сильно захотелось? Ведь может так случиться.

Случилось иначе.

Кончилось лето. Осенью Ивлева вместе с другими рабочими послали в деревню помогать колхозникам убирать картошку.

Деревня, куда приехали, большая. Помощников понаехало больше, чем надо,— рабочие, студенты, служащие... Многие откровенно лоботрясничали, жгли на полях костры, дурачились.

Вечерами в деревне стало шумно. Возле клуба выставляли оглушительную радиолу и до глубокой ночи танцевали.

А вечера стояли хорошие — теплые, темные. С неба срывались звезды и, прожив маленькую, яркую жизнь, умирали.

Ивлев сидел на крыльце (он жил возле самого клуба, у колхозного бригадира), курил, слушал радиолу, женский смех...

Один раз, в субботу, засиделся до утра. Накурился до тошноты, пошел на край деревни, к озеру. Сел на берегу и стал смотреть, как в лучах восходящего солнца занимается огнем ветхая заброшенная церквушка. Оттого ли, что церковка отражалась в синей воде особенно чисто — как в сказке, оттого ли, что горела она в то утро каким-то особенным — горячим рубиновым светом и было удивительно тихо вокруг,— вдруг защемило сердце. Петр лег на землю, лицом вниз, вцепился пальцами в траву, заскрипел зубами... И — церковь, что ли, навеяла такую мысль — подумалось о боге, но странным образом: что женщина лучше бога. Тот где-то

далеко, а эти рядом ходят, и есть ведь среди них такая, с которой легко станет.

На другой день опять пошел к озеру — смотреть, как горит церквушка на закате. И встретил на улице Ольгу Фонякину. И остолбенел: такой женщины ему не доводилось видеть. Пошел за ней... Пошел, ни о чем не думая, не подумал даже, что потом опять будет стыдно. Ольга оглянулась.

— Здравствуйте,— сказал Петр.

— Здравствуйте.

Петр ласково, как мог, улыбнулся — его пугала красота женщины. И удивляла. Он стоял и смотрел на неё. Она тоже посмотрела на него, спокойная, рослая, гладкая.

— Вы что, обозначились? — спросила она.

— Нет.— Петр не знал, что говорить.

У Ольги насмешливо дрогнули уголки губ; она повернулась и пошла прочь.

Ивлев все смотрел на нее. Странно: он не запомнил ее лица. Он даже не был сейчас уверен: красива она или нет. Помнил только, как насмешливо дрогнули уголки ее губ.

Ивлев вернулся домой, надел выходной костюм и пошел к клубу.

Ольга стояла в кругу девушек. Рядом толпились парни. Радиола еще не гремела, еще только налаживали ее.

Ивлев подошел к Ольге.

— Отойдемте в сторонку,— вежливо сказал он.

Ольга не удивилась, улыбнулась ему, как знакомому, только улыбка у нее вышла опять насмешливая, как будто хотела сказать: "Знала, что подойдешь, вот и подошел".

— Зачем?

— Мне надо сказать пару слов...— У Петра от волнения перехватило горло. Он замолчал и уставился на Ольгу.

Ольга негромко засмеялась. Засмеялись и те, кто стоял близко. У Ивлева от стыда, от любви и злости свело затылок. Он тоже улыбнулся и, сам не понимая, что делает, вернее, понимая, что делает глупо, взял женщину за руку и хотел отвести в сторону. Ольга оттолкнула его... И тут — как из-под земли вырос — появился чернявый парень, броско красивый тонкой южной красотой.

— Одну минуту,— сказал он с акцентом.— В чем дело?

Ольга с любопытством смотрела на Ивлева.

Чернявый ловко оттер Петра в сторону, взял за локоть и, немножко рисуясь, проговорил:

— Здесь вам делать нечего, молодой человек.

В глазах Ивлева стояла Ольга — смотрела на него. Теперь он запомнил ее лицо — красивое, сытое, очень спокойное. С каким любопытством она смотрела!.. Впрочем, она показалась усталой.

— Вы меня поняли?

— Нет.

Чернявый смело улыбнулся.

— Объяснить?

— Объясни.

Чернявый оглянулся для пущей важности, взял Ивлева за грудки, встряхнул.

— Я говорю: уйти надо.

Петр хотел оторвать от себя руку чернявого, но она точно приросла — парень был цепкий.

— Отпусти,— сказал Ивлев,— не надо... А то ударю.

— О? — Парень сильно рванул его на себя, отпустил и дал пинка под зад.— Чтоб я тебя больше здесь не видел!

Драться не хотелось — злости не было. В глазах стояла насмешливая, умная, красивая Ольга, и было все равно: драться — драться, обнять чернявого — обнял бы... Душа ликовала. Почему-то именно в этот момент, совсем неподходящий, он поверил: пришла любовь.

Он взял чернявого за руку:

— Отойдем подальше, я тебе все объясню.

Отошли.

Чернявый, ни слова не говоря, больно ткнул Петра в грудь. Тот, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. Дрались без азарта... Чернявый пытался боксировать, но не умел, прыгал, делал обманные движения и схватывал по лбу гораздо чаще. Их разняли. Чернявый успел разорвать Петру новую рубаху до пупа и разбил в кровь губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз.

Ивлев, как только их растащили, ушел домой, умылся, надел другую рубаху... И опять пошел к клубу. Опять подошел к Ольге.

— Меня Петром зовут,— сказал он.— А вас как?

У Ольги азартно заблестели глаза. Ей нравилось безрассудное упрямство парня. Петр сам не ждал от себя такой нахрапистости. Все в нем ликовало; вся нерастраченная горячая сила двадцати четырех прожитых весен выплеснулась из груди, ударила в голову. Он ошалел.

— Отойдемте на минутку...

— Мне здесь хорошо.

— На минуту... Чего вы? — Ивлев улыбнулся разбитыми губами. Он не знал, что он сказал бы, если бы она отошла. Все было не важно. Хотелось смотреть и смотреть на Ольгу.— Боишься, что ли?

— Ты сам-то не боишься?

— Нет.

— А тебе не кажется, что ты нахал?

— Нет, что ты!

— А мне кажется.

— Перестань... Никогда я нахальным не был.

Тут опять подскочил чернявый.

Ольга отошла от них.

— Я провожу ее сегодня домой,— заявил Петр.— Понял? Не смотри на меня так, а то другой глаз закрою.

Чернявый задохнулся от возмущения. Некоторое время молчал.

— Ты что? — спросил он.

— Ничего. Иди за мной.— Ивлев пошел за клуб — от света. Чернявый — за ним.

"Посмотрим",— зло, упорно думал Петр. Его взбесило упрямство Ольги.

Он слышал, что сзади, с чернявым вместе, идут еще двое.

Шли долго — подальше от людей. Петр шагал не разбирая дороги. Он понимал, что трое могут всыпать ему, но остановить его это не могло — Ольга стояла в глазах.

Перелезли через прясло в чей-то огород. Зашуршала под ногами картофельная ботва.

"Хватит",— решил Петр.

— Иди, иди,— с дрожью в голосе сказал чернявый и толкнул его в спину.

— Ударишь сзади — изувечу насмерть,— предупредил Петр. Его слегка начало трясти.

Неожиданно тишину ночи просверлил противный милицейский свисток: их догоняли.

Все четверо остановились.

— Милиция,— сказал один из парней.— Все. Свадьбы не будет.— Сказал как будто даже с облегчением — слишком уж нехорошо и решительно был настроен Петр.

Подошел милиционер.

— Ну-ка, кончайте канитель! Давайте, давайте... Давайте разойдемся.

Чернявый и два его товарища ушли.

Петр закурил с милиционером. (Милиционер был молодой парень.)

— Влюбился, что ли? Мне сказали...

— Влюбился,— честно сказал Петр.

— Н-да... Интересно, между прочим: когда влюбляются, малость дураками делаются. Другой бы подумал: куда к черту — одному на троих? А тебя понесло.— Вышли из огорода, направились к клубу.— Я по себе погонюсь: я, значит, когда влюбился,— а она за рекой жила, жена-то моя теперь,— дак я ночью к ней через реку плавал. А ночь! Вода холодная — сведет судорога, и все, конец. Нет — плыл, дурачина!

— Она где живет, не знаешь? — спросил Петр.

— Кто?

— Эта... Ну, эта!..

— Она — там,— неопределенно сказал милиционер. Помолчал и добавил: — Мой тебе совет: отстань от нее.

— Почему?

— По-моему... черт ее знает, конечно, но, по-моему, она... это... того. Я уж со вторым ее здесь замечаю. До черненького еще один был. Тот уехал чего-то. Красивая, конечно... А они все красивые — балованные. Измучаешься с такой: пойдешь куда-нибудь — вся душа изболит. На ее же оглядываются! Тут нервы да нервы надо. Каждый раз драться не полезешь...

— Она откуда?

— Секретарша, однако... С учреждения какого-то. А откуда — не знаю. У нас тут чуть не со всего света. Понаедут, все молодые,— конечно, порядка не будет.

— А живет где? — снова спросил Петр.

— Там... у одной старухи. Возле сельмага. Ты не затевай ничего, а то мне и так третьего дня выговор сунули: "Следи!.." Уследишь за вами.

— Нет, я просто так спросил.

У клуба уже никого не было. Разошлись.

Петр попрощался с милиционером, пошел домой. Отошел метров двадцать, подождал, когда милиционер повернул в темный переулок, и скорым шагом направился к сельмагу. Шел и думал: "Что я делаю?" Хотелось еще раз увидеть Ольгу. Это было выше сил.

И вдруг он их встретил.

Чернявый шел в обнимку с Ольгой, что-то негромко рассказывал. Ольга молчала.

Ивлев первый узнал их — по голосу чернявого. Загородил дорогу. Ольга испуганно вскрикнула, а ее кавалер ошалело уставился на своего недруга.

— Мне надо поговорить с тобой,— сказал Петр, в упор глядя на Ольгу.

Она молча обошла его и стала быстро удаляться. Чернявый не знал, что делать: догонять ее или оставаться с Ивлевым выяснять отношения.

— Как ее зовут, слушай? — спросил Петр.

Тот молчал.

Петр пошел за Ольгой.

Чернявый догнал его, схватил сзади за ворот... Петр обернулся, и чернявый отскочил — уверенность покинула его. Страшное упорство незнакомого парня действительно могло испугать. Наверно, потому же уходила и Ольга — напугалась.

Петр догонял ее.

Чернявый некоторое время шел за ними. Петр на ходу вывернул кол из плетня; чернявый отстал.

Сердце Петра колотилось где-то в горле; впереди, недалеко, белела кофта Ольги.

Петр догнал ее.

— Подожди!.. Не бойся ты меня.

— Что тебе нужно? — Ольга сбавила шаг.

— Слушай...— Ивлев взял ее за руку, остановил.— Почему ты не хочешь даже поговорить со мной? Я же не бандит какой-нибудь... Я сам не знаю, что со мной творится.

Ольга некоторое время молчала. Руки не отняла.

— Тебя ведь изобьют сейчас,— сказала она.

— Пусть. Не изобьют...

— Они придут сейчас...

— Как зовут тебя?

— Странный человек! — Опять любопытство появилось в ее глазах, только теперь внимательное, серьезное.— Непонятный.

— Влюбился,— сказал Петр.— Никогда так не было...

Ольга засмеялась.

— Кто же так делает, дурной?

— Как?

— Так... Я ведь тоже человек.

— А как надо?

Ольга пожала плечами.

— Ты даже не знаешь, как зовут меня. И уж в любви объясняешься...

В улице раздался топот нескольких пар ног.

— Беги! — негромко сказала Ольга. Вырвала руку и быстро пошла. Обернулась, еще раз сказала: — Уходи!

Первым бежал чернявый...

Сошлись сразу. Молча. С чернявым были те двое. У всех колья. Петр не успел бросить свой — забыл.

...Удары звучали мягко, тупо. Сопели, кхэкали, негромко ругались... Петр крутился меж трех колов. Доставал своим то одного, то другого, то третьего. Чаще попадало чернявому. Не заметил Петр, кто из троих изловчился и тяпнул его по голове. В глазах лопнул и рассыпался искрами огненный шар. Петр враз оглох, выронил кол и, схватившись за голову, боком стал садиться на дорогу. Его оттащили к плетню и ушли, сморкаясь и отхаркиваясь.

Очнулся Петр глубокой ночью. Долго припоминал, где он и что произошло. Голову раскалывала страшная боль. Даже тошнило от боли. Он с трудом приподнялся, сел, привалился спиной к плетню. И вдруг все вспомнил... Вспомнил, как держал Ольгу за руку, как она засмеялась и сказала: "Кто же так делает, дурной?" Вспомнил и троих с кольями.

"Крепко угостили".

Вдруг он увидел — невдалеке замаячила знакомая белая кофточка. Ольга осторожно шла вдоль плетня.

Петр притаился зачем-то. И в эти несколько минут, пока она, не видя его, шла к нему, он, как в миг гибельной опасности, вспомнил разом всю свою не такую уж долгую жизнь, все мечты свои. И с великим облегчением подумал: "Теперь будет все хорошо".

— Я здесь,— сказал он.

Ольга вздрогнула, схватилась за сердце.

— Ох... ты?

— Иди, сядь со мной.

— Избили.— В голосе Ольги была неподдельная жалость. Она села рядом. На Петра пахнуло странно знакомым и родным теплом — легко сделалось, даже боль в голове унялась.— Говорила ведь — не послушал.

— Завтра мы уедем отсюда.

Ольга всмотрелась в него.

— Что? — спросил он.

— Посмотрим.— Она бережно обняла его, погладила ладошкой избитую голову.— Сильно побили-то?

— Ничего,— сказал он.— Пройдет.

...На третий день они уехали из деревни.

И началась эта новая жизнь.

Ивлев переехал в город, где работала Ольга. Он устроился на стройку, в бригаду отделочников.

Сняли на краю города квартиру в частном доме — полдома... И пошли кривляться неопрятные, бессмысленные дни и ночи. Точно злой ветер подхватил Ивлева и поволок по земле.

Кого только не видел он вечерами в своей квартире! Какие-то неприятные молодые люди с обсосанными лицами, с жиденьким нахальным блеском в глазах, какие-то девицы в тесных юбках. Девицы садились с ногами на диван и мучили Ивлева белыми тупыми коленками. Приходили полуграмотные дяди с красными лицами, беззаботно похохатывали... Эти, кажется, где-то что-то приворовывали, перепродавали с помощью молодых — денег было много. Часто пили дорогой коньяк, шампанское. Молодые были модно одеты, ужасно много болтали: про общих знакомых, про фильмы, про певцов и певиц... Приносили магнитные пленки с записями, и тогда в квартире визжало, мяукало, стонало, выло. Молодые с удовольствием слушали. Ивлев подозревал, что они притворяются. Много острили, смеялись. Чем они занимались, он так и не узнал до конца. Некоторые, кажется, учились, другие, как Ольга, работали. Где? — черт их разберет. О работе не говорили. Дяди налегали на коньячок, заигрывали с девушками.

Сперва Петр удивлялся — не знал он, что так тоже можно жить. Потом душа его глубоко возмутилась.

Между ним и этими людьми завязалась глухая, нешуточная война.

Началось со свадьбы.

Грянула она, крикливая, через неделю после того, как они приехали.

Много пили. Упившись, завыли иностранные песни и, потные, развинченные, взявшись за руки, пели хором:

Лиза-Лиза-Лизавета,
Я люблю тебя за это.
И за это, и за то —
Вот и боле ничего!

Некто пьяный, с голубыми вылинявшими глазами, все пытался бить посуду. Его держали за руки и объясняли:

— Нельзя! Не-льзя, понял?

Пышногрудая девица переплясала трех парней, вышла на четвертого и свалилась. Хохот, визг... А девица — лежит. Поняли: с ней плохо. Вынесли в сени на свежий воздух.

То в одном углу, то в другом начинали громко выяснять отношения и пытались драться.

Ольга и в этой пьяной, безобразной хляби оставалась красивой. Распустила по плечам тяжелые волосы, засучила рукава кофты и, улыбаясь, ходила среди гостей, дурачилась. Ей вроде нравилась эта кутерьма. Когда она плясала, то так бессовестно и с таким искусством играла крупным телом своим, что у видавших виды молокососов деревенели от напряжения лица. Петр в такие минуты особенно жгуче любил ее и ненавидел.

Кряжистый дядя, по фамилии Шкурупий ("Шкура" — называли его), пьяный меньше других, хитрый и умный, постучал вилкой по графину.

— Ти-ха! Сичас жених споет нам! Просим!

Откуда он, паразит, взял, что жених поет? Может, решил просто поиздеваться?

На жениха вообще-то не обращали внимания, не замечали. А тут посмотри — действительно, сидит жених.

— Давай!.. Але! Женихало петь будет, хэх!..

Кто-то не понял, в чем дело, заорал:

— Горька-а!

Кто-то продекламировал:

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной!..

— Да ти-ха! — опять закричал Шкурупий.— Просим жениха!

Когда так заорали, Петр заметно побледнел и, стиснув зубы, сидел и смотрел на всех злыми глазами.

— Жених, дэва-ай! — стонала своенравная свадьба.

Ольга посмотрела на мужа, подошла к нему, положила на плечо тяжелую горячую руку, сказала требовательно:

— Спой, Петя.— Как кипятком ошпарила.

— Перестань,— негромко сказал он.

Человек с вылинявшими глазами пробрался к ним, облапил Петра сзади и, обдавая теплым перегаром, заговорил:

— Есенина знаешь? Спой Есенина.— И крикнул всем: — Вы, щас — Есенина!

Его не услышали.

Петр сшиб с себя руки пьяного, встал и пошел на улицу.

Был тусклый поздний вечер, задумчивый, не по-осеннему теплый. Кропотливо, въедливо доделывала свое дело осень.

Это — двадцать пятая в жизни Петра Ивлева, самая нелепая и желанная.

Он ушел в дальний конец двора, сел на бревно, уперся локтями в колени, задумался... Собственно, дум никаких не было, была удушающая ненависть к людям, визг, суетню и топот которых он слышал и здесь.

Из дома кто-то вышел. Петр вгляделся, узнал Ольгу, позвал.

Ольга подошла, села на корточки перед ним.

— Ну что?

— Этот бардак надо разогнать,— сказал Петр.— Пусть догуляют сегодня и забудут сюда дорогу.

Ольга ответила не сразу.

— Мне весело с ними,— сказала нехотя.

— Неправда. Ты просто... от скуки.

Ольга опять долго молчала.

— С тобой-то разве веселее, Петя? Нет.

Петра передернуло от ее слов.

— Правда, что ли?

— Правда.

— Хм...— Он не знал, что говорить. Решил быть тоже спокойным.— Неделю прожили... и уже? Месяц-то протянем?

— Не знаю.— Ольга говорила серьезно, трезво.

Петра слегка начало трясти. Хмель, какой был, вылетел из головы: спокойствие Ольги было неподдельно.

— Ты что говоришь-то? Ты думаешь?

Ольга вздохнула, положила голову ему на колени, сказала, как говорят прочувствованное:

— Опротивело все. Никого я не люблю и ничего не хочу... Плевать на все. Не могу любить. Думала, сумею,— нет.

Петр вконец растерялся.

— Выпила лишнего. Я сейчас пойду выгоню всех, ты ляжешь и отдохнешь... Надо отдохнуть.— Говорил и сам понимал: не то.

— Не в этом дело.

— А в чем?

— Я устала.

"От чего? — изумился про себя Петр, но сказать это вслух не решился. Подумал про тех, в доме: — Довели они ее, сволочи, закружили".

— Побудь здесь, я сейчас приду.

— Куда ты?

— Спичек нет, пойду прикурю.

Ольга села на бревно, тоже склонилась, сказала негромко, с грустью:

— Не шей ты мне, матушка... Не надо...

Ивлев вошел в дом.

— Так! — громко обратился он ко всем.— Собирайте шмотки и вытряхивайтесь отсюда!

Те, кто услышал это, остановились, замолчали, с интересом смотрели на него.

— Я кому сказал?! — заорал Ивлев.— Марш отсюда! И больше чтоб ни одна сволочь не появлялась здесь!

Теперь его слушали все. Прямо перед ним стоял без пиджака человек с вылинявшими глазами.

— Ты на кого это, сопля, голос повысил? — спросил он довольно трезво.— А? Вошь, ты на кого орешь? Ты чье сегодня жрал-пил? А?

— Семен! — предостерегающе сказал Шкурупий.

Семен двинулся на Ивлева.

— Ты на кого голос повысил?!

Петр, не дожидаясь, когда набычившийся Семен кинется на него, сам выступил вперед и хлестко дал ему в челюсть. Семен, взмахнув руками, мешком стал падать. Его подхватили. И сразу, как по команде, на Ивлева бросились четверо. Так дружно кидаются на постороннего, на чужого в своем пиру. Ивлев отпрыгнул в сторону, сорвал со стены ружье, взвел курки...

— Постреляю всех, гадов,— сказал негромко.

Четверо наскочивших попятились от ружья. Зато Семен, очухавшись от удара, опять полез на хозяина. Его схватил сзади Шкурупий... Семен стал вырываться, Шкурупий отпустил его и, развернувшись, ахнул кулаком по морде. Семен рухнул на пол, как куль с овсом.

— Пошли. Действительно поздно уже,— спокойно сказал Шкурупий, глядя на Ивлева маленькими пронзительными глазами.— Спасибо, хозяин, за угощение.

"Этот припомнит мне",— подумал Петр.

Пока разбирались с одеждой, пока одевались, он стоял в стороне с ружьем, караулил движения парней. Кто-то хихикнул и сказал негромко:

— Весело было нам.

И тут вошла Ольга. Остановилась на пороге, пораженная диковинной сценой. Посмотрела на Петра, ничего не сказала, только прищурила глаза. Тоже оделась и ушла вместе со всеми. Случилось все это как-то поразительно быстро.

Потянулась бесконечная ночь. Петр сперва ходил по комнате, мычал от бессильной ярости, думал:

"Придешь, никуда не денешься. Подумаешь — обидел сволочей".

Потом стало невмоготу. Сел к столу, начал пить. Но сколько ни пил — не брало. Только на душе становилось еще муторнее. Он выругался, встал и опять начал ходить.

"Неужели совсем ушла?"

Взял ружье, заглянул в казенник — пусто. Знали бы об этом парни давеча. Полез под кровать — там в чемодане хранились патроны. Достал их, зарядил оба ствола.

— Ну и что? — спросил сам себя, остановившись посреди комнаты.

В сенях послышалась какая-то возня. Петра как током дернуло... Выскочил из комнаты — стоит та самая девица, с которой давеча стало плохо. Шарит руками по стенке — ищет дверь.

Петр прислонился спиной к косяку, уставился на нее.

— Что? — спросила девица.

— Очухалась?

— А где все?

— Ушли. Крепко ухлесталась, сердешная.

Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете.

— Все ушли?

— Все.

Петр повесил ружье на место; тут только девица обратила внимание, что хозяин стоял с ружьем. Вопросительно посмотрела на него.

— Похмелиться хочешь? — спросил Петр; ему стало легче — хоть одна живая душа есть.— Голова-то болит небось?

— Ты что, стреляться хотел?

Петр налил ей коньяку. Себе тоже.

— Давай.

— Что-нибудь случилось? — спросила девица.

— Нет.

— Драка была?

— Да нет, ну тя к дьяволу! Не знаю я ничего, сам пьяный был.

Девица выпила, сморщилась, закрутила головой. Петр сунул ей лимон, она оттолкнула его.

— Дай закурить лучше.

— Эхх!..— не вытерпел Ивлев.— Бить тебя некому! Девушка...

Девица прикурила, затянулась несколько раз, глубоко вздохнула и сказала облегченно:

— Вот...— Села на стул.

— Неужели не стыдно так жить? — спросил Петр.— Или тут уж про совесть говорить не приходится?

Девица посмотрела на него, как на стенку, безучастно.

— Думаешь, Ольга тебя любит? — спросила. Улыбнулась — губы припухшие, чувственные; осоловелые глаза поражают покоем и покорностью. Красивая вообще-то.— Можешь не волноваться — не любит.

— Заразы вы! — с дрожью в голосе громко сказал Ивлев. Сорвался с места, заходил по комнате.— Поганки на земле, вот вы кто! — Остановился перед девицей, стиснул кулаки в карманах, чтобы унять дрожь.— Шелк натянула! Ногами дрыгать научилась?..— Дрожь не унималась; Ивлев побледнел от ярости и обиды, но слов — убийственных, разящих — не находил.— Что поняли в жизни?.. Жрать! Пить! Ложиться под кого попало!.. Сволочи.— Он сразу устал — понял: ничего не доказать.

Девица презрительно смотрела на него. Усмехнулась.

— Ольгу не лапайте! — опять взвился Ивлев.— Она вам не пара! Я вас отважу от нее.

— Посмотрим.

— Я вас каленым железом выжгу из города. Вы же воруете, гады, я же знаю. Эти, мордастые, воруют, а вы сбываете. Скоро эта лавочка закроется.

— Сколько времени сейчас? — спросила девица.

— Не знаю. Утро.— Ивлев кивнул на окно — на улице светало.

— Ольга с ними ушла?

Петр не ответил, взял свою рюмку, выпил. Напомнили об Ольге, и опять заныла душа.

Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати свою шляпку, плащ... Остановилась на пороге перед тем, как выйти.

— Насчет лавочки...— это доказать надо, а то...

— А то что?

— Ничего. Нечего зря на людей говорить.

— А я не говорю на людей, я на паразитов говорю.

— Вот так. А то быстро заткнут рот.

— Иди отсюда,— негромко, сквозь зубы сказал Ивлев.— Пошла — иди.

Девица ушла.

Ольга пришла на другой день к вечеру.

Петр прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил тяжкий запах попойки... Сидел у окна, положив подбородок на кулаки, смотрел на улицу — ждал жену. Он ждал ее весь день. Утром сходил на стройку, отпросился у бригадира, пришел и сел ждать.

Ольга вошла тихонько... Дверь на улицу была открыта. Петр не слышал, как она вошла. Она кашлянула. Петр вздрогнул, оглянулся... С минуту, наверно, смотрели друг на друга.

— Ну? — спросил Петр.

— Что?

— Нагулялась?

Он встал, подошел к жене, взял в руки ее голову, жадно поцеловал в мягкие губы... Она стояла покорная, смотрела на мужа с вялым любопытством.

— Где была-то?

— Там,— кивнула она.— Петя... Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а тяжело как-то.

— Устала просто. Это — психика,— авторитетно сказал Ивлев.— Надо отдохнуть, и все пройдет.

— Как отдохнуть?

— Так. Спокойно пожить, не дергаться, не беситься до утра.

— Спокойно — значит, скучно. Не хочу.

— Сядем потолкуем,— предложил Петр.— Поесть хочешь?

— Петя, ты, наверно, хороший парень, тебе, наверно, нужна хорошая жена...

— Перестань, завела панихиду какую-то. Сядь.— Ивлев посадил ее на кровать, а сам стал ходить.— Ты малость не так начала жить,— заговорил он уверенно.— Я тебя хорошо понимаю. Бывает так: идешь где-нибудь — в лесу или в поле, доходишь до такого места, где дорога расходится на две. А места незнакомые. По какой идти — неизвестно. А идти надо. И до того тяжело это — выбирать, аж сердце заболит. И потом, когда уж идешь, и то болит. Думаешь: "А правильно? Может, не сюда надо было?" Так и в жизни, по-моему: надо дорогу знать...

— Ты знаешь?

— Я?..— Петр никогда не думал так о себе: знает он или не знает.— Я одно знаю: ты поворачиваешь не туда.

— Господи, какой умница: туда, не туда... А куда надо, скажи? — Ольга прилегла на подушку, закрыла глаза.

Петр минуты две ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он понимал, что разговор важный.

— Эти... друзья твои... я их не виню,— осторожно заговорил он.— Бывает — сами по себе хорошие люди, но запутались и других путают. Они научат...

— Я старше их... Больше видела. В свое время газеты читала...

— Это неважно. Я докажу, что они запутались. Первое: они ни черта не делают. Как так можно? Да возьми ты, к примеру, первобытное общество — там же все работали! А кто не работал, тому голову разбивали дубиной.

— Мы не в первобытном обществе,— нехотя возразила Ольга.

— Тем более!

— Как это ничего не делают? Одни учатся, другие работают... А время проводят, как хотят, никому до этого нет дела.

— Они воруют! — сорвался на крик Ивлев, но взял себя в руки.— Работают... Где это можно так работать, чтобы коньяк чуть не каждый день пить? Иди поинтересуйся: часто рабочий человек коньяк пьет?

— Голову на плечах надо иметь.

— А у меня что, тыква? Чем я хуже их?! Я вот с таких лет работаю...

— Ну и работай. От каждого — по потребности. Чего ты обижаешься? — Ольга, кажется, нарочно злила мужа и сама начинала злиться.— Ты — рабочий, гордись этим. А они — хлюпики, стиляги... Чего они тебя волнуют?

Петру вспомнились нарядные, нагловатые парни, ленивые улыбки их... И ярость опять охватила его.

— Они народ обворовывают! Работают! Вижу я, как они работают. Подружка твоя учится?! Она что, знать больше хочет?! Ей, гадине, лишь бы диплом получить да сесть на шею кому-нибудь... Думаешь, это интеллигенты?

— Сволочь ты,— откровенно зло и резко сказала Ольга. Села, посмотрела на мужа уничтожающим взглядом.— Верно сказал: тыква у тебя на плечах. Чего ты на людей налетел? Научился топором махать — делай свое дело.

Этот отпор Ольги был так неожидан, что Ивлев сперва растерялся. Молчал.

Ольга встала с кровати, мельком оглядела комнату.

— Я ухожу. Совсем. Люди, о которых ты говоришь,— не такие уж хорошие. Никто не обманывается, и они сами тоже.

А ты — дурак. Загнали тебя на "правильную дорогу" — шагай и помалкивай. Кто тебе дал право совать нос в чужие дела?

Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева.

"Сейчас ударю",— подумал он и не двигался с места, слушал слова, от которых у него, казалось, распухали уши.

— Чем ты лучше этих людей? Они умнее тебя, честнее, если хочешь знать. Сознательный... Если тебе за твою работу дадут в два раза больше, ты половину отдашь народу? Трепач... Я думала, ты парень... мужчина... Сопляк. Научили десять слов говорить — живи с этим, хватит. В первобытном обществе и этого не знали. Прощай.— Ольга направилась к выходу.

Ивлев подошел к двери, толкнул жену на кровать.

— Сядь. Объясни мне, я не могу понять: неужели...

Она встала и пошла грудью вперед.

— Уйди. Прочь! — Глаза совсем чужие. Ненавидящие.

Петр опять толчком посадил ее. Она встала и опять пошла...

Трижды сказала:

— Прочь с дороги! Вон! Ненавижу тебя!

"Все",— понял Ивлев.

Ольга вышла.

Больно стало Ивлеву, так больно!.. Показалось: не хватит сил превозмочь эту боль.

Ольга не пришла на другой день. Не пришла она и на третий и на четвертый. Петр ждал ее вечерами, она не шла.

На пятый день вместо нее пришла с чемоданом та самая девица, с которой Ивлев беседовал после свадьбы.

— Здравствуйте,— вежливо сказала она.

Петра удивила такая ее вежливость.

— Здравствуй.— Он приготовился услышать что-нибудь о жене. "Мириться, наверно, хочет. Слава те, господи".

— Ольга попросила взять кое-какие ее вещи. Нужно...

— Пусть сама придет.

— Она не придет никогда.

У Ивлева упало сердце.

— Тогда ничего не получите.— Сказал и сам не понял: зачем?

Девица уставилась на него укоряющим взглядом.

— Как не стыдно...

— Нет, это вам как не стыдно?! Сбили человека с панталыку да еще вякаете, приходите! Закрой дверь с той стороны.

Помолчали.

"Зря разоряюсь,— подумал Ивлев.— Кому доказываю?"

— Забирай, что надо, и уходи.

— Я только попрошу на минуту выйти.

— Зачем?

— Нужно... Я буду женские вещи брать.

— Ну и бери, что ты пионерку из себя строишь? Юбки, что ли, бюстгальтеры? Забирай, не стесняйся — я это видел.

— Все равно... Я прошу выйти,— уперлась на своем девица.

Ивлева кольнула догадка: "А юбки ли ей нужны-то? Может, вовсе не юбки?"

— Бери при мне.

— Нет.

— Тогда будь здорова.

— Как не совестно!

— Ты только насчет совести... не надо, слушай.

— Выйди на пять минут. Неужели трудно?

— Трудно.

"Не за юбками ты пришла, милая, нет. За чем-то другим".

— Не выйдешь?

— Не выйду.

— Но я прошу... как мужчину, как джентльмена.

— Я же — "дяревня", я этого не понимаю.

— Скотина.— Девица повернулась и вышла, крепко хлопнув дверью.

Ивлев принялся искать то, за чем приходила нарочная. И сразу почти нашел: в диване, под сиденьем, лежали заготовки для женских туфель. Пар на двадцать. Ивлев долго перебирал в руках это богатство. Хром был высокого качества, светло-коричневый, мастерской выделки.

"Сапожники,— ядовито думал Ивлев.— Я вам устрою". Об Ольге, что она причастна к воровским делам, он почему-то не подумал. Напротив, захотелось скорей доказать ей, ткнуть носом: вот они, твои хорошие, умные!

Он собрал весь материал в вещмешок, дождался, когда на улице малость стемнеет, и пошел с мешком в милицию.

— Мне нужен начальник,— заявил он дежурному офицеру.

— Зачем?

— Ему скажу. Лично.

— Говорите мне, какая разница? — обиделся офицер.— В чем дело-то?

— Я сказал: буду говорить только с начальником.

— Его нет сейчас.

— Тогда я завтра приду.

— Подождите... Дело-то важное?

— В общем... не маленькое.

— Сейчас вызову, посидите.

— Хорошо.

Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в свой кабинет, присел на стол, посмотрел на мешок.

"Тоже работка у них,— невольно подумал Петр, вытряхивая на пол содержимое мешка.— Телевизор, наверно, дома смотрел, а тут — хошь не хошь — иди".

— Что это? — спросил начальник. Наклонился, взял пару заготовок, помял в руках.— Хорош!

— Высший сорт. Для заграницы, наверно.

Начальник кивнул головой.

— Ну, а в чем дело-то?

— Ворованное,— пояснил Ивлев.— Дома у себя нашел.

— Подробней немного.

Ивлев подробно все рассказал, назвал фамилии, какие знал.

— А жена, думаешь, не причастна?

— Нет, уверен. Просто прятали у нее, она не знала.

— Н-да-а.— Начальник долго смотрел в окно.— Ну ладно. Спасибо. Не боишься?

— Чего?

— Ну... могут ведь прийти за этим.— Начальник показал глазами на товар.— Такими кусками не бросаются.

— Ничего.

— Вызывать будем...

— Понимаю.

Недели через две тугой узелок подпольных делишек развязали. Собственно, это был не узелок, а большой, довольно крепко запутанный узел.

Ивлева раза три вызывали к следователю. Один раз он встретил там Шкурупия. Тот нисколько не изменился, смотрел маленькими умными глазками спокойно, даже весело.

"Крепкий, черт",— подумал Петр.

Шкурупий обрадовался, увидев Ивлева.

— Вот! Пусть он подтвердит! — воскликнул он, показывая на Петра пальцем.— Помнишь, я на вашей свадьбе ударил одного? Он еще полез на тебя драться... Семен-то!

— Ну.— Петр хорошо помнил и Семена и то, как Шкурупий ударил его.

— Так он теперь все на меня валит. Ты ж понимаешь!.. Гад какой — мстит!

Ивлев посмотрел на следователя. Тот рылся в бумагах и, слушая Шкурупия, чуть заметно улыбался.

— Часто вы видели у себя дома этого человека? — спросил он Ивлева.

— Раза четыре.

— Он ничего не приносил с собой? Или, может, уносил...

— Что он, дурак, что ли, при мне приносить.

— Он действительно ударил Семена?

— Да.

— За что?

— Ну, тот развозился... хотел действительно кинуться на меня...

— А чем вы объясняете такое заступничество?

Ивлева стали раздражать вопросы следователя.

— Просто он боялся лишнего шума, неужели не ясно?

Шкурупий угрожающе посмотрел на Ивлева. Того этот взгляд обозлил.

— По-моему, ты у них главный был,— сказал он, глядя на Шкурупия.— Хочешь на Семене отыграться?

Шкурупий только хмыкнул, покачал головой.

— На самом деле ни за что посадят... От народ!

— Уведите,— велел следователь милиционеру.

Шкурупия увели.

Следователь нахмурился, долго копался в бумагах.

— Мне надо сказать вам...

Ивлев похолодел от недоброго предчувствия.

— Что?

— Жена ваша тоже замешана.

— Да что вы!

— Да.

— И она... сидит сейчас?

— Нет, она пока не сидит. Сидят вот такие, вроде Шкурупия.

— Как же это так-то? — Ивлев расстегнул ворот рубахи.— Как же так?

— Пугаться не надо,— успокоил следователь.— Преступление не такое уж...— он показал рукой,— не очень большое. Хранение, перепродажа...

Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко вздохнул.

— Черт возьми!.. Никак не верится. Она тоже продавала?

— Хранила ворованное.

— Так она же не знала! Я сразу говорил...

— Знала.

— Вот это номер...

— Зайдите к начальнику, он просил.

Ивлев прошел в кабинет начальника милиции.

— Узнал? — спросил тот, увидев взволнованного Ивлева.— Садись.

— Может, она врет? Чтобы тех выгородить. А? Она такая — на себя...

— Нет, не врет.

— Сроду не думал.

— Если б думал, не сообщил бы?

Ивлев помолчал и сказал честно:

— Нет.

Начальник кивнул головой.

— Ты сам откуда?

— Из-под Барнаула... За хранение ворованного что бывает?

— Тюрьма.

— Значит, посадят?

— А как же?

— И сколько дадут?

— Немного, наверно... Для первого раза.

"Все. В тюрьме она окончательно свихнется,— думал Петр.— Сам в яму толкнул".

— А ничего нельзя сделать?

Начальник прикурил от зажигалки.

— А что можно сделать?

— Черт возьми совсем! — Ивлев тоже достал папиросы.— Испортится она там.

— Ну... это напрасно. Ты где работаешь?

— В СМУ-5.

Помолчали. Начальник задумчиво смотрел в окно, трогал пальцами гладко выбритый подбородок.

— Знакомые есть в городе?

— Нет. А что?

— Так...— Начальник поднялся. свиданья. Если почувствуешь, что... следят... следит кто-нибудь — сразу

скажи. Могут попытаться отомстить. С женой... тут сам решай. Лучше всего бы уехать сейчас отсюда. А если захочешь найти потом — найдешь, поможем. Как считаешь?

— Никак не считаю: все из головы вылетело. Я думал, она не виновата. Нет, пока не уеду.— Ивлев встал.— До свиданья.

— Будь здоров.

Ивлев вышел из милиции... Остановился, долго соображал: что делать? Из головы все вылетело. Пусто.

"Что делать? Что делать?" — терзал он себя. Шел, как ночью: ждал, что сейчас оборвется и будет долго падать в черную какую-то, гулкую яму. "Нет Ольги. И не будет. В тюрьме". От этой мерзкой мысли хотелось завыть.

Дома в двери нашел записку:

"Не радуйся сильно, свое получишь. Скрываться бесполезно — смерть будет тяжелее".

"В смерть балуются,— равнодушно подумал Петр.— Всякая гнида хочет быть вошью".

В комнатах холодно, пусто... Петр включил свет, не раздеваясь лег на кровать лицом вниз. Подумал, что надо бы запереться, но лень было вставать. Страха не было.

"Пусть приходят. Пусть казнят".

Захотел представить человека — автора записки. Всплыло лицо, похожее на лицо Шкурупия.

"Посадить тебя, паскуда, задом в навоз и забивать осиновым колом слова твои обратно тебе в глотку. Чтоб ты наелся ими досыта и никогда больше не выговорил".

Опять потянулась бесконечная ночь. Часа в два Петр встал, нашел письма к Ольге с родины, списал адрес и составил телеграмму ее отцу. Он знал только, что отец работает председателем колхоза.

"Срочно вылетайте помочь Ольге". Подпись: "Ивлев".

И стал ждать утра. Ходил по комнате, вспоминал свою жизнь. Вспомнил почему-то, как пацаном возил копны и его однажды растрепала лошадь. То ли укусил ее кто, то ли испугалась чего — черт ее знает: вырвала из его слабых ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел старик стогоправ, не мог догнать взбесившуюся кобылу, кричал сзади: "Держись за гриву, Петька! Крепче держись — не отпускайся!" А его тогда — он помнил — подмывала от страха мысль: "Может, лучше самому упасть, чем ждать?" Но старик кричал: "Держись, Петька! Она счас пристанет!" Действительно, кобыла скоро выдохлась и стала. Эх, старик, старик...

За окнами стало светать.

Через три дня прилетел отец Ольги.

Петр шел с работы, увидел на крыльце своего дома незнакомого пожилого человека. Он догадался, кто это.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Я — отец Ольги, Павел Николаевич.

— Я понял. Сейчас все расскажу.— Петр отомкнул замок, пропустил вперед Фонякина.

— Ну? — Глаза Фонякина покраснели от бессонницы.— Что?

— Ольга спуталась здесь с плохими людьми... В общем, ей грозит тюрьма.

Фонякин болезненно сморщился.

— Что они делали... люди-то?

— Воровали. Ворованное хранилось у Ольги.

Левый уголок рта Фонякина нервно дергался, он прикусил папироску зубами.

— Ты — муж ее, насколько понимаю?

— Да.

Разговаривали стоя.

— Как же ты допустил?

— Я не знал ничего. Она до меня была знакома с ними.

— Сейчас где она? Сидит?

— Нет. Но я не знаю, где. Она... ушла из дома. Можно в милиции узнать.

— Пойдем в милицию.

Почти всю дорогу молчали. У самого входа Петр тронул Фонякина за руку, остановил. Сказал, глядя ему в глаза:

— Как-нибудь отведите ее от тюрьмы. Она пропадет там.

Фонякин смотрел на зятя устало и внимательно.

— Как вы жили-то с ней? Долго?

— Плохо жили.

Фонякин отвернулся. Десять лет назад он отправил дочь учиться в город, в институт. Через полтора года она сообщила, что вышла замуж. Потом написала — разошлись. Потом бросила институт, приехала домой. Пожила с год, ничего не делая, уехала снова в город. Опять вышла замуж. За какого-то талантливого ученого. И снова — не то, развод. Писала, что работает, денег не просила. Все это, вся ее скособоченная жизнь убивали его; что мог, он скрывал от людей. И вот — тюрьма. И какой-то новый ее муж перед ним...

— Телеграмму-то раньше надо было дать.

— Я не думал, что так обернется.

— Пошли. Наколбасили вы тут... черт вас возьми.

К начальнику Фонякин вошел один. Ивлев сел на диван и стал ждать.

Ждать пришлось долго.

Наконец Фонякин вышел... Увидел Ивлева, подошел, сел рядом.

— Ну?

— Плохо,— тихо сказал Фонякин.

— Я тоже зайду к нему. Подождите.

Фонякин молча кивнул. Уходя, Петр увидел, как он опять поморщился и потрогал под пиджаком левую сторону груди.

— Подожди-ка!.. Я сейчас пойду к ней, а ночевать приду к тебе,— сказал он, вставая.

— Найдете? Мой дом-то...

— Найду.

Ивлев вошел к начальнику.

— Отца ты вызвал? — спросил он сухо.

— Я.

— Для чего? Пожилого человека... Я же объяснил: сделать ничего нельзя.

— А что тут такого? Он отец.

— Он больной, из больницы раньше времени выписался.

— Я не знал этого.

— Сделать ничего нельзя. Объясни ему, а то он хлопотать кинется — совсем доконает себя. Написать сперва надо было...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— До свиданья,— зло сказал Петр.

Начальник кивнул.

Ивлев пошел домой.

Фонякин пришел поздно. Печальный.

— Вот так,— сказал он.— Дай умыться. Упал у вас во дворе...

Ивлев налил воды в рукомойник, подал полотенце. Очень хотелось спросить об Ольге — как она? Фонякин будто подслушал его мысли.

— Что о жене-то не спросишь?

— Как она?

— Вы разошлись, оказывается?

"Уеду к чертовой матери из этого города",— решил вдруг Ивлев.

— Я думал, она еще вернется,— сказал он.

Фонякин вздохнул, промолчал.

— Ужинать будете?

— Я бы выпил сейчас от всех этих хороших дел. Можно достать?

— У меня есть.

...Сидели за столом, молчали. Выпили по рюмке — и молчали. Все было ясно.

На улице сеялся поздний осенний дождик. Уныло шуршало за окнами. Далеко-далеко свистели паровозные гудки, навевая грустные мысли:

"Уеду",— думал Петр.

— Ты здешний? — спросил Фонякин.

— Нет.

— Откуда?

— Тоже из Сибири.

— А как сюда попал?

— Служил здесь... Недалеко.

— А родители в Сибири?

— У меня нет их. Померли. Тетка там.

Фонякин еще налил по полрюмке коньяку.

— Неужели нельзя было раньше разогнать эту свору? — тихо спросил он.— Уехали бы куда-нибудь, что ли. Увез бы ее...— Фонякину было горько. И Ивлеву тоже сделалось горько, и досада взяла.

— Послушалась бы она меня!

— Ты муж был! Как же ты мог допустить до этого?

— А как вы, отец, допустили? Что вы с себя-то вину сваливаете?

— Но ты же рядом был...

— Я рядом был! Полторы недели... А вы всю жизнь.

Нехорошо посмотрели друг на друга.

— Мужик называется... Муж! — сердито сказал Фонякин.— Полторы недели с тобой рядом воровали, пили, а ты глазами хлопал. Молокососы, черти.

Какая-то доля правды была в словах Фонякина; от этого стало Петру особенно обидно и горько.

— Не я ее учил пить.

— Кто же, я, что ли?

— Ну и не я!

— Но надо было хоть маленько усилий приложить!.. За любовь-то свою. Надо или нет? — Фонякин повысил голос.

— Надо! — Петр тоже повысил голос.— А вам не надо было?!

Фонякин посмотрел на взъерошенного зятя, потрогал прокуренными пальцами виски.

— Ладно... чего мы тут. Поздно хватились.

Помолчали.

— Сколько ей сулят?

— Года полтора вляпают. Стыд головушке... Чего не хватало?! Мм...— Фонякин поморщился. Полез за папиросами.— Напиши мне, как тут все будет...

— Я уезжаю тоже...

— Куда?

— Где жил. Не могу больше в этом городе... Видеть его не могу.— Петр тоже закурил.

— Эх, вы,— вздохнул Фонякин.— Молодежь... Все — сами, сами! Что же у самих-то не получается?

— У вас все получалось?

— Но уж такого... безобразия не было. Захотели — сошлись, пожили неделю, захотели — разошлись. Да вы что?

— Это вы у нее спросите.

— А твоя хата с краю?

— Не хочу говорить про это,— заявил Ивлев.— Все равно ни до чего не договоримся. Я вам одно, вы — другое. Я понимаю: вам тяжело. Мне тоже не легче. А оправдываться перед вами... нет никакого смысла. Давайте спать.

— Спи. Я посижу маленько.

— Ложитесь на кровать, я — на диване.

Фонякин кивнул головой и, уставившись взглядом в стол, остался сидеть.

Рано утром простились.

— Закурим на дорогу,— сказал Фонякин. Сел на свой чемодан. Закурили.

— Может, подождал бы пока уезжать,— посоветовал Фонякин.— Узнать бы, как будет?.. Я бы остался, но... Что-то худо мне. Как бы не залечь тут — совсем нехорошо.

Петру сделалось нестерпимо жалко усталого, больного человека. Выглядел он действительно очень плохо.

— Останусь. До суда. Сообщу.

— Только не домой, а... вот тут я тебе запишу...— Фонякин вырвал из блокнота чистый листок, написал карандашом адрес.— А то мать там с ума сойдет. Я ей не буду говорить ничего. Скажу, что болела, а теперь, мол, ничего. Да и от людей стыдно...

— Ладно. Я аккуратно сделаю.

Еще посидели немного. Встали.

— Ну... бывай.— Фонякин пожал руку Петру.— Может, увидимся.— Говорить ему было тяжело. Он повернулся и вышел, не оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не оглянулся на дом, где жила дочь.

Петр прилег на диван, закинув руки за голову; до работы оставалось два часа с лишним. Можно было вздремнуть пока. Эту ночь он почти не сомкнул глаз.

Прошло восемь месяцев.

Петр Ивлев работал в том городе, где жил до встречи с Ольгой. Квартировал у другой, тоже доброй, тихой хозяйки, в небольшой уютной комнате окнами на живописный пустырь.

Вечерами, если не ходил в кино, читал книги из фабричной библиотеки. Любил читать про путешествия.

И в тот немного душный июньский вечер сидел, примостившись у открытого окна, читал. Темнело уже, а встать и зажечь свет — лень. Петр положил книгу, засмотрелся вдаль. За пустырем, внизу, протекала сонная речушка, за речушкой зеленой стеной вставал лес. И уходил лес далеко-далеко, куда хватал глаз,— терялся в призрачной вечерней дымке. Тихо было в этой части города, покойно. Как в деревне.

Вошла хозяйка.

— Петь, к тебе барышня какая-то.

— Какая барышня?

— Не знаю. "Дома?" — спрашивает. А я завертелась со стиркой-то и забыла: дома ты или нет? Пойду, говорю, погляжу.

"Кто?" — недоумевал Петр, включая свет.

Он не сразу узнал Ольгу: то ли от неожиданности, то ли изменилась она. Она, пожалуй, изменилась: пополнела немного, глаза все такие же смелые и умные, только была в них теперь какая-то жесткая наглинка, что-то вызывающе-высокомерное, но внимательное.

— Вот так номер,— только и сказал он.

Ольга улыбнулась. И в улыбке нечто неуловимо новое: чуть-чуть виноватость, что ли, некая неловкость, которую хотят побороть, скрыть.

— Как в кино,— сказала Ольга.

— Точно...— Петр поглупел от такой нежданной встречи. Засуетился: подставил стул — показалось, близко к порогу, переставил ближе к столу.— Садись, чего стоишь-то?

— Тут ты и живешь? — Ольга села, огляделась.

— Ну да.

Петр все смотрел на нее, не верилось, что перед ним — Ольга.

— Я все время хотела бы вот так жить, а не получается,— сказала Ольга.

— Как? — не понял Петр.

— Вот в такой уютной комнатке, одна, на краю города. Зимой, наверно, ветер за окном, воет, а у тебя — тепло.— Она опять улыбнулась.— Правда, хорошо. Тут стихи сочинять можно. Не пробовал?

— Нет.

— Зря.

Петру пришло в голову, что за все время, пока не видел ее, он ни разу не подумал о ней плохо, помнил только красивой, желанной и чужой.

— Это хозяйка? — спросила Ольга, кивнув на дверь.

— Хозяйка. Ты как раньше-то? Освободилась-то...

— Потом. Сходи купи вина... И поговорим.

— Сейчас.

— Денег дать?

— Брось ты!..— Ивлев надел пиджак и вышел.

Он рад был, что побудет один,— надо собраться с мыслями. Но никак не получалось — расползались мысли. Рад он был или не рад — непонятно. Рад, конечно. Но с чем пришла Ольга?.. Из магазина чуть не бежал. Не терпелось опять видеть ее, понять: с чем она пришла?

...Сели к столу, когда за окном стало совсем темно.

Вино попалось хорошее, хотя Петр не выбирал — ткнул пальцем в первое попавшееся.

— Вкусное. Правда?

— Ничего.— Петру не терпелось узнать, почему Ольга оказалась на свободе раньше срока (ей давали два года), почему она здесь, в этом городе, как нашла его и зачем нашла.

Ольга не торопилась.

— Хорошо у тебя, правда.

— Тебя почему раньше-то отпустили? — не выдержал Петр.

— За красивые глаза.

— Нет, серьезно.

— Серьезно.

— Давно?

— Полмесяца уже...

— А меня как нашла?

— Ну!.. В наше время найти человека — раз плюнуть. Оттуда почему уехал? Испугался?

— Нет. Противно стало.

Ольга надолго задумалась. И не притворялась — опять ей чего-то остро не хватало в жизни, опять не скрывала она, что все, что вокруг нее, с ней, не нужно ей. И снова злая досада и любовь сжали сердце Ивлева. Что ей нужно, что?

— Чем ты занимаешься?

Ольга очнулась от своих дум, выпила вина, крепко поставила рюмку на стол.

— Поедем со мной? В деревню... ко мне.— А дальше заговорила не с ним: — Черт с ней, не вышло — не надо! Начну новую жизнь. Правильную.— Она насмешливо глянула на Петра, поморщилась и продолжала серьезно: — Только не такую правильную, от которой клопы дохнут, а — правильную!.. Понимаешь? Буду учить людей, чтобы они были смелыми, свободными, сильными... Не веришь?

— Я ничего не говорю.

— И ничего мне больше не нужно.

— А кто я-то при тебе буду? Вроде шута горохового?

— Нет, слушай меня, я серьезно. Я много об этом думала. Любви нет, не спорь со мной. Ты думаешь, ты любишь?

— Понял.

— Что понял?

— Это в тюрьме такие учителя нашлись?

— Я серьезно, Петро. Знаешь, как мы с тобой хорошо заживем! Я окончу наконец этот институт — заочно, мне полтора года осталось,— стану учительницей. Буду учить сибирячат... Я же училась в институте, бросила. Теперь кончу. Поедешь со мной?

— Зачем я тебе нужен?

— Нужен. Нужен же мне муж в конце концов. Я серьезно говорю: ты лучше всех, кого я встречала. Только не ревнуй меня, ради Христа. Я не тихушница, сама презираю таких. Буду тебе верной женой.— Ольга встала и в неподдельном волнении заходила по тесной комнате.— Нет, Петя, это здорово! Какого черта мы тут ищем? Здесь тесно, душно... Ты вспомни, как там хорошо! Какие там люди... доверчивые, простые, мудрые.

Почему-то Ивлев понял, что это не пустые слова, не блажь. И не то даже, что она побыла не на свободе, струсила

и сломя голову кинулась мечтать — как можно хорошо, свободно, спокойно жить. Если так — она доедет до Новосибирска, вернется и опять будет беситься и звереть от тоски. Нет, почему-то поверилось, что ее беспокойная, не совсем женская энергия, которая мучительно требовала работы, дела, нашла выход.

И совсем как-то иначе, счастливо, по-девичьи, закинув руки за голову, Ольга сказала вдруг:

— Я на сеновале спать стану. А по утрам буду бегать на речку купаться. У нас вода в реке ледяная. Поедем?

— Поедем.

— Я знала, что поедешь. Давай выпьем, за... счастье. Оно есть, я верю. Мне прямо не терпится скорей начать действовать.

Выпили.

— Хорошо? Ты не кисни.

— Хорошо, Ольга, ты же знаешь, хоть ты и натрепалась тут, что любви нет. Есть.

— Ну и слава богу! И со спокойной душой заснем. Иди скажи хозяйке, что жена приехала... А то я не люблю так. А завтра проснемся и начнем действовать. Я готова. Будем ходить завтра за всякими бумажками, выписываться... Получим самую глупую справочку — уже что-то сделали, радость. Верно? А потом поедем. Будут мелькать деревеньки, маленькие полустанки... Будут поля, леса... Урал проедем. Потом пойдет наша Сибирь... Я раздеваюсь. Иди говори. Мы потушим свет и еще поговорим. А потом заснем.

Петр пошел объявлять хозяйке, что приехала жена.

Он обалдел от счастья, самому не терпелось начать подробно-подробно думать и говорить о том, какую можно прекрасную жизнь создать. "Господи, послала же мне судьба такого... непутевого, родного человека!"

Дорогой Ольга смеялась и дурачилась, рассказывала Петру в коридоре анекдоты. Петр, чтобы не обижать ее, смеялся. Смешно было не всегда. Беспокоила некая надсадность ее веселья; Ольга как будто заставляла себя веселиться. А то подолгу молча сидела у окна. О чем думала, непонятно. Петр уставал от этих перемен, сам тоже частенько задумывался. "Ненадолго ее хватит",— приходила мысль. Но все забывалось, когда Ольга ласково смотрела на него.

— Славный мой...— говорила она.— Все бросил — поехал. Куда!

В Крутоярское с дороги дали телеграмму. Подписали: "Ольга. Петр".

На вокзале их встретил Фонякин.

Петр не сразу узнал его. Стоял на перроне высокий, болезненно худой человек в легком кожаном пальто. Смотрел на них веселыми внимательными глазами.

— Здравствуйте, здравствуйте,— сказал глуховато. Неловко обнял дочь, ткнулся ей в щеку. Ивлеву подал руку и тут только сам едва узнал его.— А-а!.. Вот как? Ну, вот... видишь. Здравствуй. Пошли.

Петр нес чемоданы, наблюдал сбоку за Ольгой. Ольга присмирела, не смеялась. Зато ему сделалось отчего-то весело.

"Какого черта я унываю?" — подумал он.

До Крутоярского доехали за час с лишним. Дорогой мало-помалу разговорились.

— Как приехали-то? — спросил Фонякин.

— В смысле — на чем, что ли? — не поняла Ольга.— На поезде.

— Насовсем или в гости?

Ольга посмотрела на мужа, сказала твердо:

— Насовсем.

Фонякина, чувствовалось, обрадовал такой ответ. Он сидел впереди, разговаривал не оборачиваясь.

— Ну вот,— сказал тихо.

— Мама здорова?

— Ничего.

— А ты?.. Худой какой-то. Не болеешь?

— Работы много,— уклончиво сказал Фонякин.— Я теперь директор совхоза.

Петр заметил, как смотрит на Ольгу шофер Фонякина, крепкий парнина лет двадцати пяти — двадцати шести: с изумлением. Ольга раза два перехватила взгляд шофера, усмехнулась сама себе.

"Ах, как нравится, когда на тебя так смотрят!" — не без досады подумал Петр.

...Вечером собрались к Фонякиным гости.

Ивлев отвык от сельских людей. Впрочем, к таким сельским людям он и не привыкал никогда — это было районное начальство: парторг совхоза, ветврач, директор школы, второй секретарь райкома... Все с женами. Были какие-то родственники Фонякиных. Всего человек двенадцать. Петр с интересом присматривался к ним; и к нему тоже присматривались.

Особенно весело не было. Мужчины разговаривали о предстоящей партконференции, про общих знакомых, о командировках. Женщины колготились на кухне. Ивлев рассматривал толстый семейный альбом Фонякиных. Пере-

листал один раз, закурил и стал листать сначала. Ольга в какой-то из комнат (их в доме было четыре) приводила себя в порядок.

За столом оживились. Выпили. Фонякин тоже выпил, хотя жена пробовала удержать его.

— Что ты? — сказал Фонякин.— Сегодня положено.

Петр пил много, чем неприятно удивил тещу, полную молодящуюся женщину. Пил, но почему-то не пьянел. Люди нравились ему. Он только не знал, о чем говорить с ними. Старался улыбаться, поддакивал.

Ольга была весела. Ивлев пригляделся и понял: притворяется, не хочет обижать родных.

Завели патефон, пошли танцевать.

Фонякин с Ивлевым ушли в соседнюю комнату, незаметно прихватили с собой бутылку вина.

— Потолкуем,— сказал Фонякин.— Вот тут жить будете. Ничего?

Петр оглядел комнату.

— Хорошо, чего еще надо.

— Пока... А там видно будет. Садись.

Закурили. Выпили молча по рюмке.

— Что делал это время?

— Работал.

— Столярничал?

— Да.

— Сама нашла тебя?..

— Сама.

— Ну и как? Как теперь думаешь? — Фонякин имел в виду дочь.

— Если в двух словах: по-моему, дело идет к лучшему. Не сразу, наверно... Не знаю, по-моему, она взялась за ум. Я верю. Учиться хочет.

— Здесь тоже столярничать думаешь?

— А что еще?

Фонякин налил по рюмке. Оглянулся на дверь.

— Не прихватят нас с тобой?

— Нельзя пить?

— Дэ-э... Давай.

Выпили.

— Кхэ... А где столярничать хочешь?

— В МТС.

— В РТС. Эмтээсов нет теперь.

— Ну в РТС. Какая разница.

Помолчали.

— Рад, что приехали,— сказал Фонякин.— Старею, наверно... Сны какие-то дурацкие вижу.

— Одна она у вас была?

— Она не говорила?

— Нет.

— Сын был... Убит под Курском. Николай. Ступай позови ее... Пусть споет. Охота послушать.

Ольга вошла в комнату, вопросительно посмотрела на отца.

— Садись, дочь. Давно не виделись...— Просительная нотка прозвучала в голосе Фонякина; и весь он был какой-то беспомощный перед крупной, красивой дочерью.

"Оба мы перед ней какие-то... маленькие,— признался себе Петр.— И не знаем, что делать. Вот человечина!"

— Спеть?

— Спой. Сейчас я гитару принесу.— Фонякин встал и вышел из комнаты.

— Сдал крепко отец-то,— сказал Петр.

Ольга, уперев руки в бока, задумчиво смотрела в темное окно. Ничего не сказала.

— Покажи брата,— попросил Петр.

Ольга показала глазами на портрет (увеличенную фотографию) молодого круглолицего, до удивления похожего на Ольгу парня в офицерской форме. Взгляд такой же — прямой, твердый, открытый. Петр вгляделся.

"Он бы сумел с ней поговорить",— подумал невольно.

Фонякин принес гитару, неумело тренькнул струнами, подавая ее дочери.

— Твоя. Помнишь?

— Помню.— Ольга взяла гитару, села на стул, положила ногу на ногу. Тесная юбка чудом не затрещала.

— Что желаете? — Посмотрела с усмешкой на отца и мужа. Когда она так усмехалась, у нее отчетливо обозначались темные усики над ярким, капризно очерченным ртом.

— Чего-нибудь,— сказал Фонякин.

Петр всего раза два слышал, как она поет: хорошо, ему очень нравилось.

Ольга настроила гитару, подумала. Посмотрела на отца, на мужа... И запела негромко:

Мне помнится сказка,
Забытая сказка:
О том, как влюбился в огонь мотылек,
Он думал, что будет тиха его ласка,
Но огненных сил превозмочь он не мог.

При первых же звуках песни у Петра сделалось хорошо на душе; уютно стало в комнате. Пела Ольга низким, чистым голосом, просто, будто нехотя. Но голос шел от сердца, и так был он дорог!.. Полузабытое, редкое чувство далекой молодости — когда хотелось отчего-то вдруг заплакать — вспомнилось.

Гитара задумчиво гудела.

И вечером чистым, порою лучистой
В окно растворенное тихо влетел
И, словно безумный, не чувствуя боли,
В огне серебристом мгновенно сгорел.
Любовь моя тоже — забытая сказка...

Петр посмотрел на тестя. Тот сидел, накоршунившись над столом, печально и хмуро смотрел перед собой. Многое он прощал дочери за ее песни. Любил он ее, крепко его заботила ее судьба.

Ольга допела песню, положила крупную белую ладонь на струны, посмотрела с усмешкой на обоих.

— Чего носы повесили?

Фонякин очнулся, поднял голову.

— Так.

— Давайте вместе какую-нибудь? — предложила Ольга.

— Ну, уж нет! — возразил Петр.

Фонякин тоже сказал:

— Зачем? Спой еще.

Я о прошлом уже не мечтаю,—

запела Ольга; и опять властное чувство тоски и скорби охватило Ивлева, но странной какой-то скорби: как будто и не скорбь это, а такое чувство, когда хоть и грустно, хоть и плакать хочется и жаль чего-то, но если плакать, то и смеяться и любить — вместе. И прощать и жалеть: "Милые, милые, родные люди, ничего, хорошо ведь?"

"Моя ты или не моя? Если б ты была моя совсем, с твоими песнями вместе! Ничего бы не надо больше",— думал Петр.

Ольга кончила петь.

Некоторое время все трое сидели молча, додумывали думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, зыбкого, бесконечно доброго и печального мира, куда увели песни.

В комнату вошел директор школы, низенький, плохо скроенный человек в бостоновом костюме, сказал громко:

— А, вот они где!.. Ольга Павловна, без вас там все разваливается. Пойдемте танцевать.— Посмотрел на Петра вопросительно.

— Я не танцую,— сказал тот.

Ольга положила гитару на стол, легко поднялась. Петра всегда поражало, с какой легкостью она носит свое большое тело.

— Пойдемте.

Они ушли.

— Вот так,— сказал Фонякин. И надолго умолк.

Петр слушал патефон, веселый говор и смех, звучавший в соседней комнате. Опять новая жизнь...

— Значит, столярничать? — спросил неожиданно Фонякин.

— А что?

— Так просто. А поучиться... не думал? У тебя сколько?

— Пять классов.

— М-да-а... не густо. Но ведь и годов-то тебе еще не много.

"К чему он?" — недоумевал Петр.

— А что? — опять спросил он.

— Да ничего!.. Время сейчас такое — все учатся... У нас вечерняя школа хорошая. Хотя бы техникум... Жизнь большая.

— Посмотрим, Павел Николаевич.

Жизнь дальше пошла так.

Столярного дела в РТС Петру не нашлось. Мелкие, шабашные заказы по селу выполняли старики-пенсионеры. Да и стыдно было бы заниматься этим. Зато его с великой охотой взяли в плотничью бригаду на строительство кошары.

Ольга не на шутку принялась за книги.

Рано утром Петр осторожно вставал с кровати, умывался во дворе под рукомойником, одевался, ел на кухне невкусные пироги с морковью, которые почему-то в изобилии пекла теща, запивал молоком... Если Фонякин был дома, он беззлобно ругался с кем-нибудь по телефону в прихожей. Иногда вместе ели пироги с морковью.

Теща и Ольга спали еще.

— Как дела? — спрашивал Фонякин.

— Ничего. Как у вас?

— Ничего.

И каждый думал о своем.

Позавтракав, Петр уходил на улицу, садился на скамейку у ворот, закуривал в ожидании автобуса. (Стройка была в пяти километрах от села, рабочих возили на работу и с работы.) Это было самое хорошее время дня — эти полчаса, пока он ждал автобуса. Солнце еще не поднялось из-за горы, но светло уж, и все село ворошится. Поднимая пыль, прошло стадо коров. Небольшое. Большое оно будет в конце села. Хлопают калитки; запоздавшие бабы догоняют пастуха, подстегивая коров хворостинками.

— Ну, отелилась, ли чо ли?! — ругаются. Как будто не сами виноваты, что пронежились лишних пяток минут в теплой постели.

Протарахтит телега с мужиком. Мужик что-нибудь крикнет запоздавшей бабе, а та в долгу не останется. Засмеются. Голоса еще с хрипотцой — со сна, теплые. Люди не успели наработаться — не сердитые. Да и шибко уж просторно, ясно, свежо вокруг, так и подмывает крикнуть через дорогу что-нибудь самое пустяковое.

— Здорово, сосед!

— Здоров. Как ночевал?

— А ничо, слушай! Жена бы не растолкала, дак ишо бы поспал. На коровьем-то реву оно, это, спится, язви ее!

А подальше еще двое переговариваются через плетни:

— Ты что седня вечером делаешь-то?

— Дак а чо?.. Вроде особо-то нечего.

— Может, сплаваем в островишко, посидим?

— Оно можно бы... у меня припасишки вышли. Я этто заказывал Семке Косому: поедешь в город, возьми на мою долю с кило. Забыл, окаянная душа!

— У меня есть маленько, я дам.

— Но давай. А я на днях сам поеду, дак куплю. Дроби-то я накатаю...

— У меня дробь есть. Правда, тоже не магазинная...

— Да дроби не надо. Я вон парнишку заставлю, накатат сколько надо.

— Ну и сплавам, посидим.— А дальше негромко: — Я тада возьму на литровку?..— Кивок в сторону крестового дома, где живут две учительские семьи.— Штук шесть-то добудем, поди.

— Бери, добудем.

Договорились вечером сплавать на охоту. Пороху один другому одолжит. Дробь пойдет самодельная. А так как деньжонок у обоих нет, а выпить после охоты надо, один

возьмет у учителей шесть рублей под уток (бутылка — пара), купит две бутылки и поставит в погреб. Приплывут затемно, разложат во дворе огонь под таганком, сами отеребят, опалят, распотрошат утку и заварят целиком в чугуне. Вкусно и долго пахнет потом на улице паленым; блаженно покряхтывают двое, прихваливают:

— А ничо получилось!..

— Мм.

— Жалко, в одну промазал. Прямо над головой шаркнула, гадина... Темно.

— Ничо, этого от пуза.

Трепыхается слабый огонек под таганком, выхватывая из тьмы две фигуры. Бывает, со двора не в лад, но задушевно поплывет в теплом стоялом воздухе:

Аб чем, дева, плачешь?
Аб чем, дева, пла-ачешь?
Аб чем, дева, пла-а-ачешь?..

Мужской голос, с плохо скрытой завистью, прикрикнет с улицы:

— Огонь-то затопчите потом, девы!

Если "девы" не успокоятся, выходят жены.

— Ну-ка, марш по домам!

...На работе к Ивлеву сперва было несколько настороженное отношение — директорский зять. Скоро, однако, наладилось. Работать Петр умел, за счет других не ловчил, плохого к людям за душой не таил — это скоро понимают.

Ольга целыми днями читала, забравшись с ногами на диван. Мужа с работы встречала не то что прохладно — спокойно: оторвется от книги — мысли далеко-далеко.

— В печке на сковородке картошка жареная, в сенях — огурцы, капуста. Хлеб — в шкафу.

Ивлева не очень огорчало такое.

"Ничего,— думал,— лишь бы тосковать не начала".

Сам серьезно подумывал над словами тестя: не начать ли учиться? Жизнь выровнялась, на душе устоялся желанный покой. Листал вечерами Ольгины книги, и крепло желание: сидеть рядом с женой и въедаться в неведомый, чужой мир.

Ночью, в темноте, негромко разговаривали.

— Мне тоже отец советует учиться. А? Я ведь, если возьмусь...

— Правильно советует. У него только другое, наверно, на уме... свое. Я сама возьмусь за тебя. Странно мне, Петя! Как

будто, знаешь, шла, шла и вдруг — море. Совсем не ждала. И прямо не знаю, что мне с ним делать — большущее такое!..— И добавляла сердито: — А мне уж скоро тридцать.

— Ерунда какая. Люди...

— Да не об этом. Жалко!

— Чего жалко?

— Ничего. Тебя жалко, что не понимаешь.

— Понимаю, почему не понимаю. Жалко, что время зря много ухлопала?

— Спи. Дай твою руку... Я не знаю: может, я испугаюсь, что оно такое большое...

— Не бойся. Хорошее дело надумала — не робей. Я тоже с тобой: рога черту свернем. Я ведь мужик крепкий, мне если что западет в башку...

— Не хвались. А учиться будешь, я без отца давно решила. Хорошо от тебя пóтом пахнет — сосновым. Спи.

Петр засыпал счастливый. Иногда, когда он засыпал так, Ольга вдруг говорила сама себе твердо, зло и отчаянно:

— Нич-чего у меня не выйдет.

Приехав в Крутоярское, Петр написал тетке письмо с новым адресом. Похвалился в письме, что живет хорошо. И вдруг получил телеграмму от дяди:

"Срочно выезжай тетя безнадежная".

Петр тот же день выехал на родину.

Случилось так, что в тот день, который уехал Петр, в село привезли хороший фильм. Ольга слышала о нем и вечером пошла в клуб. Сидеть ей пришлось рядом с молодым человеком, которого она раза два видела на улице, знала, что он учитель истории и географии, что сам откуда-то из Ленинграда, кажется. Худощавый, среднего роста, бледный, опрятно одетый. Ольга тогда еще подумала: "Интересно, как он о Стеньке Разине рассказывает: "Дорогие дети, Степан Тимофеевич был человек энергичный и очень мужественный..."?"

— Здравствуйте, ливо сказал молодой человек Ольге, когда она села рядом.

Ольга тоже сказала:

— Здравствуйте.

И все. И стали ждать начала картины. Ольга, как бы между прочим, раза два глянула на него: сидит, облокотившись на спинку стула, терпеливо ждет.

Сеанс все не начинался.

Молодой человек ослабил галстук, посмотрел на часы.

— Что-то долго они...

— Вы давно здесь? — спросила вдруг Ольга. Сама не ждала, что заговорит.

— Здесь, в зале? — простодушно уточнил молодой человек, повернувшись к Ольге; ей показалось, что он близорукий.— Минут пятнадцать уже.

— Нет, в деревне?

— В этой? — опять уточнил молодой человек.— В этой — год.

Ольге сделалось весело: очень смешно он уточнял вопросы.

— Нравится у нас?

— Почему "у нас"? Вы ведь сами приехали.

— Я родилась здесь.

— Да? В отпуск?

— Нет, домой приехала. Совсем.

— Хорошее дело.— Он произносил: "дево". Опять посмотрел на часы.— Ужасный механик. Копуша.

Ольге хотелось разговаривать.

— Нравится у нас?

Молодой человек сморщил лоб и погладил его вдоль морщинок средним пальцем. (У него была такая привычка.)

— Нравится. Не все только.

— Привыкнете.— Ольга ужаснулась пустому слову. Странно, у нее пропала легкость, с какой она находила слова в любом почти разговоре — ироничные, никогда не серьезные и всегда серьезные, более или менее остроумные и едкие. Парень предложил неожиданный тон разговора: простой и недвусмысленный.

— Привыкнем,— согласился он. У него, кажется, не было охоты разговаривать. Это задело Ольгу за живое. Она ждала, что он, изголодавшись по "светским" разговорам, пойдет щеголять, станет показывать, что "и мы здесь" кое-что понимаем. Эдит Пиаф? Извольте: поет хорошо, а книжки писать не умеет. Нет такой — женской литературы. Знаете, что подумала каждая третья женщина, прочитав ее исповедь: "Если бы я рассказала!.." После Чехова или Толстого так не подумаешь. Ну, что еще? Поэзия? Наша? Как сказать...

Было время, когда Ольге такие слова кружили голову, как вино, потом она научилась сама говорить их, потом они стали злить ее. Все это хорошо, мило, но очень уж дорого надо платить.

Ольга ненароком еще раз посмотрела на молодого человека. Из каких же он? По облику, по костюму он даже не из тех, кто поначалу кружит голову, а из тех, кого и поначалу жалко: слабенькие, начинают с отрицания всех и вся, объявляют жизнь "болотом", потом объясняются в любви. А кончают тем, что снова объявляют жизнь "болотом" и стесняются давать деньги на аборт.

Сеанс все не начинался.

— Ужасный механик,— сердито сказал молодой человек и опять посмотрел на часы. Сердиться он не умел.

— А куда вы торопитесь?

— Да никуда!.. Но так тоже нельзя — впустить людей и томить их тут.

— Видите — плохо в деревне.

Молодой человек вдруг негромко засмеялся. Ольге кровь бросилась в лицо.

— Вы как шпион: потихоньку выспрашиваете у меня...— Смеялся молодой человек искренне, необидно.— Если это самое плохое в деревне, я согласен ждать еще час.

— Что же самое плохое? — Ольга вконец потерялась. Никак не могла обрести легкий путь в разговоре. А говорить хотелось. Она даже ругнулась по-мужски про себя. "Что со мной?"

— Да ничего, все нормально. Вы кино любите?

— Хорошее.

— А я — всякое. Черт его знает: понимаю, что это глупо ("гвупо"), а хочется смотреть. Если совсем дрянь — тоже смешно.

— Это опять-таки деревня,— уперлась на своем Ольга.

Посмотрели друг на друга. И вдруг рассмеялись оба. Ольге стало легко.

— Доконаю я вас с этой деревней.

— А что вы делать приехали?

— Я тоже учительница.— Ольга чуть поторопилась.— Не совсем еще. Мне нужно дотянуть полтора года заочно.

— В нашем полку прибыло.

— А разве возьмут так?

— Возьмут. У нас треть таких — дотягивают. С руками-ногами возьмут. Не хватает же. У вас какой?

— Литература.

— Возьмут.

— Серьезно: вы не скучаете здесь? Почему летом-то остались?

— Тут... всякие дела. Не скучаю, я серьезно говорю. Только надо... Да нет, впрочем...

— Что?

— Так. Найдется что-нибудь, чтоб не скучать. Были в школе?

— Нет еще.

— Отличная школа. Вот такие нужно.

— А ребята как?

— Как везде — разные. Многих бы я попер из школы. Нельзя. Это плохо.

— Плохо, что гнать нельзя?

— Да. Зачем?..— Молодой человек совсем повернулся к Ольге и с горячностью стал ей доказывать: — Зачем, скажите, и ему и себе нервы трепать?!

— Но восемь-то классов надо...

— Да восемь-то ладно. А он за восемь перевалил, а учиться не хочет. Ну и иди с богом! Сглупил? Ошибся? Вечерняя школа к услугам. А мы врем, тройку ставим, когда надо двояк прочный. Кол осиновый!

— О!..

— А есть славные. Одно удовольствие. При чем тут деревня?

Свет погас наконец.

— Поехали,— сказал молодой человек и снял пиджак.

Фильм, правда, был хороший. Но Ольгу волновала близость молодого человека, она почувствовала плечом его руку и отвлеклась от картины. Можно бы отодвинуться и сосредоточиться на картине... В конце концов Ольга так и сделала. Но теперь она слышала запах "Шипра", исходивший от его лица. И это тоже отвлекало. Это вконец вывело из себя Ольгу. Впору было встать и уйти. Черт знает что лезло в голову: захотелось вдруг крепко прижать его к себе и шепнуть на ухо ласково: "А ты еще совсем-совсем маленький". У нее даже голова заболела от волнения. И в ушах пошумливало. "Да ты что, девка?" — пыталась она унять себя. Едва досидела до конца сеанса.

Вышли вместе. Ольга глубоко вздохнула.

— Душно...

— Хорошая картина. Оказывается, не надо ничем удивлять.— Молодой человек задумчиво сморщил лоб и потрогал его пальцем.— Лев Толстой говорил: "Если хочешь что сказать, скажи прямо". Правильно.

— Пойдемте на речку? Так пить захотелось, не дотерплю до дома.

Пошли на речку.

Волнение Ольги поулеглось, и она теперь думала: "Что это? Любовь, что ли? Боже милостивый!.."

— Как вас зовут?

— Юрий. А вас?

— Ольга.

— Вот такие-то дела, Юрий Батькович.— Ольгу опять стало одолевать волнение.— Как говорил Лев Толстой?

Юрий что-то начал понимать. Молчал. Растерялся, наверно.

В темном месте Ольга остановилась. Юрий тоже. Ольгу слегка затрясло... Теперь уж она не могла — обняла его, нашла его губы и нежно поцеловала. Едва сдержала себя, чтоб не впиться в них с жадностью.

— Вот так... как учил Лев Толстой. Ну что? Говори что-нибудь!— Ольга еще держала его в объятиях.

— Оля, что это? — Голос Юрия вздрагивал.— Что-то не понимаю...

Ольге стало легко и весело. Теперь она обрела себя. Отпустила его, вздохнула полной грудью.

— Пойдем на речку, я утоплюсь. Только не молчи, а то мне сейчас станет стыдно.

— Я не молчу. Я только не понимаю...

— Да я сама не понимаю! А чего непонятного, кстати? Ну, поцеловались. Ты что, до этого никогда не целовался?

— Почему?..

— Ну и вот. Влюбилась в тебя. Но убей бог, не знаю, за что. Ты красивый, что ли? В тебя влюблялись?

— Кой черт влюблялись! Я как тюлень...

— Вот, а я как раз люблю тюленей.

Подошли к речке. Ольга оперлась руками о берег, припала к воде.

— Охх!.. Сейчас всю выпью.— Еще раз припала.

Юрий сел на камни. Молчал. Он еще не пришел в себя от случившегося.

— Ну пойдем.— Ольга поднялась, ополоснула руки.— Я объясню, что произошло. Действительно стало немножко стыдно. "Тороп Всегда тороплюсь".— Произошло... я не знаю что. Кажется, правда влюбилась. Но поступила сейчас ужасно-ужасно глупо.— Ольга говорила тихо. Ей захотелось вдруг плакать.— Ужасно!.. Дура.

— Не надо так, Ольга.

— А иначе не могла. Мне показалось, что я тебе нужна. Понимаешь? Не сейчас, не... Всегда. И ты мне нужен. Но я...

маханула так, что теперь не понимаю: это показалось или это так и есть?

— Ольга,— сказал вдруг твердо Юрий,— я слабохарактерный человек, но иногда на меня находит... Не мучайся. Я знаю, что тебя мучает: сама первая сказала. Да еще так... сразу. Только, ради бога, не мучайся. Во-первых: если мне не сказать, я сам никогда не скажу. Во-вторых... Черт, я еще не очухался...

— Иди домой. Давай очухаемся.

— Подожди, Оля.

— Нет, давай подумаем. Надо. Иди. До свиданья.— Ольга повернулась и пошла в свою улицу. Шла скоро, не разбирая дороги. Она плакала. Это впервые за много-много лет. Она даже не помнила, когда она последний раз плакала. Плакалось, не могла успокоить себя и не могла понять: отчего же плачется-то?

На другой день Юрий рано утром пришел к Фонякиным.

Фонякин ругался по телефону в прихожей.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Счас, минуточку...— Фонякин выяснил наконец, сколько машин пойдет с рабочими на покос, повесил трубку.

— Ольга Павловна дома?

— Ольга?.. Спит, наверно. Счас посмотрю.

Юрий остался в прихожей.

— Идет,— сказал Фонякин, проходя в кухню.— Садитесь, пожалуйста.

— Ничего, спасибо.— Юрий подождал немного в прихожей, потом вышел на крыльцо. Не заметил сам, как начал ходить по крыльцу туда-сюда.

Вышла Ольга в халате... Наступил тот самый момент, которого оба, наверно, боялись и ждали. Сколько он продолжался, этот мучительный момент?.. Смотрели в глаза друг другу...

— Я не умытая еще,— словно оправдываясь, сказала Ольга. Сказала негромко.

Юрий шагнул к ней, взял за руки.

— Оля...

— Подожди, не надо. Не говори. Я сейчас... возьму полотенце.

— Оля, я только хочу сказать...

Ольга, не слушая его, ушла в дом.

Вышла она в легком ситцевом платье, которое очень было к лицу ей. На плече — полотенце.

— Оля...

— Не надо! Ты же сказал. Я все поняла, Юра.

— Я ничего еще не сказал. Я всю ночь думал...

— Теперь ты торопишься. Не надо. Давай спокойно идти... Я тоже всю ночь думала.

— Мы куда?

— На речку. Купаться.

— Я, кстати, там пиджак забыл вчера.

Ольга засмеялась.

Утро было на редкость прекрасное. Солнце выплыло из-за горы и всю землю затопило прозрачным теплым светом. Все отсыревшее в ночной прохладе — крыши домов, заборы, деревья,— все отходило теперь, чуть парило, издавало волнующе-свежий, резковатый запах подгнившей древесины, зелени, подсыхающей земли... Взошло солнце, и природа светло безмолвно ликовала. Человеку бы так!

— Побежим? — предложила Ольга. И первая побежала.

Юрий побежал за ней следом.

— Неудобно немного... Оль?! — негромко крикнул он на бегу.

— Учитель?.. За бабой с утра пораньше?!— Ольгу взял такой смех, что она остановилась и долго хохотала, запрокинув голову.

Юрий стоял рядом, улыбался, любуясь ею, такой же свежей, здоровой, чистой, как само это утро.

— Ты как это утро, Ольга,— сказал он.

— Милый ты мой,— с нежностью сказала Ольга, погладила его мягкой, теплой ладошкой по голове, по щеке.— Умненький мой. Малышечка мой...

Юрия обожгла такая неожиданно сердечная, неподдельно-родная интонация и нисколько не обидело, что он "малышечка".

Пришли к реке. Пиджак Юрия лежал на берегу.

— Купаться будешь? — спросила Ольга, глядя на Юрия, готовая опять смеяться.

— Я плавки не взял,— простодушно сказал Юрий.

Ольга опять засмеялась: что-то смешно ей было сегодня, все смешно.

— Сколько тебе лет, Юра? — спросила она, раздеваясь.

— А что? — Юрий покраснел и всячески старался не выдать волнения, какое охватило его при виде ее полуобнаженного тела.

— А что?

— Ну так. Сколько?

— Двадцать шесть.— Он прибавил себе полтора года.

— А мне — двадцать девять.— Ольга бросила платье на камни, распрямилась, чуть прогнулась назад, раскинула руки.— Двадцать девять, тридцать, тридцать пять, сорок — все. Бабий век — сорок лет.

— Чепуха,— счел нужным сказать Юрий, думая в это время: раздеваться ему или нет. И решил, что не нужно.

Ольга постояла над водой, глядя в нее, потом сразу ухнула с головой вниз... Вынырнула, охнула и поплыла от берега, загребая одной рукой. Крикнула:

— Хорошо! Обожгло всю!..

Юрий понимал, что не надо бы ему сейчас раздеваться — показывать свое отнюдь не атлетического сложения тело, но и сидеть дураком на берегу, когда женщина купается, тоже как-то неловко. Он быстренько, пока Ольга была далеко, скинул одежду и тоже, как она, ринулся с головой в студеную воду. Действительно обожгло.

— Плыви сюда!

Юрий поплыл было, но вернулся.

"Еще судорога, на грех, сведет",— подумал он.

...Лежали на теплых камнях. Юрий нет-нет да невольно взглядывал на Ольгу. Молочно-белое, гладкое, крепкое тело ее все было в мелких светлых капельках и блестело под солнцем, как чешуйчатое.

"Такой я еще не видел",— должен был признаться Юрий.

"Приедет Петр, наделает беды,— думала в это время Ольга.— Убьет кого-нибудь: меня или его".

— Юра, я ведь замужем,— сказала она серьезно. И ждала, что скажет Юрий. Рук с лица, которыми защищала глаза от солнца, не отняла.

— Ну и что? — спросил Юрий.— Разве не бывает?..

— Бывает,— согласилась Ольга.— Ты поможешь мне закончить институт.— Ольга отняла руки от лица, приподнялась на локте.— Я все перезабыла.

— Вспомним! Чего там помогать-то, господи.

— Нет, не просто окончить — не так. Так я могу. Все должно быть очень серьезно, Юра. Все должно быть удивительно серьезно, ты не представляешь себе, как! Должна быть огромная библиотека с редкими книгами. Должно быть два стола... Ночь. За одним ты, за другим я. Полумрак, только горят настольные лампы. И больше ничего. Два стола, два стула, две раскладушки... Нет, одна такая широченная старинная кровать, застеленная лоскутным одеялом. И наво-

лочки на подушках — ситцевые, с цветочками... Ты кого больше всех любишь из ученого мира?

— Коперника,— первое, что пришло в голову, сказал Юрий; он никогда так не думал: кого именно больше всех.

— А я — Циолковского. Я видела в Калуге его домик... Здорово это — почти всю жизнь прожить непризнанным. Только под конец, когда уже ничего не нужно... А?

— Это — подвижники,— согласился Юрий. Его тоже постепенно захватывало чувство, какое владело сейчас Ольгой; она умела заражать.— Это — чисто российское явление.

— Вот именно! А еще в доме должна быть мастерская...

— Какая мастерская?

— Столярная и слесарная. Много-много всяческих инструментов! Столы мы себе сами сделаем...— Ольга резко качнула головой, стряхивая каплю воды, наползавшую со лба на глаз. Пристально посмотрела на Юрия, так, что тому не по себе как-то стало. Легла на спину и опять закрыла лицо руками. И замолчала.

Четыре дня не было Петра Ивлева. Все эти четыре дня Ольга уходила вечером из дома и возвращалась глубокой ночью.

Фонякин зачуял что-то недоброе. Попробовал было поговорить с женой, та отмахнулась.

— В клуб ходит, куда еще.

— Каждый вечер-то?

— А чего тут такого? Что она, старуха, что ли?

— Она мужняя жена — вот что тут такого! — рассердился Фонякин.— Нет мужа дома — нечего одной по ночам шляться.

Жена нехорошо покривилась.

— Муж...

— А кто же он ей?

— Не пара — вот кто! — выпалила жена.— Вывезла!.. Таких-то у нас своих хоть отбавляй.

— Во-он ты как,— Фонякин понял, что жена, если что и знает, не скажет: зять был ей не по душе.

И запала ему в голову неспокойная дума.

"Против Петьки что-то замышляют, не иначе".

Один раз застал мать и дочь, о чем-то оживленно беседующих. При его появлении обе враз смолкли. Ольга ушла в свою комнату.

— Чего затеваете? — прямо спросил Фонякин.

Жена притворно всполошилась:

— Ты что?! Чего затеваем? Господи-батюшка!.. Скажет тоже.

— Смотри,— пригрозил Фонякин.— Я вам парня в обиду не дам. Поняла?

А на пятый день ему принесли в кабинет письмо. Ему лично.

"Уважаемый т. Фонякин!

Мы вас на самом деле уважаем, вы тут ни при чем. Но уймите как-нибудь свою кобылу дочь. Это же стыд гольный! Ведь он, как ни говорите, учитель, наших детей учит. И она, мы слышали, тоже учительствовать собирается. Какой же они пример..."

Фонякин не дочитал письмо; у него в кабинете было много народу. Сидел, как помоями облитый, боялся посмотреть в глаза людям.

"Вот оно!.. Начинается",— думал.

Крепился, сколько мог, потом не выдержал, сказал:

— Товарищи, мне что-то... того... худо малость. Пойду полежу. Закончим на этом.

Шел домой скорым шагом. Правая рука — в кармане, письмо в кулаке — сжал так, что ладонь вспотела.

"Вся деревня знает уже. Сволочи! Одни мы с Петькой, как Исусы... Ну, погодите!"

Вошел в дом мрачнее тучи.

Жена, увидев его, встревожилась.

— Что? Опять? Врача, может?..

— Позови Ольгу. Сама уйди куда-нибудь с глаз долой.

— А что такое, Павел?..

— Я кому сказал!

Жена, чувствуя грозу, пошла исполнять приказание.

Ольга явилась спокойная, чуть собраннее, чем всегда.

"Какая женщина... жена, мать могла бы быть",— невольно подумал Фонякин.

— Что, папа?

— Вот!..— Фонякин бросил к ногам дочери письмо.— Сочинение прислали. Учительницей собираешься быть? Читай! — Фонякин раскалялся все больше.— Там ошибки, наверно, но там в лицо плюют!

Ольга даже не глянула на письмо.

— Анонимка? Не надо было читать...

— А что мне делать?! — крикнул Фонякин.— Глаза себе выколоть?

— Не надо читать, я сама все расскажу.

Фонякин не ожидал такого. Даже несколько растерялся.

— Что ты можешь рассказать?

— Я познакомилась с учителем Юрием Александровичем, мы стали друзьями...

"И как спокойно!"— с холодной яростью подумал Фонякин.

— Мы, очевидно, поженимся. Вот и все.

Как молотком били по голове, только удары были какие-то тупые и туго доходили до сознания Фонякина.

— А как же...— хотел заговорить он тоже спокойно.— Как же Петька?..— Голос прерывался, спокойствия не получалось. Он чувствовал, что сейчас сорвется. И Ольга чувствовала это, но оставалась спокойной. Это-то больше всего и взбесило Фонякина.— Муж как же?..

— Я никогда не любила его. Он знает об этом.

Фонякин поднялся.

— Иди сюда,— сказал он.

Ольга помедлила секунду, подошла.

Отец ударил ее по щеке. И потом еще раз и еще... Ольга попятилась от него.

— Еще,— попросила.

Фонякин шагнул и ударил еще.

— Шлюха.

— Еще бей!

— Шлюха! Вон из...— Фонякин задыхался.

— Еще бей! — требовала Ольга.

Фонякин схватился за сердце, стал торопливо искать глазами место, куда присесть. Он сделался белый, губы посинели...

— Папа! — вскрикнула Ольга.— Папа, что с тобой?

Вбежала мать.

— Паша!

— Не орите! — с трудом сказал Фонякин, осторожно опускаясь в кресло.— Дай глицерин. Скорей. В баночке...

Жена нашла нитроглицерин, Фонякин проглотил таблетку, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Женщины замерли около него.

Долго все молчали.

— Седин не пожалела,— негромко заговорил Фонякин, не открывая глаз.— Не пощадила...

— Папа, при чем здесь ты?

Мать дернула дочь за руку, показала глазами на дверь. Ольга вышла.

— Отец, конечно, ни при чем. Эх, вы...

— Паша, успокойся. Ну не надо сейчас-то...

— Ты замолчи! — Фонякин вздохнул и сам замолчал. Только часто и глубоко дышал.

Вечером Ольга ушла из дома. Совсем.

Через два дня приехал Петр.

Тещи дома не было. Петр прошел в комнату Фонякина.

Павел Николаевич лежал в кровати.

— Что, опять? — спросил Петр. Даже не поздоровался.

Фонякин за эти два дня изменился до неузнаваемости: глаза впали, нос заострился, как у покойника, на щеках, в морщинах залегли нехорошие тени.

— Сядь, Петро,— сказал он. Сам несколько приподнялся на подушках.— Как дома?

— Тетку схоронил.— Петр отодвинул на стуле лекарства, присел на краешек. Хотел закурить, но спохватился.

— Да, кури! Дай, я тоже закурю.

— Может, не надо?

Закурили.

— Что с теткой-то?

— Рак желудка. Пятнадцать килограмм от человека осталось.

— Успел еще?

— Успел. Только не узнала...

Долго молчали.

— Ну, крепись, Петро... Все к одному: Ольга ушла из дома. К учителю... есть тут у нас...

Петр не понял.

— Как ушла?

— Ушла. Совсем. Замуж вышла.— Фонякин опустился на подушки. Видно, не малого стоили ему эти слова. Прикрыл глаза, шумно вздохнул.— От тебя ушла, не понимаешь, что ли?

Волной — от макушки до пят — окатил Петра мерзкий озноб. И схлынул. Жарко сделалось. Он молчал. Фонякин посмотрел на него... и отвернулся.

— Где он живет? Учитель...— спросил Петр.

— У бабки Маланьи... Спросишь — покажут.

Петр поднялся.

— Петя...— Фонякин привстал, глянул прямо в глаза зятю.— Не делай там греха... прошу. Хоть ты-то... Ничего же не изменишь. Как сына прошу...

Слова Павла Николаевича дошли до него, когда он шел к учителю. Он сбавил шаг. Надо было сообразить, как действовать. Но что тут сообразишь?! Так и вошел, ничего не придумав,— какие слова говорить, что вообще делать?

— Здравствуйте.

Они о чем-то оживленно и, кажется, резковато беседовали. Юрий ходил по комнате, Ольга сидела у стола, положив ногу на ногу. И первое, что бросилось в глаза Петру,— круглые, тупые, крепкие коленки Ольги. Не сама Ольга, не взгляд ее, не Юрий Александрович — колени. И почему-то это успокоило, отрезвило. Потом уж он увидел и Ольгу, и учителя... А так как они промолчали на его "здравствуйте", он еще раз громко сказал:

— Здравствуйте, говорю. Что за невежливость такая?

— Здравствуйте,— сказал Юрий.

Ольга внимательно — с таким знакомым любопытством! — смотрела на Петра.

— Сесть-то можно? — весело спросил тот. И сел, не ожидая приглашения.

Вспомнилось ему, как когда-то, в ранней молодости, случалось одному нарваться на ораву ребятни из чужого, враждебного края. Точь-в-точь такое же чувство: сперва мгновенная оторопь — она хоть и мгновенная, хоть и оторопь, а успеешь заметить: высок ли плетень, что рядом, не махануть ли через него? Успел заметить Петр, что Юрий растерялся, если не испугался, Ольга приготовилась — ждет какой-нибудь выходки от Петра, вся наструнилась, но спокойная и — вот-вот — в глазах появится насмешка.

— Давайте познакомимся! — Петр встал, шагнул к Юрию... И опять успел заметить, как в глазах Ольги метнулся испуг. И погас. Но еще самую малость — шагни Петр решительнее или сунься в карман — она или вскочила бы, или крикнула.— Ивлев Петр,— представился он.

— Юрий.

Петр сел.

— Ты любишь ее? — в упор спросил он Юрия.

— Да,— ответил Юрий, несколько более решительно, чем этого требовал простой вопрос, несколько даже торжественно. Он тоже, наверно, шагнул в яму. Ольгу покоробило это.

— Ты, Ольга?

— Когда я еще была в пионерах, меня учили, что на допросах надо молчать. Я...

— Ты любишь? — переспросил Петр, меняясь в лице. Ольга знала, что это такое — когда он меняется в лице.

— Да,— сказала она.

— Вот и все,— сказал Петр.

"Убить!" — стукнуло в голову, и уж гнилостный, страшный холодок беды дохнул в грудь.

— Вот и все,— повторил он. И полез закуривать.— Разговор кончен.— Он устал, и все стало безразлично. Сунул обратно папиросы, поднялся и пошел к двери.— Прощайте,— сказал на ходу. И хлопнул дверью.

Во дворе его догнала Ольга.

— Я провожу тебя.

— Зачем?

— Мне хочется.

— Пойдем.

Долго шли молча. Петр шагал широко, Ольга едва поспевала за ним.

— Отца видел? — спросила она.

— Видел.

— Как он?

— Лежит.

— А там... с теткой?

— Померла.

Опять долго молчали, почти до самого дома Фонякиных.

— Петр... у меня сердце кровью плачет... Я проклинаю себя... Мне жалко вас — тебя и отца...

— Это ты брось. Зря.

— Все равно вы самые хорошие, самые родные мне.

— Брось, Ольга! Чего ты?.. Совсем непохоже на тебя. Не нам с тобой плакать.

— Я домой не пойду.

— Почему?

— Не надо, отец разволнуется. Я подожду.

Фонякин сидел в кровати, когда вошел Петр.

— Что? — спросил он испуганно.— Скоро как-то...

— Ничего, все обошлось. Успокойтесь.— Петр присел к нему на кровать. Говорить было совершенно не о чем. Тяжело было бы о чем-нибудь говорить.

— Ну, поехал.— Петр поднялся.— Выздоравливайте.

Фонякин кивнул.

— Трудовую книжку вышлите потом.

— Ладно. Куда сейчас?

— К дяде. Старенький он уж стал... инвалид.

Фонякин опять кивнул.

— Не обессудь, Петро. Я ничего тут не мог сделать.

— Да что вы! Поправляйтесь, главное. Я не пропаду.— Петр пожал крупную слабую ладонь тестя. Когда-то — он даже и не успел заметить, когда и за что,— полюбил он этого доброго человека, вечного труженика. И понял это только сейчас. И его тоже больно отрывать от сердца.— Будьте здоровы.

— Счастливо тебе.— Фонякин глядел вслед Петру, пока за ним не закрылась дверь.

Ольга ждала его.

— Вот так, Ольга.

— Как он? — Пока Петра не было, она заметно успокоилась.

— Ничего. Поругались, наверно?

— Да. Хуже — он меня ударил. Первый раз в жизни...

— Ну... ты больней бьешь.

— Куда сейчас?

— Домой. Дядька плохой тоже... Ничего, Ольга, все будет нормально.

— Не торопись, куда бежишь-то?

Петр сбавил шаг.

— Он хороший человек? Учитель-то?

— Хороший,— не сразу ответила Ольга.— Но это... опять не то. Я не знаю.— Она не жаловалась, не сожалела.

На Петра никак не подействовали ее слова. Вышли уже на краю села, а за селом открывалась даль. Всхолмленная, в лесах, но необозримо широкая, раздольная. Представилось Петру, что надо идти ему в эту даль — незнакомую, необъятную. Непривычно, чуть страшновато, но уже думалось о том, как будет ТАМ, ВДАЛИ. Уже шагал он ТУДА, и остановить его было нельзя. Именно оттого, что непривычно, и неведомо, и неоглядно широко, манило и влекло ТУДА.

Увидев колодец в конце улицы, Петр свернул к нему.

— Подожди, напьюсь на дорожку.

Ольга тоже подошла к колодцу.

Вал с визгом, долго раскручивался. Глубоко внизу гулко ударилась в воду кованая бадья. Забулькала, залопотала вода, заглатываемая железной утробой бадьи. Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом цепь рывком натянулась — бадья, наполнившись, утонула. Вал надсадно, с подвывом застонал, как заплакал. Цепь с противным, трудным скрежетом наматывалась на вал. Срывались вниз капли, громко шлепались.

Петр подхватил тяжелую бадью, поставил на сруб, широко раскорячил ноги, склонился и стал жадно пить.

— Мх,— простонал он, отрываясь от бадьи,— холодная, аж зубы ломит. Не хочешь?

Ольга отказалась.

Петр еще раз пристроился к бадье, долго пил. Потом торопясь вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на грязную, затоптанную землю прозрачная вода.

— Вот, Ольга... так и с любовью бывает,— зал Петр, продолжая смотреть, как льется вода.— Черпанул человек целую бадейку, глотнул пару раз, остальное — в грязь. А ее тут на всю жизнь хватило.

— Да,— бездумно согласилась Ольга. Мысли ее тоже где-то далеко-далеко.— Прости, Петр, что так получилось.

— Брось...

— Как хочется, чтобы ты счастлив был! Правда, всем хочется счастья, даже больше, чем себе, и вот... так получается.

— Ты так говоришь, как будто я тебе какого-нибудь зла желаю. Мне тоже охота, чтобы у тебя все хорошо было.

— Спасибо. Не будет.

— Будет. Не унывай.

Вывернулась из села попутная машина. Петр "голоснул". Машина притормозила.

— Прощай.

— Будь здоров.

Петр поцеловал Ольгу. Подержал в ладонях ее лицо, посмотрел в глаза... Еще раз поцеловал.

— Прощай.

Когда поехали, Петр крепился, оглядывался. Потом оглянулся. Ольга стояла на дороге, смотрела вслед ему...

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Повесть-сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Жили они по-соседству и все спорили. Пессимист говорил: "Все в жизни плохо, пошло, неинтересно". Оптимисту, наоборот, все чрезвычайно нравилось. "Жизнь — это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка,— любил говорить он. И добавлял: — Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том-то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни,— она переполняет меня всего, и мне остается только петь". И он часто пел. А Пессимист нехорошо как-то смеялся: "Ка-ка-ка!" — "под Мефистофеля".

— Вы, такие, не знаете, что такое жизнь! — громко кричал Оптимист.— И мы вас, таких, предупреждаем!..

— Нет, это вы не знаете, что такое жизнь! — тоже кричал Пессимист.— А мы знаем. Наша тоска оправданна!

— Ты не прав, Алик!

— Ка-ка-ка! — горько смеялся Алик, Пессимист.

Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но опять ни до чего не договорились. Тогда Оптимист говорит:

— Я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, он нас рассудит.

— Я знаю, зачем вы пришли ко мне,— сказал Волшебный человек.— Я помогу вам. Но прежде вы мне — каждый — покажете жизнь такой, какой вы ее видите. Только тогда я смогу разрешить ваш спор.

— Я согласен! — звонко воскликнул Оптимист.

— С удовольствием,— сказал Пессимист.— Я вам ее покажу. О, я вам ее покажу!

— Видите этот дом? — спросил Волшебный человек, поморщившись на такую чрезвычайную уверенность Пессимиста.

— Видим!

— Там живет девушка. Вечером ее придут сватать. Я хочу, чтобы каждый из вас показал это событие в ее жизни так, как он видит. Заделаем? — И Волшебный человек негромко засмеялся.

Сказано — сделано. Вечером все трое пришли к дому девушки и сели напротив, на лавочке. Волшебный человек посмотрел на часы.

— Пора. Кто первый?

— Я! — сказал Пессимист. Ему очень уж не терпелось.

Волшебный человек дал Пессимисту волшебную веточку и велел:

— Махни этой веточкой и скажи:

"Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, имярек, вижу".

Пессимист взял веточку, взмахнул ею и сказал:

Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Алик, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась. И видно стало: грязная комната; семейство Невесты — сама Невеста, ее Мать, Отец и Дедушка сидят за столом, ужинают.

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала:

— Ну и жрать ты здоров, папаша!

Дед сморщился, переспросил:

— А?

— Кушаешь, говорю, много, куда к черту!

Старик обиделся, отодвинул тарелку.

За него вступился сын, Отец Невесты:

— Объел он тебя? — крикнул он на жену.

— А что я такое сказала? — в свою очередь обиделась Мать Невесты.— Пусть ест. Надо только меру знать.

Невеста крикнула на ухо Деду:

— Рубай, дедушка!

Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать.

В это время по улице, направляясь в дом Невесты, прошла группа людей — семейство Жениха; сам Жених, его Мать, Отец. И с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— А ту комнату я все равно перегорожу, и мы будем там жить! — кричал Жених.

— А шишок под носок хочешь? — спросил Отец.

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А где же он жить-то будет? — спросила мужа Мать Жениха.— Интересный ты тоже какой-то.

— Пусть где кочет, там и живет,— заявил Отец.— Когда я женился, мне отец тоже так сказал: "Как хошь, так и живи".

— Суд разберется,— значительно сказал Жених.

— Суд разберется,— согласился Отец.

Группа вошла в подъезд.

А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала:

— Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: "Мне,— говорит,— кто-то керосину в суп подлил". А сама на меня смотрит. Я говорю: "Если ты,— говорю,— думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься — не из таких. Нас,— говорю,— девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного..."

— Мамаша, а я видела,— сказала Невеста.

Дед тихонько засмеялся.

— Чего ты видела? — строго спросила Мать.

— Как ты керосин подливала.

Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты тоже хихикнула.

— Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку,— призналась она.

В дверь постучали.

— Кого там еще черт несет,— проворчал Отец и пошел открывать.

В комнату вошел Жених со своим семейством. Поздоровались:

— Привет!

— Здравствуйте!

— Приятного аппетита!

— Здравствуйте.

Только двое промолчали: Дед и Непонятно кто. Непонятно кто стал осматриваться в комнате.

— Может, ужинать с нами? — спросила Мать Невесты.

— Благодарственны,— сказал Отец Женнха.— Мы по делу к вам.

— По какому такому делу? — спросил Отец Невесты, будто не понимая, в чем, собственно, это дело.

Отец Жениха с неудовольствием посмотрел на сына, вышел на середину комнаты и сказал:

— Ну вот, значит: у вас, мы слыхали, товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается... Вопчем, надо их окрутить, и дело с концом. Как вы насчет жилплощади?

— Это вы не туда попали! — отрезала Мать Невесты.

— Как? — Отец Жениха посмотрел на сына; тот сделал ему знак рукой: "Туда. Она просто поломаться хочет".— Нет, мы туда попали. Мы "не туда" никогда не попадаем.

— Может, и туда, но товар у нас не залежался,— пояснила обиженным тоном Мать Невесты.— У нас в роду этого не было...

Тут не выдержала Невеста.

— Мама, ну чего ты? Прям-то, как эта... Это же обряд такой,— сказала она.

— А ты молчи! — прикрикнула на нее Мать.— Прижми хвост и помалкивай. Без тебя как-нибудь разберемся.

— Вы свататься, что ли, пришли? — нетерпеливо спросил Отец Невесты.

— Свататься.

— Так и говорите, а то крутют тут...

— А то ты не понимаешь! — ехидно сказал Отец Жениха.

Непонятно кто не обращал никакого внимания на сватовство. Он осмотрелся, подошел к старику, спросил:

— Шифонер не сами делали?

Дед не расслышал.

— А?

— Шифонер, говорю, не сами делали?

Дед посмотрел на шифоньер.

— Нет. Какого лешего я его сам буду делать?

— А чего эт ты к шифонеру приглядываешься? — спросил Отец Невесты, подозрительно глядя на незнакомого человека. Тот в это время внимательно разглядывал тумбочку. На вопрос не ответил.

Жених все время стоял у двери. Когда Мать Невесты сказала дочери: "Прижми хвост и помалкивай!" — он уста-

вился на нее немигающими строгими глазами. Потом не вытерпел и сказал:

— Я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно выражаетесь. Вы, например, сказали: "Прижми хвост". Я не согласен.

Мать Невесты приятно изумилась.

— Скажите, какой заступник выискался! Она еще пока моя дочь — как хочу, так и говорю с ней. Вот когда она будет твоя жена, тогда можешь мне затыкать рот.

Жених не почувствовал в словах будущей тещи доброго отношения к себе, глупо уперся.

— А я не согласен! Надо тоже выбирать выражения. Я вам тоже могу сказать: "Закройте поддувало". Вы тоже будете не согласны.

Мать Жениха и Отец Жениха засмеялись. Зато Мать Невесты и Отец Невесты нехорошо посерьезнели.

— Нет, почему,— сказал Отец Невесты,— я просто за такие слова в лоб дам разок, и все.

Жених снисходительно улыбнулся, а Невеста хихикнула.

— Папаша,— сказала она радостно,— он же перворазрядник по боксу. У него же удар — двести пятьдесят кило.

Отец Невесты прикусил язык.

— А тумбочки тоже не сами делали? — спросил Непонятно кто Деда.

— А?

— Тумбочки, говорю...

Дед посмотрел на тумбочки.

— Нет.

— Ну ладно,— сказал Отец Жениха,— это все пустые разговоры. Как у вас с жилплощадью? Только не тяните кота за хвост.

Тут неожиданно взорвался Дед.

— Это безобразие! — воскликнул он.— При чем тут жилплощадь, если они любют друг друга?

Все удивились.

— Ты что, чокнулся? — спросил Отец Невесты.— Или сорвался с одного места?

— Проснулся,— ядовито заметила Мать Невесты.— Чего ты лезешь не в свое дело? Твое место знаешь где?.. Сказать?

— Я правильно говорю. Сперва надо невесту спросить: согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака?

Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, посмотрели в сторону Невесты.

В этот момент как на грех вошла Соседка, стареющая дева. Зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообразила, что здесь происходит.

— О, у вас гости? — сказала она улыбаясь.— Извините, пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя,— к Невесте,— дай мне, пожалуйста, утюга.

Катя решила сыграть на Соседку, решила воздвигнуть на кухне небольшой нерукотворный памятник себе: решила убить Соседку.

— Я еще не знаю,— сказала она потупясь.— Я еще подумаю. Вообще-то мне еще рано замуж.

Все опешили. Повисла неловкая пауза.

— Да? — спросил Жених.— Может, нам лучше разойтись как в море корабли? Чтобы без трепа?..

Опять пауза. Момент тяжелый, противный.

— Катя,— заговорила Соседка.— Я насчет утюга... Извините, пожалуйста.

Никто на нее не обращал внимания. Кате и подавно было не до утюга. Дед поднялся, нашел утюг, подал Соседке. Та вышла. Непонятно кто остановил Деда и заговорил:

— Интересно, а этажерку...

— Пошел к черту! — разозлился старик.— Я не столяр! Я машинистом был — ту-ту!.. Понял?

— Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут...

— Нет, я хочу понять — в каком смысле надо понимать: "Мне еще рано замуж"? — спросил Жених.

— Да в таком самом...— Невеста поняла, что ужасно сглупила, растерялась.

— В каком "в таком самом"?

— Да в таком самом. И нечего ко мне приставать.— Она чуть не плакала от отчаяния.

— Я все понял,— сказал Жених.— Пойдемте, родители.

— Посмешили людей и пошли? Так только комики делают,— сказала Мать Невесты.

— Я, может, пошутила,— попробовала выйти из положения Невеста.— Я, может, просто так сказала.

— Ничего тебе, шуточки! — воскликнул Жених.— Я тоже могу сказать: "Мне еще рано жениться, я еще не нагулялся". Интересно, понравится тебе это? Не понравится, я больше чем уверен.

— Она не хотела так сказать,— сказала Мать Невесты.

— А как же она хотела сказать?! Я же не дурак, как намекает ваш глухарь, я же понимаю, как она сказала.

— Она — девушка и должна проявлять скромность,— встрял в неприятный разговор Отец Невесты.— Мало ли, что она согласна! Она должна говорить, что не согласна.

— Я только сказала: я подумаю.

— Знаете!..— взревел Жених.— Знаем мы эти штучки! Сегодня — подумаю, а завтра — хаханьки с соседом. Знаем мы это. У меня один друг тоже женился: она ему на другой же день изменила.

— Ну и мы тоже кое-что знаем! — оживилась Невеста.— У одной моей подружки тоже муж сказал, что едет в командировку, а сам жил с нашей общей знакомой. Она их застукала. Так он набрался нахальства и говорит: "А мы,— говорит,— ничего, мы,— говорит,— письмо турецкому султану пишем..."

— Тоже — комик,— заметила Мать Невесты.

— А у меня товарищ был,— вспомнил Отец Невесты,— так что он выкинул: застукал тоже жену с хахалем и скинул его с четырнадцатого этажа.

— Разбился? — поинтересовался Непонятно кто.

— Хахаль-то? Конечно. С четырнадцатого этажа... Попробуй.

— А я этто иду вчера по улице,— заговорил Отец Жениха,— гляжу: муж колотит жену со всех сил. А у самого кулак — с детскую головку. Я ему говорю: "Что ж ты делаешь? Ты же можешь ей ребра сломать". А он мне отвечает: "Чем,— говорит,— меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей". Доцент какой-нибудь...

— У вас санузел объединенный? — спросил Непонятно кто у Отца Невесты.

— Объединенный,— ответил тот.

— Это плохо,— сказал Непонятно кто.

— Кому как.— Отец Невесты опять подозрительно посмотрел на незнакомца.— В тесноте, да не в обиде, говорят.

— А соседи как? Ничего?

— Ничего. Тимошка Соколов только буянит часто. Вот тут, через стенку, живет. С топором бегает, стекла бьет иногда... А вчера, например, явился домой в состоянии зеленого алкоголя. А семья,— ну, то есть, родные и знакомые, смотрели телевизор. Ну, он тоже стал смотреть. Посмотрел немного и говорит: "Таких плотников не бывает!" Его попросили привести себя в порядок. А он свое: "Таких плотников не бывает! Я,— говорит, сам плотник — знаю! Это вранье все". Снял сапог с левой ноги и произвел удар по телевизору.

— Сколько дали? — спросил Непонятно кто.

— Пятнадцать суток. Я сам и отвел его в отделение. Критик ты,— говорю,— а не плотник.

— Какой телевизор? — спросил Непонятно кто.

— Обыкновенный телевизор.

— Они разные бывают.

— У них "Рекорд" был,— сказала Невеста.

— Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого телевизора нету.

— Телевизор — это одно беспокойство,— упрямо сказал Жених.— У одного моего друга тоже телевизор был... Смотрели как-то с соседями постановку про любовь. Свет, конечно, выключен. Ну, один сосед начал щупать жену друга. Они, значит, так сидели: она впереди, жена-то, а муж с соседями сзади. Ну, он начал ее поглаживать. Она говорит: "Это ты, Вася?" — мужа-то Васей звать. А Вася — ни сном, ни духом. "Чего?" — говорит. "Ничего",— это она-то. "Я,— говорит,— думала, это ты".

— Ая-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — с восхищением заметил Отец Невесты.

— А, по мне, вот — хоть он есть, этот телевизор, хоть его нет,— все равно,— сказала Невеста.— Я больше люблю в окно смотреть.

— Баловство одно от этих телевизоров,— согласилась Мать Невесты.

— Нет, иногда можно посмотреть, почему,— сказал Жених.— Совсем не смотреть телевизор — это тоже отсталость. Но зачем свет выключать?

— Да, это уж так,— поддакнула Мать Невесты.— Свет выключут — тут уж конечно...

— Да, тут уж только держись, это точно,— подкинул Отец Невесты.

— При свете-то, конечно, можно посмотреть,— поправилась Невеста,— я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле ничего не имею против. У одной моей подружки тоже телевизор есть... Она, как видит меня, всегда говорит: "Почему ты никогда на телевизор не приходишь?" Я говорю: "Нет, смотрите уж сами". Она говорит: "Почему? Хоть,— говорит,— посмеемся".— "Нет,— говорю,— смотрите уж сами". А потому что я знаю, что они, когда смотрят телевизор, свет всегда выключают.

— "Посмеемся"! — возмутилась Мать Невесты.— "Приходи, хоть посмеемся"! Начнут все смеяться, так ты и не заметишь, как тебя общупают всю. И я всегда своей дочери

говорила: "Никогда не смейся, доченька!" Она иной раз: "Мам, я в кино схожу".— "А чего,— говорю,— ты там не видела? Чего? Опять смеяться будете?"

— Нет, иногда можно посмеяться, почему. Если комедия какая-нибудь — пожалуйста, смейся. Для того и на афишах пишут: "Комедия".— Жених потихоньку наглел.— Я сам люблю комедии...

— В здоровом теле — здоровый дух,— согласился Отец Невесты. Чем больше наглел Жених, тем активнее заискивали перед ним Невеста, Отец Невесты, Мать: как ни крути, а замуж надо.

— А при чем тут тело? — строго спросил Жених.

— Я в том смысле, что я тоже кино уважаю.

— Надо бы выбирать выражения.

— Это правильно, конечно.

— Вообще-то, кино — это разврат,— сказал Жених.— Ты же берешь билет, ты же не знаешь, кто рядом с тобой сидеть будет. Бывает так, что сядет какая-нибудь фифочка... От нее духами и всякими... Тут не то что на экран, тут всякие мысли в голову лезут, хе-хе...

Все громко засмеялись. В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой скромный Гражданин с газетой в руках.

— Что случилось, соседушка? — миролюбиво спросил Отец Невесты.

— Нельзя ли потише, товарищи?

— У нас, видишь ли, ЧП — дочку замуж выдаем.

— Я понимаю, но все-таки... пожалуйста, а?

— Ладно.

Скромный Гражданин вышел.

— Кто это? — спросил Непонятно кто.

— Да бухгалтеришка один... Вредный, зараза! Мы тут на днях клопов морили керосином, ну, конечно, открыли дверь, чтобы запах в коридор выходил. Так он нарочно завязал голову полотенцем и ходит с полотенцем. "Голова,— говорит,— болит от вашего керосину".

— "От вашего керосину..." А сам, наверно, с похмелья мучился,— сердито сказала Мать Невесты.

— Закладывает? — спросил Непонятно кто.

— Да говорит, что у него желудок вырезан. А сам, наверно, пьет потихоньку. Кто нынче не пьет?

— Я сам на днях клюкнул с дружками в кафе — еле до дому добрался,— весело сказал Отец Невесты.— Спасибо, ребята-дружинники помогли.

— Если не буяните, почему не выпить? — вставила свое слово Мать Жениха.— Бывают буйные.

— Нет, он у нас спокойный,— не без одобрения сказала Мать Невесты.

Отец Невесты был явно польщен этим замечанием жены и стал хвастать:

— Я сразу — спать. Других тянет шататься где-ни-то, а я сразу домой — спать.

— Папа у нас, как напьется, так берет песенник и поет все песни подряд. И все на один мотив,— сказала Невеста, с любовью глядя на отца.

Довольный Отец засмеялся.

— Ну, ты уж скажешь, дочка.

— А что, неправда? Мама его ругает матом, а он себе поет.

— Хе-хе-хе... Нет, я действительно не понимаю таких: напьется — и вот начинает строить из себя! Правильно, что начали бороться с такими. Напился? — иди домой! И никто никогда тебе слова не скажет. Наоборот, будут в пример ставить.

— Если не буяните, то почему же,— опять сказала Мать Жениха и посмотрела на своего мужа.

— У меня отец-покойничек, царство ему небесное, дедушка Катин,— вспомнила Мать Невесты,— такой был. Душевный человек! Уж там пил, господи-батюшка!.. Один две пол-литры усиживал. Но чтобы он кому-нибудь лишнее слово сказал или ругнулся на улице — никогда! Придет, бывало,— еле на ногах стоит, а сам все улыбается. "Вот и я",— говорит. Любили его все. Так от запоя и помер, сердешный.

— А я вот никогда не помню, что со мной бывает,— сказал Отец Жениха.— Проснешься утром и думаешь: "Что же вчерась было?"

— Это опасно,— авторитетно сказал Отец Невесты.— Так можно подзалететь. У нас на днях судили одного...

— А с моим другом тоже на днях история была,— заговорил Жених.— Пошел он с женой в гости к нашим общим знакомым, выпили тоже, завели радиолу, пошли танцевать. А он, друг-то, замечает, что у его жены что-то глаза блестят. Ну, притворился пьяным. Потом — раз на кухню: а там целует его жену наш общий знакомый. Свет, конечно, выключен.

— Ая-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — воскликнул Отец Невесты.

— А он что? — спросил Непонятно кто.— Выкинул его?

— Кто?

— Муж-то?

— Он им ничего не сказал.

— !!!

— А когда они ушли из кухни, он взял им холодильник испортил и выпустил попугая из клетки. Совсем — в форточку.

— Ловко!

— Я вот не понимаю женщин, которые танцевать любят,— заговорила Невеста.— Что хорошего? Кружатся, кружатся — смотреть противно.

— Нет, иногда можно потанцевать, почему. Но вообще-то — это разврат, я по себе погонюсь: пойдешь с какой-нибудь фифочкой, а от нее духами всякими... Хе-хе...

Все опять громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой человек с газетой.

— Товарищи, нельзя ли потише?

— Знаете что!..— взорвалась Мать Невесты.— Идите лучше похмелитесь! Ходют тут алкоголики всякие!

Гражданин вытаращил на нее глаза.

— Вы что, спятили?

На Гражданина двинулся Отец Невесты.

— Как ты сказал? Я что-то не расслышал. Ну-ка, повтори еще...

Жених остановил его и вежливо сказал скромному Гражданину:

— Товарищ, я вас сейчас изуродую. Вот сюда достану разок... Оп!..— Он сделал выпад, пугая Гражданина.

Гражданин выбежал из комнаты. Все опять засмеялись.

— Вот так и надо с ними,— сказала Мать Невесты.

— До чего обнаглел народ! — возмутился Отец Невесты.— Это ж — не пройдешь по улице, чтобы тебе чего-нибудь не отдавили. Мне на днях все руки отдавили.

Непонятно кто вопросительно уставился на Отца Невесты.

— А я как-то иду по улице,— заговорил Отец Жениха,— ко мне подходят двое. "Давай,— говорят,— на троих?" Я говорю: "У меня денег нету". Так один мне сунул вот сюда кулаком и говорит: "Зазнался, сука".

— В таких случаях надо сразу вот сюда бить,— сказал Жених. Подошел к отцу, показал — под ложечку.— Вот так — р-раз!..

— Ой!

— У нас недавно случай был: приходим с другом в парк...

— Одну минуточку, я перебью,— сказал Непонятно кто.— Я не понял, как это вам руки отдавили?

Отец Невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в комнате, оглушительно захохотали и посмотрели на Непонятно кого, как на дурачка.

— А вот как! — воскликнул Отец Невесты, встал на четвереньки и пошел по комнате.— Идите ко мне.

Непонятно кто стоял на месте.

— Ну иди, иди,— подтолкнул его Жених.

Непонятно кто пошел к отцу Невесты.

— Вот я иду домой,— стал объяснять Отец Невесты, стоя на четвереньках.— Так? А ты — прохожий... Иди мимо меня. Иди!

— Зачем?

— Да иди, не бойся!

Непонятно кто пошел мимо него.

— Идешь, да? — спросил Отец Невесты.

— Иду.

— Теперь наступай мне на руку... Ну, наступай!

— А-а! — понял наконец Непонятно кто.

Все опять засмеялись. Отец Невесты встал, отряхнул колени.

— Вот так и отдавливают руки, молодой человек,— сказал он, снисходительно улыбаясь.

— Ну, приходите вы, значит, с другом в парк? — напомнила Невеста Жениху, заранее улыбаясь.

— Ну, приходим мы, значит, в парк, друг и говорит мне: "Тут,— говорит,— один тип есть, он у меня девушку отбил. Пойдем,— говорит,— потолкуем с ним, как жельтмены". Я ему как дал вот сюда, он двадцать семь минут в нокауте был.

— Ловко!

— Я только не поняла, кто в нокауте лежал: ваш друг или тот тип? — спросила Мать Невесты.

— Да тот тип, конечно,— воскликнула Невеста.— Мама скажет тоже...

— Тип,— подтвердил Жених.— Я ему в печень дал.

— Одну минуточку, перебью: сколько у вас квартплата выходит? — спросил Непонятно кто.

— Пять с копейками,— ответил Отец Невесты.

— Продолжайте.

Но тут заговорил Отец Жениха.

— Ну, а как мы решим наше дело-то? — спросил он всех.

— Нет, я же ясно сказал: ничего не выйдет,— сказал Жених.— Мы разойдемся как в море корабли.

Минуты три все молчали, смотрели на Жениха.

— Я не люблю зря трепаться,— пояснил тот.— Я же сказал давеча: "Знаем мы эти штучки".

Дед тихонько засмеялся.

— Пошляк! — громко сказала Невеста и заплакала.

Отец Невесты, тоже чуть не плача от обиды и оскорбления, пошел снимать ружье.

— Ты боксер, да? Ты боксер? — Снял ружье, взвел курок.— А я вас тогда дуплетом...

Первой, взвизгнув, бросилась из комнаты Мать Жениха, за ней — Отец Жениха. Потом выскочил Жених. Непонятно кто остался и, не обращая внимания на суматоху, стал мерить шагами комнату — считал метраж.

— А тебе чего тут надо?! — заорал Отец Невесты.— Ты кто такой?

— Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Елизарович,— спокойно пояснил Непонятно кто.— Как вы насчет того, если мы поженимся с вашей дочкой?

Невеста неприлично разинула рот. Мать Невесты ущипнула себя за руку. Отец Невесты зачем-то посмотрел в дуло ружья и повесил ружье на стенку.

— Черт его знает,— сказал он.— Я что-то ничего не понимаю...

— Что ты не понимаешь?! — накинулась на него супруга.— Что тут непонятного, скажи, пожалуйста? Совсем уж одурел?..

Лизунов засмеялся.

— Это, знаете, бывает. По-научному — первая стадия.

— Закрой рот,— негромко сказала мать дочери. Потом обратилась с улыбкой к Лизунову: — Тонко же вы подъехали!.. Просто даже удивительно!

Лизунов снял пиджак, аккуратненько повесил его на спинку стула, стал закатывать рукава.

— Жизнь, мамаша, сложная штука. Простите, ванночку можно принять? И мне бы махровое полотенце и детскую шампунь. Перхоть, знаете...

— Можно. Пойдемте, я покажу,— захлопотала Мать Невесты.— А ты, Катюша, собери пока на стол. А ты, отец, сбегай в магазин...

Лизунов пошел и запел:

— Не брани меня, родная...

Тут Волшебный человек взял у Пессимиста волшебную веточку и взмахнул ею. Стена дома сомкнулась.

— Ты не прав, Алик! — воскликнул Оптимист и стал взволнованно ходить возле скамейки.— И откуда в тебе это?! Откуда?

— Ка-ка-ка!..— засмеялся Пессимист.

Волшебный человек между тем перевел свои волшебные часы назад на два часа и отдал веточку Оптимисту.

— Теперь ты. Время вернулось назад на два часа — событие то же: придут сватать Невесту. Покажи, как ты это видишь.

Оптимист махнул веточкой и сказал:

Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи нам людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Эдуард, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась.

Все так же, как мы уже видели, и все тем не менее не так. Люди те же, и вместе с тем совсем другие. И в комнате все как будто так же, да не так...

— Ну и любите вы покушать, папаша! — весело сказала Мать Невесты на ухо Деду.

— А?

— Аппетит, говорю, у вас отличный!

— Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана съедал. Зато и силенка была! Посажу, бывало, трех неприятелей на штык — и через себя.

— Вы бы писали об этом, дедушка,— сказала Невеста.— У вас такая богатая жизнь.

— А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться будет: "Руки вверх, неприятели!" Если хочешь, почитаю после ужина.

— С удовольствием послушаю,— согласилась Невеста.

— Кушайте, папаша, кушайте,— угощала его Мать Невесты.— Потом нам всем почитаете. Мы все с удовольствием послушаем.

По улице, направляясь в дом, проходит семейство Жениха, и с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— Ну, рояль, холодильник, телевизор — это все забирайте,— говорил отец Жениха.— Вы — молодые, вам это нужно.

— Спасибо, отец! — с чувством сказал Жених.— Но я предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги.

Отец Жениха улыбнулся хорошей улыбкой.

— Понимаю — гордость! Вот таким я и хотел видеть своего сына.

Мать отвела сына в сторонку и сказала негромко:

— Отец хочет вам подержанную "Победу" купить на свои сбережения.

—"Победу"?!

— Тш!.. Только ни слова об этом. Он хочет сделать сюрприз.

Сын догнал Отца, обнял его и поцеловал в щеку.

— Что еще такое? — спросил Отец с мужской, доброй суровостью.— За что?

— За все, папа!

Мать Жениха и Непонятно кто идут сзади.

— Какой у вас замечательный сын! — сказал Непонятно кто.

Мать было всплакнула, но тут же вытерла слезы. Улыбнулась.

Вошли в подъезд.

А в комнате Мать Невесты рассказывала:

— Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной.

— Что такое? — спросил муж.— Почему?

— Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, а я говорю — моя.

— Мама, но вы же вчера оставались с ней,— сказала дочь.— Марья Николаевна права.

— Да, но девочка ко мне привыкла,— стала оправдываться Мать.— Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть "Жилин и Костылин".

— Какая повесть! — сказал Дед.— Умел закручивать граф Толстой. А? Мастер, мастер. Биография только... того, а так — мастер.

— Мастер,— согласился Отец Невесты.— И что удивительно — все предельно просто и лапидарно!

— В том-то и штука. Я, например, в своей книге "Руки вверх, неприятели!" хочу тоже изложить события предельно простым языком. Но трудное это дело! Ох, трудное! Я понимаю Толстого с его "Не могу молчать!" Иной раз такое волнение охватит, думаешь: лучше бы я ему в морду дал,

отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, матом крыть, а приходится писать, что называется, кор-рэктно. Тьфу!.. слово-то какое-то...

— Когда вы думаете закончить книгу, дедушка? — спросила Невеста.

— Думаю, что через пять лет закончу. Это будет мой скромный подарок грядущим поколениям.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вошло семейство Жениха.

Жених: — Добрый вечер!

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Добрый вечер! Приятного аппетита!

Непонятно кто: — Здравствуйте, товарищи!

Невеста: — Здравствуйте!

Отец Невесты: — Вечер добрый!

Мать Невесты: — Добро пожаловать!

Дед: — К нашему шалашу!

— Извините, что в такой поздний час,— заговорил Отец Жениха.— Но дело, как говорят, не терпит отлагательств.

— Пожалуйста! — воскликнул Отец Невесты.— Какие могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами.

— Спасибо за приглашение: мы только что отужинали — и сразу сюда.

Жених и Невеста переглядываются. Невеста покраснела. Дед с этакой стариковской хитрецой наблюдает за молодыми.

— Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи? — спросил Отец Невесты: он действительно не понимает, в чем дело.

— Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотливому делу,— заговорил Отец Жениха, заметно волнуясь.— Молодые люди — ваша дочь и мой сын,— оказывается, любят друг друга.

Отец Невесты очень удивился, а Мать Невесты не удивилась, но она тоже была заметно взволнована. А Дед улыбался хорошей стариковской улыбкой — хитрой и доброй. Невеста опустила глаза долу.

— Я со своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал с сыном,— продолжал Отец Жениха.— Думаю, что к браку он готов.

Отец Невесты, заметно волнуясь, ходил по комнате.

— Ах, стрекоза!.. А я-то, старый дурак, живу и ничегошеньки не знаю. Я-то думаю, что она у нас все еще девчонка, а она вон что!.. Почему ты мне не сказала, что у тебя есть

молодой человек и что вы хотите пожениться? Почему? Неужели я консерватор какой-нибудь?

— Папуля, мне было как-то стыдно об этом говорить. Я просто не знаю... Я знала, что вы не консерватор, и все равно... Мне и сейчас ужасно стыдно, товарищи... Просто не знаю.— Невеста тоже заметно взволнована.

— Как же так, дочка? Я удивлен, я тебе честно говорю: я удивлен. Не сказать отцу...

— Ну что ты к ней пристал, Микола,— вступился за внучку Дед.— Молодость диктует свои законы, которые нам не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне...

— Тогда было другое время, отец.

— Я бы хотел только обратить внимание молодых людей на тот факт, что женитьба — это очень и очень ответственный шаг, дети мои,— сказала Мать Невесты.— Я не против того, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите... Мне обо всем рассказывали соседи и ваши учителя. Но вы не представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответственный шаг.— Она всплакнула.

— Успокойся, мать,— сказал Отец Невесты.— Жизнь есть жизнь: молодое растет, старое старится. А давно ли, кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала... Я уезжал тогда на Крайний Север... Ах, время, время! — Отец смахнул скупую слезу.

— Да, да... И мы тоже стояли когда-то на перроне вокзала.— Отец Жениха тоже смахнул скупую слезу.

Непонятно кто подошел к Деду и спросил:

— Я слышал, вы книжку пишете, дедушка?

— Пишу, молодой человек, пишу.

— "Воспоминания пожилого человека"?

— Ась?

— Я говорю, называться будет: "Воспоминания пожилого человека"?

— Плохо вы о нас думаете, молодой человек! — обиделся Дед.— Какие же мы пожилые?! Разве годы могут старить человека?

Непонятно кто смутился.

— Нет, я не в том смысле сказал... Я понимаю, что годы тут ни при чем.

— То-то! Я в свои семьдесят девять лет моложе иного восемнадцатилетнего. А почему? Да потому, что не отстаю от жизни. А вот некоторые... Ну-ка, молодые люди! (Это к отцам.) — Чего захлюпали?! Выше голову! Грянем, братцы, удалу-ую!..

Все громко засмеялись.

Стук в дверь.

— Войдите,— сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой Гражданин с энциклопедией в руках.

— Добрый вечер, товарищи!

Отец Невесты: — Здорово, сосед!

Мать Невесты: — Здравствуйте, Семен Кузьмич!

Дед: — К нашему шалашу, Кузьмич!

Невеста: — Здравствуйте, дядя Семен.

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Здравствуйте!

Жених: — Здравствуйте!

Непонятно кто: — Здравствуйте!

— А я слышу: у вас какое-то торжество! — дай, думаю, зайду,— сказал Гражданин.

— А вот они, виновники торжества! — сказал Отец Невесты и показал на Жениха и Невесту.— Моя дочь выходит замуж.

Да что говорите! — изумился Гражданин.— Катюша, милая!.. Поздравляю тебя, дитя мое, поздравляю! — Подошел, поцеловал Невесту в лоб.— А где же?.. Ага, вот он! — Он строго, но вместе с тем любовно посмотрел на Жениха.— Ничего, ничего... хорош! А? Арсений Назарыч?.. Как находишь?

— Мне — лишь бы не отставал от жизни,— сказал Дед.

— Нет, хорош, хорош... Поздравляю, молодой человек, от души поздравляю! Вы, можно сказать, открыли клад.

— Э-э, что — клад, Семен Кузьмич,— упрекнул Гражданина Дед.— Что в наше время клад?

— Я просто к слову, Арсений Назарыч. Нет, хорош... А ведь я Катюшу-то вот с каких лет знаю, когда она еще под стол пешком ходила, хе-хе-хе... Ах, где мои семнадцать лет!

— А вот этого я не люблю, Семен Кузьмич,— опять осадил его Дед.— Что это за вздохи?

— Я так, Арсений Назарыч, к слову. Нет, хорош! Так, молодые люди... одну минуточку.— Семен Кузьмич вышел с таинственным видом.

— Неисправимый человек! — усмехнулся Отец Невесты.— Сейчас что-нибудь принесет в подарок, уж я его знаю.

— Когда я еще была маленькой,— заговорила Невеста,— дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: "Учтите, вы там будете". И плакал.

— Он у нас, как Циолковский,— вставил Отец Невесты.— Тоже, кстати, все чертит чего-то. Спросишь: "Чего ты

изобретаешь-то все?" Он махнет рукой и скажет: "Так... мысли распирают".

— Но сдает последнее время, сдает,— заметил Дед.

Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках.

— Прошу принять от меня этот скромный подарок, молодые люди.

— Что вы, дядя Семен! — воскликнула Невеста.

— Что вы, Семен... э-э... Семен Кузьмич! — тоже воскликнул Жених.

— Прошу, прошу... И без церемоний — я этого не люблю. Иначе обижусь. Берите, мне тяжело держать.

Жених принял телевизор.

— Спасибо.

— На здоровье. Мне он на старости лет...

Дед погрозил Семену Кузьмичу пальцем.

— Кузьми-ич!..

— Молчу. Эх, грянем, братцы, удалу-ую!..

Дед подхватил:

— Эх, на поми-ин ее души!

Все громко засмеялись.

Семен Кузьмич посмотрел на часы.

— Хорошо с вами, дорогие мои, но дело есть дело: судим одного прохвоста товарищеским судом. Представляете, выкинул номер: обиделся, что его покритиковали на жилактиве за некультурное поведение в лифте, пришел домой, включил везде свет — днем!.. Включил утюг, электроплитку и сидит.

— Позор! — сурово сказал Дед.— Выселить в необжитые районы.

— Мало того: он начал петь! Соседи, естественно, возмутились: попросили прекратить. И знаете, что он ответил? "Я, говорит, не знал, что в доме такая звукопроницаемость".

— А вот это уже нахальство,— сказал Отец Невесты.— Он не знал, что в доме такая звукопроницаемость! Наивный ребенок!

— В наше время многие под наив работают,— сказал Непонятно кто.— У нас в институте один парень тоже... "Я,— говорит,— не знаю, почему Ремарк — это плоко..."

— Пропесочить разок хорошенько — узнает,— посоветовал Дед.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вбежала Соседка, подруга Невесты.

— Боже мой!.. Катя!..

— Зина!..

Они обнялись.

— Катя!..

— Зина!..

— Катька!..

— Зинка!..

Семен Кузьмич засмеялся, махнул рукой и вышел.

— Ну, теперь разговорам конца не будет,— притворно рассердился Дед и повернулся к Непонятно кому.— А вы что, тоже пишете, молодой человек?

— Да.

— О чем, если не секрет?

— Вещь называется "Три товарища" — в пику Ремарку. Действуют три друга: Димка, Толик и Боб. Они сперва заблуждаются, потом находят себя. А потом я буду писать еще одну вещь — в пику Хемингуэю.

— Одобряю,— похвалил Дед.— Благословляю, так сказать. Нам надо раскладывать, надо бичевать, надо перетряхивать!.. Я, например, в своей книге "Руки вверх, неприятели!" перетряхиваю все на свете.

— Надо, надо.

— Итак, молодые люди,— заговорил Отец Невесты,— вы будете жить самостоятельно. Как вы себе это представляете? Я хочу спросить прежде всего вас, молодой человек.

Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно волнуясь:

— Мне легко отвечать на этот вопрос, потому что я недавно отвечал на вопросы анкеты одной молодежной газеты — "Ваше мнение о семье и браке". Я подробно остановился там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, так сказать, идейной подоплеке. Я высказал там одну, на мой взгляд, интересную мысль: современная молодая семья не может существовать без взаимопонимания и дружбы.

— Так,— Отец Невесты кивнул головой.

— Далее, я указал, что современная молодая семья не мыслится без взаимного уважения и доверия.

— Правильно.

— Вот эти четыре компонента, как три кита, составляют, на мой взгляд, основу основ современной молодой семьи.

— Так.

Жених вошел в раж.

— глубоко убежден,— говорил он звенящим голосом,— что, если даже только один из этих четырех компонентов перестанет соответствовать нормам современного общежития, молодая семья распадется. Я глубоко убежден также,

что бракоразводный процесс в нашем законодательстве очень уж усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, могу показаться излишне тенденциозным, но я говорил и говорить буду, что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство!

Все внимательно слушают расходившегося Жениха.

— Вы юрист? — спросил Отец Невесты.

— Я, так сказать, антиюрист.— Жених улыбнулся своей шутке.— Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не в профессии. Меня глубоко волнует человеческая сторона этого вопроса. В самом деле, вы пришли с работы, приняли ванну, поужииали и ложитесь на диван. У вас отличное настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. Все хорошо. И вдруг: "Марья Иванна Загогулькина..."

Все громко засмеялись.

—"...возбуждает дело о расторжении брака с Загогулькиным".

Все опять громко засмеялись.

— Смешно? — спросил Жених.— Нет, грустно!!! Ты лежишь, тебе тепло, у тебя отличное настроение, а где-то плачет в пепел семейного счастья эта самая Загогулькина Марья Иванна...

Никто не смеется.

— Где-то пропадает хороший человек Загогулькин. Пропадает только потому, что вовремя не досмотрели, не проявили заботу! — В глазах Жениха горячие огоньки справедливого гнева.— Как же ты можешь лежать на диване, как ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то произошла драма! Нет, встань, найди этого самого Загогулькина, поговори с ним, узнай, в чем дело, а потом уж ложись. А до этого не смей лежать!!! Я кончил.

— Так их, молодой человек! — вскричал Дед.— И не бойтесь быть излишне тенденциозным! Слово-то какое-то тоже...

— Но ты впал в противоречие, Андж,— заметила Невеста.

— В какое?

— Если бы не было объявлений в газете, ты бы не узнал о драме.

— Ага! Ну-ка, ну-ка.— Дед от удовольствия потер ладони.— Люблю всякие пикники.

Жених снисходительно и с любовью посмотрел на Невесту.

— Я впал в противоречие только потому, что тебе этого хочется.

— Но если бы не было объявления в газете, ты не узнал бы о драме, и у тебя было бы хорошее настроение,— стояла на своем Невеста. У нее тоже загорелся в глазах огонек.

— Значит, по-твоему, не будь газеты, я бы не знал жизни? — спросил Жених.

Все с интересом наблюдают за молодыми, хорошо улыбаются.

— Я не утверждаю, что, не читая газет, ты бы не знал жизни — для этого существует кино, радио, телевидение. Я только хочу сказать, что ты бы не узнал о конкретной драме Загогулькина.

— Да я этого Загогулькина за два квартала узнаю! — воскликнул Жених.— Идет человек с грустными глазами — стоп! В чем дело, товарищ? Ну-ка выкладывай, не стесняйся — что там у вас случилось? И неважно, будет это Загогулькин или кто еще.

— Ты узнаешь, а другой не узнает. Нельзя всех мерить на свой аршин. Я знаю сколько угодно молодых людей, которые со спокойной совестью пройдут мимо Загогулькина.

— Во-от! — воскликнул Жених и показал пальцем на Невесту.— Вот мы и договорились!.. Вот с кем надо бороться — с равнодушными! Именно об этом я и хотел сказать, когда заговорил о бракоразводном процессе.

— Это все правильно, молодой человек,— сказал Дед.— Мне нравится ваша горячность, с какой вы отстаиваете свои убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с годами это уйдет. Вы станете спокойнее, и вам легче будет находить те единственно верные слова, которые проложат вам путь к счастливой жизни. Я хочу спросить о другом: как вы себе представляете другую сторону семейной жизни — материальную, так сказать?

Жених поморщился.

— Как-то не хочется об этом сегодня...

— Нет, уж вы скажите,— настаивал Дед.— Я понимаю, мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди пожилые, знаем, что над этим вопросом многие ломали головы.

— Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два телевизора... Кроме того — я открываю чужую тайну...— Жених радостно засмеялся и посмотрел в сторону своего отца.— Но я очень рад и потому скажу: папа покупает мне подержанную "Победу".

В комнате воцарилась зловещая тишина. Все презрительно и гневно смотрят на Жениха. Он медленно, с ужасом постигает, как низко он пал со своей ничтожной, глупой, неуместной радостью.

— Вон,— негромко сказал Дед.

— Так вот вы какой, оказывается,— тоже негромко сказал Отец Невесты.— Вас в этом мире волнует только "Победа"? Можете считать, что сегодня вы не победили. Я присоединяюсь к требованию моего отца — вон! И, думаю, моя дочь тоже к нам присоединится.

— Я присоединяюсь, папа... Я... я не знала, какой он на самом деле...— Невеста заплакала.— Когда мы с ним говорили о семейной жизни, он говорил только о четырех компонентах. Он даже не заикался о "Победе". Он казался мне благородным, с превосходной подоплекой, а оказывается... оказывается, он вынашивал мысль о собственной "Победе"! Ничтожество! О, как я обманулась!

— Я сам только сегодня узнал,— вякнул было Жених.

— Не смейте! — Дед стукнул костылем в пол.— Не смейте ничего говорить! Если вы радуетесь по поводу того, что у вас будет своя "Победа", то радуйтесь еще больше, что вы в моем доме и я не могу вас отлупить вот этим костылем, потому что я бла-ародный человек! Можете идти в ресторан!

— Я потрясен, товарищи! — заговорил бледный Отец Жениха.— Мне трудно сейчас говорить... Я не узнаю своего сына... Я что-то просмотрел в нем в свое время — это несомненно. Я что-то главное не увидел в нем. Я действительно хотел купить ему "Победу". Но я никогда не думал, что вместе с "Победой" в нем подымет голову тот маленький собственник, которого он так искусно скрывал в себе. Я сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку (показал руки), мне подчас было не до сына, я передоверил его воспитание бабушке — и вот результат.

Мать Жениха тоже заплакала.

— Андрюша, сынок... Сколько раз я тебе говорила: не водись с этими молодыми людьми, это плохая компания. Ты мне что говорил? "Мама, это хорошие люди, хоть они и артисты. Но это не вина их, а беда". Ты говорил...

Отец Жениха: — О-о!

Отец Невесты: — Все понятно.

Мать Невесты: — Ая-яй!

Дед: — Ну, конечно!

Невеста: — Да-а!

Непонятно кто: — Да-а...

— А вместе с тем я знала,— продолжала Мать Жениха,— что один из этих молодых людей развелся с женой, у другого — выговор по общественной линии за грубость, с начальством... И сколько бы он ни говорил, что это несправедливый выговор, я не верила. Несправедливых выговоров не бывает...

Жених стоял белый, как бумага. Он посмотрел на Непонятно кого.

— Толик, скажи им, что это неплохие люди... Скажи хоть что-нибудь!

— Я не хочу с тобой говорить! — отрезал Толик.— Я больше тебе не друг. Ты только что говорил о борьбе с равнодушными — ты лгал! Ты не только не узнаешь Загогулькина, ты наедешь на него собственной "Победой". Ты раздавишь его! Подумай о том, что с тобой случилось сегодня, пойми, пока не поздно, что ты стоишь над пропастью во ржи! Ты говорил, что не надо объявлять расторгнутые браки в газетах, ты опять лгал: их давно не объявляют. Ты изолгался!

— Люди узнаются на крутых поворотах,— сурово сказал Дед.— Я не случайно заговорил о материальной, так сказать, стороне дела. Когда он говорил о четырех компонентах, в его словах чувствовалась какая-то неуверенность, он все время что-то недоговаривал. Меня не проведешь, молодой человек. Я раскусывал экземпляры посложнее, и мне жаль вашего отца и вашу мать: не велика радость иметь такого сына.

— Я осознал, товарищи,— жалко залепетал Жених.— Мне ужасно стыдно. Мне... я... Мне так трудно сейчас...— Он сморщился, сдерживая невольные слезы... Махнул рукой и быстро вышел, не попрощавшись.

— Ничего, у него есть еще время стать настоящим человеком,— все так же сурово сказал Дед.— Помогите ему, не оставляйте сегодня его одного.

— Какой ужас! — простонал Отец Жениха.— Какой ужас!.. До свиданья!

— Вот до чего доводит дурная компания,— сказала Мать Жениха.— До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

— Всего хорошего,— сказал Дед.— Последите сегодня за ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки — вообще, колющие предметы. Но особенно чернила — не допускайте, чтобы он писал упадочнические стихи.

Мать Жениха и Отец Жениха ушли. Тут на середину комнаты вышел Непонятно кто (Толик).

— Николай Арсеньич, и вы, Анна Иванна, и вы, Арсений Назарыч...— Голос Толика слегка дрожал.— Одним словом, я прошу руки вашей дочери и внучки. Извините за дерзость.

Мать Невесты: — Как?

Отец Невесты: — Как?

Дед: — Как?

— Я давно люблю Катю. Но я знал, что она дружит с этим... Я не хотел мешать их счастью.

— Это бла-родно, молодой человек!

— Я на последнем курсе филологического факультета — изучаю язык древних арабов. Защищаю диплом и еду на Крайний Север. Многим это может показаться странным — зачем, мол? Я же убежден, что мое знание древнеарабского языка пригодится в суровой тундре.

— Ничего в этом странного нет! — воскликнул Дед.— Это бла-родно.

— А пока я живу в общежитии, гол как сокол, за душой — ни копейки. Все — в будущем. Если вас это смущает, скажите сразу — я напишу на вас фельетон.

— Что вы! — воскликнул Отец Невесты.— Кого это может смущать?

— Но учтите, дети мои, семейная жизнь, да еще в условиях тундры...— Мать Невесты опять всплакнула.

— Браво, молодой человек! — опять воскликнул Дед.— Я когда-то так же начинал.

— Толик!.. Толька...— Невеста бросилась к Толику.— Я всегда за тебя голосовала!..

Волшебный человек взял веточку у Оптимиста, махнул ею — стена дома сомкнулась.

— Я затрудняюсь, молодые люди,— сказал он.— Вот что: у меня есть заместитель по оргвопросам, я попрошу его побеседовать с вами, он дока в этих делах. Потом мы решим.— И Волшебный человек исчез.

А Пессимист и Оптимист опять заспорили.

— Ты кретин,— сказал Пессимист.

— Нет, это ты кретин,— ответил Оптимист.

— Ты — восторженный конь!

— Подонок!

— Сейчас я тебя буду бить!

Тут они стали драться. Прибежали люди, разняли их. Пришел милиционер.

— В чем дело, граждане?

Оптимист показал на Пессимиста.

— Вот этот тип исказил картину жизни!

— Нет, это ты исказил!

— Нет, ты!

— Нет, ты!

Милиционер видит, что так они ни до чего не договорятся, хотел их взять с собой, но тут подскочил Некто, хромой и бойкий, и сказал, что он разберется.

Пришли в какое-то помещение.

Пессимист струсил, Оптимист — тоже: им не понравилось помещение.

— Посидите здесь пока, никуда не уходите,— сказал Некто, а сам ушел.

— Давай заключим пока мир,— предложил Пессимист.

— Давай,— согласился Оптимист.

— Что делать?

— Не знаю.

— Эх, ту бы волшебную веточку сюда! — вздохнул Пессимист.

— У меня есть один листочек от нее,— сказал Оптимист.— Когда старик дал мне веточку, я незаметно сорвал один.

— Давай его сюда,— взревел Пессимист.

— Ишь ты какой!

— Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок,— предложил Пессимист.— Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай?

— Давай,— согласился Оптимист. Он был великодушный малый.

Первого вызвали Пессимиста.

Оптимист незаметно сунул ему листок от волшебной веточки.

Едва только Пессимист ступил на порог кабинета, как в кабинете все помрачнело и Некто в один миг из доброго, расторопного превратился в какого-то свирепого Малюту Скуратова, нервного и внимательного.

— Говори, подонок, что случилось?! — рявкнул он.— Только не путай тут.

— Я высказывал свои взгляды на жизнь. Я убежден... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды...

— Короче! Воруешь?

— Я бы попросил...

— Я тебе сейчас попрошу! — Некто встал, подошел к Пессимисту и начал его обыскивать.— Где нож?

— Нету.

— Где нож, я тебя спрашиваю?

— Нету.

Некто дал Пессимисту в челюсть.

— Где нож?

Пессимист заплакал.

— Я не ворую, я принадлежу к философской группе...

Некто внимательно посмотрел на Пессимиста, сел, приготовился писать.

— Чем занимается группа? В каком районе действует? Кто вожак? Отвечать быстро и точно.

— Я — мыслитель.

— В чем заключаются твои обязанности?

— Я думаю. Я как бы разрезаю действительность и вскрываю...

— Где нож?

— Я мысленно разрезаю!

Некто ткнул Пессимиста в живот.

— Где нож!

Пессимист опять заплакал.

— У меня нет ножа. Я головой разрезаю...

Некто стоит в недоумении.

— Ты не темни здесь! Ты меня путаешь!

— Честное слово! Я головой разрезаю, извилинами...

Некто сел, начал писать.

— Говори дальше. Все говори.

— Я считаю, что самый верный и быстрый способ познания жизни — это заставать ее врасплох, неожиданно... Это мой метод. Я бросаюсь на нее прыжкообразно и срываю всяческие покрывала...

Некто достал из ящика стола наган, положил рядом с собой.

— Дальше.

— Меня уже ничем не удивишь. В жизни действуют одни подлецы и мошенники. Хороших людей нет. Их выдумывают писатели, чтобы заработать хорошие деньги. Честных людей тоже нет. Все воруют, лгут и оскорбляют друг друга...

Некто встал, подошел к Пессимисту и... пожал ему руку.

— Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше, я буду записывать каждое слово и вечерами читать.

— Самое мое любимое занятие — смотреть в чужие окна. И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости.

— Свинцовых мерзостей не бывает,— поправил Некто.— Бывают — пьяные. В нашем волшебном мире, например, много пьют.

— Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там делаете? — поинтересовался Пессимист.

— Мы хотим жизнь превратить в сказку!

— Да?

— Да!

— Хотел бы я знать, как вы это болото превратите в сказку. Бульдозерами, что ли? Засыплете?

— Это не ваше собачье дело! — почему-то вдруг обозлился Некто.— Ваше дело...

Но тут Пессимист показал волшебный листик.

— Вы, забываетесь...

— Да, да... Извините, увлекся. Так на чем мы остановились?

— Что жизнь — болото.

— Болото. Кстати, вы не хотели бы пойти поучиться на волшебника?

— Зачем это? — удивился Пессимист.

— Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, предполагаются... как бы это выразиться... представители темных сил, что ли.

— Баба Яга, Змей Горыныч...

— Что-то вроде этого, только без той гадкой сущности, какую привыкли нести эти твари. Так вот, для подготовки этих персонажей...

— Нет,— твердо сказал Пессимист.— Я буду продолжать копаться в грязи, я буду выдумывать все новые и новые комбинации отчаяния и грусти. Я никогда не поверю ни в какое светлое будущее...

Некто перестал записывать.

— Я это не пишу. Дальше.

— Хорошо. Но я буду смеяться над теми, кто поверит в светлое будущее. Вот так: "Ка-ка-ка!"

— Прелесть! Умница! Оскар!

— Какой Оскар?

— Ну, тот... в тюрьме-то, в Рэдингской, забыл фамилию...

— Вы бросьте, слушайте! — прикрикнул опять Пессимист.

— Я уже заткнулся.

— Нам и так-то не сладко, а вы еще с намеками тут...

— Какие намеки? Бросьте вы тоже...

— Не надо. Не надо! Не надо!! — Пессимист стал нервничать и подергиваться.— Не надо!! А то я дам в лоб мраморной пепельницей...

— Довольно,— сказал Некто.— Спасибо. Я слушал ваши слова, как музыку. Это что-то невероятное!.. Пишите книгу, молодой человек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми, но не зарывайте ваш талант. Подождите в коридоре, мы потом еще поговорим.

Пессимист вышел из кабинета.

— Ну что? — спросил его Оптимист.

— Ажур. Мы поняли друг друга: я ему наговорил...

— Давай листик.

— На. Только не потеряй его. Смело гни свою линию: листик работает.

В кабинет вызвали Оптимиста. И едва только он вошел туда, как все вокруг посветлело. Некто преобразился. Это уже не Малюта Скуратов, и это не бойкий, нервный зам — это спокойный проницательный добряк, веселый и жизнерадостный.

— Садитесь, молодой человек,— вежливо предложил он.— Курите.

— Спасибо.

— Так что у вас там случилось?

— Я волнуюсь и не умею говорить, но я скажу. Я все скажу! — загорячился Оптимист.

— Скажите, скажите,— Некто добродушно улыбался.

— Я не только скажу, я просто не позволю, чтобы всякие нытики глумились над жизнью. Ведь жизнь — это... это как бы стометровка!

— Почему же стометровка! — возразил Некто.— Я бы сказал: жизнь — это рысистые испытания. Или лучше: бег с препятствиями. Препятствия, в смысле — трудности, еще имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пустяковые, но имеются. Итак?..

— А меня лично жизнь зовет, и я устремляюсь. И я лично не понимаю, о каких трудностях вы говорите!..

— Ну, ну... я пошутил просто. Какой горячий молодой человек! Уж и пошутить нельзя!

— Нельзя! Нельзя так шутить, вы понимаете?!

— Ну, а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут и трудности?

— Ни в коем случае! — воскликнул Оптимист.— Мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому-то и видишь иной раз: человек едет в необжитый район, а задумчив. Почему, спрашивается? О чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основания задумываться? Квартиру с удобствами? Родных и друзей?.. А там тебя ждет палатка! Там тебя ждут бураны, медведи, волки!.. Спрашивается: что же лучше? Что лучше: удобная квартира или палатка с медведем?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, палатка с медведем лучше. Но ведь едут-то они туда строить дома с удобными квартирами. Это тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен? — Некто поднял кверху палец, хитро прищурился.

— Медведь, к сожалению, не вечен,— согласился Оптимист.— Но это не должно нас смущать: кончатся трудности — мы их выдумаем!

— Это вы точно сказали. Это не в бровь, а в глаз.

— Я всегда говорю в глаз, хотя и не умею говорить и всегда волнуюсь. Да, так о чем мы? Ага, о юноше, который едет в необжитый район и сидит в вагоне задумчив.

— Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи с этим: вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в десяти шагах стоит медведь. Бурый обыкновенный медведь средних размеров. Ваши действия?

Оптимист немного подумал.

— Песня! — воскликнул он.— Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной. Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление...

— Так, правильно. Еще один вопрос: вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились. У вас на исходе продукты. Вы все делите пополам и продолжаете идти...

— Стоп! — воскликнул Оптимист.— Во-первых, я не стану делить продукты пополам — я отдам товарищу все.

— Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос: а если ваш товарищ поступит точно так же?

— Тогда мы бросаем пищу и идем дальше.

— Правильно. Вас не поймешь.

— Как-нибудь!

— Последний вопрос: вы выходите из тайги?

— Не-сом-нен-но!

— Вы готовы к трудностям, молодой человек!

— Потрогайте.— Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал.

— Да, вы готовы к трудностям. В этом я еще и еще раз убеждаюсь.

— Я готов ко всяким трудностям.

— Значит, вы едете в Сибирь?

— Я повторяю: я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету. Палатка с медведем — это, сами понимаете, не трудность. Значит?..

Некто не догадывается, что — "значит".

Оптимист улыбнулся.

— Ну?.. Я готов к трудностям, но их нет,— значит?.. Логика, логика!

— Не могу догадаться.— Некто смутился.

Оптимист терпеливо объясняет:

— К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет. Палатка, бураны и медведи не трудности. Значит?..

— Честное слово, не могу...

— Значит, я не еду в Сибирь! — громко и весело сказал Оптимист.

Оба искренне смеются.

— Браво, молодой человек! Двадцать копеек с меня. А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности.

— Ваши трудности — это тоже не трудности,— сказал Оптимист.— Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед. И как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит?..

Некто опять в затруднении.

Оптимист решил объяснить предметно.

— Вот полустанок — то есть ваши трудности.— Положил на стол коробок спичек.— Так? Вот — жизнь...— Хотел взять наган, но Некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку.— Вот — жизнь, которая стремительно проносится мимо.— Показал.— Теперь: я занимаюсь

вашими трудностями...— Ткнул в коробок пальцем.— А жизнь — смотрите! — грохочет мимо. Значит? Логика?..

— Не понимаю.— Некто опять в затруднении.

— Значит, я не иду к вам работать!

Опять весело рассмеялись.

— Ловко вы меня,— сказал Некто.

— Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед. И я устремляюсь.

— Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию,— сказал Некто.

— Не угадать.

— Угадаю!

— Ни за что!

Некто пристально посмотрел на Оптимиста.

— Летчик.

Оптимист покачал головой.

— Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление.

— Геолог!

— Геолог — это устремление вглубь, а не вперед.

— Преподаватель истории!

— Ну-у, это совсем не то. История — это...

— Нет, нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас...

Оптимист улыбается, ждет.

— Ну?..

— Сейчас, сейчас... Поэт?

— Близко, но не то.

— Черт возьми! Сейчас, сейчас... Сутенер! То есть... Тьфу, черт... не то хотел сказать, извините, пожалуйста.— Некто покраснел.

— Ничего,— великодушно сказал Оптимист.

— Я хотел сказать — связист!

— Не то.

— Тогда не знаю. Пас.

— Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно.

— Почему?

— Потому что у меня нет никакой профессии.

Некто так и покатился.

— Ну, ловко же вы меня!.. Ха-ха-ха!.. А что вы делаете?

— Ничего, в том-то и дело.

— Как?

— Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице.

— Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед!

— Да, я лежу и устремляюсь. Понимаете?

— ???

— Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед! Неужели вы себе не можете представить такого? Это после эйнштейновской-то теории?!

— Как-то трудно, знаете... Не могу, знаете, ощутить этого явления.

— Душой! Сердцем! Помыслами устремляюсь!

— А-а, вот теперь понял...

В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись, ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук Оптимиста волшебный листик и унес в окно.

— Так вы, значит, нигде не работаете? — строго спросил Некто. Он сделался пожилым, усталым.

— Нет.

— И не желаете работать?

— Работать — значит не устремляться вперед. Верно? Значит?..

— Попросите другого сюда,— распорядился Некто.

Но дверь сама открылась, и вошли Волшебный человек и Пессимист. Пессимист сразу зарычал на Оптимиста:

— Сороконожка!.. Где волшебный лист?! Сейчас я тебя буду бить...

Волшебный человек остановил его твердой рукой.

— Спокойно.

— Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?! — вскричал Оптимист.— Вот один из них. Позвольте ваш наган, на минутку: я его кокну.

— Спокойно! — опять сказал Волшебный человек.— Сядьте. Лист у меня, больше вы его не получите.

— Но он же исказил картину жизни!

— Нет, это ты ее исказил!

— Спокойно! — еще раз сказал Волшебный человек.— А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас шашлыков.— Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся: — Гы-гы-гы...

Пессимист и Оптимист не засмеялись.

Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал.

— Вы оба исказили картину жизни,— сказал он.— Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы...— Он опять погрузился в свои думы.

— В чем смысл? — спросил Оптимист.— А то я волнуюсь.

— Смысл в том, чтобы... Заманчивая идея, черт возьми! — Волшебный человек опять погрузился в думы.

— У вас туалет где? — негромко спросил его Оптимист.

— В коридор и налево. Побыстрей там, я сейчас буду изрекать смысл — нечто новое.

— Боитесь, что убегу? Принципиально не пойду. Я лучше здесь...

— В чем смысл? — нетерпеливо спросил Пессимист.

— Смысл в том,— торжественно заговорил Волшебный человек,— чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить — третью! А? Заделаем?

— Как? — спросили все.

— Так. Я перевожу свои волшебные часы... Есть. Сватовство идет. Семейство Невесты такое, каким его видит наш Оптимист. Семейство Жениха — как видит Пессимист.

— Ура! — вскричали Пессимист и Оптимист. Взялись за руки и стали танцевать.

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!

— Вперед, шалунишки! — скомандовал Волшебный человек.— Все идемте. Мы увидим сейчас нечто новое.

А в это время в доме Невесты творилось что-то невероятное.

Дед читал Непонятно кому свою книгу:

— ...Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. "Получай!" — сказал я и ее тоже шарахнул. "Гук! Гук! Гук!" — разнеслось по всем комнатам.

— Сколько метров? — спросил Непонятно кто.

— Где?

— Квартира?

— Не знаю.

— А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай.

В другом углу Жених учил Отца Невесты боксу. Обмотал кулак полотенцем и показывал приемы.

— Крюк! — кричал разгоряченный Жених.— Опп!

Отец Невесты отлетел к стенке.

Отец Жениха повел его опять к окну.

— Удар, а?..

— Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на Крайний Север...

— Погоди ты со своим Севером! Становись.

— Вы полегче его,— сказала Мать Невесты.— А то сотрясение будет.

— Какое сотрясение! — воскликнул Отец Невесты.— Надо — значит, надо!

— Он мне один раз как засветил,— вспомнил Отец Жениха,— я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда?.. Ну-ка, ему тоже так!

— Прямой правой? — спросил важный Жених.

— Я не видел. У меня тогда искры из глаз посыпались.

Все засмеялись.

— Как образно! — сказала Невеста.— "Искры посыпались..." Какой все-таки русский язык!..

— Это — правой в лоб, снизу,— вспомнил Жених.— Это делается так... Нагни голову!

Отец Невесты послушно нагнул голову.

— Есть.

— Ниже.

— Есть.

— Следите за моей правой ногой... Вот что она делает... Удар пойдет оттуда.

Все замерли и следили за правой ногой Жениха. Он прыгал.

— Опп! — сказал Жених, и Отец Невесты полетел в угол.

— Все, нокаут,— сказал Жених.

Действительно, Отец Невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство.

— Ты увлекся, Андж,— сказала Невеста.

— Если бы я увлекся, здесь бы давно уже никого не было. Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым... А дружок с женой был. А там один фраер был. Ну, мы их застукали в туалете. Вот там я увлекся! Начали фраера в унитаз толкать, он не лезет...

— Принципиально не лезет или просто не может? — спросила Мать Невесты.

— Не хочет!

— А вы?

— Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в два часа ночи голый когти рвал.

— Это же неэтично, Андж.

— Э? — спросил Жених.

— Неэтично...

— Зато — голый! И скорость приличная.

— Я понимаю твое увлечение скоростью, Андж, но согласись: голый человек в два часа ночи... Ты можешь возразить: а как же Высокое Возрождение?..

— Они не успели,— сказал Жених.

— То есть?

— Мы пришли раньше.

— Я говорю о Возрождении...

— Я тоже. Они не успели. Мы пришли раньше.

— При чем тут вы?

Жених посмотрел на Невесту как на дуру. Показал пальцем на лоб.

— У тебя что, замкнуло?

— Андж!!!

В это время в комнату вошли. Волшебный человек, Оптимист, Пессимист и Некто. На них никто не обратил внимания. Дед и Непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала. Жених возражал. Мать Жениха и Отец Жениха тоже заспорили с Матерью Невесты и Отцом Невесты.

— Он меня хотел изуродовать! — кричал Отец Невесты.— Это членовредительство!

— Членовредительство бывает не такое! — возражал Отец Жениха.— Он куда тебя шарахнул? По башке?..

— Я бы попросила!..— тоже горячо заговорила Мать Невесты.— Я бы попросила выбирать выражения!

— Да?! — спросила Мать Жениха.— А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало! А то — сквозняк!

Отец Жениха взял Отца Невесты за грудки.

— А я тебе говорю: голова — это что?

— А что же это такое, по-вашему?

— Голова-то?

— Ну.

— Голова — это орган. А членовредительство — это... Пойдем к двери, я тебе покажу членовредительство!

— Не пойду!

— Пойдешь!..

Страсти разгорались.

Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать.

И в этот момент раздался громкий протяжный возглас:

— Полундра!..— Это Дед вскочил с места и забегал по комнате.— Где моя сабля?! Я его сейчас развалю на две половинки! У меня еще полно пороха в пороховницах!..

Непонятно кто бегал за Дедом и повторял:

— Сундук! Сундук!

— Атас! — вскричал Жених и стал снимать пиджак.

Отец Жениха тащил Отца Невесты к двери.

— Иде-ем! Счас узнаешь, что такое членовредительство! Счас я тебе объясню...

— Полундра-а! — кричал Дед.

Тут не выдержал Волшебный человек и решил вмешаться.

— В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?

— Он на меня говорит: "Сундук"!

— Слушай,— обратился Волшебный человек к Непонятно кому.— Почему ты на него говоришь "Сундук"!

— Потому что он не хочет делать тумбочки,— сурово сказал Непонятно кто.

— Я пишу книгу!

— Он пишет книгу...

Тут подошел Пессимист и засмеялся "под Мефистофеля":

— Ка-ка-ка!

— Что, что тут смешного? — встрял Оптимист.— Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков.

— В том-то и дело! Поэтому-то я и хочу развалить его на две половинки!

Тут к ним подошли Отец Жениха и Отец Невесты.

— У нас спор,— сказал Отец Невесты.— Что такое голова?

— Голова? — удивился Волшебный человек.— Голова — это...— он подумал,— это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет.

— Я в своей книге "Руки вверх, неприятели!" называю голову — кумпол.

— А вот у нас тоже был случай,— подошел Жених.— Идем мы раз с другом к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному...

— В каком районе? — спросил его Некто.

— Запутать хочешь, да? — насторожился Жених.— Не на того нарвался.

— При чем тут сразу — "запутать"! — вмешался Волшебный человек.— Он просто поинтересовался...

— А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю.

— Сынок, дай им всем снизу вверх под сорок пять градусов,— посоветовал Отец Жениху.

— Что-то я не вижу тут ничего нового,— сказал Пессимист.

Волшебный человек нахмурился.

— Молодой человек, разве можно так выражаться?

— Они вообще расхамились тут,— сказал Отец Невесты.— Дочка, дай ружье.

— Руки! — закричал Дед.

— Кто сказал — "руки"? — озверел Жених.— Кто? Вот этот нафталин? Внимание, сейчас будет — правой снизу в челюсть! Следите за ногами.— Он запрыгал перед Дедом.

— Сейчас он его изуродует,— радостно сказал Отец Жениха.

Все остановились возле Жениха и Деда и ждали.

— Следите за ногами,— предупредил Жених,— удар начнется оттуда.

Дед растерянно ждет.

— Он же убьет его! — сказала Мать Невесты.

— Не убьет, у нас бокс любительский,— заметил Оптимист.— Но челюсть может вылететь.

— Сынок,— заговорила Мать Жениха,— лучше левой в печень, чтобы он сразу загнулся.

— Правильно,— согласился Непонятно кто,— метраж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать.

— Нет, лучше по голове...

— По голове не надо,— предупредил Дед.— Я не допишу книгу.

— Следите за ногами! — опять крикнул Жених.

— Сейчас он его...

— Дедушка, сколько вам было лет? — спросил Оптимист.— Я завтра статью о вас буду писать.

— Семьдесят восемь.

— Кошмар! Давно надо было...

— Что давно?

— Давно надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?

— Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала.

Жених перестал прыгать. Все тоже удивились.

— В плену?

— Конечно. Он у меня двое суток пятый угол искал. Причем, что удивительно: он мне нарисовал карту земного шара и говорит: "Все, я больше ничего не знаю". Но этот номер ему не прошел...

— Следите моими ногами!— вскричал опять Жених.

— В печень сынок! В печень!

— Дочка, дай ружье!

— Держись, дедушка!

Все кричат, ничего ие разобрать.

Дед громко запел:

А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!

— Слушайте, прекратите это! — потребовал Некто у Волшебного человека.— Тут ничего невиданного нет.

Волшебиый человек посмотрел на руку...— часов нет.

— Кто свистнул мои волшебные часы?!

— Следите за ногами!..— орал Жених.

— В печень, сынок! В печеиь!

— Снизу вверх под сорок пять! Снизу вверх под сорок пять!

— Гоп со смыком — это буду я! Ха-ха!..

— Папаша, стреляй! Огонь, папа!

— Кто свистнул часы?!

"А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!"

— Кто взял часы? Какая сволочь?

"В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!"

пели Оптимист и Пессимист.

— Огонь, папа!

Некто и Волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья.

— Снизу вверх под сорок пять!

В это время вошел Сосед.

Взял за воротник Волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад.

Потом взял Пессимиста и выпроводил его таким же образом. И Оптимиста также. И Некто пошел следом.

Все замолчали. И смотрят друг на друга с недоумением.

— Теперь давайте так, как это бывает на самом деле,— с точки зрения нормальных людей.

* * *

— Проходите, товарищи,— сказал Отец Невесты,— садитесь, пожалуйста. Чем обязаны?

Гости (семейство Жениха) расселись, где кому удобно.

— Дело такое,— заговорил Отец Жениха,— пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете?

— Да ведь тут... как тут возразишь? — Отец Невесты засмеялся (нормально).— Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж... просим к столу. Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения.

— Прошу, дорогие гости, прошу,— сказала Мать Невесты.

— Э-э! — воскликнул Дед.— Так я еще и на свадьбе погуляю.

Все засмеялись и стали садиться за стол.

Конец

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Сатирическая повесть для театра

Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была жена его, Вера Сергеевна... Впрочем, почему — жили, они и теперь живут, а это и есть рассказ про их жизнь: какая случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальная история. Обоим им под сорок, конкретные, жилистые люди; у Аристарха Петровича интеллигентная плешь, маленькие, сведенные к носу глаза, он большой демагог, не лишен честолюбия. Вера Сергеевна — тоже демагог, но нет того мастерства, изящества, как у Аристарха Петровича, она из рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и она — из торговой сети, он даже что-то вроде заведующего, что ли, она — продавщица ювелирного магазина "Сапфир". Была у них трехкомнатная квартира. Все было бы хорошо, но... Про это "но" много уже рассуждали — да: НО...

Аристархушка крепко пил.

И пил, собака, изобретательно.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОЧЬ

Аристарх назвал гостей пять человек, заставили письменный стол шампанским, коньяком, икрой в баночках... В комнате у Аристарха накурено и шумно — что-то такое, кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, пять штук.

Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа, обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную громкость, чтобы хоть как-то помешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха.

Гости шумели.

— Ты ль меня, я ль тебя любить буду!..— пел один, вовсе лысый; и все одно: "ты ль меня, я ль тебя..."

— Ну, полетели?! Вы, полетели?! — приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как птица, и все звал: — Ну, полетели?!

— Рано, рано,— говорил Аристарх.— Тут еще полно всяких мошек.

Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру, в перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один — с большим брюхом — не знал что это такое — "полетели". И тоже приставал всем:

— А куда полетели-то? А? Куда это лететь-то?

— На Кудыкину гору!

— Куда, куда?

— Туда!..

— Да он же не знает, чего ты озверел-то? — остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого, с брюхом.

— Ну, полетели же! — стонал курносый.

— Ну, полетели,— сказал Аристарх.

Присели на дорожку, налили по чарочке...

— Прощай, родина,— грустно сказал Аристарх.— Березки милые...

Курносый всерьез заплакал и замотал головой.

— Полянки... Простор...

Чернявый дал кулаком по столу.

— Не распускать нюни!..

— Инстинкт,— сказал один пожилой с простым лицом.

— Выпили на дорожку! — пригласил Аристарх.

Все выпили... Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел, открыл дверь комнаты, вернулся и стал наизготове посреди комнаты.

— Я — вожак,— сказал он.

За "вожаком" выстроились остальные пятеро...

И они "полетели"... Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за "вожаком". Сделали прощальный круг по комнате, "вылетели" в коридор, пролетели, курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в третьей комнате, где был тоже стол и холодильник.

Они сели, печальные, за стол... А Аристарх доставал из холодильника коньяк.

— Далеко теперь наши березки,— сказал курносый; он уже опять готов был плакать.

— А я люблю избу!— громко и враждебно сказал человек с простым лицом.— Я вырос на полатях, и они у меня до сих пор — вот где! — Он стукнул себя в грудь.— Обыкновенную

русскую избу! И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками...

— А коньячок-то любишь — похолодней,— вставил чернявый.

— Он и в погребе будет холодный.

— В погребе он будет плесенью отдавать,— сказал брюхатый.— Ты попробуй поставь на недельку в погреб — потом выпей: плесенью будет отдавать.

— Сам ты плесень! — свирепел человек с простым лицом.— Свесил на коленки... По какому месяцу?

— Только... знаешь... не надо,— обиделся брюхатый.

— Не надо? Не надо и вякать, про чего не знаешь!

— Хватит вам,— хотел утихомирить Аристарх.— Это вечная тема...

— Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха! Ты бы там не жрал на ночь бифштексы кровавые, боров, а утром не валялся бы до двенадцати...

— Ты!.. Жлоб! — прикрикнул брюхатый.— Ты грузишь тару — грузи дальше, а язык не распускай, а то на него наступить можно!

— Да хватит вам! — встрял опять Аристарх.

— Деревню он любит!..— тоже очень обозлился брюхатый.— Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу?..

— У меня ее нету.

— А-а... трепачи. Писатель есть один — все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец! Я...— брюхатый ударил себя в пухлую грудь.— Я в коммунальной тогда жил, а он — в такой же — один...

— Как один? — не понял чернявый.

— Ну, с семьей!.. Но я — в коммунальной и никуда не призывал...

— Ему за это деньги хорошие платят, что призывает,— вставил курносый.

— Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример! А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь...

— Брюхо надо нормальное иметь, тогда и проедешь,— сказал человек с простым лицом.— А то отрастили тут... на самом деле, не проедешь. По какому месяцу, я тебя спрашиваю?

— Грузите бочки апельсинами! — огрызнулся брюхатый.— Избу он любит... Полати он любит... А дулю с маком любишь? Ну, и катись отсюда!

— Вот: я занимаюсь погрузкой,— показал свой кулак человек с простым лицом,— поэтому он у меня тренированный: разок двину, так у тя сразу выкидыш будет.

— Ну!..— громко огорчился Аристарх,— прилетели в жаркие страны и давай тут... Мы же в жарких странах!

Все засмеялись.

— С прие... это — с прилетом! — воскликнул чернявый.

(Мы уж теперь так и будем называть их: чернявый — это Чернявый, брюхатый — Брюхатый, курносый — Курносый, лысый, который все песенки поет,— это Лысый, а человек с простым лицом будет, для краткости,— Простой человек.)

— С приехалом! — поддержали Чернявого.

— С прилетелом! — сострил Аристарх.

— А мне здесь не нравится,— заявил Лысый.— Вообще мне вся эта история с журавлями... не того... не очень. Давайте споем?

— Выпить же надо,— сказал Простой человек.

— Да, елочки!..

— Коньяк стоит, а мы...

— С прилетéлом! — еще раз громко сострил Аристарх.

Выпили.

— Споем? — предложил опять Лысый. И запел:

Из-за острова на стрежень,
На просто-ор речной волны-ы...

Его поддержали Чернявый и Курносый.

Эх, выплыва-ают расписны-ые
Стеньки Ра-азина-а челны...

Но песня не сладилась — не вышла.

— Поехали обратно! — предложил Брюхатый.— Мне здесь тоже не нравится.

— Полетели?! — выкрикнул радостно Курносый.— К березкам!

— Я больше не полечу,— наотрез отказался Брюхатый.— Я поеду поездом.

— Идея! — закричал Лысый.— Едем поездом. Прихватим с собой на дорожку; будем на станциях выходить...

— Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть,— предложил Простой человек.— Я раз из Воронежа ехал...

— Нет, нет!..— кричал Лысый.— Нет, мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно с собой взять...

— Не надо! — Лысый воодушевился и сильно кричал.— Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно сразу... Слушай суда! — закричал тоже Простой человек.— Мы — сяли, поклали чемоданы — и в вагон-ресторан...

— Да иди ты со своим вагон-рестораном! — оборвал его Брюхатый.— Дай сказать человеку. Когда это ты в вагон-ресторане сидел?

— Я не сидел! — гордо сказал Простой человек.— Я там ночевал!

— Мы нормально сядем в поезд,— продолжал Лысый,— выпьем на дорожку...

— Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? — Простого человека задело за живое, что Брюхатый ему не верит.

— Так, дальше? — слушал Брюхатый Лысого.— Выпили на дорожку?..

— Выпили на дорожку, малость проехали — у нас пересадка!

— Где пересадка?

— А вон в этой комнате,— показал Лысый на комнату, где сидела Вера Сергеевна.— Мы ее счас развеселим!

— По вагона-ам! — скомандовал Брюхатый.— Берите с собой на дорожку, а то пять минут осталось!

— А на посошок-то? Э-э!..— напомнил Чернявый.

— Давайте быстрее! Быстрее, быстрее.— Брюхатый посмотрел на часы.— Четыре минуты осталось.

Тут все оживились, засмеялись, задвигались... Стали скоренько разливать коньяк по рюмкам.

— Скорей, скорей,— суетился Брюхатый.— А то опоздаем.

— Успеем. Он не точно отходит...

— На ходу запрыгнем.

— Ты-то запрыгнешь, а некоторые... могут родить на рельсах.— Это Простой человек все кусал Брюхатого. Тот снисходительно посмотрел на него.

— Я предлагаю вот этого... жлоба не брать с собой,— сказал он.— Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут.

— Ничего! — кричал Лысый.— Дернули!

Выпили.

И "побежали на поезд". На этот раз в голове строя стал Брюхатый и запыхтел, и даже ногой подстукивал.

— Пх-х, пх-х, пх-х... Ну, сели?

— Сели.

— Ту-ту-у!..— тонко и выразительно "загудел" Брюхатый и медленно стронулся с места. И "поехали"...

"Выехали" в комнату Веры Сергеевны... Брюхатый стал "замедлять ход" и опять тонко, с какой-то даже тоской "прогудел":—Ту-ту-у!..

Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на "поезд".

— Пересадка! — объявил Брюхатый.

"Пассажиры" вышли из вагона... Расселись кто где смог: кто на тахту присел, кто на кресло... Простой человек сел на полу прямо.

— Много народу на вокзале,— сказал он.

— Вы давно сидите, гражданка? — любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне.

— Нет, я недавно. А вот вам... не знаю, сколько сидеть придется,— как-то значительно сказала Вера Сергеевна.

"Пассажиры" переглянулись.

— То есть? — не понял Аристарх.

— Я эти... путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда,— опять зло и непонятно сказала Вера Сергеевна.— Вы у меня подудите... Подудите у меня, паразиты.

— Что, контролеры пришли? — испуганно спросил Простой человек с пола.— А у нас билеты-то есть?

Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрительно по плечу Простого человека.

— Да это так — пугают,— сказал Чернявый.— Гражданочка, а вы что, билет не можете достать?

Вера Сергеевна больше не смотрела на "пассажиров", а смотрела телевизор.

— Ну, а почему же сразу — "паразиты"? — оскорбился Аристарх.

— А кто же вы? — повернулась Вера Сергеевна. И зло смотрела на мужа.— Ну — спекулянты, если не паразиты: еще хуже.

— Гражданочка,— опять заговорил Чернявый весело,— вы нас с кем-то спутали: мы обыкновенные пассажиры... Едем на свои денежки.

— Вот и проезжайте. А потом вас повезут бесплатно.

— Куда это? — тоже зло спросил Аристарх.— Куда это нас бесплатно повезут?..— Он двинулся было к жене, но его остановил Брюхатый.

— Стоп, Аристархушка! — сказал он разумно.— Никаких скандалов на перроне... Нам действительно пора ехать. По вагонам! — опять скомандовал он.

И все опять со смехом построились в затылок друг другу, Брюхатый опять "загудел" — и "поехали" в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом.

— Хоть нормально посидим в ресторане,— пожаловался Лысый.— А то все — в дороге и в дороге... Все всухомятку, как попало...

— Что будем заказывать? — обратился ко всем Чернявый.

— Лично я, — сказал Простой человек,— выпил бы простой водочки. А?

Брюхатый интеллигентно скосоротился на это.

— Пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанского...

— И коньячку,— подсказал Курносый.— На меня шампанское как пиво работает: я то и дело бегаю.

— Итак,— подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую,— коньяк, шампанское... Водки, извините, не держим.

— Ну, как же так — не держите?! — возмутился Брюхатый.— А если человек на полатях вырос?.. Что ему ваш коньяк пить?

— Ерша ему! — подсказал Курносый.

А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку... И села писать.

И дальше,— если вообразить, что это на сцене,— можно услышать, что она пишет. Причем уже слабо слышно, как там "сидят в ресторане" наши "пассажиры", а отчетливо слышен голос Веры Сергеевны:

"Уважаемый товарищ прокурор!

В то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые только хотят есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня спросите: на какие деньги? Я вам отвечу: они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса, меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, потом по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажиров..."

"Пассажиры" в это время танцевали летку-енку.

"Вот сейчас, когда я пишу Вам это заявление, они танцуют летку-енку. А в коридоре лежат покрышки для

"Волги" в количестве пять штук. Вы думаете, где они их взяли? Они их сымпровизировали. Так что, я думаю, что при вашей помощи они станцуют более ответственный танец и поедут пассажирами на казенный счет, я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли, только понял мой муж Аристарх, но он думает, что я только пугаю. А у меня уже всякое терпение мое лопнуло: мы перестали уважать друг друга, потому, что, мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами..."

УТРО

Утром Аристархушка проснулся с больной головой... Потянулся к стулу, где был всегда заготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте, а под стаканом — бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал:

— Копия...

И побежал глазами по бумаге... И, даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены.

Вера Сергеевна, одетая, заслышав его шаги, направилась к выходу... И тут ее перехватил Аристарх.

— Ты что? — спросил он.

— Что? — спросила Вера Сергеевна. Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди.

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это туда? — спросил Аристарх зло, сквозь зубы.— Куда это туда?

— Ударить хочешь? — спросила Вера Сергеевна спокойно.— Ударь — получишь лишних три года.

— Вера...— Аристарх растерялся.— Сядь... Давай сядем, поговорим. В чем дело?

Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье... Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой.

— Давай сядем,— суетился Аристарх.— Сядь же ты!.. Скотина.

— Пусти!

— Вера!.. Прости — ну, вылетело. Сядь, я прошу.

— От этого ничего не изменится.— Вера Сергеевна села на диван, на краешек.

— В чем дело? — спросил Аристарх. Подставил стул к двери и сел тоже.— Что случилось?

— Мне надоело! — закричала Вера Сергеевна.— Мне надоела ваша пьяная самодеятельность! Я тебе не служанка!..

— При чем тут служанка? Ну, повеселились... Что, пошутить нельзя?

— С кем ты позавчера шутил! У тебя весь пиджак был в пудре! С кем?

— Да мало ли... в автобусе прислонился...

— В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? — Вера Сергеевна достала из сумочки записку и прочитала: — "Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз — и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?.."

— Это деловое письмо! — вскричал Аристарх.— Дай сюда!

— Да? Шиш! — Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку.— Развратник. Спекулянт. Я те покажу — голубь!..

— Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой...

— Однокурсник? А почему же подпись — "Соня"?

— Псевдоним! Мы его в институте так дразнили.

— А почему "твоя Соня"?

Аристарх опять растерялся... И от растерянности больше обозлился.

— Плебейка,— сказал он зло и тихо.— Что, я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят — до конца. Если он подписался "Соня", то он последовательно написал "твоя". Твоя — это значит твой.

— Твой Соня?

— Что, врезать что ли? Врежу...

— Попробуй. Так тебе — лет восемь дадут, а так — одиннадцать.

— Ну, чумичка!..— занервничал Аристарх.— В чем дело-то? Чего ты взбесилась-то?

— Я все там написала.

— Так. И куда ты сейчас?

— К прокурору.

— Сегодня воскресенье.

— Я в почтовый ящик брошу.

Аристарх побледнел... И долго стоял над Верой Сергеевной.

— Я — спекулянт? — спросил он дрожащим голосом.

— Спекулянт,— сказала Вера Сергеевна.

— Я ворую у государства деньги?

— Воруешь у государства деньги.

— Снимай все с себя! — приказал Аристарх.— Снимай, снимай!.. Это все куплено на ворованные деньги.— Аристарх стал снимать с жены шубу, дорогой костюм.— Это все воровано — чего ты напялила? Снимай!..

— Пожалуйста! На!.. На, ворюга!..

— Все снимай! Твоего тут ничего нету!

— Что я, голая к прокурору пойду?

— Голая! — Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку, заглянул — там ли заявление: заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри и ушел с сумочкой и с шубой в свою комнату. И сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер.— Але? Семеныч? — И Аристарх заговорил негромко и торопливо.— Слушай, срочно ко мне... Да нет! Моя швабра накатала на нас телегу и собралась к прокурору...— Аристарх долго молчал, слушал.— Иди ты к черту! — сказал он.— Созвонись со всеми... давайте как-нибудь все... прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще подлянку кинула: записку в карман подсунула, я даже не знал... А я знаю? Из-за Вальки, наверно. Давайте. Срочно.

Аристарх бросил трубку, минутку посидел, подумал, оделся, выпил фужер шампанского и пошел с шубой жены и с ее костюмом к ней в комнату.

Вера Сергеевна лежала в нижнем белье на диване.

— Одевайся, Вера,— сказал он миролюбиво.— Давай спокойно поговорим обо всем.

Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх заходил по комнате, как преподаватель вуза.

— Во-первых,— начал он,— ты думаешь, государство наше такое глупое?

— Я об этом не писала. Нечего мне тут...

— Я тебе прочитаю курс экономики! — воскликнул Аристарх.— Чтоб ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что — воруют. Больше того, какой-то процент, кажется пятнадцать процентов, государственного бюджета отводится специально — под во-ров-ство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей. Но так как у нас — равенство, то мне официально не могут платить зарплату в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию? За мою инициативу? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть — я умею работать! Какое

же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я — украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл,— это и есть мои премиальные. Поняла? Это — мое, это мне дают по негласному экономическому закону...

— А сколько тебе дадут по гласному закону?

— Дура!..— сорвался на крик Аристарх.— Ты думаешь, меня посадят? Ни-ког-да! Посадят — это, значит, я там буду канавы рыть? Но у меня же — голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они — покрышки лежат,— показал Аристарх в коридор.— Пять штук. Лежат? Лежат — ты можешь подойти и пощупать их: они есть.— Аристарх остановил свой вузовский ход и торжественно поднял руку.— Но их нету! Их нигде нету, их не сделали на заводе. Их не су-ще-ствует. А они — лежат, пять штук, друг на друге. Это и называется: экономический феномен. Попробуй: без специальной подготовки, без головы!.. Попробуй это сделать. Да как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, которых никто никогда не делал, он сразу поймет, с кем он имеет дело. И ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя поблагодарят, наговорят слов... А мне, я так думаю, предложат какое-нибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей-то, не хватает. Где их набраться-то? Ну, окончил он свой вузишко, ну — с дипломом... А что дальше? А дальше ничего: еле-еле будет на восемьдесят процентов тянуть. А то я не знаю таких! Так что ты... поторопилась с этим своим заявлением, Верунчик.— Аристарх подсел к жене.— У нас вчера была самодеятельность... Согласен, самодеятельность, но это от избытка... я не знаю — чувств, что ли, ну расшалились... Может же художник... артист какой-нибудь там... в бассейне в бане кильку ловить и закусывать, ну а почему мы журавлей не можем изобразить? Нет, там, видите ли, понятно, а тут... Да, самодеятельность, но у тебя с этим заявлением — это, прости меня, безграмотность, это на уровне дворничихи. Мне даже стыдно, что ты моя жена.

Вот этого Аристарху не следовало говорить. Он уж и понял это, но поздно.

— Прекрасно,— сказала Вера Сергеевна,— иди к своей Сонечке, она твою голову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай ключ! Я сделаю свое дело... Твою голову оценит прокурор. И не пудри мне мозги своими... своей экономикой: будешь канавы рыть как миленький. Шалунишка... Энергичный?

Там энергичные тоже требуются. Канавы тоже надо энергично рыть.

Аристарх свирепо уставился на супругу.

— Лахудра,— сказал он весьма грязно, не по-вузовски.— Раздевайся! Этого костюма тоже не шили на фабрике — чего ты его напялила? И шубу не смей трогать: этих баранов,— показал он на каракулевую шубу,— никогда не было на свете. Чумичка в каракуле!.. Не пойдет. Я ей мозги пудрю!.. Да я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, эта чумичка предлагает мне рыть канавы! Сэн-кью! — Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату.

ДВА ЧАСА СПУСТЯ

Все вчерашние "пассажиры" собрались у Аристарха. Нет только Простого человека — его не позвали.

Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько театрально заламывал руки и повторял:

— Как, как эту дуру образумить? Как?

— Как ты с ней говорил-то? — спросил озабоченно Брюхатый.

— Всяко!.. Даже развивал мысль, что нация... должна иметь своих представителей... людей с повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой...

— Аристофан, мать твою!..— заругался Брюхатый.— Мысли он развивал! Оскорблял, нет?

— А что, молиться на нее, на дуру?

— На карачках!.. Вот так вот ползать будешь! —воскликнул Брюхатый. И с досады даже показал, как ползают.— Вот так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал! Пока ты их будешь развивать, мы уже будем...— Брюхатый сложил пальцы решеткой.— Я тебя вижу, ты меня — нет. Пойду сам...

Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, подумал... И пошел.

Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры Сергеевны и сладким голосом сказал:

— Вера Сергеевна!.. Можно ваше одиночество нарушить?

— Ну? — откликнулась Вера Сергеевна; она по-прежнему лежала на диване, но не в костюме, а в платье.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна! — приветствовал ее, появляясь в дверях, Брюхатый. Он улыбался.

— Здравствуйте,— с неким вызовом сказала Вера Сергеевна.

— Позвольте присесть?

— Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка?

Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной рукой.

— Ну, уж... вы прямо в обиду! Хотел как раз попросить извинения за вчерашнее. Сильно шумели?

— Шумели-то, это бы еще ничего...

— А что такое? — встревожился Брюхатый.— Выражался кто-нибудь?

— И это бы ничего... Это я слышала.

— Ну, а что же мы такое вчера сделали?

— Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетесь.

— Чем?

— Воруете. Спекулируете.

Брюхатый долго, скорбно, но в то же время как-то мудро молчал, глядя в пол. Потом поднял голову.

— Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна... Посадить хотите?

— Хочу посадить.

— А я уж сидел! — почему-то весело сказал Брюхатый.— Сидел. Четыре года и восемь месяцев.

— Ну, еще разок посидите.

— А хотите, расскажу, как это было?.. Нет, я не про подробности дела, а про... судьбу, так сказать, человеческую. Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный: жена посадила. Не то что прямо пошла и заявила, а... когда надо было... как бы это вам... В общем, когда надо было сказать "нет", она сказала "да".— Брюхатый обрел отеческий, снисходительный, ласковый даже тон в голосе. Смотрел на Веру Сергеевну, как на дочь.— А прожили мы с ней — ни много, ни мало — четырнадцать годков. И когда я уходил, я ей внима-ательно посмотрел в глаза, внимательно, внимательно. И говорю: "Прощай, Клава. Не скучай,— говорю,— тут без меня... Даст бог, увидимся когда-нибудь, ну а если уж не приведет бог, то,— говорю,— не поминай лихом. У меня,— говорю,— зла на тебя нету, прости и ты меня, если был когда виноватый перед тобой, невнимательный там, сгрубил когда. Я,— говорю,— старался всегда сделать для тебя что-нибудь полезное, ну, может, не всегда умел". Так я ей сказал. Она, значит, в слезы... А у меня вот тут вот

закаменело — смотрю на нее. Ну, в общем, отсидел я свои годки — не досидел даже, вел себя примерно — вышел. Вышел — и к своей Клаве. "Здравствуй,— говорю,— Клава! Вот — дал бог, свиделись". И так это улыбаюсь — изображаю радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы... И — было на шею мне. Я говорю: "Стоп, Клавдия Михайловна: семафор закрыт. Проезда нету. Извините,— говорю,— Клавдия Михайловна, дальше нам не по пути: разъезд". Она — туда-сюда — мол, я иначе не могла... Все! — Брюхатый это "все" сказал очень жестко. И прямо посмотрел на Веру Сергеевну.— Все, милая!

— К чему это вы? — спросила Вера Сергеевна.

— А просто!.. Случай-то — аналогичный. Но это не конец! Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все отдаю... Все отдал! Квартиру, тряпки — все! А за четырнадцать-то лет мы же нажили кое-чего — все отдал! Бери! У тебя будет квартира, туфли, платья... А у меня — голова. Он вот тут перед вами хвастался, что у него — голова,— показал Брюхатый на комнату Аристарха,— а не надо этим хвастаться, не надо... Есть она — есть, нет ее — ничего не сделаешь. Это ведь тоже, как деньги: или они есть, или их нету. Верно? Все бери! А со мной все мое богатство — тут! — Брюхатый ударил себя кулаком в лоб.— Хвастать не буду, но... прожить сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она: выскочила замуж, разошлась; тот у ней половину площади оттяпал— он для того и расписывался... Тряпочки-шляпочки потихоньку в комиссионку ушли — ша! Как у нас там говорили: кругом шешнадцать. Я: имею трехкомнатную квартиру,— Брюхатый стал загибать пальцы,— дачу, "Волгу", гараж... У меня жена, Валентина, на семнадцать лет моложе меня. Но я опять же не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. От них никуда не денешься.

— Вы пугаете, что ли, меня?

— Да господь с вами! Пугаю... Просто рассказываю про... некоторые эпизоды своей жизни. Теперь спросите меня: что я потерял за эти четыре года и восемь месяцев? Что? А ничего. Даже не похудел. А особенно, когда вышел, прямо в дверь не стал пролезать. Счас веду переговоры насчет института питания — надо маленько сбросить, а то даже неудобно. А что потеряла моя Клавдия Михайловна? Все. Год назад встретил — с авоськой из магазина коидехает. А я на "Волге" еду. Думаю, подвезти, что ли? Даже остановился... Подвезу, думаю. Скажу: "Клавдия Михайловна, позвольте, я вас до дома подвезу, я только не знаю, где вы теперь живете". Хотел

так сострить, но душа не повернулась. Сто метров не подвезу. Она, видите ли, "иначе не могла", а я тоже не могу: шлепай дальше со своей авоськой.

— Слушайте, не надо,— попросила Вера Сергеевна.— Не надо: я же знаю, к чему вы это все. Не надо, умоляю.

Брюхатый встал.

— Да я ведь... что же... я ведь так, эпизоды. Смотрите, вам виднее. Конечно, порыв к прокурору — это красиво, руку будут жать, соседи скажут: "Какая молодец!" Но в душе подумают,— поверьте моему слову, я жизнь повидал,— в душе подумают: "Вот дура-то!" Вы вот телевизор любите смотреть: вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть расскажут... Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучительные читайте, но мои слова тоже не забудьте. Так, на всякий случай...

Брюхатый вышел. Он сам растрогался от своих слов.

В комнате Аристарха его молча ждали "пассажиры".

— Ну!..— Брюхатый погрозил пальцем Аристарху.— Если она все же посадит нас...— он замолчал и слезливо заморгал глазами. И даже головой закрутил и показал на себя, и воскликнул сквозь слезы: — Куда я такой поеду? Я в воронок не влезу! Не мог с женой уладить!.. Купил бы ей... не знаю, чертика с рогами — забавляйся. Нет, он ей про государственные органы!.. Подожди, ты с имя еще будешь иметь дело, будешь. Она вон насмерть стоит, слюной исходит — посадить охота.

"Пассажиры" подавленно молчали.

Вдруг Курносый снялся с места и пошел к Вере Сергеевне.

— Вы, я вижу, оба умники! В гробу я вас видал с вашими теориями!.. С вашим опытом.

Он открыл дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же, в дверях, опустился, на четвереньки... И пошел так к дивану, где лежала Вера Сергеевна с книжкой.

— Пусть они как хотят, а я вот так буду. Не вставайте, умоляю вас,— сказал Курносый,— так и лежите: я буду так разговаривать.

— В чем дело?! — Вера Сергеевна все же чуть привстала.

— Я человек тоже энергичный, как треплется ваш муж,— быстро заговорил Ку́рносый не поднимаясь,— но я не такой упорный долдон, как они: я прошу пощады. Не говорите!.. Дайте я скажу, потом — казните или милуйте. Я тоже замешан в этой... в этих... Но у меня двое маленьких детей, мать с отцом престарелые.... Они не вынесут. Жена тоже не

вынесет. Вы сразу уложите пятерых. Я, может быть, не такой энергичный, как эти... про себя информируют везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна. И я немножко внимательней их... Я же вижу, Вера Сергеевна: вы скучаете. Не надо, не надо говорить! — Курносый вскочил с четвереток, побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени перед диваном.— Но вы же — красивая! Как вы можете скучать! Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно: я не знаю, чего там у них было, у Аристарха с Сонькой, но он какие-то движения делал... По-моему, она тоже хотела его обаять. Но я не ручаюсь: дошло у них до этого или нет. Не знаю. Но я знаю, что он движения делал... в ресторане несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сегодня оскорблял. Вера Сергеевна!..— Курносый приложил умоляюще руку к сердцу.— Только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво... то есть это, я хочу сказать, что я конкретный и деловой человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной: давайте наставим ему рога. Не говорите, не надо — дайте я все скажу! Чего тут удивляться-то? Чего глаза-то делать? Это жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за его оскорбления!.. Как он может оскорблять!.. Он спекулянт-то не крупный, он — так: середнячишка, щипач. Как он может оскорблять? Вместо того чтобы... Нет, у меня в голове не укладывается! Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам этим займусь, хотите... Только не надо, не говорите: дайте я все скажу. Поймите меня: говорю это, спасая свою шкуру. Мне это сто лет не надо, я коньяк больше люблю, но... Вера Сергеевна, сидеть, сидеть неохота! Хотите, сам займусь, а если не подхожу, у меня есть один артист знакомый. Красавец! Под два метра ростом, нос, как у Потемкина... Ну, все, все при нем, я, мужчина, любуюсь иа него. Он даже своим режиссерам рога ставит. А ему гараж позарез нужен: я договорюсь с ним. Вера Сергеевна, можно же так жизнь украсить!.. И на него,— Курносый показал на комнату Аристарха,— на него-то злости не будет! Это уже проверено. Мир будет в доме, у кого хотите спросите. Вот спросите у своих подружек, которые рога мужьям наставляют: ведь позавидовать можно, как они живут. Моя мне тоже, по-моему, ставит, потому что ласковая со мной... Я человек откровенный, я вам все говорю. Не обижайтесь на меня, а поймите: мне сильно сидеть неохота. Хотите, я вам завтра фотографию этого артиста покажу?.. Глаз не оторвете! Ну, Потемкин и Потемкин, собака! Он сам рассказывал, но, по-моему, малость врет: к нам одну шпионку заслали, а ее надо было

расколоть — ну, то есть, разузнать у нее побольше, так, говорит, его подослали, он познакомился и... доложил начальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем другая будет!..

— Вон! — вскричала Вера Сергеевна, как графиня.— Вон отсюда!.. Сволочи! Совсем уж?..

— Да ну, что совсем? Что совсем?..— бормотал Курносый, поднимаясь.— Что совсем-то? Чего тут кричать-то? Я дело предлагаю, верняк же предлагаю... Вы подумайте, а мне только намекните...

— Во-он! — пуще прежнего заблажила Вера Сергеевна.

— Ну-у... орать будем, да? Что за люди!..— Курносый пошел из комнаты. Подошел к двери, вдруг резко обернулся и грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно сказал: — Но сидеть я не буду! Понятно? Пусть Аристарх сидит, если ему хочется, а я сидеть не буду!

— Будешь,— сказала Вера Сергеевна.

Курносый с этим боевым, невесть откуда слетевшим на него настроением вошел в комнату, где сидели все "пассажиры". И им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло:

— Сидеть я все равно не буду, учтите! Вы можете садиться, а я не хочу. Поняли?!

— Ты что, с гвоздя сорвался? — спросил Аристарх.— Чего ты?

— Ничего! Пить надо меньше! — закричал Курносый на Аристарха.— Тогда жена будет любить... и сажать не будет. Импортанто!.. Садись тут... по милости всяких... Не буду сидеть! Не буду сидеть!

— Это уже психоз начинается,— сказал Лысый.— Неужели с одной бабенкой ничего сделать не можете?

— Она нас из-за Соньки вон его всех закатает! — все нервничал Курносый.— Нашел с кем — с Сонькой...

— В том-то и дело, что — не нашел! — тоже стал нервничать Аристарх.— Она мне со злости записку в карман сунула, чтобы эта нашла.

— Ну, так и объясни ей,— сказал Лысый.— Я, мол, не захотел флиртовать, она обозлилась...

— Так она и поверила!

— Ну, а что же делать-то? — теперь уж и Лысый закричал.— Что, так и поведут всех туда, как телят?

— Почему покрышки-то до сих пор здесь?! — закричал и Чернявый на всех, но особенно на Аристарха.

— А куда их теперь? — закричал и Аристарх на всех, но особенно на Чернявого.— Сейчас прикажешь выносить?

— Вчера надо было!

— Вчера!.. Вчера мы в жаркие страны улетали,— горько съязвил Аристарх.

"Пассажиры" явно нервничали... И не знали, что делать.

Вера Сергеевна, пристроив на коленях книгу, делала вид, что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вчерашние нахальные "пассажиры" сейчас боятся и нервничают.

— Так,— сказал Лысый,— если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к ней... с уголовным кодексом. Посмотрим, что там за крепость. Где ее тряпки? — спросил он Аристарха.

— Зачем? — не понял тот.

— Дай-ка сюда...— он взял шубку Веры Сергеевны, костюм и пошел к ней в комнату.

— С вашего позволения! — явился он вполне официально, с шубой и костюмом на руке.— Позвольте присесть?

— Разрешаю — садитесь,— со скрытым значением сказала Вера Сергеевна, полулежа на диване.

Лысый разгадал скрытое значение в этом ее "садитесь"

Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, помолчал... И сказал:

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина,— сказал он вполне бесцветным голосом.

— Как это? — не поняла Вера Сергеевна.

— Вы с уголовным кодексом знакомы? — в свою очередь спросил Лысый.

— Приблизительно... А вы что, юрист?

— Я не юрист, но с уголовным кодексом знаком,— неопределенно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне определенно: — Это ваши вещи?

— Мои.

— Вы их купили?

— Мне их... купил муж.

— Сколько ваш муж получает?

— Какое ваше дело?

— Это не ответ.— Лысый отлично "вел дело": спокойно, точно, корректно.— Сколько эта шуба стоит?

— Какое ваше дело?!

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина,— еще раз отчетливо сказал Лысый.— Вы прекрасно знали, что эти вещи — не по карману вашему мужу: он их "сымпровизировал", как вы пишете прокурору. Почему же вы про покрышки пишете, а про шубу, про костюм...— Лысый мельком оглядел довольно богато обставленную комнату,— а про все остальное не пишете. Здесь все ворованное.— Лысый сделал широкий жест рукой по комнате.— И вы это прекрасно знаете. Вы пользовались ворованным... И молчали. За это по статье...

— Здесь все мое! — вскричала Вера Сергеевна гневно, но и встревоженно.

— Ваша зарплата? — вежливо осведомился Лысый.

— Не ваше дело.

— Сто десять рублей, нам это прекрасно известно. Прикиньте на глаз стоимость всего этого хрусталя, этого гарнитура, этих ковров...

— Вы меня не запугаете!

— А я вас не пугаю. Это вы нас пугаете прокурором. А я просто вношу ясность: сидеть будем вместе. Не в одной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите: из всей этой гоп-компании мне корячиться меньше всех, я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас, вы еще молодая.

Вера Сергеевна что-то соображала... И сообразила.

— Все это,— сказала она и тоже повела рукой по комнате,— мое: мне папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил...

— Лапочка,— сказал Лысый почти нежно,— тут и доказывать нечего: вот эту "Рамону" (гарнитур югославский) доставал ему я: я потерял на этом триста целковых, но зато он мне достал четыре дубленки: мне, жене, дочери и зятю — по нормальной цене.

— А чего же вы говорите, что вам меньше всех корячиться? Наберем! — весело сказала Вера Сергеевна.— Всем наберем помаленьку! А вы думаете, Аристарх будет доказывать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут... на испуг брать. Вы вон сперва за них получите! — Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки.— Там их — пять штук: за каждую — пять лет: пятью пять — двадцать пять. Двадцать пять. Двадцать пять лет на всех. Что, мало?

Эта "арифметика" явно расстроила Лысого, хоть он изо всех сил не показывал этого.

— Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой?

— Мои папа с мамой всю жизнь работали... а я у них — единственная дочь.

— Неубедительно,— сказал Лысый. Но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл "процесс", это было совершенно очевидно. Но он не сдавал тона.— Аристарх,— продолжал он снисходительно,— конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да... Но ведь там-то,— показал Лысый пальцем вверх,— тоже не дураки сидят: скажет! Там умеют... И папаша ваш, если он потомственный рабочий,— что он, врать станет? Да он на первом же допросе... гражданскую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо, не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это...— Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм.— Поносите пока.

И Лысый вышел.

А в комнате, где "пассажиры", о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели... но тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то, видно, и надеялись.

— Чего вы тут?

— Инсценируем счас ее убийство,— сказал Курносый, хихикнув.— Надо такого ей страху нагнать!.. Так ее, дуру, напугать, чтобы она... на диван сделала.

Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу.

— Как это? — не мог понять Лысый.

— Сделаем вид, что мы ее счас укокошим. Изрубим на куски, а вечером — по одному — всю вынесем в хозяйственных сумках.

— А он чего пишет?

— Полное ее отречение: "Ничего не видела, ничего не знаю". А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Надо только все на полном серьезе! — предупредил Курносый.— Лично я зашиб бы ее без всякой инсценировки,— добавил он, помолчав.

— Все,— сказал Аристарх, поднимаясь.— Пошли. Вооружайтесь чем-нибудь пострашней... Все делаем, как на самом деле.

— Все на полном серьезе!

— А заорет? — спросил Лысый.

— Ори. Кругом никого нету, все на сдаче норм ГТО, она это знает,— сказал Аристарх.

Стали вооружаться: Курносый взял большой кухонный нож.

Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник...

— Я, как Юсупов,— сообщил он в связи с этим.— Они Распутина подсвечником добивали.

Аристарх взял топорнк, которым рубят мясо, а Чернявый взял... подушку.

— А это-то зачем? — спросил Брюхатый.

— А я ей вроде рот буду затыкать.

— А-а.

А Лысый не взял ничего. Он пояснил так:

— А я буду бегать вокруг вас и умолять: "Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается?"

Все это одобрили.

— Это хорошо.

— Правильно... А то все явимся, как в этой... мультипульти такой есть...

— Никакой оперетты! — еще раз предупредил Аристарх.— Она ж тоже... не совсем дура.

— Во, комедию отломаем! — восклнкнул Курносый и опять хихикнул.

— А ее инфаркт не хватит раньше времени? — вдруг спросил всех Брюхатый.

Все на мгновение замерли...

— А?

— Инфаркт?

— Инфаркт... Нормальный инфаркт миокарда. Или инсульт.

— Да ну!..— сказал Лысый.— Она из рабочей семьи, у нее отец на гражданской...

— Как, Аристарх?

— А черт ее!.. Не знаю.

— Ну, а если хватит? Ну и что? — спросил Курносый. И посмотрел на Аристарха.— Ну, допустим, хватит?

— Пошли,— сказал Аристарх жестко.— Она всех нас переживет... Какой там инфаркт!

И они вошли в комнату Веры Сергеевны.

Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну...

— Вера...— дрогнувшим голосом заговорил Аристарх.— У нас положение безвыходное... Ты не догадываешься, зачем мы пришли?

Веру Сергеевну стали потихоньку окружать.

— Другого выхода у нас нет, Вера...

— Братцы, может, не надо? Может, она одумается? — засуетился Лысый.

— Вера?..— Аристарх медленно приближался к супруге — в одной руке топорик, в другой — "отречение".

Вера Сергеевна побледнела... И все пятилась к окну.

— Да ничего она не одумается! — воскликнул Курносый.— Давайте кончать.

— У тебя два выбора: или подписываешь на наших глазах вот это — что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору... Или мы тебя...

— Давайте кончать! Чего тут тянуть?

— Я закричу,— еле слышно пролепетала Вера Сергеевна.

— А подушечка-то! — вылетел вперед Чернявый.

— Ты же знаешь, что кругом никого нет... Все на сдаче ГТО.

— А сумки-то заготовили? — спросил Брюхатый.— Разрéзать-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то?

— Да есть сумки — полнó. Помельче только разрезать... и по одному все вынесем.

— Все уже предусмотрели! — сердито обернулся на всех Аристарх.— Вы выноси́те по одному, а я останусь — замою тут все. Чего тут базарить-то?

— Главное, внутренности вынести, а остальное-то...

— Внутренности! А руки, ноги?.. Куда ноги, например, денешь? Они ни в какую сумку не полезут.

— Перерубим! Я ж те говорю: помельче изрубить.

— Вы же интеллигентные люди,— негромко сказала Вера Сергеевна.— Все в шляпах... в галстуках...

— Вывеска! — воскликнул Чернявый.

— Интеллигентные!..— Брюхатый колыхнул животом от смеха.— Я в лагере трех человек задушил... вот этими вот руками.

— Мы, значит, жестокие? — спросил Аристарх.— А ты? Ты не жестокая? — столько людей сразу посадить собралась. Подписывай!

Как-то не заметили, что, пятясь, Вера Сергеевна подошла к самому окну, которое очень легко открывалось...

Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно:

— Если кто только двинется, я прыгаю! Тут только два этажа: сломаю ноги, но все расскажу. Только двиньтесь!

Все так и замерли.

Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся искусственно.

— Мы же шутим, Верунчик!.. Неужели ты поверила?

— Немедленно все убирайтесь отсюда! — Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос.— Шутники.

— Нет, вы... Нет, она, правда, поверит, что мы...

— Убирайтесь!

— Да шутим же мы! — воскликнул в отчаянии Брюхатый. И бросил подсвечник.— Какие мы убийцы! Нас самих счас...

— Убирайтесь!

— Нет, она в самом деле может подумать!..

— Да думай она! — взорвался Курносый.— Что хочет, то и пускай думает! — И тоже бросил нож. И первым пошел к выходу. В дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело: — Но сидеть я все равно не буду! Ясно?! Сидеть я там не буду! Вот пусть они вот все... они вот, они — пусть сидят, а я не буду!

Никто ему на это ничего не сказал.

Он вышел... И за ним все тоже вышли.

И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали.

— Интересно,— заговорил Чернявый, обращаясь к Курносому,— как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а ты не будешь!

— Не буду,— повторил Курносый.

— А у тя что, сиделки, что ли, нету? — ядовито спросил его Брюхатый.— Она у тебя на месте: будешь сидеть, как все.

— Он там ходить будет,— подал голос Лысый.

Аристарх сидел, обхватив голову руками, и тихо покачивался.

— Не буду сидеть! — опять тупо повторил Курносый.— Вы все как хотите, а я — не буду!

— Все будем сидеть,— сказал Аристарх, не поднимая головы.

Опять некоторое время молчали.

— Конечно,— заговорил опять Курносый,— если бы ты был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы.

Аристарх поднял голову.

— А кто же я?

— Бабник! Шлюха в штанах!.. Да хоть бы умел, господи! А то... не выходит же ничего, нет, туда же, куда добрые люди: давай любовницу! Даже Соньку, и ту... тьфу! Рогоносец. С этой Сонькой...

— А ты подхалим,— сказал Аристарх первое, что выскочило из его оскорбленной души.— Ты перед начальством на полусогнутых ходишь.

— У меня пятеро на шее! — Курносый крепко хлопнул ладонью себя по загривку.— Пятеро!.. Ты вон с одной телкой справиться не можешь, а у меня их — пятеро. Мне не до любовниц!

— Зато тебе — до коньяка,— вставил Брюхатый.

— А ты вообще заткнись! — развернулся к нему Курносый.— Тебе-то даже полезно посидеть: может, похудеешь маленько. В институт питания собрался!.. Вот тебе и будет институт питания.— И Курносый нервно засмеялся.

Брюхатый навел на него строгий взгляд.

— Шавка,— сказал он. Помолчал и еще сказал.— Моська.

— А ты слон, да? — вступился за Курносого Чернявый.— Это не тебя по улицам водили?

— Меня,— сказал Брюхатый.— А это не тебе я нечаянно на туфель наступил... двадцать седьмого июня тыща девятьсот семьдесят третьего года, на профсоюзном собрании? Что-то ты тогда был... зеленоватый, а сейчас, гляди-ка, кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили?

— А кто всучил-то? Кто?

— Я, в том числе.

— Да ты сам первый лодырь! Прохиндей. Выговор он всучил!.. У меня первый раз недосмотр случился.

— Минуточку, минуточку,— прервал Брюхатый,— как это ты выразился — "прохиндей"? Я одиннадцать лет после суда без единого взыскания проработал! А ты мне, обезьяна, будешь еще вякать тут! Сам в выговорах весь, как... Ни одного же собрания не обходится, чтобы тебя...

— Хватит,— взревел Аристарх.— У меня вон,— показал он на стол,— семь почетных грамот лежат!.. Я и то молчу.

— А чего ты можешь сказать? — спросил его Лысый.— Там — семь почетных грамот, а там,— в сторону коридора, — пять покрышек. Я думаю, покрышки — потяжельше, перевесят. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я.

— Ой! — изумились.

— Глядите на этого ангела!

— Прямо невеста... в свадебной марле.

— Шариков только не хватает.

— И ленточек разноцветных...

— Да! — гордо сказал Лысый.— У меня две общественные нагрузки, а у вас... У кого хоть одна общественная нагрузка?

Все промолчали.

— А-а, нечего говорить-то. Вы думаете, это на суде не учтется? Все учтется.

— Да, я думаю, все учтется,— сказал Аристарх.— Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом — тоже учтется.

Лысый подрожал в гневе и обиде губами.

— Ворюга,— сказал он.— Плюс идейный ворюга: с экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Вот сколько нам всем дадут, столько тебе — отдельно — за базу.

— База — для дураков,— струсил Аристарх.— Я — нормальный спекулянт, чего вы тут?

— А-а!.. Очко-то не железное?

— Но ты тоже — не ерепенься тут, кудрявый!..

В это время в дверь позвонили.

Все оторопели на миг... Брюхатый даже за сердце взялся.

Еще резко, длинно позвонили.

— По одному... с вещами,— тихо сказал Чернявый.

— Иди,— кивнул Брюхатый Аристарху.

— Может, это макулатуру собирают... пионеры,— тихо сказал бледный Аристарх.— Подождем.

Опять звонок.

— А я нож-то там бросил! — вскричал Курносый.— Подождите, я нож-то хоть уберу, а то же!..

— Топорик мой...

— А?

— Топорик, топорик,— невнятно повторил Аристарх. И показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны.— Топорик...

— Чего топорик?

— Топорик мой тоже возьми, а то нам попытку к изнасило... ой, это... к убийству, к убийству...

— Тьфу!..— заругался Курносый. И побежал за ножом и за топориком.

— Мама, роди меня обратно: рубля государственного не возьму,— сказал Брюхатый.

— Не будет она тебя больше рожать,— зло и тихо сказал Чернявый.— Она и за этот-то раз раскаивается, наверно.

Курносый принес нож и топорик... И засуетился с ними. И зачем-то их оглядел еще.

— Ты что? — одними губами спросил Аристарх.

— Где они лежали-то?

— Вон...

Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не "пионерский".

— Какая макулатура! — тихо воскликнул Лысый.— Иди.

Аристарх поднялся... И медленно, тяжело — как если бы он шел уже по этапу — пошел к двери.

— Кто? — спросил он тихо, обреченно.

Из-за двери что-то ответили...

Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего:

— Какого черта ходишь тут?! Звони-ит!..

Вошедшим был Простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался.

— А я думал, нет никого! — Он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха, он держал в руках ящик с коньяком и улыбался.— Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он!

И Простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу.

— Ну, ребятки, седня нам... до Владивостока хватит.

На него молча смотрели.

Только Брюхатый сказал:

— Идиот... Василий Блаженный. На полатях вырос.

— А чего вы такие? — только теперь заметил Простой человек.— А? Что вы сидите-то, как вроде вас золотарь облил?

— Хочешь в свою Сибирь? В деревню? — спросил Брюхатый.

— Хочу,— сказал Простой человек.— Нынче поеду: у меня в сентябре отпуск...

— А в долгосрочный отпуск поедешь?

— Стоп! — воскликнул Чернявый.— Идея! Вот идея так идея.— И он вскочил и обнадеживающе посмотрел на всех...— Кажется, мы спасены!

— Как? — спросили все в один голос.

— Ждите меня! — велел Чернявый и куда-то убежал — вовсе, из квартиры.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕ УСПЕЛ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОЧЬ

"Пассажиры" ждали. Сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался... Нет, одна бутылка была распочата; похоже, это Простой человек пригубил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо

слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка: Вера Сергеевна опять смотрела телевизор.

Долго-долго сидели и ждали.

Наконец Простой человек не выдержал и встал...

— Пойду еще раз,— сказал он.— Хлопну для смелости — и пойду.

Он выпил коньяку... Все — от нечего делать — внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне.

— Я еще раз,— сказал он, входя.— Сергеевна, голубушка... ведь все это — опишут,— сказал он, показывая рукой гарнитур, диван, ковры...— Все-все. Одни обои останутся.

— Пусть,— сказала Вера Сергеевна.— Зато преступники будут наказаны.

— Преступиков не надо наказывать...

— А что же их надо — награждать?

— И награждать не надо. На них не надо обращать внимания. В крайнем случае, надо с имя находить общий язык.

— Спасибо за науку. А они будут продолжать воровать?

— Они так и так будут продолжать! Потом: ну какие же они преступники? Вот эти-то?.. Господи!.. Это сморчки! Они вон уже перепугались сидят... с них капает. Ведь на них глядеть жалко. Вы зайдите, гляньте — ведь это готовое Ваганьково. Там только надписи осталось сделать: был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожалейте вы их, ей-богу! Ну, припугнули — и хватит. Хоть Аристарха свово пожалейте: ведь он со страху... мужиком года полтора не будет.

— Ну, что вы — он любовниц заводит! — воскликнула Вера Сергеевна с дрожью в голосе.— У него есть Соня.

— Сонька?! — удивился Простой человек. И хлопнул себя руками по штанам.— Господи, боже мой. Ну нашла же ты к кому приревновать. Да с Сонькой вся база... Я! Я!..— постучал себя в грудь Простой человек,— я один, может, только и не вошкался: потому что я тоже больше коньяк уважаю. Не коньяк даже, а простую водку. Сонька!..

— Тем более! — мстительно воскликнула Вера Сергеевна. И встала от телевизора и нервно прошлась по комнате.— Тем более!.. Скотина он такая. Мне его нисколько не

жалко! Из всей этой бригады,— показала на комнату Аристарха,— мне ни-ко-го не жалко. Вас только жалко.

— Да меня-то!..— махнул рукой Простой человек.— Я и там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить, а мне-то... Коньячка вот только не будет, вот жалко. Ну, отдохну от него, наберусь сил — тоже полезно. Да мне много и не дадут — от силы, два года: за компанию. Мне их жалко, Сергеевна: у их, у всех, почесть, детишки. Вот этого толстого!..— почему-то вдруг обозлился Простой человек,— вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, эт-то журавь, скажу тебе! Это самый главный воротила. Но его же отдельно не посадишь. Сажать, так уж всех.

— Вот все и будут сидеть.

— Оно, конечно... так. Знамо, что... А куда денешься? — будем сидеть.

И Простой человек вышел.

Когда он вошел в комнату, где сидели "пассажиры", на него посмотрели без всякой надежды, обреченно.

Простой человек присел к столу... И засмотрелся на бутылки с коньяком. И вдруг всплакнул.

На него удивленно посмотрели.

— Прощайте... драгоценные мои,— говорил Простой человек, глядя на бутылки.— Красавицы мои. Как я буду без вас?.. Одно страдание будет, тоска зеленая... Любимые мои. Тяжело мне с вами расставаться, ох, тяжело...

— Поплачь, поплачь, говорят, легче становится,— сказал Брюхатый.

— А я и плачу. Плачу и стонаю. Сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду! — Простой человек сердито посмотрел на Брюхатого.— Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя... Недоедать из-за тебя не буду!

— Чего это ты решил, что я там канавы рыть буду? — спросил Брюхатый.

— А что же ты там будешь делать?

— Библиотекарем пойду... Или санитаром.

Все засмеялись: это был нехороший смех, нездоровый смех, болезненный смех, если можно так сказать про смех.

— Налей-ка и мне,— подошел к столу Курносый.

Простой человек налил две рюмочки... Одну пододвинул Курносому. Они чокнулись.

— За счастливую дорогу,— сказал Простой человек.

И тут вдруг сорвался "с гвоздя" Аристарх. Он вскочил, затопал ногой и закричал:

— Хватит паясничать! Хватит паясничать!.. Комеди франсез развели тут! Вон все отсюда! Вон! Скоты!.. Говядина!

Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха.

— Слушай...— сказал он,— я умею останавливать истерики: я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно... такую-то экономическую гниду я сделаю.

Аристархушка сел так же резко, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться.

Простой человек промакнул губы уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову.

— Сергеевна,— сказал он,— а на кого квартира записана?

— Как?..— не то что не поняла, а, скорей, растерялась Вера Сергеевна.— Как "на кого"?

— Кто ответственный квартиросъемщик?

— Он...

— Он.— Простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну.

— А что? — спросила та.

— А ты куда? — спросил в свою очередь Простой человек.

— Как куда? Никуда.

— Она кооперативная?

— Да.

— С конфискацией имущества! Он же не к Марье Иванне в карман залез, он государству в карман залез...

— Ну? И что?

— С конфискацией всего имущества,— повторил Простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил.— У их теория одна: с конфискацией всего имущества.

— А я куда же?

— Я вот и зашел спросить: а ты куда?

— Нет такого закона! — слабо запротестовала Вера Сергеевна.

Простой человек присел на дорогое зеленое кресло.

— Коломийцева посадили — с конфискацией,— стал он загибать пальцы,— Коренева Илью Семеныча, веселый человек был! — с конфискацией... Он, к тому же, анекдоты любил...

— При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улицу, что ли?

Простой человек помолчал...

— Угол снимать где-нибудь.

— Здравствуйте!

— Прощайте,— жестко сказал Простой человек — откуда и нашел в себе такую жестокость, он был добрый человек — и отбыл к "пассажирам".

— Слюнтяи,— сказал он всем. И прямо прошел к столу.— Интелефу занюханные.— Налил себе большой фужер коньяка и выпил один.— Энергичные люди!.. Это я..— стукнул он себя в грудь,— я энергичный! Соображать надо! Жить надо уметь! От меня три жены ушло, и ни одна,— он подчеркнул это,— ни одна не делает волны насчет алиментов! А потому что — что с меня возьмешь? С меня взять-то нечего. Я за свой труд беру, в основном, коньяком, а они не хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вяжу, а сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились... иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы — энергичные... Вот энергия-то! Боксер, садись, врежем. Не вешай свой курносый нос — он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты еще, более-менее, энергичный. А эти все... Тара для... сказал бы для чего, но у меня настроение улучшилось.

Раздался звонок в дверь.

Все опять замерли.

— Открывайте! — велел Простой человек.— Памятники...

Но никто не стронулся с места.

Простой человек сам пошел открывать. И на ходу изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет: приостанавливался и разглядывал.

— Люблю по кладбищу ходить. Думаешь: а кто были эти люди? — рассуждал сам с собой Простой человек. Он остановился перед Брюхатым.— Вот этот, наверно, плохой был...

— Проходи,— негромко сказал Брюхатый,— а то я встану из гроба и задушу тебя.

— Да, этот был плохой,— повторил Простой человек.— Вор был, наверно.

Он подошел к двери, открыл... и воскликнул:

— Соня!..

Стояли: Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно.

Никто ничего не понимал... Особенно Аристарх: он встал было, но сел снова, опять встал и опять сел — не мог встать от растерянности. Понимал что-то такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку... И, похоже, не собирался проходить с гостьей к "памятникам", а легонько — интеллигентно — подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны.

И вошли.

Вера Сергеевна тоже растерялась... Встала с дивана и смотрела на женщину Соню.

А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только Простой человек, пробираясь опять меж "памятников" к столу, сказал:

— Сейчас там будет третья империалистическая.— Он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой.— Клочья полетят...

...А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение.

— Это — Соня,— представил Чернявый гостью хозяйке.— Моя любовница.

— Ну,— засмущалась Соня.— Прямо сразу уж... Зачем так?

— Соня, мы договорились: все начистоту. Раз тут недоразумение, мы должны...

— У вас же семья,— сказала с удивлением Вера Сергеевна.— Как же вы говорите — любовница.

— Да! — гордо сказал Чернявый.— Я — из казаков...— И он энергично показал — не то лихо дернул поводья скакуна, не то... шут его знает, что-то такое показал энергичное руками,— густых, так сказать, кровей! Все даже удивляются. Ну, говорят, Сучков, ты даешь! Вы знаете, сколько я плачу алиментов? — Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза.— Семьдесят пять процентов! Вы думаете,— горячо продолжал он,— если

я связался с этими государственными ворюгами, то это от веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой. С законного рубля мне положено только пять копеек. А у меня — четверо детей.

— Четверо детей!..

— Это — со мной, при мне. А так их у меня... по-моему, одиннадцать. Вместе с этими, которые со мной.

— Но как же... еще любовница? — все не могла прийти в себя Вера Сергеевна.

— А что я, хуже других? Вы думаете, этот Брюхатый, например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А Лысый этот?.. С чего это он, скажите пожалуйста, полысел в сорок три года? Думал много? Над чертежами ночью склонялся? Нет, не над чертежами... Только уж не над чертежами. Да все имеют любовниц! Вы простите, вы замужняя женщина, но откройте глаза-то, откройте: ведь это же позор считается, кто не имеет любовницы. Ведь это только один Аристарх ваш... Ведь над ним весь отдел смеется! Я уж не знаю, что у вас за любовь такая... не знаю. Значит, она есть еще на земле? Я не знаю... с этим Аристархом... Он мне все представления о жизни перевернул. Любовь, что ли, у вас такая? — прямо спросил Чернявый Веру Сергеевну.— Даже интересно, честное слово.

— Слушайте,— заговорила Вера Сергеевна неуверенно,— а как же записка?.. Ваша записка, я ее нашла в кармане...

— Ва-аша запи-иска, в несколько стро-очек,— пропел беспечный Чернявый.— Она вам все расскажет про записку. Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вашего Аристарха и... решила вас поссорить. Я когда сегодня узнал об этом, у меня глаза на лоб полезли. "Поедем,— говорю,— немедленно поедем к Вере Сергеевне, и ты ей все расскажешь". Все, Соня!.. Я выйду, чтоб не мешать вам...— Уходя, Чернявый ласково, но строго погрозил Соне.— Все, решительно, все. Про нас подробности можешь тоже не скрывать — я лишен предрассудков.— Он чуть подумал.— И, по-моему, совести тоже.

"Пассажиры" никак не могли понять, что такое творит Чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на него смотрели и ждали.

Чернявый в изнеможении опустился в кресло, прикрыл глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги.

— Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку,— сказал он устало и капризно.

— Зачем же стакан? — с уважением сказал Простой человек.— Тут есть всякое хрустальное дерьмо.

— Нет, я хочу только из граненого стакана. Я сегодня спас...— Чернявый открыл глаза, огляделся,— от тюрьмы... много-много людей. Поэтому я хочу пить только из граненого — по-казачьи. Я вас всех вывел из окружения! — возгласил он, принимая стакан из рук Простого человека. Отпил, передохнул и сказал всем строго: — Соньке — книжный шкаф "Россарио", мне — золотой перстень с энблемой: казак скачет на коне.

А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то показывала руками... Вера Сергеевна то изумлялась, то удивлялась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. По всему видно, что они поняли друг друга, помирились и даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядочная женщина и величайшая распутница. Об этом много писали.

А в комнате, где "пассажиры", хотели понять, что вообще происходит? То есть, о чем-то уже догадывались, но — подробности, подробности.

— Как ты ее уговорил? — пытал Брюхатый Чернявого.

— Книжный шкаф "Россарио"...

— Для чего он ей?

— Не знаю... Сошлись на книжном шкафу.

— Как "сошлись"? — не понял Простой человек.— Неудобно же...

— Нет, все в порядке, что ли?! — закричал в нетерпении Лысый.

— Да,— сказал Чернявый.

— Ур-ра-а! — закричали Курносый и Простой человек.

— Едем седня до Владивостока! — заявил Простой человек.

Аристархушка в волнении ходил по комнате.

— А что она ей говорит? — спросил он.

— Они говорят на иностранном языке,— сказал Курносый в сильнейшем раздражении на Аристарха.— Импортанто де ла кругом и около.— Он подошел к Чернявому и крепко пожал ему руку.— Как мужчина мужчине,— сказал он уважительно и скупо.

Чернявый махнул рукой...

— Я тоже... перехватил там: наговорил на себя, что я чуть не Тарас Бульба. Еще немного — и Тарас Бульба. По-моему, она меня теперь бояться будет.

— Кто, Сонька?

— Кстати, если Сонька счас войдет в роль и начнет приставать ко мне, ты...

Но тут вошли Соня и Вера Сергеевна.

— На колени! — скомандовала Соня Аристарху.— На колени перед Верой Сергеевной.

— Зачем? — спросил Аристарх.

— На колени!! — потребовали все, еще не разобравшись, зачем надо на колени.

— Оказывается, ты оскорблял ее! — продолжала с возмущением Соня.— Ты ей тут, оказывается, наговорил гадостей и грубостей! На колени!

— На колени!!! — опять закричали все. А Курносый даже двинулся к Аристарху.

— Импортанто!..— с угрозой сказал он,— ты знаешь, что такое нокдаун? Я не говорю уже о нокауте, я говорю о небольшом нокдауне... На колени!

Аристархушка стал на колени...

— Проси прощения у Веры Сергеевны,— велела Соня.

— Проси прощения у Веры Сергеевны! — закричали все в один голос.

Аристарх замешкался было... Но тут ему разумно посоветовал Простой человек:

— Давай, Аристархушка... да благословясь поедем во Владивосток.

— Вера,— дрогнувшим голосом заговорил Аристарх,— прости. Клянусь: ни одной больше покрышки, ни одного колеса...

— Не об этом речь! — прервал его Брюхатый.— Говори по существу дела! Что значит ни одного колеса! Что ты, на лыжах собрался ездить?

— Но о чем тогда говорить-то?! — взбунтовался Аристарх на коленях.

Но тут уж возмутились все.

— Ах, он не знает, о чем говори-ить! Ах ты, бедняжечка... Первоклашка.

— Тебя мама еще за ручку водит, да?

— Нет, он все же хочет получить небольшой нокдаун.

— Да не нокдаун, а нормально — по сусалам! — громко возмутился и Простой человек.— Поедем во Владивосток! Поезд же отходит, вы что?

— Вера,— опять дрогнувшим голосом заговорил Аристарх,— клянусь, после этого случая буду каждый день проверять карманы...

— Опять!.. Ему говорят стриженый, он — бритый,— вконец вышел из терпения Брюхатый. Но тут же взял себя в руки и уже продолжал говорить с Аристархом, как с полным, но безвредным дураком, ие злостным дураком: — Зачем ты будешь проверять карманы?

— Не разговаривай со мной как с идиотиком...

— Нет, зачем ты будешь проверять каждый день карманы?

— Чтобы там записок не было...

— А жить так, чтобы в твоей жизни вообще никаких записок не было — так будешь жить?

— Что я, просил ее, чтобы она мне писала?! — опять было загорячился Аристарх и показал на Соню. И хотел даже встать с колен, и уж было встал, но тут встрепенулась Соня.

— На колени! — закричала она.— А что это, женщину надо обязательно просить, чтобы она писала? — спросила она надменно.— А сама женщина не имеет права написать записку? Может у нас женщина пошутить?

Вот это понравилось всем. С этим "может ли у нас женщина пошутить" она попала в самую точку. На Аристарха опять все навалились.

— Домостроевщину развел! — воскликнул Лысый.

— Нет, этот человек просит нокаута! — тоже воскликнул Курносый.— Не хочет он нокдауна, никак не хочет! Ему больше нравится нокаут! Ведь достану в печень — до утра будут считать.

— Нет, ты ответь... Ти-ха! — рявкнул Брюхатый на всех.— Ты ответь на вопрос, который тебе, подлецу, поставили: может у нас женщина пошутить?

— Может.— Аристарху надоело стоять на коленях, и он стал со всем соглашаться.

— Значит, что надо теперь сказать?

— Что? — искренне не понял Аристарх.

Брюхатый изумился; за ним некоторые тоже изумились, но так, для вида: никто, кроме Брюхатого, не понял, что надо теперь сказать Аристарху.

— Ты должо́н сказать,— вылез с поучением Простой человек,— ребята, мол, забудем все — и поедем во Владивосток.

— Прекрати со своим Владивостоком! — прикрикнул на него Лысый.— По-моему, ты и так уж где-то... под Хабаровском. Тут серьезное дело.

— Что ты должен сказать? — пытал Брюхатый Аристарха.

— Что?! Что?! Что?! — С Аристархом, кажется, начиналась истерика.— Не понимаю!..— Он стукнул двумя кулаками себя в грудь, и в голосе его послышались слезы.— Не понимаю: что я должен сказать?

Брюхатый пожалел его.

— Ты должен сказать: Верунчик, я тебя люблю. И не формально сказать, а с чувством, как ты говорил... сколько лет назад? — повернулся Брюхатый к Вере Сергеевне.

— Что говорил? — не поняла Вера Сергеевна.

— Когда он вам первый раз сказал: Верунчик, я тебя люблю? Сколько лет назад это было?

— Это было... девять лет назад,— сказала Вера Сергеевна.— Но он не так говорил...— Вера Сергеевна, вообще-то, была довольна — и этим состоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают.— Он сказал: "Хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?"

— Трепло! — возмутились все.

— Про экономическую базу он ничего не говорил?

— Хвастунишка.

— Я не так говорил! — заспорил Аристарх на коленях.

— А как?

— Я сказал: "Хочешь, я МОГУ сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона?"Еще я сказал: "Только не носи синтетическое белье".

— Почему это?— спросила Соня.

— Искры летят,— пояснил Аристарх.

— Да? — удивилась Соня.— Не замечала.

— Ну, так,— поднялся Брюхатый.— Я думаю, что он все осознал... Осознал, Аристарх?

— Осознал.

— Поднимайся,— велел Брюхатый.— Вера Сергеевна, идите сюда... Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. Кто видел, как мирятся детишки?

Никто не видел. То есть, наверно, видели, но не знали, куда клонит Брюхатый.

— Они берутся вот так...— Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы.— Теперь повторяйте за мной... Вот так вот махайте и повторяйте. Повторяйте: мирись, мирись — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Все засмеялись остроумной выдумке Брюхатого, даже зааплодировали. Все были рады.

— Давайте, давайте!..— требовали от Аристарха и Веры Сергеевны.

— Мирись, мирись,— стали вместе говорить Аристарх и Вера Сергеевна,— больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Опять зааплодировали... Вера Сергеевна была счастлива; Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением... Сделали вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки, и запели:

Как на Верины менины
Испекли мы каравай:
Вот тако-ой вышины!
Вот тако-ой ширины!..

Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были счастливы.

— Черт его знает!..— воскликнул растроганный Брюхатый.— Жить да радоваться!.. Нет, мы начинаем себе сложности находить.

— Именно: можно же красиво жить! — подхватил Курносый.

— Да... со вкусом! Ведь один раз живем-то! — тоже с чувством сказал Лысый.— Вы вдумайтесь: один раз! И все, и больше нас ни-ког-да не будет.

— Поехали во Владивосток! — опять призвал Простой человек. Но на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута, всем как-то было не до Владивостока.

— Иной раз думаешь: люди, в чем дело? — продолжал глубоко и даже с грустинкой Брюхатый.— В чем дело, люди?

— Дело в том, что — уважения побольше друг к другу,— подхватил его мысль Лысый.— Уважения!

— Я бы сказал — и любви,— сказал Чернявый. Он даже встал.— Любовь — это... Все можно достать! — воскликнул он.— Все! А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету.

— Это ты, брат, верно,— похвалил Брюхатый.— Это ты — в десятку.

— Суетимся, суетимся много,— вздохнул Лысый.— Сказано же: "Не суетитесь". Нет, мы суетимся...

— Не потопаешь — не полопаешь,— вставил и свое раздумчивое слово Простой человек.— Попробуй не посуетись.

— Заговорила матушка-деревня! — горестно и насмешливо сказал Брюхатый.— А ведь на полатях-то не суетились! — вдруг решил поймать он Простого человека на слове.

— Почему это на полатях не суетились? — не понял Простой человек.— И на полатях суетились, и на печке, и в банях... А чего ты ко мне с полатями-то привязался? Если хочешь, то я на покосе родился. Но полати я любил, потому что там можно сверху наблюдать.

— И чего ты оттуда наблюдал, интересно?

— Все... Жизнь. Мы там сказки рассказывали друг дружке... Нас одиннадцать человек росло.

— А нас — двое,— вспомнила и Соня,— но я была младшая. Это хуже всего — младшей сестрой быть: все платья, все туфли, все юбки я за Зинкой донашивала. А счас — все наоборот! — Она сама рассмеялась такому нелепому обороту в жизни.— Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за тобой все донашивала? Она говорит: не говори. А вот нечего, говорю!.. Заладила тогда: учиться, учиться! Дырки всем на боку провертела со своей учебой! Выучилась?.. Ну, давай теперь, гордись передо мной: ты же ученая! А я вот — неученая. Я — продавщица, нормальная продавщица!.. А давай, говорю, пройдем с тобой — для кспиримента — по улице: я надену все свое на себя, а ты свое на себя... Давай, говорю, пройдем? Не хочет.

Все засмеялись.

— Нет, мы едем во Владивосток или не едем?! — на исходе всякого терпения закричал Простой человек.— Во-от споминать пустились... Чего мы сидим-то?

— Это мы — перед дальней дорогой,— молвил Курносый, улыбаясь.

— Хватит вам со своим Владивостоком! — сказала Вера Сергеевна, тоже по-доброму улыбаясь.— Давайте... сядем все за столом, как нормальные люди... Представляете,— обратилась она к Соне,— выдумали какую-то... странную игру: то в жаркие страны летают в качестве журавлей, то ездят куда-то...

Соня махнула рукой.

— Делать нечего!

— Энергия! — воскликнул Чернявый.— Не зря же про нас говорят: энергичные люди.

— Ну-ка, энергичные люди,— стала распоряжаться Вера Сергеевна,— приложите свою энергию к делу: раздвиньте пока стол. Соня, а мы пойдем на кухню — вы мне поможете салат сготовить...

И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили... Аристарх включил дорогой магнитофон "Сони".

— У тебя "Сони"? — спросил Брюхатый со знанием дела.

— Да.

— Прекрасная вещь. У меня тоже... Шестьсот рублей.

Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся... Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой.

— Ты чего? — спросил Брюхатый.

Курносый хохотал и показывал пальцем на Чернявого, хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха.

— Чеканулся, что ли? — спросил Чернявый вполне тревожно.

— Со...ня,— продохнул наконец от смеха Курносый.— У вас "Сони", а у этого — Соня...

— Смех смехом,— серьезно заговорил Чернявый,— но если кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница... Слушайте, я серьезно говорю! Не вздумайте пошутить где-нибудь! А то... их же выручил, понимаешь... Мне тогда — загодя с седьмого этажа прыгать.

— С седьмого — это высоко,— согласился Лысый.— Но со второго я прыгал. Причем не муж даже, не муж — брат застукал... Не понимаю, чего она так перепугалась! Глаза вот такие: убьет, говорит! Я маханул... Хорошо, на цветочную клумбу угодил.

— А я раз...— хотел было тоже вспомнить Брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня. Внесли всякие закуски.

— Пожалуйста, к столу! — пригласила Вера Сергеевна.

И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо.

— Уверяю вас: можно же прекрасно жить! — еще раз сказал Брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни.— Мирно, спокойно...

— Главное, не суетиться перед клиентом,— согласился с ним Лысый.— Скажите, чего нет? — спросил он, приглашая

всех тоже, как Брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, но был конкретней: он показывал на богатый стол.— Чего не хватает?

— Так-то бы жил! — сказал Простой человек.— Таксисты только хамят: не хотят везти, и все! Каждый день у меня с имя стычка.

— Хамства много, это верно,— согласился Курносый.— Но я заранее трояк показываю. Ты сразу трояк показывай, и все, и повезет.

— Хорошо, если он есть. А если его нету?

— Тогда — кулак,— сострил Брюхатый.— И скажи: "Я на покосе родился!" — сразу повезет.

Засмеялись.

— Повезет он...— проворчал Простой человек.

За разговорами сели к столу.

— Ой, я забыла эту... открывалку-то...— вспомнила Вера Сергеевна.— Сонечка, не в службу, а в дружбу: у меня в ящике лежит... в "Рамоне" в левом ящике, в нижнем... такая — с ручкой, как у...

— Найду,— сказала Соня. И пошла за открывалкой.

Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор.

— Я как-то товарища своего школьного встретил...— вспомнил Брюхатый.— Ну — "Где? Как?". Оказывается,— шишка. Ну, выпили, закусили... Потом эта "шишка" спрашивает: "Слушай,— говорит,— ты не можешь мне женские сапоги "на платформе" достать? За горло,— говорит,— взяли..." — "И все? — говорю.— Вся проблема?" А сам думаю: эх...

Но тут случилось нечто, что и назвать-то как-то... не поймешь, как и назвать: шутка? Но уж больно тупая, Соня!..

В то время, как Брюхатый говорил: "А сам думаю: эх...", вошла в комнату преподобная Сонечка... с пистолетом в руках: наставила на всех и говорит:

— Руки вверх! Я — из обэхээса!

Да так спокойно, уверенно, так СТРАШНО это сказала, что за столом обмерли. Все застыли, кто как сидел... И тут Соня расхохоталась! Вот уж она посмеялась, дура,— до слез прямо досмеялась. Смеялась и показывала... открывалку, которая была похожа на пистолет — вылитый пистолет!

За столом не знали: то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой... Но признались, что перепугались насмерть.

— Сонька! — с укором сказал Брюхатый,— у меня же сердце, дура ты такая, дура... Ведь так — парализует, и все.

И будешь: одна половинка жить будет, а другая рядом лежать, по соседству.

— А у меня — холод: вот отсюда вот пошел, от затылка,— признался Лысый,— и по спине, по спине — куда-то в копчик уперся: чувствую — примерз к стулу! Ну, надо же так додуматься! Ну, Соня!..

Отходили от испуга; даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила "пистолет".

— А я думаю: пока тут счас всех будут обыскивать да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну бутылку в штанину,— поделился своими мыслями Простой человек.— Глянь, у меня штаны-то: туда полприлавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в воронке — там же темно! — я ее из горлышка... Мы бы ее с боксером вот раздавили бы.

— Нет, тут уж не до бутылочки было бы,— признался Курносый.— У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю же: все же на месте, никуда же никто не успел... А — никого не вижу! Туда смотрю (в зрительный зал) — никого не вижу, сюда смотрю — никого!.. Одну Соню с этой открывалкой вижу, и все. Ну, Соня... Ну, шуточки у тебя!..

— А я думаю так: прикинусь счас невменяемым!..— поделился мыслями и Чернявый.— С ума сошел. Сошел с ума — тронулся!.. А таких не судят.

— Так тебе и поверили! — сказал Простой человек, разливая коньяк по рюмкам.

— Это — как держать себя.

— Да как ни держи!.. Пару раз промежду глаз...

— А я,— сказал Аристарх,— я вот что подумал.— И все замолкли и смотрели на Аристарха: интересно было, что он подумал.— Я подумал — все: и Соня, и моя жена, обе — оттуда... из обэхээса.

— Ну!..— изумилась Вера Сергеевна.— Девять лет живем, а он...

Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Заговорили все сразу:

— Аристарх, ты уж...

— А что? А что?.. А знаете, случай был...

— Да ну, случай!.. Случаи в кино бывают, в театре...

— Нет, Аристарх, в самом деле?

— Клянусь! Ну, думаю, это мне — пятнадцать лет!..

— Да нам бы всем!.. Мы же ее "убивать" ходили! Нам бы за одну эту комедию...

— Едем во Владивосток! — громко объявил Простой человек.— Присели! Присели! Помолчали перед дальней дорожкой...

Все замолчали.

В это время позвонили в дверь.

— Это соседка ко мне — за выкройками,— сказала Вера Сергеевна. И пошла открывать.

Открыла дверь... И попятилась назад.

Вошли трое, показали книжечки.

— Милиция,— сказал один.— Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы.

Один из трех, в милицейской форме (двое были в штатском), прошел несколько в коридор и увидел покрышки.

— Вот они! — сказал он.— Даже не спрятали.

За столом сидели тихо, неподвижно.

Только Простой человек, повернувшись к зрительному залу, негромко, с искренним интересом спросил:

— А кто же тогда, граждане?.. А? Кто капнул-то?

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ

(Сказка про Ивана-дурачка, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума)

Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок — ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись.

— Да нет,— говорила библиотекарша,— я думаю, это пшено. Он же козел... Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику... Я знаю, что он баран, но у него "Грюндик" — посидим... Тюлень тоже придет, потом этот будет... филин-то... Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время! Ну, ну... слушаю...

— Ничего не понимаю,— тихо сказал некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся.

— В зоопарк собираются.

— Почему все козлы-то?

— Ну... видно, ирония. Хорошенькая. А?

Господин в цилиндре поморщился.

— Вульгаритэ.

— Вам все француженок подавай,— с неодобрением сказал Обломов.— А мне глянется. С ножками — это они неплохо придумали. А?

— Очень уж... того...— встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж.— Очень уж коротко. Зачем так?

Обломов тихо засмеялся.

— А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри.

— Да мне что, в сущности?..— смутился чеховский персонаж.— Пожалуйста. Почему только с ног начали?

— Что? — не понял Обломов.

— Возрождаться-то.

— А откуда же возрождаются? — спросил довольный Обломов.— С ног, братец, и начинают.

— Вы не меняетесь,— со скрытым презрением заметил пришибленный.

Обломов опять тихо засмеялся.

— Том!.. Том!.. Слушай сюда! — кричала в трубку библиотекарша.— Слушай сюда!.. Он же козел! У кого машина? У него? Нет, серьезно? — Библиотекарша надолго умолкла — слушала.— А каких наук? — спросила она тихо.— Да? Тогда я сама козел...

Библиотекарша очень расстроилась... Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.

Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями...

— В темпе, в темпе! — покрикивал некто канцелярского облика, лысый.— Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И — короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?

— Позвольте! — Это спрашивала Бедная Лиза.

— Давай, Лиза,— сказал лысый.

— Я сама тоже из крестьян,— начала Бедная Лиза,— вы все знаете, какая я бедная...

— Знаем, знаем! — зашумели все.— Давай короче!

— Мне стыдно,— горячо продолжала Бедная Лиза,— что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?

— Выгнать! — крикнули с места.

— Тихо! — строго сказал лысый конторский.— Что ты предлагаешь, Лиза?

— Пускай достанет справку, что он умный,— сказала Лиза.

Тут все одобрительно зашумели.

— Правильно!

— Пускай достанет! Или пускай убирается!..

— Какие вы, однако, прыткие,— сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке — не мог встать.— Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать...

— У Мудреца,— лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу.— Илья, я тебе слова не давал!

— А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собираюсь. Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить. И промокашкой закусывать. Крыса конторская.

— Ну, начинается!..— недовольно сказал Обломов.— Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое предложение: пускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянками пахнет... Да и никому, я думаю, не...

— Цыть! — громыхнул Илья.— Неловко ему. А палицей по башке хошь? Достану!

Тут какой-то, явно лишний, заметил:

— Междоусобица.

— А? — не понял конторский.

— Междоусобица,— сказал Лишний.— Пропадем.

— Кто пропадет? — Илья тоже не видел опасности, о какой говорил Лишний.— Сиди тут, гусарчик! А то достану тоже разок...

— Требую удовлетворения! — вскочил Лишний.

— Да сядь! — сказал конторский.— Какое удовлетворение?

— Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский меня оскорбил.

— Сядь,— сказал и Обломов.— Чего с Иваном-то делать?

Все задумались.

Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде ухо.

— Думайте, думайте,— сказал он.— Умники нашлись... Доктора.

— Не груби, Иван,— сказал конторский.— О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь возьмешь?

— Где?

— У Мудреца... Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь...

— А я не склоняюсь! — бухнул опять Илья.— Склоняется он. Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали — справку... Кто это со справкой выскочил? Лизка? Ты чего, девка?

— А ничего! — воскликнула Бедная Лиза.— Если ты сидишь, то и все должны сидеть?! Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация! Я присоединяюсь к требованию ведущего: надо что-то делать.— И она еще раз сказала звонко и убедительно: — Надо что-то делать!

Все задумались.

А Илья нахмурился.

— Какая-то сидячая агитация,— проворчал он.— Выдумывает чего ни попадя. Какая агитация?

— Да такая самая!..— вскинулся на него Обломов.— Сидячая, тебе сказали. "Кака-ая". Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять: что делать-то?

— И все же я требую удовлетворения! — вспомнил свою обиду Лишний.— Я вызываю этого горлопана (к Илье) на дуэль.

— Сядь! — крикнул конторский на Лишнего.— Дело делать или дуэлями заниматься?! Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько... Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.

Тут все взволновались, зашумели одобрительно.

— Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский.

— Трус,— сказал ему Онегин.

— Кто трус?

— Ты трус.

— А ты — лодырь. Шулер. Развратник. Циник...

— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман.— Сарынь на кичку!

— Сядь! — обозлился конторский.— А то я те покажу "сарынь". Задвину за шкаф вон — поорешь там. Еще раз спрашиваю: что будем делать?

— Иди ко мне, атаман,— позвал Илья казака.— Чего-то скажу.

— Предупреждаю,— сказал конторский,— если затеете какую-нибудь свару... вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь... самородки.

— Сказать ничего нельзя! — горько возмутился Илья.— Чего вы?.. Собаки какие-то, истинный бог: как ни скажешь — все не так.

— Только не делайте, пожалуйста, вид,— с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку,— что только вы одни из народа. Мы тоже — народ.

— Счас они будут рубахи на груди рвать,— молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича.— Рукава будут жевать...

— Да зачем же мне рукава жевать? — искренне спросил казачий атаман.— Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.

— Все — междоусобица,— грустно сказал Лишний.— Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.

— Айда на Волгу! — кликнул опять атаман.— Хоть погуляем.

— Сиди,— сердито сказал Обломов.— Гуляка... Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— А-а-а,— вдруг зловеще-тихо протянул атаман,— вот кохо я искал-то всю жизнь. Вот кохо мине надоть-то...— и потащил из ножен саблю.— Вот кому я счас кровя-то пущу...

Все повскакали с мест.

Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном... Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:

— О-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали?

Обломов загородился от казака стулом и кричал ему надрываясь:

— Да ты спроси историков литературы! Ты спроси!.. Я же хороший был! Я только лодырь беспросветный... Но я же безвредный!

— А вот похлядим,— говорил казак,— похлядим, какой ты хороший: хороших моя сабля не секеть.

Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и конторский отскочил.

— Бей, казаче! — гаркнул Илья.— Цеди кровь поганую!

И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:

— Закрыто на учет!

И все замерли... Опомнились. Казак спрятал саблю. Обломов вытер лицо платком. Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.

— Азия,— тихо и горько сказал конторский.— Разве можно тут что-нибудь сделать? Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло — закрыть на учет.

— Илья, у тя вина нету? — спросил казак Муромца.

— Откуда? — откликнулся тот.— Я же не пью.

— Тяжко на душе,— молвил казак.— Маяться буду...

— А нечего тут... размахался, понимаешь,— сказал конторский.— Продолжим. Лиза, ты чего-то хотела сказать...

— Я предлагаю отправить Ивана-дурака к Мудрецу за справкой,— сказала Лиза звонко и убежденно.— Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай... я не знаю, пускай убирается от нас.

— Куда же ему? — спросил Илья грустно.

— Пускай идет в букинистический! — жестко отрезала Лиза.

— О-о, не крутенько ли? — усомнился кто-то.

— Не крутенько,— тоже жестко сказал конторский.— Нисколько. Только так. Иван...

— Аиньки! — откликнулся Иван. И встал.

— Иди.

Иван посмотрел на Илью.

Илья нагнул голову и промолчал.

И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе — все, видно, искал вино.

— Иди, Ванька,— тихо сказал Илья.— Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые. Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть... За остальное не ручаюсь.

— Хошь мою саблю? — предложил казак Ивану.

— Зачем она мне? — откликнулся тот.

— Иван,— заговорил Илья,— иди смело — я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда... Где тебя задумают погубить, я крикну: "Ванька, смотри!"

— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? — спросил казак.

— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь.

Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном... Подтянул потуже армячишко и пошел к двери.

— Не поминайте лихом, еслив где пропаду,— сказал с порога.

— Придешь со справкой, Иван,— взволнованно сказала Лиза,— я за тебя замуж выйду.

— На кой ты мне черт нужна,— грубо сказал Иван.— Я лучше царевну какую-нибудь стрену...

— Не надо, Иван,— махнул рукой Илья,— не связывайся. Все они... не лучше этой вот.— Показал на Лизу.— На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот парню... на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш Мудрец? Тоже, небось, сидит там...

— Без справки нельзя, дядя Илья,— решительно сказала Лиза.— А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня. Ох, я те припомню!

— Иди, иди, Иван,— сказал конторский.— Время позднее — тебе успеть надо.

— Прощайте,— сказал Иван. И вышел.

И пошел он куда глаза глядят.

Темно было... Шел он, шел — пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.

— Бедная моя головушка,— сказал,— пропадешь ты. Где этот Мудрец? Хоть бы помог кто.

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел дальше.

Шел-шел, видит — огонек светится. Подходит ближе — стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.

— Есть тут кто-нибудь?! — крикнул Иван.

Вышла на крыльцо баба Яга... Посмотрела на Ивана, спрашивает:

— Кто ты такой? И куда идешь?

— Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой,— ответил Иван.— А где его найти, не знаю.

— Зачем тебе справка-то?

— Тоже не знаю... Послали.

— А-а...— молвила баба Яга.— Ну, заходи, заходи... Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?

— Да не отказался бы...

— Заходи.

Зашел Иван в избушку.

Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати...

— Кто с тобой еще живет? — спросил Иван.

— Дочь. Иван,— заговорила Яга,— а ты как дурак-то — совсем, что ли, дурак?

— Как это? — не понял Иван.

— Ну, полный дурак или это тебя сгоряча так окрестили? Бывает, досада возьмет — крикнешь: у, дурак! Я вот на дочь иной раз как заору: у, дура такая! А какая же она дура? Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история: привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только... бесхитростный. А?

— Не пойму, ты куда клонишь-то?

— Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: "Ох, и талантливый парень!" Или ты полностью поверил, что ты — дурак?

— Ничего я не поверил! — сердито сказал Иван.— Как это я про себя поверю, что я — дурак?

— А я тебе чего говорю? Вот люди, а?.. Ты строительством когда-нибудь занимался?

— Ну как?.. С отцом, с братьями теремки рубили... А тебе зачем?

— Понимаешь, хочу котэджик себе построить... Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?

— Мне же справку надо добывать...

— Да зачем она тебе? — воскликнула баба Яга.— Построишь котэджик... его увидют — ко мне гости всякие приезжают — увидют — сразу: кто делал? Кто делал — Иван делал... Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.

— А как же справка? — опять спросил Иван.— Меня же назад без справки-то не пустют.

— Ну и что?

— Как же? Куда же я?

— Истопником будешь при котэджике... Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале... Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали — куда? — пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври побольше... Разные случаи рассказывай. Я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать — Иванушка...

— Карга старая,— сказал Иван.— Ишь ты, какой невод завела!.. Иванушкой она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька?

— А-а,— зловеще протянула баба Яга,— теперь я поняла, с кем я имею дело: симулянт, проходимец... тип. Мы таких знаешь, что делаем — зажариваем. Ну-ка, кто там?! — И Яга трижды хлопнула в ладоши.— Стража! Взять этого дурака, связать — мы его будем немножко жарить.

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.

— Последний раз спрашиваю,— еще попыталась баба Яга,— будешь котэджик строить?

— Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван.— Чучело огородное... У тебя в носу растут волосы.

— В печь его! — заорала Яга. И затопала ногами.— Мерзавец! Хам!..

— От хамки слышу! — тоже заорал Иван.— Ехидна! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка!

— В огонь! — вовсе зашлась Яга.— В ого-онь!!

Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.

— Ох, брил я тебя на завалинке! — запел Иван.— Подарила ты мне чулки-валенки!.. Оп — тирдарпупия! Мне в огне не гореть, карга! Так что я иду смело!

Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.

— Дочка едет! — обрадовалась баба Яга и выглянула в окно.— У-у, да с женихом вместе! То-то будет им чем поужинать.

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.

— Змей Горыныч едет, змей Горыныч едет! — закричали они.— Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!

Вошла в избушку дочка бабы Яги, тоже сильно страшная, с усами.

— Фу-фу-фу,— сказала она.— Русским духом пахнет. Кто тут?

— Ужин,— сказала баба Яга. И засмеялась хрипло: — Ха-ха-ха!..

— Чего ты? — рассердилась дочка.— Ржет, как эта... Я спрашиваю: кто тут?

— Ивана жарим.

— Да ну? — приятно изумилась дочка.— Ах, какой сюрприз!

— Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво — не хочет строить котэджик, паразит.

Дочка заглянула в печку... А оттуда вдруг — не то плач, не то хохот.

— Ой, не могу-у!..— стонал Иван.— Не от огня помру — от смеха!..

— Чего это? — зло спросила дочка бабы Яги. И Яга тоже подошла к печке.— Чего он?

— Хохочет?

— Чего ты, эй?

— Ой, помру от смеха! — орал Иван.— Ой, не выживу я!..

— Вот идиот-то,— сказала дочка.— Чего ты?

— Да усы-то!.. Усы-то... Ой, господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты же замуж выходишь...

— Как все... А чего? — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.

— Да усы-то!

— Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую.

— Да тебе-то не мешают... А мужу-то? Когда замуж-то выйдешь...

— А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж? — вовсе встревожилась дочка.

— Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает: "Черт те что: солдат не солдат, и баба не баба". И разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы!.. Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой. А то еще возьмет да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей.

Баба Яга и дочка призадумались.

— Ну-ка, вылазь,— велела дочь.

Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.

— Хорошо погрелся...

— А чего ты нам советуешь? — спросила баба Яга.— С усами-то.

— Чего, чего... Свести надо усы, если хочете семейную жизнь наладить.

— Да как свести-то, как?

— Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете.

— Не кинем, Ванюшка,— заговорила ласково дочь бабы Яги.— Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться.

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря-сантехники.

— Это не просто,— заговорил он,— это надо состав делать...

— Ну и делай!

— Делай, делай... А когда же я к Мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться...

— Давай так,— заволновалась баба Яга,— слушай сюда! Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у Мудреца.

Иван призадумался.

— Быстрей! — заторопилась усатая дочь.— А то Горыныч войдет.

Тут и Иван заволновался.

— Слушайте, он же войдет, так?..

— Ну?

— Войдет и с ходу сожрет меня.

— Он может,— сказала дочь.— Чего бы такое придумать?

— Я скажу, что ты мой племянник,— нашлась баба Яга.— Понял?

— Давайте,— понял Иван.— Теперь — так: мой состав-то не сразу действует.

— Как это? — насторожилась дочь.

— Мы его счас наведем и наложим на лицо маску... Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с маской...

— А обманет? — заподозрила дочь.— Мам?

— Пусть только попробует,— сказала баба Яга,— пусть только надует: навернется с поднебесья — мокрое место останется.

— Ну, елки зеленые-то!..— опять заволновался Иван, похоже, он и хотел надуть.— Ну что за народ! В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело говорят, понимаешь,— нет, они начинают тут... Вы меня уважаете, нет?

— При чем тут "уважаете"? Ты говори толком...

— Нет, не могу,— продолжал Иван тараторить.— Не могу, честное слово! Сердце лопнет. Ну, что за народ! Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу!.. А детишки народятся? Потянется сынок или дочка ручонкой: "Мама, а что это у тебя?" А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить: "Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!" Легко будет ребенку? Легко будет слышать такие слова? Ни у кого нету мамки с усами, а у него — с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется слезами и пойдет домой... к усатой мамке...

— Хватит! — закричала дочь бабы Яги.— Наводи свой состав. Что тебе надо?

— Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины — мы накладываем на лицо такую маску...

— На все лицо? Как же я дышать-то буду?

— Ну что за народ! — опять горько затараторил Иван.— Ну ничего невозможно...

— Ладно! — рявкнула дочь.— Спросить ничего нельзя!..

— Нельзя! — тоже рявкнул Иван.— Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать! Повторяю: навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой — будешь дышать. Все.

— Слышали? — сказала Яга стражникам.— Одна нога здесь, другая в сарае! Арш!

Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.

А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча... Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:

— Кто это?

— Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка,— сказала Яга.— Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.

— Здравствуйте, дядя Горыныч! — поздоровался Иван.— Ну, как дела?

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.

— Да ну что, елки зеленые? Что? Ну — племянник, ты же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собираемся заводить: всех детишек пожрем, да? Папа, называется!..

Головы Горыныча посоветовались между собой.

— По-моему, он хамит,— сказала одна.

Вторая подумала и сказала:

— Дурак, а нервный.

А третья выразилась и вовсе кратко:

— Лангет,— сказала она.

— Я счас такой лангет покажу!..— взорвался от страха Иван.— Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля? — Иван вскочил с лавки и забегал по избушке — изображал, что ищет волшебную саблю.— Я счас такое устрою!.. Головы надоело носить?! — Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него — жутко было смотреть на эти три спокойные головы.— Такое счас устрою!..

— Он просто расхамился,— опять сказала первая голова.

— Нервничает,— заметила вторая.— Боится.

А третья не успела ничего сказать: Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.

— Шпана,— сказал Иван.

— Я тебя сам съем.

Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.

— Ванька, смотри! — сказал Илья.

— Да что "Ванька", что "Ванька"! — воскликнул Иван.— Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя... великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! — Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько.— Жри,— сказал он, отвлекаясь от дудочки.— Жрать будешь? Жри. Гад. Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с имя. Он меня, видите ли, пугать будет!.. Хрен тебе! — И Ванька опять засвистел в свою дудочку.

— Горыныч,— сказала дочь,— плюнь — не обращай внимания. Не обижайся.

— Но он же хамит,— возразила первая голова.— Как он разговаривает!

— Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.

— Я все ведаю,— встрял Иван, перестав дудеть.— Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш... для будущего батальона...

— Ванюшка,— заговорила баба Яга кротко,— не хами, племяш. Зачем ты так?

— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать! Вращай, когда у тебя батальон усатых будет — тогда вращай. А счас нечего.

— Нет, ну он же вовсю хамит! — чуть не плача сказала первая голова.— Ну как же?..

— Заплачь, заплачь,— жестко сказал Иван.— А мы посмеемся. В усы.

— Хватит тянуть,— сказала вторая голова.

— Да, хватит тянуть,— поддакнул Иван.— Чего тянуть-то? Хватит тянуть.

— О-о! — изумилась третья голова.— Ничего себе!

— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван.— Во даеть Ванькя! Споем? — И Ванька запел:

Эх, брил я тебя
На завалинке,
Подарила ты мене
Чулки-валенки...

— Горыныч, хором! Оп — ти-ирдарпупия! — допел Ванька.

И стало тихо. И долго было тихо.

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.

— Какие романсы?

— Старинные.

— Сколько угодно... Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хошь. Завалю романсами. Например:

Хаз-булат удалой,
Бедна сакля твоя-а,
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

— А? Романс?! — Ванька почуял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке...— Ух ты... свирепый. Свирепунчик ты мой.

— Не ерничай,— сказал Горыныч.— А то откушу руку.

Ванька отдернул руку.

— Ну, ну, ну,— молвил он мирно,— кто же так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь.

— Будешь,— сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил.— Я тебе возьму и голову откушу.

Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся.

— Тогда-то уж я и вовсе не спою — нечем: чем же я петь-то буду?

— Филе,— сказала голова, которая давеча говорила "лангет". Это была самая глупая голова.

— А тебе бы все жрать! — обозлился на нее Иван.— Все бы ей жрать!.. Живоглотка какая-то.

— Ванюшка, не фордыбачь,— сказала баба Яга.— Пой.

— Пой,— сказала и дочь.— Разговорился. Есть слух — пой.

— Пой,— велела первая голова.— И вы тоже пойте.

— Кто? — не поняла баба Яга.— Мы?

— Вы. Пойте.

— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь; ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану.— С мужиком петь... ты меня извини, но...

— Три, четыре,— спокойно сказал Горыныч.— Начали.

Дам коня, дам седло,—

запел Иван. Баба Яга с дочкой подхватили:

Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену-у.
Ты уже стар, ты уже се-ед,
Ей с тобой не житье:
С молодых юных ле-ет
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был слезлив.

— Дальше,— тихо сказал он.

Под чинарой густой,—

пел дальше Иван,—

Мы сидели вдвое-ом;
Месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

— Как ты живешь, Иван? — спросил растроганный Горыныч.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Изба хорошая?

— А-а. Я счас в библиотеке живу, вместе со всеми.

— Хочешь отдельную избу?

— Нет. Зачем она мне?

— Дальше.

Она мне отдала-ась,—

повел дальше Иван,—

До последнего дня-а...

— Это не надо,— сказал Горыныч.— Пропусти.

— Как же? — не понял Иван.

— Пропусти.

— Горыныч, так нельзя,— заулыбался Иван,— из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

— Но ведь без этого же нет песни! — занервничал Иван.— Ну? Песни-то нету!

— Есть песня,— сказал Горыныч.

— Да как же есть? Как же есть-то?!

— Есть песня. Даже лучше — лаконичнее.

— Ну, ты смотри, что они делают! — Иван даже хлопнул в изумлении себя по ляжкам.— Что хотят, то и делают!.. Нет

песни без этого, нет песни без этого, нет песни!.. Не буду петь лаконичнее. Все.

— Ванюшка,— сказала баба Яга,— не супротивничай.

— Пошла ты!..— вконец обозлился Иван.— Сами пойте. А я не буду. В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе. А эти три тыквы... я их тоже буду немножко жарить...

— Господи, сколько надо терпения,— вздохнула первая голова Горыныча.— Сколько надо сил потратить, нервов... пока их научишь. Ни воспитания, ни образования...

— Насчет "немножко жарить" — это он хорошо сказал,— молвила вторая голова.— А?

— На какие усы ты все время намекаешь? — спросила Ивана третья голова.— Весь вечер сегодня слышу: усы, усы... У кого усы?

А па-арень улыбается
В пшеничные усы,—

шутливо спела первая голова.— Как там дальше про Хаз-булата?

— Она мне отдалась,— отчетливо сказал Иван.

Опять сделалось тихо.

— Это грубо, Иван,— сказала первая голова.— Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь... как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, Бедная Лиза... прекрасная девушка, я отца ее знал... Она — невеста твоя?

— Кто? Лизка? Еще чего!

— Как же? Она тебя ждет.

— Пусть ждет — не дождется.

— Мда-а... Фрукт,— сказала третья голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила:

— Нет, не фрукт,— сказала она серьезно.— Какой же фрукт? Уж во всяком случае — лангет. Возможно, даже шашлык...

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова.— С Хаз-булатом-то?

— Он его убил,— покорно сказал Иван.

— Кого?

— Хаз-булата.

— Кто убил?

— М-м...— Иван мучительно сморщился.— Молодой любовник убил Хаз-булата. Заканчивается песня так: "Голова старика покатилась на луг".

— Это тоже не надо. Это жестокость,— сказала голова.

— А как надо?

Голова подумала.

— Они помирились. Он ему отдал коня, седло — и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?

— На самой верхней... Рядом с Ильей и донским атаманом.

— О-о! — удивились все в один голос.

— Понятно,— сказала самая умная голова Горыныча, первая.— От этих дураков только и наберешься... А зачем ты к Мудрецу идешь?

— За справкой.

— За какой справкой?

— Что я умный.

Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба Яга и дочь тоже подхихикнули.

— А плясать умеешь? — спросила умная голова.

— Умею,— ответил Иван.— Но не буду.

— Он, по-моему, и котэджики умеет рубить,— встряла баба Яга.— Я подняла эту тему...

— Ти-хо! — рявкнули все три головы Горыныча.— Мы никому больше слова не давали.

— Батюшки мон,— шепотом сказала баба Яга.— Сказать ничего нельзя.

— Нельзя! — тоже рявкнула дочь. И тоже на бабу Ягу.— Базар какой-то!

— Спляши, Ваня,— тихо и ласково сказала самая умная голова.

— Не буду плясать,— уперся Иван.

Голова подумала.

— Ты идешь за справкой...— сказала она.— Так?

— Ну? За справкой.

— В справке будет написано: "Дана Ивану... в том, что он — умный". Верно? И — печать.

— Ну?

— А ты не дойдешь.— Умная голова спокойно смотрела на Ивана.— Справки не будет.

— Как это не дойду? Если я пошел — я дойду.

— Не.— Голова все смотрела на Ивана.— Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.

Иван постоял в тягостном раздумье... Поднял руку и печально возгласил: — Сени!

— Три, четыре,— сказала голова.— Пошли.

Баба Яга и дочь запели:

Ох вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Они пели и прихлопывали в ладоши.

Сени новые-преновые,
Решетчатые...

Иван двинулся по кругу, пристукивая лапоточками... А руки его висели вдоль тела: он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.

— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.

— Я смотрю,— ответил Иван.

— Ты в пол смотришь.

— Сокол же может задуматься?

— О чем?

— Как дальше жить... Как соколят вырастить. Пожалей ты меня, Горыныч,— взмолился Иван.— Ну, сколько уж? Хватит...

— А-а,— сказала умная голова.— Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут... строить из себя. Шмакодявки. Свистуны. Чего ты начал строить из себя?

Иван молчал.

— Становись лицом к двери,— велел Горыныч.

Иван стал лицом к двери.

— По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука.

— Со звуком — это ты лишку хватил, Горыныч,— возразил Иван.— Я не сумею так.

— Как сумеешь. Приготовились... Три, четыре!

Иван вылетел из избушки.

Три головы Горыныча, дочь и баба Яга засмеялись.

— Иди сюда,— позвал Горыныч невесту,— я тебя ласкать буду.

А Иван шел опять темным лесом... И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лесину и закручинился.

— В душу как вроде удобрение свалили,— грустно сказал он.— Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка...

Сзади подошел медведь и тоже присел иа лесину.

— Чего такой печальный, мужичок? — спросил медведь.

— Да как же!..— сказал Иван.— И страху натерпелся, и напелся, и иаплясался... И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо — ложись и помирай.

— Где это ты так?

— А в гостях... Черт занес. У бабы Яги.

— Нашел к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?

— Да зашел по пути...

— А куда идешь-то?

— К Мудрецу.

— Во-он куда! — удивился медведь.— Далеко.

— Не знаешь ли, как к нему идти?

— Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти — не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся... Иду вот тоже, а куда иду — не знаю.

— Прогнали, что ль?

— Да и прогнать не прогнали, и... Сам уйдешь. Эт-то вот — недалеко — монастырь, ну, жили себе... И я возле питался — там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало! Обложили весь монастырь — их вовнутрь-то не пускают — с утра до ночи музыку заводют, пьют, безобразничают.

— А чего хотят-то?

— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и беги. Страсть что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился...— медведь достал пачку сигарет и закурил.— Нет житья никакого... Подумал, подумал — нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж...

— Это скверно.

— Уж куда как скверно! Медведицу избил... льва в лесу искал... Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот — иду.

— Не знают ли они про Мудреца? — спросил Иван.

— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь. Пропадешь, парень.

— Да ну... чего, поди?

— Пропадешь. Попытай, конечно, но... гляди. Злые они.

— Я сам злой счас... Хуже черта. Вот же как он меня исковеркал. Всего изломал.

— Кто?

— Змей Горыныч.

— Бил, что ли?

— Да и не бил, а... хуже битья. И пел перед ним, и плясал... тьфу! Лучше бы уж избил.

— Унизил?

— Унизил. Да как унизил!.. Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

— Брось,— сказал медведь,— не связывайся. Он такой, этот Горыныч... Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут.

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.

— Прощай.

— Прощай,— откликнулся Иван. И тоже поднялся.

— Аккуратней с чертями-то,— еще раз посоветовал медведь.— Эти похуже Горыныча будут... Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну, и охальное же племя! На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их — захомутали.

— Ничего,— сказал Иван.— Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца искать... леший-то навязался на мою голову. А время — до третьих петухов только.

— Ну, поспешай, коли так. Прощай.

— Прощай.

И они разошлись.

Из темноты еще медведь крикнул:

— Вон, слышь, музыка?

— Где?

— Да послушай!.. "Очи черные" играют.

— Слышу!

— Вон иди на музыку — они. Вишь, наяривают! О, господи! — вздохнул медведь.— Вот чесотка-то мировая! Ну, чесотка... Не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в кельях.

А были — ворота и высокий забор. На воротах написано: "Чертям вход воспрещен".

В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом.

Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты... Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски — выпивали.

А четверо — три музыканта с гитарами и девица — стояли прямо перед стражником: девица красиво пела "Очи черные". Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах... Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.

Его оглядели с ног до головы... И отвернулись.

— Что же с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван.

Его опять оглядели.

— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если счас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!

Черти изумились... Смотрели на Ивана.

— Я кому сказал? — Иван дал ногой по бутылкам.— Стать!!!

Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего роста, в очках.

— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря Ивана под руку.— Чего мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бо-бо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?

— Надо справку,— зло сказал Иван.

К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.

— Продолжайте,— крикнул изящный музыкантам и девице.— Ваня, какую справку надо? О чем?

— Что я — умный.

Черти переглянулись... Быстро и непонятно переговорили между собой.

— Шизо,— сказал один.— Или авантюрист.

— Не похоже,— возразил другой.— Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо?

— Одну.

— А какую справку, Ваня? Они разные бывают... Бывает — характеристика, аттестат... Есть о наличии, есть об отсутствии, есть "в том, что", есть "так как", есть "в виду того, что", а есть "вместе с тем, что"— разные, понимаешь? Какую именно, тебе сказали, принести?

— Что я умный.

— Не понимаю... Диплом, что ли?

— Справку.

— Но их сотни, справок. Есть "в связи с тем, что", есть "несмотря на то, что", есть...

— Понесу ведь по кочкам,— сказал Иван с угрозой.— Тошно будет. Или спою "Отче наш".

— Спокойно, Ваня, спокойно,— занервничал изящный черт.— Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять — какую? Мы тебе сделаем...

— Мне липовая справка не нужна,— твердо сказал Иван,— мне нужна такая, какие выдает Мудрец.

Тут черти загалдели все разом.

— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.

— О-о!..

— Липовая его не устраивает... Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!

— Какой митрополит! — он нам споет "Отче наш". А "сухой бы я корочкой питалась" ты нам споешь?

— Ша, черти! Ша... Я хочу знать: как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И все глядели и размахивали руками.

— Он опрокинул коньяк!..

— Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж?

— Кубок "Большого орла" ему!

— Тумаков ему! Тумаков!..

Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили.

— Ша, черти! Ша! — крикнул Иван. И поднял руку.— Ша, черти! Есть предложение!..

— Ша, братцы,— сказал изящный черт.— Есть предложение. Выслушаем предложение.

Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса гово-

рил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же.

Перед стражником по-прежнему "несли вахту" девица и музыканты: девица пела теперь ироническую песенку "Разве ты мужчина!" Она пела и пританцовывала.

— Я не очень уверен,— сказал изящный черт.— Но... А?

— Это надо проверить,— заговорили и другие.— Это не лишено смысла.

— Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.

— Мы это проверим,— сказал изящный черт своему помощнику.— Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть.

— Но без обмана! — сказал Иван.— Если Мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками... беру вашего черта...

— Ша, Иван,— сказал изящный черт.— Не надо лишних слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.

— Анкетные данные стражника,— сказал тот.— Где родился, кто родители... И еще одна консультация Ивана.

— Картотека,— кратко сказал изящный.

Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал.

Прибежали с данными. Один доложил:

— Из Сибири. Родители — крестьяне.

Изящный черт, Иван и маэстро посовещались накоротке.

— Да? — спросил изящный.

— Как штык,— ответил Иван.— Чтоб мне сдохнуть.

— Маэстро?

— Через... две с половиной минуты,— ответил маэстро, поглядев на часы.

— Приступайте,— сказал изящный.

Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались...

Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули...

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании.

Бродяга к Байкалу подходит.
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит —
О родине что-то поет.

Ах, как они пели!.. Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

Бродяга Байкал переехал —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, о, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?

Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.

—М-мх...— сказал он.

А в пустые ворота пошли черти.

А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни — звала на простор, на вольную волю.

А черти шли и шли в пустые ворота.

Стражнику поднесли огромную чару... Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:

—М-мх...

Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт.
А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Стражник дал кулаком по колену, поднял голову — лицо в слезах.

— А брат твой давно уж в Сибири,—
Давно кандалами гремит,—

сказал он страдальческим голосом.— Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай "Камаринскую"!.. Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!

— Нельзя, мужичок, нельзя,— сказал лукавый маэстро.— Ты напьешься и все забудешь.

— Кто?! — заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки.— Кто тут меня учить будет?! Ты, козел? Да я тебя... в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!..

— Что они так обожают кочки? — удивился изящный черт.— Один собирался нести по кочкам, другой... Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? — спросил он стражника.

— Цыть! — сказал стражник.— "Камаринскую"!

— "Камаринскую",— велел изящный музыкантам.

— Вина!— рявкнул стражник.

— Вина,— покорно вторил изящный.

— Может, не надо,— заспорил притворяшка маэстро.— Ему же плохо будет.

— Нет, надо! — повысил голос изящный черт.— Ему будет хорошо!

— Друг!..— заревел стражник.— Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!..

— Иду! — откликнулся изящный черт.— Счас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!..

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника; особенно изумил его изящный черт.

— Ты-то чего раздухарился, эй? — спросил он его.

— Цыть! — рявкнул изящный черт.— А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...

— Что, что? — угрожающе переспросил Иван. И поднялся.— Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори.

— Ты на кого это тут хвост поднимаешь? — тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана.— На моего друга?! Я из тебя лангет сделаю!

— Опять лангет,— сказал Иван, останавливаясь.— Вот дела-то!

— "Камаринскую"! — раскапризничался изящный черт.— Иван нам спляшет. "Камаринскую"! Ваня, давай!

— Пошел к дьяволу! — обозлился Иван.— Сам давай... с другом, вон.

— Тогда я не посылаю с тобой черта,— сказал изящный черт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана.— Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никог-да не попадешь.

— Ах ты, харя ты, некрещеная! — задохнулся от возмущения Иван.— Да как же это? Да нешто так можно? Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я же такой грех на душу взял — научил вас, как за ворота пройти.

— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?

— О, проклятие!..— застонал Иван.— Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

— "Камаринскую"! — велел изящный черт.— "Пошехонские страдания".

Музыканты-черти заиграли "Камаринскую". И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

— Эх, справочка!..— воскликнул он зло и горько.— Дорого же ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!..

И вот — канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия так канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную Мудреца.

— Минуточку,— сказал черт, когда вошли в приемную.— Посиди тут. Я скоро.— И куда-то убежал.

Иван огляделся.

В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только эта — другого цвета и зовут Милка. А ту — Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.

— Ой, ну это ж пшено! — говорила она в одну трубку и улыбалась.

— Помнишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое блестящее платье, копну сена, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?

И тут же — в другую, строго:

— Его нету. Не зна... А вы не интонируйте, не интонируйте, я вам пятый раз говорю: его нету. Не знаю.

— Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к одному? Интересно... Она одна была? Она кадрилась к тебе?

— Слушайте, я же ска... А вы не интонируйте, не интонируйте. Не знаю.

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: "Твой бугор в яме?" И он тоже спросил Милку:

— А бугор когда будет в яме? — Он вдруг что-то разозлился на эту Милку.

Милка мельком глянула на него.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Я спрашиваю: когда бу...

— По какому вопросу?

— Нужна справка, что...

— Понедельник, среда, девять тире одиннадцать.

— Мне...— Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов.

Милка опять отстукала:

— Понедельник, среда с девяти до одиннадцати. Тупой?

— Это пшено,— сказал Иван. И встал и вольно прошелся по приемной.— Я бы даже сказал — компот. Как говорит наша Галка: "собачья радость на двух", "смесь козла с "грюндиком". Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: невеста. Один к одному.— Иван все больше накалялся.— Но у тебя же — посмотри на себя — у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спроси у меня — я вечный жених — спроси: появилась у меня охота жениться? Ну-ка, спроси.

— Появилась охота?

— Нет,— твердо сказал Иван.

Милка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Ой, а еще? — попросила она.— Еще что-нибудь. Ну, пожалуйста.

Иван не понял, что "еще"?

— Еще покажите что-нибудь.

— А-а,— догадался Иван,— ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже

говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..

Милка опять громко засмеялась.

— Ой, как интересно! А еще, а?

— Худо будет! — закричал Иван.— Ой, худо будет!.. Лучше вы меня не гневите, не гневите лучше...

Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу.

— Тю, тю, тю,— испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол.— Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать?.. А-я-я-я-яй! Отойти никуда нельзя. Предисловий начитался,— пояснил он девице "выступление" Ивана.— Сиди тихо, счас нас примут. Счас они придут... Я там договорился: нас примут в первую очередь.

Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький — сам Мудрец, как понял Иван.

— Чушь, чушь, чушь,— быстро сказал он на ходу,— Василиса никогда на Дону не была.

Черт почтительно склонил голову.

— Проходите,— сказал Мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь. И исчез в кабинете.

— Пошли,— подтолкнул черт Ивана.— Не вздумай только вылететь со своими предисловиями... Поддакивай и все.

Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.

— Откуда?! Откуда они это взяли?! — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху.— Откуда?!

— Чего ты расстроился, батя? — спросил Иван участливо.

Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.

— Ну? — спросил он сурово и непонятно.— Облапошили Ивана?

— Почему вы так сразу ставите вопрос?..— увертливо заговорил черт.— Мы, собственно, давно хотели...

— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?

— Разрушение примитива,— твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем.

— Озоруете! А теоретически не готовы.

— Нет, ну серьезно...— заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу.— Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят!

— Что им, в полупендриках ваших ходить?

— Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце: неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.

— Тут, очевидно, следует говорить не о моде,— заговорил старик важно и взволнованно,— а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами.— Конечно, о возможном положительном влиянии...

— Всякое явление,— продолжал старик,— заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается: моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед; если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя.— Мудрец посмотрел на черта и на Ивана.— Обычно этого не понимают...

— Почему, это же так понятно,— сказал черт.

— Я все время твержу,— продолжал Мудрец,— что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит "да", другая говорит "нет".

— Я видел явление о трех головах...— вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.

— Ударим одну голову, услышим — "да", ударим другую, услышим — "нет".— Старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта.— Какую ударили вы?

— Мы ударили, которая сказала "да",— не колеблясь ответил черт.

Старик опустил руку.

— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит "да",— крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!..— Старик

опять погрозил пальцем черту.— Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу... Задом открыл дверь и так, с подкупающей улыбкой на мордочке, исчез. Иван же как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.

— Батя,— взмолился он,— ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь...

— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань,— велел Мудрец.

Иван встал.

— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.

— Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника... Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: "Вы родную его запойте, родную его..." Они и запели...

— Какую же они запели?

— "По диким степям Забайкалья".

Старик засмеялся.

— Ах, шельмы! — воскликнул он.— И хорошо запели?

— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.

— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.

— Ну, как умею?.. Так...

— А плясать?

— А зачем? — насторожился Иван.

— Ну-ка...— заволновался старичок,— вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю,— боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.

— Сообщают: вулкан "Дзидра" готов к извержению,— доложила она.

— Ага! — воскликнул старичок и пробежался по кабинету.— Что? Толчки?

— Толчки. Температура в кратере... Гул.

— Пойдем от аналогии с беременной женщиной,— подстегнул свои мысли старичок.— Толчки... Есть толчки? Есть. Температура в кратере... Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул...— Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку.— А что такое гул?

Милка не знала.

— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.

— Гул?..— Иван засмеялся.— Это смотря какой гул... Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это...

— Вульгартеория,— прервал старичок Ивана.— Гул — это сотрясение воздуха.

— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван.— Стекла дребезжат!

— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк Гул — это не только механическое сотрясение, это также... утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять...

— Ухо-то не может воспринять, а...— не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор.

— Ну что тебя — распушить?

— Не надо,— попросил Иван,— больше не буду.

— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается.— Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу.— Так и запишите.

Секретарша Милка так и записала. И ушла.

— Устаю, Ваня, дружок,— продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался.— Так устаю, что иногда кажется: все!.. больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз...— Старичок тонко, блудливо засмеялся.— Захочется иной раз пощипать... травки пощипать, ягодки... черт те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение... восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая... царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.

Опять вошла секретарша Милка.

— Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.

— Разбился?

— Разбился.

Старичок подумал...

— Запишите,— велел он.— Кот Тимофей не утерпел.

— Все? — спросила секретарша.

— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?

— Семьсот сорок восьмая.

— Перекур.

Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.

— К царевне, дружок? — воскликнул освобожденный Мудрец.— Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех... А?

— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.

— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?

— Я не про тот грех... Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.

Старичок значительно подумал.

— Чертей-то?.. Да,— сказал он непонятно.— Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то... а? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!

Несмеяна тихо зверела от скуки.

Сперва она лежала просто так... Лежала, лежала и взвыла.

— Повешусь! — заявила она.

Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.

— Повешу-усь! — закричала Несмеяна.— Не могу больше!

Молодые люди выключили транзисторы.

— Ну, пусть,— сказал один.— А что?

— Принеси веревку,— попросила его.

Этот, которого попросили, полежал, полежал... Сел.

— А потом — стремянку? — сказал он.— А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.

— Не надо,— сказали.— Пусть вешается,— может, интересно будет.

Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.

— Люстру сними пока,— посоветовали.

— Сам снимай! — огрызнулся парень.

Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались. Дело появилось.

— Веревку-то надо намылить.

— Да, веревку намыливают... Где мыло?

Пошли искать мыло.

— Есть мыло?

— Хозяйственное... Ничего?

— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?

— Сколько в тебе, Алка? — Алка — это и есть Несмеяна.— Сколько весишь?

— Восемьдесят.

— Выдержит. Намыливай.

Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку... Слезли со стремянки...

— Давай, Алка.

Алка-Несмеяна вяло поднялась... Зевнула и полезла на стремянку. Влезла...

— Скажи последнее слово,— попросил кто-то.

— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные.

— Не надо, Алка, не говори.

— Этого только не хватает!

— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.

— Ни петь, ни говорить я не собираюсь,— сказала Алка.

— Умница! Давай.

Алка надела на шею петлю... постояла.

— Стремянку потом ногой толкни.

Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:

— Тоже скучно-о!..— не то пропела она, не то заплакала.— Не смешно-о!

С ней согласились.

— Действительно...

— Ничего нового: было-перебыло.

— К тому же — патология.

— Натурализм.

И тут вошли Мудрец с Иваном.

— Вот, изволь,— бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки,— дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?

— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать,— капризно сказала Несмеяна со стремянки.

— А я и придумал! — воскликнул старичок весело.— Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в

истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех... Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди... А то мы... слишком уж остроумные, интеллектуальные... а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?

— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.

— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок.— К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?

— Да мне как-то неловко: они нагишом все...— сказал Иван.— Пусть хоть оденутся, что ли.

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.

— Ваня, это... ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку!

Принесли балалайку.

Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил... Вышел за дверь... И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой.

Эх, милка моя,
Шевелилка моя;
Сама ходит, шевелит...

— О-о!..— застонали молодые и Несмеяна,— не надо! Ну, пожалуйста... Не надо, Ваня.

— Так,— сказал старичок.— На языке офеней это называется — не прохонже. Двинем резерв. Перепляс!.. Ваня, пли!

— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван.— Что я тебе — Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно!

— А справка? — зловеще спросил старичок.— А? Справка-то... Ее ведь надо заработать.

— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?

— А как же! Мы же договорились.

— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то... Ну стыдно же, ну.

— Не мучай человека,— сказала Несмеяна старичку.

— Давай справку,— стал нервничать Иван.— И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то

когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.

Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей "царевне", так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.

— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением.— Какую справку?

— Здрасте! — воскликнул Иван.— Я же говорил...

— Я забыл, повтори.

— Что я умный.

— А! — "вспомнил" старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже.— Тебе нужна справка, что ты умный. Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?

— У тебя же есть печать.

— Да печать-то есть... Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса, ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.

— Давай,— с неохотой сказал Иван.— Во всех предисловиях написано, что я вовсе не дурак.

— Предисловия пишут... Знаешь, кто предисловия пишет?

— Это что, первый вопрос?

— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так... Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса лукаво поглядел на свою "царевну" и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен.— Ну?.. Что же сказал Адам?

— Не смешно,— сказала Несмеяна.— Тупо. Плоско.

— Самодеятельность какая-то,— сказали другие.

— Идиотизм. Что он сказал? "Сам сотворил, сам и живи с ней"?

Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.

— Очень близко!.. Очень!

— Мог бы и поостроумнее сказать.

— Минуточку! Минуточку!..— суетился старичок.— Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?

— А можно я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван.— Потом...

— Нет, сначала ответь: что сказал...

— Нет, пусть он спросит,— закапризничала Несмеяна.— Спроси, Ваня.

— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?

— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ва-ня!

— Ну-у, это уже ребячество,— огорчился старичок.— Хорошо, спроси, Ваня.

— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.

— То есть? — опешил тот.

— Нет, нет, не "то есть", а — почему? — заинтересовалась Несмеяна.— И почему ты это скрывал?

— Это уже любопытно,— заинтересовались и другие.— Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..

— Так вот вся мудрость-то откуда!

— Ой, как интересно-о!

— Покажите, пожалуйста... Ну, пожалуйста!..

Молодые люди стали окружать старичка.

— Ну, ну, ну,— испугался старичок,— зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.

— И скрывать, действительно, такое преимущество... Зачем же?

— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!

— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим.— Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они... Иван, скажи, что ты пошутил!

— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает,— вовсю шуровал один здоровенный парень.— У него тут еще майка... Нет, теплое белье! Синтетическое! Лечебное. Подержите-ка рубашку...

С Мудреца сняли пиджак, брюки... Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.

— Это безобразие! — кричал он.— Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!..

Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.

— А это?.. Разве не отклонение?

— Руки прочь! — завопил старичок.— Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки...

В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.

— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?

— Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха!.. Да где! Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же... ха-ха-ха!.. это же... ха-ха-ха!..

— Дайте ему сказать.

— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением... Ха-ха-ха!.. О-о-о!..— И тут старичок пукнул, так это по-старчески, негромко — дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане... И нашел. Печать. И взял ее.

— Вы пока тут занимайтесь,— сказал он,— а мне пора отправляться.

— Зачем же ты всю-то... печать-то? — жалко спросил Мудрец.— Давай, я тебе справку выдам.

— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд.— Иван пошел к двери.— Прощайте.

— Это вероломство, Иван,— сказал Мудрец.— Насилие.

— Ничего подобного,— Иван тоже стал в позу.— Насилие — это когда по зубам бьют.

— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой.— Наложу ведь — запляшете!

— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых.— Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна,— наложи! Колыхни атмосферу!

— Решение! — торжественно объявил Мудрец.— Данный юмор данного коллектива дураков — объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.

И грянула вдруг дивная стремительная музыка... И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.

ПЕСЕНКА ЧЕРТЕЙ

Аллилуя — вот,
Три-четыре — вот,
Шуры-муры.
Шуры-муры.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!
Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру.
Политуру.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!
Наше — вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультурим.
Покультурим.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.

Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна.

На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли

процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг.

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами... но вот диковина; хоть и грустно они покачивали, а все же — в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора...

И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.

— Ну-ка, брысь! — сказал он черту.— Ты как здесь?..

Черт-стражник снисходительно улыбался.

— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!

— Эт-то што такое?! — изумился монах.— По какому такому праву? Как ты здесь оказался?

— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!

Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.

— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут... Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.

— Ах ты, харя! — заругался монах.— Ах ты, аборт козлиный!.. Ну, ладно, ладно... Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!

— И выражаться не положено,— строго заметил черт.— А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет! Я те пообзываюсь!.. Иди отсюда, пока я те... Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!

— Агафангел! — позвали монаха.— Отойди... А то наживешь беды. Отойди от греха.

Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная...

Черт-стражник захихикал ему в спину.

— Агафангел...— сказал он, смеясь.— И назовут же! Уж скорей — Агавинус. Или просто — Вермут.

— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам.— Выгнали?

— Выгнали,— вздохнул один седобородый.— Да как выгнали! — пиночьями, вот как выгнали. Взашей попросили.

— Беда, беда,— тихо молвил другой.— Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.

— Надо терпеть,— откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался.— Укрепиться и терпеть.

— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван.— Что терпеть-то? Надо же что-то делать!

— Молодой ты,— урезонили его.— Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая!

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи... Надо терпеть.

— Будем терпеть.

Иван с силой, зло стукнул кулаком себя по колену. И сказал горько:

— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый!.. Я подкузьмил вам. На мне грех.

— Ну, ну, ну,— стали его успокаивать: — Чего ты? Эка, как тебя ограбастало. Чего ты?

— Эх-а!..— сокрушался Иван. И даже заплакал.— Сколько же я на душу взял... За один-то поход! Как же мне тяжко!..

— Ну, ну... Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.

— Да ну!.. Все терпеть да терпеть!.. Только и умеем — терпеть.

— Што же делать-то? Ничего теперь не сделаешь.

Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем.

— Мужички,— сказал он,— есть халтура! Кто хочет заработать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи.— Чего надо-то?

— У вас там портреты висят... в несколько рядов...

— Иконы.

— А?

— Святые наши, какие портреты.

— Их надо переписать: они устарели.

Монахи опешили.

— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.

— Нас.

Теперь уж все смолкли. И долго молчали.

— Гром небесный,— сказал старик монах.— Вон она, кара-то.

— Ну? — торопил изящный черт.— Есть мастера? Заплатим прилично... Все равно ведь без дела сидите.

— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило... И кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.

— Какие вы все же... грубые,— сказал им изящный черт из-за частокола.— Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас... Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся.

И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка... И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую чечетку.

Иван взялся за голову и пошел прочь.

Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко.

Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз.

Сел и задумался.

Сзади подошел медведь и тоже присел.

— Ну, сходил? — спросил он.

— Сходил,— откликнулся Иван.— Лучше бы не ходил...

— Что? Не дали справку?

Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить.

Медведь прислушался к далекой музыке... И все понял без слов.

— Эти...— сказал он.— Все пляшут?

— Где пляшут-то? Во монастыре пляшут-то.

— Ох, мать честная! — изумился медведь.— Прошли?

— Прошли.

— Ну, все,— сказал медведь обреченно,— надо уходить. Я так и знал, что пройдут.

Они помолчали.

— Слушай,— заговорил медведь,— ты там ближе к городу... какие условия в цирке?

— Вроде ничего... Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.

— Как насчет питания, интересно... Сколькиразовое?

— Шут его знает. Хочешь в цирк?

— Ну, а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?

— Да...— вздохнул Иван.— Дела.

— Сильно безобразничают? — спросил медведь, закуривая.— Эти-то.

— А что же... смотреть, что ли, будут?

— Это уж... не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!..— Медведь закашлялся. Долго, с храпом, кашлял.— Еще откажут вот... в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие как тряпки стали. Бывало пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался... кхо, кхо, кхох... с версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать.

— Там надо на задних лапах ходить,— сказал Иван.

— Зачем? — не понял медведь.

— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает...

— Да какой интерес-то?

— Это уж я не знаю.

Медведь задумался. Долго молчал.

— Ну и ну,— сказал.

— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван.

— Где!..— горько, с отчаянием воскликнул Михайло Иванович.— Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю.— Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва!.. Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!

— Зачем же монастырь-то?

— Они же там!..

— Нет, Михайло Иваныч, не надо. Да ты и не попадешь туда.

Михайло Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.

— Ты не пьешь? — спросил.

— Нет.

— Зря,— зло сказал Михайло Иваныч.— Легче становится. Хошь, научу?

— Нет,— решительно сказал Иван.— Я пробовал — она горькая.

— Кто?

— Водка-то.

Мнхайло Иваныч оглушительно захохотал... И хлопнул Ивана по плечу.

— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?

— Нет,— Иван поднялся с лесины.— Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.

— Прощай,— сказал медведь.

И они разошлись в разные стороны.

И пришел Иван к избушке бабы Яги. И хотел уж было мимо пройти, как услышал — зовут:

— Иванушка, а Иванушка!.. Что ж мимо-то?

Оглянулся Иван — никого.

— Да здесь я,— опять голос,— в сортире!

Видит Иван — сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира.

— Кто там? — спросил Иван.

— Да это я, дочка бабы Яги... усатая-то, помнишь?

— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?

— Выручи меня отсюда, Иванушка... Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми его и открой. Потом расскажу все.

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы Яги выскочила из сортира н стала шипеть и плеваться.

— Вот как нынче с невестами-то!.. Ну, змей!.. Я тебе этого не прощу, я тебе устрою...

— Это Горыныч тебя туда законопатил?

— Горыныч... Тьфу, змей! Ладно, ладно... чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад.

— За что он тебя? — спросил Иван.

— Спроси у него!.. Воспитывает. Полковника из себя изображает — на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи! Дубина такая.— Дочка бабы Яги вдруг внимательно

посмотрела на Ивана.— Слушай,— сказала она,— хочешь стать моим любовником? А?

Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту: усатая-то она усатая, но остальное-то все при ней, и даже больше — и грудь, и все такое. Да и усы-то... это ведь... что значит усы? — темная полоска на губе, какие это, в сущности, усы, это не усы, а так — признак.

— Я что-то не понял...— замялся Иван.— Как-то это до меня... не совсем... того...

— Ванька, смотри! — раздался вдруг голос Ильи Муромца.— Смотри, Ванька!

— Начинается! — поморщился Иван.— Заванькал.

— Что начинается? — не поняла невеста; она не могла слышать голос Ильи: не положено.— Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовницы.

— Да нет...— сказал Иван,— зачем? Я в том смысле, что... значит, это... дело-то такое...

— Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да — так да, нет — нет, чего тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.

— А баба Яга-то?

— Она в гости улетела. А Горыныч на войне.

— Пошли,— решился Иван.— У меня полчаса есть еще. Побалуемся.

Вошли они в избушку...

Иван скинул лапоточки и вольготно прилег пока на кровать.

— Устал,— сказал он.— Ох, и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не натерпелся...

— Это тебе не на печке сидеть. Что лучше: салат или яишенку?

— Давай чего-нибудь на скорую руку... Время-то — к свету.

— Успеешь. Лучше мы яишенку, с дороги-то — посытней.— Дочь бабы Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку.

— Пусть пока разогревается... Ну-ка, поцелуй меня — как ты умеешь? — И дочь бабы Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться.— О-о, да ты не умеешь ничего!.. А лапти снял!

— Кто не умеет? — взвился Иван соколом.— Я не умею? Да я тут счас так размахнусь, что ты... Держи руку! Руку держи... Да мою руку-то, мою — держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи!.. Держишь?

— Держу! Ну?

— Отпуска-ай,— заорал Иван.

— Погоди, сковородка перекалилась, наверно,— сказала дочь бабы Яги.— Ты смотри, какой ты! А ребеночка сделаешь мне?

— Чего же не сделать? — вовсю раздухарился Иван.— Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни да возни... знаешь сколько!

— Я уже пеленать умею,— похвасталась дочь бабы Яги.— Хошь, покажу? Счас яишенку поставлю... и покажу.

Иван засмеялся.

— Ну, ну...— сказал.

— Счас увидишь.— Дочь бабы Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану.— Ложись.

— Зачем я-то?

— Я тебя спеленаю. Ложись.

Иван лег... И дочь бабы Яги стала пеленать его в простыни.

— Холесенький мой,— приговаривала она,— маленький мой... Сынуленька мой. Ну-ка, улыбнись мамочке. Ну-ка, как мы умеем улыбаться?.. Ну-ка?

— У-а-а, у-а-а,— поплакал Иван.— Жратеньки хочу-у, жратеньки хочу-у!..

Дочь бабы Яги засмеялась.

— А-а, жратеньки захотели? Жратеньки захотел наш сынуленька... Ну, вот... мы и спеленали нашего маленького. Счас мы ему жратеньки дадим... все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке!

Иван улыбнулся "мамочке".

— Во-от.— Дочь бабы Яги опять пошла в куть.

Когда она ушла, в окно, с улицы,— прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча. И замерли, глядя на спеленатого Ивана... И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

— Утютюсеньки,— ласково сказал Горыныч.— Маленький... Что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись... Ну-ка?

— Мне не смешно,— сказал Иван.

— А-а, мы, наверно, того!.. Да, маленький?

— По-моему, да,— признался Иван.

— Мамочка! — позвал Горыныч.— Иди, сыночек обкакался.

Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яишенкой... Остолбенела. Молчала.

— Ну, что же вы?.. Чего же не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные.— Горыныч улыбался всеми тремя головами.— Не любите папочку? Не любят, наверно, папочку, не любят... Презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка... с косточками! — Горыныч перестал улыбаться.— С усами! С какашками! Страсти разыгрались? — загремел он хором.— Похоть свою чесать вздумали?! Игры затеяли?! Представления?.. Я проглочу весь этот балаган за один раз!..

— Горыныч,— почти безнадежно сказал Иван,— а ведь у меня при себе печать... Я заместо справки целую печать добыл. Эт-то ведь... того... штука! Так что ты не ори тут. Не ори! — Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе.— Чего ты разорался? Делать нечего? Схавает он... Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, печать-то,— глянь! Вон, в штанах. Глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда...

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк... Только еще сказал тихо:

— Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака.

Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени.

— Возлюбленный мой,— заговорила она,— только пойми меня правильно: я же тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусненькое... тепленькое, в простынках.

— Вот твари-то! — изумился Иван.— Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу!.. Жри, прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас!..

И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.

— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на Ивана.— Доигрался?! Спеленали!

Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы...

— Эт-то что еще такое? — зашипел он.

— Пошли на полянку,— сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку.— Там будет способней биться.— Он опять посмотрел на Ивана... Укоризненно сморщился.— Прямо подарок в кулечке. Как же ты так?

— Оплошал, атаман.— Ивану совестно было глядеть на донца.— Маху дал... Выручи, ради Христа.

— Не горюй,— молвил казак.— Не таким оглоедам кровя пускали, а этому-то... Я ему враз их смахну, все три. Пошли. Как тебя? Горыныч? Пошли цапнемся. Ну и уродина!..

— Какой у меня завтрак сегодня! — воскликнул Горыныч.— Из трех блюд. Пошли.

И они пошли биться.

Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала.

Иван и дочь бабы Яги ждали.

— А чего это он про три блюда сказал? — спросила дочь бабы Яги.— Он что, не поверил мне?

Иван молчал. Слушал звуки битвы.

— Не поверил,— решила дочь бабы Яги.— Тогда он и меня сожрет: я как десерт пойду.

Иван молчал.

Женщина тоже некоторое время молчала.

— А казак-то!..— льстиво воскликнула она.— Храбрый какой. Как думаешь, кто одолеет?

Иван молчал.

— Я за казака,— продолжала женщина.— А ты за кого?

— О-о,— застонал Иван.— Помру. От разрыва сердца.

— Что, плохо? — участливо спросила женщина.— Давай я распеленаю тебя.— И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась.— Нет, подождем пока... Черт их знает, как там у них? Подождем.

— Убей меня! — взмолился Иван.— Проткни ножом... Не вынесу я этой муки.

— Подождем, подождем,— трезво молвила женщина.— Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться.

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы Яги замерли в ожидании...

Вошел, пошатываясь, атаман.

— Здоровый бугай,— сказал он.— Насилу одолел... А где эта... А-а, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебя, гадину?

— Тю, тю, тю,— замахала руками дочь бабы Яги.— О, мне эти казаки! — сразу за горло брать. Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!

— А то я не знаю вас! — Атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине.— Что же тут было?

— Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник, такой охальник!.. Заласкаю, говорит, тебя до умопомраченья. И приплод, мол, оставлю: назло Горынычу. Такой боевитый, такой боевитый — так и обжигает!..— И дочь бабы Яги нескромно захихикала.— Прямо огонек!

Атаман удивленно посмотрел на Ивана.

— Иван...

— Слушай ее больше! — воскликнул Иван горько.— И правда бы, убить тебя, да греха на душу брать неохота — и так уж там... невпроворот всякого. Хоть счас бы не крутилась!

— Но какой он ни боевитый,— продолжала женщина, словно не слыша Ивана,— а все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.

— А что, тебе так глянутся боевитые? — игриво спросил атаман. И поправил ус.

— Брось! — сказал Иван.— Пропадем. Не слушай ее, змею.

— Да ну, зачем пропадать... Мы ее в плен возьмем.

— Пойдем, атаман: у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.

— Ты иди,— велел атаман,— а я тебя догоню. Мы тут маленько...

— Нет,— твердо сказал Иван.— С места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?

— Мх-х,— огорчился казак.— Ну ладно. Ладно... не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля! Ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь... усы на усы! — Атаман громко засмеялся.— Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье — он беду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, чего не послухал?

— Да вот... вишь мы какие боевитые... Не послухал.

Иван с атаманом ушли.

А дочка бабы Яги долго сидела на лавочке, думала.

— Ну, и кто же я теперь? — спросила она сама себя... И сама же себе ответила: — Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радостно.

— Слава богу, живы-здоровы.

— Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как напужал!..

— Ванюша! — позвала Бедная Лиза.— А, Ванюша!

— Погоди, девка, не егози,— остановил ее Илья,— дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку?

— Целую печать добыл,— вот она.— И Иван отдал печать.

Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак... Передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья; он тоже долго вертел в огромных пальцах печать... Потом спросил всех:

— Ну, так... А чего с ней делать?

Этого никто не знал.

— И зачем было посылать человека в такую даль? — еще спросил Илья.

И этого тоже теперь никто не знал. Только Бедная Лиза, передовая Бедная Лиза хотела выскочить с ответом:

— Как это ты говоришь, дядя Илья...

— Как я говорю? — жестко перебил ее Муромец.— Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот — печать... Что дальше?

Этого и Бедная Лиза не знала.

— Садись, Ванька, на место и сиди,— велел Илья.— А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван.— Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья.— Ну, спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана.— Эка... какой пришел.

— Какой? — все не унимался Иван.— Такой и пришел — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай,— спокойно молвил Илья.

— А пошли на Волгу! — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол.— Чего сидеть? Сарынь!!!

Но не успел он крикнуть свою "сарынь", раздался трубный глас петуха: то ударили третьи.

Все вскочили на свои полки и замерли.

— Шапка-то! — вскрикнул атаман.— Шапку оставил на полу.

— Тихо! — приказал Илья.— Не трогаться! Потом подберем... Счас нельзя.

В это время скрежетнул ключ в дверном замке... Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.

— Шапка какая-то,— увидела она. И подняла шапку.— Что за шапка?.. Чудная какая-то.— Она посмотрела на полки с книгами.— Чья же это?

Персонажи сидели тихо, не двигались... И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка.

Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться.

Тут и сказке нашей конец.

Будет, может быть, другая ночь... Может быть, тут что-то еще произойдет... Но это будет уже другая сказка. А этой — конец.

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ [1]

Повесть для театра

Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал:

— Где я?! Э-эй!.. Есть тут кто-нибудь?! Где я?..

И во тьме же, рядом, заговорили недовольные голоса, сразу несколько.

— На том свете. Чего орешь-то?

— Где я? Где мы?..

— На том свете. Чего орешь-то?

— Ну чего зря пугать человека! Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге... вот он — болтается, чую. Интересно, какой я по счету?

— А где мы? Чего зубоскалите-то?! Где, я спрашиваю?!

— Не ори, а то я подумаю сдуру, что ты моя жена и полезу целоваться; она всегда орет с утра. Она орет, а я ей — раз— поцелуйчик: на, только не вопи.

— Ну и как? — поинтересовался хриплый басок.— Помогает?

— Слабо...

— Если б ты ей четвертным рот залепил, она бы замолкла.

— Четвертного у меня с утра... Я за четвертной-то сам зареву, не хуже слона... А ты мне лепи четвертные.

— Где мы находимся, я вас спрашиваю?! — опять закричал тот, истеричный.

Тут вспыхнул свет... И видно стало, что это — вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга — век не виделись.

Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина.

— Чего кричите? — спросил он.— Кто кричал?

— Я,— сказал человек довольно интеллигентиого вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и тогда только встал. И подошел к старшине...— У меня к вам вопрос: скажите, пожалуй-

---

1 Повесть осталась незавершенной.

ста, где я нахожусь? — Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья.— Я что-то не могу понять — что это здесь?

— Санаторий "Светлые горы".

— Что за шуточки! — повысил голос интеллигент.— Я вас серьезно спрашиваю.

— Ложись,— показал старшина,— и жди команды. Серьезно он спрашивает... Это тебя счас будут серьезно спрашивать.

Интеллигент струсил.

— Простите... Вы в каком звании, я без очков не вижу? Где-то потерял очки, знаете...

— Генерал-майор.

Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину.

— Я вас не понимаю,— сказал он.— Вы всегда с утра острите?

— Чтоб тишина была,— велел старшина. И пошел к двери.

— Товарищ старшина!..— вежливо позвал его здоровенный детина, сосед очкарика по кровати.— У вас закурить не будет?

— Не будет,— жестко сказал старшина. И вышел. И закрыл дверь на ключ.

— Опять по пятницам,— запел детина, качая голос; он, был, наверно, урка,— пойдут х-свидания-а, и слезы горькие мосй... Ложись, очкарь. Что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе... какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?

— Районе!..— сказал мрачный человек.— Я город-то не знаю.

Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.

— Слушай, ты мне действуешь на нервы,— зло сказал урка,— сядь.

— Что значит действую на нервы? Что значит сядь?

— Значит, не мельтеши. А то я гляжу на тебя — и мне всякие покойники в башку лезут.

— Но что я мог такого сделать? — все не унимался очкарик. И все ходил и ходил, как маятник.— Почему меня... не домой, а куда-то... черт его знает куда? Что они, озверели?

— Ты понял!— воскликнул урка.— Убил человека и еще ходит удивляется!.. Во, тип-то.

Очкарик остановился... и даже рот у него открылся сам собой.

— Как это? Вы что?..

— Что?

— Человека?..

— Нет, шимпанзе. Что ты дурачка-то из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй Ваньку, а перед нами нечего.

— Да-а, милок,— сочувственно протянул маленький сухонький человечек,— вляпают тебе... Но ты напирай, что — неумышленно. А то... это... как бы того... не это...

— Он же выпимши был,— заспорил с сухоньким некто курносый, с женским голосом.— Чего ты намекаешь тут — "того", "не того"?.. Человек был выпимши. Вишь, он даже не помнит, как попал сюда.

— Теперь это не считается,— приподнялся на локте сухонький; видно, любитель был поспорить.— Теперь — что был выпимши, что не был — один черт.

— Наоборот! — воскликнул урка.— Отягчающее мешок обстоятельство. За что ты его под трамвай-то толкнул?

Очкарик стоял белый, как простыня... И вертел головой то туда, то сюда, где говорили.

— Вы что? — сказал он трагическим голосом, тихо.

— Что?

— Какого человека?

— Это тебе лучше знать. Шли, спорили, про какие-то уравнения...— стал рассказывать урка.— Как раз ехал трамвай, этот — чух его под трамвай!.. Того — пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось!.. Седой такой лежал... он головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется...

— Ты видел, что ли? — спросил сухонький.

— Я видел!..— повторил по-одесски урка.— А почему я здесь? А потому, что я сзади шел. А когда стали свидетелей собирать, я заартачился... нагрубил милиционеру...

— Тьфу!.. Из-за какого-то уравнения — человека под трамвай!— искренне и глубоко возмутился человек с женским голосом; он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно-нервный.— Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили...

— Совсем одичал народ,— негромко, сам себе, промолвил мрачный.— Убить — запросто.

Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре, лежал, смотрел в потолок...

Вдруг он сел и с ужасом сказал:

— А не убил ли и я кого?

И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно — через силу — засмеялись.

— Ты откуда будешь-то? — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стреляный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался.

— Из Окладихи,— сказал парень.— Тракторист.

— Ого! — удивились.— Куда тебя занесло.

— Что, тоже кого-нибудь убил?

— Нет, он, наверно, теще всыпал,— предположил электрик.— Или соседа поджег.

— У меня теща хорошая,— сказал парень.

— Ну соседа поджег.

Парень мучительно вспоминал:

— Неужели Мишке чего?.. Я, вообще-то, сулился его свинье глаз выбить: повадилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту... крестовину у нас такую надевают свинёшкам на шею, забыл, как называется,— чтоб они в дырки в городьбе не пролезали... Надень, ты, говорю, ей эту штуку, житья же нет от твоей свиньи! Он мне: "Сам надевай".—"Тогда,— говорю,— я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить — и в свой же огород придет".

— Это ты точно рассчитал,— похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста, он даже стал показывать пальцем на простынке схему движения свиньи.— Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород... Так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг — от так от пойдет — пойдет — пойдет — и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она — в твоем огороде.

— Да она-то!..— воскликнул тракторист.— Пусть как хочет, так и думает, зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?

— Ну, особо-то не переживай: за глаз больше семи суток не дадут.

— Или заставят стеклянный вставить,— хихикнул сухонький.

Остолбеневший очкарик сдвинулся наконец с места и подсел было к урке.

— Слушайте, вы что...

— Не садись ко мне! — закричал урка испуганно.— Я тебя не знаю! Первый раз вижу!..

Очкарик вскочил, как ошпаренный... И беспомощно посмотрел на всех.

Некоторое время все молчали.

— У тя семья-то есть? — спросил его электрик.

— А? Семья? — потерянно переспросил интеллигент.— Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?

На него горестно и серьезно смотрели.

— Ну что, что-о?!— чуть не заплакал очкарик.— Что смотрите-то?!

— Молодой еще...

— Может, и хорошо, что молодой: не такой старый выйдет.

— Так-то оно так... если, конечно, не... это... не того...— Это разговаривали между собой электрик и сухонький.— Могут ведь и... того... Как посмотрят.

— Да, это уж какое примут решение.

— Из-за какого-то уравнения!..

— Да расстреляют,— открыто ляпнул нервный с женским голосом.— Чего гадать-то? Ученого же толкнул...

— А? — машинально спросил очкарик.

— Кого толкнул под трамвай-то? Ученого?

Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками.

— Откройте! Откройте, пожалуйста!.. Я хочу спросить!

Дверь скоро открылась... Заглянул старшина.

— Что такое?

— Что я вчера сделал? Я не помню... Что я сделал? Почему они про какое-то...

Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи на ключ, сказал:

— Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать.

— Товарищи,— взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к урке в частности,— да вы что? Не мог я человека под трамвай...

— Крепись,— сказал ему мрачный человек.

— Вот хуже нет этих!..— с некоторой даже брезгливостью сказал урка. — Чего теперь психовать-то? Сделал — сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы, пала, действовать. Ляжь — и жди.

— Ученого толкнул или нет? — все хотел понять нервный.

— Ну, а как же? Раз об уравнениях шли спорили... Это Иван вон: ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал! — Электрику очень нравился расчет тракториста.— Это же надо так рассчитать. Вот же и Ванька!..

— Вспомнил! — сказал тракторист. И сел.— Никакой свиньи не было: я выехал трактором на асфальт.

— Ну? И что? — не понял электрик.

— Что... Не положено, что. Я вижу: приближаются на коляске... А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал — угол срезать...

— Ничего не понимаю: какой угол?

— Чтоб сократить маленько. Если от Игренева на Окладиху идти проселком — это семь километров, а если маленько асфальта прихватить...

— Ну, ну?

— Ну, думаю, все равно они ее счас найдут... Пока они приближались, я ее всю осадил.

— Бутылку?

— Ну.

Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.

— Всю бутылку?

— Всю.

— С какой же скоростью они ехали? — опять живо заинтересовался электрик.— На коляске-то.

— Ты спроси, с какой скоростью он пил? Не верю,— заявил сухонький.— Что, насос, что ли?

— А далеко ты их увидел? — поинтересовался и урка.

— За километр примерно. Оглянулся — догоняют...

— Можно успеть,— авторитетно сказал урка.— Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали. Надо только бутылку вот так вот раскрутить...

Тут в комнату вошла — ее впустил старшина — тетя Нюра с ведром и тряпкой.

— Всем лежать,— приказала тетя Нюра.— Курева не просить, в магазин не провоцировать — не положено.

— Здравствуй, тетя Нюра,— ласково сказал электрик.— Доброе утречко! Чего это ты спозаранку не в настроении?

— О, опять тут? — не очень удивилась тетя Нюра.

— Тут, тут... Как поется: де-евушки, где вы? Тута, тута!..

— И я тут, теть Нюр,— хихикнул сухонький.— Не узнаешь?

Тетя Нюра пригляделась... И узнала.

— Опять жена привела?

Сухонький на это почему-то обиделся.

— Что значит, жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревоч-

ке? — Сухонький помолчал и сказал не без гордости: — Меня привезли.

Тетя Нюра оглянулась на дверь... И скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.

— По одному — у окошка вон, чтоб запаху не было... В порядке живой очереди.

Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить.

— Я за тобой,— застолбил сухонький.

Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету.

— После меня будете,— сказал он.

— Ты чего тут? — возмутилась добрая тетя Нюра.— Ну-ка, отдай сейчас же! А то огрею вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый?.. Иди в цирк гири поднимать, а обижать не смей!

— Спокойно, тетя Нюра,— сказал урка, затягиваясь сигаретой.— Не поднимай волны.

— Отдай,— кратко сказал мрачный человек, дядя решительный и еще более здоровый, чем урка.

Урка значительно посмотрел на мрачного... И отдал сигаретку электрику. И лег.

— Там будешь свои порядки устанавливать,— еще сказал мрачный,— а здесь... пока рано.

Урка опять значительно посмотрел на мрачного. Всем стало как-то не по себе.

— Ну, ладно,— сказал сухонький урке,— так и быть— будешь за ним, а я за тобой.

— Чего это? — уперся мрачный.— Будешь, как занял, я за тобой, за мной... Ты куришь? — повернулся он к нервному, с тонким голосом.

— Нет,— откликнулся тот.— Бросил. У меня язва луковицы двенадцатиперстной кишки.

— А ты? Кандидат?

— Я? — очнулся очкарик.— Нет.

— А я бы курнул,— с тоской молвил Иван-тракторист.

— Ты за мной,— сказал ему мрачный.— А ты,— мрачный небрежно глянул на урку,— за Иваном.

Урка лежал, закинув руки за голову... Свирепо смотрел в потолок.

— Сколько у тебя, теть Нюр? — спросил электрик.

— По одной всем хватит. Пускай дым-то повыше... а то мне опять на вид поставют. Жалеешь вас...

Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого, по летнему времени, были открыты.

— Давай,— сказал он сухонькому. А сам лег опять в кровать.

Теперь сухонький пристроился к окну и с удовольствием пошел затягиваться, и даже затараторил — от удовольствия же.

— Как ты говоришь: луковица двенадцатиперстной кишки? — поинтересовался он.

— Да,— откликнулся нервный.— Ниша.

— Ниша?

— Ниша.

Сухонький покачал головой... Но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие.

— Ну язык выдумали! Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях: "Исследование моторной функции желудка". Совсем зарапортовались: мотор в желудке исследуют...

— Ты не болтай, а кури,— посоветовал мрачный.— Легко, думаешь, лежать смотреть на тебя.

Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой... Ничего, казалось, не видел и не слышал.

— Подними-ка ноги-то,— попросила его тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать.

Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней.

— Тетя Нюра... Анна... как вас по отчеству?

— Анна Никитишна.

— Анна Никитишна, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?

— Под трамвай? — удивилась тетя Нюра.— Да кого же это? Когда?

— Вчера вечером.— Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности.— В районе Садовой... Было там какое-нибудь движение?

— Движение там всегда есть...

— Я имею в виду — народ сбегался?

— Да брось ты, чудак! — пожалел его мрачный.— Разыграли тебя. Вон лежит... соловей-разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо самого не толкнули...

Очкарик опустил ноги и встал... И долго, и внимательно — очень долго, очень внимательно — смотрел на урку.

— Что, очкарь? — повеселел тот.— Перетрухал? Хох, гнида!..

— Сейчас подойду и дам пощечину,— сказал очкарик дрожащим от обиды голосом.

Урка изумленно выпучил на него глаза... Смотрел некоторое время. Потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно — очень медленно — пошел к очкарику.

— Я вас прошу, синьор духарь, дайте мне пощечину. Умоляю... надо же держать слово. А то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну?.. Мы же с вами джельтмены, вы сказали слово, надо же держать слово.

— Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо?

— Вот мое лицо, вот...— урка показал пальцем.— Вот эта вот окружность — это моя личность, в такую луну нельзя промахнуться. Ну? Я же тебя оскорбил... Разыграл, как дуру, ты же кандидат...

Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя "джельтменами".

— Могу еще оскорбить: вонючка ученая. Гнида. Как еще?..

— Достаточно,— молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно,— то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему,— произнес фразу: — От имени всех очкариков! — И залепил урке отчетливую пощечину.

— Вот как! — удивилась даже Нюра: по простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина.— Ты што это, эй!

— Мх-х, хорошо,— как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел урка.— Еще раз... Умоляю, с другой стороны.

— Нет, этого вполне достаточно,— снисходительно сказал очкарик; странно, неужели он так и не почувствовал опасности, или эта театральность так въелась в человека? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка поймал его за простыню и подтянул к себе.

— Ну, гнидушка-а, ну умоляю — еще раз, с другой стороны. Ох, как я счас буду метелить! — Урка зажмурился и покачал головой.— Как же я буду метелить, мама родимая!.. Умоляю, кинь еще одну — для напряжения, чтобы я о так от, о так — рразорвал сразу...

Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием, решительно оторвал урку от очкарика.

— Дальше будешь иметь дело со мной,— сказал он урке.

Урка опять значительно и долго — в который уже раз он пускал свой взгляд в дело! — посмотрел на мрачного... Тот спокойно — тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрят так значительно,— выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и — не то простонал, не то взмолился злорадно своему жестокому богу — поклялся:

— Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!..

— Благодарю вас,— сказал очкарик мрачному.— Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом: я когда-то занимался боксом. Но без очков я плохо вижу.

Мрачный помолчал на это. А урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:

— Только бы дожить до светлых дней.

Сухонький между тем докурил свою сигарету; с кровати поднялся мрачный; тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему.

— Чего тут не поделили-то? — спросила она серьезного сильного человека, мрачного.

— Да так... с похмелья,— сказал тот.

— Ох, как же я буду метелить! — воскликнул опять урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.

— Любопытная вещь,— заговорил очкарик,— до определенного момента все отчетливо помню, дальше — полный провал: ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить.

— Не-ет,— авторитетно заговорил электрик,— тут так: пока ты свою меру не взял, ты помнишь, дальше — взял меру, но в душе думаешь: мало, надо еще — все, пошел перебор. Дальше — рога в землю, и память автоматически отключается.

— Ни-че-го подобного,— тоже авторитетно и взволнованно возразил сухонький.— А как же бывает: домой пришел, а как пришел — не помнишь.

— Ну и что?

— Ну, по-твоему, я же не должен до дому дойти. А я дошел.

— Это значит, тебя развезло уже дома...

— Да где дома, где дома! — больше загорячился сухонький.— Я же утром-то вижу, какой я пришел.

— Все зависит от нервной системы,— встрял в спор нервный.— У кого какая нервная система. Сколько ты можешь выпить? — спросил он электрика.

— Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим...

— До сшибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?

Электрик подумал:

— Бутылку белой и бутылку чернил.

— Смотря каких...

— Три семерки.

— Так. А я с двух стаканов под стол лезу — потому что нервы.

— А вот я... Слушай сюда! Вот я,— затараторил сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь,— несмотря, что у меня такая комплекция, засосу полторы бутылки белой и не лягу.

— Ты?

— Я.

— Карлик с оглоблей,— непонятно сказал мрачный. И сам себе посмеялся.

— Мы, бывает, соберемся на трех,— продолжал сухонький,— по пять рваных на рыло — это получается...

Тут скрежетнул ключ в двери — раз, другой... Мрачный бросил сигарету в окно и в два свободных прыжка очутился возле своей койки. И лег. Дверь открылась, вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.

— Однако, курили? — остановился старшина.

— Откуда! — воскликнул сухонький.— Где мы возьмем-то?

Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру... Тетя Нюра старательно мыла пол. Домыла последнюю половицу и вышла.

— Поговорите вот... с товарищем,— сказал старшина.— Да не врите: это для статистики надо.— И старшина ушел.

— Товарищи,— подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем,— я не корреспондент, не из газеты... Я — социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите — это никуда не пойдет, никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения... ну,

пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого — на один-единственный вопрос, который я вам задам,— надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой: как вы здесь оказались? Еще раз повторяю: ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут, в том смысле, что никак вам не повредят. Начнем? — Ближе всех к нему оказался нервный.— Вот вы, например... Как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста.

Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у урки, взгляд.

— А попрошу документы,— сказал он сухо.

Никто не ждал такого оборота. Притихли.

— Зачем? — спросил социолог.

— Рассказывай ему... А кто вы такой?

— Да я же вам только что объяснил.

— Документы.

— Ну, слушайте... уж поверьте, если бы я не имел права спрашивать вас, наверно, меня бы сюда не пустили.

— Документы.

— Да нет у меня никаких документов, то есть, наверно, есть какие-то... нет, дома.

В комнате откровенно засмеялись такому наиву...

Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел.

— А голову, извиняюсь, вы не того....не это... Она не дома у вас?

— Ну, дела!

Социолог встал.

— Хорошо,— сказал он,— я попрошу начальника отделения, он объяснит вам... Не обманываю же я вас! Зачем мне это надо?

— Да, да,— согласился нервный,— зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте.

— Да нет, товарищи!.. Да действительно же я ученый! Ну, как вам?.. Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое.

Социолог пошел к двери, постучал... Старшина открыл дверь и выпустил его.

— Понял?! — воскликнул нервный хвастливо.— Какую штуку удумали, а? Во, деятели...

— Да нет, друзья,— сказал очкарик,— это действительно ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет.

Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж кроватей.

— Колонулся мальчик! — Урка радостно засмеялся.— Ученый... Я бы не хотел с таким ученым за одной партой сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой. Ну, Петя, ну, подрулил!..

— Да чушь это! — воскликнул очкарик.— Никакой он не следователь. Я знаю эти группы социологов...

— И его знаешь?— спросил нервный.

— Его не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением серьезнейших вопросов...

— В вытрезвителях?

— И в вытрезвителях. А где же еще ему расскажут, почему человек напился, какие причины побудили...

— А если их нету, причин-то? — закипятился нервный.— Чего их искать, если их нету?

— Причины всегда есть. Просто они не всегда ясны нам самим...

— Ну, это уж тоже... лишь бы с портфелями бегать — ученых из себя изображать,— недовольно сказал мрачный.— Чего вот мне рассказать? Нечего. Напился, и все.

— Что же, без всякой причины? — поинтересовался очкарик.

— Без всякой причины.

— Но какая-то же должна быть причина...

— Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил.

— И часто вы так?

— Раз в месяц напьюсь обязательно.

— Но почему? Тоска, что ли, какая?

— Никакой тоски,— убежденно сказал мрачный.— Напьюсь, и все.

Очкарик был в затруднении.

— Я не понимаю,— сказал он.

— Я сам не понимаю,— искренне сказал мрачный.— Не хочу понимать.

— Ну, может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей,— подсказал сухонький; все как-то обнаружили вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий сокрытый смысл.

— Никаких товарищей... Вообще не люблю войну вспоминать.

— А что вы читали до этого момента? Или смотрели по телевизору?

— До какого момента?

— Как пойти в магазин.

— Ничего не смотрел. Я люблю "В мире животных" смотреть, но она вечером бывает...

— Вы кто по профессии? — стал невольно входить в подробности очкарик.

— Крановщик.

— Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть? — опять выскочил с подсказкой сухонький.

— Да ну!..— мрачному надоело отвечать.— С высоты... Это тогда все летчики давно уже должны с круга спиться: там высота-то вон какая.

— А что ты думаешь? Ты знаешь...— кинулся было спорить электрик, но открылась дверь — вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них.

— Здравствуйте! — громко приветствовал всех начальник.

С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все.

— Кто тут самый бдительный? — начальник посмотрел на социолога.— Кто потребовал документы?

— Да нет, тут не в том дело, кто... Вы просто объясните.

— А чего тут объяснять-то? Спрашивайте, и все.— Начальник сел на стул.— А я посижу пока.

— Лучше бы вы объяснили...

— Вы спрашивайте, спрашивайте.

— Итак,— обратился социолог к нервному,— что же с вами вчера получилось?

— Это ученый разговор? — уточнил нервный.

— Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите...

— Я погожу пока,— сказал нервный.

— То есть? — не понял социолог.

— Я малость подзабыл... Я пока сосредоточусь.

— Что значит "пока сосредоточусь"? — заговорил было начальник.— Что значит...

Но социолог тут же запротестовал.

— Товарищ начальник... Я боюсь, мы так не поговорим.

— Почему!— удивился начальник.

— Не поговорим. Это надо иначе.

— Да у нас же тут есть духари! — воскликнул урка.— Вон у нас... духарь номер один — ничего не боится.— Урка показал на мрачного.

Мрачный внимательно посмотрел на урку... Опустив голову, подумал... И согласился.

— Я расскажу, если надо. Мне один черт.— Он сел на койке, посмотрел на социолога.— Про вчерашний случай?

— Да именно: как было с вами вчера.

— Жена у меня,— сразу начал мрачный,—как бы это вам сказать... вечно у ней какие-то гости, мужики какие-то подозрительные, бабенки... Они мне надоели.

— А говоришь, причины нету,— сказал нервный.

— Это не причина, это тянется уже лет семь,— возразил мрачный.— И напился я вчера не из-за этого. Но они мне тоже сильно надоели.

— Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот.

— Кассиршей в магазине. Не надо меня перебивать, я сам все расскажу. Радости мне тут... от этого рассказа — не шибко. Я не знаю, чего они делают: я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу — опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе... Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась: все перерыл — нету. Может, раньше вышла куда, черт ее знает, не нашел. Все перерыл — нету. Я лег спать. Только заснул, пришла милиция...

Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него посмотрели с недоумением.

— Ничего, ничего,— сказал начальник,— продолжай. Я потом объясню.

— Вы выпивши были, когда пришли? — спросил социолог.

— Крепко.

— Это все?

— Все. Который в трусах был, сильно визжал: я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся...

— Плечи пролезли? — выскочил с вопросом любопытный электрик.

— Куда? — не понял мрачный.

— В мусоропровод-то. Лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет.

— Ну все? — спросил начальник мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением.— На этом конец?

— Все,— ответил мрачный.— А что еще?

— А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул, вот что. Они вон у меня как раз сидят, эти люди.

Мрачного как стулом в лоб ударили, он аж назад качнулся на койке.

— Как? — спросил.

— Не знаю. В двенадцатом часу ночи заявляется вот такой верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади... Я представляю, как люди заволновались: выселяют.

— Вот это дал,— ответил электрик.— Как же ты так? Перепутал, что ли?

Мрачный долго скорбно молчал, глядя себе под ноги... потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену.

— Не на тот троллейбус сел,— понял он.— Мне надо было на семнадцатый, а я, наверное, на девятку сел... или на четырнадцатый.

— О!.. В другой район приехал. Ничего себе! — электрик возбужденно хихикнул.— И дом, наверно, похожий попался...

— Похожий,— откликнулся мрачный.— И в квартире все так же... Даже попугай в клетке.

— Это бывает,— сказал начальник.— То и дело такие случаи.

— И что ему теперь будет, товарищ начальник? — спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался.— Он же неумышленно...

— Посмотрим, посмотрим,— неопределенно сказал начальник. И встал.— Что значит "неумышленно"? Ну и что? Вы же знаете последние постановления... Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте,— велел он. И ушел.

— Продолжим,— сказал социолог. И посмотрел на нервного.— Вы?..

— А? — очнулся тот.— Так а чего продолжать-то?.. Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга... У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку... ну, погуляли малость: давно не виделись, а у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки: наскучают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кошмар! Я уж говорю: "Коля, тормози, я не выдюжу". Он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать... И тут-то мы и наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение!.. Но и люди тоже, знаете... Вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить; такие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо... это... черт знает, какие мимозы. Главное, мы же... это... по-хорошему! Я уж мысленно допрашиваю себя: "Соколов, может, что не так было?" Нет, все проверил, все изучил до последнего слова — все было на высшем уровне.

ИСТОРИЯ НА ПЕРРОНЕ, РАССКАЗАННАЯ СОКОЛОВЫМ

Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что "да, можно". Вошли они в купе, а там как раз четверо — все места заняты.

— Здравствуйте! — сказали Коля и Соколов.— А вы что, тоже все едете?

— Да, едем,— ответили им.

— Как это "едете"? — удивился сибиряк Коля.— А как же я? Что это еще за штучки!

— Тихо, тихо, Коля,— сказал Соколов,— только тихо. Сейчас все выясним, все проверим... Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты!

Четыре пассажира показали свои билеты — все правильно: они совершенно законно сидели на своих местах, они едут домой.

— Мне эти штучки сильно не нравятся! — воскликнул сибиряк Коля.— А как же я?

— Ну-ка, а ваш билет? — спросили его.

Коля показал свой билет... Один дотошный надел очки и долго крутил билет перед носом... Потом посмотрел его на просвет и сказал:

— Вы едете вчера, уважаемый.— И вернул билет.

Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии и что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так.

— Тихо, тихо, тихо,— сказал он,— сейчас мы установим, кто не едет. Не надо шума... Кому не так срочно? — спросил Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно.

— Тихо, тихо, тихо,— сказал им Соколов,— вы что, намекаете, что Николай Иваныч пойдет пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий...

Эти четверо как все равно взбесились.

— Какой жребий?! — стали они кричать.

— Это нахальство!..

Кто-то даже крикнул:

— Позовите кондуктора!

Тут Коля-сибиряк вконец осердился.

— Закрывай дверь! — закричал он.— Они у меня под лавкой поедут, зайцами!

Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром.

— Тихо, тихо, тихо,— опять воззвал он,— не надо шума. Вот вы,— обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет,— вы сунулись к чемодану... Почему?

— Потому что, я смотрю, какие-то бандиты пришли...— заговорил было дотошный.

— Стоп! — осадил его Соколов.— Можете брать свой чемодан и выходить, нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?

Николай Иваныч его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан.

— Где его чемодан? Где твой чемодан?.. Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется едет человек в командировку — целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?

Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность... И всех рассмешил. Он закричал громко:

— Грабят!

Николай Иваныч так смеялся, что нечаянно сел женщине на колени; тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери... А Николай Иваныч посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно.

— Кому он нужен, ваш чемодан! — сказал он.— И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят.

Тут прибежали кондуктор с милиционером...

— Вот и вся история,— закончил нервный.— Такое вот... недоразумение. И что вот?.. Что теперь? — нервный сорвался с койки и стремительно стал ходить по комнате, простыня разлеталась на нем в стороны, видны были его чрезвычайно худые ноги.— Что вот теперь?

— А где тот? — спросил электрик.— Сибиряк-то.

— А не знаю! Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то неправильно сделал: взял выкинул этого гражданина тоже... с чемоданом вместе.

— В окно?

— Ну, да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец.

— О-о!— сказал сухонький.— Ничего себе.

— Худо дело,— сказал и электрик.

— Хорошо еще, там как раз почту везли, мешки... на этих... на тележках-то...

— На электрокаре.

— Он на них упал, а то бы...

— Только одно может спасти,— сказал сухонький.

— Что? — нервный сбавил свой стремительный шаг.— Что именно?

— Если...— сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки.— Иди сюда,— позвал он нервного. И пошел в угол.— Иди сюда.

— Ну?

— Только одно может спасти,— быстро и негромко заговорил сухонький,— если этот, с чемоданом, окажется какой-нибудь шпион. Понял? Если бы его разоблачили...

— Ну, жди, когда его там разоблачат! — тоже негромко воскликнул нервный.— Пока его...

— Слушай сюда! — зашипел сухонький.— Послушай сперва, потом паникуй. Вы — так: мол, этот человек показался нам подозрительным — разглядывает все, всем интересуется... Чемодан у него какой-то... Говорил же твой друг: "Что это у тебя там?" У него фотоаппарата не было?

— Что же теперь, показался человек подозрительным — давай его из окна выкидывать?

— Ну, сидите тогда,— обиделся сухонький. И пошел на свое место.— Им хочешь, как лучше, а они... Сидите! Охота сидеть — сидите.

— Так,— сказал социолог, заканчивая записывать историю нервного.— Ну, а вы? — это он к электрику.

— Да у меня тоже... с гостями связано,— стал охотно рассказывать электрик. Сперва он несколько раз сбивался, но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел — снисходительно-грустный, но не безысходный.— Теща пришла и дочь ее с мужем. Мужа этого, свояка-то мово, фамилия — Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... это... не знаю. Я просто измучился с ним. "Назаров,— говорю,— ну что ты, ей богу? Ну что? Вот же какой ты человек, ей-богу! Вот же ведь какой ты". Морда, как на витрине,— весь... такой... только распоряжаться; долдонит и долдонит свое. "Да брось ты,— говорю.— Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу! Не надо, Назаров, не надо. Ну чего ты?" А тут он кандидатскую диссертацию защитил... Ну, приходят вчера. А я за кефиром как раз ходил... Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива. Я даже свою не допил: придет, думаю, этот Назаров, начнет опять... Мужики

еще посмеялись. "Чего ты? — говорят.— Брось, ты,— говорят,— Пахомов, ерунду-то говорить: свояк какой-то. Брось, Пахомов, не надо". Э, думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу домой...

ИСТОРИЯ В ДОМЕ ПАХОМОВА, РАССКАЗАННАЯ ПАХОМОВЫМ

Приходит электрик к себе домой, а у него гости: теща его с дочерью и Назаров.

— Здравствуйте,— вежливо сказал электрик.— Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?

— Можно поздравить,— сказал Назаров.— Можно поздравить.

— Поздравляю,— сказал электрик.

— Кто же на сухую поздравляет! — удивился Назаров.

И теща тоже удивилась:

— Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?

Электрик ничего не сказал на это.

— Завязал, что ли? — еще раз спросила теща.— А?

— Нет, почему завязал,— молвил электрик, после некоторого молчания.— Наоборот, я сейчас кружку пива выпил. А больше нет настроения.

— Что значит "нет настроения"? У людей такое событие...— это вступила жена электрика.— Сядьте и выпейте.

— Ну и что же, что у людей событие? А у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров?

— Ерунда какая-то получается,— возмутился Назаров.— К нему пришли как к человеку, а он в шахматы. Фишер нашелся. Ты что, смеешься над нами?

— Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уже выпил сегодня кружку пива, хватит.

— Но так же тоже нельзя,— обиделась и жена Назарова, Назариха.— Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?

— Никто вас в смешном виде не выставляет,— спокойно, с достоинством сказал электрик.— Наоборот, будьте как дома... Предлагаю в шахматы.

— Да при чем тут шахматы?! — закричал Назаров.— Я — ученый человек теперь, я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть! У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы

в нос суешь. Бессовестный ты после этого! У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть.

— Я ученых уважаю,— парировал эту бестактную выходку электрик,— но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это ты точно заметил, Назаров! Смотри, Назаров, ох, смотри... зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров.

— Нахал! — закричал опять Назаров.— А еще родственник! Ну давай хоть шампанского выпьем?

— Нет,— стоял электрик.— Ни шампанского, ни сухого — ничего.

— Пахом,— обратилась к электрику жена его,— людей надо уважать. Ну чего ты? Садись за стол... у меня всего полно: водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так, в самом деле.

— Как? — спросил ее электрик.

— Да вот так-то вот: люди тебя упрашивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто?

— Никто меня не обидел. Но только я пить не буду. Ясно? Пусть я электрик, но по принуждению пить не буду.

— Но, Пахом...

— Что "Пахом"? Что "Пахом"? Я пятьдесят лет Пахом. Я сказал — нет. Все.

— Но почему? Почему-у?!

— Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы.

— Да пошел ты к чертовой матери со своими шахматами! — вышел из себя Назаров.— Чего ты привязался со своими шахматами. Я тебя последний раз спрашиваю: будешь пить?

— Нет.

Все некоторое время смотрели на упрямого электрика.

— Знаешь, кто ты после этого? — спросил Назаров.

— Не знаю, ну-ка?

— Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже надо в пустыню.

— Куда, куда? — спросил электрик.— Куда меня надо?

— В пустыню, к верблюдам...

Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу... Электрик пополз их собирать.

— Извини, Назаров,— сказал он.— Я не хотел... Черт его знает, затмение какое-то... Может, все же сыграем в шахматы? Или ты сильно обиделся?

— Обиделся? — спросил нервный электрика.

— Обиделся,— вздохнул электрик.

— Вот они все так. Ну до того обидчивые, до того обидчивые — спасу нет!

— Что же ему, спасибо говорить — в лоб засветили?..— подал голос мрачный.

— Он же извинился.

— Я же извинился.

— Не могу! — взревел вдруг урка.— Не могу!.. Счас буду метелить обоих — за вранье. Да хоть бы врали, пала, как люди, а то врут, как...— Урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком.— Христосики! Фишера! До того культурные, пала, до того вежливые — аж зубы ломит. Шмакодявки... шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей!

— Ты! — крикнул электрик Пахомов.— Ну-ка, закрой сифон! Смелый... Смелый? Ну-ка расскажи, как ты здесь очутился? Ну-ка?

— А чего мне скрывать-то? Напугал, пала. Я те все без иауки скажу: взял часы у одного... Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил у какой-то пьяной шляпы часы в долг.

— Вона — часы в долг! — вконец обозлился электрик.— А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это и есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь?

— Это называется — ограбил, а не попросил,— поддержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками урки.— Интеллигент нашелся.

— Нет, это называется — по-про-сил,— настаивал урка.— Ты мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я подошел и по-про-сил: "Гражданин, одолжи мне свои бока". Я не сказал: "отдай", я сказал: о-дол-жи. Поал?

— Как? — спросил вдруг очкарик.— Как?

— Чего "как"?

— Как вы сказали: "бока"?

— Ну, бока — часы... некоторые называют часы — бока. Еще называют — бочата. Если часы золотые, тогда — рыжие.

Очкарик встал и подошел к социологу.

— У вас какие очки? — спросил он.— Я не в том смысле, рыжие или нет,— с какой диоптрией?

— Минус четыре.

— Разрешите? — попросил очкарик.

Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их... огляделся... Сказал:

— Неплохо.

Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелся в него.

— Да,— сказал он.— Совершенно точно! Встать!

— Ша...— заговорил было урка.

— Встать! — опять скомандовал очкарик довольно властно.

— Ша,— сказал урка, поднимаясь.— В щем дело?

Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся было на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать.

— Это был я,— сказал очкарик спокойно.— Я вспомнил это идиотское "бока".

Урка хотел опять вскочить, и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка... остался стоять.

— Та пьяная шляпа — это был я,— пояснил очкарик.— Я вспомнил слово "бока"... и узнал вас. Что вы отняли часы — это я готов понять: с такой рожей дарить, например, часы — нелепо. Но за что вы меня еще и ударили?

— Да що ты ко мне пришился?! — заорал урка истерично.— Какие щасы?

Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку, с трудом прочитал:

— Гриши... Гриша-ков и Ковалев, к дежурному. В простынях прямо, там переоденетесь.

Урка и очкарик пошли на выход.

— Товарищ...— сказал социолог.— Очки-то.

— О! — спохватился очкарик.— Извините. Спасибо.

— Пожалуйста. Вы еще вернетесь?

Очкарик пожал плечами:

— Не знаю.

Старшина и двое в простынях вышли.

— Надавал он ему,— с восхищением сказал сухонький.

— Хилый-хилый, а двинул хорошо, правда.— Соколов нервно потер руки.— В челюсть красивый был удар.

— Сейчас вас, наверно, будут вызывать,— заговорил социолог.— Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы? — обратился он к сухонькому.

— Нет,— твердо сказал сухонький.— Я не буду.

— Почему?

— Не буду... Все.— У сухонького отчеканилась на лице непреклонность. Он пояснил: — Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже... Делать, что ли, больше нечего?

— Да почему вы так?

— Да потому! До сих пор на луну не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На луну лететь надо, вот что! — сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога.— Взяли моду — рису-уют, высмеивают... А на луну кто

полетит? Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Чего тут хорошего? — бегаете... Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет — хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На луну надо лететь!

Социолог очень изумился... Он пооглядывался кругом — полагая, что и все тоже изумились,— все внимательно слушали сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький враз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней.

— Последние силы растратишь тут,— сказал он.— У меня никаких историй не было,— еще сказал он, помолчав.— Я ручной. Причин никаких нету... Тоски тоже. И грусти нет. Я сам по себе... Независимый.

Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал. Потом повернулся к Ивану-трактористу.

— Я тоже,— сразу отрубил Иван.

— Что "тоже"? — не понял социолог.

— У меня тоже тоски нет.

— А при чем здесь тоска?

— Ну, вы же причину ищите.

— Да...

— Вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в баню... Наоборот, хорошо на душе было.

— Нет, они этого не понимают! — вскричал вдруг сухонький и сел в кровать.— Ты им дай тоску какую-то — печаль! А так просто не может человек выпить! Просто — взял и...

Тут вошел старшина и объявил:

— Собирайтесь. Поедем в суд.

— Вот,— сказал сухонький,— а мы тут причину ищем. Счас нам найдут причину... помогут.

СУД

И грянул суд.

Судили три строгие женщины. Они сидели за столом, одна, похоже, главная,— в центре, две — по бокам, пожилая и молодая.

Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было.

Первого вызвали очкарика.

— Григорьев,— позвал старшина.

Подсудимые все пошевелились... Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей.

— Гришаков,— поправил он старшину.

— Чего? — не понял тот.

— Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев.

— Какая разница,— мирно сказал старшина.

— Разница большая,— заметил сухонький.— Одно дело...

— Ждите! — велел старшина. Сухонький замолк.

— Здравствуйте,— сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались. И сказали:

— Садитесь.

— Мы ознакомились с вашим делом,— заговорила главная женщина.— Здесь — показания свидетелей... Заявление заведующего магазином...

— Надо же — дело! — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял.

— Вы пока не улыбайтесь,— сказала пожилая женщина.— Не надо пока.

— Да нет, я... но не очень ли это громко — дело? Там дела-то нет.

— Есть дело,— говорила дальше главная женщина.— И вам действительно рано улыбаться.

— А в чем дело-то?

— Мы хотим услышать это от вас.

— Я плохо помню. С утра вообще ничего не помнил... С мясником что-то? магазине? Мне в милиции сказали сейчас...

— Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича...

— О-о,— простонал очкарик.— Он же обвешивает покупателей! Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей, я ему сказал это...

— Минуточку, минуточку,— прервала его главная женщина,— давайте по порядку: вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь... точнее: фамилия продавца Завалихин, никакой он не лоб.

— Он самый настоящий лоб, лоботряс, жулик...

— Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас.

— Хорошо. Что вас интересует?

— Как было дело?

— Я не помню.

— Напомню. Двадцать пятого сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер двадцать восемь,— стала рассказывать с бумажки женщина,— и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу...

Очкарик поежился, качнул головой. Сказал негромко и горько:

— Кошмар.

— Кошмар не в этом. Кошмар дальше: вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас попытались остановить...

— Хорошо... дальше не нужно: я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли?

— Это вы должны вспомнить, здесь происшествие в магазине...

— Хорошо... черт с ним, с часами. Что я теперь должеи делать?

Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал.

— Я не понимаю,— сказал он.— Ну, случилось... что дальше?

— Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине. Почему напились? Часто это у вас?

— Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление, конец.

— Не надо острить,— попросила молодая женщина.— Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом.

— Я не острю,— заволновался очкарик.— И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой — это не имеет никакого значения.

— Это имеет значение.

— Это не имеет никакого значения,— уперся очкарик.— Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство?

— Здесь мы спрашиваем, Гришаков,— заметила главная женщина.

— Я и отвечаю: я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец...— Гришаков мучительно поискал, как еще обозначить "конец", не нашел.— Конец, понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю...

— Он ударил вас?

— Нет, просто выкинул из магазина. И закрыл дверь. Я думал, он будет драться... я приготовился драться, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно... Это катастрофа.

— В чем катастрофа? — спросила пожилая женщина.— Уточните, пожалуйста.

— В том, что меня выкинули из магазина. Даже так: катастрофа в том, что... Не знаю,— вдруг резко сказал Гришаков.— Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина... Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить.

СОДЕРЖАНИЕ

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ. *Роман*

Часть 1. Вольные казаки 5
Часть 2. Мститесь, братья! 169
Часть 3. Казань 283

ПОВЕСТИ

Там, вдали 361
Точка зрения 417
Энергичные люди 457
До третьих петухов 499
А поутру они проснулись 549

Шукшин В. М.

Собрание сочинений в пяти томах, (том 2); Худ. К. Сухаревский,— Б.: «Венда», 1992.— Переиздание — Е.: изд-во «Уральский рабочий». — 576 с., фото.

ISBN 5-7025-0127-6

ISBN 5-7025-0129-2 (том 2)

Во второй том собрания сочинений Василия Макаровича Шукшина вошли исторический роман "Я пришел дать вам волю", рассказывающий о восстании под предводительством Степана Разина, и повести.

4702010200

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

Собрание сочинений в пяти томах

том 2

Ответственный за выпуск Х. Муслимов

Тех. редактор С. Владыкин

Худ. редактор С. Сухаревский

Корректоры Г. Бочкарева, О. Коршикова

Сдано в набор 15.11.91. Подписано к печати 22.06.92. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 28,37. С 31. Тираж 100 000 экз. Заказ № 219.

Издание подготовлено компанией «Венда» и издательством «Книголюб». 720000. г. Бишкек, Первомайская, 63.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии изд-ва «Уральский рабочий». 620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.